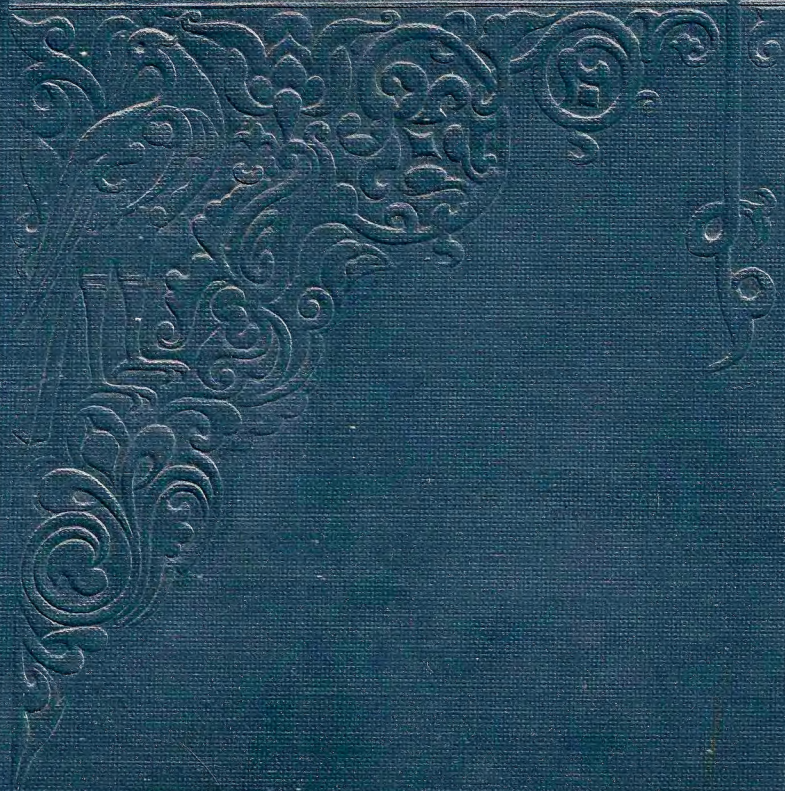
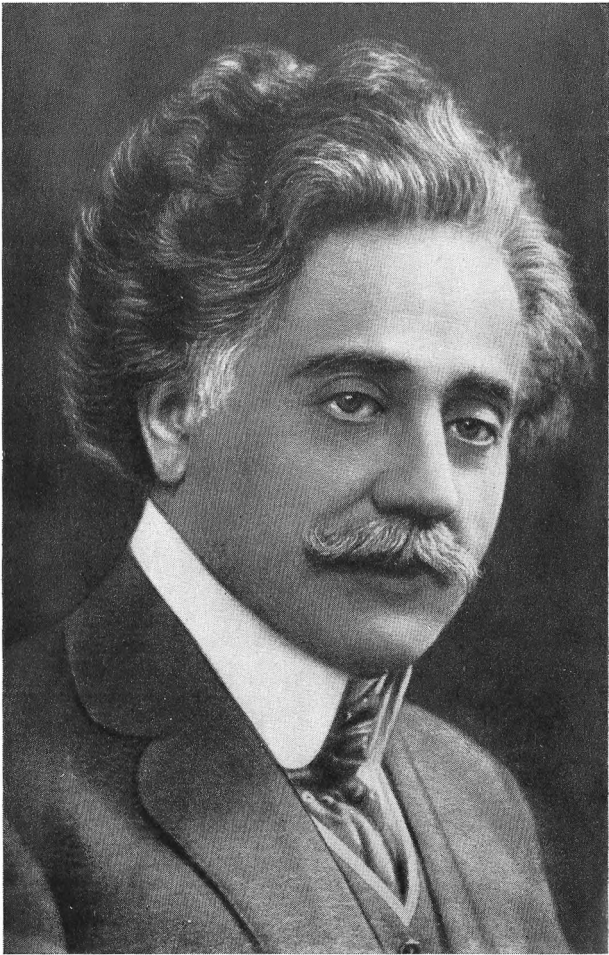


АЛЕКСАНДР
ШОРВАНЗАДЕ









К С Т О Л Е Т И Ю
С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я
П И С А Т Е Л Я

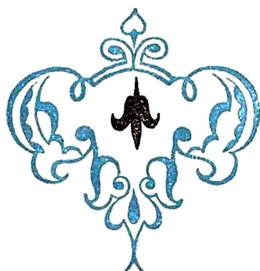
1858-1958



ԱԼԵԻՍԱՆՈՐ
ՇԻՐՎԱՆՋԱՌԵ



ԸՆՏԻՐ ԵՐԿԵՐ
ԵՐԿՈՒ ԿՎԱՄՈՐՈՎ



Մոսկվա • 1958

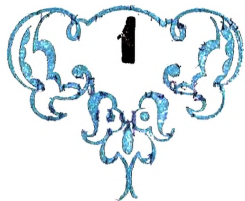
АЛЕКСАНДР
ШИРВАНЗАДЕ



ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

в двух томах

ТОМ



*Из Дательств
"ИЗВЕСТИЯ"
Москва. 1958*

*Вступительная статья, подготовка текста
и примечания*

Г. О. МАНАСЯНА

*Оформление народного художника
Армянской ССР*

М. А. АРУТЧЬЯНА

Титул художника

Г. В. ДМИТРИЕВА

АЛЕКСАНДР ШИРВАНЗАДЕ

Последние десятилетия прошлого столетия ознаменовались в истории армянской литературы победой реалистического направления, которое достигло в этот период своего наивысшего развития. Целая плеяда выдающихся армянских писателей-реалистов, преодолев традиционную условность тем и образов так называемой романтической школы, смело обратилась к правдивому изображению реальной жизни народа, дум и чаяний простых людей. Народность и демократизм стали характерными чертами творчества передовых армянских писателей. В поэзии этот бурный расцвет реалистического направления выражался замечательными произведениями Ованеса Туманяна, Ованеса Иоаннисяна, Аветика Исаакяна, которых Валерий Брюсов назвал «трехзвездием армянской поэзии», в прозе знаменосцами реализма были Мурацан, Григор Зохран, Перч Прошия, Нар-Дос, Вртаннес Папазян, Газарос Агаян и другие, в драматургии — Габриель Сундукян, Акоп Паронян.

В этом поистине широком и сильном движении реализма в армянской литературе велико значение творчества Александра Ширванзаде — замечательного романиста и драматурга, сыгравшего выдающуюся роль в художественном развитии армянского народа.

Вступив в литературу в 70-х годах прошлого столетия, Ширванзаде обогатил родную литературу выдающимися произведениями — романами, повестями, драмами, — отображающими целую эпоху жизни народа. Его творчество открыло новые пути развития родной литературы.

Крупнейший представитель армянской литературы, Ширванзаде в послеоктябрьские годы играл большую роль в живой связи между старой, дореволюционной, и новой, социалистической, советской литературой Армении. Вместе с Туманяном, Акопяном, Исаакяном, Нар-Досом он горячо приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию и установление советской власти в Армении. Активно включившись в строительство новой культуры, Ширванзаде охотно передавал свой богатый творческий опыт новому поколению писателей.

Подлинно народное, гуманистическое творчество великого армянского писателя, проникнутое идеями интернационализма и содружества наций, близко и дорого всем народам нашей страны. Его произведения, переведенные на многие языки, стали достоянием широких масс нашей страны. Александру Ширванзаде принадлежит одно из самых почетных мест в многонациональной советской литературе.

Ширванзаде (Александр Минасович Мовсесян) родился 7 апреля 1858 года в Азербайджане, в провинциальном городке Шемахе. Отец будущего писателя Минас Мовсесян был портным, кроме того, он торговал растительной краской для тканей — мареной. Однако, когда в 70-х годах прошлого столетия марену вытеснили более дешевые анилиновые краски, Минас Мовсесян, как и многие шемахинские предприниматели, разорился. Материальное положение семьи Мовсесянов резко ухудшилось. Минас был вынужден снова взять в руки заветную иглу портного. Строгий, своенравный приверженец патриархальной старины, отец Ширванзаде был трудолюбивым и добрым человеком. Уехав в город Кубу, он поклялся не возвращаться в родные края, пока не разбогатеет. Мечта Минаса Мовсесяна осталась неосуществленной. Вскоре он умер в одиночестве и бедности.

Юному Александру пришлось взять на свои слабые плечи заботы о семье. Еще до смерти отца, в 1873 году, он, подобно многим сотням и тысячам таких же голодных и обездоленных людей, отправляется в «сказочный» город Баку на заработки. «Да, только жестокая нужда заставила отца бросить своего единственного сына в пучину неизвестности, зная, что для таких испытаний у него нет никакого опыта... Мечтал я только об одном: заработать на пропитание, чтобы не сидеть на шее отца. Единственное и страстное желание — продолжать образование — было похоронено в тот день, когда отец сказал мне: «Сын мой, образование — дело хорошее, когда родители что-нибудь имеют, у твоего же отца нет ничего за душой», — писал Ширванзаде в своем автобиографическом произведении «В горниле жизни».

Более восьми лет, с 1875 по 1883 г., будущий писатель жил в этом крупнейшем промышленном центре Закавказья. Здесь он воочию увидел социальные контрасты «черного города»: нищету и чудовищную эксплуатацию сотен тысяч обездоленных и бесправных людей с одной стороны и быстрое обогащение кучки ловких и хитрых предпринимателей, капиталистов — с другой.

Работа писаря в губернском судебном ведомстве, куда поступил Ширванзаде после долгих мытарств, должность счетовода в канцелярии частной нефтяной компании, служба в конторе фабриканта не могли удовлетворить духовных потребностей молодого, жаждущего знаний человека. Ему было тесно и душно в затхлой среде чиновников и бюрократов. Душа его стремилась на просторы, к простым людям. Но нужда заставляла оставаться на унизительной службе мелкого чиновника. Тем не менее, несмотря на материальные невзгоды, годы жизни в Баку благоприятно сказались на духовном и умственном развитии Ширванзаде. Наблюдая жизнь разных слоев общества, бывая с теми, кто своим тяжелым трудом, кровью и потом создавал блага жизни, следя за социальными взаимоотношениями людей, он накапливал впечатления, обогащал знания, расширял свой кругозор. Ширванзаде много читал. «Не было у меня никакой системы, читал что попадется, — вспоминал он впоследствии, — сегодня Спенсера, завтра Лассалья, Рикардо, Сен-Симона, Прудона... урывками я знакомился с революционной литературой. Чтение беллетристики начал с авантюрных романов, а по-

том перешел к классикам поэзии и прозы». Особенно увлекается Ширванзаде русской литературой, перечитав за эти годы почти всю русскую классику. Но возможность заниматься литературой более систематически Ширванзаде получил лишь в 1881 году, когда ему довелось заведовать библиотекой-читальней. Здесь в его распоряжении находились не только произведения классиков мировой литературы, но и многие труды философов и экономистов. Встречи с передовой интеллигенцией города, а также сосланными на Кавказ русскими вольнодумцами-студентами сыграли определенную роль в формировании мировоззрения и эстетических взглядов писателя. Именно к этому времени относятся первые выступления Ширванзаде в армянских и русских газетах Закавказья. Вслед за небольшими информационными он пишет более серьезные публицистические статьи о положении рабочих нефтяных промыслов в Баку. «Развивающаяся нефтяная промышленность, заводская и промысловая жизнь, зарождающийся рабочий быт, отношение заводчиков к рабочим — все это представляло неисчерпаемый материал для наблюдательного журналиста, все это являлось темой моих корреспонденций», — писал он в своих мемуарах. Более систематически сотрудничал Ширванзаде в тифлисской прогрессивной газете «Мшак» («Работник»), которую редактировал и выпускал известный в то время либеральный публицист и общественный деятель Григор Арцруни. Напечатанная в декабре 1881 года на страницах этой газеты острая разоблачительная статья Ширванзаде «О положении рабочих» привлекла к себе внимание многих читателей. Опираясь яркими фактами, молодой журналист рассказывал о невыносимых условиях, в которых работали и жили промысловые рабочие «Черного города». Ширванзаде с возмущением писал о наглости заводчиков, попиравших все и всякие законы труда, лишавших рабочих элементарных прав.

Молодому журналисту не пришлось долго работать в библиотеке. Царская охранка, заподозрившая Ширванзаде в оппозиционном настроении, добилась его отстранения от занимаемой должности. Нужда вновь заставила писателя вернуться на прежнюю работу в канцелярию одного из крупных бакинских нефтепромышленников. В конце 1883 года, продолжая успешно сотрудничать в армянских и русских газетах, Ширванзаде покидает Баку, и пересохав в Тифлис, где в это время проживала лучшая часть армянской интеллигенции, в том числе и писателей, целиком отдается литературному труду.

Вскоре газета «Мшак» опубликовала новый рассказ молодого писателя — «Записки приказчика», изображающий жизнь и быт армянских мелких торговцев. В течение шести-семи лет Ширванзаде публикует около десяти повестей, рассказов и романов, продолжая в то же время работать в редакциях армянских газет «Мшак», а затем — «Арцаганк» («Эхо»).

В общественной и экономической жизни Закавказья в конце прошлого столетия происходили серьезные изменения. На смену старым, полудефеодальным экономическим отношениям пришли новые, капиталистические. Царская Россия продолжала политику экономического завоевания своих южных полуколоний. В. И. Ленин, характеризуя этот период истории Кавказа, писал: «Русский капитализм

втягивал таким образом Кавказ в мировое товарное обращение, нивелировал его местные особенности — остаток старинной патриархальной замкнутости. — создавал себе рынок для своих фабрик. Страна, слабо заселенная в начале пореформенного периода или заселенная горами, стоявшими в стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от истории, превращалась в страну нефтепромышленников, торговцев вином, фабрикантов пшеницы и табаку, и господин Купон безжалостно переряживал гордого горца из его поэтического национального костюма в костюм европейского лакея»¹.

Жизнь быстро менялась не только в больших промышленных городах, но и в провинции, в деревнях. Обнищавшие ремесленники и крестьянская беднота, покидая насиженные места, уходили в промышленные центры умножать ряды пролетариев. Поток дешевой рабочей силы способствовал жестокой эксплуатации трудящихся капиталистами.

В новой действительности решающее слово принадлежало капиталу, разрушавшему устои патриархальной жизни. Свою волю, нормы и законы диктовали обществу те, кто в бешеной гонке за богатством овладевал большим капиталом. Владельцы крупных участков нефтеносных земель, фабриканты и заводчики — вчерашние купцы, мелкие собственники и городские дельцы — не хотели жить по законам старины, насаждая в жизни свои звериные принципы.

Вместе с развитием капитализма формировался, рос и постепенно набирал силы его могильщик — класс пролетариев. Постепенно крепло и росло его социальное и интернациональное самосознание.

Ширванзаде был не только живым свидетелем расцвета закавказской, в частности армянской буржуазии, но он был также очевидцем ее постепенного и неуклонного разложения и гибели. Великий армянский писатель стал художественным летописцем этой большой, сложной, полной историческими событиями эпохи.

2

Рассказ Ширванзаде «Пожар на нефтяном заводе», напечатанный в газете «Мшак» в 1883 году, во многом характерен как для творческого метода, который избрал молодой писатель с начала своего творческого пути, так и для его отношений к действительности в целом.

«Пожар...» был первой попыткой писателя художественно синтезировать свои жизненные наблюдения и впечатления. В хаотическом водовороте лихорадочной жизни большого города Ширванзаде увидел самое характерное и важное: антагонизм между трудом и капиталом, непримиримую вражду между создателями материальных благ и теми, кто присваивает их, пользуется ими. Автор обнажил всю неприкрытую правду жизни, и это свидетельствовало о ярком реалистическом таланте будущего большого писателя, о его гражданской смелости. «Пожар...» — первое произведение армянской литературы, в котором изображены жизнь и труд промышленных рабочих, жестоко эксплуатируемых капиталистами.

Известно, что «Пожар...» был всего лишь одной главой уничтоженного самим автором романа о Баку. Ширванзаде хорошо пони-

¹ В. И. Ленин, Соч., том 3., стр. 521.

мал, что его знания далеко не достаточны для написания большого произведения о жизни промышленного города. Чутье молодого писателя-реалиста подсказало Ширванзаде временно отказаться от темы большого города и взяться за изображение той среды, которую он знал с детских лет. К тому же писателю не давала покоя мысль о родном городе и дорогих людях, томившихся в патриархальном мраке, во власти суеверий и нищеты. Так родился роман «Намус» (1884), принесший писателю широкую известность, посвященный жизни простых людей захолустного армянского города в период бурного развития капитализма.

Верный реалистическому методу, Ширванзаде в «Намусе», как и в написанной через несколько лет повести «Злой дух», а также в ряде рассказов, объединенных общей темой, стремился показать главные причины бедствий и невзгод простых трудолюбивых людей — обитателей провинциальных городов. Правдиво, увлекательно рассказывая о судьбах своих героев-ремесленников, мастеровых, мелких торговцев и др., изображая реальную картину «темного царства», где все еще действительны законы патриархальной жизни, суеверие и предубеждения, где лучи солнца еще не в силах рассеять густой мрак средневековья, писатель как бы говорит читателям: в страданиях этих честных, трудолюбивых, добрых, как природа, людей виноват не только патриархальный мрак, но и тот недобрый свет, который принес им капитализм.

Проникнув и в это захолустье, капитализм обострил социальные противоречия, установил всемогущую власть денег, утвердил безнравственность, благословив распущенность, разврат и прочее.

Один из главных героев романа «Намус», старый портной Бархудар — этот типичный приверженец патриархального мира, — так говорит своему соседу, горшечнику Айрапету, после страшного стихийного бедствия — землетрясения, разрушившего до основания Шемаху: «Клянусь богом, Айрапет, как посмотрю я на нынешних, как подумаю — волосы дыбом встают, мороз пробирает до костей, до того испортился народ: ни стыда, ни совести, ни чести. А уж о чести лучше не вспоминать, днем с огнем ее не сыщешь, вот что. Что же теперь остается Богу, как не посылать на наши грешные головы страшные кары, вроде сегодняшнего... Воровство, обман, ложь, греха не осталось неведомого... Башмачник туфли из гнилой кожи мастерит, портной чоху шьет — лишний кусок сукна урвет, под прилавок спрячет. Народ в нашем городе стал мне до того противен, что я ни с кем и свидеться не хочу, не желаю ни с кем дела иметь».

Трагедия Бархудара, Айрапета и других героев романа состоит в том, что они не поняли обреченности старых форм людских взаимоотношений и неотвратимости новых, наступление которых невозможно приостановить. Тщетны попытки Бархудара и Айрапета оградить свои семьи, своих детей от новых веяний. Бархудар, этот крутой по характеру, сильный и волевой человек, как бы бросает вызов новому времени, он по праву отцовской власти встает на защиту патриархальных обычаев, требуя от членов семьи свято соблюдать их. Но жизнь жестоко мстит этим последним могиканам уходящего мира.

В романе Ширванзаде нет персонажа, представляющего новое время. Все основные герои произведения либо представители и страстные поборники патриархального мира (Бархудар, Айрапет,

Рустам) либо его беззащитные жертвы (Сусан, Сейран, Майрам и др.). И все же новое присутствует в романе, его поступь чувствуется во всем: в мучительной борьбе одних и в трагической гибели других, в неравной борьбе героев за свое счастье.

Ширванзаде с болью рассказывает о трагической судьбе молодых героев — Сусан и Сейрана. Вместе с тем, он не обвиняет их родителей — Бархудару и Айрапета. Виноваты не бархудары, которые сами являются жертвами темного царства, диких нравов, религиозного фанатизма, а среда. Бархудар, став непосредственной причиной гибели единственной дочери, до конца был уверен, что он, воспрепятствовав любви молодых людей и выдав Сусанну вопреки ее воле замуж за Рустама, защищал не только свою честь, но и честь своей дочери, честь всей семьи. А честь, как понимает ее Бархудар, выше и дороже самой жизни.

Уже в первом романе Ширванзаде создал ряд замечательных характеров простых армянских людей. Помимо ставшего классическим образа Бархудары, в романе выведены обаятельные характеры армянских женщин: Сусанны, ее матери Гюльказ, матери Сейрана Майрам-Баджи и др. Кротость, трудолюбие, безмолвное повиновение судьбе и в то же время богатство и красота духовного мира — вот что заметил в своих героях писатель.

Современность всегда была душою творчества Ширванзаде. Писатель-реалист смело обращался ко многим животрепещущим вопросам общественной жизни Армении и Закавказья. Одним из таких вопросов в 80-х—90-х годах была деятельность и судьба армянской интеллигенции, о которой написаны романы «Арсен Димаксян» (1893), «Тщетные надежды» (1890) и повесть «Огонь» (1896).

Разделяя в этот период иллюзии о прогрессивности стремлений либеральной интеллигенции и возлагая благие надежды на просвещенную личность, Ширванзаде, тем не менее, оставался на позициях высокого реалистического искусства. В своих произведениях он разоблачал духовную нищету, эгоизм, продажность большей части буржуазной интеллигенции, которая на словах выступала за обновление жизни, а на деле защищала классовые интересы национальной буржуазии.

Герой повести «Огонь», тема которой взята из жизни армянских студентов, свободомыслящий Сантурян в споре с одним из типичных представителей лицемерной, развращенной интеллигенции Зарифяном говорит: «Вы поносите буржуа, бросающего беднякам хоть объедки со своего стола. А что вы скажете о тех образованных варварах, что, на словах проповедуя излюбленные вами идеи, на деле пожирают не только плоть друзей своих — о, этого мало! — но и душу их. Понимаете, душу. Да, пожирают, переваривают и все-таки считают себя идейными».

Своей моральной чистотой, богатством духовного мира и благородством стремлений Сантурян стоит на голову выше всей буржуазной среды. Но он — романтик, не имеющий прочных связей с жизнью, и потому острая критика общественных пороков Сантуряном звучит как голос одинокого, слабого и беспомощного в практической борьбе человека.

Много страниц, осуждающих эгоизм, лицемерие, разоблачающих моральное ничтожество буржуазной интеллигенции, содержит роман

«Арсен Димаксян». Однако и здесь герой романа, проповедующий идеалистическую теорию обновления общества путем нравственного и духовного очищения личности, в конце концов не добивается никаких практических результатов, если не считать его успеха в борьбе против собственного эгоизма.

Ширванзаде не видел тех представителей армянской интеллигенции, которые действительно боролись за счастье народа, за его социальное освобождение и духовное раскрепощение.

Соратник В. И. Ленина, выдающийся марксист-революционер С. Шаумян несомненно имел в виду и творчество Ширванзаде, когда писал в одной из своих статей, что «армянские писатели, изображающие жизнь и общественное положение интеллигенции, не замечали таких пролетарских, всероссийского масштаба деятелей-интеллигентов, каким был Сурен Спандарян».

К этому периоду относятся также произведения Ширванзаде, посвященные критике буржуазной семьи, нравственности, морали, проблеме раскрепощения женщины. В них писатель утверждал, что армянская буржуазия, отрицавшая старые, полуфеодалские морально-этические нормы и патриархальные семейные отношения, не создала более высоких нравственных законов общества. Напротив, поставив в зависимость от денежного мешка физическую и духовную жизнь человека, буржуазия способствовала процветанию безнравственности, обмана, лжи, фарисейства, распутства, пресмыкательства и других пороков. Буржуазия подчинила своим эгоистическим интересам и изуродовала все благородное: любовь, чувство родительского долга, семейную жизнь.

Писатель создал целую галерею по-разному несчастных, страдающих женщин, ставших жертвами темноты, суеверия, домостроевского деспотизма и пошлой, буржуазной «цивилизации».

Молодые девушки — Сусан, Сопа, Фатъма, — жаждущие счастья, погибают в темном царстве диких прав патриархальщины. Понестие мученическую, полную горестей и несчастий жизнь прожили их матери, страдающие и от нужды, и от деспотизма своих мужей. Страдают от нравственных, моральных уродств современного общества и женщины городских буржуазных семей. Отец Варвары Миначовны («Замужняя») требует от своей дочери вернуться к распутному мужу-гуляке потому, что он богат, и потому, что этого требует религия. Осмелившись не подчиниться законам общества, Варвара Миначовна должна была погибнуть. Молодую девушку Катерину Карловну («Благодетель»), мечтавшую о красивой и счастливой жизни, обманывает и насильно выдает замуж за своего служащего богатый предприниматель Долмазов.

Писатель-гуманист, сочувственно пишущий о жертвах косного быта, невежества и самодурства, гневно обрушивается на тех, кто является носителем общественного зла, — фарисеев, насильников, развратников, пошляков и льстецов.

Великий армянский писатель объявил страстную борьбу силам, сковывающим личность, ограничивающим ее свободу, упижающим человеческое достоинство. Он выступает с позиции подлинного гуманиста, пытаясь объяснить, почему «много людей трудится, чтобы накормить немногих, отчего блага природы не принадлежат всем на равных началах».

Вершиной художественного творчества Ширванзаде является его замечательный роман «Хаос» (1898), над которым писатель работал более 10 лет.

Ни в одном из произведений Ширванзаде его реалистическое искусство, мастерство художественного обобщения сложных явлений жизни не достигает той силы и выразительности, как в этом романе.

Если в произведениях, предшествовавших «Хаосу», Ширванзаде обнажал и критиковал отдельные уродливые стороны действительности, то в этом романе он стремится показать жизнь во всей ее сложности, как сумму социальных, общественных и личных отношений людей. В романе сталкиваются интересы представителей разных классов и групп. Крупные нефтепромышленники, купцы, люди делового мира, мелкие конторские чиновники, управляющие, раблепствующие и лицемерные священники, адвокаты, журналисты, «золотая молодежь», бездельники, кутилы и развратники, угнетенные и бесправные рабочие разных национальностей, городская беднота, женщины, дети — такова огромная галерея людей, населяющих роман.

Шаг за шагом Ширванзаде рисует потрясающую картину политического, нравственного и экономического разложения армянской буржуазии в конце прошлого века.

В лице главы семьи Алимянов — Маркоса Алимяна, бывшего водовоза и дворника, разбогатевшего и ставшего миллионером в годы промышленного расцвета и грюндерства Баку, показано первое поколение армянской промышленной буржуазии, в лице его сыновей — Смбата, Микаэла и Аршака — новая смена, которая, переняв от отцов «науку» эксплуатации, занята усовершенствованием методов наживы в соответствии с новыми условиями. Грубые, азиатские формы обмана и грабежа сыновья Маркоса Алимяна заменяют более тонкой, европейской формой насилия.

Образ Маркоса Алимяна — воплощение большой жизненной правды. В экспозиции романа перед читателем встает колоритная фигура основателя «дела», в котором мы различаем черты сильного и властного хищника.

С тонкой психологической достоверностью Ширванзаде рисует сцену смерти Маркоса Алимяна. У постели умирающего миллионера собираются его ближайшие родственники. Но не любовь к Маркосу привела их сюда, а корыстная тревога о том, какая доля алимяновских миллионов оставлена каждому из них волею умирающего. Сам Алимян накопил свое богатство стяжательством, жадностью, лицемерием и обманом. Наиболее циничный и откровенный из родственников Алимяна — Марутханян, этот типичный биржевой делец и мошенник, говорит одному из сыновей миллионера — Микаэлу: «Девятнадцатый век, дорогой мой, век обмана, и он еще не кончился. Теперь обманывают все, и больше всех те, кто восстает против обмана!.. Деньги, деньги, деньги, свет на деньгах и держится. Они — вера, любовь, бог всего мира. У тебя их мало? Отними у соседа, у товарища, у брата. Заостри свои ногти и набрасывайся на мир... стань ему на горло».

Большой реалистической правды достигает писатель в образе старшего сына Маркоса Алимяна — Смбата. Верными красками рисует он его характер, эволюцию его морального и духовного облика. Не случайно расчетливый и по-своему умный Маркос Алимян

именно Смбата, а не мота и развратника Микаэла или Аршака признал главным наследником своего богатства, продолжателем своего дела. Отец был уверен, что либеральные взгляды, которыми в студенческие годы шеголял Смбат, — всего лишь временные заблуждения, что достаточно старшему сыну стать во главе дела, как собственный инстинкт безоговорочно возьмет в нем верх. И действительно, уже при решении дилеммы, предложенной умирающим отцом — или миллионное наследство или вольные убеждения, — Смбат, забывая свои же слова и тирады о капиталистах-вампирах, предпочитает капитал убеждениям. Бывший народоволец утешает свою совесть лицемерными обещаниями использовать отцовские миллионы для «добрых дел». Прошло немного времени, и Смбат полностью примирился с отцовскими взглядами, отлично приспособившись к среде. Моральное падение Смбата завершается его полным духовным банкротством, когда он во время пожара, подобно Ивану Григорьевичу Марутяну из рассказа «Пожар на нефтяном заводе», проявляет предельную трусость и эгоизм.

Второй сын Маркоса Алимяна, Микаэл, в некотором смысле является антиподом Смбата. Если духовное развитие Смбата шло от свободомыслия и либерализма к мешанству и буржуазному консерватизму, то кривая духовного развития Микаэла идет снизу вверх, от морального падения к исцелению, к нравственному усовершенствованию. Микаэл, этот заправила бакинской «золотой молодежи», развратник, соблазнитель и кутила, вдруг, волею писателя, совершенно изменяется, решает отказаться от своей доли наследства, считая преступлением строить свое счастье на деньгах, добытых нечестным путем. Микаэл поступает простым управляющим к своему брату, живет на промыслах среди рабочих. Ширванзаде явно симпатизирует своему герою. Ради спасения Микаэла писатель изменяет реалистическому методу. И тогда искусство мстит ему. Такое оправдание невероятного перерождения Микаэла, как его искренняя любовь к простой, умной и красивой девушке Шушаник, не убеждает читателя. Еще более фальшивыми являются авторские суждения о «скрытой таинственной силе добродетели» или потенциальной порядочности, которыми якобы обладает Микаэл. Вся история перерождения Микаэла чужда реалистической природе романа, она выпадает из художественной ткани произведения. Кстати отметим, что образ Микаэла и других, подобных ему, героев дал повод в свое время некоторым армянским критикам утверждать, будто бы главной идейной проблематикой творчества Ширванзаде является моральное перевоспитание буржуазной личности. «Эта задача, — писал один из критиков, — решению которой Ширванзаде посвятил свои основные произведения, в течение десятилетия была предметом его дум и исканий». Такой общий вывод несостоятелен хотя бы потому, что он основан не на объективном значении творчества Ширванзаде, проникнутом критическим пафосом, а на спекулятивных суждениях и поступках отдельных героев.

Да, не всегда реалистический метод писателя гармонировал с его субъективными убеждениями. В некоторых произведениях Ширванзаде устами своих героев предлагал пути, которые, по его мнению, должны были привести к улучшению существующего строя, к исцелению его болезней. Но именно эти страницы творческого на-

следия Ширванзаде являются наиболее слабыми и в художественном отношении маловыразительными. Сила Ширванзаде — в его беспощадном критическом пафосе, направленном против бесчеловечных законов буржуазной действительности.

В нескольких главах романа Ширванзаде показал также обездоленных, бесправных труженников черных нефтяных промыслов Баку, высоко оценив их чувство интернационализма и классовой солидарности, восторгаясь их духовным благородством и красотой. Высокий моральный облик рабочих Чупрова, Расула, Карапета противопоставлен в «Хаосе» нравственной грязи «хозяев жизни», подлинная дружба разноплеменных людей труда — национальным и религиозным предрассудкам господ: «Между эгми трирея рабочими, принадлежавшими к трем различным нациям, говорившими на различных языках и исповедовавшими различные религии, существовала всем хорошо известная дружба. Она славилась своей неустрашимостью и вызывала в рабочей среде большое уважение и зависть. Шли на работу и возвращались вместе, жили в одной квартире, спали на одних нарах... Когда кому-либо из них грозила опасность, двое других бросались спасать его». С большим уважением относится писатель и к тем своим героям, которые близко стоят к простым людям и стараются облегчить их положение. Это Шушаник — возлюбленная Микаэла, ее дядя Давид Заргарян — простой конторский служащий, жена Смбата — Антонина Ивановна. Этих разных по характеру людей объединяют нравственная чистота и благородные порывы души. Антонина Ивановна была воспитана на произведениях великих русских классиков. Связав свою судьбу с сыном армянского миллионера Смбатом, она поначалу увидела в нем подлинное благородство стремлений. И по мере того, как Смбат изменяет своим былым убеждениям, все серьезнее становится противоречие между ним и Антониной. Правда, писатель выдвигает на первый план другие причины, образующие непреодолимую пропасть между супругами, но нетрудно заметить, что за ними скрываются глубокие социальные мотивы.

Антонина осталась верна своим убеждениям. В тяжелые дни жизни в семье Алимяпов она подружилась с Шушаник и с нею вместе пошла к рабочим, к людям труда, живущим одними благородными стремлениями, одними чувствами.

Вот что думала Антонина Ивановна о людях завода после пожара: «Там, внизу, на просторном дворе скучилась разноплеменная, разноязычная толпа и, охваченная одной скорбью, молча оплакивала погибших в огне товарищей. Трое из погибших были армяне, один русский, один тюрк. Но гибель каждого из них одинаково говорила о неумолимой судьбе всей этой толпы».

Так писатель раскрывал два противоположных мира людей, два общества в капиталистической действительности. В одном из них царствует разврат, моральное и духовное разложение людей, в другом — высокие человеческие качества. И симпатии писателя, его сочувствие на стороне вторых.

В 1899 году, находясь в Одессе, Ширванзаде написал одно из лучших своих произведений — повесть «Артист», в которой с большим мастерством рассказал о печальной судьбе одаренного юноши-музыканта. Глубокая идея этого замечательного произведе-

дения в том, что жестокое и бездушное царство капитала губит настоящие таланты, если они не приспосабливаются и не приносят в жертву его законам свое искусство.

Чистой, благородной мечте героя повести Левона, сына бедной, прикованной к постели женщины,— посвятить себя любимому искусству, стать музыкантом — не суждено осуществиться в капиталистической действительности. В столкновении добра, воплощением которого в повести является стремление Левона к чистому, возвышенному, и зла, в лице среды, неизбежно терпит поражение добро. И Левон не один. Такая же печальная участь постигает и его друзей поэта Ицко, музыканта Чаушенко и других.

3

Начиная с 90-х годов, Ширванзаде надолго увлекся драматургией. Он написал социально-психологические драмы, политические и бытовые комедии, памфлеты, киносценарий. Правда, первую свою пьесу — драму «Княгиня» — он написал еще в 1891 году, но она не имела успеха. «В течение двух-трех месяцев состряпал четырехактную драму «Княгиня»; это было, конечно, большой моей ошибкой, так как я тогда совершенно не знал сценического искусства и, естественно, пьеса не могла долго жить», — вспоминал Ширванзаде о своем первом поражении в драматургии.

Но уже вторая пьеса, «Евгние», написанная в 1901 году, имела заслуженный успех. Окрыленный этим Ширванзаде в течение нескольких лет создает свои замечательные пьесы — «Из-за чести» (1901), «Права ли она?» (1902), «Арменуи» (1905), которые вошли в золотой фонд армянской драматургии.

Тематически драматургия Ширванзаде тесно связана с его прозой. Так же как и в прозе, он в своих пьесах обрушивается с обличительной критикой на современную действительность, разоблачая пороки общественной и семейной жизни.

Трудно переоценить ту огромную роль, которую сыграли пьесы Ширванзаде в продолжении и укреплении реалистической драматургии, основанной его великими предшественниками Г. Сундукяном и А. Пароняном. Известно, что в 90-е—900-е годы, несмотря на наличие пьес Сундукяна и Пароняна, проблема реалистического репертуара армянского театра еще не была решена. Более того, чувствовалась засоренность репертуара, с одной стороны — западной, нередко декадентской драматургией, с другой — пьесами историко-шовинистического содержания, написанными второстепенными и третьестепенными драматургами.

«Без здорового репертуара все усилия, приложенные для возрождения театра, тщетны», — писал Ширванзаде в одной из своих многочисленных статей о драматургии и о театре. «Здоровый репертуар», я понимаю прежде всего его самобытность. Питать армянский театр только переводными пьесами — значит подвергать его опасности истощения и умирания... Можете тратить миллионы, можете иметь гениальных артистов и актрис, — но вы не спасете театр, если у вас нет самобытных пьес».

Другие его статьи, письма и выступления дают полное основание утверждать, что Ширванзаде под «здоровым репертуаром»

имел в виду не только оригинальные пьесы, но, главным образом, идейно целеустремленную драматургию, насыщенную пафосом критического отношения к действительности.

Глубоко почитая огромную воспитательную роль театра, Ширванзаде, вместе с прогрессивно мыслящими армянскими писателями, боролся за демократическую, гуманистическую линию драматургии, за утверждение школы Сундукяна и Пароняна, пьесы которых были близки, понятны и дороги широкой массе зрителей. Он боролся за утверждение реалистических традиций великих русских и западно-европейских драматургов — Пушкина, Гоголя, Островского, Шекспира, Мольера и других — на армянской сцене. Он восхищался не только игрой великого армянского трагика Адамяна, но и его репертуаром, включающим произведения мировых классиков.

Характерно, что как в прозе, так и в драматургии Ширванзаде шел от сравнительно узких тем к более широкому охвату действительности, к большим действиям. Если в первых пьесах — «Евгине» и «Имела ли право» — Ширванзаде вскрывал угнетенное и бесправное положение женщины в современном обществе, требуя духовного раскрепощения женщины и ее равноправия, то в последующих пьесах, в «Намусе», «Злом духе» и особенно в драме «Из-за чести», драматург рисует широкую социальную картину буржуазной действительности.

Армянские критики часто сравнивают драму «Из-за чести» с романом «Хаос», а также с комедией Сундукяна «Пепо». Действительно, между этими выдающимися произведениями армянской литературы есть много общего. Основные события, конфликты, поступки персонажей во всех этих произведениях призваны показать гнилую атмосферу морального и нравственного разложения армянской буржуазии. Но если в «Пепо» Сундукяна разоблачена волчья натура армянской торговой и ростовщической буржуазии, то в романе и пьесе Ширванзаде обличаются пороки промышленной буржуазии в эпоху ее разложения. Однако дух критического отношения к действительности и разоблачительный пафос сундукяновской пьесы Ширванзаде не только сохранил, но развил и обогатил.

Много общего между романом «Хаос» и драмой «Из-за чести». Как и в «Хассе», события в драме разворачиваются в семье миллионера-промышленника, и столкновение героев, представляющих разные слои общества, отражают реальные противоречия жизни.

«Живя в Баку, — писал Ширванзаде, — я попал в такую среду, где украсть последнюю копейку у товарища и лишить его детей куска хлеба считалось проявлением ума и энергии. И это не только не осуждалось, но становилось предметом зависти. Сотни случаев, один уродливее и отвратительнее другого, прошли перед моими глазами. В этой именно среде я нашел типы Андреаса Элизбаряна и Сагатела, выведенные в моей драме «Из-за чести».

Вот главный герой пьесы — глава семьи, Андреас Элизбарян. Он — двойник Маркоса Алимяна из «Хаоса». Но если Алимян свои миллионы накопил путем беспощадной эксплуатации рабочих, стяжательства и скупости, то Элизбарян достигает своей цели теми же средствами, добавляя к ним еще грабеж и воровство. Верный волчьему закону дельцов-капиталистов, он после смерти своего друга и компаньона Отаряна присваивает принадлежащую ему долю богат-

ства, оставляя в нищете его семью. Но это не все. Развивая события, Ширванзаде показывает, что Элизбарян способен на еще более низкие поступки. Он не останавливается перед совершением кражи ценных бумаг у собственной дочери, зная о том, что это может привести к ее гибели.

Андреас Элизбарян как характер — один из самых совершенных во всем творчестве писателя. Верность психологической характеристики, мотивировка каждого его поступка и шага, типичность его духовного и нравственного облика достигают подлинной реалистической правды.

В образе старшего сына Элизбаряна, Баграта, показан представитель нового, так называемого «просвещенного» буржуа. Он мечтает стать «промышленным магнатом», но не путем спекуляций и постепенного накопления богатства, каким шел отец, а путем больших дел, решительных шагов, соответствующих духу времени. Один из персонажей пьесы называет его «американцем наизнанку», «ловким спекулянтом» и «энергичным коммерсантом». Подобно отцу, он готов ради денег, капитала продать честь семьи, свою честь. Он уговаривает Маргарит не возвращать Отаряну доверенные ей бумаги, объясняя это тем, что возвращение равносильно глупому, наивному поступку.

Много сходства, общих черт между младшим сыном Элизбаряна Суреном и Микаэлом («Хаос»). Оба они моты, развратники, кутилы. Но каждого из них автор наделяет способностью трезво оценить пороки того общества, членами которого они сами являются. Сурен, подобно Микаэлу, заявляет: «Наши деньги грязь. Тратя их, я стараюсь скорее избавиться от нее».

Женские образы Ширванзаде в большинстве своем носители положительного начала. Ширванзаде относится к ним с большим сочувствием. Героиня драмы Маргарит, так же как Шушаник в «Хаосе», своей нравственной чистотой и благородством стоит несравненно выше окружающей ее среды. Но она наивна и сентиментальна, как и Шушаник. Ширванзаде объясняет наивность своей героини ее оптимизмом. Гибель Маргарит опрокидывает всякие иллюзии относительно «добропорядочности» насквозь прогнившей буржуазной среды.

В 1907—1910 гг. Ширванзаде на основе романа «Намус» и повести «Злой дух» написал одноименные пьесы, которые заняли прочное место в репертуаре многих театров закавказских республик.

В это время им были написаны также драмы «Арменуи», «На развалинах» и комедия «Погибший», а в 1915—1916 гг. — драма «В дни бедствий». Идеино-художественный уровень этих произведений, по сравнению с предыдущими пьесами, значительно ниже.

С новой силой Ширванзаде-драматург проявился в советское время, когда в 1926 году он написал сатирическую пьесу «Сват Моргана». В этом произведении Ширванзаде разоблачил и высмеял жалкие мечты армянских эмигрантов — купцов, фабрикантов, реакционных дашнакских проповедников, доживающих свой век на европейских задворках.

Свои творческие принципы Ширванзаде сформулировал в многочисленных литературно-критических статьях, которые составляют драгоценную часть наследия писателя.

Ширванзаде всегда был в центре литературно-общественной жизни Армении. Он активно выступал по всем животрепещущим, актуальным вопросам литературы, искусства, театра. Та страстность и последовательность, с которыми он защищал все прогрессивное, живое, подлинно народное в искусстве, можно сравнить с выступлениями выдающихся армянских писателей М. Налбандяна и О. Туманяна. Ширванзаде постоянно заботился о том, чтобы родная литература развивалась в традициях реалистического искусства. В многочисленных статьях, выступлениях, рецензиях Ширванзаде красной нитью проходит его непримиримое отношение к реакционному романтизму, любым проявлениям декадентского, абстрактного искусства.

«Нет идеального без реального,— писал он в одной из своих статей,— нет ни одного здравомыслящего автора, который, желая своим произведением способствовать созданию новой жизни, не опирался бы на реальную жизнь, т. е. на ту жизнь, которая существует. Врач, прежде чем назначить лекарства, исследует больного, устанавливает причины его болезни. Стало быть, кто хочет переделать мир, он должен прежде всего хорошо знать его недостатки и только после этого стремиться к созданию лучшего».

Ширванзаде осуждал теорию «искусства для искусства» и своим примером призывал армянских писателей к активному, целенаправленному творчеству. В 1905—1910 годах, находясь в Европе, он присылал письма и статьи, в которых выражал свое резко отрицательное отношение к так называемому новому искусству Запада. В новых направлениях литературы и искусства — в модернизме, символизме и прочих «измах» — он видел прежде всего свидетельство общего упадка искусства, убогости, антинародности его содержания.

И сегодня актуально звучит критика Ширванзаде в адрес художников-модернистов. «Вы видите ужасную расточительность красок, совершенное отсутствие смешанных цветов, и ваш привыкший к святости прошлого взгляд оскорбляется победой пошлости. Вы думаете, что это не творчество художника, а тряпки, выкинутые из горшка маляра». Критикуя крайне упрощенную, плоскостную живопись одного из представителей формалистической школы, Ширванзаде писал: «Такое дикое смешение красок я никогда не видел, даже на выставке «независимых». Дерево — красное, тень — синяя, фуражка — малиновая, тень на лбу женщины — зеленая. Вместо носа — картофель, а вместо ног — сосиски. На месте глаз — чудовищные ямы, красные брови, красные зубы. Никакой фантазии, никакого понимания, признания физических законов природы».

В чем же видит Ширванзаде причину упадка западного искусства? «Рынок, торговля,— отвечает он в одной из своих статей.— Обойдите обширные выставки картин художников в Париже — и вы легко убедитесь, что подавляющая часть работ, если не все, созданы только для продажи».

Критикуя творчество представителей разных формалистических школ, начиная от символистов, кончая футуристами, Ширванзаде

противопоставлял им традиции великих классиков мировой и русской литературы — Сервантеса, Шекспира, Толстого, Достоевского, Горького и др.

Великому армянскому писателю особенно близка была русская литература. Он хорошо знал, любил и постоянно следил за ее развитием. Во многих своих статьях он писал о современном русском театре, живописи и литературе, как о наиболее сильных и ярких явлениях в мировом искусстве. Известно, как высоко он отзывался о спектаклях «вечно прогрессирующего», по его словам, Московского Художественного театра, как лестно отзывался о творчестве Серова, Куинджи и др.

Великую любовь питал Ширванзаде к творчеству Горького. Он считал его, вместе с Достоевским и Толстым, писателем, «пользующимся всемирной славой», гигантом русской литературы. Ширванзаде защищал великого писателя от нападок буржуазной критики, пропагандировал его творчество. Горький, в свою очередь, знал и глубоко уважал Ширванзаде. «Мне приятно сказать Вам, что я немного знаю Вас,— читал ваши книги. А имя Ваше я услышал впервые в 92 году, в Тифлисе, и затем в 97 году, сидя в Метехском замке. Видите, мы старые знакомые»,— писал Горький армянскому писателю в 1916 году.

Многие статьи, речи, высказывания Ширванзаде о литературе и искусстве не потеряли своего значения и в наше время. Его мысли о реализме, о характере как основе художественного произведения, о специфических особенностях драматургического творчества, его критика антиреалистических течений в литературе начала века и др. и сейчас играют свою полезную роль в эстетическом воспитании сотен тысяч его читателей: «Но не следует забывать,— писал он в статье «Мои впечатления»,— что наши ценности прошлого принадлежат истории. Мы несомненно можем гордиться, что имели Григора Нарекаци, Нерсеса Шнорали, Фрика, Нагаша, Наапета Кучака и многих других, но все они наши исторические гордости, и только. Между тем, к сожалению, нации только тогда считаются нациями, когда сильны сегодняшними предпосылками на будущее, современным творчеством».

В этом высказывании Ширванзаде отнюдь не отрицает великие ценности искусства и литературы прошлого. Он подчеркивает правильную мысль о том, что писатель должен быть тесно связан со своим временем, писать о нем, быть его выразителем и летописцем.

Многие статьи, письма, выступления Ширванзаде затрагивали вопросы армянского театра и драматургии. Он любил театр и много сделал для укрепления реалистической основы армянского театра. Он беспощадно критикует драматургию, проникнутую духом шовинизма. Его взгляды на театр и драматургию особенно ярко выражены в замечательной речи, произнесенной на вечере памяти Сундукяна в 1912 году. В ней Ширванзаде не только дает верную, глубокую оценку исторической роли и значения Сундукяна в развитии армянского театра и драматургии, но и с простотой и ясностью, присущей большому художнику, определяет принципы реалистического искусства.

В чем историческая заслуга Сундукяна? Во-первых, в том,— пишет Ширванзаде,— что он своими бессмертными реалистическими

произведениями вытеснил с армянской сцены националистическую и религиозно-фанатическую драматургию. Во-вторых, Сундукян первым поднял на сцену Человека с его внутренним миром, его отрицательными и положительными качествами. Он изжил со сцены мертвецов и на их место поставил живых существ.

И, наконец, третьей важнейшей заслугой Сундукяна Ширванзаде считает глубокую народность и демократизм его творчества. Важно отметить, что Ширванзаде, подчеркивая эти три стороны творчества Сундукяна, особенно выделяет — как самое значительное качество пера великого драматурга — его демократизм, или «народолюбие», как он выражается.

В своих эстетических взглядах, как и в творчестве, Ширванзаде, однако, остался в рамках демократического писателя-гуманиста. Он не поднялся до понимания роли социалистической литературы и социалистических идей. Правда, во многих его высказываниях и мыслях о литературе и искусстве чувствуется не только влияние лучших традиций армянской литературы — традиций Абовяна, Налбандяна, но и влияние творчества Белинского, Толстого и особенно Горького. В своих статьях и спорах он часто ссылается на высказывания этих писателей, как высших для него авторитетов.

Деять последних лет своей жизни Ширванзаде провел среди своего освобожденного народа, сбросившего с себя узы нищеты и рабства. В 1926 году переехав из-за границы в Советскую Армению, он с большой энергией и вдохновением включился в культурную и литературную жизнь республики. Несмотря на преклонный возраст, Ширванзаде продолжал весьма плодотворно работать. Он закончил и издал свои замечательные мемуары «В горниле жизни», содержащие огромный, ценный материал о полувековой социальной и культурной жизни армянского народа, написал комедию «Сват Моргана» и сценарий «Последний фонтан», продолжал активно выступать со статьями о литературе и искусстве. Во всем творчестве Ширванзаде последнего периода чувствуется огромное вдохновение писателя, теплое, радостное отношение к жизни, стремление стать полезным новому искусству, своему освобожденному народу.

В 1930 году трудящиеся Закавказья как большой праздник культуры отметили 50-летие литературной деятельности замечательного писателя, творчество которого одинаково близко народам трех республик. Правительства Грузии, Армении и Азербайджана присвоили ему звание народного писателя Грузии, Армении и Азербайджана.

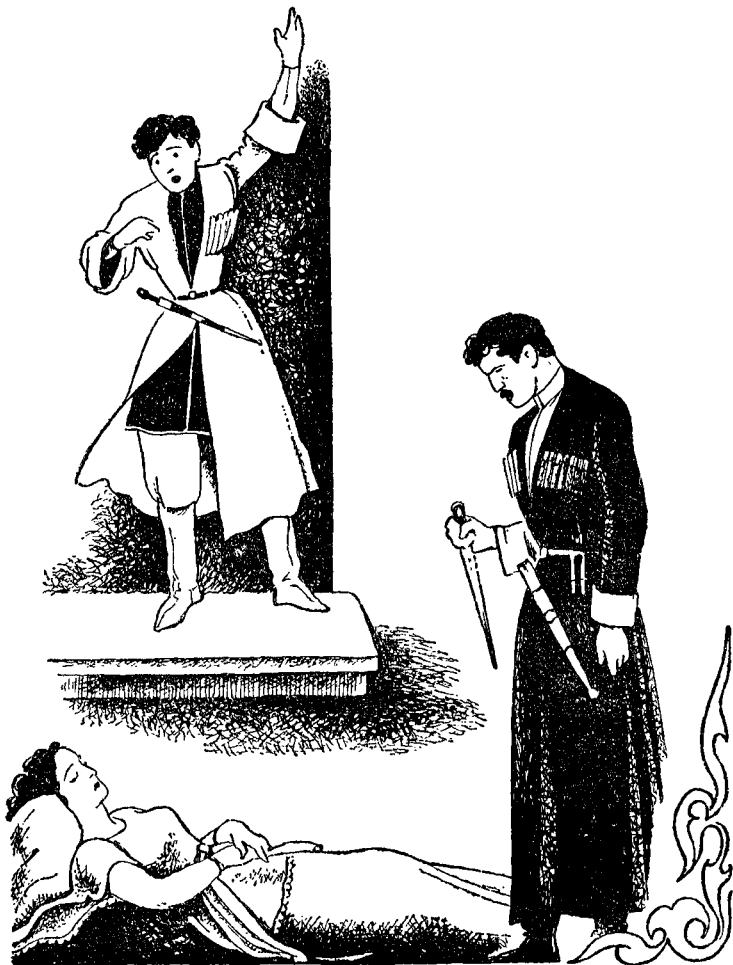
В 1934 году, за год перед смертью, Ширванзаде участвовал в работе Первого Всесоюзного съезда советских писателей. С огромным вниманием и уважением съезд выслушал выступление выдающегося армянского писателя, в котором он говорил: «Я человек старого поколения, я видел три режима, трех царей... Мне 76 лет, но, уверяю вас, я никогда не чувствовал себя таким свободным, таким счастливым, как в последние восемь лет, которые я провел в советской стране. Меня часто спрашивают: «Что вы делаете, чем вы питаетесь, что не стареете?» А не старею я потому, что живу при советской власти, и я еще буду жить, потому что мне хочется последние свои силы — даже не последние, а предпоследние — отдать Советской стране».

Г. Манасян.



РОМАНЫ





HAMYC





*С глубокой признательностью
посвящаю моей матери,
Овсанне Мовсесян.
Автор*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Страшное бедствие разразилось над Шемахой в мае 1859 года. Цветущий губернский город мгновенно превратился в груды развалин. Тысячи семейств спокойно отдыхали у себя дома, не подозревая о надвигавшемся на них несчастье; сильным подземным толчком они были выброшены на улицу. Вопли и крики сорокатысячной толпы сливались с грохотом рушившихся стен и крыш, с ревом перепуганных животных и воем собак.

Первые минуты каждый думал только о себе. Матери, объятые неопишным ужасом, забыли о детях, за которых они в иное время готовы были отдать жизнь.

Но вот смятение слегка улеглось; люди, столпившиеся посреди улицы, поодаль от рушившихся стен, пришли в себя и стали разыскивать родных и знакомых. Истериические вопли, рыдания и крики слышались кругом.

— Ай, брат мой! Ай, брат мой, где ты? — кричит молодая девушка.

Она неистово рвет волосы и бьет себя в грудь. Ей не приходит в голову, что по обычаю молодая девушка не

должна перед посторонними мужчинами даже рта раскрывать. Ей ни до кого нет дела. Безумным взглядом обводит она развалины, где заживо погребен ее любимый брат, а ведь всего лишь минуто назад он с ней разговаривал, шутил, играл... Простирая руки, мечется она по улице, умоляет помочь, вытащить мальчика из-под обломков, но у каждого свое горе и свои заживо погребенные. Наконец, обезумев, не видя ниоткуда помощи, она своими слабыми руками пытается отвалить первый тяжелый камень. Но камень не поддается. Девушка бьется изо всех сил, кровь брызжет из-под ее ногтей. Напрасно! «Будь ты проклят, бесчувственный камень!»

И вдруг она с ужасом вспоминает, что стоит на могиле брата. С криком пытается бежать, но ноги подкашиваются, и она падает.

— О моя жена, о мои детки! Добрые христиане, помогите, здесь они, здесь! — стонет кто-то неподалеку. Из-под огромного бревна видна женская голова. Лица не распознать, до того оно изуродовано, разбито. Тут же две детские головки и две пары рученок. В одной яблоко, в другой — кукла. Обезумевший отец тщетно пытается вытащить детей из-под бревна. Жена еле слышно стонет. Эта попытка тянется до тех пор, пока несколько более счастливых соседей не приходят на помощь несчастному.

В этот злополучный день подобные сцены встречались в Шемахе на каждом шагу: чудный город, гордость всего Кавказа, прославленный своими шелками и фруктами, превратился в глухое отсталое местечко.

* * *

В западной части города, в Молоканской слободе, ютятся рядом два маленьких одноэтажных домика. Оба скромные и невзрачные, они отличаются тем, что у одного есть окно на улицу, а у другого нет.

За час до землетрясения в одном из них у окна сидела женщина средних лет; это была Гюльназ, жена портного Бархудары. Поджав под себя ногу, она другой ногой упиралась в пол, покрытый ковром.

С улицы можно было разглядеть ее профиль. Лучи полуденного солнца, проникая сквозь железную решетку окна, освещали ее лицо.

На ее щеках, немного впалых, еще сохранился цвет юности, а большие черные глаза так и сверкали. Пышные волосы, выбиваясь из-под тонкой, цвета гвоздики шали, струились до самой талии.

Гюльназ вязала пестрый чулок, напевая вполголоса.

О горе мне! Меня схватили,
На вертеле изжарили,
Поели мясо, сыты стали,
А кости всюду разбросали.

Она была одна во всем доме. Бархудар еще не вернулся из мастерской, находившейся в другой части города, а их сын, пятнадцатилетний Смбат, был в школе.

Еатага ребятишек под самым окном затеяла игру. Гюльназ то прислушивалась к их шумным голосам, то выглядывала на улицу. Там вместе с детьми резвилась ее десятилетняя Сусан; мать горячо любила ее и все беспокоилась, как бы кто ее не обидел.

Эта миловидная девочка была очень похожа на мать. Даже Бархудар, любясь дочкой, часто повторял: «Господи, какое сходство! Ну, точь-в-точь две половинки яблока!» Но не только отец — сама Гюльназ удивлялась этому сходству. Глядя на Сусан, она видела себя ребенком; как в зеркале, отражались в этом маленьком личике те же блестящие черные глаза с длинными ресницами, тот же правильный носик, розовые губки, цветущие щечки.

Среди детей, игравших с Сусан, был и одиннадцатилетний Сейран, сын Айрапета, горшечника, жившего в соседнем домике.

Между Сусан и Сейраном замечалась какая-то особая близость; это и понятно: дети жили рядом и часто встречались. Дружба эта особенно была заметна при драках и ссорах во время игр. Едва Сейран затеет с кем-нибудь драку, как Сусан уже бежит на выручку и своими маленькими цепкими ручонками что есть силы оттаскивает его противника, уцепившись за полу архалука. Если же Сейрану все же приходилось плохо, девочка бежала к его матери.

— Тетя Мариам, Сейрана бьют! — вся в слезах, дрожа от страха, призывала она на помощь.

И Мариам-баджи выбегала разнимать драчунов.

А если девочка затевала с кем-нибудь ссору, Сейран неизменно защищал ее.

Эта преданная дружба вызывала зависть у остальных ребятшек, а иногда и прямую вражду. Сейрана и Сусан дразнили, а подчас и награждали колотушками.

Все это было известно Гюльназ, поэтому она то и дело поглядывала на улицу. Лицо ее озаряла улыбка, когда она смотрела на свою Сусан. Ей не раз приходилось видеть, как личико ее дочки сияло от радости, когда Сейран, подойдя к ней, брал ее за ручку и тащил играть. Замечала она также, что Сейран явно грустил, не находя среди детей Сусан, хмурил брови и задумывался, если Сусан была чем-нибудь недовольна.

И тогда сердце матери начинало тревожно биться. Она вспоминала свое детство и глубоко вздыхала.

И вот, занятая своими мыслями, Гюльназ вдруг почувствовала сильный толчок. Она мгновенно поняла, в чем дело, бросила чулок и выбежала на улицу. Прежде всего она подумала о детях, затем о муже. Но Сибат был в школе: это далеко. Надо сперва отыскать Сусан.

— Гюльназ, Гюльназ! Где мои дети, мои дети?! — отчаянно кричала у ворот Мариам-баджи, мать Сейрана.

Ни жива ни мертва, не в силах крикнуть, Гюльназ замерла на месте. И вдруг почему-то бросилась обнимать соседку.

— Пусти! Возьми себя в руки! Нужно искать детей! — оттолкнула ее Мариам-баджи.

На мгновение Гюльназ обессилела, но материнская любовь заставила ее очнуться; она помчалась за Мариам, бежавшей куда глаза глядят. Взволнованные женщины забыли, что ведь дети играли возле дома и должны быть где-нибудь поблизости.

Несчастные матери рвали волосы, терзали себе до крови лицо и грудь, с воплями металась по улице; вдруг какой-то ребенок, бледный и в слезах, крикнул, задыхаясь:

— Тетя Мариам, вон там под землей Сейран и Сусан, скорей откопайте их, а то они умрут!

Слова эти, точно ножи, пронзили сердца обезумевших матерей; они бросились к месту, указанному ребенком.

— Ой, дитя мое! Ой!..

Этот дикий вопль мог вырваться только из груди матери при виде гибнущего ребенка.

Мастерские Бархудара и Айрапета помещались в одном квартале и в одном ряду. И здесь они оказались соседями.

Пока Гюльпаз, сидя у окна, вязала чулок, Бархудар работал у себя в мастерской. Поджав ноги, он сидел у небольшого столика и усердно шил.

Ему было лет пятьдесят; высокого роста, с густыми длинными усами, гладко выбритый, с круглыми карими глазами, глядевшими из-под нависших бровей, он был на вид худощав, но широкая спина и мощные плечи свидетельствовали о его крепком здоровье. Одет он был в капу¹ с откидными рукавами и трижды обтянутый голубым шелковым кушаком того же покроя архалук. Голову покрывала высокая остроконечная поношенная шапка черного бухарского каракуля; кое-где шерсть на шапке облезла.

Вместе с Бархударом работали подмастерье и три ученика. Своих помощников он и любил и ненавидел; бывал с ними то ласков, то строг, смотря по тому, в каком находился настроении. Когда Бархудар был доволен их работой и поведением, он чисто отечески заботился о них, делал им подарки, зазывал к себе домой обедать или ужинать; даже старался устроить им шагирдан² покрупнее. Когда же он бывал не в духе или работа подручных ему не нравилась; он мгновенно свирепел: лицо и глаза наливались кровью, и он, не помня себя, швырял в учеников чем попало: пожницами, аршином, огарками, а подчас даже раскаленным утюгом. А то вдруг вскочит с места, поднимет виноватого мальчишку выше головы и бросит оземь. И тогда подручному казалось, что он летит с высокого дерева, — до того высок был мастер. Мало того, побитый не смел даже громко заплакать: за слезы хозяин мог наказать еще раз. Обычно несчастный мальчик, забравшись в угол, тихо плакал, глотал горькие слезы. А Бархудар немного погодя подходил к нему и начинал утешать, читать наставления, причем не подавая и виду, что раскаивается в своей суровости.

¹ Капа — род верхней одежды.

² Шагирдан — своего рода «чаевые», ремесленники брали их с заказчика в пользу подмастерьев и учеников.

— Ну, будет, будет реветь. Вот снеси-ка лучше заказчику эту чуху¹, да смотри, без шагирдана не приходи.

И подросток вытирал глаза, быстро забывая о побоях.

Как раз перед самым землетрясением Бархудар учинил свою обычную расправу над одним из мальчиков. Он запустил в него все аршины и огарки и уже вскочил было для рукопашной расправы, как неожиданно зашатался и опять сел.

— Уста², скорей выходи, земля трясется! — крикнул подмастерье Саркис, одним прыжком вылетая на улицу.

Бархудар и подростки мгновенно выскочили за ним.

— Запирай скорей лавку, Саркис, я сбегаю домой.— И Бархудар, сняв зачем-то шапку, пустился бегом.

Бежать было далеко, в другой конец города, да еще в гору, а это уже было не под силу взволнованному портному.

Вскоре он встретил Айрапета.

— Все пропало, Бархудар! Все кувшины перебиты...

— Коза думает о своей жизни, а мясник о ее мясе,— не взглянув на соседа, ответил Бархудар поговоркой.

Соседи продолжали свой путь. Бархудар шагал по журавлиному; маленький Айрапет еле поспевал за ним.

Смятение в городе все еще продолжалось. На улицах кишел народ; Бархудар и Айрапет с трудом прокладывали себе дорогу. На каждом шагу встречали они картины одну ужасней другой. Вот с базара несут чей-то труп, обернутый ковром. Люди шагают молча, точно призраки, даже не плачут. Перед развалившейся лачугой сгорбленный старик дряхлыми руками бьет себя по голове: под развалинами остался его сын. А вот несколько ребятишек, припав к телу матери, так страшно воют, что волосы становятся дыбом. Посреди улицы женщина рыдает над телом маленькой дочери; у ребенка разможжена голова, и мать, хватая прохожих за полы, дико кричит:

— Верните мне мою крошечку, мою единственную надежду! Это вы, нехристи, ее закопали! Не могли вовремя спасти!..

Но прохожие, мельком взглянув на ее налившиеся кровью глаза, только качают головами и, пробормотав: «рехнулась», спешат дальше.

¹ Чуха — верхняя мужская одежда.

² Уста — мастер.

Наконец Бархудар и Айрапет на своей улице.

Еще издали Бархудар заметил, что перед его домом теснится народ.

«Развалило, должно быть... Жена и дети погибли!» — содрогнулся Бархудар.

Айрапет тоже дрожал от страха. Навстречу им бежал бледный, взволнованный Смбат.

— И Сусан и Сейрана спасли. У Сейрана голова немного в крови... Но он не плачет, говорит — не больно... Смеется даже.

— А мать? Мариам-баджи? — спросил Айрапет.

— Живы, все живы. А я бежал к вам узнать, как и что. Торопитесь же, они все там, плачут.

Тут показались Гюльпаз и Мариам-баджи.

Мариам-баджи, видя мужа живым и невредимым, не смогла удержать порыв радости и бросилась было обнимать его, но, вспомнив, что они находятся на улице, отпрянула назад. Скромная Гюльпаз затаила свою радость.

— Все живы, — заговорила Мариам. — Сейрана и Сусан удалось спасти... Спасибо соседям, да помилует бог их покойников, спасибо, помогли вытащить детей.

— Ну, слава богу, слава богу! — в один голос твердили Бархудар и Айрапет.

— Только, Мариам-джан, разорились мы с тобой... Горшочки мои дзинь-дзинь... вдребезги... — сокрушался Айрапет. — Полное разорение... Точно кости мои трещали... Пойду взгляну, может, что и цело.

— Тьфу, надоел ты мне! — прикрикнул на него Бархудар. — Неблагодарный! Ты бы лучше перекрестился да бога благодарил, что все живы остались.

Оба домика уцелели. Только оградка кое-где пообвалилась. Бархудару с Айрапетом повезло; все лачуги соседей превратились в развалины.

Убедившись, что дети вне опасности, соседи отправились узнавать о судьбе родных и знакомых.

Часа через два они вернулись и рассказали, что, слава богу, все спаслись, только есть пострадавшие — кому голову помяло, кому сломало руку, ногу.

Но, видно по всему, народу много погибло. Человек пятьдесят, не меньше, — сказал Бархудар.

— Что ты? — перебил Айрапет. — Какие пятьдесят, когда весь город вопит... Ну, Мариам-джан, видел я свою

лавку: одна пыль. Словно кто нарочно перебил посуду. Все же я отобрал сотни две кувшинов больших, сотню маленьких, шесть карасов¹, дюжину чашек — мак растирать, да расписных двадцать восемь; а остальное — тью-тью!

3

К вечеру в городе стало спокойнее. Вместо оглушительного шума теперь слышен лишь тихий плач. Из отдаленной, тюркской части города несется треск цимбал и барабанов; в темноте мужчины, женщины и дети отчаянно зывают: «Шах Гуссейн, вах Гуссейн!»². От страшных криков растет всеобщий ужас. Это семьи тюрков оплакивают гибель своих родственников.

Воздух стал немного чище. Пыль от развалин улеглась. На ясном небе ярко сверкают звезды. На ночь расположились кто на дворе, кто просто на улице — и в палатках и под открытым небом. Никто не решался оставаться дома: боялись, что толчок повторится.

Семьи Бархудары и Айрапета решили ночевать вместе. Гюльназ и Мариам разостлали на дворе несколько ковров и приготовили ночлег.

Вот уже двадцать лет эти две семьи связывает такая крепкая патриархальная дружба, какую не всегда удается встретить даже между близкими по крови, родственными домами. Они привыкли делить и радость и горе, и Айрапет при всяком удобном случае говорил Бархудару: «Сосед, подобный тебе, дороже двадцати родичей». Если один из них попадал в затруднительное положение, другой спешил помочь ему.

Бывало, скажет Айрапет соседу:

— Бархудар, а ведь вчера на базаре этот скряга Саркис опять пристал ко мне.

— Да чего он хочет?

— Получить за лавку.

— Ну, ладно.

¹ Карас — большой глиняный кувшин для вина.

² Молитвенный возглас у мусульман.

И на другой день Бархудар выручал соседа, рассчитавшись за него с надоедливым Саркисом.

Такая дружба помогала обоим семействам жить, почти не зная нужды.

— Суета сует. Сегодня в саду, завтра в гробу,— любил повторять Бархудар.

Этой неразрывной дружбе дивились остальные соседи. Никак не могли они понять, что связало таких несхожих характерами людей. Об этом много было разных толков. Иногда рассуждали так: каким это чудом яблоко и груша умудряются расти на одной ветке? Ведь один — бешеный волк, а другой — кроткая овечка: как же это они могут дружить? В конце концов придумали такую разгадку: один — осел, а другой — седло...

Но, как бы то ни было, Бархудар с Айрапетом были друзьями, и это побудило их ночевать сегодня вместе.

Расположившись на мягком тюфяке, облокотясь на подушку, Бархудар покуривал из длинного чубука и о чем-то думал. Густые клубы дыма крепкой дагестанской махорки, выплывая из-под пышных усов, медленно тянулись и застывали в воздухе. Подле сидел Айрапет. Сморщившись и перебирая крупные четки, он тоже раздумывал о чем-то.

Неподалеку Смбат, подсев к лампе, перелистывал книгу. Мариам-баджи и Гюльназ тут же во дворе хлопотали с ужином, перекидываясь словами, а Сусан с Сейраном уже лежали рядком на отдельных постельках слева от Бархудара. Голова Сейрана была повязана красным платком.

Спокойствие детей, хладнокровно рассуждавших о только что пережитом землетрясении, могло бы пристыдить взрослых.

— Мне под землей не слышно было, как мычала красная корова,— заметил Сейран.

— А вот я слышала. Уж она мычала, мычала, меня даже дрожь пробрала.

— А что она, с рогами?

— Да. И каждый рог вот с это дерево.— Сусан показала ручонкой на тутовое дерево.

— И глаза у нее были?

— Ну конечно. Вот какие,— складывая пальцы, пояснила девочка.— Я видела и рога, и голову, и глаза — все

видела, все. Знаешь, она открыла рот и говорит мне: «Сусан, Сусан, я тебя проглочу». А из глаз, из ноздрей, изо рта так и пышет огонь, ни дать ни взять как из нашего большого тондира¹. Ты ведь видел наш большой тондир?

— Видел.

— Видел, какое пламя из него выходит, когда пекут хлеб?

— Да.

— Вот такое пламя выходило у коровы изо рта. «Пуф, пуф!» А язык, ой-ой, какой страшный! Точно поджаренный лаваш!

— Все ты врешь,— возразил Сейран, поправляя платок на голове,— не верю я тебе...

— Я вру? — и Сусан сердито подняла голову, откидывая со лба курчавые волосы.— А ты не знаешь, что под землей живет красная корова? Разве тебе неизвестно, что если ее выдоить и не оставить молока для теленка, она сердится, начинает бодаться, тряссти землю и закатывает детей, вот как нас сегодня? Эх ты, ничего-то ты не знаешь!

— Нет, я это лучше тебя знаю, а только ты врешь, что видела ее под землей.

— Нет, это ты врешь, будто я ее не видала.

— Ха-ха-ха!

— Смейся, а если не веришь, спроси отца.

— Ну, что вы там? Что за спор? — И Бархудар вынул изо рта недокуренную трубку.

— Да вот Сейран не верит, что под землей живет красная корова.

— Вот и неправда, я верю,— начал оправдываться Сейран.

— Есть, детки, есть корова. Кто же сегодня потрянул так землю? — объяснил Бархудар, нежно погладив дочь и поцеловав ее в лоб.

— Кто же мог рассердить корову? — спросил Сейран.

— А вот такие шалуны, как вы.

— Мы не виноваты, мы ничего не сделали.

— Как это ничего? Шалите, никого не слушаетесь, ссоритесь, деретесь.

¹ Тондир — особая печь, врытая в землю, на глиняных внутренних стенах которой выпекают хлеб — лаваш и чурек.

— Я не дерусь ни с кем, — оправдывалась Сусан.

— А я Сусан так люблю, так люблю, что не хочу даже отойти от нее. Зачем же мне с ней ссориться? — добавил Сейран.

— Ну и хорошо, очень хорошо. Старайтесь только и с другими ребятами дружить.

— Мы их не трогаем, они сами затевают драки, — ответили дети в один голос.

— Они завидуют нам, — продолжал Сейран. — Как только увидят, что мы с Сусан играем, сейчас же начинают над нами насмехаться, земли нам глаза засыпают. Ну, конечно, тогда и мы начинаем драться. Вот на днях Джангир хотел схватить Сусан за волосы, а я подскочил и такую дал ему затрещину, что он без оглядки удрал домой.

— А о чем же, Суси-джан, вы с Сейраном толковали под землей? — спросил Айрапет, оставляя свои четки.

— О чем? Не помню, забыла... Пусть скажет Сейран.

— Мы не говорили, а плакали, — объяснил Сейран.

— Довольно, Сейран, помолчи, а то голова заболит, — подошла Мариам-баджи и, прикрывая сына шалью, тихо заметила: — И зачем напоминать ребенку об этих ужасах, так он и заболеть может.

— Не твое дело. Пусть говорит сколько хочет, по крайней мере храбрецом будет, — оборвал жену Айрапет. — Ну, так рассказывай, сынок, как вас придавило.

Сейран только этого и ждал. Приподнявшись и поджав ноги, он начал:

— Сусан, Сусамбар, Тагуи, Зазар, Сапани, Хатай, Нурджи и Урусик играли в куклы, а я смотрел. Вдруг — грр-грр — и земля и небо так задрожали. У меня в голове закружилось, и я едва устоял на ногах. Все разбежались, осталась только Сусан. Убежал бы и я, да Сусан ухватилась за меня и не пускает. Тут что-то стукнуло меня по голове, я едва успел крикнуть и упал. Упала и Сусан рядом со мной. Бедняжка так плакала, что я чуть с ума не сошел. Потом пачала на нас сыпаться земля, только нас не задавило: мы лежали под дверью. Сусан от страха обняла меня, заплакала и стала кричать: «Ой, мама, мама!» Тут у меня голова заболела, и я стал задыхаться. А Сусан знай твердит, что это красная корова, которая живет под землей и теперь сердится на нас. Потом... потом я говорю Сусан: «Давай, когда мы отсюда вылезем, то больше ша-

лить не будем, красную корову сердить не станем и будем любить всех детей и соседей». А Сусан в ответ: «Я буду всех любить, клянусь моим единственным братом, только бы отсюда выбраться и маму увидеть». И оба мы заплакали. Уж так мне было жаль Сусан. Потом... потом... нет, не скажу.

И Сейран, опустив голову, исподлобья посмотрел на Сусан. Лицо его густо покраснело. Сусан зорко смотрела на него.

— Что же такое случилось потом? — спросил Айрапет, погладив голову сына.

— Потом я притянул к себе Сусан и поцеловал ее. А что было потом, уже ничего не помню.

— Кого поцеловал?

— Сусан.

— Ай, молодец! — воскликнул Айрапет, кладя руку на плечо сына и глядя ему в глаза.

— Врет, все врёт, неправда, не целовал он меня, — вспыхнула Сусан; ее розовые щечки зарделись еще ярче.

— Нет, поцеловал, ты забыла.

— Ну ладно, ладно, Сусан, не сердись, что за беда, если брат поцеловал сестру, — успокоил детей Бархудар и нежно взглянул на них.

Дети замолчали. Бархудар опять закурил трубку и снова задумался.

4

Ужин поспел. Мариам-баджи и Гюльназ, соперничая в усердии, спешили разостлать чистую синюю скатерть и расставить на ней все, что у них нашлось: картофель, мацун, вареную курицу, яйца, шашлык из барашка, маринады, зелень. Кроме того, Гюльназ поставила перед мужем большую бутылку крепкой виноградной водки.

подав все это, женщины сели в стороне.

— Ужин начался. Стаканы наполнялись и осушались до дна так торопливо, как будто соседи пытались залить водкой самое воспоминание о страшном дне. Айрапета водка разобрала скорей, чем Бархудара: он до того повеселел, что даже забыл о своих горшках и кувшинах. Сбросив тяжелую папаху, он попробовал затянуть песенку про

Кер-оглы¹. Однако Бархудар остановил соседа: нехорошо, город в трауре, все во дворах, слышат и, чего доброго, осудят.

— Жаль, Бархудар, жаль. Чувствую я себя очень тоскливо, а песенка-то как раз и помогает. Э-хе-хе, и то сказать: все на этом свете суета сует! И отец Матал недаром говорит: «Из земли взят, в землю отыдешь». Эх! Ну, да ничего, тужить не стоит — на все божья воля, все испытания он посылает. Вот захотелось ему проучить нас, и проучил. И здорово проучил, скажу я вам! А кувшинчики мои — трах-тарарах! Ах, кабы ты знал, как сердце мое болело, когда они посыпались... Все же как ни толкуй, а товар. Да пу их к черту! Сколько людей погибло, а я о кувшинах! Хоть бы все перебилось, не жаль: за один волосок Сейрана и Сусан отдам все кувшины.

Он залпом проглотил стакан водки, вытер платком свои короткие усы и перекинул его через плечо.

Но Бархудар, прилежно истреблявший закуску, только делал вид, что слушает приятеля: мысли его были далеко.

— И сколько ни думай, Бархудар, все равно из ста копеек больше рубля не выйдет, и земля не будет держать нас дольше, чем положено. Мариам, Гюльназ, идите-ка сюда, выпейте, отведите душу.

Бархудар продолжал закусывать, запивая маленькими глотками. Когда же Айрапет замолчал, он вдруг вытер усы, взял в одну руку бутылку, в другую стакан и заговорил:

— Послушай-ка, Айрапет, что мне пришло в голову... Давай сюда твой стакан.

— Пускай приходит тебе хоть тысяча мыслей, только бы добрых... Ну, что же, наливай: коли таков твой приказ, ничего не сделаешь, надо пить.

И Айрапет подставил стакан.

— Рассказывай, что надумал, если только мысли твои угодны богу.

— Надеюсь, что угодны. Прежде всего, Айрапет, выпьем за здоровье Сусан и Сейрана. Милосердный господь, пощадивший нашу старость и наших детей, да сохранит их и впредь.

¹ Кер-оглы — народный легендарный герой.

— Да сохранит и да оберегает сильной рукой. Молодчина, Бархудар, умеешь ты так сладко сказать, что жизни не жалко за такое словцо.— И Айрапет одним духом осушил стакан.

— Вот уже сколько лет, Айрапет, живем мы по соседству и ведь, сдается, ничем друг друга не обижали.

— Сушая правда. Ни одного дурного слова ни я тебе, ни ты мне не сказал.

— Не только мы с тобой, но и жены наши всегда жили в любви и согласии. Это приятно богу и людям. Мать не родила мне брата, Айрапет, но, клянусь тебе, ты мне его заменяешь. Ведь если посмотреть на нынешних братьев, готовых горло перерезать друг другу из-за денег, так поневоле скажешь: «Царство тебе небесное, мать моя, за то, что ты не оставила мне брата». Как знать, он мог тоже походить на других, как вон Гурдушанц Ефрем и Григор. Клянусь богом, Айрапет, как посмотрю я на нынешних, как подумаю, волосы дыбом встают, мороз пробирает до костей,— до того испакостился народ: ни стыда, ни совести, ни чести. А уж о чести лучше не вспоминать, днем с огнем ее не сыщешь, вот что! Что же теперь остается богу, как не посылать на наши грешные головы страшные кары, вроде сегодняшней. А заодно с грешником страдает и праведный, невинные терпят за чужие грехи; знаешь, как бывает в печке: когда сухие дрова разгорелись, не сдобровать и сырым. В людях ровно ничего святого не осталось: убивают воруют, врут, ничего не боятся. Сапожник, например, норовит сшить сапоги из гнилой кожи, портной так и смотрит, как бы урвать у заказчика каждый лоскут сукна... Да всего и не перечешь. Одним словом, я хочу тебе сказать, что люди до того мне опротивели, что я ни с кем и связываться не хочу, не желаю ни с кем иметь дела. Один только есть человек, которого я уважаю, это ты, Айрапет. Не подумай, что я лицемерю, нет. И сейчас я пью за твое здоровье; дай бог, чтобы наш братский союз длился до самой могилы.

— Аминь, аминь,— тихо промолвили обе женщины.

— Дети уже спали. Хмельной Айрапет долго таращил на Бархудара свои заблестевшие от выпитого вина глаза и вдруг, не выдержав, заплакал.

— Вот ты плачешь,— продолжал участливо Бархудар,— а если я тебе скажу, что я надумал, ты непременно

но начнешь улыбаться и радоваться будешь, потому что скажу я тебе кое-что хорошее.

— Говори, говори, Бархудар-джан, а то у меня язык отнялся.

— И думаю я теперь, Айрапет, что нам с тобой надо так закрепить нашу дружбу, чтобы никакая черная кошка не могла пробежать между нами и никакая вода не могла нас разделить. Да ты, кажется, спишь?

Айрапет и в самом деле дремал. От усталости, волнений и крепкой водки веки его смежились, голова повисла и бессильно качалась, как спелая груша на тонкой ветке.

— Нет, я не сплю, продолжай. У меня что-то в голове неладно, но я все слышу и понимаю.

— Тогда слушай.

Айрапет с трудом поднял голову, раскрыл глаза; лоб его наморщился, брови поднялись, глаза уставились на Бархудару. В этих глазах сверкало явное любопытство.

— Давно уже я заметил,— продолжал Бархудар,— что у моей Сусан и твоего Сейрана дружба, как у брата с сестрой. И как хорошо было бы, Айрапет, если бы мы с тобой благословили их любовь. Нынешний день знаменателен для всех нас, а особенно для наших детей, так давай сегодня же решим их судьбу. Я тебе хочу сказать, что я дарю мою Сусан твоему Сейрану. Она уж не маленькая, не пынце-завтра по обычаю нашему придется запретить ее дома, чтобы она в глаза не видала молодых людей, как подобает честной девушке из доброго семейства. Поверь, Айрапет, я говорю тебе все это от чистого сердца и от слова своего не отступлю, но только в том случае, если из Сейрана выйдет порядочный человек. А если он окажется шалопаем, я Сусан ему не отдам. Слышал? Ну, а теперь отвечай, хорошо ли я придумал.

Пока длилась речь Бархудару, Гюльназ и Мариам-баджи шушукались все оживленнее и громче. Но Айрапет не сразу мог ответить.

Несколько минут он точно ошеломленный смотрел на соседа и вдруг, схватив шапку, ударил ею о землю.

— Мариам-джан, Мариам, скорей сюда, скорей!

Удивленная Мариам-баджи подошла, прикрывая рот концом шали. Айрапет ухватил ее за подол, точно боялся, что она убежит.

— Мариам-баджи, ты не будешь дочерью твоего отца, не будешь человеком, если сейчас соврешь. Перекрестись — вот так, а теперь говори, сколько раз я думал о том же самом, о чем сейчас говорил Бархудар? Ну, что ж ты молчишь, язык, что ли, отнялся? Не раз я повторял тебе, как было бы хорошо помолвить наших детей. Ведь правда?

Мариам кивнула Бархудару в знак того, что Айрапет сказал правду.

— Нет, нет, вслух скажи, не стесняйся, — настаивал муж.

— Правда, — пробормотала Мариам-баджи.

— Слышишь, Бархудар? Ура, ура, ура-а... Ну, так давай выпьем теперь за Сусан и Сейрана.

Мариам-баджи опять пошла к Гюльназ.

— Что вы там шепчетесь? Громче говорите. Как вы смотрите на это дело? — окликнул женщин Бархудар.

— Пошли им бог счастья, пускай растут и ожидают свадьбы. Коли будут счастливы, и для нас будет радость, — ответила громко Мариам-баджи.

— Надо чего-нибудь сладкого подать, — заметила Гюльназ.

— Не попробовать ли нашего варенья? — вмешался Бархудар.

— Сейчас, — заторопилась Гюльназ.

— Нет, постой, я сейчас принесу, — возразила Мариам-баджи, отталкивая Гюльназ.

— Нет, я хотела...

— Так у нас свежее, я только что сварила.

— У нас апельсиновое!

— А у нас розовое!

И женщины в горячке спора не давали друг другу двинуться.

— Ну, чего вы раскудахтались, — закричал Айрапет и швырнул в них шапкой. — Живей идите!

— Несите обе, — сказал Бархудар, — посмотрим, чье лучше.

Тотчас на скатерти явились блюдечки с разнообразным вареньем.

От шума проснулись дети.

— И мне варенья, — попросила Сусан, протирая сонные глазки.

— Мне тоже, — протянул Сейран.

— А мне разве не дадите?..— раздался голос Смбата. Оделив всех вареньем, Бархудар сказал:

— Суси, сегодня мы тебя и Сейрана подарили красной корове.

— Нет, нет, не хочу, я боюсь ее.

— А вот я не боюсь, я на рога ей сяду,— расхрабрился мальчик.

— Да вы не бойтесь,— успокаивал Бархудар,— хоть мы вас и подарили корове, а жить вы будете с нами. Мы только для того хотим ей сделать этот подарок, чтобы она больше не сердилась и не зарывала вас в землю.

— Пью за моего Сейрана и за мою Сусан,— перебил Айрапет.— Да благословит их господь и даст им дожить до венца, до светлой радостной жизни... А теперь, Сейран, целуй свою невесту, как ты ее целовал сегодня под землей.

— Какую невесту?

— Сусан. Мы вас обручили. Теперь ты жених.

Дети сконфузились, покраснели, однако Айрапет заставил их обняться и поцеловаться.

— А теперь, детки, становитесь на колени и помолитесь вашими невинными устами, чтобы господь сохранил вас от всякого зла и бесчестья,— сказала Мариам-баджи.

Опустившись на колени, дети повторили вслед за Мариам-баджи «Отче наш» и другую молитву, просьбу к богу, чтобы землетрясение не повторилось.

Потом все улеглись.

5

Землетрясение, однажды исказив облик Шемахи, как будто поклялось не забывать ее и впредь.

Шли годы, а тревога не оставляла город. Он походил теперь на корабль без руля и якоря, брошенный в бушующем море на произвол судьбы. Можно было подумать, что у земли не хватает силы выносить его тяжесть. Точно дикая необъезженная лошадь, шарахающаяся при виде седла, шемахинская почва вставала на дыбы, трясла спиной, не желая оставить камня на камне.

— Содом и Гоморра,— рассуждали старики, качая седыми головами.

В конце концов губернские учреждения пришлось перенести в Баку. Новое несчастье для города! Теперь он уже совсем замер: торговля стала падать, население беднеть. Многие покидали насиженные местечки и поселялись в других городах, чтобы на чужбине добыть кусок насущного хлеба. Переселялись главным образом армяне: как раз в эти годы в Кубе и Дербенте широко развилось производство марены. Кое-кто уезжал в Баку, в глухие уголки Дагестана, в Петровск, Темир-Хан-Шуру.

Бархудар и Айрапет не последовали этому примеру. Первый рассуждал: «Я азиатский портной и шью больше для местных, а они, слава богу, никуда отсюда не уходят. Они куда умнее нас: дедовских очагов не разрушают, не пускаются, подобно нашим армянам, скитаться и бродяжничать. Если кому суждено заработать себе на хлеб, он и здесь заработает». А второй говорил: «Не все ли равно слепому, где жить,— здесь или в Багдаде. И куда я пойду со своими кувшинами? Потом, что ни говори, а Шемаха благодатный уголок. Хоть и грешно признаться, а все же землетрясение принесло мне не одни убытки, а и прибыль: у всех перебило кувшины и горшки, теперь все берут у меня новые, только успевай заготавливать».

Итак, соседи остались в Шемахе.

Их дружба продолжалась; теперь возникла между ними еще и новая связь чисто родственного свойства. Гюльназ и Мариам-баджи исполняли все, что требовалось по обычаю от добрых свойственниц.

Бывало, на масленице, еще до чаю, заря едва занялась, а уж Мариам-баджи, дрожа от холода, спешит к Гюльназ с двумя плотно закрытыми тарелками гутаби и биши¹, чтобы светик Сусан смогла покушать их горячими. А на пасху, глядишь, Гюльназ торопится к дому Айрапета: в шали у ней завернут десяток крашеных яиц. Поцелует она Сейрана в лоб и щеки: «Вот возьми, голубчик, поиграй с детьми, попытай счастья».

Через год после землетрясения Айрапет по совету соседа определил Сейрана в школу, где учителем был Саркис, обучавший и Сибата, сына Бархудара.

¹ Г у т а б и и б и ш и — печенье, приготавливаемое на масленицу.

— Авось научится хоть черное от белого отличать, не то что мы с тобой,— куда мы годимся? — посмеивался Бархудар.

В первый же год Сейран своими способностями привлек особенное внимание учителя Саркиса. Года еще не прошло, а он уже одолел букварь и псалтырь. Но в следующем году, когда дело дошло до евангелия, мальчик начал лепиться и неохотно посещал школу. Чего только не делал Саркис, чтобы вылечить ученика от лени! Испробовал даже испытанное средство — розги — ничего не помогало. С каждым днем Сейран ленился все больше. Он даже ухитрялся обманывать мать: скажет ей, бывало, что идет в школу, а сам спрячет книги во дворе и бежит на улицу поиграть с ребятами.

Сначала Айрапет читал ему наставления, сулил подарки; наконец, убедившись, что ничего не помогает, тоже принялся, по примеру учителя, за порку.

— Из-за розог учителя я школу бросаю, а ты меня еще и дома бьешь,— рыдал Сейран, утираясь рукавом архалука.

Раз, задав ему урок, учитель сказал:

— Смотри, Сейран, вот отсюда и досюда изволь выучить к завтрашнему дню, да так, чтобы отвечать без запишки, чтобы слова, как вода, лились. Понимаешь? Как вода! А не будешь знать, исколочу до полусмерти, шкуру с тебя спущу.

— Вот сй-богу, отвечу так, как вода льется,— клялся Сейран.

Ему только что досталось от учителя. И чтобы отплатить, он решил сыграть шутку. Вспомнив приказание выучить урок так, чтобы слова лились, как вода, он с утра отправился к роднику и вымочил всю книгу.

— Вот,— протянул он учителю книгу, со страниц которой капала вода.

— Что ты наделал? — взбесился учитель.

— Вода...

— Так ты, негодяй, еще издеваться надо мной вздумал?!

Взбучка, полученная Сейраном в этот день в школе, оказалась последней. Больше он к Саркису не пошел, как ни бился с ним отец.

Убедившись, что из учения ничего не вышло, отец взял Сейрана из школы и отправил к Бархудару учиться портняжному мастерству.

Все же три года, проведенные Сейраном в школе, не остались для него без пользы: он выучился кое-как читать и писать.

6

Бархудар не возражал, когда Гюльназ просила отдать Сусан в школу монахини Эрикназ.

— Ну что ж делать, пускай учится. Теперь без этого нельзя. Вот знай мы с тобой грамоте, не пришлось бы нам сегодня к священнику ходить, чтобы узнать, когда пост начнется.

Накинув на Сусан шаль и окутавшись чадрой, Гюльназ повела дочку к монахине.

— Вот возьми ее в учение, только уж не очень наказывай.

Целых три года Сусан пробыла в школе. Каждое утро ее отводил туда Смбат и с ним же она возвращалась домой. Когда Сусан научилась читать и «сочинять письма», Бархудар взял ее из школы.

Она росла не по дням, а по часам. К четырнадцати годам она уже превратилась в девушку, высокую и стройную. Черты ее стали резче и выразительней. Теперь, когда она оставила школу, родители уже не позволяли ей показываться посторонним мужчинам и держали взаперти. После беззаботных детских лет этот родительский запрет очень тяготил юную девушку; она постоянно тосковала. Ведь она с детства привыкла резвиться с подругами то на улице, то во дворе у соседей, и как же трудно ей было теперь, особенно в ясные солнечные дни, безвыходно сидеть в комнате подле матери, за вечным вязаньем. Правда, со временем она стала свыкаться с этой жизнью, но легче ей от этого не было.

После землетрясения прошло ровно девять лет. В один прекрасный летний день Сусан занималась своим обычным вязаньем в сених; подле нее сидела подруга ее детства Сусамбар, дочь Егии, сапожника-соседа. Это была девушка лет восемнадцати, среднего роста, тощая, с бледным, исхудалым лицом. Красивой ее назвать нельзя было,

но она могла нравиться: темно-синие выразительные глаза ее светились природным умом. Наклонив голову, она молча вязала. Сусан тоже молчала.

День понемногу догорал. Солнце, скрываясь за горизонтом, озаряло золотом своих последних лучей дома и стены полуразрушенного города. Напротив сеней, в густой листве огромного тутового дерева, над обвалившейся оградой чирикали воробьи. Слушая эту говорливую птичью стайку, как было не подумать, что там идет оживленный спор? Однако о чем шел спор и какую именно задачу решали воробьи, понять было невозможно. Очень может быть, что речь шла о солнце. Ведь они так чирикают и по утрам при восходе солнца.

Девушки молча продолжали работать. Грустные морщинки набегали на лоб Сусан, она опустила голову, и плотно сжатые губы показывали, что она о чем-то напряженно думает. Сусамбар по временам поднимала голову, откидывала со лба пряди волос и смотрела на подругу. Но та не замечала этих взглядов.

Наконец Сусамбар отложила свое вязанье.

— Слушай, Сусан, у меня, кажется, сердце разорвется от тоски, брось ты это чертово вязанье, давай поговорим. Молчание.

— Да ты не слышишь, что ли?

— Что?

— А, чтоб тебе, — экая ты противная!

— Сама противная! Ну, чего ты ко мне пристала?

— Говорю тебе, брось ты эту гадость, и так пальцы отекли. Отдохнем да поговорим.

— А о чем говорить? — тяжело вздохнула Сусан.

— Сначала отложи спицы, тогда скажу, о чем, — ответила Сусамбар, вырывая чулок из рук Сусан.

— О господи, — опять вздохнула та.

— Ну чего ты вздыхаешь? И меня ты измучила своей печалью. Хоть что-нибудь веселенькое скажи, авось душу немного отведем.

— Да говорить-то не о чем: ни слов, ни мыслей...

— Это почему? Тебя обидел кто-нибудь?

— Сусамбар, ты помнишь день землетрясения?

— Еще бы.

— Ах... какие это были дни! Помнишь, как мы с Сейраном очутились под землей?

— Помню, как сегодня.

— Хорошие были дни!

И Сусан опять вздохнула.

— Есть о чем вздыхать! Подумаешь, какое счастье очутиться под развалинами.

— Да я тоскую не об этом.

— А о чем?

— Мне вспоминаются те счастливые дни, когда можно было бегать босиком, не знать чадры и играть сколько душе угодно.

— С кем же? С Сейраном? — хитро улыбнулась Сусамбар.

Сусан покраснела.

— Что это с тобой? Видно, попала в больное место?

— Опять ты... Без глупостей не можешь...

— А что же, разве неправда? Почему же ты покраснела, когда услышала про Сейрана?

— И ничего не покраснела. Сочиняешь ты все,— оправдываясь, Сусан покраснела еще больше.

— Отчего же у тебя щеки горят, как маков цвет? Ну да хорошо, не буду больше говорить о Сейране, бог с тобой.

— Чтоб ему провалиться, этому Сейрану! Что он за птица такая, чтобы из-за него мне еще краснеть! — ответила с досадой Сусан и смутилась еще сильнее.

— Как? И ты решилась это сказать? Попадет же тебе за это от твоих родителей. Разве так говорят о своем суженом?

Сусамбар говорила все это умышленно, чтобы рассердить подругу. Но Сусан уже пришла в себя и опять задумалась.

«И в самом деле, как у меня язык повернулся так проклинать единственную опору родителей?» — и сердце ее болезненно сжалось.

— О чем же ты грустишь? Ведь тебя почти с колыбели с ним помолвили. Не сегодня-завтра обручение, а там справят пышную свадьбу с песнями и зурной... Тебе хорошо, ты не засидишься, как я, не будешь ждать...

Как видно, Сусамбар хотелось опять позлить Сусан.

— Перестань, Сусамбар, не говори об этом больше, заклинаю тебя твоим братом.

— Ну, коли заклинаешь братом, буду молчать. Уж не думаешь ли ты, что я тебе завидую? Боже упаси! Я жду не дождусь твоей свадьбы, хочется поплясать и похлопать в ладоши, когда тебя в церковь поведут. Нынче же буду просить родителей, пусть сошьют мне платье понарядней. Заранее надо им сказать, чтобы к свадьбе все было готово, а то на них-надежды мало. Пока сто, тысячу раз не скажешь, пока горло от крика не пересохнет, пока не доведешь себя до изнурения, они палец о палец не ударят, чтобы хоть платок головной купить. Вот целый год хожу в этой рваной шали, готова со стыда хоть сквозь землю провалиться, из дому выйти совестно, а родителям хоть бы что. А ведь я девушка на выданье. Сравни, как мы живем и как живет Зарнишап Огапджанян! Вот счастливица, полнешенек сундук у нес парядов, а вчера сама говорила, что ей еще парчовое платье шьют. Оттого она и важничает: ни с кем не разговаривает и нос задирает, точно губернаторская дочка. Еще хорошо, что лицом не вышла — рожка рожей, а то сй на этом свете и мста бы не найти. Нос вроде трубы, образина черная, будто в саже, зенки тарашит, точно проглотить тебя хочет.

— И как тебе, Сусамбар, не надоест? Будет болтать...

— Да разве промолчишь, глядя на этих богачек, ведь просто сердце разрывается от досады. И знаешь, Сусан, что я скажу тебе? Если бы, прости меня господи, я хоть бы на один час стала богом, я бы все у богатых отняла; и знаешь, что бы сделала?

— Ну?

— Я бы взяла и побросала все их богатство в море. Вот тогда и посмотрела бы я, как стали бы они рядить в парчу и бархат своих дочерей и невесток. Да, так бы я и сделала! — продолжала горячиться Сусамбар. — А вот любопытно, что бы сделала ты, если бы — прости меня господи (она перекрестилась) — хоть на один день стала богом?

— Ничего.

— Нет, ты по правде скажи, что бы ты стала делать?

— Ах, отстань. Ну, чего попусту болтать? Ведь это даже грех.

— А ты, милочка, все-таки скажи.

— Отвяжись.

— Отвяжись... Я у тебя не золота прошу... Скажи только слово, и я перестану.

— Я бы у богатых все взяла и отдала таким, как ты, чтобы перестали завидовать. Вот как бы я поступила.

— Уж я так и знала, что ты ничего умного не скажешь,—заметила Сусамбар со снисходительной улыбкой.

— А чем же плохи мои слова?

— Тем, что, если бы мне дали большое богатство, я бы на тебя тогда и смотреть не захотела.

— Начала бы важничать?

— Ну да, не хуже Зарншан Оганджян.

— Нет, я бы совсем не стала важничать. Что такое деньги? Грязь на руках. Смоешь — и нет ее. Отец говорит, что честность дороже денег.

— Говорить-то говорит, а только забывает, что без денег и честности не сбережь.

— Почему это?

— А вот почему. Ты знаешь сапожника Варака, отца Джаваир?

— Слыхала про него. Отец его очень хвалит, говорит, что он честный и порядочный.

— А вот послушай-ка, что этот честный сделал.

— Что же?

— Украл.

— Ну?!

— Да, да... Да и как было не украсть? Ведь утопающий за соломинку хватается, с голоду и крапиву станешь есть. Он месяца два-три не платил за лавку. У бедняги даже гривенника нет, где же достать десять рублей? Ведь полон дом детей, еле-еле на хлеб хватает, а хозяин так и лезет с ножом к горлу: хоть из-под земли достань, а заплати. Варака к тому, к другому — никто не дает ему десяти рублей. Вот третьего дня является хозяин и говорит: «Если завтра к десяти часам не отдашь долг, я весь твой товар пушу с молотка, а тебя из лавки вон выгоню». У Варака от страха чуть штаны не свалились. Опять побежал туда-сюда, просит, молит: «Дети у меня умирают с голоду», — нет, опять ничего не вышло. Между тем хозяин от своих слов не отступает. Вот поутру засунул Варака за пазуху кусок заплесневелого хлеба и еле живой отправился в свою лавку. Идет и про себя богу молится: «Господи, по-

милуй, пошли мне десятку, чтобы долг заплатить». И только сел он за работу, входит вдруг к нему в лавку какой-то важный бек и заказывает пару шагреновых коши¹. Снимает наш Варак мерку, а бек достает большой кисет, набитый серебром, платит задаток и уходит. Уйти-то он ушел, а кисет, уж не знаю как это случилось, забыл. Увидал Варак кисет, и разбежались у него глаза, как у голодного волка. Сперва он хотел было догнать бека и деньги ему отдать, но тут пришло ему в голову: «А что если это сам господь бог внушил беку забыть кисет для спасения бедного сапожника?» Подумал он, подумал, глубоко вздохнул и начал считать, сколько в кисете денег. Вышло ровным счетом двенадцать рублей. Монетами по двадцать и по пятнадцать копеек каждая. Так и задрожал Варак и сунул кисет под тюфячок. Часу не прошло, прибегает бек, весь запыхался. «Мастер, не у тебя ли я забыл кисет с деньгами?» — «Не знаю, поищи». Ищут, ищут, а найти не могут. Бек все не отстает, а Варак свое твердит: «Небом и землей клянусь, клянусь верой, ничего я не видал». Бек совсем уж поверил его клятвам и уходить собрался, вдруг видит: из-под тюфячка выглядывает кисет. «Так-то ты божился? А это что?» Несчастный Варак так и застыл на месте. У бека глаза кровью налились; схватил он свой кисет и стал бить им Варака по лицу и голове, пока бедняга весь в крови не повалился без чувств. Теперь лежит он дома и горько плачет. «Пятьдесят лет,— говорит,— жил честно, дорожил своим именем, и вот теперь осрамился на весь город». Выживет ли, еще неизвестно.

И Сусамбар наставительно посмотрела на Сусан.

— Вот видишь, до какого греха может довести бедность.

— Ах, несчастный! — с искренней грустью воскликнула Сусан.

— Так вот, пусть теперь не говорит твой отец, что деньги пустяк. Нет, голубушка, деньги штука важная. И Заршан поступает правильно, когда нас с тобой в грош не ставит. Терпеть я ее не могу. Взгляну на нее, зависть во мне так и забушует. Или я буду такая же богатая, как она, или она пусть будет такой бедной, как я. И знаешь, она все ведь видит и понимает, ненависть мою чувствует, хотя

¹ Коши — род обуви.

я с ней болтаю и смеюсь. Ну, скажи по правде, Суси, ты на ее месте не стала бы важничать? Поверь мне, что стала бы. И вот что я тебе еще скажу. Обе мы с тобой бедные девушки, значит можем разговаривать откровенно, а вот с Зарншан я откровенной быть не могу. Почему? Потому что, когда мне с ней приходится говорить, я поневоле гляжу только на ее платье и уборы, только о них и думаю. И сердце у меня до того колотится, что я никак не могу быть спокойной и искренней. Ее я терпеть не могу, а тебя люблю, потому что ты такая же бедная, как и я. Вот и говорю: сделайся я, прости меня господи, богом, я бы отняла у всех богачей все их имущество и побросала бы в море, чтобы они стали такими же, как и мы. Вот было бы хорошо! Все станут бедными, и никому завидовать не придется. Если же зависти на свете не будет, все станут простыми и добрыми и будут любить друг друга, как мы с тобой. Так я своим умишком рассудила. А ты что скажешь, Суси?

— У тебя, Сусамбар, совсем не умишко. Ты все понимаешь не хуже монахини. У кого это ты научилась только? Ведь наша монахиня об этом нам ничего не говорила.

— А ну ее, твою монашку! Что она может знать? А я не училась ни у кого. Сама до всего дошла.

— Ну, если ты такая умница, не ответишь ли ты мне на один вопрос?

— Хоть и на два, если сумею.

— Скажи, почему это родители нас держат взаперти, как воришек?

— Опять ты свое... У кого что болит, тот о том и говорит.

— Да нет, Сусамбар, ничего у меня не болит. Ну, право, я просто так...

— Хорошо. По-моему, у наших родителей не хватает ума.

— Как так?

— Разумеется... Если бы хватало, они бы нас не держали взаперти. Неужели, если я захочу что-нибудь сделать, мне можно будет помешать! Да я на тысячу хитростей пойду, умру, а сделаю по-своему.

— Объясни мне, Сусамбар, попроще, я тебя не понимаю.

— Что же тут непонятного? Я только хочу сказать, что если девушка захочет поиграть с пареньком, она так проведет своих родителей и так обделаает свои делишки, что сам черт ничего не узнает.

— Положим, наши девушки на это не пойдут.

— Гм... Пойдут... Уж многие пошли.

— Кто же, например?

— Да вот хотя бы Зарафиль Ашхананц. Чего только эта чертовка не выделявает с соседом Баласи! Что ты глаза таращишь? Неужели не видала? Эх, милая, у нас в городе не такие дела творятся...

И Сусамбар многозначительно покачала головой.

— Как же им не стыдно?

— Вот еще, стыдно! И прекрасно делают. Так и надо нашим родителям, отцам и матерям! Никакого стыда в этом нет... Вот взять хотя бы тебя с Ссайраном. Как хочешь скрывай, а ведь я отлично знаю, что ты все время о нем думаешь, а он о тебе, и если теперь...

Замолчи, замолчи! — закричала покрасневшая Сусан.

— Да уж не кривляйся! Или правда глаза колет?

— Довольно, сказала!

— Не бойся, никто не узнает. Из меня твою тайну не выжмешь, как из каштана масла.

— Если ты любишь меня, умоляю об этом больше не говорить.

— Ладно... Устала я, да и час уже поздний. Пора домой, па насест. А ты бы помешше думала, гляди, как похудела...

7

Прошла еще неделя. Поздним вечером Бархудар торопился дошить чуху для заказчика, собиравшегося дтя через два оставить город.

Тут же сидел один из подмастерьев, помогая хозяину. В углу дремали Гюльназ и Смбат. Сусан с крылечка смотрела вдаль.

Что за чудесный вечер! Молодая луна нежно сияла на синем летнем небе; под ее лучами серебрились мокрые от дождя листья тутовых деревьев. Скромные жители полуразрушенного города уже затворились в своих домах, и

только собаки, задирая головы, были на луну, нарушая уличную тишину. Чего хотели от нее эти несчастные твари — известно было только им одним.

Опираясь локтями о перила и положив щеки на ладони, Сусан задумчиво любовалась луной. Ее черные мягкие волосы роскошной волной струились по спине.

Влажная теплота пропитывала воздух; Сусан в своей тонкой накидке из красной тафты не чувствовала холода.

Длинная вереница неотвязных мыслей пронесется в ее голове, но ни одна не задерживается надолго. Вот детские годы, еще до землетрясения, когда такими же лунными ночами она сживала с матерью здесь, на балконе, и слушала ее рассказы о луне и о небе. Этим рассказам она и сейчас еще верит. Мать говорила, что небо когда-то было совсем близко — рукой подать, даже дотронуться до него можно было. Но как-то одна женщина подтерла ребенка «то место» лавашем¹ и выкинула этот лаваш. Тогда бог увидев такое надругательство над его первым даром, хлеб насущным, разгневался и отвел небо от земли. Что касается луны, то у Сусан нет никакого сомнения, что она была когда-то дочерью Марии. Очень красива была тогда луна, до того красива, что люди не могли взглянуть ей в лицо, и кто посмотрит — тотчас ослепнет, не вынесет такого сияния и такой красоты. Однажды, когда богородица Мария месила тесто для лавашей, вокруг толпились голодные дети, и между ними ее дочь, Луна. Луна была большая непоседа и все приставала к матери: «Мама, скорей пеки, скорей, мне кушать хочется!» В конце концов Мария разгневалась и рукою, что вся была в тесте, дала пощечину прекрасной дочери. И комки теста с тех пор остались на лице Луны.

«А ведь и вправду, вон сколько на ней пятен», — раздумывает Сусан.

Но теперь ей уже не до луны. Вереница новых неожиданных воспоминаний мелькает перед ней. Между ними одно не покидает сердце Сусан и заставляет его усиленно биться. Перед ее взором постоянно мелькает знакомый образ. Вот мальчик, без шапки, босиком, вскарабкался на вершину тутового дерева, как кошка цепляется он за тонкие ветки и проворными руками обрывает ягоды. На нем

¹ Лаваш — тонкий хлеб в виде лепешки.

белый ситцевый архалук, полы развеваются от легкого вечернего ветерка.

— Сейран, Сейран, смотри не упади, крепче держись! — кричит Сусан, глядя на него.

Сейран не слышит. Он занят только сладкими ягодами; их он рвет и набивает ими свои карманы.

— Брось и мне, Сейран, хоть ягодку! Что ж ты все один ешь?

И опять Сейран точно оглох. Можно подумать, что он забыл свою Сусан. И у бедной девочки, стоящей под деревом, сердце сжимается. Она нетерпеливо топает ножками, подергивает в недоумении плечиком и, кажется, сейчас заплачет.

Но вот, набив оба кармана, Сейран быстро спускается с дерева, подходит к Сусан и дает ей ягоды...

Вся во власти этих воспоминаний, Сусан вдруг почувствовала, что кто-то тронул ее плечо.

Точно проснувшись, она сняла руки с перил, поднялась и оглянулась. Перед нею стоял юноша среднего роста, черноглазый и смуглый. Он без шапки; на легком синем архалуке верхние пуговицы расстегнуты.

Сусан не сразу узнала его, и только хотела закричать, как юноша шепнул ей нежно:

— Что ты, не бойся, это я.

— Сейран, ты? Что тебе пужно? Почему ты так поздно пришел?

— Не разговаривай громко. Пойдем, я все тебе скажу. И он отошел с нею в угол балкона, так, чтобы их не могли увидеть из комнат. Сусан покорно пошла за юношей. Казалось, какая-то непонятная сила заставляла ее повиноваться Сейрану.

— Говори, чего тебе надо, и уходи.

— погоди, дай перевести дух, сейчас все узнаешь.

— Мама увидит, и мне достанется. Говори же.

— Я пришел повидаться с тобой.

— Ох, Сейран, боюсь я, что ты выбрал неподходящее время.

— А в другое время мне нельзя. И так сердце у меня не на месте. Мы так давно не виделись с тобой. Сколько раз я пробовал тайком к тебе пробраться, и все не выходило. Ну, как ты поживаешь теперь?

— Заперли Сусан... Так спрятали, что тебе уже не увидеть ее до...

— До свадьбы, что ли? А когда же будет свадьба?

— Этого я не знаю, но мне кажется, Сейран, что родители мои как-то переменялись. Должно быть, отец и мать знают о наших встречах.

— Не может быть.

— Нет, Сейран, третьего дня я шла из кухни в комнату. Слышу, говорят обо мне. Отец очень сердился, но, заметив меня, притих. Я только услышала, как он сказал матери: «Гляди в оба, не то, не дай бог, осяраемся на весь город».

— Это он, верно, не про тебя.

— Ах, нет, недавно дочь сапожника Егии мне намекала...

— Сусамбар?

— Да. Этой чертовке все известно.

— Неправда. Не верю.

— Нет, Сейран, ты уже больше не ходи ко мне.

— Как это можно, я с ума сойду. Разве тебе меня не жалко?

Сусан вздохнула.

— Когда-то меня мучили в школе, — продолжал Сейран. — Слова учителя не лезли мне в голову. И я каждый день удирал, чтобы увидеться с тобой. Теперь лавка гвозевого отца для меня место пытки. Вспомню о тебе, и в глазах потемнеет; тычу иголкой — и попадаю себе в пальцы. Ты ведь знаешь своего отца? Коли что не так, он всю душу выбьет.

— Неужели и тебя он колотит?

— Да, как раз мне и твоему брату достается пуще всех. «Я, говорит, быю вас, чтобы все другие видели, как я вас люблю и забочусь о вас». А у меня, Сусан, вся спина как есть в синяках. Живого местечка не осталось. Просто невтерпеж. Думаю сбежать от твоего отца, да только боюсь, что тогда мне и с тобой придется проститься. Так когда же свадьба?

— Пожалуй, не раньше масленицы.

— Как? Еще восемь месяцев ждать?

— Что поделаешь. Сейчас у отца и денег нет на свадьбу.

И Сусан опять вздохнула.

— Что ты, Сусан, такая грустная?

— Душа болит...

Они помолчали.

— А помнишь, Сусан, наше детство?

— Ну как не помнить, помню. Послушай, как у меня колотится сердце, точно пойманный воробушек. Отчего бы это?

И Сусан положила руку Сейрана на свою грудь. Другой рукой Сейран стал нежно гладить ее кудрявую головку. Если бы Сусан приложила ладонь к сердцу Сейрана, она почувствовала бы, что и у него оно бьется так же.

Еще несколько секунд тяжелого молчания.

Долго Сейран смотрел в глаза Сусан. Наконец, она склонила голову. Руки ее лежали на плечах юноши, и какая-то волшебная дрожь пробегала по всем ее жилам... О, какая сладостная, приятная дрожь! И в то же время точно какая-то ворожба сковала их языки. Но слова не могли бы выразить того, о чем твердили неумолчно бившиеся сердца.

Это тянулось, может быть, всего минуту, но эта минута определила навеки судьбу влюбленных.

Сусан как будто очнулась и отшатнулась от Сейрана.

— Ой, что я сделаю? Что со мною?

— Да что такое, Сусан? — смутился Сейран.

— Уходи, довольно!..

Сусан хотела убежать, но Сейран удержал ее.

— Пусти, если любишь... Сейчас может выйти мама, — упрашивала девушка.

— Постой, скажу тебе кой-что на ухо, тогда и уйдешь.

Сусан остановилась. Прижав ее головку к груди, Сейран жарко поцеловал девушку.

— Завтра в эту же пору жди меня здесь.

— Что он наделал! — прошептала девушка, отирая щеку рукавом. Но Сейрана уже не было.

— Кто здесь? — раздался зычный грубый голос.

Ответа не было.

— Сусан, это ты? Что ты здесь делаешь?

Молчание.

— Кто это сейчас побежал? Эй, кто это? — все громче и настойчивей кричал Бархудар.

Но никто не отвечал ему.

От стыда и страха Сусан не могла вымолвить ни слова.

Она стояла у стены неподвижная, смертельно бледная.

8

На другой день Мариам-баджи еще с утра погрузилась в хлопоты. Кроме нее, дома никого не было. Она поджидала Гюльназ: Мариам-баджи сообщила вчера Гюльназ, что собирается печь хлеб, и просила помочь ей.

Хотя Гюльназ обещала прийти еще на заре и время было уже не раннее, она не появлялась.

Мариам-баджи успела просеять муку и приготовить соленую воду, но соседки все не было.

«Пойти посмотреть, не случилось ли с ней чего,— решила было Мариам-баджи, но тотчас раздумала.— Ведь у них до четырех часов ночи горел свет; должно быть, муж все время работал, легла она поздно, пусть выспится, бедняжка».

Мариам-баджи поставила корыто, подстелила овчину и опустилась на колени, перекрестилась и приготовилась месить. Но не успела она засучить рукава и обозначить пальцем крестик на муке, как появилась Гюльназ.

— Наконец-то. Что с тобой? Где ты пропадала? Я тут совсем измучилась, дожидаясь.

— Прости меня, Мариам, никак не могла управиться пораньше.

— А что такое? На тебе лица нет.

— Так, ничего, вздор. Где же соленая вода? — и, откидывая шаль с головы, Гюльназ приблизилась к корыту.

— Дай хоть посмотрю на тебя. Не будешь же ты охать и вздыхать по пустякам. Я догадываюсь, в чем дело.

Гюльназ отвернулась. По ее печальному лицу, красным векам и влажным ресницам видно было, что она много плакала.

— Счастлива та женщина, у которой нет детей, — вздохнула она наконец.

— Типун тебе на язык, не говори ты больше таких слов. Скажи, что с тобой?

— Сусан нездорова.

— Да что ты? — переспросила Мариам-баджи, словно не веря своим ушам.

— Жар, лежит, всю ночь бредила.

— Наверно, продуло, простудилась. Надо кровь пустить да пиявки поставить.

— Если бы только простудилась... Боже, боже, за что ты наказываешь меня!

— Ничего не понимаю. Ой, сердце разрывается. Да скажи ты, наконец, толком, что случилось? — вышла из терпения Мариам-баджи.

— Покарал меня бог, вот что! Вчера я вот этими моими погаными руками весь день стирала и до того измоталась, что к вечеру меня уже ноги не держали. Хожу, а сама носом клюю, спать хочется. Кой-как состряпала ужин для мужа и детей. Вчера, ты знаешь, была среда — день постный, — так я сварила плов с маком. Закусила немного и, не раздеваясь, прилегла. Тут же и Смбат прикорнул; он тоже вчера измучился: вязанок десять хворосту притащил. Муж с подручными кончали заказ, а Сусан что-то вязала. Не успела я задремать — слышу крик. Такой крик, точно душат кого...

— Ну, ну!

— Просыпаюсь я, вскочила, как ужаленная, и что же вижу... — Гюльназ смахнула рукавом слезы.

— Да не тяни, не терзай ты мне сердце!

— Схватил он, безбожник этакий, мою Сусан и тащит ко мне. Ногами топает, орет... «На, говорит, возьми свою бесстыжую дочь!» И толкнул ее прямо на меня. Сам от гнева белый, вот как эта мука, глаза красные... А Сусан — краше в гроб кладут. Потом...

— Что же потом?

— Врагу не пожелаешь, что было потом. Схватил этот нехристь Сусан одной рукой за косы, а другой стал бить по лицу...

— Ой, ненаглядная моя деточка... Ох, не рассказывай больше, слушать не могу. Лучше мне ослепнуть, — колодила себя руками по коленям Мариам-баджи.

— Вижу — ни жива ни мертва моя доченька. Хочу ее вырвать из звериных когтей, да разве с ним сладишь? Он меня так хватил прямо в грудь, что в глазах потемнело, дыхание сперлось, и я упала.

— Душенька, деточка моя...

— Ох, Мариам-баджи, лучше бы мне умереть в ту же минуту на месте, чем видеть все это. Он так ее избил, что у нее лицо посинело, вот как твое платье. «Изверг ты этакый, что ты наделал?» — кричу я, волосы рву, грудь себе терзаю... вон посмотри, — и Гюльназ показала соседке кровавые пятна на груди. — А он знай себе орет: «Она честь мою, мое имя смешала с грязью, опозорила меня... В полночь бегала целоваться с сыном Айрапета, вот что она сделала!»

Услышав имя сына, Мариам-баджи вздрогнула.

Гюльназ продолжала: «Неправда, Бархудар, это тебе померещилось», — а сама все норовлю как-нибудь вырвать мою бедную малютку из его звериных лап. «Убирайся ты, подлая тварь! — кричит он на меня. — Сколько раз я тебе говорил, а ты все не верила». Ухватил он Суси за волосы, а мне так поддал в грудь, что я уж ничего не помню больше. Бог один знает, долго ли я так пролежала. Открываю глаза и вижу, что Смбат водой меня прыскает... У Сусан волосы растрепаны... лицо посинело, слезы ручьями бегут. А сам он с трубкой в зубах носится по комнате, точно бешеный бык.

— Ах, Сейран, да напишется имя твое на могильной плите! — кричала Мариам-баджи, колотя себя в грудь.

— Чтоб язык у тебя отсох за такие слова! — прослезилась Гюльназ.

— Так что же мне делать, коли этот бесстыдник так нас срамит? Неужели ждать, пока весь город начнет перемывать нам косточки? Ох, и горе же мне с ним! Ох, попадет же ему сегодня, когда вернется домой! Уж отец ему покажет... То-то вчера вечером слонялся сам не свой...

— Ой, Мариам, заклинаю тебя богом, не говори Сейрану ничего. Малый он вспыльчивый, еще выкинет что-нибудь... Уж и того довольно, что Бархудар побожился обо всем твоему мужу рассказать. Лучше всего замять как-нибудь этот случай, пока мы не стали посмешищем Шемахи.

Мариам-баджи спустила рукава, поправила волосы и стряхнула с подола муку.

— Вставай, пойдём к Сусан.

— Нечего ходить, она все равно в бреду... Да и с хлебом, пожалуй, не управимся.

— Ах, да не до хлеба теперь... Ну, подымайся, говорю тебе.

Когда Гюльназ и Мариам-баджи вошли в дом портного, Сусан из-под одеяла взглянула на них, и, быстро закрывшись, отвернувшись лицом к стене. Лоб у нее был завязан до самых бровей, щеки в синяках, глаза распухли от слез.

Мариам-баджи присела у изголовья Сусан, положила ладонь ей на лоб и тревожно объявила:

— Сильный жар. Посылай скорей за цирюльником, нужно пустить кровь.

И отвернувшись с лица девушки одеяло, стала расспрашивать:

— Да перейдет ко мне твоя хворь, касатка; расскажи ты мне, что у тебя болит? Почему ты глазки закрываешь? Не болит ли головка?

Сусан промолчала. Закрывшись одеялом, она горько зарыдала.

— Не плачь, дитяtko, не плачь, бог даст все обойдется, поправишься. Что делать, везде случается, что отец иной раз поколотит дочку: Били и пас, и мы тоже плакали.

Но Сусан плакала совсем не от боли. «Если бы только побили, — но ведь срам-то, срам-то какой!»

Мариам-баджи и Гюльназ обсудили дело и решили позвать цирюльника.

9

Наутро, встретив на базаре Айрапета, Бархудар рассказал ему про вчерашнее.

— Если ты сына не взнуздаешь, мы разойдемся и дружбе нашей конец.

Айрапет так и застыл на месте. Склонив голову на правое плечо, он разинул рот, поднял брови и, вытаращив глаза, впери их в соседа. Видя, что Айрапет остановился, сосед в свою очередь уставился на него.

— Ну, что, пробрало тебя холодом, замерз, небось! Повторяю тебе: держи ухо востро. Коли ты своего щенка не обуздаешь — конец всему!

Айрапет опять промолчал. Еще несколько мгновений глядел он в глаза Бархудару и вдруг понесся во всю прыть.

«Ага, полетел выдрать своего наглеца. Эх, попадись этот негодяй мне в руки, раздавил бы я его, мокрого места от него бы не осталось!» — подумал Бархудар и пошел своей дорогой.

Айрапет, спеша к себе, ругался, махал руками, качал головой. Прохожие, глядя на него, с удивлением говорили:

— Должно быть, с ума спятил.

Когда Айрапет наконец добрался до дому, Сейрана дома не оказалось. Айрапет хотел было отправиться к Бархудару, но раздумал.

Через четверть часа вернулась Мариам-баджи.

— У такой, как ты, я бы должен был вырвать сердце и зажарить на вертеле, чтобы быть спокойным! — напустился на жену Айрапет.

Мариам-баджи мгновенно поняла, в чем дело.

— Чем же я-то виновата, что ты меня так ругаешь?

— Так что же, по-твоему, я этого щенка родил, а?

— Прикажешь мне голову пеплом посыпать? Чем я виновата?

— Да, черным пеплом! Во всем виновата ты и никто больше. Не ты ли вечно нянчишься с ним? Как только я за палку, ты, не помня себя, заступаешься за эту собаку. Вот теперь и дождалась: позор на весь город, будь ты проклята... Господи, прости меня грешного! Ну, скажи, зачем ты родила его?

Бросившись к жене, Айрапет ухватил ее за плечи и начал трясти, повторяя «зачем ты родила его».

— Вот несчастье! Человек божий, подумай хорошенько, какой вздор ты городишь. Где у тебя голова?

— Моя голова под папай! А ты мне изволь ответить, зачем ты его родила? Чтобы меня перед Бархударом опозорить?

Мариам-баджи, видя, что гнев мужа переходит границы, повернулась и вышла. Айрапет продолжал метаться по комнате, пока Сейран не возвратился.

Уже наступал вечер.

Не говоря ни слова, Айрапет схватил дубинку, но не успел замахнуться, как сметливый юноша выскочил из

комнаты. Вернулся Сейран только на другой день вечером. Тут же Айрапет поймал сына и исколотил до потери сознания.

После свидания с Сусан Сейран покинул мастерскую Бархудары. Он не столько боялся, сколько стыдился показаться грозному мастеру. Уходя утром из дому, юноша возвращался только поздним вечером. Айрапет изо дня в день продолжал усердно колотить сына. А бедная Мариам-баджи старалась учить его уму-разуму ласковыми материнскими советами.

— Сыночек родимый, ты бы хоть нас пожалел: не срами ты родителей, возмись за дело.

— Не хочу: убьет меня Бархудар.

— Да он уже забыл, он простит тебя, не бойся.

— Да, не бойся... как бы не так. Смбат говорит: как только он услышит мое имя, сразу же начинает кусать усы. Не хочу. Скорее с голоду умру. Страшно не то, что он меня будет бить.

— А что же?

— Мне стыдно.

— Еще бы не стыдно! Ты понимаешь, что наделал?

Всего тяжелей для Сейрана была невозможность увидеться с Сусан и узнать, что с нею. «Да нет, дело тут, конечно, не в поцелуе; говорят, Бархудар давно уже знал о наших встречах. Только бы мне Сусан увидеть, а там будь что будет!»

О свидании с Сусан юноша раздумывал и днем и ночью. В сумерках он крался к дому Бархудары и забирался в укромный уголок, надеясь, что Сусан выйдет во двор и они встретятся. Но тщетно. Сусан не появлялась: как будто ее и не было на свете.

«Уж не больна ли она, не слегла ли?»

И на другой же день в разговоре с Смбатом выяснилось, что Сусан действительно хворала, но давно уже поправилась.

Так пролетел целый месяц.

Полдень. Солнце так и жжет. Улица, где живут Бархудар и Айрапет, совсем безлюдна. Иногда откроется где-

нибудь дверь, по двору торопливо просеменит старуха или девушка пробежит, окутанная шалью, с тарелкой в руках: по обычаю соседи обмениваются кушаньями.

Нестерпимый зной даже собак заставил убраться в тень; они отдыхают, высунув язык и тяжело дыша. Му-хи стаями облепляют их.

Эту мертвенную тишину прерывает по временам зыч-ный оклик известного всему городу скупщика старых бу-харских папах Кара¹-Башира. Это низенький человечек с растрепанной бородой; из-под толстых красных губ свер-кают белые зубы.

— Старые папахи, папахи беру! — выкрикивает он и, остановившись перед домом, хмурясь, заглядывает во двор.

Ребятишки, играющие тут же, услышав его голос, пускаются кто куда.

— Ой, Кара-Башир утащит!

За Кара-Баширом следует Таги, тоже известный все-му городу скупщик отрубей.

— Отруби, отруби покупаю!

Голос его раздаётся точно из колодца и усиливает гне-тущее впечатление от мрачных развалин этой части горо-да, получившей название «Хараба Шахар»².

Мариам-баджи сидела в тени во дворе за шитьем. Близ кухни хлопотали куры, проворно подбирая рассыпанный рис.

— Кш, кш, чтоб вам подохнуть! — то и дело покри-кивала на них Мариам-баджи, хлопая по земле тонким прутиком.

Мариам-баджи сердилась на кур, которые своей воз-ней поминутно отвлекали ее от дум.

Наконец Мариам-баджи бросила шитье воткнула в него иголку, сняла наперсток, и все это спрятала под тю-фячок, на котором сидела. Затем она достала убогий узелок, развязала его и высыпала горсть сухих почернев-ших горошин. Взяв из табакерки двумя пальцами щепотку табаку, понюхала, чихнула, закашлялась и пере-крестилась.

— Господи, искорени зло и возроди добро!

¹ Кара — черный, черномазый.

² «Хараба Шахар» — разрушенный город.

И, перекрестившись еще три раза, она торжественно приступила к гаданию, бормоча:

— Боже, пошли счастья моему Сейрану! Коли горошина покажет открытую дорогу, будет мальчик счастлив, не покажет — беда ему.

Мариам-баджи семь раз потеряла горошину на правой ладони и разделила на три равные доли. Потом стала перекладывать горошины туда и сюда, тут прибавляла, а там убавляла; снова смешала и опять разделила: теперь уже на девять кучек. И, не касаясь их, с мрачным видом заговорила:

— Вот это — открытая дорога, а это — Сейран. Вишь, как он задумался. А тут кто-то стоит перед ним. Кто бы это? Уж не Сусан ли? А это товарищи Сейрана. Что они, как черти, окружили мое бедное дитя? Чтоб вам всем ослепнуть, что вам надо от него? А это что такое? Господи, точно черная нитка протянута перед ним. Ах, да пропади ты пропадом, откуда ты взялся?

Подпирая рукой подбородок, Мариам-баджи прижала палец к губам и задумалась.

— Нет, нет, видно горошинок не хватает, — молвила она, отнимая руку от подбородка. — Одна четверка, две, три, четыре четверки, а вот и пятая: одна горошина — нечет! Все как есть. Разложить еще разок.

И она начала сначала.

— Фу! Опять этот окаянный на корточках перед моим дитем! — И Мариам-баджи разложила горошины в третий раз.

Затем она проделала то же в четвертый, пятый, шестой... пятнадцатый раз. Наконец, усталая, злая, она собрала горошины.

— Сгибь ты, чертов горох! Ничего толком не скажешь, проваливай! — и Мариам-баджи опять принялась за шитье.

Вдруг раздался крик: юноша с шапкой в руке опрометью бросился во двор, прямо к кухне.

— Нечестивцы, на одного напали! Так погодите, я вас проучу, узнаете меня! — кричал он.

Мариам-баджи оцепенела от ужаса. Из рук ее вывалилось шитье.

— Сейран! Сейран, что такое? — завопила она и вскочила.

Сейран ничего не слышал. Он побежал на кухню, схватил длинную дубинку, скинул с тебя чуху, намотал на левую руку и выбежал опять на улицу.

Мариам-баджи пустилась за ним.

На улице Сейрана ждали двое здоровых парней, тоже вооруженных палками и с чухами, намотанными на левую руку.

Сейран как полоумный, бросился на них. Завязалась свалка. Сейран, защищаясь, ловко наносил удары противникам.

Босая, с растрепанными косами, Мариам-баджи пыталась их разнять.

— Ах, чтобы вам лечь и не встать! Чтобы матери ваши в черном ходили! Чтобы глазам вашим полопаться! Что вы делаете!

Один из парней хватил ее палкой по плечу.

— Прочь отсюда!

— Ой, чтобы печени твоей сгореть! Добрые христиане, помогите: дите мое убивают! — завопила Мариам-баджи и, обессиленная, упала навзничь.

Тут к драчунам подбежал коренастый парень, тоже с палкой, и ударил ею одного из противников Сейрана.

— Так его, так, умереть бы мне за тебя, Смбат! Ну-ка еще разок его, еще! — кричала Мариам-баджи.

Бросив палку, один из нападавших пустился бежать; другой за ним. Сейран и Смбат не смогли догнать их.

Гордясь победой, Сейран и Смбат вернулись к Мариам-баджи. Та все вопила и рвала на себе волосы.

— Полно, перестань, ты же видела, как мы их проучили, — сказал Сейран, разматывая чуху. — Ведь они хотели меня убить, не ждать же мне было.

— Зачем же ты, беспутный, связываешься с такими подлецами?

— Ну, довольно тебе ворчать; дай-ка лучше водицы, смыть кровь с головы.

Мариам-баджи не заметила, что Сейран ранен в голову. Увидя, как кровь струится с его лба, она едва не лишилась чувств.

— Ой, не будет нынче зари для твоей матери, Сейран! Да, не зря горох предсказывал беду! — воскликнула она, спеша на кухню за водой.

Наступил вечер. Встревоженная Мариам-баджи готовила ужин. Айрапет еще не возвращался.

Сейран с головой, повязанной красным платком, без чухи, в белом ситцевом архалуке сидел у ворот. Его окружали Смбат и несколько парней; речь шла об утреннем побоище. Хмурый Сейран, понурясь, неохотно отвечал.

— Да расскажи же толком, из-за чего вышла драка? — допрашивал юноша лет двадцати.

На нем был короткий архалук, перетянутый широкам серебряным поясом, черная черкеска, длинные шаровары и остроносые чуваки; коричневая круглая бухарская папача дополняла его костюм. Юноша все время покручивал тонкие острые усики, похожие на крысиные хвосты.

— Я был там, при мне все началось, — поспешил ответить низенький юноша, одетый, как и все, но с гладко выбритым по-персидски затылком.

— Расскажи хоть ты, дружок, что там было? — спросил его третий парень, с папачой набекрень.

Маленький юноша откашлялся и важно заговорил:

— Ну, слушайте: там были — я, Сейран, Смбат, Джангир, Атанес, Енгибар, Тати, Папан, Мартирос и Петри. Начали мы играть в орехи. Бросал Смбат. Вот Енгибар поставил рубль и говорит Смбату с гордым видом: «Бросай». Смбату дьявольски повезло: угодил он в самую гочку. Енгибар разинул рот да так и остался. Шутка сказать — целый рубль серебряный, деньги не малые. Гм... Енгибар и так и эдак — одним словом, отобрал монету.

— Что за негодяй! — возмутился юноша с крысиными усиками. — Ну, а дальше?

— Да что дальше? Смбат ему говорит: «Ты что же это!» — а тот ему: «Я пошутил, я еще не спятил с ума, чтобы такие деньги ставить». А Смбат ему: «Отдавай рубль, не то мозги из головы твоей выпущу, как из яйца». Енгибар в ответ: «Помалкивай, такой сякой». Ведь вы Енгибара знаете: откроет рот — только уши затыкай. А Смбат разошелся и стал его ругать. Взбесился и Енгибар и такое ему ляпнул, что у Смбага глаза кровью налились. «Ты, говорит, ступай да уйми сначала свою беспутную сестру, чтобы она по ночам с Сейраном не таскалась...»

— Эх, и чего вы его тут же не прикончили? — вмешались парень с папахой набекрень.

— А ты послушай, что дальше было. Сказать Смбату такое про сестру! У него в глазах потемнело. Не успел выхватить нож, как Сейран хватил Енгибара ногой в живот. Тот так и покотился, но все же вскочил, подхватил папаху — и бежать. Петри за ним. Через минуту видим: оба несутся с дубинками. Смбат и Сейран, завидя это, тоже побежали домой за дубинками. Вернулись назад и так отдубасили своих врагов, что те насилу ноги унесли. Однако паршивец Петри крепко хватил по плечу мать Сейрана...

— Ну, ну! — крикнул юноша с усиками. — И как они осмелились напасть на наших! Ребята, нашу честь опозорили, и мы им завтра зададим такую баню, чтобы на весь город молва пошла!

— Не надо, я и без этого жалею, — отозвался Сейран, не поднимая головы.

— И я жалею, — добавил Смбат.

— Вы сидите себе и молчите, а мы без вас все устроим, — ответил юноша.

— Коли так, пойду смажу салом мою кривую дубину! — молвил парень с папахой набекрень.

Тут издали показался Айрапет. Сейран и Смбат поспешили скрыться. Разошлись и остальные.

11

Совсем стемнело, Мариам-баджи зажгла сальную свечу. Айрапет сидел на тюфячке у стены, прислонясь к подушке; одна нога поджата, другая вытянута. В одной руке он держал длинную трубку, другой перебирал четки.

Он был озабочен. Мариам-баджи поставила подсвечник, тусклый свет упал на лицо хозяина. Когда-то ясное и радостное, оно теперь было сумрачно и печально. Два раза сказав мужу «добрый вечер» и не получив ответа, хозяйка приютилась в углу. Сейран был во дворе. Боялся ли он, или стеснялся, но в комнату не входил. Супруги упорно молчали. Мариам-баджи не сводила глаз с мужа.

— Добрый вечер! — В дверях стоял Бархудар.

— Добро пожаловать. Милости просим сюда. Мариам, принеси тюфячок.

— Не беспокойтесь, я у стенки посижу.

— Нет уж, прошу на мое место, — предупредительно хлопотал хозяин.

Мариам-баджи принесла мягкий тюфячок; соседи уселись.

— Ну, что нового, Бархудар?

Вместо ответа гость подмигнул хозяину. Тот его понял.

— Мариам, оставь-ка нас.

Мариам-баджи вышла.

— Не люблю я при женщинах вести серьезный мужской разговор, — сказал Бархудар, растирая в ладонях табачный лист.

Тон его был холодный и раздражительный; лицо выражало печаль и гнев.

— Я тоже этого не люблю. Женщина — болтливое существо. Что услышит — по всему свету на хвосте разнесет, — важничал Айранет по примеру соседа.

— Пришел я к тебе, Айранет, поговорить... Пачну прямо без уверток. — Бархудар потянулся к свече раскурить трубку.

— Да и я не люблю, когда вместо дела начинают плести псевдомо что.

— Ты, конечно, Айранет, не забыл тот вечер после землетрясения?

— Помню, как этот свет.

— Помнишь, мы в этот вечер были вместе?

— Помню хорошо.

— А помнишь ли, о чем мы говорили?

— Помнить-то помню, но не очень... Дай подумать...

— Мы говорили о нашей дружбе, о Сусан и о Сейране. Вспомнил теперь?

— Ой, Бархудар, ну и память у тебя: ведь с того вечера прошло девять лет!

— Я, Айранет, обещал тогда, как моя дочь подрастет, выдать ее за твоего сына. Теперь он, дай бог ему здоровья, совершеннолетний; также и дочь моя. Пришло, значит, время вступить им в брак. А ведь ты должен знать, Айранет, что я своему слову хозяин.

— Что и говорить, характер мне твой известен.

— По этой самой причине месяц назад хотел я позвать тебя и покончить дело.

— И я об этом думал, Бархудар...

— Погоди перебивать, речь твоя будет впереди,— властно, как всегда, сказал Бархудар.

— Слушаю, говори, я твой слуга.

И Айрапет приложил палец к губам.

— Твой сын, этот щенок Сейран, таких пакостей наделал, что у меня до сих пор вся кровь кипит, голова кружится и в глазах темно. Вот так бы и схватил нож да искромсал бы сына твоего и мою дочь! Но...

— И поделом, они этого заслужили...

— Вот уже месяц, как я не могу успокоиться. Ведь это не шутка, Айрапет. Пока они были детьми, я радовался на их любовь: они еще ничего не понимали. А теперь они уже взрослые люди и должны сознавать, что ведут себя бесчестно.

— У меня теперь дома ни одной целой палки нет: все переломал об этого сорванца — не помогает!

— Дай мне кончить, Айрапет. О чем это я? Да... С той поры Сейран ко мне в лавку не ходит. И хорошо делает: пришлось бы ему давно сгнить в могиле. Ну, плевать на то, что сам он вышел негодяем, а ведь он бесчестит наше имя. Нынче вечером иду с базара и вижу: целая орава сорванцов бушует у стены. Я отвернулся, иду мимо. Шагу сделать не успел, как слышу один из них во все горло орет: «У него дочь по ночам с Сейраном целуется, а ему, нечестивцу, и горя мало. Ни седин своих не стыдится, ни папахи — по базару ходит». Услыхал я это и чуть с ума не сошел. В глазах помутилось, мороз по коже продрал. Хотел было вернуться, разбить этим подлецам башки, однако, подумав немного, проклял сатану, перекрестился и пошел своей дорогой. Иду нашей улицей, слышу новый разговор; наш сосед, толстый пузырь Матос, кому-то рассказывает: «Нынче Смбат и Сейран затеяли драку с парнями из нижнего квартала». Придя домой, закатил Смбату пару хороших оплеух, стал спрашивать, почему вышла драка. И что же оказалось? Зачинщиком опять был твой сын!

— Не может быть! — вспыхнул Айрапет.

Бархудар не отвечал. Его показное бесстрашие сменилось гневом. Он швырнул свою трубку.

— Услыхал я это, схватил Смбата за уши да об пол. Истоптал я его, до полусмерти избил, пока мерзавца не вырвала мать. Айрапет, скажи мне прямо, можно ли мне терпеть, что я из-за твоего сына теперь опозорился на весь город? Каково мне, Кеханц Бархудару, среди белого дня слушать такие сплетни про свою дочь? Выходит, что я уже не человек: у меня теперь ни чести, ни папахы...

И Бархудар изо всей силы хватил папачой об пол.

Айрапет побледнел. Будь проклят, сатана! Уж не рехнулся ли сосед? Он не решился заговорить, видя, что тот разъярился.

— Пускай меня сошлют в Индостан, пусть жена и дети нищими по миру пойдут, а я этого терпеть не стану! Айрапет, обуздай сына, говорю я тебе, не то я бог весть что сделаю и с тобой, и с дочерью, и с ним, и с собой. Мало того, что он сам распоясался, он еще и сына моего портит, лодырем его сделал, шарлатаном. С каким лицом пойду я завтра на базар? Да, да, я, Бархудар, всегда осмеивал чужие пороки, избегал всего, что могло бы запятнать мое имя, я готов за честь свою сгнить в Сибири,— я этого не стерплю! На деньги, на хоромы я плевать хотел. Я деньги достаю честным трудом, живу, быть может, впроголодь, все для того, чтобы сберечь свою честь, а эти щенки, Сейран и Сусап, ее топчут. Какой же я мужчина после этого?

— Право, Бархудар, уж я ума не приложу, как быть,— дрожащим голосом ответил Айрапет.

— Не знаешь, как быть? Вот бери эту пакость, вечером сожги и пеплом засыпь глаза сыну!

Бархудар выхватил распечатанный конверт и швырнул Айрапету. Тот отшатнулся в ужасе, глядя на конверт такими глазами, точно перед ним была змея. Наконец двумя пальцами трясущейся руки осторожно поднял его, сдвинув брови, пристально поглядел на свет и с недоумением взглянул на Бархудара.

— Что же тебя удивляет? Сам дерево посадил, сам и плоды с него попробуй.

— Ведь это... Бархудар... Будь он проклят, сатана!

— Невдомек тебе, бедняжка? Это сын тебе пишет из Москвы о торговых делах,— криво усмехнулся Бархудар.

Белый как мел, Айрапет вертел конверт в руках.

— На той самой бумаге, которая принимала на себя евангельские слова, щенки вроде Сейрана выводят свою

бессовестную пачкотню. Читай и наслаждайся, счастливый родитель!

— Хоть убей, ничего не понимаю.

— Так позови щенка, пусть прочтает.

Айрапет, сжимая конверт, поднялся. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге вырос Сейран.

— Войди,— обратился к нему Айрапет.

Подскочив к отцу, Сейран выхватил конверт и мгновенно скрылся. Айрапет даже шевельнуться не успел. Несколько мгновений он стоял как вкопанный. Бархудар был вне себя от гнева.

— Вырвал подлец! — крикнул Айрапет, простирая руки.

— Ну и пусть! Авось разведет его в воде да проглотит, чтоб сердце остыло.

— Человек божий, скажи, наконец, что это за письмо?

— Что за письмо? Чтоб тебе и сыну твоему... у-у-у... будь проклят, сатана!

Бархудар скрежетал зубами и сжимал кулаки: казалось, вот-вот пабросится на соседа. От испуга ли, от гнева Айрапет задрожал.

— Твой сын пишет письма моей дочери и бросает ей в окно. Кто его так воспитал?

— Письмо? Какое письмо, Бархудар? Ничего не понимаю. Что же он пишет?

— Оно, конечно, понимать невыгодно, вот ты и не понимаешь. Что пишет? Пишет, дескать, я тебя люблю, без тебя жить не могу, до смерти люблю тебя,— да! Вот что пишет. Сегодня ночью в десять часов выходи, я буду у вас во дворе. Вот что пишет, понял теперь?

— Ловко пишет, молодец! Чтоб ему пусто было! Ну, ну! Будь покоен, Бархудар, потерпи немножко; увидишь, как я с ним разделаюсь. Только, говоря по совести, ты сам виноват: подбил меня отдать его в школу. Я бы сам пикогда не додумался до этого... вот он и осрамил всех нас.

— Как? Я же и виноват? Закрой рот, а то... Ну, да теперь уже долго говорить не стоит, слушай меня. Я пришел сказать, что с нынешнего дня между нами все кончено. Делай что хочешь, но знай, если только твой сын покажется у меня во дворе, без всяких разговоров всажу в него кипжал... Благослови тебя бог!

И Бархудар направился к двери. Айрапет, не ожидавший ничего подобного, окаменел: он только разводил руками, глядя вслед уходившему соседу. Ему хотелось возражать, кричать, молить, но слова застревали в горле. И только когда Бархудар уже шагнул за порог, он очнулся, швырнул свою папаху, кинулся и обнял Бархудару.

— Оставь меня! Пусти!

— Бархудар, Бархудар, лучше мне подавиться хлебом-солью, что мы вместе делили, чем затевать ссору из-за какого-то щенка. Остановись, Бархудар!

Бархудар обернулся, взглянул на жалкое лицо соседа, потупился, и оба они крепко обнялись.

Ведь Бархудар дал клятву хранить дружбу до гроба. А что же выходит? Неужели он покинет друга навсегда? Хорошо ли это? А кто виноват? Не Бархудар ли? А его честь? Так неужели он уронит свою честь, запятнает свое имя? Нет, это невозможно, немыслимо, чтобы такой щенок, как Сейран, растоптал его папаху, а он бы по-прежнему ходил в тот дом, где живет обидчик. Нет, он скорее прикончит и Сейрана, и дочь, и душу свою дьяволу отдаст, чем стерпит оскорбительные слова, подобные сегодняшним.

Вот какие мысли бродили в голове Бархудару. Айрапет сосредоточенно молчал.

— Сказал и сделаю, не то честь моя меня задушит. Прощай, Айрапет!

— Стой! — раздалось за дверью; две сильные руки втолкнули Бархудару в комнату.

Это был Сейран.

— Сначала выслушай, потом иди куда хочешь.

Дерзость Сейрана и его внезапное появление ошеломили Айрапета. Язык его совсем «одеревенел», как рассказывал он потом жене. Закинув рукава чухи за плечи, прикрывая рот, Айрапет нагнулся: «Ах ты, сукин...», но, не в силах говорить, повернулся туда, где не было никого, и добавил: «Поглядите-ка на этого щенка! Отойти от меня, сатана!» А Сейран, втащив Бархудару, встал на пороге, чтобы тот не ушел.

— Так вот же, намотай себе на ус: к черту твоя дружба, мы не заплачем по ней. Только знай: мою Сусан ты у меня не отнимешь! Ты обещал мне ее и клялся, что ты

хозяин своему слову. Так не изменяй же ему. Слышишь, Сусан моя, моя!

Сейран произнес эти слова громко, почти крича.

— Заткни глотку, щенок! Не то я раскрою тебе череп! — заскрежетал Бархудар, сжимая кулаки.

— Ах ты, негодная тварь, сейчас же замолчи! — подхватил Айрапет.

— Не твое дело! — оборвал Сейран отца.— Последний раз говорю тебе, Бархудар, дочь твоя Сусан — моя. Можете ссориться и драться, а про нее — ни-ни! Да! Сусан — моя. И кто попробует ее у меня отнять, того, так и знайте, выпотрошу, как рыбу! Вот видите это?

И Сейран вытащил из-под чухи обнаженный кишжал.

Айрапет так и обомлел. Бархудар стоял словно окаменелый.

— Радуйся, Айрапет, и ликуй, что имеешь такого сына! — прохрипел он наконец и взялся за папаху.

Сейран никак не ожидал, что его угрозы так мало тронут Бархудара. Ему казалось, что сосед или струсит, или сжалится над ним.

— Постой, не уходи,— повернулся юноша к соседу; голос его звучал теперь гораздо тише.— Скажи, в чем я виноват, что ты меня называешь беспутным? Чем я хуже других? Какая беда, что я два раза приходил к Сусан? Ведь я стосковался по ней, хотел повидаться, какой же тут грех? За что теперь вы мучите меня? Отец избил и вышвырнул меня на улицу, а ты, такой почтенный человек, не стыдишься говорить: «Дружбе нашей конец». Делай, что тебе угодно, но Сусан у меня не отнимай, не то вот тебе бог, этим самым кишжалом прикончу и себя и ее.

— Заткни глотку, негодяй, и убирайся отсюда! — рывкнул наконец Айрапет, хватая сына за горло.

— Оставь меня! — оттолкнул Сейран отца.— Не боюсь я ни тебя, ни его! И что вам надо от меня?

Айрапет опять бросился на сына.

— Вон, чтобы духу твоего не было, ты мне не сын!

— погоди же, дай договорить.

Но Айрапет зажал Сейрану рот и стал колотить его по голове.

На шум вбежала Мариам-баджи и с криком пыталась разнять отца и сына.

Вырвавшись из рук Айрапета, юноша выбежал с криком:

— На куски искрошу того, кто тронет мою Сусан!

— Гордись, Айрапет, своим прекрасным сыном! Прощай! — И Бархудар, напялив папаху, вышел.

— Обрушился мой дом! — простонал Айрапет и бесильно свалился на тюфячок.

12

Так оборвалась нить дружбы между Бархударом и Айрапетом. Две семьи, которые так сроднились и так любили друг друга, живя много лет бок о бок, разошлись.

Гюльназ в одиночестве вспоминала былые дни, грустила о них и плакала. Впрочем, она еще надеялась, что добрые отношения с семейством Айрапета восстановятся. Ей все казалось, что Бархудар погорячился необдуманно, под впечатлением минуты. Однако шли недели и месяцы, а супруг все оставался непреклонным. В конце концов она решила поговорить с ним и напомнить о клятве. Следствием этого разговора было то, что Бархудар велел каменщику заделать полуразрушенную стену, разделявшую соседей.

Несчастный день это был, и особенно для Мариамбаджи и Гюльназ. Они долго потихоньку от мужей вздыхали и охали.

Восстановление стены усилило отчаяние Сейрана. Ведь он так надеялся на мирный исход ссоры. А теперь, убедившись, что всему конец, Сейран совсем растерялся.

Значит, Сусан отняли у него. С этого дня он своей любимой невесты не увидит! Что же думает о нем сама Сусан? Необходимо с ней поговорить, но как встретиться? Днем ее не выпускают, а на ночь запирают. Неужели он никогда не увидит прекрасного лица Сусан, не услышит ее нежного голоса? Нет, на этих же днях он должен встретить ее, должен узнать, страдает ли она. И если Сусан продолжает его любить, он будет знать, что делать! Если Бархудар не уступит, Сейран похитит Сусан.

Эти мысли не покидали Сейрана в тот самый день, когда старательный каменщик быстро воздвигал ненавистную стену. Юноша совсем лишился покоя, день и ночь вспоминал о невесте и о последнем поцелуе. О, этот несчастный

поцелуй! Сколько несчастий он наделал! А во всем виноват сам Сейран. О чем он думал и на что рассчитывал? И неужели Бархудар должен был погладить его по головке и сказать: «Молодец, мальчик, как хорошо ты делаешь, что по ночам целуешь мою дочь».

Нет, Сейран поторопился, не сдержался, поступил неблагоразумно. Мало того, он самому Бархудару нагрубил в тот вечер. Как знать, если бы он не сунулся тогда, сосед, возможно, и забыл бы обиду.

Раздумывая об этом, Сейран однажды вечером понуро шагал по двору. Как бы повидаться сегодня с Сусан? Взгляд его нечаянно упал на новую стену. Розле нее лежала лестница. Внезапная мысль осенила Сейрана. «Да или нет? Эх, будь что будет!» — и Сейран, махнув рукой, поднял лестницу и осторожно приставил к стене. Быстрее кошки он взобрался на самый верх и впился глазами в соседский дом. Двери были открыты, горела свеча. Бархудар на тюфячке курил трубку. Гюльназ была занята шитьем. Их детей не было видно. «Неужели спят?» — подумал Сейран, ища глазами свою невесту. И вдруг в дверях показалась Сусан. Сердце Сейрана дрогнуло.

«Как она побледнела и похудела, бедняжка... Должно быть, больна. С тарелками идет на кухню. Как же быть? Спрыгнуть — испугаешь. Ну, да все равно: другого случая не будет».

В один миг Сейран спрыгнул во двор Бархудара. Прыжок его встревожил Сусан. Она подняла голову и, видя, что кто-то подходит, хотела убежать. Сейран загородил ей дорогу.

— Сусан, Сусан, умоляю, голову мне отруби, только выслушай!

— Опять? Чего тебе надо? Уходи!

— Не могу, я с ума схожу.

— Уходи, если любишь меня. Сейчас придет кто-нибудь... — ответила Сусан, дрожа от страха.

Сейран схватил ее руку.

— Ты меня гонишь, Сусан?

— У Сусан нет языка. Сусан не видит, Сусан не живет, Сусан умерла, уходи!..

Сейран ушам своим не верил. Неужели это говорит живая девушка? Неужели это та самая Сусан? Казалось, эти слова, полные отчаяния, лепечет призрак из туманной

мглы. Да нет, это она, Сусан, это ее руку он держит в своей и не хочет выпустить, тянется к ней губами.

— Я знаю, Сусан, тебя замучили. Я виноват во всем, прости меня. Я пришел тебя освободить.

— Только господь освободит Сусан из этого мира.

— Нет, я тебя хочу похитить. Ведь мы друг друга любим, не правда ли? Бежим отсюда в другой город, Сусан.

— Пусти, Сейран; ты сошел с ума.

— Нет, я еще в своем уме. Дай мне слово, и я на этой же неделе увезу тебя. Товарищи помогут.

— Ведь ты же видишь, что Сусан умерла, куда же она поедет?

Они стояли близ кухни. Сальная свеча едва осветила лицо Сусан, когда она повернулась к Сейрану. О, какая она бледная и худая! Когда-то алые щеки поблекли, прорезались морщинки, в больших глазах глубокое страдание.

Дрожь пробежала по спине Сейрана. «Боже мой, боже мой!» Однако юноша сдержал себя.

— Одно только слово скажи мне, Сусан: любишь меня? А я уж буду знать, что делать.

— Умоляю тебя, уйди! Сейчас придет отец. Уходи и забудь меня, Сейран!

— Как? Забыть тебя? А-а, понимаю... Значит, Сейран тебе так противен, что ты его гонишь... Хорошо, я ухожу, смотри — на твоей душе грех.

Сейран повернулся. Сусан схватила его за руку.

— Слушай, Сейран. Я вижу, ты обижаешься на меня. Но дай мне высказать тебе все, и ты поймешь, почему я прошу забыть меня. Пойдем на кухню, здесь опасно.

И Сусан повела Сейрана за собой. В кухне, сложив тарелки на полу и поправив волосы, она положила исхудалую руку на плечо Сейрана.

— Я люблю тебя. Верь, не верь, но это так. Взгляни на меня: ведь я иссохла от любви. Но мы должны расстаться.

— Люблю — и должны расстаться! — с горькой усмешкой повторил Сейран.

— погоди, сначала выслушай. Ты знаешь моего отца: его хоть повесь, он все равно меня не выдаст за тебя. А бежать — это глупость: ни ты, ни я на это не решимся. Бегство только очернит доброе имя наших родителей; и

без того они опозорены. Если мы убежим, мой отец в тот же день повесится. Кеханц Бархудар — раб чести. Лучше уж я буду страдать и сойду в могилу, мне будет легче, чем опозорить отца. Правда, он меня и видеть не хочет, но я его по-прежнему люблю. Ты только подумай, родители произвели нас на свет божий, воспитали, вырастили и, наконец, что ни говори, любят нас. Сейран, ты только присмотришься к моему отцу, и ты увидишь, как он изменился за это недолгое время: постарел, осунулся, похудел, щеки пожелтели, глаза ввалились, весь он согнулся. И все из-за меня. С того дня, как он поссорился с вами, он ни разу не поел как следует и ни разу спокойно не говорил с матерью. И день и ночь он вздыхает, не хочет ни с кем встречаться; все думает, что каждый встречный может попрекнуть его мной. Совсем не спит и только курит без конца, не говоря ни слова. Сам согласишься, Сейран, что ведь это наш грех, мы во всем виноваты. А мать? На что она стала похожа! Глядя на отца, она тает точно свечка. Какая была красивая и стройная, а теперь постарела и сгорбилась, точно не три месяца прожила, а целых тридцать лет. А ведь она любит тебя, Сейран, очень любит. Как ни старалась она смягчить отца, ничего из этого не вышло. Да разве можно уломать Бархудара, раз дело касается его чести? Теперь он затаил тоску в груди, и она, как змея, его медленно гложет. Так посуди же, Сейран, как мне быть? У меня сердце разрывается, как смотрю на родителей, а ведь во всем виновата только я. Нет, я никак не могу их оставить и пойти за тобой ради своего счастья. Уж лучше я буду страдать, умру, но не убью родителей.

Все это Сусан говорила слабым, дрожащим голосом. Сколько страдания было на ее лице! Сейран понурил голову и грустно промолвил:

— Пропал Сейран, где ему! Стоит ли жить Сейрану, если Сусан его не любит?

— Сусан не любит Сейрана? Ты сперва посмотри на нее, а там уж говори.

— Тебе отцовская честь дороже меня? Не знал я этого. Мне все казалось, что для тебя нет ничего дороже Сейрана; теперь вижу, что ошибся.

— Я все тебе сказала; Сейран, а ты мне все-таки не веришь. Зато смерть моя заставит тебя поверить.

— А зачем тебе умирать? Живи себе на здоровье. Говорят — я сам слышал, — будто тебе другого жениха нашли и скоро будет свадьба.

— Это правда... Только не мы его нашли, а сам он сыскался. Даже не знаю, кто он такой. Однако я должна покориться и выйти за него; я должна подчиниться родительской воле.

— Должна выйти за него и подчиниться родительской воле, — через силу прошептал Сейран.

— Да, я должна непременно выйти замуж. Ведь тебе же известно, как наша неосторожность опозорила меня на весь город.

— Что ты хочешь сказать?

— То, что мне необходимо с кем-нибудь обвенчаться и смыть позорное пятно и с себя и с моей семьи.

— Ты выйдешь за другого?

— Если я выйду за тебя, все будут говорить: «Разбитую посуду дали склсить тому, кто ее разбил». Понял теперь? Да, я выйду за другого. И когда все убедятся, что я совсем не «битая посуда», то через несколько месяцев, не позже чем через год, меня свезут на кладбище.

— Сердце, сердце мне говорит, что ты меня не любишь! — воскликнул Сейран.

— погоди, увидишь.

— Увидеть, как мою любимую Сусан возьмет кто-то другой! Нет, я не вынесу этой пытки!

— Ну, Сейран, довольно, поговорили. Об одном прошу тебя: если ты меня любишь, не пиши мне больше писем. Твое последнее письмо до меня не дошло. Ты, как мальчик, кинул его в окно, когда там был отец. Он велел брату прочитать его и за каждую строчку я получила по удару. Мне и без писем про тебя все известно. А теперь простимся в последний раз.

Сусан прижала голову Сейрана к себе и жарко поцеловала его в лоб. Две крупные слезы пробежали по ее поблекшему лицу: одна упала на руку Сейрана.

— Жестокая ты! Обрушила мой кров! Прощай! Если что со мной случится, грех на тебе.

Сейран повернулся и вышел.

— Не сердись, потерпи и увидишь. Прощай! — прошептала Сусан.

Опечаленный, отчаявшийся Сейран не захотел идти домой. С трудом забрался он на стену, спустился по лестнице во двор и вышел на улицу.

Было уже поздно. Сейран направился к нижнему кварталу. Шел он медленно, понурясь, неверными шагами, не сознавая сам, куда идет.

Значит, Сусан у него отнимают и отдают Кочарашу Рустаму, безобразному идиоту, на черта похожему. И Сусан соглашается идти за него, а бежать с Сейраном ей страшно. Какой вздор! Не родительскую честь она защищает, а просто не любит Сейрана. Иначе она с радостью бы протянула ему руку и сказала: «Веди меня, Сейран, куда хочешь: я твоя и никого не боюсь». Разве мало было случаев, когда юноши похищали девушек? Бездушная и бессердечная, ты не знаешь, как мучится Сейран. Знай ты это, твой ответ был бы другим. Ты бы бросилась к нему, целовала бы его, облила бы слезами его руки, умоляла бы вырвать из когтей отца. Ах, Сусан, Сусан! Значит, ты забыла свое обещание: «Сейран, я тебя люблю и никогда не забуду!» Где же твоя любовь? Зачем ты выпнала его на погибель?

— Однако куда я иду? Точно сумасшедший,— очнувшись наконец Сейран.

Остановившись посреди улицы, он огляделся. Кругом ни души. Он постоял и пошел дальше.

Нет, Сусан не может забыть Сейрана. Если она его не любит, почему она так исхудала и высохла? Куда девалась прежняя Сусан? Боже мой, как изменилась бедняжка за эти три месяца! Ее румяные щеки теперь пожелтели и шея стала тоньше стебелька. Нет, нет, Сейран жестоко ошибается: Сусан его любит. Но разве эта любовь не может побороть любви к родителям? Почему у Сусан не хватает силы пренебречь предрассудками и сплетнями, уйти с возлюбленным и насладиться счастьем, так редко выпадающим на долю человека в этой короткой жизни?

«Похитить...но как и куда я могу увести Сусан? Денег нет, ремесла никакого не знаю... Почему я ничему не обучился? Теперь об этом поздно думать. Господи, куда мне пойти, как быть, с кем поделиться горем? Неужели броситься в ноги отцу и умолять о примирении с сосе-

дом? Как же, послушает отец мои мольбы! Он и без того три месяца бился, чтобы как-нибудь вернуть былую дружбу. А что вышло? О-о, Бархудар — это зверь, к нему не подступись, он слову своему хозяин. Пока не восстановил он стену, еще была надежда, а теперь эта стена навсегда разделит былых друзей!

Впрочем, постой... ведь Бархудар хозяин своему слову, у него твердая воля! Где же его обещание, данное девять лет назад? Так-то он исполняет его? Гордец! Почему ты предал забвению свое обещание? Ведь это же поступок бесчестный!»

И опять Сайран постоял, осмотрелся и побрел дальше.

«Господи, и что это я за чепуху несу! Что такое Бархудар, и чего я от него могу требовать? Ведь он же отец, да еще пожилой — шестьдесят ему стукнуло, — неужели я на его месте поступил бы иначе? Вряд ли. Он просто говорит: «Честь моя не стерпит, чтобы дочь по почам таскалась с беспутным мальчишкой: ведь мне люди глаза заплюют». И это верно. По части плевков люди мастера. Чужой позор их радует... Оправдывает их собственные пакости».

Вдруг Сейран хватил себя обими руками по голове и остановился как вкопанный. Он вспомнил что-то очень важное, о чем давно забыл, но что именно, не мог как следует сообразить. Несколько минут он то поднимал, то опускал руки, наконец опять ударил себя по голове и громко заговорил:

— Горе мне, горе! Как я смею винить других, когда сам во всем виноват? Зачем язык мой не отсох в тот день, когда я все выболтал парням! Зачем бог не заткнул мне глотку три месяца назад, когда на пирушке я напился до беспамьятства! Вот что я наделал! Расхлебывай теперь! И что я тогда сказал? Что скоро обвенчаюсь с дочерью Бархудара. Для злых языков и этого довольно: схватившись за нитку, они размотали весь клубок.

Теперь Сейран очутился на одной из нижних улиц, подле старой церкви. Подойдя к церковной ограде, он присел на камне.

Звезды горели на ясном небе. Долго Сейран разглядывал их. Чего только не передумал он! Мысли его носились точно лодки, развешанные бурей, по морским волнам. Проклятый родными, отвергнутый любимой девушкой,

бедный юноша чувствовал, что в жизни для него не остается никакой опоры. Страшная тяжесть давила его сердце. Чтобы хоть немного рассеяться, Сейран начал про себя мурлыкать веселую песенку, но она сменилась унылой, потом он совсем умолк и молча уставился в землю.

«Нет, я еще не погиб. Я еще жив! И кто смеет говорить, что Сусан для меня потеряна? Она моя. Буду скитаться босой и в рубище, но не позволю, чтобы мою любимую вырвали у меня. И кто же хочет ее вырвать? Кочаранц Рустам! Бедный Сейран, где же твое мужество, где честь твоя?»

Он взглянул на небо. И небо и звезды, казалось ему, стали другими. В счастливый вечер встречи с Сусан они ему улыбались, а теперь потускнели и точно смеются над ним.

Слабые звуки привлекли внимание погруженного в мысли Сейрана. Мелодические переливы тара¹ вторили персидским напевам. Где же это веселятся?

Озираясь, Сейран дошел до угла. Тут он увидел погребок; в окошке мерцал тусклый свет. Сейран заглянул в окно. Музыка уже утихала; ее сменили пьяные выкрики.

— Урра!

— Урра, урра!

— Теперь выпьем за обрубки,— рявкнул кто-то.

— Идет!

— Да пропустим по чарке мадрасинского!

— Тише, слово за тамадой!

Мгновенно все утихло. Сейран увидел, как один из юношей поднялся с полным стаканом.

«Должно быть, это тамада, а ну-ка послушаю, что он скажет»,— подумал Сейран.

— Выпьем за того молодца, которого здесь нет, но чье сердце с нами.

— За какого это молодца ты хочешь пить, ага тамада?

— За Сейрана.

— Ну нет, меня хоть повесь, а я за такого нечестивца пить не стану.

— Почему?

— Он осрамил нашу братию.

— Чем?

¹ Т а р — восточный музыкальный инструмент.

— А тем, что у него из-под носу утащили невесту, а он стоит разиня рот.

— А я было думал, что ты, болван, о деле хочешь говорить. Пей! Неужели мы допустим, чтобы у нашего молодца отбили невесту? За Сейрана, урра!

Поднялся шум, и заиграла музыка.

Сейран подошел к духану и постучался. Дверь распахнулась.

14

В то время как Сейран бродил по городу, Сусан мучилась под гнетом тяжелых мыслей. Она подошла к очагу, сняла котел и поставила на пол; потом, разостлав овчину, села на нее и принялась мыть посуду.

«Он не верит, что я его люблю,— повторяла девушка, опуская в кипяток тарелки одну за другой,— не верит, что только из-за него я так изменилась, исхудала».

Вспомнив, какое жалкое лицо было у Сейрана при разлуке, Сусан вздохнула. Как знать, куда он пошел? Где он приклонит свою несчастную голову?

— О господи, ты нас соединил и ты нас разлучаешь,— прошептала Сусан, вперив взор в закоптелый потолок кухни.— За что, за какие грехи ты так разгневался на нас? Эх, да будет во всем твоя святая воля.

От догоравшего очага шел мрачный желтоватый свет. Сусан сидела перед очагом; лицо ее теперь казалось еще печальнее.

«Помилуй меня, господи! Что за мысли лезут в голову; накажет меня бог».

Еще в школе у монахини Сусан узнала, что бог прежде всего сотворил мир. Потом, создав Адама и Еву, сказал им: «Все, что вы видите: море, землю, животных и птиц — все отдаю в вашу власть, все будет вам повиноваться». Если это правда, почему же господь не позволил человеку повелевать и своим сердцем? Кабы нам было это позволено, мы бы не страдали и не грешили. Говорят же умные люди, что надо слушаться не сердца, а рассудка. Как бы не так! Рассудок подсказывает Сусан, что она не должна любить Сейрана: так хочет отец. А сердце говорит совсем иное. Почему?

Не находя ответа на этот вопрос, Сусан с тарелкой и тряпкой в руках уставилась на очаг, где потрескивали угольки. Не мигая, глядела она на огонь, потом опять взялась вытирать тарелку.

«Нет, сколько ни думай, правда на моей стороне. Взять хоть бы отца. Человек неглупый, твердый, и все-таки решает он не умом, а сердцем. Он говорит: «Я порвал с Айрапетом из-за чести». А что такое честь? Мне сдается, что это человеческое сердце и больше ничего. Или еще, отец говорит, что сердце у него ноет, когда он слышит, как о нем нехорошо говорят в городе. Вот его слова: «Я знаю, что про мою дочь говорят ложь, и все-таки краснею». Почему же он краснеет, раз это ложь? Потому что сердцу не по нутру эти слухи. Вот и выходит, что даже отец не может победить свое сердце: мучит и себя и нас. Одно я знаю, что не в силах забыть Сейрана. Он в моем сердце и выйдет оттуда только с моей душой».

Сусан быстро вытерла глаза рукавом.

«Господи, да будет на все твоя воля, об одном лишь молю тебя: пожалей меня и моих родителей. Дай мне силы дожить до замужества хотя бы с Рустамом, а потом продли мою жизнь ненадолго, чтобы я имела время смыть грязное пятно с имени родителей и с моего. Передаю тебе мою душу, потому что без Сейрана все равно я жить не могу».

Девушка собрала тарелки и вышла. Еще подходя к дверям, она услышала громкие голоса родителей.

Бархудар уже давно не разговаривал с женой. Сусан была очень удивлена; ей хотелось узнать, о чем идет речь, и она осторожно притаилась за дверью.

— Без конца я твердил тебе, жена, и теперь говорю в последний раз: я лучше тебя знаю, что делать.— Бархудар говорил медленно и резко.— У меня еще не высохли мозги, чтобы я стал себя опять позорить. Я спрашиваю тебя, что будут говорить, если я выдам дочь за айрапета сына? Все скажут, что вот Бархудар отдал дочь свою, как грязную тряпку, выстирать тому, кто ее запачкал. Да к этому еще кое-что прибавят. Ты ведь знаешь наш народ: только поскользнься, сейчас же затопчут. Сбережем хоть остатки нашей чести.

Гюльназ отвечала дрожащим голосом:

— Голову дам на отсечение, если дочь моя не ока-

жется чистой, как свет от этой свечи. Поверь, Бархудар, что Сусан невинна, как ангел.

— Я-то верю, а попробуй наш город в этом убедить. У меня всего две руки: если я заткну пару глоток, как быть с остальными?

— Но как же нам унять злоязычных, Бархудар, как избавить нашу дочь от страдания?

— Я уже сказал тебе.

— Выдать Сусан за Рустама?

— Или за кого-нибудь другого.

— Пойми же, Бархудар, что дочь наша любит Сейрана, с другим она жить не станет.

— Провались сквозь землю ее любовь, мне моя честь дороже!

Наступило молчание.

Сусан сквозь щель заглянула в комнату. Мать плакала. Все эти три месяца она крепилась, и вот только теперь горькие слезы ручьем побежали по ее изможденному лицу.

Бархудар покручивал усы и смотрел на потолок.

«Мать плачет, а отцу все равно,— подумала Сусан.— Но как он бледен, как у него посинели губы! Такие люди не умеют плакать. Они скрывают свои страдания и усугубляют свою боль. По глазам вижу, что он страдает куда больше, чем мать. Господи, научи меня, как помочь родителям? Упасть к ногам отца и, рыдая, рассказать ему все, чтобы вымолить прощенье? Но что расскажешь? Да и какие за мной грехи? Нет, лучше завтра утром убедить мать, что я не люблю Сейрана и хочу выйти за другого. Хоть этим успокою бедняжку».

— Слушай, жена, — заговорил Бархудар, — слезами горю не поможешь, не лучше ли мозгами пошевелить? Надо же покончить с этим делом. Ведь ты же сама говоришь, что дня не проходит, чтобы Шппаник не являлась к тебе от Рустама: если придет опять, скажи, что я согласен выдать дочь.

— За Рустама?!

— Да. И на днях же устроим обручение. Нечего тянуть, обдумай, что нужно для свадьбы, я все закуплю. Это мое последнее слово.

— Шппаник уже третью неделю к нам не ходит,— ответила плачущая Гюльназ.

— Почему?

— Должно быть, мать Рустама что-нибудь услышала. Поэтому я и говорю: выдай ее за Сейрана...

Бархудар нахмурился.

— Завтра же позови Шппаник, я сам с нею поговорю,— сказал он наконец.

— Недоброе ты дело затеваешь...— вздохнула Гюльназ.

— Все равно ты меня не уломаешь, это дело решенное. А не то я вас всех прикончу.

— Бархудар!

— Молчи, негодная, не выводи меня из терпения!

Гюльназ горько рыдала.

Вошла Сусан.

15

Рассветало. Солнце медленно всплывало из-за ближней горы, румяные лучи его, постепенно бледнея, опускались в долину. Наконец оно добралось до подножия гор, где высились купола армянской и недавно выстроенной русской церквей.

Жители города спешат по своим делам. Улицы оживляются. Крестьяне гонят тужело навьюченных ослов, продавцы фруктов горланят что есть мочи: «Кизил, кизил, гривенник мерка! Огурцы, огурцы, двугривенный сотня! Черного, раннего инжиру!» Из ворот то и дело выглядывают закутанные женские головы, боязливо смотрят, нет ли на улице чужого мужчины, и уже тогда делают знак продавцу. Торг длится несколько минут. Женщина отсчитывает медяки, продавец отвешивает фрукты. Пересыпав их на поднос, покупательница быстро скрывается.

Самодовольно покручивая усы, глядя по сторонам, шествует посередине улицы в свою лавку недавно разбогатевший торговец Хачов. Он уже успел заменить бухарскую папаху фуражкой; на ногах у него не чувяки, а модные ботинки. Хачов умышленно ступает по огромным камням мостовой, чтобы ботинки его скрипели как можно громче. В руке у него позвякивает связка ключей, часовая цепочка звонко ударяется о пояс, окованный серебром: все эти звуки тешат сердце Хачова.

Следом семенит Тамраз; под мышкой у него в грязном

платке хлеб с сыром, за плечами связка недошитых чуваков. Вот Тамраз поравнялся с Хачовом, обогнал его шага на два, остановился и приложил руку к сердцу.

— С добрым утром, ага.

— С добрым утром, устá,— не взглянув на Тамраза, отвечает Хачов.

Все спешат в разные стороны. Не видно только Айрапета. Он дома.

Накинув чуху с длинными рукавами, нахлобучив папаху, ходит он взад-вперед по комнате, посасывая трубку. Лоб насуплен, губы стиснуты, руки трясутся: все говорит о тяжелой внутренней борьбе. Иногда по бесцветным губам пробегает горькая улыбка. И тогда блуждающие взоры старика, как бы против воли, устремляются на Мариам-баджи, приткнувшуюся в уголке.

Она не смотрит на мужа. Против обычая голова у ней не повязана, короткие волосы падают до плеч. Перед ней лежит Сейран с красным платком на голове. По закрытым глазам и спокойному лицу видно, что он спит. Мариам-баджи, вздыхая, щупает сыну лоб: «Жар». Из-под платка на лбу Сейрана видны застывшие капли крови. Лицо распухло.

Убедившись, что сын заснул, Мариам-баджи осторожно встала.

— Умойся да волосы поправь, сейчас, того гляди, вьются разные ханжи, начнут вздыхать да причитать,— вполголоса сказал Айрапет.

— К дьяволу их всех, не об них моя забота. А ты, человек божий, так и не сказал, что случилось с моим бедным детищем?

— Ради бога, не бреди моего сердца! --- отвернулся Айрапет.

— Боже праведный, воздай им по их делам, чтобы родители врагов моих так же страдали.

— Ты попусту не проклинай других. Никто не виноват. Поделом ему. Эти страдания пойдут ему на пользу. Если у осла хвост дорастет до земли, и тот поумнеет. Для Сейрана у меня нет другого проклятия: дай тебе бог иметь такого же сына, чтобы ты мучился, как я!

— Полно тебе, человек божий, так терзаться. Слава богу, что наш сын еще живым воротился. Ведь его убить могли.

— Ах, кабы убили и нас освободили.

— Отсохни твой язык!

— Сегодня приволокли живого, завтра или послезавтра, бог даст, без головы принесут.

Не слушая зловещих слов мужа, Мариам-баджи стала приводить себя в порядок.

— Да, увидишь ты, чем он кончит,— продолжал Айрапет.— С той поры, как он связался с пьяницами, курильщиками и картежниками, я на него рукой махнул. Поняла? Песенка его уже слета — давно пора ему стать собачьим мясом. Не надо мне такого сына, который всю ночь шляется по духанам, пьянствует, дерется, а потом избитого, изуродованного его волокут в ковре домой. Отдаю его тебе, будь с ним счастлива, а я умываю руки: я отказываюсь от него.

И Айрапет, схватившись за ворот архалука, начал его трясти.

— Когда он откроет глаза, скажи ему, чтобы не смел мне показываться. Пускай идет, куда хочет. А я ему больше не отец. Все кончено! Понимаешь, я, горшечник Айрапет, отныне ему не отец, и все. Сегодня же пойду в канцелярию и скажу, что отказываюсь от него.

— Конечно, аминь, исцелил ты мою сердечную рану! Ну, хорошо: пусть он собака, сорванец, негодяй, но ведь он же твой сын, ты отец ему! Твой долг наставить его на правильный путь...

— Не хочу я, понимаешь, не хочу, чтобы он назывался моим сыном. Бери его, сажай себе на шею, делай с ним, что хочешь. Не из-за него ли в один день порвалась тридцатилетняя дружба с Бархударом? Не он ли причина, что в городе треплют имя честной девушки? Нет, нет, нет, он мне не сын!

— Пускай твоего бедняжку Бархудара змея ужалит, пусть десять ножей пронзят ему сердце, пусть он просит у бога смерти, а смерть от него убежит! Это он, негодник Бархудар, сгубил моего бедного сынка!

Осыпая Бархудара ядовитыми пожеланиями, Мариам-баджи смотрела на потолок и била себя в грудь. Айрапет, одной рукой держа трубку, а другой нахлобучивая папаху, сердито уставился на жену. Наконец он собрался что-то сказать, но злость перехватила ему горло. Он сунул труб-

ку за пояс, опустил руки и, покачивая головой, продолжал смотреть на жену.

Накинув на голову шаль, Мариам-баджи сказала:

— Провалиться бы всем, кто счастлив на этой земле! Под благовест добрые люди молятся, а я проклинаяю.

— Это потому, что ты змея! — ответил Айрапет. Он подошел к жене и замахнулся трубкой.

— Делай со мной, что хочешь, мне все равно. У меня сердце кровью обливается, как же мне не проклинать этих извергов?

— Ро всем виновата ты!

— Нет, не я, а пес Бархудар. Так пусть же выдаст свою дочку за Рустама, за щенка этой паскудницы Санам. Еще бы, ведь он богатый купец... Только повремени немного, скоро ты сам увидишь, как Бархудар будет бить себя по затылку.

— Ты что-то слишком разболталась, замолчи! — оборвал ее Айрапет. — Должно быть, много овса тебе досталось. Коли так, давай меняться: бери мое, а мне давай свое.

И Айрапет, сняв папаху, надел ее на голову жены, а сам покрылся жениной шалью.

— Так-то лучше: ты будешь мужчиной, а я женщиной.

— Боже, ты наделил его птичьим умом, а теперь и этот последний отнял! — Мариам-баджи злобно сорвала с головы Айрапета свою шаль.

Папаха отлетела на постель. Сейран проснулся.

Юноша приподнялся. Айрапет подошел взять папаху, и на мгновение взгляды их встретились. Схватив папаху, Айрапет отвернулся. По лицу Сейрана было видно, что его терзают угрызения совести.

— Воды, — слабо прошептал он.

Мариам-баджи торопливо исполнила его просьбу. Сейран, однако, заметил, с каким презрением отвернулся от него отец.

— На, пей, — сказала Мариам-баджи, поднося стакан с водой ко рту сына. — Что у тебя болит?

— Голова, — ответил Сейран, укрываясь одеялом.

— Ты хоть бы посидел, сынок, поговорил, легче стало бы, не все же спать, — уговаривала Мариам-баджи.

— Не могу, голова болит.

И Сейран еще глубже зарылся под одеяло.

— Не можешь? Да, лучше бы тебе удавиться от стыда, а не разговаривать! — вмешался Айрапет, набивая трубку. — Неужели у тебя нет ни капли совести?

— Упокой, господи, твоих родителей. Айрапет, не говори ничего. Молчи: ты видишь, какая беда надвигается на нас, — взмолилась Мариам-баджи.

— Что ты, чертова кукла, слова сказать не даешь! — заревел Айрапет на жену. — А ты, негодяй, что ты делаешь с нами?

Сейран молчал.

— Язык отнялся? Пусть сломает себе шею, кто тебя родил!

— Да, да, да! — с горечью подхватила Мариам-баджи.

Тут Сейран показался из-под одеяла. Опираясь на левую руку, он уставился на отца. Потом снова улегся.

— Что тебе хочется, сынок?

— Гм, гм... он, видно, лаять хочет, лай, лай, негодяй.

— Если я плохой сын, так и ты не бог весть какой отец, — пробормотал Сейран.

— Слышишь, жена? Каков наш сынок: и барчуку не уступит.

Айрапет не мог сдержаться. Сорвав с плеч чуху, стискивая трубку и скрежеща зубами, он изо всех сил топнул ногой.

— Айрапет, Айрапет, опомнись!

— Молчать! Так ты... на отца идешь! Вон отсюда! Вон, говорю тебе! Прочь убирайся, змеинное отродье!

И Айрапет сорвал одеяло с постели сына. Мариам-баджи бросилась к его ногам.

— Умоляю, не губи ты нас, обрушится наш кров!

— Где моя одежда, я больше вам не сын! Я ухожу! — крикнул Сейран, соскакивая с постели.

Оторвавшись от мужа, Мариам-баджи бросилась на колени перед сыном и начала рвать на себе волосы.

— Сейран, Сейран, жалься пад своей замученной матерью! Пощади ее седые волосы! — вопила она, заливаясь горькими слезами.

У Айрапета от ярости дрожали и руки и седая голова. Однако слезы матери тропули Сейрана. Он точно оцепенел.

— Не держи его, пускай уходит. Посмотрим, куда он пойдет,— заговорил, слегка смягчаясь, Айрапет.

— Нет, не пущу я его! Не дам оторвать поготь от пальца, сына от отца! Пусть мне сначала отрубят голову!

— Клапняйся в поги, Сейрап, своей старой матери, а то, бог видит, мокрого места я бы от тебя не оставил.

— А мне все равно теперь. Мне только мать жалко, ты же знай, как только поги мои окрепнут, я уйду из дому.

И обессиленный Сейрап упал без чувств.

— Боже, покарай меня! — вопила бедная женщина.

Но тут на дворе раздались шаги. Айрапет выглянул, повернулся и молвил жене:

— Вставай, привалила чертова орава.

В комнату ввалились гурьбой женщины: окутаные разноцветными покрывалами, они охали, ахали и причитали.

Айрапет надел чуху и вышел.

Мариам-баджи пошла навстречу гостям.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Посреди верхнего городского предместья, довольно далеко от домов Бархудары и Айрапета, в конце прямой улицы стоит одноэтажный дом. Он совсем новый: по выбеленным стенам из тесаного камня видно, что он построен после землетрясения.

Это дом Качаранц Рустама; в нем две просторные комнаты, убранные наполовину по-европейски, наполовину по-азиатски.

На четвертый день после драки Сейрана в духане, в самый полдень, в этом доме паходила только мать Рустама — Санам-ханум, женщина лет сорока пяти, среднего роста, здоровая и румяная, хотя годы уже покрыли ее лицо неизбежными морщинками. Одета она была не богато и не бедно, но опрятно, как все шемахинские жительницы среднего достатка: широкая из черного сатина юбка, сияя шелковая рубаша с широкими рука-

вами и пестрый архалук багдадского бархата. Стан ее был охвачен поясом, тоже шелковым; темно-синий цвет его указывал, что Санам-ханум овдовела. Под изящно вышитым узорным платком, фиолетовой сеткой и темной шерстяной шалью, из-под черного волосника выбивались волосы, окрашенные хной.

Санам-ханум была одинока. Ее единственный сын Рустам — на чужбине. После землетрясения, подорвавшего торговлю в Шемахе, Рустам со всеми своими товарами перебрался в Темир-Хан-Шуру; там он живет уже третий год. Тяжел был для Санам тот печальный день, когда Рустам покинул родной город! Всю силу своего красноречия истощила бедная мать, умоляя сына не покидать Шемахи.

— Шемахинская торговля мне хлеба не дает; попытаю счастья на чужбине, — отвечал Рустам.

— На кого же ты меня покидаешь, милый сынок?

— Я еду в Шуру ненадолго: устрою дела и возьму тебя к себе.

— Чтобы я на старости лет скиталась на чужим местам и кости свои сложила на чужбине?! Нет, уж лучше умереть с голоду дома, чем щеголять в шелках и золоте среди чужих людей. Не нужна мне золотая чаша, если придется плевать в нее кровью, — так говорили наши деды.

— Неужели тебе нравится коротать жизнь в развалинах? Ведь камня на камне не осталось. День и ночь все мы боимся: вот-вот опять дрогнет земля. Брось этот проклятый город и успокойся.

— Не говори так, сынок, не говори: слаще родной земли нет ничего на свете. Кто привык к ней, не может жить в другом месте. Вон ласточка — маленькая тварь, а как она любит свое гнездо!

— Любит, однако каждую осень его бросает и улетает в чужие края.

— А потом опять возвращается. Птичка, и та понимает, что значит насиженное место.

— Все это глупости: и родная земля, и дедовские очаги. «Где есть и пить — там и жить». В Шемахе нет хлеба, нет. И зря ты меня уговариваешь. Сказал — и кончено!

Зная характер сына, Санам-ханум не решилась ему перечить.

И вот пронеслось три года, а Санам так и не довелось ни разу увидеть сына. Одиночество угнетало ее. Она посылала сыну бесконечные письма, умоляла приехать хоть на денек. Но Рустам все откладывал свидание.

Однако за последнее время Санам повеселела: от Рустама пришло радостное известие. Он писал, что дела его идут хорошо, что пора ему подумать о женитьбе; пожил холостяком — и довольно. В конце письма он просил мать найти ему в Шемахе хорошую невесту: он приедет и женится.

Выбор невесты Рустам всецело предоставлял матери.

Санам только этого и хотелось. В самый день получения письма она послала за свахой Шппаник и поручила ей подыскать «хорошую, красивую, умную, толковую, грамотную и скромную девушку». Долго она совещалась с Шппаник. Перебрали всех. Одна красива, но бестолкова; другая толкова, но некрасива; третья совсем бы подошла, да замуж ей рано; у четвертой нос набок, у пятой волосы коротки и губы выпячены. Короче говоря, всех городских невест Санам разобрала и забраковала. Однако через месяц после долгих размышлений она остановила выбор на Сусан, дочери Бархудары.

— Ах, что за девушка! Статная, а глаза какие,— распевала Шппаник.— Ну да ведь и жена Бархудары Гюльназ красива, точно лань. Дочка вся пошла в мать, только умом раз в десять ее сильнее: недаром у монахини обучалась. Видела я ее на пасху в церкви, хотела заговорить, так бедняжка со стыда сгорела, слова вымолвить не могла.

— Так ты, Шппаник, устрой мне это дело, я тебя за труды уж вот как отблагодарю.

Шппаник в подобные дела вкладывала всю душу. С этого дня она просто замучила семью Бархудары. Раза три-четыре в неделю она забегала в Гюльназ, но сватовство не клеилось. За последние две недели Шппаник не бывала в доме Бархудары. Между тем родственницы Санам, узнав, что она хочет женить сына на Сусан, явились к ней неожиданно целой гурьбой.

— Что это мы слышали, Санам? Что может быть общего у этой шлюхи, дочери Гюльназ, с твоим сыном? Разве ты не слыхала, что за птица эта Сусан, что она выкидывала с сыном Айрапета?

— А что она такое сделала? — изумилась Санам.

— Ой, ой, ой! Ты спроси, чего она не делала, — злорадствовала золовка Манан, степенная шемахинская обывательница. — По ночам она с ним обнималась в укромных уголках.

— Дальше, дальше?

— Дальше ты сама должна знать: молодой парень, молодая девушка...

— Вай, ва! Знать, отнял у меня рассудок господь...

— То-то и оно! И стала бы ты посмешищем на весь город. Не марай своего честного имени, одумайся!

В тот же день Санам запретила Шппаник ходить к Гюльназ и говорить, что Рустам собирается жениться на дочери Бархудары. И опять любящая мать с помощью свахи принялась искать невесту для сына. Бились они недели две и не нашли никого.

И вот теперь, усевшись на тахте, убранной персидскими коврами, Санам гадала на картах. Раз десять она раскладывала колоду, но ничего путного не выходило. Утомившись, она уже готовилась бросить карты и вдруг услышала женский голос. Кто-то во дворе напевал и прихлопывал в ладоши. Санам выглянула и узнала Шппаник.

Сваха вошла и затараторила:

— Здравствуй, здравствуй, вечно здравствуй, кумушка! Как твои дела и как здоровье? Поведай обо всем: мы так давно не видались!

И сваха, подбоченившись, в упор глядела на хозяйку.

— Что же ты молчишь и хмуришься? Может быть, кто-нибудь назвал твоего осла хромым?

— Да разве ты дашь рот разинуть? Вбежала как угорелая и городишь неизвестно что, — приподнялась Санам. — Пришла, так и веди себя как следует.

— Не буду я молчать. Господь дал нам язык, чтоб говорить.

— Ну ладно, садись да выкладывай свои вести.

— А ты сначала приготовь добрую закуску: страсть есть хочется, в животе совсем пусто. — И Шппаник подтвердила свои слова выразительным жестом.

— Лопни твоя утроба, Шппаник, ненасытная ты!

И Санам вышла готовить закуску для свахи.

Шппаник было лет сорок. Смуглое лицо, большой рот, широкие скулы и хитрые глаза. Раз в неделю она красит волосы и руки хной.

Не подчиняясь обычаю, она и зимой и летом ходит без покрывала, из-под изношенной шали падают короткие волосы. В общем, она напоминает цыганку. В городе ее так и зовут: «цыганка Шппаник».

Живет она с мужем и двумя детьми в бедном домишке на одной из заброшенных улиц. Муж ее, испитой, пизенький, узколобый, с опухшими глазами зурнач Татун, известный пьяница. Пил он в любое время дня, как только заводились деньги. Его знали во всех духанах, где еще юношей коротал он дни, как зурнач. На свадьбы и пирушки его редко приглашали: в трясущихся от пьянства руках плохо держалась зурна. Впрочем сам Татун не добивался, чтобы его приглашали. Только бы достать денег на водку и вино, а где играть — ему было безразлично.

— Дядя Татун, а ну-ка поиграй! — приставали к нему на улице парни.

И Татун тут же садился и ставил перед собой чувяки. Потом поправлял огромную папаху, долго палаживал зурну, испытывая терпение слушателей и начинал играть. Брови его приподнимались, лоб морщился, щеки раздувались, глаза наливались кровью, и он начинал свой излюбленный «сахари»¹.

Часто игра Татуна неожиданно прерывалась. Вдруг кто-то ударял его кулаком по шее.

— Ах ты, дрянной бездельник, бессовестный! Базар устроил! Вставай и айда домой! — кричала Шппаник, схватив мужа и швырнув его, точно грязную тряпку.

— Господи, опять! Что ты мне не дашь на хлеб заработать? — лепетал Татун.

Дома начиналась другая сцена.

Зажав мужу рот папахой, Шппаник осыпала его ударами. Маленький человечек пытался звать на помощь, кричал. Наконец, уловив удобную минуту, он хватал

¹ С а х а р и — свадебная песня.

жену за волосы и, повиснув на ней, начинал глухо бормотать:

— Вот тебе, вот тебе, все мое сердце ты истерзала!

— Пусти! — вопила Шппаник, давая мужу пинка в живот.

— Если ты пустишь, отпущу и я,— отвечал Татун.

Когда Шппаник спрашивали, за что она так безжалостно бьет мужа, которому должна по закону оказывать уважение, сваха отвечала:

— Да что же мне делать с ним? И день и ночь пьянствует. Все, что заработает, пропивает, копейки в дом не принесет. А у меня семья на шее и все расходы по дому.

В городе Шппаник была заметным лицом. Ее все знали. Она с важным видом являлась в дома не только к знакомым, но и к незнакомым.

Она нужна каждому. Там сына надо женить, а нет невесты; здесь девушка на выданье — значит, ищи жениха; гут свадьба, там крестины, там поминки...

И Шппаник это прекрасно понимала, гордилась своей ролью, держалась независимо. Никого она не боялась, вела себя со всеми бесцеремонно и ни в чем никому не уступала.

Многие боялись ее, особенно матери взрослых девушек. Для них Шппаник была каким-то божком, который мог по желанию или возвысить или осрамить любую семью и любую девушку.

Санам приехала Шппаник яичницу; хозяйка и гостя уселись завтракать.

— Ну, что пишет сынок? — спросила Шппаник, уплетая яичницу.

— Жив-здоров, скучает о нас.

— Когда же он, красавчик мой, приедет?

— Так ведь надо ему об этом написать.

— Что же не напишешь?

— Не о чем. Наш город точно весь высох, ни одной невесты! — И Санам устремила вопросительный взор на сваху.

— Не высох,— повела бровями Шппаник; проглотила последний кусок и утерлась.— Спасибо.

— На здоровье.

— Ну, а теперь прибирай, да садись, дело есть! — властно молвила сваха.

Откинув волосы, склонив голову набок, Шппаник усмехнулась прямо в лицо Санам.

— Отыскалась девушка.

— Что ты, Шппаник? Чья же это дочь? — радостно вскинув руками, воскликнула Санам.

— Неслыханная красавица, ханского рода, светлая жемчужина, нежная лань, а какая хозяйка!..

— Да кто же это, кто?

— Дочь бедных, но почтенных родителей. Э, да что тут говорить.

— Чтоб тебе лопнуть, Шппаник! Ты толком скажи, чья она дочь.

— Бюльбюль¹.

— Пропади ты совсем пропадом! — Санам в петерпении шлепнула сваху по плечу.

— Так сказать? — лукаво заметила Шппаник. — А что дашь?

— Что обещала.

— Да все та жс. Дочь Гюльназ.

— Сусан?

— Она самая.

— Оставь свои шутки, мне не до того.

— Какие шутки: клянусь тебе твоим единственным сыном.

— Да ты в уме, Шппаник?

— Я-то в уме, а вот ты запуталась. Разузнала я толком, все врапье, врапье и клевета.

— Какая же клевета, коли весь город говорит?

— Чтоб ему провалиться, этому городу, педаром его бог трясет. Какую напраслину взвели на бедную девушку! Обрушься кров на ее врага!

— А кто этот враг?

— Сын горшечника, коротышка Сейран. Это он, ни дна ему ни покрышки, по всему городу разнес, что дочь Бархудары его невеста!

— Что же такого? Ведь их и в самом деле еще детьми обручили.

¹ Бюльбюль — соловей.

— Обручить-то обручили, а теперь не хотят выдавать за него Сусан.

— Почему же?

— А очень просто. Этот проклятый Сейран стал настоящим разбойником. Того гляди, либо сам кого-нибудь прикончит, либо его пришибут. Бархудар и Гюльназ еще с ума не сошли, чтоб за такого сорванца дочь выдать. Будь у меня семь плешивых дочерей — я бы волоска ему не дала! А ты что думала?

— Ох, не знаю и ничего понять не могу.

— Нечего тут и понимать. Яснее ясного. Ночью забрел он в духан и пализился до потери памяти. Полез в драку, его отдубасили на славу, теперь лежит дома, околсваст.

— Бедные родители, жалко парня.

— Гм, гм... Расстрелять бы его, чтобы не смел позорить бедную девушку. И какую девушку! Светлее дня, чище ангела.

— Только почему же сын Айрапета позорит бархударову дочь? Сдается, тут какая-то загвоздка.

— Никакой загвоздки тут нет. Сейран думал так: коли я певиншую девушку на весь город опозорю, никто ее не возьмет, и она достанется мне. Только не видать ему Сусан как своих ушей.

И Шппаник всплеснула руками.

— Как же нам быть, Шппаник? Так или этак, а дурная молва разошлась слишком далеко. По совести, и я не верю, чтобы дочь таких родителей могла себя обесчестить. Ведь они с нею глаз не сводили, никуда не пускали ее, где же она могла встречаться с Сейраном? Уж коли на то пошло, скажу прямо: я хоть и отказалась от нее, но сердце меня не слушает — днем и ночью она передо мной. Где еще сыщешь такую статную, такую красивую, как она?

— Нигде, нигде! Она одна такая. Вот я и говорю тебе: не упускай!

И Шппаник подробно, по пальцам пересчитала шемахинских девушек; из слов ее выходило, что Сусан лучше всех.

Самам понурила голову и задумалась. Сваха хитрыми глазами смотрела на нее; обе молчали. Наконец Самам подняла голову и сложила руки на груди.

— Нет, Шппаник, сколько ни думай, а все ничего не выйдет.

— Почему же? — притворно удивилась Шппаник.

— Сама знаешь: честное имя не склеишь, как посуду. Что ни говори, а Сусан в глазах всего города падшая. Если я теперь сосватаю сына, мне заплюют глаза. У меня много родных, знакомых — не убережешь меня от них этих кос,— указала Сапам на свои волосы.

— А я думала, ты дело скажешь! Родня, знакомые, то да се, пятое, десятое... Ты уж эту тяжесть на меня навали, не бойся: я им рты позатыкаю. Ты меня знаешь, слава богу. Шемаха — котел, я — ложка: знай себе помешивай...

— Я, Шппаник, боюсь за наше честное имя...

— Не бойся, в этих делах я поседела. Ты только слушай и делай, что скажу.

— А Рустам? Ведь если он все узнает, он нас на куски разнесет.

— Как же, голубушка, он за тридевять земель узнает, что какой-то Ссайран про его суженую болтает вздор? В городе, слышь, все говорят. Да кто говорит-то? Какие-нибудь Мараны, Тухик-Мухики да еще две-три бездельницы вроде них.

— Ну ладно, Шппаник, делай как знаешь, только помни: на страшном суде придется тебе отвечать.

— Пусть сорок тысяч чертей заберут душу Шппаник, если она хочет подвести тебя. Ну, а теперь поди-ка принеси варенья: хочу рот подсластить, чтобы скорее дело кончить.

— Не торопись, надо еще подумать.

— Нечего думать. Куй железо, пока горячо. Уж скажу тебе правду: я вчера и нынче была у Бархудары. Старик совсем не хочет выдавать дочку за твоего сынка. Молила я его долго, пока не согласился...

— Не много ли для них чести?

— Не сердчай, Сапам-ханум. Надо же и Бархудару немало поломаться. Успокойся, я все устроила. Теперь ты должна приготовить обручальное кольцо да вызвать сына. Пускай не медлит. Так и напиши ему: «Лицо в Шуре намылишь, а бриться будешь в Шемахе». Лучше всего, Сапам-ханум, послать письмо по этой проклятой проволоке.

— Дешешей?

— Вот, вот. Ведь эта чертова штука, говорят, через час и ответ приприсит... Ну что же, песи варенья: надо глотку подсластить.

— Чтоб она у тебя засохла!

Санам вышла и тотчас вернулась с подносом; на нем красовались два блюда с вареньем и чарка водки.

— Поздравляю, милость божия с тобой. Пусть недруг твой ослепнет на оба глаза.— И Шппаник осушила чарку, а потом быстро проглотила несколько ложек варенья.

— Дай бог, чтобы все счастливо кончилось! — вздохнула Санам.

— Теперь прощай. Бегу к Гюльназ.

Шппаник накинула шаль и вышла.

4

Прошло недель пять. Был поздний осенний вечер. От проливных октябрьских дождей Шемаха зарылась в грязь и тонула в бесчисленных лужах. Густой холодный туман окутал город. Уже давно все спали; только по временам покрикивали ночные сторожа.

В одном из духанов собралась молодежь. Человек восемь парней за грязным столом «кейфовали», то есть хлестали водку и вино, закусывая шашлыком. Гвалт стоял невероятный. Один, приложив к щеке свою бухарскую папаху, тянул какую-то персидскую песню. Другой барабанил руками по столу и подсвистывал в тон певцу. Третий, с красными лицом и глазами, стоя, держал стакан и во весь голос орал кому-то здравицу, четвертый так громко спорил со своим соседом, словно тот находился от него по крайней мере за полверсты.

Все заволакивал густой табачный дым, смешанный с чадом от шашлыка и винными парами. Толстобрюхий духанщик одобрительно слушал этот шум и гам. В грязном фартуке, он вращал в углу на вертеле шашлык и хрипло повторял: «Ой, ой, ой, и что за шашлычок!»

Один только юноша сидел неподвижно, упираясь локтями в стол и охватив ладонями виски. В духане тускло поблескивала единственная лампочка на потолке; желтоватый свет ее неясно падал на исхудалое лицо юноши. Он о чем-то думал и, казалось, не слышал невыносимого галдежа.

— Ну-ка, Енгибар, вылей этому нечестивцу на темя стакан вина! Чего он киснет? Весь наш кутеж испортил! — крикнул молодец с закрученными усами.

— Эх, Сейран, засияй подобно весенней розе! Будет хандрить, сейчас они покажутся,хвати-ка пока для храбрости.— И Енгибар приподнял за волосы голову Сейрана.

— Налейте ему самый большой стакан! Я тамада, я требую! — приказал молодой человек с закрученными усами.

Перед Сейраном тотчас же появилось несколько стаканов. Он посмотрел и отвернулся.

— Пей, говорю тебе, не то на голову вылью! — крикнул тамада.

— Не буду, меня тошнит.

— Пей, не отстану, пока не выпьешь!

Сейран залпом осушил стакан.

— Вот это дело, теперь поставь стакан вверх дном! Еще один, не то разобью кувшин о твою голову.

Сейран опрокинул и второй стакан.

— Вот молодец, настоящий мужчина! Урра!

Но Сейран опять повесил голову. По его налитым кровью глазам, по дрожавшим губам и заплетавшемуся языку было видно, что он сильно захмелел.

Шум между тем становился все громче. Спор разгорался по малейшим пустякам. Тамида без устали провозглашал здравицы, но его никто не слушал.

Внезапно в дверях показался парень с длинной палкой. Рыжая мохнатая папаха нависла над его маленькими хитрыми глазками.

— Ребята, живей! — крикнул он задыхаясь.

— Уже вышли? — раздалось несколько голосов.

— Да, да, берите дубинки!

Все замолчали и переглядывались недоумевая.

Сейран мгновенно вскочил и бросился к выходу. Вошедший парень загородил ему дорогу.

— Стой!

— Прочь! — И Сейран обеими руками оттолкнул его.

— погоди, вместе выйдем,— не пускал парень, удерживая его сильной рукой.

Сейран окинул товарищей взглядом: никто не тронулся с места. Парень опять стукнул палкой и крикнул:

— Живо, не то доберутся до дому, и будет поздно!

Минута молчания. Наконец тамада вскочил, схватил свою дубинку, нахлобучил папаху и торжественно сказал:

— Ребята, держитесь молодцами! Горе тому, кто покажет спину! Такому я распорю брюхо вот этим самым... видали? — И он указал на свой кинжал.— Айда!

Поднялся невероятный шум. Все похватали дубинки. Тамада выбежал из духана, пьяная ватага бросилась за ним.

5

Туман становился гуще. Тусклый свет уличных фонарей серебрил застывшие лужи.

Недалеко от «старой церкви» в конце улицы блеснули огни и послышались оглушительные звуки зурны и барабана. По улице двигалась шумная толпа. Выкрики, свист и рукоплескания заглушали музыку.

Это была свадебная процессия Сусан и Рустама. На невесте пестрая шелковая чадра; лицо закрыто густой сеткой, по местному обычаю. Слева от нее шел молодой человек среднего роста, одетый не то по-восточному, не то по-европейски. Новенький серый атласный архалук стянут золотым поясом, венгерка тонкого черного сукна, фуражка с широким околышем, узкие брюки и скрипучие башмаки. Широкая грудь, румяные щеки и непринужденная осанка говорили о здоровье и благополучии. Только толстый приплюснутый нос, глубоко посаженные глаза и густые брови производили не совсем приятное впечатление. Лицо гладко выбрито, черные усики закручены.

Это и был Рустам.

Не будем говорить подробно, как совершилось обручение, а за ним свадьба. Скажем только, что главную роль во всем играла сваха Шппаник.

Кое-как убедив Санам женить сына на дочери Бархудары, она пустила в ход всевозможные хитрости, чтобы как можно скорей кончить дело. Прежде всего она обошла всю родню Санам. Бархудар ее не просил ни о чем, но ей довольно было и малейшего намека, чтобы целых три недели метаться по городу и говорить без конца, пока дело не устроилось ко всеобщему удовольствию.

Шппаник помог и случай. В Шемаху приехал какой-то молодой купец. Неизвестно почему Шппаник вообразила, будто приезжий хочет жениться на одной из местных красавиц, и вот, недолго думая, она покрасила волосы хной, умылась казанским мылом, накинула новую шаль и явилась к молодому купцу.

За стаканом чая она разузнала, кто он такой, откуда, чем занимается и какие имеет средства. Оказалось, что купец из Гянджи, торгует шелком, имеет приличное состояние, но что он женат и обзаводиться второй женой не намерен.

Шппаник повесила нос и вышла от купца не солоно хлебавши. Однако она тут же отправилась к Санам и, притворяясь огорченной, объявила:

— Ну, голубушка моя, была я у купца. Денег у него куры не клюют, а красавчик такой, что я сама в него чуть не влюбилась. И поручил он мне пайти ему красивую невесту: пятьдесят рубликов за это обещал. Как узнал он от меня про дочь Гюльназ, так и разинул рот: «Вот, вот, такую-то девушку мне и надо». Теперь у нас разговор будет короткий: если хочешь жепить сына на Сусан, соглашайся; нет — я сейчас же сосватаю ее купцу.

Санам поверила и просила дать день сроку, чтобы обдумать. На другой день Шппаник опять явилась и узнала, что Санам согласна и уже отправила сыну телеграмму.

Вскоре Рустам приехал в Шемаху. И вот теперь справляется свадьба.

Рядом с Сусан шли: посаженный отец, один из товарищей Рустама по торговым делам, и Смбат, брат невесты. За ними — прочие гости; между ними на первом месте Гюльназ и Сусамбар, подруга Сусан.

Сусамбар не отходила от невесты, которая из-за густой вуали почти ничего не видела, и выполняла роль проводницы.

Процессия свернула на улицу, где находился дом Рустама. Журна так и ревела, барабан гремел. Вдруг раздался крик, и в ту же минуту большой камень ударил факельщика по руке. Тот выронил факел.

Этот случай произвел замешательство в процессии. Женщины завывали, мужчины растерялись: в наступившей мгновенно темноте ничего нельзя было разобрать. Сума-

тоха нарастала. Послышались угрозы и непристойная ругань.

— Факел зажечь! — громко и повелительно крикнул Рустам.

Стонущий факельщик валялся на земле. Кто-то зажег спичку. Желтоватый пламень тряпки, пропитанной нефтью, осветил новобрачных, Гюльназ, Сусамбар и Смбата.

— Куда вы, трусы, нечестивцы? — крикнул кто-то и разразился затем площадной бранью по адресу Рустама.

Факел осветил лицо озорника. Это был юноша, бледный, как труп, весь в грязи, с взлохмаченными волосами, с безумным взглядом. В правой руке — дубина, на левой намотана черкеска. Ноги ему не повиновались: он был пьян.

— Пустяки, пускай зурна играет, идем! — И Смбат вырвал у юноши дубинку, потом взял его под руку и отвел.

— Что случилось? Что за парень? Чего ему надо? — допытывался Рустам.

— Вздор, какой-то пьяница, — отвечали ему.

— Да, может быть, я его знаю?

— Проходимец, он у нас недавно.

— Кто это был? — шепотом спросила новобрачная у Сусамбар.

— Сейран.

— Сейран!.. — повторила Сусан и лишилась чувств.

— Очнись, Сусан, — воскликнула Гюльназ, обнимая дочь. — Она умирает, помогите!

Все окончательно растерялись. Зурна умолкла.

— Воды, воды! — кричал Рустам, подхватывая жену.

Знакомый нам духан еще не был закрыт. Смбат бросился туда за водой.

С лица Сусан сняли сетку. Через несколько минут она открыла глаза. Одно только слово слетело с ее побледневших губ, и она опять лишилась сознания.

Почти никто не разобрал это слово; слышали его только Гюльназ и Сусамбар. Так им показалось сначала. Однако слово это расслышал и Рустам и так взглянул на обеих женщин, что они задрожали и понурили голову.

Убедившись в неудаче налета, Сейран вернулся в духан. Не найдя другого убежища, он выпросил у духанщика позволения переночевать.

Обессилен духом и телом, лежа в углу, Сейран углубился в размышления. Но думать связно он не мог. В усталой, отуманенной вином голове с трудом рождались мысли. Сцена, только что разыгравшаяся на улице при его деятельном участии, теперь представлялась Сейрану сном. Он даже не мог понять ясно, что случилось и почему ему опять приходится искать приюта в погребке. Позорная измена и бегство приятелей, площадная брань, которой он осыпал новобрачных, торжествующий Рустам и безропотно покорная Сусан — все это смешалось в мыслях униженного и оскорбленного юноши. Подавленный тяжестью воспоминаний, он, не шевелясь, лежал на полу, как один из пустых бурдюков, наваленных рядом в углу.

И вдруг дверь отворилась: вбежал Смбат, требуя воды. Сейран насилу поднял отяжелевшие веки. Когда его взгляд упал на Смбата, он вздрогнул точно от удара электрического тока. Он собрался с силами и встал. Бывшие друзья молча, выжидательно смотрели друг на друга.

— Э-э-эх, сукин ты... — начал Сейран и, не в силах говорить, опустил голову.

По лицу Смбата скользнула гримаса жалости и отвращения.

— Голову я тебе раздроблю... — опять забормотал Сейран, сжимая кулаки и собираясь броситься на Смбата, но не мог.

Смбат выжидательно смотрел на него. Сейран бормотал что-то невнятное и кончил грубым оскорблением. Смбат, разобрав его слова, багровый и дрожащий от гнева, оставил кувшин и приготовился к драке. Изумленный духанщик, тараща опухшие глаза, с недоумением поглядывал на парней, пытаясь понять, в чем дело. Между тем Сейран, опираясь одной рукой о стул и сжав кулак другой, продолжал что-то бормотать.

— Стыдись, Сейран! До чего довела тебя глупость! — заговорил было Смбат, но, вспомнив о сестре, схватил кувшин и побежал к дверям.

Сейран, пошатываясь, двинулся вслед за ним и крикнул изо всей силы:

— погоди! Не надо мне...

Смбат остановился выжидая.

— Да, не надо мне этой грязной тряпки, этого объедка, отдайте ее собакам! — отчетливо молвил Сейран.

Намек был слишком ясен.

— Клянусь тебе, Сейран, святым обрядом венчания моей сестры, что задушу тебя, как собаку, если ты не уймешь свой грязный язык! — скрежеща зубами и кусая губы, ответил Смбат.

— Святым... святым... вот каким! — и, плюнув, Сейран указал на плевок.

Терпение Смбата лопнуло. Он кинулся на Сейрана и стал душить его.

Духанщик с криком бросился их разнимать. Сейран походил теперь на мышонка в лапах голодной кошки. Извиваясь, он обеими руками схватил Смбата за волосы и замер.

— Сейчас же слизни свой плевок! Не то я отправлю к чертям твою подлую душу! — кричал Смбат.

Но Сейран не мог вымолвить ни слова, язык его вылез изо рта, глаза, палившись кровью, казалось, вот-вот выскочат из орбит.

— Вот наказание! Да брось ты, братец, этого беднягу. Еще и меня, пожалуй, влутаете в грязное дело! — кричал духанщик, вырывая Сейрана из рук противника.

— А ну тебя! Не хочу и рук о тебя марать.—И Смбат что было силы толкнул Сейрана.

Тот покатился мячиком. Даже не посмотрев на него, Смбат схватил кувшин и вышел.

7

К приходу Смбата Сусан привели в чувство. Опять заиграла зурна, и процессия в прежнем порядке двинулась дальше. Через четверть часа она была уже у дома Рустама и медленно прошла через двор. Навстречу вышла разодетая толпа гостей с Санам во главе.

Счастливая мать приветливо улыбалась. Ее бесцветные глаза теперь сверкали довольством. Действительно, радость ее не знала границ. Ведь исполнилась ее заветная мечта: любимый сын женился. Материнское сердце билось и замирало.

Не меньше ликовала и Шппаник, хотя и по другой причине. Сегодня она тщательно выкрасила хпой и руки и волосы. Когда процессия вошла в дом, Шппаник выбежала навстречу новобрачным, подняла свои длинные руки и под звуки зурны пустилась в пляс.

— Благослови бог тебя, красавчик ты мой, и да будет Шппаник жертвой твоему стану, стройному, как чипара! — и сваха бросилась на шею Рустаму, покрывая поцелуями его лицо. Потом, оставив новобрачного, она крикнула: — Кайтаги! — И, выхватив из-за пазухи тарелку, подняла ее вверх, продолжая танец. Санам высыпала на тарелку свахи горсть серебра. Гости следовали ее примеру, и тарелка быстро наполнилась медными, серебряными и бумажными деньгами. Музыканты с завистью следили, как все это исчезло в карманах свахи. А Шппаник показала зурначам пши.

Довольная обильной добычей, она уступила место старшей Санам, и та, раскачиваясь на пухлых ножках и развевая платье, тоже заплясала. Рустам вынул пятирублевку, смочил слюной и прилепил ко лбу матери. Исхудалая, дрожащая рука Сусан сунула свекрови вторую синюю бумажку. Каждый из гостей тянулся со своей лентой.

Все эти деньги Санам отдала зурначам и покинула круг. Один из гостей держал поднос над головами новобрачных; все поочередно подходили и клали подарки: кто ассигнацию, кто золотой, кто ценную вещь, кто отрез на платье.

Наконец зурна смолкла, гости сели за стол.

Сусан отвели на женскую половинку. Рустам остался с мужчинами.

По шемахинскому обычаю новобрачная весь ужин должна стоять на ногах. На этот раз обычай нарушили. Свидетели уличного происшествия и обморока Сусан заставили ее сесть на мягкий шелковый тюфячок в углу. Рядом уселись Гюльназ и Сусамбар.

¹ К а й т а г и — название танца.

За ужином Сусан и Сусамбар все время шептались, хотя их и так никто не слушал: все были заняты едой.

— Как жаль мне его родителей,— говорила Сусамбар,— каково-то им теперь?

— Ох, и придется же мне отвечать на страшном суде за мои тяжкие грехи! — вздохнула Сусан.

— В чем же ты виновата?

— Ах, Сусамбар, во всем виновата я одна. Боже праведный, что мне делать?

— Не мучь себя, Сусан, и так от тебя только кожа да кости остались.

— Хоть бы сгнить им поскорей в земле, и я бы успокоилась и другим бы легче стало. Ты только, Сусамбар, посмотри, на что похожа моя мать. Сидит скрестив руки, как будто меня хоронят. Все веселятся, пьют, едят, а ее точно и нет с нами. Погубила я моих бедных родителей по глупости своей!

По изможденным щекам Сусан побежали слезы. Она задыхалась; казалось, смерть подступает к новобрачной. Никто не заметил этого, кроме Сусамбар. Вдруг Сусан назвала ее по имени.

— Чего тебе, душка? — пригнулась та к ее уху.

— Хочу спросить тебя, только скажи правду.

— Когда же Сусамбар лгала тебе?

— Правда ли, будто бог без суда отдает души самоубийц дьяволу?

— Грешно, Сусан, говорить на свадьбе о таких вещах.

— Нет, Сусамбар, если ты меня любишь, скажи.

— Ей-богу, я поссорюсь с тобой.

— Заклинаю тебя твоим единственным братом.

— Ах, ну, конечно, так.

— Значит, самоубийцы идут прямо в ад?

— Да.

— Даже если за ними нет грехов?

— Как же нет? Самоубийство — самый тяжелый грех.

— Но почему же без суда? Скажи, если ты меня любишь?

— Потому что мы созданы по образу и подобию божию. Убивая себя, человек совершает тяжкий грех и попадает в ад. Лишая себя жизни, он говорит богу: я до того не люблю тебя, господи, что даже в образе твоём не хочу пребывать.

— Господи, прости и помилуй! — И Сусан со вздохом перекрестилась.

— А зачем тебе об этом знать?

— Да уж так...

— Ведь ты знаешь, самоубийца даже не хоронят* по христианскому обряду. А как же неотпетый покойник предстанет на страшном суде?

— Буди милость твоя, господь, на нас! — задумчиво прошептала Сусан.

А в это время на мужской половине новобрачный боролся с мрачными мыслями:

«Что за люди напали на нашу процессию? Кто этот юноша, что так ругался? Сейран... Сейран... Почему Сусан произнесла это имя? Может быть, это один из ее друзей напился, повздорил с родными невесты и теперь хотел выместить на нас свою злобу? Нет, тут что-то нечисто. И если Рустаму ничего не хотят сказать, он сам обо всем разузнает, не то его сердце разорвется...»

Так раздумывал Рустам, суетливо потчует гостей. По временам он испытующе поглядывал на них, как бы ища разгадки. Но он ничего не мог прочесть на лицах, кроме удовольствия от обильного ужина с вином.

С особым вниманием всматривался Рустам в Смбата, сидевшего понуро, с грустным видом. От взглядов новобрачного юноша упорно уклонялся. И подозрения Рустама росли с каждой минутой. Нет, он узнает непременно, в чем тут дело!

Пока Рустам терзался подобными мыслями, оживление за столом достигло крайних пределов. Начались здравицы. Тамадой избрали пятидесятилетнего сухонького человечка с густыми рыжими усами. Это был писец, много лет тянувший канцелярскую ляжку в казенных учреждениях. Если Шппаник на всю Шемаху славилась как лучшая сваха, то старый канцелярист считался наилучшим тамадой. Ни одна свадьба не обходилась без него. Его даже звали не по имени, а прямо «тамадой».

Прежде всего он поднял стакан за здоровье новобрачных.

— За царя и царицу! ¹ Уррра!

— Урра, урра! — подхватили гости.

¹ Так называли новобрачных у армян в день свадьбы.

По знаку тамады стаканы опять наполнились.

— За здоровье посаженного отца!

— Урра!

— А теперь, господа, выпьем чрезвычайный тост за всех присутствующих.

— Чрезвычайный, чрезвычайный, урра! — воскликнули все, осушая стаканы. И опять тамада привстал, подбоченился и выпятил грудь. Все последовали его примеру.

— Господа, за! — начал тамада по-русски, отчеканивая слова.

— За! — повторил хор.

— Здоровье...

— Здоровье!

— Нашего...

— Нашего!

— Смбата...

— Смбата!

— Бархударовича...

— Бархударовича!

— Выпьем!

— Выпьем!

— Гип-гип, урра!

— Урра!

Общее оживление подействовало и на музыкантов. Струны тара под тонкими, густо окрашенными хной пальцами музыканта-перса выразительно передавали порывы и трепет восточной музыки. Любовные стихи бессмертного Гафиза так и лились из широкой груди ширазского певца. Бубен, изукрашенный мелкими колокольчиками, заливался в его руках.

Наконец ужин кончился, и опьяневшие гости, слегка покачиваясь, ударились в пляс. Не умевшие танцевать разбились на группы, беседовали и шутили. Все были веселы, кроме Смбата и Рустама.

Смбат, засев в отдаленном уголке, непрерывно курил, а Рустам метался по комнате, точно бодливый баран. Подозрения его все время росли. На всех он смотрел недружелюбно; его раздражали и Смбат, и гости; даже музыканты, казалось ему, нарочно играют какие-то неподходящие мотивы. И едва Рустам замечал, что два или три гостя в стороне беседуют шепотом, как беспокойство овладевало его сердцем. «Разумеется, это обо мне. Ах, кабы я

знал, о чем они толкуют!» И он подкрадывался к собеседнику, оборачивался спиной и старался подслушать. Убедившись, что говорят не о нем, он так же тихо удалялся. «Должно быть, завидя меня, они переменили тему».

И вдруг он нечаянно услышал слова, пригвоздившие его к месту. Говорили двое юношей, еле державшиеся на ногах.

— Вот тебе слово, до сих пор,— уверял один, показывая на свое горло.

— Не верится что-то.

— Тобой клянусь, истинная правда.

— Зачем же она вышла за Рустама?

— Ребенок ты, что ли? А отец?

— Бедняжка! Видно, у нее теперь сердце не на месте.

— Ну да! Ты видел, как она в обморок упала?

— Видел. Я видел и парня. Мне только что-то не верится...

— Много ты понимаешь. Он молод, она тоже, гм...

— Не дай бог, если Рустам узнает...

Раздались звуки музыки, разговор оборвался.

Рустам побледнел, глаза его загорелись, губы посинели, он едва не упал.

— Что со мной? Надо быть мужчиной...— бормотал он, стараясь казаться равнодушным. Несколько минут он стоял неподвижно, кусая губы.

«А впрочем, может быть, это только сплетня. Может быть, это враги невесты. Боже, пошли мне терпения хоть на три дня!»

И Рустам поспешил к гостям.

8

Настало утро четвертого дня. Бархудар и Гюльназ давно проснулись. Смбат все еще оставался в постели. Сегодня его долго не будили, хотя надо было отправляться в мастерскую.

Дымя трубкой, с которой он не разлучался, Бархудар ходил взад и вперед по комнате. Гюльназ сидела у окна. Беспокойство отражалось на их лицах. Бархудар вздыхал и то и дело посматривал на потолок. Гюльназ припадала

лицом к железной решетке окна, точно высматривала кого-то. Подходил к окну по временам и Бархудар.

— Ну что, не видать? — спрашивал он шепотом у Гюльназ.

— Да потерпи ты, человек божий, зачем зря терзаться? — заговорила наконец Гюльназ. — Сам говоришь, что сомнений быть не может, а тревожишься. Ну, пусть ее не приходит, нам-то не все ли равно?

— Нам все равно, а людям рта не закроешь.

— Обрушьюсь кров на того, кто выдумал этот проклятый обычай! Пяль теперь глаза да мучайся, а из-за чего? Чтобы какая-нибудь бесхвостая Шппаник явилась с доброй вестью: ваша-де дочь невинна! Как будто мы не знаем, где росла наша голубка. Подумаешь, без Шппаник не обойтись, везде она свой нос сует. Стыд и срам! Царь небесный, в чьих руках судьба нашей родной деточки!

— Да будет тебе причитать, не зли ты меня. Посмотри-ка, не идет ли.

Гюльназ опять прильнула к окну.

— Ох, жена, чует мое сердце недоброе.

— Потерпи. У тебя уже и рассудок и сердце помутились. Зачем дурно думать, человек божий, ведь придется за это отвечать на страшном суде.

— Смотри, смотри, Гюльназ!

Казалось, Бархудар сейчас с ума сойдет.

— Ой, идет! — вскочила Гюльназ.

— Ну и пусть! Добро или зло, честь или позор?

— Диль-диль-диль, — ай джан, ай шабаш! — завизжал в дверях голос Шппаник. — Подарочки готовьте!

Бархудар облегченно вздохнул. Приплясывая и подпевая, вошла Шппаник.

Лицо Бархудара просияло улыбкой, как будто солнце появилось на зимнем небе.

— Вот тебе подарочек, — воскликнула Гюльназ, накидывая на голову свахи новенькую дорогую шаль.

— Чиста как солнышко, невинна как ангел. Вот бери, это поздравляет Санам.

И Шппаник подал Гюльназ большое гранатовое яблоко, разукрашенное сусальным золотом и гвоздикой. Тайком сваха сунула счастливой матери белый лоскуток; взглянув на него, Гюльназ поспешила его спрятать.

— Шаль — это подарок жены, а вот ты чем обрадуешь меня? — беззастенчиво схватила Шппаник Бархудар за ворот.

Старик полез в карман, вытащил пятирублевку и с глубоким вздохом прилепил ее ко лбу Шппаник. Казалось, с его истомленной груди свалился тяжелый камень; светлая улыбка опять озарила исхудалое лицо.

— Видишь, Бархудар, говорила я, что наша детка невинна! — дрожа от радости, воскликнула Гюльназ.

— Полопайся глаза у горшечникова сына, пусть все наши враги поиздыхают от зависти! — подхватила Шппаник.

Гюльназ ушла переодеться, вернулась и вместе со свахой поспешила к зятю.

Бархудар остался один. Он заглянул в соседнюю комнату и опять прикрыл дверь. Из рукава архалука он вытащил намыленную веревку и, сняв папаху, бросил веревку у ног. Посмотрел налево и направо, встал перед веревкой на колени, повернулся к востоку, сложил руки на груди, склонил голову на правое плечо и долго глядел на потолок. Он молился.

«Всемогущий боже, тысячу раз благодарю тебя, что всеблагое провидение твое избавило меня от преступления. Слава тебе, боже, слава тебе! Ты не допустил, чтобы моя грешная душа досталась дьяволу. Дитя мое невинно, но хотя я был уверен в этом, дьявол едва не ввел меня в искушение. Господи, помилуй и прости меня грешного».

Утирая слезы, Бархудар прошептал еще несколько молитвенных слов, надел папаху и поднялся. Веревку он швырнул в угол.

9

У новобрачных уже собрались гости. Тут были родственники и друзья Рустама, приглашенные Санам. Еще не было одиннадцати, а уже гости расположились за накрытым столом. Рустам все потчевал их. Сусан находилась в соседней комнате, где были женщины.

Туда прошли и Гюльназ и Шппаник. Сусан, закрытая сеткой, сидела поодаль, рядом с Сусамбар. При входе Гюльназ та что-то шепнула новобрачной, и Сусан, оправ-

ляя платье, медленно привстала. Гюльназ подошла и жарко поцеловала дочь в лоб.

— Поздравляем, счастливой вам жизни, добро копить, деток родить! — в один голос воскликнули гости.

— Подарочков, подарочков, чтобы недруги ослепли! — подхватила Шппаник, верная своей неизменной роли.

Гюльназ прилепила ей на лоб ассигнацию; гости сделали то же.

Появился Рустам. Гюльназ и его поцеловала. Новобрачный смущенно потупился и почтительно приложился к руке тещи. Эта торжественная минута сопровождалась многозначительным молчанием. Нарушила его все та же Шппаник.

Но вот начался обед. Рустам удалился к мужчинам; теперь он был весел, не то что в свадебную ночь. «Ах, злыязычные, чего не придумают, чтобы опорочить невинных».

Больше всех радовалась Шппаник. Она считала себя героиней дня, ее совесть была спокойна; то и дело она с веселым видом шептала что-то на ухо Сапам. По лицу последней можно было видеть, как она благодарна свахе. Гюльназ поглядывала на дочь с какой-то необычайной нежностью.

Сусамбар не уступала Шппаник в веселости. Она хохотала, била в ладоши и без конца острила. Больше всего доставалось от нее свахе, а та никак не могла, по ее собственным словам, «заткнуть рот болтушке».

— Ведь Шппаник — это пономарь, что обманывает покойника, — говорила Сусамбар. — В рай или в аду будет покойник, ей на это наплевать, только бы заплатили за труд. Не правда ли, Шппаник?

— Кого я обмываю, тот в рай попадет, — ответила сваха.

— Ну еще бы, у тебя хватит смелости сказать, что и Сусамбар ты в рай отправила.

— В самую точку попала: муж знатный, красивый, богатый, дом — полная чаша, чего тебе еще?

— Муж-то богат, да одной вещицы купить не может.

— Какой же это?

— А вот этой, — и Сусамбар приложила руку к сердцу. — Этого кусочка муж у меня никак не может купить.

— Должно быть, дорого просишь?

— Не дорого, да муж-то больно скуп. Ничего я от него не вижу, кроме кислой рожки да брани. Все это очень дешево, Шппаник. А скольких ты послала в такой рай, принося-ка?

Эти слова вызвали легкое замешательство у гостей. Все набросились на Сусамбар.

— Новые куры пошли, железные яйца несут,— откликнулся кто-то.

Неслыханное дело, чтобы жена при посторонних так нападала на мужа.

— А ведь училась читать; как же не показать учености? Чтоб тебе...

Это говорила племянница Санам, немолодая женщина.

— Я правду говорю,— не смущалась Сусамбар.— Все вы хороните страдание в груди, и оно гложет ваши сердца. И ты, кумушка, что меня грамотой попрекнула,— ты тоже «обмылась у Шппаник». Скажи-ка, часто ли тебя стегает твой Азраил? Не стесняйся, мне-то хорошо известно, что у тебя на спине синих рубцов больше, чем волос на голове.

— Я мужу как бы товар, я раба его, он мой хозяин и может делать со мной, что хочет, а тебе до этого дела нет. Если он и бьет меня, так любя...

— Оно, конечно, слов нет, что любя. А я плевать хотела на такую любовь, ежели со мной разговаривают не языком, а плетью. Нет уж, возьми себе такую любовь, кумушка милая! Ведь твой благоверный лошадей свою и так и этак холит, ласкает и в челку целует столько же раз в день, сколько раз по твоей спине пройдет плетью.

— Чтоб тебе с твоей учительницей-монашкой провалиться к черту на рога!

Неизвестно, чем бы кончился этот спор, если бы не вмешалась Шппаник.

— Ну, будет, придержите язычки. Не для того вас приглашали, чтобы портить людям радость.— И сваха, схватив бубен, затянула песню.

Сусамбар обратилась к Сусан:

— Пожалуй, они и про тебя скажут, что ты счастлива. А не понимают, что только тело твое взял Рустам, а душой ты принадлежишь другому и от этого страдаешь.

— Не растравляй солью мою рану, Сусамбар!

— Я говорю потому, что тебе сочувствую. Ну, что делать: хочешь не хочешь, а приходится покоряться. С богом в спор не вступишь.

— Сказать тебе правду, Сусамбар? Я уже не страдаю, как прежде.

— Понимаю, привыкаешь.

— Не в этом дело. Моя песенка спета.

— О ком же ты говоришь?

— О родителях. Как только я их избавила от страданий, моя печаль точно испарилась. Посмотри, как радуется мать. Эта радость приносит мне покой. Ведь бедняжка целый год не улыбалась.

Сусан прослезилась, но тотчас, достав шелковый платок, вытерла лицо.

— Довольно, Сусан, твои слезы ранят мое сердце, как иглы. Слезами делу не поможешь, ты должна найти себе занятие.

— Сусамбар, у меня к тебе просьба.

— Приказывай.

— Навещай почаще наших, чтоб мать не тосковала.

— Хорошо.

— И об отце приноси весточки. У меня к тебе еще одна просьба, но я стесняюсь.

— Неужели ты меня стесняешься, Сусан?

— Хорошо, слушай. Когда я упала в обморок, ты помнишь, Смбат побежал за водой в духан. Там он встретился с Сейраном и побил его. Смбат сам вчера рассказывал мне об этом. Сусамбар, если ты меня любишь, сегодня же пойди и разузнай, как здоровье Сейрана. Повидайся с ним потихоньку, передай от меня поклон и скажи, что я для него все та же прежняя Сусан. Попроси простить меня за горе, причиненное ему. Поняла? Это моя последняя просьба.

Сусан говорила все это медленно, внушительным шепотом, вздыхая. С виду она казалась спокойной, и только в глазах светилась безысходная тоска. Гости ничего не замечали: их занимал обед.

— Вот все, что я хотела сказать тебе, Сусамбар,— продолжала Сусан.— Молю тебя исполнить мою просьбу. А теперь принеси мне какую-нибудь еду, чтобы мать увидела, что я кушаю.

Но вот обед кончился. Гости еще раз поздравили молодых, пожелали им благополучия и разошлись.

Медовый месяц прошел. Рустам опять уехал в Темир-Хан-Шуру по своим торговым делам.

10

Наступила зима. Северный ветер, налетая порывами, заносил снегом кровлю, окна и двери Айрапета. Вечерело. Мариам-баджи у очага перебирала рис: Айрапет, уходя на базар, велел ей приготовить пилав. Уже давно стемнело, но Мариам-баджи, не зажигая огня, торопилась закончить переборку риса. Она была одна. Ветром запосило в дверную щель и сыпало на пол снежинки; по временам казалось, что двери вот-вот сорвутся с петель.

Сильно изменилась Мариам-баджи за последние месяцы. Старость одолевала ее. Тощие руки совсем иссохли, все лицо в морщинах. Вот уже год, как она перестала красить волосы: у самых корней они побелели, а концы оставались красноватыми. От этого ее лицо выглядело еще мрачней. Она неотступно думала о сыне, и сердце ее сжималось.

«Сегодня шесть недель, как сынок отправился на чужбину,— вздыхала про себя Мариам-баджи.— И где-то он теперь? Ни я, ни Айрапет и никто другой об этом не знает. Ах, Сейран, Сейран, у других матерей тоже дети на чужбине, а разве им приходится так страдать, как мне? Царь небесный, мои дни на исходе, и солнце мое зашло, пожалей меня! А впрочем, да будет воля твоя».

И Мариам-баджи, подняв глаза, перекрестилась. Затем, отодвинув блюдо с рисом, сложила руки и опустила голову. Через минуту снова подняла голову, пододвинула блюдо, но опять задумалась.

«Лист с дерева и волос с головы не упадет без твоего веления, о господи. Ко всем ты милостив и благ, за какие же грехи ты меня караешь? Зачем ты отнял у меня сына, забросил его в чужой край? Где-то он теперь, что делает? Говорил он мне, что вместе с каким-то парнем собирается в Кубу, закупить там лезгинских шалей и торговать ими здесь. А на какие деньги? Айрапет ничего не дал ему.

Хоть бы только узнать, где он теперь. Сам он говорил, что в Кубу едет, а теперь одни говорят, что он в Шуре, другие — что в Дербенте, третьи — в Петровске — и бог знает еще где. С Айрапетом много не поговоришь: он при имени Сейрана из себя выходит. Да будет проклят тот, кто толкнул на погибельный путь моего бедного сына!»

Пока Сейран оставался в Шемахе и был на глазах у матери, она никого не винила в своей несчастной доле. Она винила только сына. Теперь же, когда Сейран на чужбине, она уже ничем не попрекала его. Мариам-баджи была вполне уверена, что в сыновних невзгодах повинны только недруги, только они.

— О Бархудар,— и старуха ударила себя в грудь,— в час вечерней молитвы я умоляю бога воздать тебе по делам твоим! Пусть жена твоя переживает все то, что пережила и я! Пусть земля на пути твоём превратится в тернии. Пусть вопли и стоны твои никогда не дойдут до неба! Это ты, старый злодей, погубил моего бедного сынка. Теперь ты счастливый тесть, жена твоя пляшет от радости, дочь вся в золоте и шелках; одна рука у нее в масле, другая в меду. Не сегодня-завтра ошенился, и тогда вы все заживете на славу.

И Мариам-баджи опять задумалась. Стужа на дворе крепчала, стекла дрожали от ветра, дверь внезапно распахнулась и опять захлопнулась: в комнату клубом ворвался снег.

«Гнев божий обрушился на нас! И куда это старик провалился? Не в церковь ли зашел? Бессердечный, черствый человек, хоть бы ты за сына помолился!»

Мариам-баджи немного помолчала.

«Вчера вечером была Сусамбар. Хорошая она женщина: и сама поплакала и меня старалась успокоить. А вот про Сейрана ничего не могла сказать. Вдруг он и на самом деле в Шуре? Ведь и этот окаянный Рустам туда поехал. Сейран у меня вспыльчивый, а Рустам — дитя дьявола: не дай бог, встретятся они!»

Наконец Мариам-баджи разделалась с рисом; но не успела она подняться, как дверь растворилась и впустила высокую женщину, окутанную чадрой.

— Бог милости прислал!

Мариам-баджи взглянула и от удивления присела: перед ней была Гюльназ.

— Бог милости прислал,— повторила гостя, сняла чадру и отряхнула с нее снег.

Удивленным взглядом ответила хозяйка и неприветливо сказала:

— Да откажет бог в милости твоим родителям! — И, опять подвинув к себе блюдо с рисом, пробормотала: — Какой ветер занес сюда эту бесстыжую?

— Не удивляйся, Мариам-баджи, твоя сестра пришла навестить тебя,— продолжала Гюльназ, не смущаясь ее грубостью, и, отбросив чадру, уселась у очага.

— Пусть сгинут все, у кого есть сестра, а у меня ее нет,— отвернулась Мариам-баджи.

— Не сердись, встань, дай огня и позволь на тебя взглянуть. Ведь я по тебе соскучилась.

— Лучше не трогай меня и уходи. Я, как сова, люблю темноту. Свет не согреет моей холодной души. Пусть зажигают светильники те, у кого светло на сердце.

— Именем Сейрана заклинаю тебя, Мариам-баджи, не обижай меня. Узнай сначала, счастлива ли я.

— Не знаю, чего тебе не хватает: соли или сита? Зачем ты нагрянула ко мне, ума не приложу? И как это ты удосужилась вспомнить обо мне через год?

— Ни соли, ни сита мне не надо, а не хватает твоей дружбы,— ответила ласково Гюльназ.— Одному богу известно, во что обошелся мне этот несчастный год. Да что говорить: без тебя мне кусок в рот не идет, заснуть не могу. И день и ночь только охаю да вздыхаю.

— Нельзя ли покороче.

— Вот и я пришла к тебе, Мариам-баджи, с мольбой: прокляни черта, а со мной помирись.

— Так вот и брошусь к тебе на шею!

— Знаю, ты сердита на меня, но...

— Оставь, ради бога, оставь. Нечего тебе добиваться дружбы Мариам-баджи. Отправляйся лучше к дочери и живи себе счастливо. Какое тебе дело до нас — мы люди, богом отверженные.

— Врагу не пожелаю счастья моей дочери. Она, бедняжка, с каждым днем тает, как свеча, и я боюсь, что скоро она уйдет от нас.

— Не беспокойся, дочь твоя еще долго проживет, как клоп, прилипший к стене,— горько усмехнулась Мариам-

баджи.— Дочка, должно быть, тоскует без мужа. Напиши ему письмо, пусть приедет, авось развеселит.

— Довольно, Мариам-баджи, не терзай моего больного сердца, ведь ты это говоришь потому, что сама исстрадалась, а ты попробуй стать на мое место.

Эти слова Гюльназ сказала таким жалобным голосом и так тяжело при этом вздохнула, что в сердце Мариам-баджи шевельнулось сожаление.

Она зажгла свечу.

Тусклый свет упал на исхудалое лицо Гюльназ, на бледные щеки, на синие губы и отразился в глубине впа-
лых глаз. Мариам-баджи молча взяла блюдо и прошла на кухню. Затем вернулась и села.

— Вот уж три дня меня мучит моя Сусан: все умоляет, чтобы я навестила тебя. Мне стыдно было перед тобой, Мариам-баджи, у меня не хватало сил прийти к тебе. А Сусан свое твердит: «Пусть простит меня Мариам-баджи за все, что я сделала ей дурного. Не знаю, с каким лицом мне придется предстать перед богом». Слышишь, Мариам-баджи, мое бедное дитя уже помышляет о загробном мире, какое же тут может быть счастье?

— Мосму наболевшему сердцу только этого недоста-
вало! Ты рассказывай все это тому, у кого сердце заплыло жиром. И что я могу сделать для твоей дочери?

— Мариам-баджи, ты можешь много сделать для моей голубки. Как только она увидит твою приветливую улыбку, как роза расцветет. Вот уж три дня, как она только о тебе и говорит.

— Что ты хочешь сказать?

— Чтобы ты прокляла черта, надела чадру и вместе со мной...

— Побегать к ней на поклон? Ну как же, вот так и побегу сию минуту. И как тебе не совестно?

— Ради всего святого, ради твоего Сейрана не откажи моей бедняжке, не убивай ее.

— Это еще что за вздор? Не душегуб же я, чтобы убивать твою дочь?

— Именем бога, пойдем сейчас же.

— Оставь ты меня, оставь ради господней утреди!

— Господи боже, ниспошли на меня твою милость! — с умоляющим видом воскликнула Гюльназ.

Дверь опять распахнулась, и, весь в снегу, вошел Айрапет.

— Добрый вечер,— раздался его зычный голос. Не замечая гостя, он снял папаху, отряхивая снег.

Гюльназ закуталась в шаль; привстала и почтительно поклонилась. Встала и Мариам-баджи.

Айрапет, прищурясь, всматривался в гостя.

— Здравствуй, добрая соседка, свет очам, что тебя видят,— ответил он дружески, точно ничего не случилось.

Гюльназ с благодарностью кивнула.

— Ну, садись, поговорим. Слава всевышнему! Вчерашнему дню не сравняться с нынешним. Как же это ты вспомнила о нас, Гюльназ-ханум?

— Мы вас никогда не забывали,— шепотом ответила Гюльназ, опять прикрываясь шалью и садясь к очагу по приглашению хозяина.

— Вот как, говоришь — не забывали? — Айрапет достал кيسет и трубку.— Слава всевышнему! Эх, Гюльназ-джан, дни нашей дружбы утекли, как вода! Вспомнишь — и сердце защежит.

— А ты не печалься, она пришла вернуть дни нашей дружбы. Только нет: былого не вернешь, а из осколков цельного стекла не сделаешь,— вмешалась Мариам-баджи.

— Верно ты сказала, Мариам, а все как-то легче на душе, как повидаешься со старым другом. И что я могу сделать? Ведь недаром говорили в старицу: «Один сын у отца, да и тот беспутный»,— и себя сгубил Сейран, и нас с вами рассорил.

— Совсем не виноват мой сынок, а тому, кто сгубил его, лучше бы сгнуть.

— Не твое дело, Мариам, прикуси язычок. Довольно тебе сбивать меня с толку! — прикрикнул Айрапет.

— Мариам-баджи правду сказала,— вступилась Гюльназ,— Сейран не виноват, виноваты мы. Ну да что тут вспоминать, простите нас.

— Ни на вас, ни на нас нет вины. Все вышло так, как было угодно богу. Теперь делу конец. Пусть же твоя Су-сан цветет, как весенняя роза.

— Спасибо, дай бог, чтобы и Сейран женился... А завтра я с Мариам-баджи отправлюсь к дочке.

— Ну что же, если хочешь, и я пойду.

— Ах, ты, бессовестный человек! — воскликнула гневно Мариам-баджи.

— Не смущай ты меня, говорю тебе, жена, а не то... отвяжись, сатанинское отродье. А ты, Гюльназ-джан, поклопись от меня Бархудару и скажи, что я по-прежнему считаю его своим другом.

— Клянусь моим Смбагом, муж тоже все время о вас думает. Истосковался и совсем зачах.

— Верю, верю, я Бархудару знаю хорошо, у него сердце доброе. Слышишь, Мариам, не я ли говорил тебе, что он человек хороший, а ты все: нет да нет.

Айрапет совсем ожил.

— Так ты, Гюльназ-джан, скажи Бархудару, чтобы завтра же пожаловал к нам. Надо искупить старые грехи.

— Боже, зачем ты выветрил его умишко? — закатила глаза Мариам-баджи.

— Змея, сушая змея подколодная! Заткни свою глотку, а то как собаку придушу!

— Хоть зарежь, а молчать не буду.

— Язык я у тебя с корнем вырву!

— Рви, но пока он у меня во рту, я не замолчу. Если не я, так кто же за меня скажет? Кров мой обрушили, сына угнали, довели нас до края гибели, — и вот теперь приходит она и льстит; что же, по-твоему, мне молчать? Нет, мне таких друзей не надо. Поди, поди, валяйся у Бархудару в ногах, ползай перед ним, благо тебя за рюмку водки купить можно. А я — будь что будет, — я к ним и лица не поверну, хоть вешайте меня!

Оскорбительные колкости Мариам-баджи совсем взбесили Айрапета. Побледнев, он заскрежетал зубами, вскочил и со сжатыми кулаками хотел броситься на жену, но тут неожиданно дверь под порывом ветра распахнулась, в комнату полетели снежные хлопья, и свеча погасла. Обе женщины вскрикнули. Айрапет застыл на месте.

— Чтоб тебе! — проворчала Мариам-баджи, закрыла дверь и затеплила свечу.

— Это бог на тебя прогневался за твой злобный язык, — молвил Айрапет.

— Бога ради не обижайся, — начала уговаривать его Гюльназ. — Что поделаешь — у бедняжки вся душа изболела; вот выскажет все и успокоится.

— Вон отсюда, знать я тебя не хочу! — крикнула Мариам-баджи и выбежала из комнаты.

— Вот уж точно дьявольское отродье! — напутствовал ее Айрапет и сел опять.

Гюльназ взялась за чадру.

— Не обижайся, Гюльназ-джан, а я жену приструню так, что она и пикнуть не посмеет. И непременно скажи Бархудару, что я ему верный друг.

— Спасибо. Только ты не трогай Мариам-баджи: уж очень ее жалко, исстрадалась она. А если можно, уговори ее пойти со мной к Сусан.

— Непременно, будь покойна!

Сделав несколько глубоких поклонов, Гюльназ вышла. Айрапет закурил и стал расхаживать по комнате.

11

Начинался февраль — самый холодный месяц в Темир-Хан-Шуре. Смеркалось. Снежные вихри с высот северного Дагестана бешено кружились в непроглядной тьме.

На восточной половине города приютился грязный караван-сарай; здесь в одной из комнаток сидел юноша. Жестяная лампа на сыром полу слабо освещала узенькую дверь и окошце. Кроме лампы, здесь не было другого источника тепла, и юноша с ног до головы закутался в бурку. Через закопченное стекло лампы пробивался тусклый свет; на молодом лице можно было различить отпечаток тяжких страданий и беспросветной тоски.

Это был Сейран.

Зачем он приехал в Шуру, с какой целью?

Бедный юноша перебирал события своей неудачной жизни, вспоминал испытания, выпавшие на его долю.

«Ах, Сусан, жестокая Сусан, как ты меня одурачила. Только нет, погоди, не долго этому продолжаться...» — и он, потирая лоб, помолчал.

«Живи, живи богато! Ты гордишься своей долей, да? Гордись, но знай: что бы ни случилось, душа твоя в моей власти. Стоит мне захотеть, я завтра же, даже нынче

ночью изменю всю твою судьбу. Ты отравила жизнь моим родителям, отняла у них единственного сына, а меня заставила скитаться. И все это для того, чтобы ты могла спокойно сидеть дома. Ты хотела сберечь отцовскую честь, но разве я лишен чести, неужели ты думаешь, что я до того опустился, что не в силах отстоять ее? Или ты забыла свои клятвы, готовность пожертвовать собой ради меня? Конечно, тебя соблазнило богатство Рустама: пышный дом, золото, серебро, парча и бархат. Только не думай, что я ничего не понимаю и что Сейрана можно оставить в дураках. Ты избавилась от сплетен, загрязнив мое имя. Боже мой, боже мой, неужели я так опустился, что не в силах оправиться?»

И Сейран уставился пристально в потолок, на сгнившие и почерневшие бревна. Он думал о своем позоре, о том, как товарищи часто говорили ему в Шемахе: «Трус ты, забыл ты о чести, ты позволил у себя из-под носа забрать невесту и отдать другому».

«Даже эмир издевался над тобой и посмеивался. Эх, Сейран, Сейран пусть провалится сквозь землю твоя папаха. Что за жизнь у тебя? Родители знать не хотят, товарищи не признают... Бедная твоя мать. Она, должно быть, думает, что ее сын занялся торговлей...»

Сейран поднялся, подошел к окну и стал смотреть во двор. Вьюга по-прежнему бушевала. Сквозь обледенелые стекла ничего нельзя было разглядеть.

«Вчера я встретил на базаре твоего мужа Рустама. Кровь ударила мне в голову; хотелось подойти и всадить ему кинжал в брюхо. О, если бы окрасить белый снег его кровью,— мне стало бы легче. Но я этого не сделал. Не подумай, что струсил. Ты, Сусан, виновата больше него. Коли мстить, так нужно с вами обоими расправиться сразу: одной его кровью мне жажды мести не утолить. Я знаю, что твои родители послали Шппаник повсюду разнести сплетню, будто сын горшечника врет, будто Сусан никогда с ним не была обручена. Но, во-первых, я, Сусан, никому о тебе дурно не говорил, во-вторых, неужели шемахинцы говорят о нас неправду? Ведь ты была моей невестой с детства. Разве мы с тобой не встречались, не разговаривали? Так зачем же ты теперь, избавясь от невзгод, живя припеваючи, меня же выставляешь лжецом?»

Сейран сел, стискивая голову руками, потом опять вскочил и быстро зашагал по комнате.

«Кровь ударяет в голову и в глазах темнеет, едва подумаю, что теперь говорят обо мне товарищи. Нет, я непременно должен отомстить. Иначе какой же я мужчина? Решено! Но только каким способом?»

И Сейран опять начал пристально смотреть в окно. Потом отвернулся и уставился на тусклый огонек лампы.

«Но как мне доказать, что я... отойди от меня, сатана! — и, ударя себя по лбу, он остановился глазами на рукоятке кинжала, висевшего у него на поясе.— Как доказать, что Сусан была со мной в связи?»

И он опустил голову, с усилием вдыхая морозный воздух. С плеч его как будто свалилась гора. Шагнув в угол, он отыскал там что-то и быстро сунул в карман. Недобрая улыбка скользнула по лицу, губы дрогнули, морщины на лбу разошлись, и в зрачках блеснул зловещий огонек.

Ветер завывал с невероятным ожесточением: вот-вот и дверь и окно сорвутся с петель.

«Сейчас же, печего медлить... Если вздумаю откладывать, опять остыну. Да, да, да, ты думаешь, если ушла, так избавилась от меня? Посмотрим!»

Нахлобучив на глаза папаху, осмотрев кинжал и ощупав карман, юноша направился к двери.

«Пусть же все узнают, что я не могу снести бесчестья. Лавку его я знаю: ему я неизвестен и он меня, наверно, примет, а там и угостит. Хвачу вина или водка — он их тоже продает,— расплачусь за все, а там... ха-ха-ха!..»

Сейран перешел двор и скрылся в уличной темноте.

12

Караван-сарай находился на широкой площади. Около четверти версты было отсюда до конца длинной улицы, где стояла лавка. Здесь торговал Рустам. Уже несколько лет отпускал он местным обывателям мануфактуру, бакалею и гастрономию.

Когда Сейран подошел к лавке, один из растворов лавки был полуоткрыт. Здесь в отделении спиртных на-

питков Рустам ужинал со своими земляками. На главном месте восседал сам хозяин. По бокам — его товарищи: один — молодой, с бородкой, одет по-лезгински, второй — средних лет, в шемахинском костюме. Два других гостя недавно прибыли из Шемахи. Первому, крепко сложенному мужчине, на вид было лет тридцать, второй, в причудливой одежде, выглядел еще юношей.

Нынешний ужин был обильнее обыкновенного — ведь хозяин потчевал земляков. По их лицам заметно было, что они уже успели выпить. Шла оживленная беседа. Рустам, как всегда, говорил мало, а больше задавал вопросы.

— Говорят, сын горшечника Айрапета Сейран тоже прибыл в Шуру, правда? — спросил юноша.

— Вчера я его видел на лезгинском базаре, он покупал кипжал, — отозвался один из гостей.

При имени Сейрана Рустам поморщился.

— Мне бы хотелось повидаться с ним, — продолжал юноша.

— А что за дело у тебя к нему? — спросил одетый лезгином, незаметно поглядывая на хозяина.

— Мать его просила передать ему кое-что.

— Завтра же можешь увидеть его на базаре. Он там каждый день бывает.

— А чем он занят?

— Не знаю. Я его спросил об этом, а он пахмурился и отошел.

— Говорят, он приехал шали покупать.

— А на какие шиши?

— Должно быть, отец дал.

— Отцу о нем и заикнуться нельзя, ни о каких деньгах и речи быть не может, — вмешался юноша. — Я ведь его перед отъездом встретил, говорю: «Что передать Сейрану, если мы с ним встретимся?» А он покосился на меня и говорит: «Пускай к черту убирается, имени его слышать не могу».

— Да, пропадет бедняга.

Рустам опустил голову на руки. Один из собеседников обратился к остальным:

— Есть нам когда о Сейране думать. Рустам-джан, за твое здоровье, — и он приподнял стакан.

— За твое здоровье! — подхватили все.

Кто-то дважды постучал в дверь.

— Кто там? — спросил Рустам.

— Божий гость.

Дверь отворилась, и Рустам очутился лицом к лицу с непримиримым врагом своим, Сейраном, не зная, кто перед ним.

На первых порах Сейран смутился, но тотчас овладел собой.

— Кто ты такой? — спросил Рустам незваного гостя.

— Страшник, — ответил Сейран, оглядывая собравшихся.

— Странникам мои двери открыты, — дружелюбно сказал хозяин, впустил Сейрана и закрыл дверь.

— А, Сейран, какими судьбами? — воскликнул гость в лезгинском костюме.

— Сейран? — повторил Рустам, вживаясь глазами в юношу.

— Что ты, Рустам, неужели не узнал? Это сын шемахинского горшечника Айранета, приглашай его за стол.

Но Рустам стоял неподвижно, переводя взор с одного гостя на другого.

Между тем Сейран сбросил обледепелую бурку, смело прошел к столу и сел, не дожидаясь приглашения Рустама. Приезжий юноша подал ему руку.

— Я только что из Шемахи. Мать твоя кланяется и просит передать...

— Спасибо, — перебил Сейран небрежно и отвернулся; шемахинец вынужден был замолчать.

Наконец-то Рустам очнулся и занял свое место.

— А ну-ка, Амбарцум, еще вина; Сейран, должно быть, замерз, согреем его, — заговорил лезгин.

— Да, вина я не прочь, мне очень пить хочется. — И Сейран отбросил в сторону лохматую намокшую папаху.

Приказчик Амбарцум, маленький и проворный, тотчас поставил на стол еще пару бутылок.

— Согрей нутро, тогда и лицо твое повеселеет.

Казалось, Сейран только этого и ждал. Он без передышки осушил два стакана.

Хозяин глаз с него не сводил. Удивленно посматривали на гостя остальные.

Бородач заметил это и поднялся.

— Кто не знал Сейрана, теперь узнает. Это сын нашего горшечника Айрапета. Парень на все руки. Года два назад, Рустам, я с ним встретился в Шемахе, мы вместе пировали.

Рустам опять взглянул на Сейрана и не проронил ни слова. А тот, не глядя ни на кого, выпил еще два стакана один за другим.

— Молодец! Вот это по-нашему! — воскликнул бородатый лезгин. И он предложил тут же выпить за здоровье Сейрана.

Общая веселость возрастала. Все пили не переставая. И только один хозяин с момента появления Сейрана молчал, не ел и не пил.

— Дядю Айрапета я знаю, как же: он и мой отец друзьями были, — рассказывал юноша, — бывало, на пасху или на крещение всегда придет поздравить. А ну-ка еще раз хватим за Сейрана!

— Только он должен пить по два стакана сразу, чтобы сравняться с нами, — подхватил бородач.

Этот тост приняли все, кроме Рустама. А Сейран в благодарность за внимание осушил на этот раз целых три стакана.

Через четверть часа все уже были пьяны. Бородач нескладно тянул персидскую песню. Гости шумели, спорили, кричали; и только Рустам хранил молчание.

Молчал и Сейран, но в голове у него шумело, в зрачках поблескивали искры.

Опираясь локтями о стол, сжимая себе голову, мрачный Рустам неподвижно сидел и думал:

«Да, это он. Чует мое сердце недоброе. Но что может случиться? Ведь все, о чем шептались в Шемахе, оказалось брехней. Гм. Однако не зря намекал на днях Гямазанц Мурат, что Сейран-де в Шуре, что голодный пес взбеситься может: берегись. Этот Сейран был первым женихом моей жены. Об этом я узнал на прошлой неделе. Потом ее родители решили выдать дочь за меня. Уж таков обычай в Шехане: просватают за одного, а выдают за другого. Дело самое обычное. И все же у меня недоброе предчувствие. Почему он пожаловал ко мне в полночь? Ведь мы не родственники, не знакомые. Ничего не понимаю! Пришел себе, расселся и пьет, точно мы десятки лет в дружбе. Какая мерзость! Уж не взять ли его за ворот

и вышвырнуть? Вот полюбуйте, как он исподлобья уставился на меня. Ох, и ловок же пить! И почему это гости так подозрительно смотрят на меня и на него? Подожду еще, наверно, скоро узнаю, зачем он ко мне явился».

Бородач внезапно засуетился.

— Ну, братцы, уже поздно, пора по домам. Выпьем еще за нашего друга Рустама, поблагодарим — и айда.

Все налили стаканы и поднялись, один Сейран не двигался.

— Будем же единодушно просить господ бога, чтобы он даровал Рустаму здорового, резвого мальчика! — торжественно произнес один из гостей.

— Аминь, аминь!

Сейран молчал; сосед подтолкнул его.

— Вставай.

Сейран лениво встал.

Ему налили еще.

— Пей же за Рустама да пожелай, чтобы господь послал ему хорошего сынка, — напомнил лезгин, поднимая стакан. — Живей, что же ты киснешь, как баба?

Сейран взялся за стакан, обвел всех взглядом, выпрямился и, держась за рукоять кинжала, сказал:

— По твоему приказу, ага тамада, желаю господину Рустаму долголетия, здоровья, богатства, всяких земных благ и как можно больше друзей, как вы, и гостей, как я... Урра!

— Урра! — подхватили шемахицы.

— Вот молодец, умеешь ты, дружок, держать речь! — восхитился бородач.

Рустам не спускал глаз с Сейрана. Тот продолжал:

— Ага тамада, как ты приказал, и я прошу господ бога одарить Рустама резвым мальчиком, и пусть сын его будет таким же, как он, умным, трудолюбивым и... храбрым...

— Аминь, аминь, давай бог!

— Так и жарит, точно проповедник, — заметил кто-то

— Не зря он у Сарксиса учился, — пояснил бородач. — Не скажешь ли еще чего, Сейран?

Юноша прикусил губу и крепче сжал рукоять кинжала.

Рустам так и впился в него взглядом.

— И дай бог, чтобы сын походил на отца глазами и чертами лица, потому что...

— Что?! — нетерпеливо крикнул бородач.

— Что?! — повторил бессознательно Рустам.

— Потому что... потому что...

— Потому что у тебя в голове шумит! — крикнул кто-то из гостей.

— Дайте же ему кончить!

— Потому что я знаю... потому что сын Рустама... я это наверное знаю...

— А ты покороче! — опять крикнул бородач.

— Потому что будет ли у Рустама сын или дочь — это только богу известно...

— Да что он так долго тянет!

— Одним словом, кто там ни родись, он будет похож не на Рустама, о нет; а на сына горшечника Айрапета! На Сейрана, на меня!

Отчеканив это, Сейран наполнил стакан и так хватил им об пол, что всех забрызгало вином.

Гости остолбенели. Рустам стал белее полотна. Слов Сейрана никто не мог сразу понять.

— А зачем ты стакан разбил? — спросил его юноша.

— Стакан? Я разбил его в честь того, кого вы так превозносите и кто им владел.

Рустам шагнул было к Сейрану, но остановился, протянул руку и молвил, задыхаясь:

— Господин Сейран, я тебя не знаю, вижу тебя в первый раз. Зачем ты сюда пришел и бесчестишь меня?

— Бесчестный человек заслуживает бесчестья. Я пришел, чтобы твои гости знали, кто ты таков. Нечестивец, ведь я тебе толком сказал, неужели ты не понимаешь? Впрочем, я могу сказать яснее...

— Сейран, оставь свои глупости, вишь тебе в голову бросилось, — ввязался юноша.

— Не твое дело, отстань! Хоть я и пьян, но знаю, что говорю!

— Вон отсюда, не то!.. — закричал Рустам; от его голоса все невольно вздрогнули.

— Пусть исчезнет тот, чья честь растоптана. Рустам, протри глаза: я тот самый Сейран, что скоро станет отцом ребенка твоей жены. Обуздай сначала свою потаскушку-жену, а потом со мной говори!

Разъяренный Рустам сорвал со стены длинный кинжал и бросился на Сейрана.

Шум и замешательство. Молодой шемахинец встал между Рустамом и Сейраном.

— Оставь, дай мне искрошить этого щенка! — орал Рустам, вырываясь из рук приятеля.

— У женщины должен быть один муж, так пускай один из нас останется в живых! — крикнул Сейран и тоже обнажил кинжал.

Но тут шемахинцы крепко обхватили его.

— Пустите меня, говорят вам! — ревел Рустам.

Но Сейран уже вложил кинжал в ножны, накинул бурку и, выбегая, крикнул на пороге:

— Коли ты мне не веришь, посмотри у своей жены на груди черную родинку... полюбуйся черной родинкой.

Рустам оторопел, он даже выронил кинжал.

— Держи, держи его! Я его зарублю! — вопил молодой шемахинец, бросившись вдогонку за Сейраном.

— Поздно, он уже удрал!

— Воды, воды, парень умирает!

— Дайте воды, у меня грудь горит, — разбитым голосом попросил Рустам.

— Опомнись, Рустам, этот щенок покрыл себя позором и теперь хочет отомстить тебе, — наперебой повторяли гости.

— Савад, — обратился Рустам к бородачу, — сию же минуту достань мне лошадь. Вот деньги, — он вынул кисет с деньгами и протянул Саваду.

— Что ты делаешь? — удивился Савад, отстраняя кисет.

— Ах, как они меня обманули, разбили мне жизнь! О мать моя, что ты со мной сделала? Родинка на груди! Значит, Сусан блудница?

— Рустам, да ты с ума сошел! Разве так можно говорить про жену? Она честная женщина! — в один голос заговорили гости.

— Откуда мне знать, сидя здесь за семью горами, честна она или нет?

— Да, это нехорошо, — согласился с ним молодой шемахинец.

— Родинка на груди! О-о-о!

И вдруг, сдержав себя, Рустам воскликнул:

— Друзья, если вы меня любите, если цените мою дружбу, умоляю сию же минуту нанять мне лошадь!

— Полно, Рустам, что за ребячество,— возразил Савад.

— Я знаю, все кончено. Найми мне лошадь.

— погоди до рассвета, а пока успокойся, на тебе лица нет.

— Проклятие таким друзьям! — рассвирепевший Рустам выбежал на улицу.

— Не пускайте его, братцы, держите! — кричал Савад, выбегая вслед за Рустамом.

Тут побежали и остальные. В лавке остался один приказчик.

Пал густой снег, и ветер крепчал.

Рустам скрылся в густой темноте.

13

К утру ветер утих. Бледное зимнее солнце осветило тихие белые поля.

Сейран, закутавшись в бурку, курил в углу своей каморки. Как он был жалок теперь! Густые, грязные волосы клочьями падали на побледневшее лицо. Опухшие от бессонницы и вина глаза тупо смотрели в пол.

«Что я наделал, боже мой, что я наделал! — повторял он то и дело, пуская клубами дым.— И как только зародилась у меня в голове такая злобная мысль?» — с волнением думал он, высвобождая из-под бурки левую руку и разглядывая концы своих пальцев.

Иногда он нервно дрожал, как человек, который вспоминает что-то страшное и неотвратимое.

«Перенесет ли Рустам такой позор? О-о, все знают, что человек он смелый, крутой. Говорят, он в эту же ночь уехал в Шемаху. Зачем?.. Да кто же другой на его месте остался бы здесь? Разве может неукротимый, самолюбивый Рустам снести позор, да еще перед друзьями, так уважающими его?»

Сейран швырнул папиросу, встал и с буркой на плечах заходил по комнате.

«Вот она — честь! Теперь Рустам, конечно, отправился смотреть, есть ли родинка на груди Сусан. Мои слова под-

твердятся, он увидит родинку. О, если бы было возможно уничтожить ее. Чем бы тогда окончилось все дело? Разумеется, моей гибелью. Впрочем, куда лучше погибнуть самому, чем быть причиной смерти ни в чем не повинного человека».

С глубоким вздохом Сейран ударил себя по лбу.

«О Сусан, какую беду я накликал на тебя! Ведь ты чиста и невинна, как дитя, как солнечный луч».

Но как могло случиться, что за какой-нибудь месяц сильная любовь сменилась безумной ненавистью? Кто виноват в этом? Уж не тот ли противный червь, который сидит в каждом из нас и называется самолюбием? Собаки, и те так не поступают. Сейран не мститель, а жалкий трус. Ведь он неделю назад своими глазами видел, как лезгин отомстил своему врагу: он встретился с ним лицом к лицу. Лезгин — мужчина: он борется только с мужчиной и только на бурке¹. Он никогда не будет мстить женщине. А Сейран! Кому он мстит? Сусан, этому слабому существу! И за что? Что она сделала Сейрану?

Сейран подошел к окну и стал глядеть во двор караван-сарая. Его блуждающий взгляд нервно перебегал с одного предмета на другой. Простояв так долго, он отвернулся, скрестив руки на груди, и опять заговорил.

— Со дня рождения я не видел ни одного счастливого, ни одного спокойного дня. Так будет и впредь. Несчастливая девушка была отдана человеку, которого выбрали для нее родители. Она повиновалась. Что же она могла делать? Ничего. Нет, я поступил так подло, как не поступил бы никто. О боже, неужели я так тебе ненавиствен, так забыт, что даже ни на одно мгновение ты не вспомнил меня в тот ужасный вечер? Что мне сделать, как помочь беде? Я готов на все. Тяжкий грех, слишком тяжкий. Хуже каинова убийства... Накажи меня, бог, умертви... Но нет... неужели я единственный виновник?

«Сколько ни думай, сколько ни ломай голову, а исход один».

Слезы покатались по впалым щекам Сейрана.

¹ В Дагестане враги вступали в единоборство, обнажив кинжалы и стоя на разостланной бурке. Переступивший бурку считался побежденным.

«Прощайте, родители, прощай, мать! Сейран так истерзал вас, что даже не смеет надеяться на снисхождение. Из-за него вы состарились на двадцать лет раньше. Простите меня и вы, Бархудар, Гюльназ, Смбат. Во всем виноват я один. Но как просить прощения у Сусан? Это было бы новым преступлением».

И вдруг Сейран потрянул головой.

«Решено! Нечего думать, разбитый горшок не склеишь. Осталось одно средство: вот оно!»

И Сейран, сбросив бурку, обнажил кинжал.

Глаза его заискрились безумным огнем, губы сжались, ноздри расширились. Сжимая рукоятку кинжала, он поднял его, подбоченился левой рукой и приставил острие к груди:

«Без покаяния и причастия, господи, предаю дух мой дьяволу. Кинжал мой, твой продавец так расхваливал тебя, покажи же свою доблесть...»

Но, вздрогнув, Сейран выпустил кинжал из ослабевшей руки; клинок вонзился в пол.

«Нет, не могу: господь не велит!.. Ведь этим не спасешь Сусан от смерти!.. Но поправить ошибку еще не поздно. Надо сейчас же нанять лошадь и догнать Рустама, объяснить ему, что я сказал неправду, был пьян. Господи, хоть однажды помоги, а там да будет воля твоя... Всё в твоих руках, создатель мой: ты можешь сделать лошадь Рустама хромой, а моей дать крылья».

Сейран накинул бурку, опоясая кинжалом, перекрестился три раза и вышел.

Стояла тихая, солнечная, но холодная погода. Сейран перебежал площадь и скрылся за поворотом узкой улицы.

Прошла неделя. Вечернее февральское солнце уходило за небосклон. Убогие полуразрушенные дома, груды камней и мусора загромаждали грязные улицы Шемахи. Какое безотрадное зрелище! Колокольный звон возвещал субботний отдых. Седовласые старики, опиравшиеся на палки, и сгорбленные старухи в чадрах плелись к старинной церкви, пострадавшей от последнего землетрясения.

Священники перед службой беседовали на паперти с благочестивыми прихожанами, сокрушаясь, что многие не ходят в церковь. Но вот явились и опоздавшие; вечерня началась.

Санам, одна из самых благочестивых прихожанок Ше-махи, при первом же ударе колокола поспешила в церковь.

— Сусан, приготовь самовар: когда я вернусь, напьюсь чаю,— распорядилась она перед уходом.

— Хорошо,— ответила Сусан.

В первые шесть недель после свадьбы здоровье Сусан окрепло. На ее начинавшем увядать лице опять проступил легкий румянец. Но, увы, это продолжалось недолго. Вскоре она вновь стала чахнуть.

Санам не могла не видеть этого.

— Деточка, чего тебе не хватает, отчего ты таешь? — спрашивала она.

— Не знаю,— отвечала Сусан, тяжело вздыхая.

— Ну, а все-таки?

— Откуда мне знать, может быть я в положении...

— Неужели?

Узнав, отчего чахнет невестка, Санам перестала докучать ей своими утомительными расспросами.

Оставшись одна, Сусан уселась на тахту и начала рассматривать иссохшие руки.

— Ах, как я исхудала, пальцы, как лучинки: все косточки можно пересчитать.

Она сложила руки на груди и задумалась.

Прошлой ночью ей приснился Сейран. О, как он изменился, какой был бодрый, веселый! И Сусан сама повеселела. Она подошла к любимому, взяла его за руку, хотела заговорить, но он, покосившись, вырвал руку, повернулся и, ничего не сказав, ушел. Со слезами Сусан смотрела вслед, а он шел не оборачиваясь. Она громко закричала: «Сейран, не покидай меня, это я, твоя Сусан!» Сейран оглянулся на миг, но что за страшное лицо у него было! Глаза горят, изо рта клубится пламя. Подняв руку, он произнес одно слово — какое? — Сусан не расслышала. Она хотела догнать его, но Сейран бежал быстрее коня. Господи, что может значить этот сон? В ужасе проснувшись, Сусан взялась за сонник и прочитала: «День добрый, сон сбудется через сорок дней».

— Ах, как долго: сорок дней! И неужели сбудется? Господи, отгони напасти, помилуй нас!

И Сусан трижды перекрестилась.

Ей известно, что Сейран обиделся на нее. Но неужели он ее ненавидит? Не может быть. Он любит Сусан. Безумно любит. Но от этого и терзается Сусан. Мать говорит, что Айрапету хочется помириться с отцом, а Мариам-баджи не прощает Сусан и не хочет примирения. Сколько раз Сусан посылала мать за Мариам-баджи, и все напрасно. Бедная женщина, если бы ты только знала все, знала бы, как скорбит Сусан, не скитался бы твой сын теперь неизвестно где. Говорят, он в Шуре. Зачем ему было ехать туда? Просто волосы встают дыбом при мысли, что там он может встретиться с Рустамом. Оба они погибнут — ведь они такие горячие. О, как была бы счастлива Сусан, если бы она могла погибнуть вместо них!

Сусан печально опустила голову. Вся жизнь проходила перед ее взором. Вот летние дни и веселые игры с Сейраном. А вот ужасный день землетрясения, когда их обоих засыпало землей. Зачем она не умерла тогда же?

Припомнила Сусан и учительницу, изможденную, сухую монахиню, по несколько раз в день заставлявшую учениц твердить «Отче наш». И как монахиня усердно молилась вместе с ученицами, шевеля посиневшими губами. Умерла она, бедняжка, и теперь порхает в раю...

Вспомнила Сусан и подруг. Пришли ей в голову слова Сусамбар о самоубийцах, которых бог без суда отправляет в ад. И она бессознательно стала смотреть в потолок.

Чем виновно крошечное создание, которое должно вскоре появиться на свет? Она снова перевела взгляд на пальцы рук.— Ах, как я похудела, а тут еще сердцебиение. Это потому, что я почти ничего не ем. Господи, да ведь это тоже самоубийство!

Сусан упала на колени, подняла руки к небу и стала просить у бога смерти. Длинные косы упали на ее исхудалые плечи.

Звон церковных колоколов разносился по морозному воздуху. По дороге, ведущей в Кубу, показался всадник в лезгинской косматой папахе и черной бурке.

Это был Рустам. Его усталая лошадь еле передвигалась. Целых семь дней он почти без остановок скакал из Шуры в Шемаху.

— Осквернили мое имя, в двадцать семь лет я опозорен! — повторял Рустам, нахлестывая коня.

Поглощенный этой мыслью, он не замечал ни ветра, ни метели.

Еще полчаса, и он будет в Шемахе, увидит Сусан. Но странное дело! Целую неделю он торопился сюда, только и думал о предстоящей встрече, и вот теперь, когда путь подходит к концу, он вдруг перестал спешить. Мысль, на миг мелькнувшая, когда он выбежал из лавки искать лошадь, теперь все упорней преследовала его:

«Как поступить, если Сейран прав?»

Он остановил коня и окинул взором видневшийся вдали город. Вот церковный купол; Рустам уже дома. Зачем он приехал? Как, неужели он этого не знает? Приехал узнать правду о жене. Ну, хорошо; если Сейран окажется правым, что же делать?

И Рустам тронул коня. Колокольный звон все приближался. Путник задрожал.

«Бедная мать теперь, должно быть, закутавшись в чадру, молится за своего единственного сына».

Но надо же узнать правду. Надо узнать, кто тут главный виновник. Ну, положим, родинка... Ах, эта родинка!

Рустам ударил себя по лбу.

«Допустим, что родинка окажется на месте. Допустим, что Сейран не лгал. Но кто же виноват во всем этом? Ведь Сусан просватала за него родная мать: значит, и она в этом деле участница, значит, и она виновата. Помогала тут и Шппаник — боже мой, сколько виновных!»

Рустам хлестнул коня и скоро очутился на окраине города. На улицах начали попадаться знакомые, поздравлявшие его с приездом. Но занятый своими мыслями, он никому не отвечал.

Наконец-то он у родного очага. Рустам сдержал коня.

«Ну, вот доехал. Господи, сделай, чтобы не было этой родинки, чтобы мне не видать ее и не сделаться добычей адского огня. Не хочется мне проливать кровь. О, если бы я мог пронзить себе сердце и собственной кровью смыть это пятно с груди Сусан!»

Спрыгнув с седла, Рустам толкнул ворота и очутился на дворе.

Он увидел стоявшую на балконе женщину. Точно кто-то оглушил его: поводья выпали из рук, и он, сделав несколько шагов, остановился. Женщина продолжала смотреть на него. Подняв поводья, Рустам кивнул ей.

Сусан не верила своим глазам: приехал муж! Оцепенение прошло, она очнулась, крикнула что-то и быстро спустилась с крыльца во двор. С радостной улыбкой она подбежала к мужу. Однако его суровый взор приковал ее к месту.

— Где твоя свекровь? — повелительно и грубо спросил Рустам.

— В церкви. — И Сусан скрестила руки на груди и опустила голову, точно приговоренная.

Рустам передал ей узду.

— А кто дома?

— Я одна.

— Так отведи лошадь в конюшню, привяжи и дай ей корму.

— Сейчас. — И Сусан торопливо повиновалась.

— Скорей кончай и возвращайся, — сказал ей вслед Рустам, снимая бурку.

— Какой она прикидывается тихоней! — пробормотал он, глядя на уходившую жену.

Поднявшись на крыльцо, он не разулся и вошел в комнату в дорожных сапогах. Вскоре на дворе послышался голос Санам:

— Да что ты говоришь, детка, где же он, где? У меня сердце разорвется...

Услышав это, Рустам недовольно буркнул:

— Обрадовалась!

Санам бросилась к сыну как полоумная.

— Рустам, сынчек мой, ты ли это? Стать бы мне жертвой твоей! Дай поцеловать твои прекрасные глазки!

Но обожаемый сынок сурово отвернулся.

— Ой, позор моим сединам: родной сын отталкивает мать! И тебе не стыдно, Рустам? Дай я расцелую тебя: ведь я истосковалась... Ах, чтоб мне ослепнуть! Сусан, живей самовар, чаю! Сыночек иззяб, надо согреть его! Что же ты молчишь, голубчик мой?

И Санам дребезжала без конца, суетясь вокруг Рустама и сама отвечая на свои вопросы.

Сусан принесла самовар. Сбросив чадру, Санам зажгла настольную лампу. Простодушная старуха еще не понимала, в каком состоянии сын, но когда свет лампы упал на его лицо, выражавшее страдание, она пришла в ужас.

— Да что с тобой, сыночек? Что ты такой хмурый, уж не болен ли?

— Устал,— процедил Рустам.

— Отдохни же, отдохни, сынок. Мы тут нежились в тепле да холе, а ведь ты в лютую зиму скакал по горам и по долам. Чтобы мне пусто было! Сейчас я приготовлю тебе, детка, постель, а ты смени белье, не то простудишься. Напейся чаю, покушай и ложись. Сусан, Сусан, куда же ты пропала, давай чаю, да скорей свари пивав!

Сусан налила два стакана чая. Рустам их выпил один за другим, велел поскорее приготовить себе постель.

— А ты выйди пока в другую комнату,— сказал он матери.

— Как? Мне выйти? — изумилась Санам.

— Да, я немного отдохну, а завтра поговорим.

— Уж головка у тебя не болит ли? Не простудился ли? Ты что-то скрываешь от меня.

И Санам приложила руку ко лбу сына.

— Отвяжись! — грубо оттолкнул ее Рустам.

— Да у тебя жар, постой, мы сделаем примочки,— продолжала старуха.— Вот видишь, Сусан, говорила я тебе утром: либо приедет сынок, либо письмо придет. Видела я во сне тебя, Рустам, на белом коне: это к богатству. Ты будто мчишься, а я за тобой...

— Ладно, завтра доскажешь,— оборвал ее Рустам.

— Уж я с радости совсем заболталась. Варенья хочешь?

— Нет, и если ты меня любишь, оставь меня.

Сусан, между тем, скрестив руки, смотрела то на мужа, то на свекровь. Взгляды Рустама заставляли ее опускать глаза.

Санам приготовила постель и села за чай, прекратив, наконец свои бесконечные расспросы. Только раз попыталась она спросить о чем-то, но сын опять решительно оборвал ее и попросил оставить его в покое.

Как ни тяжело было старухе покинуть сына, но, зная его характер, она смирилась и ушла в свою комнату, которую отделяла от комнаты Рустама просторная прихожая.

16

Оставшись с женой, Рустам велел убрать самовар и запер дверь. Целый час ходил он взад-вперед по комнате, не говоря ни слова; а Сусан, по-прежнему скрестив руки на груди, пристально смотрела на мужа. Она хотела и не могла заговорить с ним. Наконец Рустам остановился и одетый, с кинжалом на поясе, лег на постель.

— Подойди ко мне! — приказал он Сусан.

Она подошла, дрожа, с опущенной головой.

— Дала ты лошади корму?

— Да.

— И много?

— Много.

— Гм,— пробормотал Рустам и продолжал.— Какая мягкая постель! Для кого она?

На этот странный вопрос Сусан не нашла ответа.

— Ты не слышишь? Для кого, я спрашиваю, эта постель?

— Для тебя.

— Для меня? Земной поклон тебе и благодарность...

Отойди от меня, сатана!

Сусан испуганно отшатнулась.

— Так для меня?

— Для тебя.

— А другая?

— Какая другая?

— Другая постель?

Сусан старалась избежать испытующего взгляда мужа.

— Так не понимаешь?

— Чего?

— Я спрашиваю тебя... Будь ты проклята, сатана!..

Я спрашиваю, где вторая постель?

— Да ты о чем? — спросила дрожащим голосом ошеломленная Сусан.

— Я спрашиваю, где твоя вторая постель?

— Не понимаю.

— Не понимаешь? Та постель, что...

Рустам не мог договорить, у него горло перехватило. Вскочив, он заметался по комнате.

«Ах, ведьма, как она умеет притворяться. Как будто ничего не понимает... А вдруг и точно окажется родинка? Боже мой, что я сделаю тогда? Хотя, может быть, Сейран видел родинку в детстве? Может быть, даже и не видел никогда, а слышал от матери? Нет, нет! Ну, а происшествие на свадьбе? А разговор двух парней в ту ночь? Впрочем, мне удалось выяснить, что все это ложь. А мать-то, мать... Ах, глупая старуха!»

И вдруг Рустам крикнул на весь дом:

— Садись!

Сусан не двигалась.

— Садись, говорят тебе!

Сусан села.

«Нет, погожу еще».

Прошел еще час. Наконец Рустам открыл дверь, выглянул, снова запер и сел.

— Так ты не хочешь отвечать? — он обернулся к жене, сидевшей на тахте. — Где твоя другая постель?

— Какая?

— На которой ты, распутная шлюха, спишь с Сейраном!

Сусан подскочила от ужаса и устала на мужа.

— Сейран!.. — вырвалось из ее уст.

— Да, Сейран... Ты разве не знаешь сына горшечника Айрапета?

Сусан молчала.

— Отвечай же, собачье мясо, отвечай, ты знаешь его? — и Рустам неистово дернул руку жены. — Знаешь?

— Знаю, — с трудом произнесла Сусан.

— Кто он такой?

— Сын нашего соседа.

— Сын соседа и твой... второй муж, не так ли?

Рустам задыхался.

— Да ты о чем? — пролепетала Сусан.

— Кто я? — спросил Рустам, не сводя глаз с жены.

— Рустам.

— Кто я тебе?

— Муж.

— Врешь, окаянная, твой муж Сейран! Сознаться, не то...

Он бросил ее руку, отступил и выхватил кинжал. Клинок блеснул как молния.

По телу Сусан пробежала дрожь, но вдруг она как будто что-то вспомнила.

— Теперь все понятно, Рустам, злые языки тебя сбили с толку. Я была невестой Сейрана; пока не было тебя, мои родители хотели меня выдать за него.

— Ты его любила, проклятая, признавайся, это всему городу известно.

— Да, любила и люблю. Но, Рустам, я не нарушила чистоту твоего брачного ложа, я невинна...

— И любишь и невинна? Замолчи, подлая! Была ты с ним в связи, сознавайся!

— Пускай душа моя станет добычей ада, если я лгу. Я люблю Сейрана, но у меня с ним ничего не было.

— Сейран сам все рассказал.

— Не может быть. Он солгал!

— Нет. Раскрой свою грудь!

Сусан не понимала.

— Покажи мне грудь, не то... кровь ударила мне в голову.

Сусан бессознательно дрожащими руками расстегнула сорочку.

Рустам, держась за кинжал, подошел и, нагнувшись, посмотрел.

— Гот она, родинка! Сейран не солгал!

Скрежеща зубами, с криком бросился Рустам на жену, охватил ее стан сильной рукой и впился, как пиявка, в родинку.

От страшной боли не помня себя, Сусан пыталась защищаться, задела рукой за кинжал и порезалась. Послышался слабый крик. И тело Сусан, выскользнув из рук Рустама, упало на пол.

Рустам стоял над ней с окровавленным кинжалом. Лицо его было ужасно.

Наконец он отбросил кинжал, наклонился над Сусан и принялся рассматривать ее грудь. Струйки алой крови бежали по белому, как мрамор, телу. Рустам достал платок и вытер рану.

— Вот она, родинка, я не там искал ее!

Сусан шевельнулась, раскрыла глаза и шепнула:

— Я невинна, невинна. Господи, ты все знаешь, прости меня и прими мой дух.

Рустам неподвижно глядел на нее. Вдруг он вскочил и схватился за кинжал:

— Знай же, подлая тварь, я — Рустам! Как ты смела обманывать меня, я мужчина, у меня есть честь!

Послышался нечеловеческий крик, затем все смолкло...

Дверь загремела, в комнату с воплем вбежала Санам.

17

Наступило утро. Все шемахинские армяне толпами спешили к дому Санам. Старики и дети, мужчины и женщины торопились сюда; городовые их разгоняли, но безуспешно.

— Ах, как жалко красавицу! — слышались голоса.

— Всем взяла: и красотой и сердцем.

— Несчастливая стала жертвой зверя...

— Тут не Рустам виноват, — заметил юноша лет двадцати.

— Как так?

— Виноват глупый обычай нашего города, — продолжал юноша. — Закроют девушке лицо и выдают за незнакомого человека. А тот составляет мнение о жене с чужих слов.

— Ну, да что говорить: что предначертано богом, то и сбудется, — прервал юношу пожилой мужчина.

В доме на полу лежала окровавленная Сусан. Первые солнечные лучи освещали ее лицо. Казалось, светлый ангел осенял крылом этот невинный облик. Пышный узорный ковер был весь залит кровью. Вокруг теснились родные и друзья. Несчастливая Гюльназ, склонившись над трупом, рвала на себе волосы, терзала ногтями грудь. Ее ужасные вопли заставляли людей содрогаться. Тут же стоял Бархудар, сложив на груди руки. На бледном лице его едва замечались признаки жизни: в старческих глазах светилось нестерпимое, невыразимое страдание. Сусамбар, сидя на полу, осыпала поцелуями бездыханное тело любимой подруги. Двое юношей напрасно старались успокоить Сибата, оттаскивая его от мертвой сестры. С обнаженной

грудью, всклокоченными волосами, сверкая безумным взором, Смба́т дико кричал:

— Пустите, я убью Рустама как собаку!

Мариам-баджи стояла на коленях у ног покойницы. Слезы так и бежали по ее исхудалому лицу, костлявые руки царапали грудь.

Айрапет толкался тут же. Добродушный старик как будто не понимал того, что происходит. Иногда он вскрикивал, но никто его не слушал.

Двое полицейских, стоя перед комнатой Санам, удерживали обезумевшую старуху, которая бесновалась и рвалась к сыну.

— Дайте мне, окаянные, взглянуть на сынка! Ведь его в тюрьму уводят...

А что же делал в это время Рустам, главное действующее лицо этой драмы? Справа от него стоял полицмейстер, слева восседал за столиком следователь; он испытующе смотрел на преступника и, поправляя пенсне, задавал ему обычные вопросы. Рустам молчал. Он как будто ничего не слышал. И только твердил одно: «Я убийца». Не добившись другого ответа, следователь сложил бумаги и повернулся к полицмейстеру:

— Поместите его в отдельной камере впредь до распоряжения.

Рустама повели, но не успел он переступить порог, как к нему с криком подбежал юноша, весь запыленный, в дорожной одежде.

— Сейран! Это ты? Не мешайте мне, пустите, я его убью как собаку! — заревел Рустам.

Полицейские удержали его.

А Сейран кричал:

— Не подпускайте его к Сусан! Я все налгал: она невинна, как ангел. Не я, а моя мать видела родинку в бане.

— Она невинна, я погубил свою душу! — воскликнул Рустам и, обессиленный, упал на руки полицейских.

Толпа расступилась перед Сейраном. Он бросился туда, где был распростерт труп его любимой.

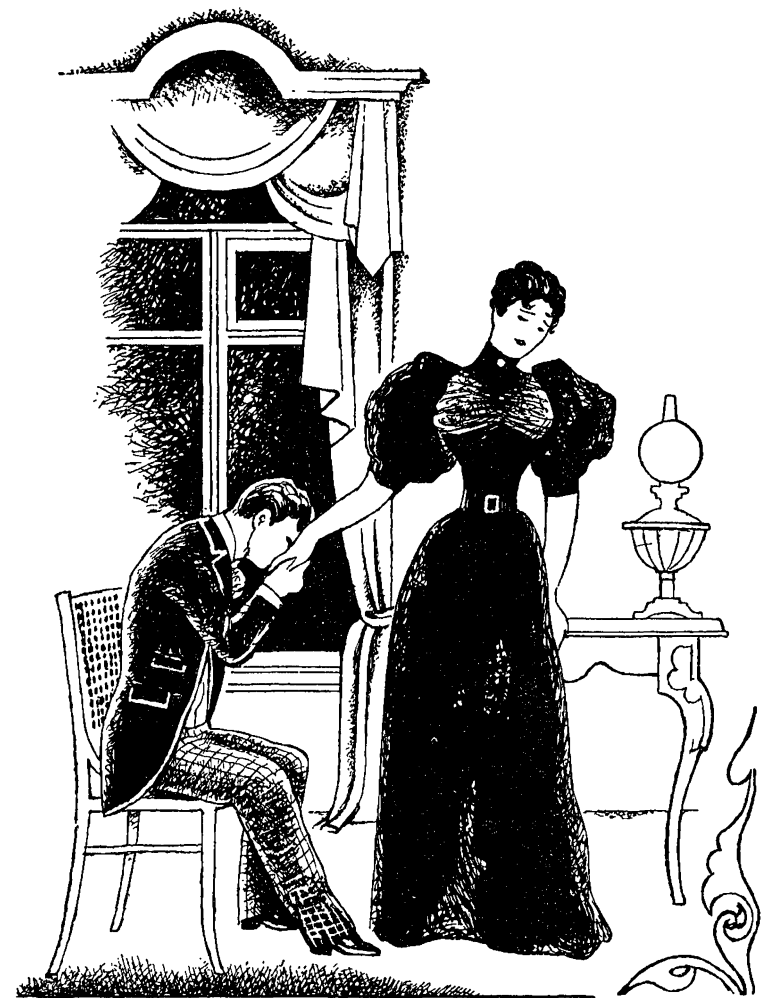
Еще минута, и толпа услышала выстрел.

— Ой, дитя мое!..

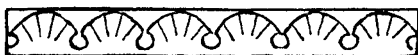
Это был нечеловеческий вопль Мариам-баджи.

1885 г.

Г и ф л и с



ЗАМУЖНЯЯ





1

В

одиннадцать часов утра вдова Наталья, открыв дверь в комнату своего молодого квартиранта, спросила:

— Господин Ростомян, кофе пить будете?

— Дайте, пожалуйста, стакан,— ответил Ростомян. Сидя за письменным столом, он что-то писал.

Вдова ушла, но через минуту появилась снова со стаканом кофе и тарелкой сахарных сухарей на подносе.

— Сама сегодня варила, Пётрú всегда портит,— сказала она и торжественно поставила поднос перед Ростомяном.

Вдова села и, пока Ростомян завтракал, молча смотрела на него.

— Ну что, понравилось? — спросила она, когда Ростомян, торопливо выпив кофе, оставил стакан в сторону.

— Спасибо, очень хорошо,— сказал он и снова взял ручку.

Несколько минут вдова Наталья стояла с пустым стаканом в руке и молча смотрела на своего молодого жильца. А он словно позабыл о ее присутствии и, наклонив голову, то писал, то о чем-то раздумывал.

— Степан Григорьевич, — наконец сказала вдова, поставив поднос на край стола, и снова села.

Ростомян поднял голову.

— Степан Григорьевич, довольно, говорю я вам, довольно. Видит бог, жаль мне вас. Я не прошу вас — не пишите или не читайте, — работайте сколько вам вздумается, но и о здоровье своем позаботьтесь. Нет, сынок, так вы вконец сердце свое расстройте, любя вас, говорю. Вот так, совсем так было и с моим Гигóлом, а что в конце концов из этого вышло? Ах, Гигóл, Гигóл!..

Глубокая печаль омрачила лицо вдовы, на глаза набежали слезы.

Ростомян слушал ее с молчаливым недовольством.

Долгие часы за письменным столом, тяжелый умственный труд, зимние бессонные ночи наложили на него раннюю печать преждевременной старости. Смуглая кожа его лица кое-где возле глаз и в углах постоянно сжатого рта прорезалась тонкими морщинками, а по обсьим сторонам прямого носа протянулись книзу две глубокие складки, свидетельствовавшие о долгой, упорной работе и длительном напряжении мыслей. Все это придавало его лицу меланхоличное выражение. Но в темно-карих глазах рано постаревшего тридцатилетнего молодого человека сквозило какое-то младенческое простодушие, особенно привлекательное, когда он улыбался или смеялся. Физически он чувствовал себя еще здоровым, хотя и работал напряженно, как машина. Четырнадцать часов ежедневного труда стали для него чем-то привычным, а зимою он работал и больше.

Вдова Наталья, приводя наглядные примеры, доказывала Ростомяну, что он не должен вести такой образ жизни, что ему нужно развлечься, ибо человек рождается на свет только раз, а не два раза. Вот уже четыре года как добросердечная женщина, побуждаемая чувством материнской заботы, убеждала его в этом. Она знала, что Ростомян не здешний, что у него нет ни отца, ни матери, что он одинок, как дикое деревце, возросшее на вершине голой скалы. У вдовы был сын, учившийся в петербургском университете, — второй сын. Ее первенец умер молодым, и в его преждевременной смерти, по мнению Натальи, были повинны ученые и книги. Больно ныло сердце матери, когда она думала о том, что и младший

ее сын — Габò — ведет такую же жизнь, какую вел его брат и ведет этот молодой человек. И ей казалось, что, выговаривая Ростомяну, она поучает и родного сына, и все, что она говорит, доходит и до его ушей. Но напрасно вдова старалась как-то скрасить жизнь этого отшельника: упрямец дружил только с книгами, рукописями и, как в четырех стенах комнаты, замыкался в своем внутреннем мире. Не принесли пользы и сегодняшние материнские увещевания вдовы. Она взяла поднос и молча вышла, задумчиво покачивая головой, что выражало и недоумение ее, и тревогу, и искрешнюю любовь.

Через несколько минут она вновь появилась в комнате квартиранта.

— Степан Григорьевич, этот ключ я снова оставляю у вас, — сказала она, кладя на стол перед ним большой ключ. — Я уйду к Катò. Со мной пойдет и Петрэ. Если кто будет справляться насчет квартиры, покажите. Цену-то вы знаете, не сбавляйте ни копейки с пятидесяти рублей. Слышите — ни копейки!

— Хорошо, — коротко ответил Ростомян.

Вдова ушла. Пыталась собраться с мыслями, Ростомян в течение нескольких мгновений недовольно смотрел в окно.

Хорошая погода стояла в этот день, один из последних дней зимы, когда сердце человека наполняется какой-то неопределенной печалью и нетерпеливо стремится поскорее встретить весну. Ясно, безоблачно было небо — вот уже неделю как его не застилали облака. Лишь на севере собирались порой сероватые клочья туч, но к полудню, когда воздух нагревался, исчезали, растворяясь в небесном пространстве.

Перед окном, словно камешки, вскинутые вверх сильной рукой, резкими взмахами крылышек рассекая воздух, проносились быстролетные воробьи. На крыше низенького домика напротив весело ворковала стая голубей. Все вокруг радовалось близкому наступлению весны, даже, казалось, мухи в комнате. Черными точками прилипли они к стеклам окон, и в блаженном онемении не двигались с места.

Вдали виднелась северная окраина Тифлиса — немецкая колония, черная чаща безлистных сейчас деревьев

Муштайда¹, красивая долина извилистой Куры. А еще дальше вырисовывались освещенные солнцем Кавказские горы, над которыми царил Казбек, похожий на почтенного патриарха, окруженного потомками. На его высокой вершине, покрытой свежевывающим снегом, кроме нескольких острроверхих скал, на которых не держится снег, не были видны складки и глубокие расщелины, которые обнажаются в середине жаркого лета. В своей белой одежде он выглядел радостно, мириадами заледеневших звездочек улыбаясь солнцу — зимнему солнцу, неспособному растопить снежную корку даже у подножия горы. Чистый воздух, казалось, сжал, сократил расстояние в сотни верст — так ясно и четко вырисовываясь на лазурном фоне неба, виднелась эта грандиозная гора из окон Ростомяна.

Прошло полчаса с тех пор, как ушла вдова. Ростомян снова погрузился в работу. Неожиданно у парадного входа раздался звонок. Сначала Ростомян не обратил на него внимания, но когда звонок повторился, он, досадливо ворча, спустился вниз по деревянной лестнице, окрашенной в темно-красный цвет. Отперев дверь, Ростомян готов был сердито спросить: «Что вам нужно?», но человек, стоявший перед ним, выглядел так почтенно, что он с уважением отступил.

Это был приятного вида старик с седыми волосами и бородой, одетый очень тщательно и богато. Одной рукой он опирался на палку, другой поддерживал молодую женщину, лицо которой наполовину скрывала воздушная коричневая вуаль.

— Скажите, пожалуйста, здесь сдается квартира? — спросил старик, вежливо приподняв шляпу.

— Да, — ответил Ростомян и тоже поклонился.

— Можно ее посмотреть?

— Пожалуйста.

Сдаваемая в наем квартира находилась на другом конце балкона², как раз напротив комнат, занимаемых Ростомяном. Вот уже три месяца как она пустовала, и почти каждый день вдова упрашивала Ростомяна найти ей жильцов. Это был ее собственный дом — наследство

¹ Муштайд — городской сад Тифлиса.

² Тифлисские балконы — род обычно открытых галерей, окаймляющих со двора почти весь дом.

от покойного мужа. На доходы от дома и существовала вдова с сыном. В нижнем этаже жила семья русского чиновника. Половину верхнего этажа занимали хозяйка и Ростомян — у них было по две комнаты. На другую квартиру охотников не находилось, и это тяжело отзывалось на материальном положении вдовы.

Ростомян провел незнакомцев в свободные комнаты.

— Не сыро ли тут? — спросил старик, войдя в первую комнату и оглядывая потолок.

— Ничуть, — ответил Ростомян.

Молодая женщина поспешила к окнам взглянуть на улицу. Ей было около двадцати пяти лет. Она была немногим выше среднего роста, хорошо сложена, с правильными чертами лица. Встретив ее взгляд, Ростомян, застенчивый, неуверенный, даже боязливый в присутствии женщин, смущенно отвернулся.

Старик прошел в другую комнату. Молодая женщина последовала за ним.

Внимательно осматривая комнату за комнатой, старик, обращаясь к своей спутнице, иногда говорил что-то по-французски.

— А кухня есть? — спросил он у Ростомяна.

— Есть.

— Чистая?

— Поглядите сами.

Когда они осмотрели кухню, балкон, двор и еще раз все четыре комнаты квартиры, старик сказал молодой женщине:

— По-моему, удобно.

Затем он спросил о цене. Ростомян назвал ее. Старик опять заговорил со спутницей.

Ростомян внимательно разглядывал их. Они были не похожи на тифлисцев. Видимо, люди приезжие: по лицам армяне, но говорят по-русски почти без акцента. Особенно хороший выговор у женщины, а у старика он порой напоминает характерное произношение северокавказских армян. Но не это заинтересовало Ростомяна. Он с первого же взгляда заметил в больших ясных глазах молодой женщины какую-то затаенную печаль. Это не было усталостью или мимолетной грустью. Нет, это была глубокая задумчивость, какая-то душевная скорбь, запечатлевшаяся во всех чертах ее лица.

Старик разговаривал с женщиной почтительно и, казалось, не решался взглянуть ей прямо в глаза.

Молодая женщина обращалась к старику на «вы», а он к ней на «ты».

«Должно быть, отец и дочь»,— подумал Ростомян, заметив в их лицах родственные черты.

— Вот вам задаток,— сказал старик, вручая Ростомяну несколько десятирублевых.— Завтра мы переедем.

— Скажите, пожалуйста,— спросила молодая женщина, внимательно взглянув на Ростомяна,— не шумно ли здесь во дворе или по соседству?

— Можете об этом не беспокоиться, вас никто не потревожит.

— Знаете ли,— вмешался старик,— моя дочь не любит шума. Вот почему мы и не ищем квартиры в центре города.

— Вы, видимо, приезжие? — спросил Ростомян.

— Да, да, еще нет месяца как мы приехали из России. В гостиницах долго жить неудобно, особенно в здешних гостиницах. А вы владелец этого дома?

— Нет, квартирант.

— Ваша фамилия?

— Ростомян.

— Нам следует познакомиться,— сказал старик, пожимая Ростомяну руку.— Киришчиев, Минас Кириллович... А это моя дочь — Варвара Минаевна.

Уходя, молодая женщина еще раз посмотрела в окно, за которым раскинулись окрестности города.

— Какой замечательный вид,— сказала она.

Ростомян услышал его тяжелый и долгий вздох. Он никогда еще не решался взглянуть на женщину, будь то на улице или где-либо еще, если случалось ему бывать в обществе женщин. Но это худощавое и бледное лицо, эти большие с печальным блеском глаза приковали его внимание, может быть, потому, что и молодая женщина поглядывала на него не без любопытства. Так ли это — Ростомян сказать не мог. Не отдавал он себе отчета и в том, почему после ухода старика с дочерью он долго стоял перед окном, выходящим на улицу, и смотрел на сверкавший на солнце серебряный купол ближней церкви.

Вернулась вдова Наталья.

— Э-э, Наталья Петровна, что вы мне дадите за добрую весть? — с радостным видом обратился он к хозяйке.

— Какую же? Не сняли ли квартиру?

— Именно, и вот задаток.

— Ох, слава богу!.. Спасибо, спасибо, сынок, — обрадовалась Наталья Петровна. — А кто же снял? — спросила она, свертывая кредитки и пряча их в карман.

— Старик какой-то, с дочерью.

— Двое?

— И двое слуг: горничная и повар.

— То, что надо! Хорошие люди?

— Бог их знает, но мне показалось — хорошие. Вот, я записал их имена.

Наталья Петровна была готова на радостях обнять и поцеловать Ростомяна. Но Ростомян, как никак, был чужой, а сама она, несмотря на свой почтенный возраст, считала себя еще достаточно молодой.

Сейчас же после обеда вдова приказала служанке вымыть окна в напятай квартире и смести паутину с потолка и стен. Целый день она от радости не могла найти себе места.

А Ростомян вспоминал почтенного старика и печальное лицо его дочери. Эти незнакомые люди произвели на него какое-то странное, но приятное впечатление. Никогда еще в жизни своей этот одинокий человек не видел такой дружной и привлекательной четы, как эти отец и дочь...

2

Утром пришел старик и предупредил, что они передут после обеда. Наталья Петровна приняла его чрезвычайно почтительно, любезно пригласила войти, познакомилась и выразила уверенность, что жилище ему понравится.

— Вы впервые в Тифлисе? — спросила она.

— Нет, я несколько раз бывал здесь, но очень давно, — ответил старик. — В тысяча восемьсот семьдесят шестом году, перед войной, я закунал пшеницу для русских войск. В те годы, госпожа, Тифлис был оживленным, теперь он изменился...

— С тех пор как великий князь¹ уехал отсюда, Тифлис опустел, — сказала вдова, вздохнув. — В те времена в нанятой вами квартире жил... генерал... погодите, погодите... да, генерал Чудинов. Знаете, сколько он тогда платил? Девятьсот рублей в год. Теперь плата за квартиры очень снизилась, очень...

После полудня приезжие перебрались. Их мебель составляли несколько стульев и кресел, два шкафа, два письменных стола, диван, пианино, несколько красивых персидских ковров и разные мелкие вещи. Эти вещи выглядели новыми, но, по-видимому, приобретались на рынке.

В то время как приезжие с помощью хозяйки устраивались в новом жилище, Ростомян отдыхал, запершись в своей комнате.

За день он ни разу не вышел из дому. До его ушей, казалось, не доходили шум, поднятый рабочими, громкие голоса старика и Натальи Петровны, отдававших приказания, мягкий и приятный голос молодой женщины, время от времени звучащий на соседнем балконе.

На другой день рано утром в комнату Ростомяна вошла Наталья Петровна и заговорила о новых квартирантах.

— Очень хорошие люди, — рассказывала она с жаром. — Вчера же мне и заплатили. Отец лучше дочери, дочь лучше отца, оба очень приятные. Дочка такая красивая... Впрочем, не то что красивая, а, скажу вам, славная. Я видела и покрасивее, чем она, но она — это совсем не то... Будь я женщиной, тотчас бы влюбилась. А ну, Степан Григорьевич, приглядитесь-ка к ней получше... Э, да кому я говорю, вы ведь не мужчина, ха, ха, ха...

За обедом Наталья Петровна снова заговорила о приезжих. С тех пор как они здесь поселились, не прошло и двадцати часов, но вдова была уже покорена ими. Она воодушевленно рассказывала, как старик встретил ее, как почтительно была с нею Варвара Минаевна — даже встала, когда она вошла. Видно, что люди не простые: или очень богатые, или родовитые. Комод у дочери полон модными платьями. У отца не то четыре, не то пять шуб и

¹ Наместник Кавказа — великий князь Михаил Николаевич.

пальто. Старик очень прост. Он просил, даже умолял Наталью Петровну посещать их почаще, чтобы, как сказал он, «в чужом краю наши дни не протекали уныло».

— И я их пригласила к себе, Степан Григорьевич. Что там, пусть приходят, дочка очень печальна, не знаю только, чем она озабочена. Говорит она очень мало, не улыбнется...

И на второй, и на третий день вдова без конца говорила о новых квартирантах. Теперь она уже знала, что они приехали из Москвы, что жили и в Петербурге, и во многих многих других городах. Некоторое время — за границей.

— Одним словом, очень порядочные люди... — закончила вдова, гордясь тем, что у нее появились такие жильцы.

Ростомян не изменил своего образа жизни. Прошла уже целая неделя, но он только два раза видел старика и его дочь: старика — на улице, дочь — на балконе. Пока он не интересовался своими соседями. Лишь иногда перед его взором возникал образ молодой женщины с печальными глазами, которые в первый день их знакомства так грустно смотрели из-под тонкой вуали на дальние горы. Вспомнил Ростомян и ее тяжелые вздохи. Но все это — только на мгновение. Вслед за тем работа снова поглотила все его мысли и внимание.

Однажды под вечер, когда солнце еще не зашло, Ростомян стоял у своего окна и смотрел на улицу. Издалека донесся какой-то голос. Вначале он был низким, потом зазвучал громче. Незадолго перед тем Ростомян открыл одно из окон, выходивших во двор, чтобы проветрить накуренную комнату. Вместе со свежим и довольно холодным вечерним воздухом в его постоянно мрачное и тихое жилище ворвались звуки песни, звуки, каких он еще никогда не слышал и не ожидал услышать вовеки. В детстве, гуляя летними вечерами в садах, окружавших родной ему патриархальный город, он любил, сидя в тени кустов, слушать сладкое пение птиц. Неизгладимое впечатление, наряду с другими воспоминаниями, оставило оно в глубине его сердца. И время от времени, когда он вспоминал о прошлом, в его памяти возникали птичьи песни, а вместе с ними и то радостные, то печальные дни детства. Но все это относилось к прошлому. А сейчас?

Он осторожно, словно боясь, что помешает хотя бы одному звуку, легкими шагами подошел к окну. Песня звучала то отчетливее, то глуше, порой ее нельзя было слышать совсем, и в эти мгновения ее сменяли звуки пианино.

Во дворе все было тихо, словно для того, чтобы не мешать песне. Только на ветках безлистной акации шумели воробьи. Ростомяну казалось, что даже их щебет звучит гармонично, в лад с песней, доносящейся с противоположного балкона.

Песня умолкла, умолкло пианино, но он все еще стоял у окна, глядя перед собой застывшими глазами. И пришел он в себя только в то мгновение, когда взгляд его упал на противоположное окно. Его догадка подтвердилась. Пела она, дочь старика. Печальная девушка пела печальную песню. Большие, полные грусти глаза смотрели прямо на Ростомяна смелым, умным, но в то же время и нежным взглядом. Это был совершенно тот же взгляд, каким неделю назад она смотрела куда-то вдаль.

Смятение, овладевшее было Ростомяном, уступило место восхищению. Какое-то неясное, непривычное чувство стало волновать его безмятежное сердце. Но вновь вспыхнула в нем его природная застенчивость, и Ростомян отошел от окна. Однако — лишь на несколько минут. Неожиданная, неодолимая сила повлекла его снова к окну. А она... она все так же смотрела на него. Никогда еще Ростомян не чувствовал на себе такого пронизательного взгляда.

Прошло несколько минут. Молодая женщина отошла от окна.

Стемпло. Слуга внес лампу и вышел, удивленный тем, что жилец его даже не заметил.

Несколько позже к нему вошла Наталья Петровна. Ростомян обрадовался ее приходу.

— Степан Григорьевич, сколько я вам должна? — спросила вдова.

— Что вы мне должны? — удивленно спросил Ростомян, все еще находившийся во власти приятного впечатления.

— Как что я вам должна? Забыли? Ну, десять рублей я у вас взяла, чтобы послать Габо, пятнадцать взяла и отдала Петрэ, а вчера вы мне дали сорок. Посчитайте-

ка... Эти сорок за квартиру и обед за март, а остальные? Ну, вот вам пятнадцать рублей, десять отдам потом. Не сердитесь, сынок...

— Эх, Наталья Петровна, не ростовщик же я, что вы так торопитесь. Деньги мне не нужны, спрячьте.

— Нет, Степан Григорьевич, долгов я не люблю. Когда у меня есть долги, я по ночам не сплю. Спасибо, спасибо вам большое... Когда бы у всех было такое, как у вас, сердце! Я всем говорю, что у меня не жалец, а золото. Спасибо, сынок, я вашей доброты до смерти не забуду, вы меня часто в тяжелые минуты выручали. Богу ведомо, как часто молюсь я за вас, Степан Григорьевич. И вчера я очень хвалила вас Минасу Кирилловичу и Варваре Минаевне.

Вдова села и начала превозносить Киришчиевых. Вчера она хотела дать Минасу Кирилловичу расписку в том, что получила от него за квартиру, но Минас Кириллович очень удивился — зачем ему расписка?..

— Ну, вот вы и скажите, Степан Григорьевич, как же мне не хвалить таких людей?..— воодушевленно воскликнула Наталья Петровна. — «Хотите, — говорит, — я вам дам двести рублей сразу». Как я это услышала, стыдно стало. В наши дни мало людей, которые бы так обращались с домовладельцами. Степан Григорьевич, теперь вы меня послушайте, — сказала вдова, немного помолчав.

— Что такое?

Вдова таинственно улыбнулась и мстнула глазами в ту сторону балкона.

— Ну, что скажете, Степан Григорьевич? — сказала она, наклонясь к столу и приблизив голову к собеседнику. — Весь Тифлис обойдете, другой такой, как Варвара Минаевна, не сыщете. Если согласитесь, я как-нибудь намекну им. Надеюсь, что согласятся и она, и отец. Вы им понравились, каждый раз о вас спрашивают. Вчера я им кое-что о вас наговорила — сами знаете, что я могла сказать, — только хорошее. Так вас расхвалила, что удивились. Сказала — нет ему равного в Тифлисе!..

— Спасибо, Наталья Петровна. Но если вы мне новых жильцов сверх меры хвалите, как и меня им, то я вам не верю.

— Ни вы мне не родня, ни они, господин Ростомян, зачем мне сверх меры кого-нибудь из вас хвалить? А?..

Вы же мне за это не платите! А мне хочется, чтобы вы наконец нашли себе хорошую девушку и жили в этом мире по-человечески. Вот и все... Варвара Минаевна мне очень нравится... И деньги у нее, должно быть, есть — отец был подрядчиком, заворачивал большими делами. Женитесь, Степан Григорьевич, я вам стану матерью, вы мне — сыном. Очень хорошо будет, ей-богу! Обе мои комнаты соединю с их квартирой, дверь туда прорублю, вам отдам, а сама ваши комнаты займу. Не хорошо ли я говорю, Степан Григорьевич? Как вам нравится?..

Ростомян только улыбнулся молча, словно принимая то, что говорит вдова, за шутку.

Когда она ушла, Ростомян сел за стол, но, вопреки обычному, ему в этот день не работалось. Писал и то и дело зачеркивая написанное и долго не мог собрать воедино рассыпавшиеся мысли. В его ушах все еще звучала грустная мелодия песни, спетой соседкой, и все еще виделись ее глаза, с таким интересом глядевшие на него из окна.

«Кто она, что за женщина? Почему отец и дочь приехали в Тифлис и живут тут? Где же, в конце концов, их родина? Не авантюрист ли этот Минас Кириллович? И действительно ли эта молодая женщина его дочь?..»

Приятные, но томительные сновидения, сменяясь, нарушили в эту ночь его обычно спокойный сон. Он не мог сказать точно, когда это было, но вдруг среди ночи он проснулся, разбуженный, как ему показалось, стуком в дверь.

Он поднялся, подошел к окну и выглянул во двор. Никого не было. Стояла такая темень, что едва можно было различить очертания противоположного дома. Шел сильный дождь.

Утром он встал раньше, чем когда-либо за все эти годы. Какая-то неопределенная тоска сжимала сердце. Было досадно, что вечер пропал бесцельно. Печально перелистал он странички, написанные вчера, потом зачеркнутые. Уцелело лишь несколько строк.

В этот день Ростомян должен был пойти по делу к одному из своих сослуживцев. День был облачный, шел небольшой дождь, а ночной ливень оставил на улицах непроходимые лужи. Улица, на которой стоял дом вдовы, была узка, гориста, тротуары покатые, а мостовая местами

изрыта. В дождливую погоду пройти здесь было трудно: в скользкой грязи человек оступался, а иной раз и падал. Дом Натальи Петровны стоял к тому же в самом верхнем конце улицы.

Ростомян обычно ходил торопливо, опустив голову, засунув руки в карманы и часто не замечая встречных. Возвращался он от сослуживца домой в обеденный час с каким-то толстым фолиантом под мышкой. Поднимаясь вверх по улице, он вдруг натолкнулся на кого-то. Подняв голову, чтобы извиниться, он увидел перед собой нового соседа.

— Ничего, — сказал старик, — виновато тут ваше городское управление, не содержащее в порядке улиц. Я всегда говорил, что Тифлис — это еще Азия.

Они некоторое время шли вместе: старик впереди, Ростомян — позади. На Минасе Кирилловиче были большие глубокие галоши, шуба со скунсовым воротником. В одной руке он держал большой зонтик, защищавший его от мелкого дождя, в другой — какой-то круглый бумажный сверток. Из заднего кармана торчали уголки русских газет. Ворча на грязь, покрывавшую улицу, он шел осторожно, стараясь не запачкать платья.

На пути произошел инцидент, положивший начало дружбе старика и Ростомяна.

С пустым лотком под мышкой, шлепая по лужам, мимо старика быстро пробежал кинто — уличный торговец в разнос. Он, кажется, нарочно несколько раз сильно топнул ногами по жидкой грязи. Шуба Минаса Кирилловича покрылась пятнами.

— Негодяй! — рассерженно крикнул старик.

Кинто остановился, и, смеясь, показал ему язык.

— Наглец! — повысил голос Минас Кириллович. — Мало того, что напакостил, еще и обезьянничаешь?.. Городовой!

Но на улице не было городского. На другой стороне ее, у винной лавки, стояли два других полупьяных кинто и смотрели на них, забавляясь. Ростомян сделал знак торговцу, чтобы он убрался. Однако кинто, глупо гримасничая, продолжал дразнить старика.

— Убирайся! — крикнул Киришчиев снова.

Кинто, стоявшие у винной лавки, захохотали, подбадривая товарища.

— Палто надэл — важнэй меня чэловэк стал?.. — выставив вперед ногу, сказал гримасничавший кинто, мешая армянские слова с исковерканными русскими. — В тот день прогнал меня, сказал — твой шамайка гнилой... Много фарсишь, эй!..

Ростомян старался успокоить старика, советуя ему не обращать внимания на выходки кинто. Но Минас Кириллович еще не знал, до чего грубы кинто-разносчики, особенно когда распродадут весь свой товар. С раскрытым зонтиком в руках он подошел к обидчику.

Кинто положил лоток на землю и сделал еще более бесстыдное движение. Ростомян вспыхнул. С налившимися кровью глазами, сжав кулаки, он кинулся на наглеца. Первый же удар заставил кинто почувствовать силу Ростомяна, и он, громко ругаясь, кинулся бежать.

— Азия, настоящая Азия этот край! — воскликнул старик.

От негодования он побледнел и весь дрожал.

Когда они дошли до дома, Минас Кириллович дружески пожал Ростомяну руку. А так как он был очень возмущен происшедшим, то не счел преувеличением сказать, что веки не забудет защиты, оказанной ему соседом.

Вот как случилось, что Ростомян удостоился благоволения человека, которому впоследствии пришлось сыграть зловещую роль в его жизни.

На другой день Наталья Петровна сказала Ростомяну, что старик ему крайне благодарен.

— Как вижу, — добавила вдова, — и отец и дочь вас очень любят, Степан Григорьевич, только о вас и говорят.

— Очень рад.

— А как же вам не радоваться? Если бы такая, как она, девушка и обо мне так говорила, я бы от радости плясать пошла. Э, я надеюсь, что дело наладится, будьте уверены...

Обеспокоенный тем, что вдова и в самом деле намеревается на что-то намекнуть соседям, а может быть, уже и намекнула, Ростомян поспешил попросить ее оставить свое неуместное попечение о том, о чем он сам не думал и не думает.

— Шучу я, сынок, — поспешила оправдаться вдова, — не ребенок же я, чтобы такое выдумывать. Э, дело ваше. Только об одном вас попрошу — сделаете?

— Приказывайте.

— Сегодня вечером отец с дочерью будут у меня. Я их пригласила. Приходите и вы, Степан Григорьевич, поговорим о том, о сем. Пошлю Петрэ, чтобы Като тоже позвал. Придете?

— Приду, — согласился Ростомян.

Вдова когда-то очень любила и принимать гостей и бывать в гостях. В первые годы замужества, когда Наталья Петровна была молода, она, пожалуй, и дня не проводила дома в одиночестве — ее побуждал к общению с друзьями и знакомыми живой, веселый характер. Став же матерью взрослой, на выданье, дочери, она постаралась еще более расширить круг своих знакомых. Надо же было подумать о счастье Като. Муж Натальи Петровны — чиновник средней руки, и круг его приятелей был ограничен такими же чиновниками, в большинстве случаев не армянами. Жена же, думая об интересах дочери, старалась завязать связи с состоятельными горожанами. И надо сказать, это ей удавалось благодаря ее общительному характеру и довольно привлекательной внешности. Было время, когда Наталью Петровну можно было назвать красавицей. Несмотря на смерть мужа и старшего сына и возраст, она долго сохраняла привлекательность; ее высокий рост, искристые глаза, приличные манеры и умение держать себя помогли ей занять неплохое положение в обществе.

Более или менее удачно выдав замуж дочь, Наталья Петровна «пикников» больше не устраивала, но любила навещать своих родственников и знакомых. От скуки она в последние годы начала вмешиваться в семейные дела других людей — сватать, женить. И, руководимая искренним и бескорыстным тщеславием, она иной раз играла в таких делах вполне положительную роль. С этим тщеславием, часто свойственным большинству вдов и замужних женщин, она давно задумала устроить и судьбу своего молодого жильца, соединив его с какой-либо девушкой. Многие матери уже делали ей откровенные намеки на это. Но любовь Ростомяна к одиночеству совершенно обезоруживала вдову. Поэтому, потеряв надежду, она вынуждена была отвечать заинтересованным и потерпеливым матерям:

— Мой квартирант собирается в монахи, бросьте и думать о нем...

Гостиная Натальи Петровны была освещена красивой лампой, укрепленной на высокой подставке. Лампу эту вдова зажигала только в те вечера, когда у нее собирались гости.

Ростомян сидел на диване в углу. Его руки были заняты кистями пестро вышитой скатерти, покрывавшей стол. В другом углу дивана сидела вдова с неразлучными спицами и чулком в руках. Напротив нее, глубоко уйдя в мягкое кресло, расположилась невысокая, черноглазая, довольно красивая молодая женщина — Като, дочь вдовы. Она была в тонком шелковом платье, украшенном волнистыми лентами. Можно было подумать, что она разodelась для какого-то пышного торжества, если бы ее коричневые перчатки с широкими краями, доходившие ей до самых локтей, были посвежее. Сейчас она рассказывала матери о каких-то новомодных женских платьях, недавно полученных в Тифлисе к весеннему сезону.

В передней послышался голос Минаса Кирилловича. Вдова поспешила навстречу гостям.

В комнату вошла сначала дочь, за нею тяжелыми шагами шел отец. Варвара была без шляпы. Ее красивую головку увенчивали густые, немного вьющиеся, светлые и блестящие волосы. Не сколотые шпильками концы их, образуя красивые завитки, падали ей на лоб. Тонкая талия Варвары Минаевны была стиснута корсетом. Она и вправду, как сказала Наталья Петровна, была не так красива, как привлекательна. От всей ее фигуры веяло своеобразной спокойной гордостью.

Наталья Петровна приняла гостей с несуетливой любезностью, как подобает опытной, выдавшей свет женщине. Своими манерами и выражением лица она как бы говорила: «Я рада видеть вас у себя, но я привычна принимать и более высоких гостей».

Ростомян, вставая, смутился так, что задел стол и едва не опрокинул лампу. Като же не сдвинулась с места, пока гости не подошли к ней сами.

— Это дочь моя, мадам Безирганова, — сказала вдова, представляя Като Минасу Кирилловичу и Варваре.

Когда все расселись, Ростомян занял место слева от Минаса Кирилловича, справа от отца села Варвара. Вдо-

ва стала занимать гостей разговорами о разных пустяках. Обычная неловкость вскоре прошла, и гости мало-помалу освоились. Говорили, главным образом, Наталья Петровна и Минас Кириллович. Вдова, восхищенная привлекательным видом Варвары, старалась занять ее своими рассказами, но у гостей, казалось, не было настроения слушать.

— Какой у вас красивый голос, Варвара Минаевна,— сказала вдова, заправляя выбившиеся из-под головной повязки волосы.

— А разве вы слышали, как поет Варвара?—спросил Минас Кириллович.

— Как же, как же, вчера Варвара Минаевна пела, и я отсюда слушала. Очень красивый голос, очень.

— Как, вы умеете петь? — спросила Като. До этой минуты она молчала и лишь завистливо поглядывала на Варвару.

— Иногда пою дома, для себя,— скромно ответила Варвара.

— Не только поет, ты бы послушала, как она играет на пианино,— снова заговорила вдова.— Я прямо восхищена...

— Теперь все играют и поют,— иронически улыбнулась Като,— Тифлис — город музыкальный...

— Знаете ли Варвара Минаевна,— преребила вдова завистливое замечание дочери,— дочь моя тоже поет и играет. Мы как-нибудь попросим вас спеть вместе. Не верно ли я говорю, Минас Кириллович?

— Bravo, Наталья Петровна,— воскликнул старик,— очень хорошее предложение. Приходите как-нибудь к нам, и мы заставим Екатерину Симоновну и Варвару спеть нам.

— Я играю и пою только для себя, у меня нет способности удивлять других своим голосом,— ядовитым голоском сказала Като.

Вдова искоса посмотрела на дочь и укоризненно покачала головой. Като и внешне и по характеру не была похожа на мать. Завистливая, вспыльчивая, придирчивая, она не могла дружить с молодыми женщинами, особенно красивыми. Варвара с первого же взгляда разожгла в ней зависть, особенно своим ростом, потому что это было тем

преимуществом, которого не доставало ей самой. Одного этого было достаточно, чтобы отравить настроение Като. Вдобавок говорят, что эта приезжая красивая женщина «прекрасно» поет и играет! Уязвленное самолюбие побуждало Като найти в Варваре какой-нибудь недостаток. Не найдя, однако, ничего серьезного, она стала убеждать себя, что Варвара несомненно применяет какие-то искусственные средства для того, чтобы казаться выше и вообще выглядеть так хорошо. Цвет лица у нее не такой уж чистый, и если свеж, то кто может сказать, что это от молодости. За границей, говорят, знают тысячи способов сделать женщину красивой — должно быть, там она им и научилась. Като слышала, что в Париже какой-то врач за четыреста франков омолаживает женщин. Он подрезает им кожу со стороны челюстей и вспрыскивает под нее какое-то средство. Это средство навеки сохраняет свежесть лица. Весьма возможно, что и волосы Варвары не свои, надо поглядеть поближе. А что до пения и игры — кто ее знает... Очень сомнительно, чтобы у нее был хороший голос: что понимает в этом мать, может ли она судить правильно?.. Но эти мысли не успокоили Като. В этом маленьком кругу она осталась в тени, вечер отравлен, следовательно, надо было добиться какого-то возмездия. От ее маленьких, но острых глаз не ускользнуло, что Ростомян иногда поглядывал на эту «будто бы» красивую женщину, а на нее и внимания не обращал. Кто эта женщина? Действительно ли дочь старика или... Редко ли в Тифлисе случается, что «эти приезжие» бывают нечисты...

Наталья Петровна ушла в соседнюю комнату и через несколько минут вернулась с подносом, на котором были сухие фрукты, несколько больших и малых стаканчиков и две бутылки — одна с вином, другая с какой-то сладкой настойкой, которой еще при жизни мужа она привыкла угощать избранных гостей. Первый стакан сладкого напитка вдова предложила Варваре. Гостья решительно отказалась.

— Варя никогда не пьет, — сказал ее отец в ответ на уговоры Натальи Петровны.

«Ломается», — подумала Като, смело поднося к губам стакан.

— А вы? — обратилась вдова к Ростомяну, который

также отказывался от вина.— Хорош молодой человек, пейте же, стыдно...

— Один стакан нас разума не лишит,— сказал старик и, чокнувшись с Ростомяном, добавил: — Выпьем за здоровье честных и добрых людей, кто бы они ни были.

Благодаря хозяйке, ее простому и сердечному обращению гости постепенно развеселились, даже Като, которая надеялась затмить Варвару.

Больше всех говорил Минас Кириллович. Говорил воодушевленно, переходя от одной темы к другой: от городских дел к политическим, от личных — к общественным. Он не давал Ростомяну времени ответить ни на один вопрос, тотчас же задавая другой и сам же на него отвечая. Из его рассказов было видно, что он не только путешествовал по разным странам, но знает и Кавказ и бывал здесь во многих городах. Говорил он и о кавказских народностях. Все они, по мнению Минаса Кирилловича, дикари и недалеко ушли по своей культуре от ногайцев и тунгусов. Особенно осуждал он своих соотечественников и, в частности, враждебно относился к духовенству.

Минас Кириллович привел несколько примеров из жизни священников Астрахани, Моздока, Москвы, Петербурга — они невежественны, не могут показать себя, хотя бы чужим людям, с лучшей стороны. Затем он заговорил о купечестве, рассказал о проделках торгового люда. Поговорил и о других слоях городского населения. Из всего рассказанного он сделал такой вывод:

— Я видел много стран, имел дела с людьми различных национальностей, но таких упрямец, как армяне, нигде не встречал. Нет, нет, господин Ростомян, напрасно вы возражаете, я много испытал, много...

Варвара Минаевна сидела в это время напротив отца. Ростомян, слушая старика, не спускал с нее глаз. Он заметил, что когда старик произносил последние колкие слова, дочь посмотрела на него с тайным укором. Она словно молчаливо просила отца не продолжать этого разговора. Когда молодая женщина улыбалась, она делала это, казалось, насильно. Когда она молчала, ее ясный лоб темнел и в уголках рта появлялись тонкие морщинки.

— Разве я неправду говорю, Наталья Петровна? — обратился к ней старик, видя, что Ростомян не вполне с ним соглашается.

— Правду говорите, Минас Кириллович, жизнью клянусь, правду, — подтвердила Наталья Петровна, старавшаяся ни в чем не противоречить старику.

И Минас Кириллович, воодушевившись, стал жестоко бичевать дурные привычки своих соотечественников. На этот раз он привел в пример зарубежные страны. Там человека любят, уважают, а у нас только и знают, что топчут честь друг друга, лишают спокойствия, стараются смешать твоё имя с грязью. Пусть Степан Григорьевич не противоречит ему, он слишком молод и еще не испытал жизненных невзгод.

— А я видел многое, сильно намучился и сейчас мучаюсь от армянских сплетен, — несколько раз повторил старик, разволновавшись. Он, казалось, забыл, где находится.

Полные возмущения речи отца нервировали дочь, и она все время старалась поймать его взгляд. Но Минас Кириллович явно избегал встречаться глазами с дочерью и обращался преимущественно то к Наталье Петровне, то к Ростомяну.

Вдруг он умолк. Отец и дочь встретились наконец глазами и несколько мгновений молча смотрели друг на друга: отец — виновато, дочь — с укором. Никто не понял этого немного упрека. Минута была напряженной, все молчали, одна только Наталья Петровна без конца повторяла:

— Вы правду говорите, Минас Кириллович, правду...

Но старик не стал продолжать и умолк. Он сидел печальный, устремив глаза в одну точку, и курил, пропуская сквозь посеребренные сединой усы серые струйки дыма.

Вдова скоро нарушила молчание, переведя разговор на другие предметы. Она стала вспоминать разные происшествия, связанные с ее прежними квартирантами. Рассказанные ею на ломаном русском языке да еще с характерным местным акцентом историйки были занятны и заставили всех много смеяться. Вдова попутно не пощадила и Ростомяна, посмеявшись над его затворничеством и странными привычками. Варвара Минаевна

слушала ее с интересом и то и дело улыбалась, глядя на Ростомяна. А один раз она даже засмеялась, когда вдова рассказала о том, как однажды Степан Григорьевич был приглашен на вечер к своему начальству.

— Вечером он умылся, оделся. «Ну, слава богу,— говорю я,— хоть один раз решился куда-то пойти. Вышел из дому, но не прошло и десяти минут — вернулся». «Что случилось, Степан Григорьевич?» — «Ничего,— говорит,— платок носовой забыл». Ну, хорошо, взял платок, вышел на балкон, снова вошел в комнату. «Что еще?» — спрашиваю. «Рано, Наталья Петровна, целовко так рано приходиться...» Так и просидел одетый. Говорил, говорил и опоздал, конечно. «Ну, теперь неудобно, поздно». Так и не пошел, что бы вы думали, не пошел!.. Видели ли вы такого человека на свете, Минас Кириллович? А теперь я расскажу, сколько раз в году и где он бывает. Один или два раза — в театре, два два в клубе, а там опять великий пост начинается... Вот какой он человек, наш господин Ростомян,— закопчила вдова, дружески смеясь.

Ростомян только снисходительно улыбался. Пусть себе болтает что хочет...

Было уже довольно поздно. Варвара Минаевна сделала отцу знак головой — пора уходить. Старик, грустное настроение которого давно прошло, не прочь был еще долго наслаждаться веселым обществом Натальи Петровны — он, по-видимому, в этом маленьком кругу находил развлечение. Но Варвара еще раз напомнила ему, что время уходить, и поднялась с места. Выразив сожаление, что дорогие гости так скоро покидают ее, Наталья Петровна проводила их до балкона и просила навещать ее каждый вечер.

— Ну, как? — спросила она у Ростомяна, когда гости ушли. — Понравилась вам Варвара Минаевна?

— Не только понравилась, но — я поклясться готова — он в нее влюбился, — насмешливо сказала Като. — Ах, молодые люди, молодые люди, — добавила она, покачивая головой, — неужели же можно так быстро увлекаться?..

— Кто вам сказал, что я увлекся? — воскликнул Ростомян рассерженно.

— Ладно, ладно, не скрывайте понапрасну. Все время не спускала с вас глаз. Правду говоря, мама, мне не понравилась эта хваленая девушка. Она какая-то пришибленная, нет в ней и признака жизни. Да, кроме того, она кажется и очень спесивой. До чего я ненавижу таких самовлюбленных гордячек.

— Что, Варвара Минаевна спесива? — воскликнула возмущенно вдова. — Перекрестись, Катюша, таких, как она, дростых и скромных девушек в Тифлисе очень мало, да и совсем нет...

— В Тифлисе нет? Ха, ха, ха, — натянуто рассмеялась Като. — В Тифлисе нет? Вот так редкая птичка! Это ты и Степан Григорьевич ею очарованы. Надо поглядеть, восхитится ли ею другой мужчина. Жаль, что я не слышала, как она поет. Вы ее так расхвалили, мама, что она как индюшка раздулась.

— Ей-богу, хорошо поет, Катюша, — услышав, самой поправится.

— Не хочу — у меня уши не луженые, чтобы слушать голос какой-то кро...¹

— Кро?... — повторил Ростомян машинально.

— Да, именно кро. Кто они, мама, что за люди? Знаешь ли ты их, что так хвалишь этих провинциалов и возносишь на небо?..

Ростомян, увидев, что спесивая Като не знает удержу в своих нападках, поспешил удалиться. Оскорбительно было слышать, как завистница клеветает на женщину, произведшую на него глубокое впечатление.

— Мама, не ты ли должна проводить меня домой? — спросила Като, взглянув на Ростомяна, который подошел к ней, чтобы проститься.

— Остался у меня, ведь Лазарь Макарович сегодня не придет из Батума. А если ты хочешь непременно домой, мы с Петрэ проводим тебя на фаэтоне.

Ростомян, сделав вид, что не понял намека Като, вышел.

— Настоящий, самый настоящий кинто твой жилец, мама! — воскликнула Като, очень оскорбленная. — Какая невежливость, а еще инженер... *fi donc!* Я бы никогда

¹ Кро — так раньше называли в Армении крестьян из самых отдаленных и отсталых уголков страны.

не согласилась, чтобы он меня проводил, но ведь он же мужчина, и он должен был предложить проводить меня!

В эту ночь Ростомян очень долго не мог уснуть. Стоявшая на письменном столе лампа освещала только разбросанные вокруг рукописи. Темный абажур не давал свету падать на углы комнаты, на высокий потолок и стены, покрытые гвоздичного цвета штукатуркой. Ростомян собрал бумаги и отложил их в сторону — у него не было настроення заниматься, да для этого было и достаточно поздно. Он то и дело подходил к окнам и смотрел на улицу и во двор. Через вспотевшие стекла он видел только темную мглу. И в этой сплошной мгле перед его глазами, не покидая их, возникала только одна светлая звезда — образ Варвары Минаевны.

Почему она так печальна, какое тайное горе наложило эту мрачную тень на ее чело? Нет, что бы там ни было, эта девушка не обычная женщина, она исключительное существо, совершенно не похожее на других женщин. В ней есть что-то непонятное, что остается неуловимым для простых смертных. Сколько величия, благородства, и в то же время какое очарование вызывают ее голос, движения, все ее существо, даже ее загадочное молчание. И какое доброе и мягкое впечатление производит она, несмотря на внешнюю холодность. Никогда еще в присутствии женщин Ростомян не испытывал такой душевной легкости.

— Но что это, почему я не могу уснуть? — сказал он, прервав свои мысли. — Я веду себя, как влюбленный юноша, — добавил он, через силу улыбнувшись.

И действительно, почему его так интересует эта молодая женщина? Неужели он, чье сердце до сих пор не было для женщины, может увлечься так быстро, так внезапно, когда он почти еще не поговорил с нею? «Но почему бы и нет? Что было бы удивительного, если бы он и в самом деле влюбился?»

— Влюбился, — вслух повторил Ростомян, насмешливо улыбнувшись. — Нет, поздно... прошло мое время. Прошло ли? Неужели тридцать лет означают для человека полное умирание?..

И Ростомян, задумавшись над этим, невольно обратился к своему прошлому.

В этот поздний час оно представилось его взволнованному воображению таким печальным, пустым и мрач-

ным. Детство его прошло под гнетом нищеты, юность — в глубокой горести, вызванной ранней кончиной родителей. А потом? Голодные студенческие годы, постоянная забота о куске хлеба, утомительный умственный труд. Вдали от шумного круга товарищей, от общества, вдали от женщин... Только книги, учебники, лекции. Потом?... Потом незаметный, кратковременный переворот, когда он перешагнул границу подлинной, самостоятельной жизни, а затем целых полтора года неустанной учительской деятельности в среде людей, мозги которых загружены педагогическими правилами. Далее — служба... В общем — однообразный ряд утомительных скучных лет, где сегодняшний день был похож на вчерашний, завтрашний — на сегодняшний.

И почему до сих пор эти простые мысли не занимали его внимания? Отчего в этом самоубийственном отупении он ни разу не почувствовал, что философия Натальи Петровны и в самом деле верна: «Человек рождается только раз»? Почему он был так доволен обманчивой пользой своей трудовой жизни?

Полезность... Кому она полезна, его жизнь? Для чего он томится день и ночь, кому и какую пользу приносят его служебные компиляции? А сколько сил извел он на них и продолжает изводить...

Несомненно, он только игрушка судьбы, одна из шуток природы, машина, созданная для развлечения других. И если бы еще жизнь сулила ему длительную славу, славу, которая сделала бы его имя известным хотя бы на время... Но он только простой труженик и больше ничего.

— Да, теперь поздно думать об этом, — сказал он громко, остановившись перед лампой.

Хотя к чему такая безнадежность? Если и в самом деле жизнь прожита, то откуда эти переживания в темной ночи, не дающие ему спать? Нет, еще рано падать духом. Еще есть время, еще можно отдаться счастливому течению жизни. Пусть он пачинает в те годы, когда у других наступает конец, не беда, только бы суметь пачать. Пусть он будет самым незначительным зернышком в обществе, выполнит в жизненном море роль самой маленькой волны, только бы знать, что он живет, дышит, чувствует, а не замирает, как червяк с его холодной кровью среди влажных корней дерева...

На другой день, напившись чаю, Ростомян по привычке сейчас же сел к столу и принялся за работу. Сначала он трудился с присущей ему энергией. Перелистывал справочники, раскладывал перед собой выписки, сделанные мелкими буквами на листках бумаги с какими-то цифрами, расчетами, щелкал на счетах и записал цифры в толстую лежавшую перед ним рукопись. Словом, стремился поскорее закончить порученную ему работу — ее надо было сдать к концу следующего месяца. Но едва прошел час, как он испытал какую-то непривычную усталость, отбросил в сторону перо, зажег папиросу и начал ходить взад и вперед по комнате. Он снова потерял нить мыслей, в голове опять возникли думы, томившие его ночью, и, вместо того, чтобы работать, он отдался этим думам.

И снова возникло перед ним печальное серьезное лицо Варвары, и снова, не отрываясь, смотрели на него ее грустные глаза.

— Нет, это непрослительно, — сказал он себе, — думать всю ночь о какой-то девушке... Неужели может быть что-нибудь легкомысленнее?..

Да, думать о какой-то девушке, которая сейчас находится в том же доме, в котором живет он, Ростомян, в нескольких шагах от него, вои в тех комнатах напротив. Интересно — встала она уже или нет? И Ростомян посмотрел из своего окна на противоположные окна. Но никого не было видно, ставни еще были закрыты, хотя пробило уже десять часов.

Но вот ставни открылись, и лучи солнца проникли к ним в комнаты. Вон и старик в домашнем сером халате и красной турецкой феске. Он вышел, кашляя, на балкон, посмотрел вниз, направо, налево и снова ушел.

Наконец появилась и та, кого так хотел увидеть Ростомян. Уже одетая, Варвара, сидя за столом, разливала чай. Такая же грустная. А отец улыбается, смеется. Он, конечно, пытается развлечь дочь, даже издали видно, что именно это желание отражается на лице старика.

Ростомян чувствовал, что он выходит из границ приличия, наблюдая жизнь чужой семьи, однако сердце принуж-

дало застенчивого молодого человека оставаться неподвижным перед своим окном.

Минас Кириллович напился чаю, переоделся, и не прошло и четверти часа, как он вышел из дому, сопровождаемый слугой. Горничная начала убирать комнаты.

Варвара вышла на балкон, посмотрела на голые ветки акации, на крышу противоположного дома, вниз, вверх, вперед и назад и — ни разу на окна Ростомяна.

А молодому человеку так хотелось поймать ее взгляд — такой ли он, как накануне, как вчера, позавчера. Горничная убрала комнаты и вышла. Варвара вернулась к себе.

Ростомян опять сел к столу. Перо, однако, не двигалось в его руке, глаза были обращены на рукопись, а мысли парили где-то далеко.

Он встал, опять подошел к окну, и на этот раз встретил взгляд таинственной соседки. Кого она ищет, чего хочет? Не смеется ли над бедным отшельником? Нет, невозможно, чтобы обладательница таких умных глаз и грустного лица захотела над кем-нибудь поиздеваться, сделать кого-нибудь своей игрушкой. Она выше этих недостойных побуждений.

Настал час обеда. Ростомян почти ничего не добавил к своему труду с девяти часов утра. Петрэ уже два раза входил к нему в комнату и звал обедать, но у него совсем пропал аппетит. Варвары давно не было видно, но он все еще стоял, окаменев, у своего окна.

— Степан Григорьевич, не вздумали ли вы сегодня попоститься? — вдруг услышал он за своей спиной и обернулся, покраснев. — Обед стынет, пойдем, — позвала его Наталья Петровна.

За обедом Ростомян выпил три стакана вина, чего с ним никогда раньше не бывало, и это оказало на него свое действие. Он завел со своей хозяйкой, очень удивив ее этим, веселый разговор, а один раз вдруг громко засмеялся вслед уходящему из комнаты слуге.

— Что с вами случилось? — спросила вдова, еще больше удивившись.

— Петрэ сегодня кажется мне забавным, — ответил Ростомян, пытаясь сдержать бурный смех. — Знаете ли, Наталья Петровна, что он собой напоминает? Свернутый

зонтик. Голова маленькая, острая, плечи узкие, архалук длинный, полы широкие... Впрямь зонтик, закрытый зонтик... Хорошенько поглядите, вот он пришел. Ха, ха, ха...

Наталья Петровна, заразившись его смехом, тоже начала громко хохотать, прижимая салфетку к губам. Затем, отерев выступившие на глаза слезы, она выпила немного вина и сказала:

— Хотелось бы, сынок, всегда видеть вас таким веселым. Как идет к вам смех, как идет...

Они еще не кончили обедать, когда почтальон принес Наталье Петровне письмо. Она тотчас же его вскрыла. Писал Габо, по-грузински. Наталья Петровна торопливо прочитала письмо. Сын сообщал, что заканчивает учение и через два-три месяца приедет с дипломом врача.

— Поздравляю, Наталья Петровна, — воскликнул Ростомян, — и это — за здоровье Габо, — выпил он еще с полстакана темно-желтого вина.

Вдову развеселило радостное письмо, Ростомяна — выпитое вино, и они еще долго оживленно болтали. Ростомян заговорил наконец и о Варваре. Но почтенная вдова, неизвестно почему, в этот день уклонилась от разговора о девушке. Услышав имя Варвары, она вдруг впала в задумчивость, и лицо ее мгновенно изменилось. Она молча качнула головой и прикусила указательный палец. Ростомян удивленно посмотрел на нее и не решился продолжать разговор на желанную тему. Не сказав больше ни слова, он поднялся и, поблагодарив хозяйку, ушел к себе.

Вечером Ростомян вышел прогуляться, но вскоре в печальном раздумье вернулся.

Так прошло три-четыре дня. Ростомян больше не мог работать с прежней энергией. Он испытывал непреодолимое желание с кем-нибудь откровенно поговорить, открыть перед кем-нибудь душу. Быть может, это облегчило бы груз, томивший его сердце. Теперь одиночество казалось ему тяжелым, невыносимым, даже стыдным. Но куда же он мог пойти, найти близкого друга? Ведь у него, от всех далекого, не было никого, с кем он был бы сердечно связан. В Тифлисе жили некоторые из его прежних товарищей по учению, но, кроме оставшегося с тех пор обращения на «ты», у них не осталось ничего общего. Он пытался провести часть своих томительных вечеров хотя

бы с Натальей Петровной, но — удивительное дело! — она стала какой-то новой, скрытной и немногословной, особенно, когда речь заходила о ее новых квартирантах.

И по утрам и по вечерам в окнах появлялась Варвара со всегда одинаково печальным лицом. Иногда она играла на пианино, иногда выходила на балкон, иногда сидела у себя за книгой. Но из дому выходила очень редко, да и то всегда в сопровождении отца и только по вечерам.

В один из таких довольно жарких вечеров старик под руку с дочерью вышел на улицу. Какая-то внутренняя сила заставила Ростомяна последовать за ними. Он торопливо оделся и выбежал из дому. Отец с дочерью направились на Головинский проспект. Ростомян шел за ними в некотором отдалении. Прохожие внимательно рассматривали их. Почтенный вид старика, гордая самоуверенная поступь Варвары придавали незнакомой паре какую-то таинственность. Некоторые молодые люди указывали на них, подталкивая друг друга локтями.

Когда Минас Кириллович и Варвара повернули обратно, Ростомян встретился с ними лицом к лицу. Сняв шляпу, он подошел, поздоровался и присоединился к ним. Старик был в хорошем расположении духа, дочка тоже. Они похвалили тифлисский климат, голубое небо, чистый воздух. Погуляв около получаса, вернулись домой. Темнело. Старик пригласил Ростомяна к ним на чай, Варвара повзгорила приглашение, и Ростомян впервые решился пойти к соседям.

Лампы уже были зажжены, на столе кипел чистый, отливавший золотом самовар. Варвара обычно сама разливала чай, и теперь, сняв пальто и перчатки, сейчас же еще раз начала перемывать чистые стаканы. Минас Кириллович уже, по-видимому, забыл о том, что Ростомян не согласен с его взглядами, и опять начал бранить тифлисцев. Но Ростомян теперь поддакивал старику и не давал ему поводов для спора. В этой светлой комнате, в маленьком кругу почтенного старика и молодой женщины он испытывал какое-то чрезмерное счастье, такое, какого он никогда еще не знал. Старик стал спрашивать Ростомяна о его занятиях.

— Меня удивляет, — сказал он, — что вы, инженер, довольствуетесь своей скромной сидячей службой. Сейчас

инженеры на железных дорогах зарабатывают десятки тысяч.

— Я не инженер, Минас Кириллович, — ответил, улыбаясь, Ростомян, — им меня сделала Наталья Петровна.

— А какова же ваша специальность?

— Моя специальность — агрономия.

— А, — произнес Минас Кириллович тоном несколько разочарованного человека, — какое же вы, в таком случае, окончили училище?

— Петровскую сельскохозяйственную академию.

— Понимаю, вы агроном, но что же у агронома общего с четырьмя стенами комнаты?

— А куда же мне деться?

— В село, — решительно сказал старик.

— Я бы хотел поехать в село, но для этого необходима одна из трех вещей.

— Например?

— Деньги, собственное поместье или доверие богатых землевладельцев.

— И ничего этого у вас нет?

— Нет, как и у многих таких же, как я.

Минас Кириллович многозначительно покачал головой и сказал суровым тоном:

— Не говорил ли я вам, господин Ростомян, что мы еще невежественны? Скажите, пожалуйста, что произошло бы, если бы один из наших помещиков подружился с вами и предоставил вам свое поместье? С тем, чтобы вы его вели по-европейски?... Нет, братец, у нас ростовщиком быть легче, чем агрономом. Иудеи мы...

Затем старик спросил — по специальности ли он сейчас работает? Ростомян ответил, что его теперешняя работа связана с его специальностью, но — лишь теоретически. Ему поручено составить расширенную сводку данных по экономике страны.

Разговор перешел затем на другие вопросы, и Ростомян просидел у соседей до десяти часов вечера. Когда он уходил, Минас Кириллович дружески просил его почаще к ним заглядывать. Его двери для Ростомяна всегда открыты.

С этого дня Ростомян не упускал случая, чтобы навестить соседей, и заходил к ним часто, всегда, однако, в те

часы, когда отец был дома. Минас Кириллович дружил с ним все больше. Хотя они во многом и не сходились и Ростомян всегда жарко возражал старику, Минасу Кирилловичу все же нравились здравые, смелые, а порой и резкие замечания молодого человека о тех личных, общественных, порой связанных с национальными делами вопросах, в которых старик обычно выискивал какие-нибудь отрицательные стороны.

В этих разговорах и спорах участвовала и Варвара. У нее был мягкий голос и простая, свободная от притворства и фальши манера говорить. Часто старик, переставая спорить, слушал молча разговор, возникший между молодыми людьми. Конечно, в его присутствии они не могли говорить долго о предметах, не отвечавших понятиям и чувствам старика. Иногда, однако, казалось, позабыв о Минасе Кирилловиче, они касались и того, что было близко их сердцам. Так однажды вечером Ростомян заметил на столе у Варвары роман Гете «Вертер», который отец взял по ее просьбе в библиотеке, и спросил — прочла ли она уже эту книгу? Варвара только в этот день дочитала роман и находилась полностью под его впечатлением. Вопрос Ростомяна сначала несколько смутил ее, но затем она все же вкратце коснулась содержания романа. Говорить о нем долго, однако, не пришлось. Идея романа была сложна, и при Минасе Кирилловиче развивать ее было невозможно.

И как раз в этот вечер, когда Ростомян вернулся к себе, в комнату вошел Петрэ и сказал, что хозяйка просит его зайти.

Сидя на тахте, вдова в глубокой задумчивости перебирала зерна четок. Печально вздыхая, она попросила своего молодого квартиранта присесть.

— Ведь срочных дел у вас нет? — спросила она.

— Нет, — ответил Ростомян. Его удивила непривычная сдержанность хозяйки.

— Где вы были? — спросила она.

Ростомян сказал.

— Ничего нового не узнали?

Задавая этот вопрос, вдова исподлобья посмотрела на Ростомяна. Взгляд у нее был какой-то странный, и Ростомян почувствовал, что она сама хочет сообщить ему что-то новое. Наталья Петровна, пощелкивая четками, некоторое

время сидела молча. Наконец она вздохнула, выпрямилась и, поправив волосы, сказала:

— Испортился мир, Степан Григорьевич... Бедный человек, бедная женщина...

— Что случилось, Наталья Петровна? — спросил Ростомян, потеряв терпение.

— А то, что наша Варвара Минаевна не девушка...

Ростомян, ничего не поняв, изумленно уставился на вдову.

— Ведь Варвара, — продолжала вдова, покачивая головой, — замужем, венчана и разошлась с мужем...

Ростомян побледиел. Вдова, положив ногу на ногу, продолжала:

— А мы с вами думали, что она невинная девушка. Помните, Степан Григорьевич, сколько просила я вас, чтобы вы на ней жепились? Потом увидела, что вы не хотите, решила — ладно, поберегу для своего Габо. Эх, что греха таить, лгать я не умею — если бы вы даже просили, умоляли, я все равно не допустила бы, чтобы Варвара вам досталась. Я очень полюбила ее и хотела, чтобы она вышла за моего Габо. А теперь — поглядите-ка на дела господни — ни вашей она не может быть, ни моего Габо... Слава тебе, боже...

— А кто вам сказал, что у Варвары Минаевны есть муж? — спросил Ростомян, с трудом скрывая охватившее его волнение.

— Потерпите, и я понемпожку расскажу вам все. Загрустила я как-то, сынок, и сказала — пойду к ним, посижу. Пошла. Минаса Кирилловича дома не было, Варвара Минаевна сидела печальная, одна. Начали мы с нею разговаривать о том, о сем. Вдруг — слышишь ли ты, Степан Григорьевич? — обращается ко мне Варвара и говорит: «Наталья Петровна, у меня есть к вам просьба». «Приказывай, дочка», — говорю я. «Вы меня не называйте больше барышней, не считайте свободной девушкой». «Почему, — спрашиваю, — дочка?» «Да потому, что я замужняя женщина...» Удивилась я так, что сразу онемела. Потом оправилась, спрашиваю: «Жив ваш муж?» «Для других жив, для меня — умер». Потом, Степан Григорьевич, начала она понемногу мне рассказывать о своем муже. Удивляет это вас, сынок? Да кто же мог подумать, что

эта молодая, невинная женщина — и замужняя, и разведенная?..

«Так вот, значит, в чем тайна ее постоянной грусти», — молнией промелькнуло в голове у Ростомяна. Теперь он уже не думал о том, что и любопытством своим, и выражением лица открывает вдове тайну, которая до сих пор была достоянием только его души и сердца.

— Но кто же такой муж Варвары? Где он? Почему они разошлись? — нетерпеливо задавал он вопрос за вопросом.

— Слушайте, понемногу обо всем расскажу, — и Наталья Петровна стала подробно рассказывать то, что знала.

Говорила она то по-русски, то по-армянски, а иной раз в трудных местах прибегала и к грузинскому языку. В тех же случаях, когда она не находила подходящих слов, она обращалась и к мимике, так и этак изгибая свое грузное тело. Как бы там ни было, но сущность ее рассказа стала Ростомяну понятной.

Минас Кириллович и Варвара были настоящими моздокцами, хотя и жили преимущественно в Москве. Варвара — единственная дочь у Минаса Кирилловича. У нее были два брата и три сестры, но все они умерли в младенческом возрасте. А рождение Варвары стоило жизни ее матери. Лишившись пятерых детей и жены, Минас Кириллович всю любовь свою отдал Варваре. О, о, о, бедный человек, чего он только не делал для своей дочери, каких только не испытал трудностей, сколько денег истратил, пока она выросла! Но как в конце концов она сделала несчастными и его, и себя!..

Тут добросердечная вдова, разволновавшись, на несколько мгновений прервала свой рассказ. Ростомян, затаив дыхание, с нетерпением ожидал продолжения. Бедный молодой человек в эти минуты забыл обо всем на свете, душой и мыслями сосредоточившись на одном: кто был человек, удостоившийся чести стать мужем Варвары Минаевны, что отравило ее жизнь? Но добродушная вдова, не замечая его нетерпения, не старалась сокращать своего повествования.

Варвара вырастает. Отец увозит ее в Москву, занимается ей учителей — французского, русского, армянского языков, музыки, пения — разных для каждого предмета. Ей

наконец исполняется двадцать лет, но сердце ее еще невинно, и ни о чем она еще не думает. «Я так люблю своего отца,— говорит она,— что дня не могу без него прожить».

Но Минас Кириллович решает выдать дочь замуж. Он называет ей имена нескольких богатых людей, но никто из них Варваре не нравится.

Наконец отец останавливается на одном женихе. Проживающий в Москве астраханец, старик Мизандронцев, просит выдать Варвару за его племянника. Она не должна ему отказать — старик Мизандронцев холост, богат, и племянник — его единственный наследник. Вот Варвару как-то и знакомят в одном доме с молодым Мизандронцевым. С этого дня он не отстает от Варвары. Где бы ни появлялась бедная девушка, там и он: в театре ли, на выставке, в садах. Словом, преследует ее, как тень. Наконец объясняется ей в любви. Варвара говорит ему, что сейчас у нее нет желания выходить замуж. Мизандронцев не отчаивается, а старик Киришчиев принимает его с распростертыми объятиями, как уже признанного жениха. Кончается тем, что Варвара соглашается.

— Ведь бедная девушка не могла закрыть глаз, чтобы не видеть своей тени,— продолжала вдова.— Женщина, Степан Григорьевич, быстро обманывается, и особенно молодая женщина. Отцовские похвалы, просьбы, мольбы: «Непременно за него должна пойти, богатое наследство, молод, образован, за границей был... Если не пойдешь — сердце мое разобьешь, до самой смерти с тобой говорить не буду, брошу тебя... не жаль тебе меня, я и отец тебе и мать, слушай меня...» Ну, то, другое, отнимает, наконец, разум у дочери. Знаете, Степан Григорьевич, капля за каплей, а капля долбит камень... Целый год отец просит, умоляет — пойди за него да пойди... Вот бедняжка, чтобы только избавиться, и пошла за Мизандронцева, которого, говорит она, «не любила я, и не ненавидела...».

— Потом? — торопил хозяйку Ростомян, все больше теряя терпение.

— Потом, Степан Григорьевич, не рассердитесь, если я скажу, что мужчины очень, очень дурные создания. Вы хотите узнать, почему Варвара, выйдя замуж, потом уходит от мужа? Пойдите, спросите об этом у беспутных мужчин наших дней, у женатых... Аким Абросимович Ми-

зандронцев оказывается лисой. Кто мог подумать, что этот человек притворяется покорным, искренним, пока жив его дядя, чтобы тот не лишил его наследства, а получит — там... Так и вышло. Через шесть месяцев после того, как его племянник женился, одряхлевший Мизандронцев умер, все свое состояние завещав этому притворщику.

Получив наследство, муж Варвары сбрасывает лисью шкуру. Сначала он начинает запаздывать домой днем, потом — ночами. Как-то раз не приходит домой и всю ночь! «Где ты был?» — спрашивает жена. «У товарищей, — говорит, — торговыми подсчетами занимались». Хорошо. Опаздывает в другой раз — другую причину приводит. Варвара смекает, в чем дело, почему муж каждую ночь поздно является. А однажды он вдруг покидает жену — в Петербург уезжает, по делам будто бы, на целых две недели. Две недели превращаются в четыре месяца. Возвращается — продолжает прежнюю жизнь, и теперь уже возвращается домой по утрам с красными от бессонницы опухшими глазами, желтым лицом. «Как только он меня видел, — продолжала вдова словами Варвары, — опускал голову покорно, скромно, начинал мне руки и ноги целовать, могилами отца и матери клялся, что меня со дня на день все больше любит».

Как-то одна из подруг Варвары что-то в шутку рассказала ей об Акиме Абросимовиче. Варвара посмеялась, но сердце у нее заныло. На другой день услышала это от другой подруги. Варвара со стыда стала защищать своего грязного мужа перед знакомыми. А потом ей не захотелось знакомым и на глаза показываться, ей казалось, что все они про себя над ней смеются. В то же время она стала замечать, что отец становится сдержаннее по отношению к зятю, принимает его не с такою любовью, как прежде. Все выясняется. У Мизандронцева, оказывается, деньги текут как вода. Варвара бросается к отцу, выкладывает ему все свои горести. Отец делает вид, что не верит, но где там!.. Весь город уже знает о похождениях Мизандронцева. А он продолжает клясться Варваре, что любит ее, уважает...

— Ах, Степан Григорьевич, — воскликнула Наталья Петровна, горестно покачав головой, — сколько, сколько есть людей даже в нашем Тифлисе, которые дома целуют руки своих жен, а за его порогом — ноги блудниц.

Вот в один прекрасный день Варвара и говорит мужу прямо: «Аким, или похождения свои брось, или меня». Муж кается, но продолжает вести беспутную жизнь. Варвара снова просит его, но без толку. Однажды, возвращаясь в экипаже домой вместе с одной из своих родственниц, она неожиданно замечает Акима в другом экипаже вместе с какой-то русской артисткой.

— Женщина терпелива, Степан Григорьевич, — сказала вдова, повысив голос, — но ведь человек же она! Варвара приказывает кучеру отвезти ее к отцу. «Или убей меня, или позволь остаться с тобой...» «Образумься, Варвара!» — говорит ей отец, но она и слушать не хочет.

Проходит месяц, и Мизандронцев исчезает из Москвы. Все знакомые говорят — «бежал в Одессу с одной артисткой».

Проходит некоторое время, и Варвара получает от него письмо, полное хитрых измышлений. Он пишет, что виновата Варвара, что она обесчестила его имя, что он больше не может показаться в Москве. Что Варвара, если хочет, пусть сама приедет к нему, и все в том же духе. В городе начинаются сплетни. Спрашивают Минаса Кирилловича, а он не знает, что и сказать, и ото всех прячется... Варвара безвыходно сидит дома, дела со дня на день идут все хуже.

— Теперь о совести Минаса Кирилловича, — сказала Наталья Петровна, снова тяжело вздохнув. — Но что с вами, Степан Григорьевич, вы меня не слушаете?..

Действительно, Ростомян уже не слышал, что говорит вдова. Сжав зубы, бледный, с дрожащими губами, он сидел, устремив взгляд в темный угол комнаты.

— Я... ничего... слушаю... — сказал он, приходя в себя.

— Нет, вы не слушаете, извините, что надоела вам.

— У меня голова закружилась от табачного дыма. О чем вы говорили? Продолжайте, пожалуйста. Впрочем, нет, извините меня, Наталья Петровна. Спокойной ночи...

Ростомян быстро вышел, оставив вдову в полном изумлении. Он прямо прошел в свою спальню и, не закрыв дверей, не сняв одежды, бросился ничком на постель.

...Итак, значит, Варвара не девушка. Ее жизнь уже сокрушена безжалостным ударом судьбы. Вот в чем причина неразлучной печали, той мрачной тени, что покрывает

ее лицо. Это отражение неудачно сложившейся жизни, черная печать горькой участи. Да и можно ли обвинять тут судьбу или провидение, не бессмысленны ли эти слова? Варвара — жертва эгоистического каприза отца и больше ничего. Бессердечный родитель продал любовь дочери, ее судьбу. Он злоупотреблял ее преданностью, уважением и самоотверженностью. Дочь пожертвовала своим невинным сердцем эгоизму деспота-отца, и он принял такую тяжелую жертву. Для удовлетворения прихоти старика вдребезги разбита юная жизнь. Скромность и красота были отданы во власть распутника. Голубка попала в когти к ворону, протухшей падалью насыщающему свою прожорливую глотку. Добродетель осквернена ужасным преступлением.

«И кто же в этом повинен?»

Только любящий отец.

«От кого же должна потребовать возмездия опозоренная?»

От отца, только от родного отца.

Но она еще любит этого деспота, еще прощает ему его тяжелый проступок. Добродетель это или плод векового рабства женщины — рабства, уничтожившего в пассивном существе всякую волю?

Ужасны противоречия в человеке. Этот деспот еще осмеливается осуждать других, еще хочет казаться добродетельным человеком. Он еще возмущается поведением соотечественников, срамит их, утверждая, что они мешают его спокойствию, отравляют его существование. Ложное свободомыслие! Фальшивы его родительские чувства, отцовская любовь — только маска, прикрывающая уродливое варварство.

А теперь?.. Чего хочет он теперь от несчастного существа? Неужели он думает, что можно рану, нанесенную одной рукой, излечить другой? И какими средствами? Показывая ей суетный блеск мира в чужих краях? Неужели он так наивен, думая, что чистое сердце молодой женщины может удовлетвориться зрелищем одного внешнего великолепия? Нет, тысячу раз нет! Живое юное сердце — не музыкальный инструмент, который может издавать те мелодии, которые навязывает ему чужая воля, будь то воля родного отца, хотя бы безмерно любящего. Это противно природе. Старик — деспот...

— Деспот, но мое какое дело? — вскричал неожиданно Ростомян, подняв с подушки отяжелевшую голозу и касаясь рукой лба.

И вправду, кто он, по какому праву осуждает он этого старика и из-за кого? Из-за простой знакомой, из-за соседки, с которой он знаком каких-нибудь два месяца? «Какая-то соседка, простая знакомая...» Так ли это? Правда ли, что Варвара не значит для него неизмеримо больше? Ну, а те долгие беседы, дружеские споры, а ее многозначительные взгляды, улыбки, вздохи? А тема того вечернего разговора, ее скрытое волнение, вызванное бедами злополучного героя романа, положение, которое так близко его теперешнему состоянию? Погодите! Нет, нет, тут скрыто нечто более значительное, чем может показаться холодному рассудку. Но теперь уже поздно и излишне думать об этом.

— И не только поздно, но и невозможно, — подумав еще несколько минут, сказал Ростомян решительно. — Мне остается только забыть ее и вернуться к моему печальному одиночеству. Если есть еще искра во мне, надо потушить ее как можно скорее. Между мною и ею раскрылась глубокая бездна — общественные предрассудки и строгость христианской религии. Перешагнуть ли эту пропасть? Нет, она не может, а я не осмелюсь.

Он снова лег, все так же не раздеваясь. Но охладевшие на минуту мысли не повлияли на все еще пылавшее сердце. Голова его была полна рассказом хозяйки, а перед глазами стоял печальный образ Варвары. А сон, это временное успокоительное средство, все не приходил к нему.

Он долго лежал так, уставившись в потолок, пока, наконец, его не одолела дремота. Это было, казалось границей между сном и явью, на которой блуждала его душа. Он иногда открывал глаза и видел тогда на потолке круглый желтый отсвет тускло горевшей лампы, а когда закрывал их, ему представлялись другие видения. Вот Варвара. Она стоит на краю болота, скромная, чистая, невинная. Болото полно лягушками, и они непрерывно квакают. Варвара затыкает уши, чтобы не слышать эти противные звуки. Лягушки выскакивают из болота, прилипают к ее ногам, к чистым полам платья. Ростомян с омерзением смотрит на них издали. Он знает, что это сон,

хочет проснуться... и просыпается. Где он? В своей комнате, на своей постели. А тот круглый желтоватый кружок — это отблеск его лампы.

Он опять закрывает глаза, и опять стоит у болота. Он видит Варвару, подходит к ней, обнимает, старается увести ее от болота. На этот раз он слышит голос Минаса Кирилловича — он где-то позади Варвары. Ростомян снова приходит в себя и открывает глаза...

Дневной свет уже пробился в комнату.

— Самовар принес, — слышит он знакомый голос. — Дайте-ка, сниму с вас башмаки, почишу.

Это был Петрэ. Он наклонился, чтобы снять с него ботинки. Только теперь Ростомян заметил, что уснул одетый. Петрэ, вероятно, смеется над ним. И он на самом деле смеялся. Ростомян не ошибался...

5

— Довольно, Варя, дорогая, довольно нам странствовать из города в город, из края в край. Ты должна позабыть прошлое. Ведь знаешь, что у меня на земле, кроме тебя, другого утешения нет. Ты видишь мои волосы? Ведь я, слава богу, не так еще стар, но вот, погляди, как поседел за последние два года. Двадцать первого июня мне только пятьдесят пять лет исполнится, а все думают, что мне свыше семидесяти пяти. Что тому причиной? Горести мои, и во всех этих горестях — ты, твои беды. С восемнадцати лет до тридцати пяти я бедствовал, но все-таки раньше времени не постарел. И жил самостоятельно, и учился самостоятельно, потом своим деньги зарабатывал. Обеднел, опять разбогател, имя себе создал... Эх, что и говорить, через тысячи испытаний прошел, но никогда так, как теперь, не страдал. Пятерых детей, пятерых красивых, один лучше другого, детей и двадцативосьмилетнюю молодую жену схоронил. Правда, тяжело было, но так — никогда... По чьей же вине? По твоей! Ты несчастна, несчастен и я. Вот сейчас ты, Варя, себя не жалеешь, что с тобой поделаешь — не жалей, но хотя бы меня пожалела. Ах, Варя, сердца нет у тебя, иначе разве ты позволила бы мне так тебя упрашивать?..

Произнеся последние слова, Минас Кириллович взволнованно зашагал по комнате. Потом он снова остановился перед дочерью и, слегка наклонившись к ней, продолжал, понизив голос:

— Разве же я не знаю, что виноват он, что он грязный, подлый человек. Но, что поделать — хорош он или плох — твой он, ты должна таить свои горести. Прощения просит, умоляет, клянется, что отныне у ног твоих лежать будет, головы не поднимет. Варя, душа моя, убийц милуют, неужели ж Мизандронцев хуже убийцы? Не веришь, на вот, прочти, поверишь.

Минас Кириллович расстегнул верхнюю пуговицу сюртука, вынул из кармана надорванный конверт, из него письмо и положил на стол перед дочерью.

— На, прочти, Варя, прочти. Это не первое письмо, да, должно быть, и не последнее. Сейчас он в Москве.

Варвара не взяла письма, даже не поглядела на него. Опершись о стол, она смотрела из окна во двор. Минас Кириллович в ожидании не сводил боязливых глаз с ее печального лица. Но Варвара не шевельнулась.

— Я боюсь злых языков, боюсь сплетен,— по-прежнему тихим голосом продолжал Минас Кириллович.— Я думал, что в Тифлисе нас оставят в покое, но... и здесь слышали, и здесь болтают. Вчера я встретил одного из своих знакомых. Спрашивает, что мы с тобой здесь делаем. Я ничего не мог ему ответить. Но было видно, что он и так знает, слышал обо всем. Поверь, Варя, дорогая, я в десять раз больше, чем ты, страдаю. Почему? Потому что... Эх, оставим... Воля божья была, не воротишь прошедшего. Теперь остается только, чтобы ты заткнула наконец рот врагам, друзьям, родственникам, знакомым. Должна примириться, Варя, должна примириться и взять отныне вожжи в свои руки...

— Вожжи в руки?..— с горькой улыбкой переспросила Варвара.

— Да, ты сможешь, я уверен, что ты сможешь.

— Ах, папа, папа!

— Неужели ты мне не веришь, Варя?

— Я устала верить, папа, и мне очень больно, что вы верите сейчас его словам. Зачем мне читать его письма? Я и так знаю, что он пишет. Но скажите сами, папа, в который это раз он кается, и сколько уже раз простила я

его? И что же — сдержал ли он хотя бы раз свое слово?

— Прости его еще раз, Варя, еще раз, для меня, понимаешь... для меня...

Варвара, все еще смотревшая во двор, обернулась к отцу.

— Простить, папа, простить?.. Что простить?.. — воскликнула она горько. — Неужели он может освободиться от болезни, которая навеки вошла в его кровь и плоть? Вы не знаете его, папа, и я жалею, что вы снова обманываетесь его словами. Я смогу его обуздать, я?.. Нет, папа, это выше моих сил. И какая была бы польза, если бы я даже сумела его обуздать, какая польза, раз жизнь для меня все равно будет мучением? Не ребенок же он, и я не мать, чтобы день и ночь следить за ним, каждый день, каждый час, не спускать с него глаз, чтобы он не сделал ложного шага. И ради кого я должна буду так терзаться? Ради Мизандронцева, которого я ненавижу, который мне противен? Даже увидеть его было бы для меня страданием. Нет, не принуждайте меня, папа, я хорошо его узнала. Я хотела, чтобы он жил своим умом, делал то, что подсказывают ему его сердце и разум. Я хотела, чтобы он сам руководил своими чувствами, не давал воли своим слабостям. Не вышло, он делал только то, на что был способен. Дайте и мне делать то, что я могу.

— Умно говоришь ты, Варя, очень умно. Я знаю, где ты научилась всему этому. Очень может быть, что все прочитанные тобою книги говорят так, но, Варя, книги говорят одно, жизнь — другое. Неужели ты не понимаешь, что есть общество, есть болтуны, есть враги и друзья?

— Папа, я согласна с вами, я знаю, что в обществе обо мне сплетничают. Но разве оно имеет право требовать, чтобы я снова вернулась в тот ад, из которого бежала?..

— Ты хотя бы меня пожалела, Варя, дорогая, видишь? — сдвоенным голосом ответил Минас Кириллович, опять подняв руку к своей поседевшей голове.

Варя отвернулась, чтобы скрыть слезы. Отец продолжал свои увещания.

— Если бы все знали истинные причины и потом уже судили, я бы не томился так, пойми, Варя. Но кого из них уверишь, кого, что Мизандронцев дурной человек, что виновен только он, что он ногтя твоего не стоит? Кто

поверит этому, кто? Ты говоришь, что общество не имеет права принуждать тебя вернуться в ад. Понимаю тебя, Варя, хорошо понимаю. Но кого ты можешь убедить, что никто не имеет права вмешиваться в чужие семейные дела? Общество говорит: вот веление божье, вот христианские заветы и людские законы — подчинись им, не имеешь права не подчиняться. Ты женщина, говорят они, и ты должна по церковным законам жить с человеком, с которым повенчана. Вот, Варя, чего требуют люди, и ничего другого, ничего не хотят слышать: ты ли виновата, виноват ли Мизандронцев — для них безразлично.

— Довольно, папа, мне очень больно, что вы из-за меня так страдаете. Ах, если бы и я, как все мои сестры и братья, умерла ребенком или совсем не родилась! Хотя бы сейчас бог освободил вас от меня...

— Молчи, Варя, этими словами ты еще больше огорчаешь меня...

Минас Кириллович снова начал взволнованно ходить взад и вперед по комнате. В течение нескольких минут отец и дочь молчали, потом отец снова начал убеждать ее, но когда увидел, что Варвара молчит, объявил, что сегодня намеревается ответить Мизандронцеву сам. Пусть Варвара поскорее скажет, если она не хочет написать сама, — пусть только скажет, Минас Кириллович сам сообщит Мизандронцеву.

— Я никогда ему не напишу, — решительно ответила Варвара.

— Тогда напишу я, — сказал Минас Кириллович.

— Напрасно.

— Что же мне написать ему, скажи! — закричал старик, потеряв терпение.

— Ничего.

— Невозможно. Я напишу, что ты согласна помириться.

— Папа! — воскликнула Варвара. Голос ее звучал умоляюще.

Минас Кириллович, взяв стул, сел рядом с Варварой и заглянул ей в лицо.

— Варя, прости, — сказал он, понизив голос, — у тебя нет матери, я для тебя и отец и мать, скажу прямо. Без супруга, Варя, жизнь человека — не жизнь, понимаешь? Для мужа и для жены бог установил законы, пони-

маешь?.. Варя, ты молода, тебе только что исполнилось двадцать шесть лет.

— Довольно, папа, я не слабое создание, не говорите больше об этом... — едва слышно прошептала Варвара, закрыв лицо руками.

Минас Кириллович вскочил с места.

— Варя, прошу тебя, ее именем прошу, — сказав это, он показал на портрет покойной жены.

Варвара снова закрыла лицо руками, чтобы скрыть слезы, блестевшие в ее глазах, и ничего не ответила. Увидев, что на дочь не подействовало даже имя покойной матери, старик пришел в отчаяние.

— Варвара Минаевна, — произнес он в сердцах, — в конце концов — я отец, вы моя дочь; обязаны вы уважать мою просьбу или нет?

Обращение на «вы» означало, что старик очень сердит.

— Папа, убейте меня, но не заставляйте его видеть, — сказала Варвара, в отчаянии сжимая руки.

— Неблагодарная дочь, вы меня оскорбляете! — закричал старик, сильно топнув по полу ногой.

— Отец!..

— Молчи, дерзкая!..

Но упрямая дочь не могла больше сдерживать свои чувства.

Она вскочила со стула, шатающимися шагами подошла к дивану и, ничком упав на него, громко разрыдалась.

— Знаю, я вам в тягость, — сдавленным голосом говорила она. — Но дайте мне время... Я найду себе службу... Стану учительницей... Шить научусь... Стану жить трудом своих рук, только, бога ради, не заставляйте меня вернуться к нему... Я прихожу в ужас. Я не могу хладнокровно вспоминать дни, проведенные с ним... Нет... Невозможно... Это выше моих сил... Я не могу помириться.

Минас Кириллович, окаменев, слушал горькие слова, вырывавшиеся из наболевшей груди дочери. Он знал, что это не пустые слова, что дочь способна сделать то, что говорит. Рыдания заглушили голос Варвары. Старик вдруг безнадежно махнул рукой, и сердитое выражение мгновенно слетело с его лица. Глубокая родительская любовь бо-

ролась в нем с чувством честолубия. И победила любовь. Отец быстрыми шагами подошел к дочери и обнял ее.

— Варя, Варенька, не надо, ты же не ребенок, не плачь... Довольно, ты же знаешь, что я не могу видеть твоих слез... От них может прослезиться и бедная мать твоя в своей могиле. Встань, Варенька, прости меня, ты видишь, я больше ничего не говорю. Я тягочусь тобою? Никогда! Кто же у меня остался на этом свете, чтобы я лишился и тебя?

Он осторожно приподнял голову дочери, обнял и запечатлел несколько горячих поцелуев на ее лбу и полных слез глазах.

— Успокойся, детка, видишь, отец твой умоляет тебя. Хорошо, что поделать, потом сама все обдумаешь и сделаешь то, что подскажет тебе твой разум. Ну, пойдн, умойся холодной водой. Не то голова разболится, ты очень нервна, заболеешь...

Варвара отерла слезы, спокойно высвободилась из объятий отца и, встав с дивана, снова печально села на стул.

— Так, моя дорогая, успокойся, не враг же я тебе, чтобы желать тебе зла. Нет, Варвара, ты меня еще не знаешь.

После этого волнующего разговора Минас Кириллович на некоторое время оставил дочь в покое и ничего не говорил о Мизандронцеве. Но Варвара заметила, что с этого дня отец стал более задумчив, хотя его отношения с нею и не изменились. Старик только чаще, чем раньше, выходил из дому и мало-помалу стал уговаривать выходить с ним и Варвару. Он не мог оставаться дома один, и даже газеты, как прежде, не развлекали его. Он любил говорить с Варварой о своем прошлом, рассказывал о разных происшествиях дней своей юности, о том, как он со своим небольшим образованием постепенно продвигался вперед, как сам себе силой пробивал дорогу в жизни. Сначала он работал простым писцом, потом приобрел небольшой подряд, постепенно разбогател, потом разорился, но снова, с божьей помощью, поднялся. Рассказывал о том, как из собранных ста рублей половину потратил на свою свадьбу, другую — на продолжение торгового дела. О том, как все

тогда любили его, помогали ему поднять свой деловой авторитет — сначала в Моздоке, а потом и в Москве. Семейные несчастья — преждевременная смерть детей и жены — привели его в отчаяние. Он бросил дела, перестал добывать деньги. Теперь он не так богат, но на что ему богатство? У него в Моздоке два дома и дохода с них достаточно, чтобы он мог, не работая, жить вдвоем с дочерью, если бы только дочь...

Но тут Минас Кириллович умолкал. Иногда он уходил к вдове один и долго просиживал у нее. Варвара чувствовала, что он всеми своими горестями делится с Натальей Петровной, так как от нее Минас Кириллович всегда возвращался с облегченным сердцем, с веселым лицом.

6

В этот день Ростомян, сидя за своим столом, напрасно пытался заглушить работой тяжелые переживания. После злополучной ночи он потерял покой. Напрасно решил он, выслушав рассказ Натальи Петровны, положить конец своей душевной борьбе, напрасно поклялся навеки позабыть о Варваре: образ молодой женщины неразлучно преследовал его как тень всюду и всегда. Он больше не чувствовал в себе ни сил, ни желания работать и не мог нигде усидеть спокойно. Он то и дело выходил на балкон или уходил из дому, но скоро возвращался. Изю дня в день в нем росло и крепло одно только желание — как-нибудь, где-нибудь встретиться с Варварой наедине. Он надеялся, что у него хватит смелости поговорить с несчастной женщиной о ее теперешнем положении и утешить ее своим искренним «братским» сочувствием. Это было все тем же слепым самообольщением молодости.

Но где же Ростомян мог увидеть Варвару с глазу на глаз? Навестить ее, как только отец уйдет из дому, было бы дерзостью, так, по крайней мере, ему казалось. В течение дня он по нескольку раз видел на балконе Варвару, как всегда печальную, задумчивую. Не думает ли она положить конец своему двойственному положению? Не думает ли, что совершила слишком смелый шаг, не считаясь с предрассудками общества, или, может быть, уже пожалев

о совершенном, намерена вновь надеть на шею ненавистное ярмо?

Поглощенный этими мыслями, Ростомян однажды, возвращаясь домой, встретил на Дворцовой Минаса Кирилловича. Старик стоял перед одним из магазинов.

— Здравствуйте, сосед, — сказал он Ростомяну, протягивая руку. — Я вот это читал, — добавил он, указывая на какое-то объявление, выставленное в витрине магазина. — Завтра с благотворительной целью устраивается концерт. Хочу взять билет для Варвары — великий пост, театров нет, а она очень любит музыку. Вы не пойдете?

— Пойду, — машинально ответил Ростомян, не думавший ни о каком концерте.

Они вошли в магазин, где обычно продавались билеты на благотворительные концерты. Старик взял для себя и дочери два кресла в первом ряду, Ростомян — один из задних стульев. Когда они, купив билеты, уходили, господин, продававший им билеты, на минутку задержал Ростомяна.

— Кто этот старик? — спросил он с любопытством.

Ростомян назвал фамилию соседа.

— Он не из Моздока?

— Да, из Моздока.

— А-а-а... — протянул продавец билетов и, обернувшись к двум краснолицым господам, стоявшим в магазине, сказал: — Не говорил ли я, что это тот самый Киришчев?

Избегая излишних вопросов, Ростомян быстро вышел на улицу. «Конечно, отец и дочь стали предметом разговоров в Тифлисе, любящем сплетни», — сказал он себе, догоняя Минаса Кирилловича.

На другой день вечером Ростомян, после небольшой прогулки, вошел в помещение Общественного собрания, где должен был состояться концерт. Зал уже был полон, но Минаса Кирилловича и Варвары среди многочисленной публики еще не было видно. Концерт начался. На сцену вышла какая-то полная дама и что-то довольно долго играла на пианино. Было тесно. Многие стояли. Кто со скучающим лицом, кто зевая, кто делая вид, что это доставляет ему большое наслаждение, слушали игру. А Ростомян и не слушал и не смотрел на сцену. Он все время оглядывался то направо, то налево — на входные двери.

Наконец из первых дверей слева вошла Варвара, за ней — отец. Прибираясь среди столпившейся у входа публики, они пытались пройти на свои места. На Варвару сейчас же обратили внимание, дамы и барышни, сидевшие в первом ряду, направили на нее свои бинокли.

Что играли и кто играл, Ростомян так и не понял. Он с нетерпением ожидал антракта, не спуская глаз с кресел, где сидели отец и дочь. Однако множество голов мешали ему их увидеть.

Но вот первое отделение концерта окончилось. Публика рассыпалась по соседним залам. В одной из них Ростомян встретил Киришчиевых.

Минас Кириллович любопытствующими глазами осматривал собравшихся. Рядом с ним стояла Варвара. Ростомян подошел, поздоровался и стал ходить с ними по залу среди многолюдной толпы. Когда они вошли в столовую Собрания, старик Киришчиев куда-то исчез.

Когда Ростомян остался вдвоем с Варварой, им овладела обычная застенчивость. Обменявшись с нею несколькими пустыми фразами об игре и исполнителях, он умолк. То ли потому, что она была незнакома тифлисцам, то ли потому, что уже всем была известна ее семейная драма, или почему-либо еще, но Варвара привлекала всеобщее внимание. И это еще больше смущало Ростомяна. Он старался не замечать любопытных глаз, обращенных на них со всех сторон. На всех языках только и слышалось:

- Вин арис?
- Кто такая?
- Овэ?
- Вад чэ!¹
- Наоборот, хороша!
- Мне нравится.
- Ничего особенного!

Вот что без конца слышал Ростомян. Среди публики появилась дочь Натальи Петровны — Като. Ростомян поздоровался с нею издали и, забыв, что он не в шляпе, машинально потянул руку к голове и смутился. В ответ на приветствие Ростомяна и вежливый, гордый поклон Варвары Като еле-еле шевельнула своей маленькой надменной головкой.

¹ В и н а р и с — по-грузински — кто такая, о в э — то же по-армянски, в а д ч э — недурна — по-армянски.

Несколько знакомых Ростомяну молодых людей, далеко не всегда с ним здоровавшихся, теперь старались привлечь к себе его внимание. Они останавливались, кланялись и, казалось, собирались завязать бесцеремонно разговор. Варвара оставалась совершенно безразличной как к окружающему обществу, так и к полным любопытства глазам. Холодно, невозмутимо, гордо подняв головку, она прохаживалась с Ростомяном, задавая ему несвязные вопросы о Тифлисе. Вдруг она остановилась в одном из углов зала, где никого не было, и неожиданно спросила:

— Отчего вы сегодня так грустны, господин Ростомян?

— То же самое я собирался спросить у вас о вас самой.

— Обо мне?

— Да. И не сегодня только вы печальны, но, простите, всегда. Мишас Кириллович вчера сказал, что вы любите музыку и общество, а я вижу обратное.

— Общество... Да, любила когда-то...— ответила Варвара грустно и, отвернувшись, добавила едва слышно: — Это было давно.

В эту минуту мимо них прошли новомодно одетый молодой человек с другим лысым, некрасивым тифлисем. Они цинично осмотрели Варвару и удалились, смеясь и подталкивая друг друга. Ростомян узнал лысого. Это был муж Като, зять Натальи Петровны.

— Довольно любопытны ваши тифлисцы,— сказала Варвара.

— Даже сверх меры, поэтому они и неприятны.

— Не по этой ли причине вы и держитесь от них в стороне? — спросила Варвара, улыбнувшись.— Ведь вы ведете жизнь добровольного затворника. Я в Москве была знакома с одним армянином-студентом, который совершенно так, как вы, терпеть не мог общества.

— Как я, Варвара Минаевна? Разве я говорил когда-нибудь, что терпеть не могу общества?

— Но ведь не очень-то любите? Не все ли равно, если вы и без общества можете вести полезную жизнь.

Ростомян улыбнулся и, чуть опустив голову, сказал:

— Я бы не осмелился так выразиться, Варвара Минаевна. Верно лишь то, что общество меня подавляет, я не-

привычен к нему, я теряюсь в толпе. Уверяют, что это свойственно эгоистам и нецивилизованным людям. Быть может, это и верно...

Раздался звонок. Публика лениво двинулась в зрительный зал. Буфет мало-помалу опустел. Варвара и Ростомьян медлили. Обоим хотелось остаться вдвоем и продолжать разговор. Ростомьян, немного осмелев, стал говорить свободнее и собирался намекнуть Варваре, что ему понятно ее положение. Он непременно хотел сказать ей сегодня, что ее тайна ему известна. Как любовно собирался он ободрить ее, внушить силу, защитить, оправдать ее смелый шаг... Но показался старик с его добрым, почтенным лицом. Удивительное дело: когда Ростомьян встречался со стариком лицом к лицу, он забывал о его отцовском деспотизме, который в ту ночь так безгранично его огорчил. Неужели этот почтенный, с таким добрым лицом человек может быть деспотичным отцом? Возможно ли? Ведь в его отношении к дочери столько глубокой любви и ласки. Нет, нельзя спешить обвинять этого старика, не зная подробностей происшедшего.

Войдя позже всех в зал, Ростомьян, чтобы не привлекать к себе внимания, не прошел на свое место, а остался стоять у дверей.

На этот раз играл на скрипке какой-то молодой человек. Вслед за ним вышел на сцену другой, выпятил грудь, закинул голову и начал читать стихотворение очень грустного содержания. Наконец и он, ударив себя в грудь, окинув молящим взором публику и сказав тихим голосом еще несколько слов, поклонился и ушел со сцены.

Сцена опустела, шум в зале смолк, сменившись глухим перешептыванием. Появилась высокая женщина в белом платье с двумя искусственными большими белыми цветами в волосах. Зал бурно заплодировал, раздались крики «браво». Это была довольно известная певица, приехавшая в Тифлис ненадолго и соблаговолившая принять участие в благотворительном концерте.

Один из организаторов вечера поднес певице огромный букет живых цветов. Наступила глубокая тишина.

После нескольких аккордов, взятых аккомпаниатором, певица откинула голову и устремила глаза на потолок. Ее голос зазвучал сначала как будто резко, затем мягко, гармонично, сильнее и сильнее. Из ее здоровой широкой груди

рвались металлического тембра звуки, заглушавшие пианино.

На этот раз сцена поглотила внимание Ростомяна. Сначала голос певицы не произвел на него никакого впечатления. Затем он попытался найти в этих нестройных звуках ту чарующую силу, которая в эти мгновения почти сковала слух сотен слушателей. Внезапно певица прижала руку к груди, нежно склонила голову на левое плечо и, устремив глаза в конец зала, со скорбным лицом пропела грустное: «О, ночи бессонные, горькие слезы...»

Тут Ростомян почувствовал в своей груди какое-то волнение. Казалось, певица пропела эти строфы именно для него, каждый звук этого мощного голоса рвался словно из его собственной груди.

«Бессонные ночи... горькие слезы...» — повторила певица.

И на этот раз Ростомяну показалось, что певица сама несчастна, что она оплакивает свое потерянное счастье, и он пожалел ее.

Певица умолкла. В зале снова загремели аплодисменты, раздались выкрики «браво», «бис». Певица вышла, раскланялась, публика еще громче зааплодировала и принудила ее спеть еще одну коротенькую песню. После этого, сколько ее ни вызывали, певица больше ничего не спела и только, радостно и гордо улыбаясь, раскланивалась направо и налево. Ее радостная улыбка показалась Ростомяну очень неприятной. Как... она, всего лишь несколько мгновений назад с таким чувством оплакивавшая свои «бессонные ночи и горькие слезы», вдруг смеется?.. Фальшивое вдохновение, пустое сердце!..

Концерт окончился, но вечер продолжался. Большая часть публики осталась: кто, чтобы потанцевать, кто — посмотреть на танцующих, кто — поужинать, а многие — просто так...

— Хочешь поужинать? — спросил Минас Кириллович у дочери.

— Можем поужинать дома, — ответила Варвара.

Ростомян стоял в фойе, выискивая Варвару в густой толпе.

— Степан Григорьевич, — услышал он чей-то женский голос и оглянулся. Это была Като. Она стояла у стены с каким-то молодым человеком.

— Здравствуйте,— сказала Като. На ее тонких губах играла лукавая улыбка.— Каким это ветром занесло вас сюда?

— Захотелось,— холодно ответил Ростомян.

— А где же было до сих пор это ваше «захотелось», господин Ростомян,— продолжала насмешливо Като,— ведь всю масленицу из дому не выходили? А теперь ведь великий пост, для отшельников это дни покаяния.

— Я полагаю, госпожа, что мое отсутствие — такое незначительное событие, что оно ни для кого не может быть заметно, следовательно и присутствие мое не может представлять интереса,— ответил Ростомян, внутренне раздосадованный пренебрежительными намеками Като.

— Но видите ли, меня очень интересуется ваше присутствие здесь. Где же ваша дама?

— О ком вы спрашиваете?

— Будто не понимаете... Я о вашей соседке спрашиваю... Как это ее фамилия?.. Погодите-ка, погодите, я многих имен не запоминаю, но фамилия... ах, мадам, мадам... господи, как фамилия ее мужа?.. Ах да, мадам Мизандронцева... А, вот и она со своим отцом. Пойдемте-ка к ним, они, видно, без Степана Григорьевича скучают.

Но Ростомян не пошел за нею. Като, оставив его, сама подошла к молодой женщине, потянув за собой и своего кавалера. Это был тот самый новомодно одетый молодой человек, который во время антракта прошел мимо Варвары, искоса на нее поглядывая и посмеиваясь.

Поздоровавшись с Миной Кирилловичем и «мадам Мизандронцевой», Като справилась — не скучают ли они на «великопостном» вечере? Модно одетый молодой человек стал вмешиваться в разговор, пытаясь обратить на себя внимание Варвары разными манерными позами: он выпячивал грудь, гримасничал, бесконечно подкручивал тоненькие усики. Он жаждал познакомиться с приезжими, но «безжалостная» Като оставила без внимания его немую мольбу, и молодой человек так и не достиг своей цели. Особенно же он рассердился, когда к ним подошел муж Като и она познакомила его со стариком и Варварой. Дочь нехотя протянула ему кончики пальцев, а старик, хотя и пожал ему вежливо руку, но тоже со скрытой неохотой. На обоих супруг Като произвел с первого же взгляда неприятное впечатление.

Като спрашивала у Варвары, как ей понравилась известная певица, предварительно, однако, выразив о ней отрицательное мнение с тем, очевидно, чтобы продемонстрировать тонкость своего «художественного» вкуса. Молодой человек, увидев, что Варвара не обращает на него никакого внимания, удалился. Он подошел к какой-то не то даме, не то девушке и, улыбаясь, смеясь, рассыпался перед нею в сладчайших комплиментах. Като посмотрела на него, прикусила кончик веера и, оставив Варвару, подошла к нему. А за Като поспешил и ее супруг...

— Не скучаешь, Варя? — спросил Минас Кириллович.

— Пока нет.

— Очень рад.

Подошел Ростомян, и они втроем прошли в гостиную, убранную в восточном вкусе. Старик направился в соседнюю с гостиной читальню, снова оставив Варвару с Ростомяном.

Варвара села на один из турецких диванов. Недалеко от нее сел и Ростомян. В зале танцевали, оттуда доносились звуки пианино и топот танцующих. В гостиной, кроме стариков, завсегдатаев Собрания, было и несколько молодых женщин и мужчин.

Появился опять муж Като, на этот раз один, и опять прошел мимо Варвары и Ростомяна. Ростомян отвернулся, думая, что он собирается подойти к ним. Но муж Като остановился в нескольких шагах, сделав вид, что рассматривает картину, написанную маслом прямо на стене.

Варвара казалась довольно веселой. Она начала делиться с Ростомяном впечатлениями от концерта. Ростомян слушал ее как будто внимательно, но мысли его были заняты только судьбой собеседницы. Иногда он с досадой поглядывал на мужа Като, который незаметно подходил к ним все ближе и ближе.

— Как долго этот человек смотрит на картину, — заметила Варвара, невольно обратив на него внимание.

— Ах, он вовсе не смотрит на картину, Варвара Минаевна, — сказал Ростомян.

— Но зачем же он стоит там? Посмотрите, он приближается к нам.

— Приближается, и знаете зачем?

— Зачем?

— Чтобы подслушать наш разговор.

— Неужели его могут интересовать чужие разговоры?

— Самого его — не думаю, но он подослал женой.

— Женой?..

— Да.

— Значит, муж Като шпионит за нами?..

— Как видите, да, — ответил Ростомян. — Он преданный муж, — добавил он, тотчас воспользовавшись возможностью хотя бы на шаг приблизиться к желанной теме.

— Бог с ним, пускай себе шпионит, но что может он выведать?

Разговор на несколько мгновений прервался.

— Хотя у него есть право... — вдруг проговорила Варвара, — я достойна сплетен.

— Почему? — спросил Ростомян, делая вид, что не понял ее слов.

— Я, господин Ростомян, покинула законного мужа, и обо мне везде сплетничают...

В эту минуту муж Като придвинулся еще на шаг ближе. Но Варвара и Ростомян говорили не так громко, чтобы он мог что-нибудь услышать. Настала та минута, когда Ростомян мог без помех высказать Варваре свои мысли. Но он вдруг потерял самообладание и не сумел сказать ей то, что продумал в минуты сравнительного спокойного душевного состояния. Он едва мог только вымолвить:

— Пусть себе сплетничают, Варвара Минаевна... Да, и я слышал печальную повесть вашей жизни. Но неужели же такие люди могут понять те справедливые причины, которые руководили вами?..

Продолжить свою мысль он не смог, умолк, смутившись, и смотрел подавленно на холодное и невозмутимое на вид лицо Варвары.

Они сидели, глядя молча на сновавших мимо них людей. Из читальни вышел Минас Кириллович и, заметив дочь, подошел к ним. В зале все еще танцевали, но публика постепенно редела. Было, однако, всего двенадцать часов. Старик выразил желание уйти домой. Варвара тотчас поднялась.

— А вы остаетесь? — спросил старик у Ростомяна.

— Да, — ответил он.

Когда Варвара ушла, Ростомяну показалось, что вообще все ушли, что зал опустел. Он с большим удовольствием проводил бы Варвару, но вопрос старика: «Вы

остаётся?» — смутил его. Ростомяну показалось, что Ми-насу Кирилловичу будет неприятно, если он пойдет с ни-ми. Он вошел в столовую, которая еще была полна, сел за столик и заказал ужин, хотя ему совсем не хотелось есть.

Вернувшись домой, он заметил свет в комнате Варва-ры. Значит, она еще не спала.

Да, Варвара еще не спала. Легко поужинав, она сейчас же прошла в свою комнату.

На столе стояла, слабо светя, лампа под голубоватым абажуром. Варвара сняла абажур, прибавила в лампе све-та и стала переодеваться.

Через несколько минут она в легком домашнем платье сидела на краю постели. Ей не хотелось спать, не хотелось и читать. Ей хотелось остаться одной, и сейчас она была одна. Двери были закрыты, а окна она распахнула.

Минас Кириллович тоже уединился в своей спальне. Со двора до слуха Варвары не доходило ни звука, а тиши-на в ее комнате нарушалась только еле слышным постуки-ванием золотых часиков, лежавших на краю стола. Она посмотрела на них — был ровно час ночи. Варвара встала и начала ходить взад и вперед. Иногда она останавлива-лась посреди комнаты, иногда вдруг сильно вздрагивала, и в эти мгновения золотистые волосы, свободно падавшие ей на шею и полуобнаженную спину, перекидывались на грудь. На щеках у нее выступили необычные красные пят-на, губы дергались, в глазах загорелся какой-то внутрен-ний огонь. Это был поистине внутренний огонь, учащавший дыхание, заставлявший сильно вздыматься грудь.

Наивный самообман. Всего лишь несколько дней назад она думала, что это мимолетное чувство. А теперь?.. Теперь, казалось ей, было уже поздно, теперь она больше не в силах была сдерживать то, что с каждым днем разго-ралось в ней с такой удивительной силой.

Так скоро? Но разве она только сейчас узнала Степа-на, разве ее воображение не создало его давно? Разве она в течение годов не искала его? Не видела в мыслях своих человека с открытой душой, далекого от распутства и раз-врата, с нетронутым сердцем? «Вот он», — сказала себе бессознательно Варвара в тот день, когда «он» показывал им квартиру. И в самом деле — это был «он». Но где же он был до сих пор, почему судьба столкнула его с ней то-гда, когда уже поздно, когда она связана по рукам и но-

гам? Или провидение вновь хочет испытать ее? Неужели еще не исчерпана мера ее несчастья? Неужели недостаточны и мученья старика-отца, вызванные ею — его единственным утешением?

— Отец, чувствуешь ли ты, какие преступные чувства терзают в эти минуты сердце твоей дочери? — шептали уста взволнованной женщины.

Да, эти мысли томили ее как раз в те минуты, когда старик в своей комнате мечтал, что дочь снова примирится со своей прежней участью.

— Что?.. Чтобы я снова примирилась с Мизандронцевым? — спрашивала себя Варвара.— Никогда, никогда!..

Разве не пыталась она всячески исправить его, неисправимого, до мозга костей испорченного? Чем же кончились ее терпение, ее попытки остаться верной супружеству? Последствия оказались худшими, чем они могли быть, если бы Варвара последовала примеру тех многих женщин, которые наказывают своих неверных мужей таким же распутством. Но ведь они так ловки, они умеют сговариваться даже с собственной совестью, а она?.. Могла ли она даже подумать о такой мести, она, чьи девственные чувства никогда не диктовали ей того, с чем мирится совесть других женщин? Она предпочла дать мужу свободу, предоставить его собственной воле. Бог с ним, теперь Варвара ничего не имеет против него, пусть себе живет, как хочет. Теперь Мизандронцев может считать себя свободным даже от ее ненависти. Отныне всякая связь между ними порвана навеки.

Варвара присела на постель, но снова встала и опять зашагала по комнате, то потирая руки, то складывая их на груди.

Она знала, что Ростомян считает ее девушкой, и потому нарочно рассказала Наталье Петровне все о себе. Она была уверена, что та сейчас же перескажет Ростомяну. Так хотела она предупредить обманутого молодого человека, чтобы он перестал думать о ней.

Теперь Ростомяну известно ее положение. Она и сама сегодня вечером впервые сказала ему, что была замужем и разошлась с мужем.

— Боже мой, боже мой, неужели он не гнушается мною, моим теперешним положением? Нет, сегодня его глаза горели еще более теплой любовью, чем прежде.

Однако... правда ли, что Ростомян любит ее, а если она обманывается? Может быть, он ее только жалеет?

— Жалеть меня?.. Почему? — почти громко воскликнула Варвара.— Нет, никогда, меня жалеть нельзя, мне не нужно его сочувствия или сочувствия кого-либо другого, даже твоего, папа,— добавила она.

Отдавшись этим тяжелым думам, Варвара долго не могла успокоиться. Ночь проходила, был уже пятый час утра. Наконец нервное утомление взяло верх и она легла. Мысли путались, сон не шел, одеяло, казалось, жгло ее тело. Да и как могла заснуть женщина, счастье которой было таким близким и в то же время таким далеким...

7

Часов в одиннадцать утра Като пришла к матери. Вслед за ней с каким-то бумажным свертком под мышкой вошел муж, частный откупщик Лазарь Макарович Безирганов.

Неприятное лицо этого человека и еще более неприятные губы, здоровое кругленькое тело и розовые щски говорили о том, что он очень доволен жизнью. И уверенно можно было сказать, что главной причиной этого являлось для него счастье видеть всегда рядом со своей безобразной физиономией довольно красивое личико жены — коротышки Като.

И в самом деле, Като была для Лазаря Макаровича величайшим наслаждением его жизни. Появляться рядом с нею на улицах, в магазинах, в общественных местах и в частном кругу — вот в чем, кроме денег, заключалось для Лазаря Макаровича наивысшее блаженство. Он гордился своей женой, ее красотой (хотя такая красота далеко не всем нравилась), гордился и ее знакомыми, которых было множество. Часто, когда в обществе заходил разговор о более или менее известном человеке, Лазарь Макарович с явной гордостью объявлял:

— Моя жена с ним знакома.

Или:

— Вчера жена моя пригласила его к обеду.

Человек с незначительным и темным прошлым, ныне,

допустим, и довольно богатый, но простой торговец, Лазарь Макарович конечно должен был ценить Като, мать которой была из княжеского рода, отец чиновник, Като, умевшую петь, играть, танцевать на общественных балах с избранными «кавалерами».

Все это было счастьем, ниспосланным небом бывшему авлабарцу¹, которого одно время люди знали под кличкой «лысый Лазр^о». Да и теперь многие еще употребляли эту кличку, но, конечно, не в лицо ему, а за спиной. В противном случае виновный был бы наказан мощным язычком Като. Только она и сохраняла привилегию напоминать Лазарю Макаровичу об этой неприятной кличке. И надо сказать, что только этого было достаточно Като, чтобы заставить «Макарыча» забывать о своей, как говорила она, «природной отвратительной скупости» — забывать для исполнения капризов пресыщенной жены. Действительно, Лазарь Макарович не жалел денег на наряды и убранства жены. По этой причине даже Наталья Петровна уважала зятя, хотя и не считала его достойным своей дочери мужем, потому что, по ее мнению, Макарыч был совершенно необразованным человеком, по сравнению с «образованной» Като.

В Тифлисе бедные вдовы часто живут за счет богатых зятьев. В этом отношении Лазарь Макарович был совершенно спокоен. Наталья Петровна не нуждалась. У нее, как мы уже знаем, был унаследованный от мужа дом, на доходы от которого и она и сын жили. Не хотела она и ронять своего достоинства перед зятем. Достаточно было, по ее мнению, того, что Като вышла замуж без приданого — трудного дела в таком, как Тифлис, городе, где зятя, в полном смысле слова, добывают деньгами. Поэтому, часто нуждаясь в деньгах, вдова предпочитала призанимать их у Ростомяна, всегда с радостью дававшего ей в долг, чем у Лазаря Макаровича, который, прежде чем протянуть руку к карману, целую минуту думал, нахмуря брови.

— Добро пожаловать,— встретила вдова зятя на балконе.

— Вот пришел, наконец, небось скучали без меня?— сказал Лазарь Макарович и наклонился, чтобы поцеловать мягкую руку тещи.

¹ Авлабар — один из районов старого Тифлиса.

— Как же, как же... Когда приехали?

— Третьего дня.

— Хорош зять,— упрекнула его вдова,— третьего дня приехал, а только сегодня вспомнил!

— С дороги устал я, а вчера Като пристала — идем на концерт: вы же знаете, Наталья Петровна, что я Като послушаться не могу. А вчера днем дел по горло было. Правду я говорю, Като?

— Правду. Но, послушай-ка, мама, какие мы для тебя новости со вчерашнего концерта принесли. Погоди-ка, расскажу. Лазро, развяжи-ка сначала сверток, покажи маме попку, поглядим, понравится ли ей.

Лазарь Макарович отер платком лысый лоб, потом развязал сверток и торжественно протянул Наталье Петровне кусок шерстяной ткани.

— Какая хорошая, иф, иф, иф!..— воскликнула вдова, рассматривая на свет тонкую, светло-гвоздичного цвета материю, разукрашенную цветочками.

— Лазарь Макарович Безирганов для своей Като никогда плохого не купит,— сказал хвастливо зять и потянулся было ущипнуть жену за щеку, но, постеснявшись тещи, отвел руку.

— А кто будет шить? — спросила вдова.— Скоро канун пасхи, швейки сильно загружены.

— Большая мне забота, что они загружены,— пренебрежительно сказала Като.— Будь здоров Лазро, в два, в три раза больше заплатит, и какая хочешь в несколько дней сошьет!

— И в два, и в десять раз больше заплачу, Като-джан,— сказал Лазарь Макарович. Он весело улыбался, но внутренне был недоволен.— Для кого же я деньги зарабатываю, чтобы их жалеть? Ты вот то скажи, что забыл я для тебя из Батума хорошие вещи привезти.

— Ты всегда забываешь,— язвительно сказала Като.

— Э-э, а какие же новости принесли вы с концерта? — с любопытством спросила вдова.

— Да, позабыла,— сказала Като, таинственно покачав головой.— Новости, да такие еще, мама, садись, расскажу.

Вдова и Лазарь Макарович, до сих пор стоявшие, сели в кресла: Макарыч — рядом с женой, вдова — напротив.

— Ты мне сначала, мама, скажи — твоего жильца этого, твоего хваленного кинто, как зовут?

— Степан Григорьевич... Ты сто раз спрашивала, Като.

— Я тебе говорила, мама, что имен таких кро я в памяти не держу. Очень мне это нужно! Э-э, ну, как этот твой Степан Григорьевич, хорошо себя чувствует, рад?

— Чему?

— Гм...— произнесла Като, загадочно глядя на мать,— стало быть в хорошем настроении, да?

— Э, да говори же, раз пришла сказать, чего ты хитришь? — воскликнула вдова нетерпеливо.

— Скажу. Влюбился он, этот твой хваленый кро.

— Кто? Степан Григорьевич? В кого?.. — удивилась вдова.

— В кого?.. Да вот в ту, от мужа сбежавшую... как ее, бог мой? Да, в мадам Мизандронцеву.

Вдова посмотрела на дочь вопросительно.

— Удивляешься, мама? Своими глазами видела, сама слышала. Не говори после этого, что у Като язык злой. Слушай. Вчера они — отец и дочь — были на концерте. Был там и твой затворник. Я и Лазро сидели во втором ряду, у стенки. Та, от мужа сбежавшая, сидела вместе с отцом в первом ряду. А этот, твой хваленый, позади нас, несколькими рядами дальше. Он смотрел на нее, она — на него, и ничего из концерта не слышали. Я и Лазро смеялись. Правду я говорю, Лазро?

— Правду, правду,— подтвердил Лазро.

— Ну, и что же, что смотрели? Что тут любовного? Ах, Като, Като,— с укором покачала головой вдова.

— Мама, ты послушай сначала, а потом уж меня брани. Ведь так и влюбляются. Не могли же они на стольких людях друг другу на шею броситься. Потом... Потом долго вместе прогуливались — дочка от отца убегала. Говорили, бог мой, говорили весь вечер... Глаза у обоих горят... красные... Вру я, Лазро, не говорили?..

— Мно-ого,— протянул Лазро.

— Я говорю Лазро: «Лазро, пойдй, постой около них, послушай тайком, о чем они говорят». Ну, пусть теперь Лазро сам расскажет, что он слышал...

— Э, оставь их бога ради в покое, Като, какое нам до них дело,— сказал Лазарь Макарович.

— Я тебя спрашиваю, отвечай! — рассердившись, крикнула Като.— Что ты слышал?

— Ничего...— шутливым тоном ответил Лазро.

— Как, ничего? Ты что с ума сошел? — воскликнула Като, грозно поглядев на мужа.

— Я, Катюша, хотел сказать, что ничего умного не слышал, чепуху разную несли.

— А тебя кто спрашивает — умные они говорили вещи или неумные? Скажи, что слышал.

— Скажу, ладно, скажу... погоди... забыл, Като, ей-богу, забыл.

— Ах, а не ты разве мне говорил, что слышал как один из них сказал: «Не жизнь, а мучение», а другой — «Я отказалась от мужа... уйдем, удалимся отсюда» и все, все такое? Не ты ли, Лазро, говорил, что они друг другу руки тайком пожимали? Ну, что же случилось с тобой, что ты забыл?

— Разве же я это говорил? — спросил удивленно Лазарь Макарович.

— Значит я говорю неправду?..

— Жизнью твоей клянусь, Като, не помню. Ну, да все равно, говори, что влюблены и дело с концом...

— Ты глуп, Лазро, очень глуп, всегда забываешь нужные вещи. Но — ты забыл, не забыла я. И я своими глазами видела, и ушами слышала, что они делали и о чем говорили. Какая мне выгода обманывать маму? Да, что я хотела сказать, — продолжала Като, давая полную свободу своему воспаленному воображению, — да, мама, то, что ты рассказала мне, я пересказала мадам Сазандаровой, а она — жене своего брата, а там — одна другой, одна другой, все и начали на них смотреть. Кто только не смеялся над этим твоим квартирантом, хотя многие и не знают его. Бедняга так невоспитан, что даже держаться в обществе не умеет, то и дело натывается на людей. То тот, то другой, смеясь, говорят мне: «Этот квартирант вашей матери, кроме той, с кем ходит, никого не видит, влюблен». Ну, скажи, мама, сама, что произошло с этим парнем, который даже раз в году ни на какие зрелища не ходил, а теперь не может дома сидеть? Влюблен, поверь, ей-богу, влюблен, да и она в него, — оба влюблены. Но в кого же он влюбился, в кого, храни нас боже!.. Было бы у меня право, повесила бы таких тотчас, — добавила Като.

— Я бы не повесил — сам бы своими пальцами задушил! — поддержал ее Лазарь Макарович.

— Жена бросила мужа — мало, сбежала — мало, теперь приехала в чужой город и хочет другого окрутить, чтобы потом и его бросить и сбежать?.. Что хочешь, говори, мама, но я никогда не думала, что женщина может так развратиться.

— А тем более мужчина, — добавил верный Лазро.

— Ну, мужчину, скажем, еще не обвинишь так, но женщину... Тю! — воскликнула Като.

— Верно, — подтвердил муж.

— Негодяи!..

— Негодяи, — повторил Лазарь Макарович.

— После всего этого я не подам им руки, ни одному, мама, даже если ты будешь на меня сердиться.

— И я, — присосдинился к решению жены преданный муж.

— И рож их видеть не хочу... — добавила Като.

— И я, — повторил «лысый Лазро», шаг за шагом следуя за женой.

— Погодите, погодите, — вмешалась наконец изумленная Наталья Петровна. — Зачем ты так спешишь, Като? Быть может, понапрасну подозреваешь? Они, очень может быть, вели себя просто как знакомые. Что бы там ни было, я все-таки не верю, — ни Степан Григорьевич, ни Варвара Минаевна не могут делать глупостей.

— Почему не веришь? Откуда ты их знаешь?

— Что, я Степана Григорьевича не знаю? Четыре года он у меня живет. Нет, Като, я его хорошо знаю, он очень умный человек, образованный. И оба они понимают что хорошо, что плохо. Они таких вещей не могут делать, Като, ты ошибаешься.

— Ха-ха-ха!.. — от всей души расхохотался Лазарь Макарович. — О б р а з о в а н н ы й, ха-ха-ха!.. Ах, Наталья Петровна, вы не знаете, что в наши дни все, что только есть плохого, все образованные делают. Вот, например, Гургенян, — знаете небось? Слышали? В Тифлисе нет такого другого ученого, образованного человека. Ну, скажите, пожалуйста, зачем же он у всех на глазах сделал то дело?.. Почему людей не постыдился? Эх, мама, стыд и совесть еще только у таких, как я, простых невежественных людей есть, а у образованных и стыда-то на лице не осталось...

Случай, о котором говорил Лазарь Макарович, был известен вдове, и она не возразила, но своих квартирантов от нападения дочери и зятя она все-таки решила защищать.

— Вы понапрасну считаете Варвару виноватой в том, что она ушла от мужа,— сказала она после довольно долгой паузы.— Я ведь тебе говорила о причинах, Като. Что ей было делать, бедной, если Мизандронцев был хуже зверя?

— Врет,— разгорячилась Като,— врет! Ну, скажем, дурным был человеком Мизандронцев, но не убивал же он жену? Много жен есть, которым не нравятся их мужья, так, значит, по твоему мнению, все они должны на них плюнуть и бежать к своим родителям? Ну, что из этого выйдет?

— Правильно, Катюша, — снова вмешался Лазарь Макарович,— совершенно правильно, человек должен стараться не срамиться перед людьми, а осрамился — делу конец, упокой господь его душу! Зачем моим семейным тайнам становиться общим достоянием?.. Что, неправду я говорю? Приключилась у тебя беда, ну и переживай ее сам, чего ты на весь мир о ней кричишь? Не правду ли я говорю, Като, а?..

— Вот, например, сама я, мама,— добавила Като,— тоже недовольна Лазро, у него спроси — сам скажет. Недовольна потому, что он со мной по-человечески не обращается, могу сказать,— по-зверски обращается. К слову пришлось, потому говорю, не сердись, Лазро,— обернулась она к мужу, который, скривив голову, полунасмешливо, полуупрекающе поглядывал на жену.

— Ах, Като, Като,— глубоко вздохнув, произнес он,— случалось ли, чтобы я хотя б настолечко,— показал он мизинец,— тебя обидел, есть у тебя бог?..

— Молчи, Лазро, не говори, пусть наше горе только нам будет известно,— прервала его жена, качнув головой, и продолжала, обернувшись к матери: — Ну, вот, скажи ты, мама, должна я бросить такого мужа и убежать к тебе? Если я так сделаю, что скажут, что станут говорить во всем городе? Не опозорю ли я и себя, и его, и тебя, и брата своего, всех наших родственников?

— Но, конечно, и я не стану плохо обращаться с Катюшей, и она меня не бросит,— добавил Лазарь Макарович.

вич,— не так ли, Катюша? — спросил он жену и снова протянул было толстенький указательный палец, чтобы пощекотать Катюшин подбородок, но испуганно отвел руку.

В этом духе разговор продолжался еще некоторое время. Жена и муж обсудили поведение квартирантов Натальи Петровны, осудили их и, в конце концов, убедили вдову в том, что ей следует быть осторожной и не допускать, чтобы в ее доме могли происходить события, о которых столь убежденно говорила Като. Пока еще есть время, пусть она выдворит из своего дома и Ростомяна, и Киришчиевых.

Хотя вдова и заявила, что не верит тому, что наболтала Като, но смутное чувство говорило ей, что между ее квартирантами действительно существует какая-то взаимная симпатия. Теперь многое стало для нее ясным. Вспомнила она, в частности, как изменился Ростомян в тот вечер, когда она рассказала ему историю Варвары. Но об этом она ничего не сказала Като, так же как и о том, что она теперь вполне допускает возможность любовных отношений между Варварой и Ростомяном.

Като свернула свою материю, дала мужу, и преданные супруги ушли.

— Лазро,— сказала жена на улице,— ты меня срамишь.

— Чем, душенька?

— Разве ты сам не веришь, что они влюблены?

— Э-э, будь они...

— Нет, ты очень невежлив,— настаивала Като,— будь ты мужчиной, ты не должен был бы мне противоречить.

— Но, Катюша, ведь я тебе вчера совсем другое говорил...

— Все равно, если я ошиблась, ты мне мог потом дома об этом сказать, а не при матери.

— Извини меня, Като,— сказал Лазарь Макарович, рабски склоняя голову, совсем так, как он когда-то склонял ее перед «клиентами», расхваливая гнилые товары своей лавчонки.

— Ты не смей мне противоречить, слышишь, Лазро? Скажу «да», и ты скажи «да», скажу «нет» — повтори «нет». Знаешь же ты меня!

— Э-э-э, оставь, бога ради, не сердись, пойдём-ка лучше погуляем немного на бульваре, погода очень хорошая.

— Что ж, так и будешь гулять со мной с этим свертком в руках?

— А что?

— Молчи, стыдно. Отнеси домой, потом придешь. Но нет, нет, не приходи, я должна пойти к Софи, взять у нее шоты.

— И я с тобой пойду.

— Что, хочешь меня осрамить, таская за собой этот сверток из дома в дом? Бога ради, оставь эти свои старые купецкие привычки. Ступай домой, погляди, что слуги делают.

— Ой, хитрая Като, обманываешь ты меня, — сказал шутливо Лазарь Макарович.

Като кинула ему свирепый взгляд.

— Жаль, что мы на улице, а не то показала бы я тебе, бесстыдник!..

Муж, ворча, отправился домой, на одну из сололакских¹ улиц. Жена повернула в другую сторону. На углу она встретилась с тем модно одетым, с лихо подкрученными усиками и нахальным лицом молодым человеком, с которым не расставалась весь вечер на концерте. Они сладчайше приветствовали друг друга. И физиономия ревностной защитницы супружеской добродетели мгновенно изменилась. Като стала радостной, оживленной, и в ее черненьких глазках загорелись искорки, для одних — привлекательные, для других — жгучие. В окружавшем их уличном шуме она слушала двусмысленные любезности своего спутника и, хотя делала серьезное лицо, была им очень довольна.

Не исключение же она, не первая и не последняя, скрывающаяся под маской так называемой «добродетели» в современном «цивилизованном» обществе. Итак, пусть себе «лысый Лазро» ругается с поваром из-за того, что тот сверх меры употребляет в пищу масло, или обвиняет лакея в краже сахара, и ждет у обеденного стола еще лишний час свою красавицу супругу...

¹ Сололаки — район Тифлиса, в прошлом излюбленный буржуазными кругами.

А в это время Наталья Петровна, сидя одна дома, серьезно размышляла об отношениях Ростомяна и Варвары. Она, конечно, не была бы против увлечения Ростомяна, если бы Варвара была девушкой. В этом нет ничего предосудительного — молодой человек может полюбить молодую девушку, но замужнюю женщину — нет, это непростительно, это грех, преступление. Может быть, Ростомян влюбился в Варвару, когда не знал еще, что она замужем, с самого первого дня? Но ведь теперь ему все известно, а потому и недопустимо, если он может ее еще любить.

Наталья Петровна подумала и о другом. Хорошо, скажем, сердца Варвары и Ростомяна так сейчас слились, что им трудно разъединиться. Что же будет с ними — смогут ли они забыть друг друга или будут томиться вечно?

Об этом вдова думала, думала долго и, наконец, безнадежно махнув рукой, сказала вслух:

— Страшно трудные законы, наши законы!..

Что делать бедной Варваре? Взяли, выдали силком за муж за негодяя, подлеца и говорят: «Хочешь не хочешь, а томись в его руках». Скольких, скольких бедных женщин знает Наталья Петровна, которые страдают так в руках своих мужей, как страдала Варвара, но пойдешь, расскажи об их горе другим! Вот Варвара бросила мужа и ушла. Что ей теперь делать?.. Будь она еще старухой — ничего, как-нибудь и пережила бы свои черные дни в отцовском доме. Но ведь ей всего двадцать шесть лет, она еще молодая женщина, что же — она должна остаться лишеной радостей жизни?!

— Очень суровы наши законы, — повторила вдова. Вздыхая, она поднялась с места и пошла к Варваре.

8

Шла страстная неделя. Весь город был занят приготовлениями к большому христианскому празднику.

Минас Кириллович, начиная с понедельника, каждое утро за чаем спрашивал у дочери:

— Варя, все готовятся весело встретить пасху, ну, а мы? Нам не положено радоваться?

Но близость праздничных дней, казалось, совершенно не трогала сердце Варвары. И каждый раз на вопрос отца она отвечала все то же:

— Папа, мне ничего не нужно, делайте, что хотите.

— Но мне хочется, чтобы и ты, как другие, радостно встретила эти дни.

Дочь, ясно понимая значение отцовских слов, только тяжко вздыхала и умолкала.

Тем не менее Минас Кириллович вместе со всеми хотел встретить пасху с радостным сердцем. Он каждый день выходил из дому и видел все в оживленном движении. На улицах царил необычная суета, на рынках толпилось множество продавцов и покупателей. И ему всем сердцем хотелось смешаться с этой толпой, разделить всеобщую радость, встретить христианский праздник, как подобает христианину, так, как когда-то встречал он его в Моздоке и в Москве.

Но как праздновать и с кем, когда единственное существо, придававшее жизнь его дому, его единственное утешение безразлично к общей радости?..

Минас Кириллович вообще чувствовал себя несчастным с того дня, как дочь ушла от мужа, но никогда еще это несчастье не казалось ему таким тяжелым, как сейчас. И радость окружающих только усиливала его страдания. Ему казалось, что среди всех христиан только он и Варвара составляют исключение, оторваны ото всех и не имеют ничего общего с остальными людьми.

В таком душевном настроении он испытывал странное утешение, когда встречал в народе нищих и несчастных. А число таких людей с приближением праздников изо дня в день на улицах увеличивалось, особенно на Головинском проспекте, где старик гулял каждый день.

А каких только нищих и увечных там не было! Вот калека, лишенный обеих рук, возникает, как пень, то перед одним, то перед другим прохожим. Вот другой — безногий. Изумительна изобретательность несчастных: лишенный двух ног человек приделал себе восемь железных, по четыре под каждой обнаженной коленкой. А в обеих руках у него по палке, опираясь ими о землю, он и разгуливает на десяти ногах... И он, кажется, доволен своим тяжелым положением, потому что может вызывать им сострадание прохожих. Он не обращается к ним, выпрашивая подая-

ние, лишь молча пробирается по длинному тротуару, и жалостливые люди сами бросают ему копейки.

А вот один еще более несчастный. В крохотной повозке лежит в лохмотьях что-то черное, грязное. Это человек, но видно лишь старческое, худое, туго обтянутое кожей лицо и два почти потухших глаза. Повозку тащит за собой крепкий юноша, другой, еще более крепкий, подталкивает ее сзади. Два человека везут третьего, чтобы вымолить подавание у четвертого. Беспольное существование лишено конечностей старика питает две пары здоровых рук. К этим людям подходит молодой краснолицый нищий с одной искалеченной ногой, голый, розовой. Он накидывается на молодых людей, везущих повозку, бранит их за «лень», сгоняет со своего пути и, подпрыгивая на здоровой ноге, протягивает прохожим руку...

Минас Кириллович никому не отказывал, подходил сам и вкладывал в руку каждому по серебряной монетке. Удовлетворение, отражавшееся на лицах несчастных, приносило минутное утешение его опечаленному сердцу. Но проходило это мгновение, и им овладевала обычная печаль.

Ах, как бы он был доволен, если бы Варвара была счастлива. Но кто же виноват в том, что она сейчас несчастна?

Задавая себе этот вопрос, Минас Кириллович всегда ощущал ужасные угрызения совести. И чем больше поведение Мизандронцева казалось ему возмутительным, чем больше его ненавидела Варвара, тем больше страдала его отцовская совесть.

— Виноват я,— говорил он сам себе.— Если бы я не настаивал, Варвара никогда не пошла бы за него. Она не любила Мизандронцева, и я знал это.

Но, надеясь, что супружеская жизнь в конце концов внесет в их отношения если не любовь, то взаимное уважение, и обольщаясь богатством и общественным положением Мизандронцева, Минас Кириллович решил отдать в его руки счастье своей единственной дочери.

Мысли эти преследовали Минаса Кирилловича день и ночь. Печальный образ Варвары был живым упреком его ложному родительскому самолюбию.

— Я поспешил, я очень поспешил,— повторял он себе часто, глядя с глубокой горестью на дочь.

Но вернуть прошлое было невозможно, оставалось только думать о настоящем. Что делать сейчас? Он знал, что и теперь, год спустя, Варвара продолжает ненавидеть Мизандронцева. И все же он надеялся примирить эти две крайности и оградить имя Варвары и свое от сплетен, распускаемых злыми языками,— обстоятельство, которое терзало его больше, чем несчастье дочери.

Поэтому, покинув Москву, он написал из Моздока письмо Мизандронцеву, упрашивая отказаться от пагубных привычек и помириться с женой. Но только два месяца спустя он получил ответ от недостойного супруга. Мизандронцев клялся, что он всегда любил Варвару, а теперь любит вдвое больше и готов снова помириться с нею, если только она найдет это возможным. Минас Кириллович ответил зятю, что Варвара мало-помалу смягчается, хотя на самом деле в ее отношении к мужу никакого изменения не наблюдалось.

Письмо, которое в тот день он предложил прочесть Варваре, было вторым, полученным им от зятя. После разговора с дочерью Минас Кириллович долго думал о том, что ему теперь написать Мизандронцеву. На этот раз он безусловно верил его раскаянию. Вот почему в течение нескольких дней он был так задумчив и не разговаривал с Варварой. Наконец старик решил прибегнуть к последнему средству. Он написал Мизандронцеву, что Варвара согласна помириться с ним и чтобы он непременно приехал. Старик надеялся, что приезд супруга смягчит Варвару скорее, чем любые письма. И он с часу на час ожидал зятя...

Прошли два первых дня пасхи. Варвара в эти дни сидела дома, но Минас Кириллович стал выходить все чаще. В первый день пасхи он зашел к Наталье Петровне, поздравил ее и вернулся, приведя с собой и вдову и Ростомяна. Ростомян долго у них не оставался, поздравил Варвару, немного посидел и ушел. Он, казалось, был в каком-то смятении и бледнее обычного.

А вдова сидела долго и говорила о праздниках, о том, как тифлисцы встречают пасху, что едят, куда ходят и прочее, и прочее.

Между прочим она рассказала и о дне поминовения усопших. Минас Кириллович снова вспомнил о своем прошлом, о своей покойной жене, рано ушедших детях.

А он ведь каждый год на второй или на третий день пасхи аккуратно служил панихиды на их могилах. Теперь же он в чужих краях, вдалеке от дорогих могил.

— На каком кладбище,— спросил он,— бывает у вас больше всего народа в эти дни?

— На Ходживанкском,— ответила вдова.

У старика возникло желание посетить кладбище, и он предложил дочери во вторник утром пойти туда.

Варвара отказалась, но Минас Кириллович, вопреки обыкновению, ее не попрекнул. Легко позавтракав, он отправился на кладбище один. Варвара осталась дома.

Был ясный, довольно жаркий день. Деревья и лужайки в садах уже позеленели. Городские сады выглядели радостно. Тополя и белые клены уж расцвели желто-зелеными листочками, многие плодовые деревья украсились белыми и розовыми цветами.

Варвара посмотрела из своего окна на привлекательный весенний вид города и вздохнула. В другое время этот весенний день, ясная погода, посещение отцом кладбища пробудили бы в ней память о прошлом. Она бы вспомнила свое детство. Отец всегда на пасху водил ее на кладбище, показывал могилы матери, сестер и братьев.

«Вот здесь, дорогая Варя, похоронен твой брат Серапион...— говорил он,— ему еще шести лет не исполнилось, но все, кто его видел, давали десять... умный был, красивый. А это могила маленькой Розы, ах, как ее любила твоя мать! Вот здесь похоронена Лиза. У нее были черные глаза и очень длинные волосы, ее любили все соседи. А это Сашино надгробье — поцелуй, Варя, поцелуй, это могила твоего брата... А тут лежит Сируник... Отец Григор дал ей такое имя, благословил и сказал: «Дай ей бог долгую жизнь», но бог и ее не сберег... Теперь пойдись сюда — это Соня, я тут еще не поставил камня. Она была мала, очень мала... Варенька, сорви-ка тот белый цветок... А ну, пойдись-ка сюда... А эту большую узнаешь, Варенька?.. Тут она, твоя...»

Голос отца здесь прерывался, глухие рыдания не давали ему продолжать. А маленькая Варенька бегала вокруг могил, целовала надгробья, срывала цветы, не замечая слез, проливаемых отцом над могилами детей и их несчастной матери.

Нет, всего этого Варвара на этот раз не вспоминала, ее мысли были направлены совсем в другую сторону, другие чувства бурно волновали ее сердце.

— Что делать мне, боже мой, что делать? — без конца шептали ее уста, и она обеими руками то сжимала голову, то закрывала лицо.

Много раз она задавала себе этот вопрос с того вечера, когда они были на концерте. Путались ее мысли, путались чувства. Все, казавшееся привычным и понятным, становилось противоречивым и трудным, когда перед нею возникал образ Ростомяна. А он вставал перед ее глазами утром и вечером, каждый час, каждую минуту, шаг за шагом следовал за ней, днем лишал ее покоя, по ночам — волновал мысли. Перед сном Варвара часами металась по своей комнате. Время от времени она подходила к окну, выходящему во двор, открывала ставни. На стеклах противоположного окна иногда появлялась тень Ростомяна, потом он появлялся и сам на пороге комнаты, иногда выходил на балкон и долго простаивал здесь, опершись локтями о перила.

Теперь для Варвары было ясно, почему он так часто выходит на балкон.

Наталья Петровна почти каждый день навещала своих квартирантов. Варвара говорила с хозяйкой очень осторожно, никогда не упоминая о Ростомяне. Вдова сама ей рассказывала о нем. Он совершенно изменился. Не работает, ест плохо, не сидит дома, то уходит, то приходит. Желтый, подавленный, ни с кем не хочет говорить...

— Боюсь, чтобы он не сошел с ума, — повторяла Наталья Петровна. — На пасху вечером к нему пришел такой же, как он, молодой человек, увел его к себе. До утра домой не возвращался.

Все эти рассказы заставляли Варвару чувствовать, что Ростомян действительно страдает. Сколько раз она видела его днем, тайком наблюдающего за нею из своего окна, с взволнованным лицом, с горящими глазами. Да, он страдает, но кто же в этом виноват? А какую спокойную, мирную жизнь вел он до того, как встретился с ней...

— Но чем же я виновата, боже мой? — спрашивала себя Варвара.

Неужели она могла предвидеть, что в этом доме встретит того, кого искала в течение долгих лет?

— Нет, невозможно, так не может продолжаться,— прошептала она взволнованно, безжалостно ломая пальцы.— У меня нет сил жить между двух огней. Довольно я намучилась, надо выбирать одно из двух...

Но как? Смотрит она направо — стоит горячо любящий ее отец. К нему она питает безграничную любовь, его спокойствие составляет одно из условий ее существования. Посмотрит налево — суровый суд общества, законы религии. А там с пленительной силой влечет ее сердце Ростомян. Итак, на одной чаше весов — честь отца, спокойствие, людские предрассудки, религия, на другой — несомненное счастье. Что избрать, к чему обратиться? — вот тот сложный вопрос, тот обоюдоострый меч, дилемма, которая в короткий срок грозит истомить, истерзать ее душу.

Если бы она не любила отца, если бы отец не пугался так общества, тогда, может быть, легче было бы найти какое-нибудь решение. Но в этих условиях...

— Нет, я не смогу перейти эту пропасть...

Но почему? Неужели и в самом деле невозможно? Если она не любит одного, неужели лишается права любить другого? Ужасная жестокость! Безжалостное общество! Своими холодными, бессердечными законами оно отрицает естественные законы природы. Стать в глазах людей еретичкой? Нет, Варвара не хочет и этого — она не поднимет руки ни на чьи принципы. Но неужели даже самый неумолимый человек может своим авторитетом отнять у нее личную свободу, пренебречь тем, что для нее свято? Чем вознаградили ее за те страдания, которые два года подряд испытывала она под кровом Мизандронцева? Почему же и теперь принуждают ее примириться с тем, что отвратительно, и отнимают то, что дает ей счастье? Почему противоречат природе, когда она — сам бог? Нет, это невозможно, это насилие... христианские свободолобивые принципы не могут быть такими жестокими...

— Боже мой, боже мой, ничего не понимаю, ничего! — воскликнула Варвара, подавленная тяжестью этих мыслей.— В глазах темнеет, голова кружится от всего этого.

Неужели ей одной суждено разрешить этот трудный вопрос? Почему, за какие грехи? Кому она причинила вред? Кому завидовала или желала зла? У нее были свои представления о счастье, свой житейский идеал. Но судьба

не помогла ей. Раньше времени вырвала ее из рук природы и предала в руки несчастья...

— Папа, папа, я не виню тебя! Ты искренне желал мне счастья. Ты был убежден, что я найду его с Мизандронцевым. Знаю, что и ты несчастен из-за меня. Как мне винить тебя? Но знаешь ли ты, в каком я нахожусь положении? Нет, если бы ты знал, то не был бы так безразличен. Теперь ты узнаешь... у меня нет больше сил таить то, что чувствует сердце. О боже, что будет с ним, когда он узнает?..

Исстрадавшаяся, обессиленная, она опустилась на стул и уронила голову на руки.

Как долго длилось ее забытие, Варвара не знала. Вдруг, подняв голову, она решительно произнесла:

— Это будет убийством. Я не могу решиться на этот шаг, надо отойти от края пропасти. Я не могу допустить, чтобы ради моего счастья отец получил смертельный удар... Пока ему ничего неизвестно, я положу всему конец...

Она торопливо взяла в руки перо и села за стол. Минут десять, опустив голову на грудь и сжимая левой рукой лоб, просидела она так, с пером в руках, в глубоком раздумье. Потом написала несколько строк, зачеркнула, написала снова. Порвала бумагу, взяла новый листок, написала что-то снова, зачеркнула, порвала...

Наконец, еще больше разволновавшись, отбросила в сторону перо и встала с места. Она хотела написать Ростомяну, попросить его перестать преследовать ее. Но по какому праву могла она обратиться с такой просьбой к человеку, который до сих пор ни намеком не дал понять ей, что он ее любит, человеку, чьи чувства ей еще недостаточно известны? Быть может, воображение обманывает ее...

Когда он скажет ей о своей любви — если он ее любит, — она постарается взять себя в руки и объяснить ему, что им нельзя любить друг друга. Пусть они будут братом и сестрой. Брат и сестра... какое великое счастье иметь такого брата! У Варвары нет брата, а у него нет сестры. Но — возможно ли это? Конечно — нет. Это было бы самообманом. Они должны быть далеки друг от друга, не встречаться. И, конечно, должна удалиться она, Варвара. Да, она попросит отца переменить квартиру... Пусть она

тогда останется одна со своими чувствами, она постарается перебороть их. Иначе нельзя, она обязана его забыть...

Но это было только минутное решение, оно мгновенно изменилось, и мысли и чувства Варвары пришли в еще большее смятение. Она долго ходила по комнате. На минуту остановилась у комода, посмотрела на себя в зеркало. Ей показалось, что за последние две-три недели она еще больше похудела и побледнела, несмотря на то, что весна наложила и на ее щеки тот легкий румянец, который в это время года всегда ложится на лица бледных женщин. Но в глазах ее горело больше жизни, чем прежде.

Дверь открылась, и в комнату вошла горничная Матрена.

— Барыня, вы заняты? — спросила старуха.

Варвара смущенно оглянулась.

— Что тебе? — спросила она сердито.

— Вас хотят видеть.

— Кто?

— Вон тот молодой барин, — Матрена показала рукой на противоположный конец балкона.

— Здесь он?

— Ждет на балконе, барыня. Сегодня он уже второй раз приходит. Я хотела было сказать, что вас дома нет, да потом дай, думаю, спрошу. Позвать?

Варвара на мгновение задумалась, но потом, на что-то решившись, сказала:

— Позови, в ту комнату.

Матрена вышла. Варвара оправила платье, привела в порядок волосы и гордыми шагами вошла в гостиную.

Сидя в кресле, Ростомян ожидал ее здесь. Он был в черном костюме, бледный, печальный взор был устремлен на дверь ее комнаты.

В то время как Варвара ничего не замечала, Ростомян почувствовал, что в отношениях Минаса Кирилловича к нему произошла какая-то перемена. Казалось, старик стал относиться к нему не так дружелюбно, как прежде.

Убедился он в этом в страстную среду, когда и он и Минас Кириллович были у Натальи Петровны. Вопреки своей привычке, старик говорил с Ростомяном как бы нехотя. Он не спорил с ним, не возражал и вообще избегал длинных разговоров. Такая внезапная перемена в старике и удивила и оскорбила Ростомяна.

На следующий и на третий день, встретившись с ним на улице и во дворе, старик ответил Ростомяну на приветствие только легким кивком головы.

Ростомяна оскорбляла холодность старика. Одиночество, естественно, развило в нем самолюбие. Он, никогда никого не утомлявший своим дружеским вниманием или знакомством, теперь чувствовал, что становится в тягость старику. Вот почему, навестив соседей в первый день праздника, он и не остался у них долго.

Но это чувство оскорбленного самолюбия вскоре прошло. Осталось только подозрение: не догадывается ли Минас Кириллович об истинной причине его посещений? Если догадывается, то, конечно, вправе не только холодно с ним обращаться, но вовсе не принимать его. Это вполне естественно. Варвара — замужняя женщина, а Минас Кириллович — ревностный защитник и ее и своей чести. Какое ему дело до искренних чувств Ростомяна к его дочери? Какое дело, если даже дочь... любит его? Между ними стоит высокая стена, и тот, кто осмелится эту стену разрушить, посягнет и на честь, и на доброе имя Минаса Кирилловича. Он бросит в пропасть и его честь, и честь Варвары.

Таковы принципы Минаса Кирилловича, так же как и многих других. И если Ростомян не уважает этих предрассудков, он, по крайней мере, не имеет и права осуждать Минаса Кирилловича. Две мощные силы, как дамклов меч, висят над ним — общество и религия.

С первого дня Ростомян почувствовал к Минасу Кирилловичу сыновье уважение. Когда он услышал историю Варвары, уважение сменилось ненавистью, почтенный отец превратился в отца-деспота. Ненависть потом прошла. Ростомян начал сочувствовать старику. Теперь место этих изменчивых чувств заняло чувство стыда. Он стыдился Минаса Кирилловича и в последние дни избегал его, старался с ним не встречаться.

Он избегал отца, а дочь?.. С нею он должен увидаться наедине.

Ростомян стал выискивать подходящий момент. Наконец такой момент настал: Минас Кириллович вышел из дому. Ростомян следил за ним, пока он не скрылся за углом улицы. Случай был удобным — вдова тоже куда-то ушла. Горничная сказала ему, что барин вернется поздно. Однако, когда он вышел на балкон, им овладела робость. Ростомян вернулся к себе и, поколебавшись еще с четверть часа, решил, что упускать удобную минуту нельзя.

И вот Ростомян у Варвары. Они одни — лицом к лицу.

Первый взгляд Варвары, ее необычная холодность его смутили.

— Здравствуйте,— сказал он, сделав несколько шагов вперед.

Варвара спокойно протянула ему руку и указала на одно из кресел.

— Надеюсь, вы не сочтете, что мое посещение не ко времени? — спросил Ростомян, садясь.

— Наоборот,— ответила Варвара, казалось, нехотя.

Оба они были бледнее обычного, оба старались скрыть свое волнение под внешней холодностью, и по выражению своих лиц оба понимали это. Вот почему в течение нескольких минут они не знали, с чего начать. Наконец, чтобы прервать тяжелое молчание, Варвара спросила Ростомяна о его делах.

Он ответил, что сейчас его ничто не интересует.

— Почему? — спросила Варвара.

Ростомян не ответил. Они снова умолкли. Он боялся смотреть на Варвару. Ему казалось, что каждый его взгляд ясно выражает то, что он в эту минуту чувствует. Он испытывал все большую неловкость.

— Где Минас Кириллович? — спросил он.

— Пошел на кладбище,— ответила Варвара, улыбаясь.

— Да, ведь вчера и сегодня дни поминовения усопших. Боже мой, как мы постепенно забываем христианские обычаи,— с искренним убеждением сказал Ростомян.

— Да, забываем,— почти бессознательно повторила Варвара. Она сделала попытку засмеяться, но голос ее неожиданно дрогнул.— Отец предложил мне пойти с ним,— сказала она грустным тоном,— но я отказа-

лась. А вы в эти дни ходите на кладбище, господин Ростомян?

— В эти дни — нет, но я люблю бывать там, когда мне становится грустно.

— Когда вам становится грустно?

— Может быть, вам покажется смешным, Варвара Минаевна, что грусть я излечиваю грустью. Но на кладбище я испытываю какую-то особенную душевную легкость.

— Это отчасти понятно,— печально заметила Варвара.

— Понятно? — повторил Ростомян, обрадовавшись и в то же время чем-то вдохновленный. — Да, понятно. Когда там смотришь на безмолвные и мрачные могилы, они словно внушают тебе какое-то своеобразное утешение. Я всегда возвращаюсь с кладбища радостно, быть может, с более облегченным сердцем, чем другие с какого-нибудь праздника. Почему это так?.. Наверно, потому, что судьба заставила меня с малых лет любить спокойствие мертвых — любить потому, что там, на кладбище, покоятся тела моих близких...

— Какой грустный разговор мы начали, — сказала Варвара, когда Ростомян вдруг умолк.

Между тем слова Ростомяна проникли в ее сердце, мрачный разговор соответствовал ее душевному настроению. Она с искренним сочувствием посмотрела Ростомяну в лицо, но сейчас же потупила глаза и опустила голову на грудь.

У Ростомяна дрожали губы, он с трудом сдерживал охватившее его волнение.

«Он мучится, как же я могу поделиться с ним своими мыслями?» — думала Варвара, не решаясь поднять глаз.

Не она ли десять минут назад решила сказать ему, что они не должны более встречаться? Не для того ли, чтобы объявить ему об этом, она и разрешила горничной впустить его? А теперь?.. Как выполнить это решение, если силы покидают ее, если бурное неодолимое чувство диктует свою волю и сердцу ее и уму?

Во дворе все было спокойно, не было видно даже горничной, которая обычно то и дело шмыгала по балкону. Слышен был лишь щебет ласточек, носившихся под потолком балкона, а иногда и долетавший с улицы глухой шум

экипажей. Варвара встала и открыла окно. Нагретый солнцем воздух теплым потоком ворвался в неподвижную атмосферу комнату и мягко овеял бледное лицо молодой женщины.

Она вернулась на свое место. Ростомян немигающими глазами следил за каждым ее движением. Они снова заговорили. На краю стола лежала какая-то книга. Чтобы только сказать что-нибудь, Ростомян спросил, что сейчас читает Варвара.

— Ничего,— ответила она и опустила голову.

Разговор не вязался.

«Нет, я больше не могу»,— подумал Ростомян.

В это мгновение его глаза встретились с глазами Варвары, и он едва не потерял самообладания. Взгляды ясно говорили то, что не решался произнести язык.

Ростомян сделал бессильную попытку овладеть взволнованными чувствами, но было поздно. Он увидел, как Варвара вдруг встала с места и, снова подойдя к окну, посмотрела на улицу.

Ростомян тоже поднялся с места и, совершенно бледный, с потемневшими глазами, почти одуревший, пошел к Варваре. Посреди комнаты он остановился. Варвара отошла от окна, и они встретились лицом к лицу.

Несколько мгновений они в замешательстве смотрели друг на друга.

— Что с вами? — испуганно спросила Варвара.

Ростомян молчал.

— Что случилось с вами? — повторила она шепотом и инстинктивно отступила на шаг. В то же мгновение она почувствовала пожатие двух горячих рук. В глазах у нее потемнело, комната, казалось, погрузилась во мглу, голова закружилась. Какая-то приятная теплая дрожь пробежала по телу, и она, побежденная, ослабевшая, упала, но — куда?..

В эту минуту мимо окна по балкону проскользнула какая-то невысокая фигурка. Они ничего не заметили, да и не могли заметить...

Варвара очнулась. Две сильные руки мягко охватывали ее высокий стан. Она вырвалась из этих обольстительных цепей, дрожа всем телом, сделала несколько шагов назад и глухим, взволнованным голосом произнесла:

— Сумасшедший, что вы делаете?

— Варвара, Варя...— прозвучал в ее ушах странный голос Ростомяна.

— Уходите отсюда, вы меня тянете в пропасть...— сказала Варвара, закрывая дрожащими руками лицо.

— В пропасть? — повторил Ростомян.— Я хочу вытащить вас из пропасти.

Он схватил руку Варвары и, держа ее в своих руках, дрожащим голосом продолжал:

— Вы знаете, что я не мог поступить иначе. Это не минутная несдержанность. Отнюдь нет. Вам все известно. Варя, Варвара Минаевна, я много передумал... много переувствствовал, о-о-о, много... Как может человек подавить в себе природу? Я... тебя... нет... вас тяну в пропасть?.. Я?.. Разве я не думал о препятствиях, разве два месяца подряд день и ночь не боролся с самим собой? Но сейчас я бессилен, уничтожен этим непобедимым чувством. Быть может, я сумел бы сдержаться, если бы не был уверен, что вы сумеете пренебречь предрассудками. Да, я верю, что вы можете игнорировать ложные понятия недостойных людей о морали. Вы выше этих пигмеев... смотрите поэтому на них бесстрашно... Не требуйте от них правильного суждения о подлинном героизме...

Ростомян с трудом дышал. Переведя дух, он продолжал:

— У того, чья душа велика, широки и мысли. Вы понимаете, что я хочу сказать, Варвара Минаевна. Когда пути становятся невыносимыми, их... знаете... надо ненавидеть, презирать, надо рвать их. Скажите, чувствуете ли вы ко мне хотя бы десятую долю той любви, которая довела меня до этого состояния?.. Если чувствуете, то не должны так долго думать. Но, боже мой, вы все еще боитесь предрассудков. Ах, если бы вы знали, что таится под маской того, что теперь называют нравственным, что такое пороки и что такое беспорочность, которую лицемеры считают пороком. Говорите, Варвара, не надо молчать. Вот перед вами стоит ничтожество, которое раньше было человеком, которое жило. Только вы можете снова дать ему жизнь... Произнесите приговор моей судьбе... Вы видите, до чего я дошел...

Действительно, он выглядел очень жалко и, подавленный своими бурными переживаниями, перестал владеть собой.

А Варвара, опершись одной рукой о край стола, закрыв другой глаза, сидела молча, неподвижно, слушала слова, рвавшиеся из воспламененного сердца — слова, иногда повторявшиеся, иногда произносимые неверно и бессвязно.

— Вы молчите? — продолжал Ростомян, подойдя к Варваре и осторожно отведя ее руку от глаз. — Вы не хотите говорить? Неужели же это ваш ответ? Холодное молчание в ответ на перенесенные мною страдания? Значит, напрасно прислушался я к голосу сердца... Значит, этот голос безжалостно обманул меня и сделал смешным в ваших глазах?..

— У меня есть отец, — тихим голосом ответила Варвара, делая большие усилия, чтобы овладеть собой.

— Знаю.

— Я люблю его.

— А меня?..

— Не заставляйте меня говорить о моей любви. Она стала ясна для вас, Степан, не вчера и не сегодня... Помните ли вы тот день, когда показывали нам это жилище? Мне не следовало видеть вас, но — увидала, и с первой же минуты во мне зародилось то, чего я раньше никогда не ощущала. Хотите доказательств?.. У бессонных, горестными слезами орошенных ночей нет языка. Почему вы не спрашиваете у своего сердца? Не заставляйте меня объяснять, что привлекло меня в вас... я не могу... я сама не понимаю... Ничего не понимаю.

Она с трудом сдержала рыдания. Огонь, горевший в ее печальных глазах, судорожно дрожащие губы, горячо звучащий голос — все это устранило те последние слабые сомнения, которые еще оставались в сердце у Ростомяна. Варвара несколько мгновений сидела, не поднимая головы, а когда она ее подняла и взгляды их встретились, Ростомян шагнул к ней, раскрыв объятия.

— Нет, не подходите... Слушайте, у меня есть отец, понимаете ли вы, несчастный человек, что я люблю его? Довольно того, что было... Нет, между нами не может быть ничего!

— Варвара!

— Напрасно вы терзаете себя и меня. Ну скажите, какие могут быть отношения между нами?

— Прочные цепи любви... Они святы, крепки, крепче законной связи.

— Но... ведь это запрещено.

— Ничуть... и мы можем пожениться.

Барвара горько улыбнулась.

— Вы можете потребовать развода, закон дает вам это право,— продолжал Ростомян уверенно.

— Развода?..— повторила Варвара с горькой усмешкой.— От кого я должна его потребовать?

— От Мизандронцева.

— От Мизандронцева?.. Он еще надеется снова соединиться со мной.

— Но по какому праву?..

— Не знаю, не знаю... я ничего не понимаю...— безнадежно вырвалось у Варвары.

— Закон дает право требовать развода, слышите, Варвара, виновный супруг обязан дать развод. Я это твердо знаю.

— А если он не согласится?

— Должен согласиться, виновен он. Вы можете доказать это.

— Нет, он никогда не примет на себя вины, никогда, я знаю его. Вы хотите, чтобы вину в несовершенном поступке приняла на себя я? Боже мой, я... я готова. Но нет, напрасно будет это. Я по-прежнему останусь связанной, освободится только он один. А отец мой...

Она снова обессиленно опустила на стул и закрыла лицо руками.

— Варвара, не отчаивайтесь, мы найдем другой выход! — вскричал Ростомян. Он как безумный схватил руку Варвары и прижал ее к своим пылающим губам.— Пусть преследуют нас, пусть ненавидят, не беда. Я не боюсь никого...

— Отец мой, отец, подумайте о нем, — сказала Варвара, не отнимая у Ростомяна своей руки.— Вы знаете, что он не может перенести этого.

— Он добр, он умен, у него нет предрассудков, он любит вас.

Варвара только покачала головой.

Ростомян продолжал:

— Как, неужели счастье единственной дочери не убедит его, не смягчит его сердца? Варвара, скажите: любит он вас?

— Я не вправе требовать от него невозможного, пой-

мите... — ответила Варвара. — Он любит меня, но я не имею права взамен этой любви требовать от него жертвоприношения — требовать, чтобы он свое имя, честь свою сделал предметом разговоров в обществе.

С горькой усмешкой качнув головой, Ростомян опустился в кресло. Он снова пал духом и ослабел.

— Значит, я ошибался в вас,— сказал он горячо, сжимая руками лоб.— Я думал иначе, у меня было другое мнение о вас. Но... все равно... я знаю теперь, что нужно делать,— добавил он, встав с места, и кинул на Варвару полуугрожающий, полуумоляющий взгляд.

— Вы не верите мне, Степан, и это меня огорчает больше, чем мое состояние,— сказала Варвара и, отвернувшись, добавила: — Ах, как горько — любить и не иметь права на любовь.

Рыдания сдавили ее горло. Ростомян почувствовал угрызения совести. Он вскочил с места, подошел и, подняв Варвару, отнес ее на диван. Здесь, став на колени, он прижался горячими губами к ее рукам. Варвара бессознательно ему подчинялась.

На балконе послышался какой-то легкий шум. На этот раз Варвара заметила какую-то темную фигуру, котом-вором промелькнувшую мимо окна.

— Уйди, довольно, уйди! — воскликнула она, вырываясь из объятий Ростомяна. — Он, кажется, возвращается... Уйди, я не хочу, чтобы он нас застал вдвоем, он поймет, удар будет внезапным...

Она побежала к дверям, ведущим на балкон, думая, что идет отец. Но там никого не было. Между тем Ростомян, скованный чарующей близостью Варвары, не двигался с места.

Из окна, выходящего на улицу, послышался шум подъезжающего фаэтона. У дома он остановился.

— Слышите, он приехал... Уходите, если любите меня.

На лестнице уже раздавались шаги. Прятаться было поздно. Ростомян неверными шагами вышел из дверей.

С букетом фиалок в одной руке, палкой в другой навстречу ему шел Минас Кириллович.

Если бы Ростомян в эту минуту смело взглянул на старика, он увидел бы, как тот, заметив его у своих дверей, опешил и остановился неподвижно. Но он, едва передвигая ноги, лишь старался скорее уйти.

В эту минуту слух Ростомяна уловил громкий смех. Он поднял голову, и перед его помутневшими глазами в одном из окон Натальи Петровны промелькнула чья-то маленькая головка с парой черненьких хитрых глаз...

10

День выдался довольно жаркий. Уставшие от прогулок горожане к полудню возвращались в свои дома. Со стесненным сердцем, смятенными мыслями, стыдливым, но в то же время каким-то счастливым чувством Ростомян вышел на центральные улицы города.

Куда он шел — он и сам не знал. Ему хотелось остаться одному и отдаться своим переживаниям. Он совершенно не чувствовал голода и даже не знал, что уже третий час. На одной из главных улиц в нижнем этаже большого дома он увидел на стеклянных дверях надпись, сделанную крупными буквами по-французски: «Кафе-Ресторан». Здесь он уже несколько раз обедал. Ростомян вошел.

В большой комнате стояли столы, покрытые белыми как снег скатертями. За ними молча обедало несколько посетителей.

Ростомян прошел в соседнюю маленькую комнату, где никого не было. Тут перед ним тотчас возник одетый в черное официант имерстин с меню в руках и салфеткой под мышкой. Ростомян, не выбирая, заказал первое попавшееся блюдо и бутылку вина.

Пока официант ходил на кухню, он сидел за столом, подперев голову руками, и раздумывал.

Неожиданный случай... Нет, счастливое событие. Как внезапно все это случилось! Разве было у него это в мыслях, когда он шел к Варваре? Нет, он хотел только увидеть ее. Но зачем, зачем было снова себя обманывать? Ведь должно же было все разъясниться в конце концов? Не стала ли неопределенность невыносимой? Значит, произошло то, что рано или поздно должно было произойти.

Теперь, по крайней мере, рассеялись его сомнения — Варвара любит его. Но ведь она же рассказала ему и о стоящих перед ними препятствиях — о самолюбии отца,

о людских законах и об установлениях церкви? Что избрать — презрение, проклятия, ненависть или вечное, изнуряющее душу тяжелое горе, смерть души?..

Здесь мысли Ростомяна путались. Он забыл о себе и начал размышлять о Варваре. Неужели можно требовать у женщины такой смелости?.. Неужели во имя любви Варвара пожертвует чувствами отца, подвергнется проклятию навеки, презрению общества, насмешкам, ненависти? «Отец не сможет перенести этот тяжелый удар, он очень любит меня»,— сказала Варвара.

Любит!.. Что за деспотическая любовь? Что это за любовь, если ради несчастного бедственного супружества дочери родной отец вконец портит ее жизнь? Нет, это эгоизм отца-фанатика, эгоизм, который под личиной отцовской любви отравляет жизнь дочери. Минас Кириллович любит только самого себя, свое спокойствие, а не Варвару.

Официант принес давно заказанное блюдо. Ростомян немного поел, выпил стакан вина и с отвращением огодвинул бутылку.

Что делает сейчас этот любящий отец? Не осыпает ли дочь упреками? А она стоит на коленях перед ним и с полными слез глазами просит простить ее?..

Он припомнил и хитрые глаза Като, ее злорадный смех. Значит, эта женщина подсматривала за ними? Скрыть что-нибудь теперь уже нельзя. Завтра, послезавтра неугомонная женщина по всему городу разнесет сплетню и, конечно, в пять раз все преувеличит.

Подлая! Что побуждает ее так враждебно относиться к чужому счастью? Зависть?.. Нет, у нее есть другая причина... Должна же она чем-нибудь ублажать свою преступную совесть? Боже милостивый, и подобные ей судят Варвару!..

Кафе мало-помалу опустело, из соседней комнаты голоса уже не доносились. Официант все время то входил, то выходил. Ростомян расплатился и вышел.

На улице ему стало еще тяжелее. Куда теперь пойти? Вернуться домой? Нет, сейчас это невозможно. В нем снова пробудилось чувство стыда. С каким лицом он встретится с Минасом Кирилловичем? Старик, конечно, уже знает, почему сосед вышел из его дверей таким расстроенным.

Пусть знает он, пусть узнает все. «Ничто, ничто теперь не может нас разъединить — ни сплетни общества, ни рогатки закона, ни честолюбие Минаса Кирилловича, лишь бы Варвара любила меня так, как я ее люблю...»

— Ростомян, — услышал он вдруг позади себя знакомый голос. Он оглянулся и остановился.

С другой стороны улицы быстрыми шагами приближался к нему молодой человек. Это был товарищ Ростомяна по Москве, Саркисян. С ним Ростомян был ближе, чем с другими, хотя Саркисян учился в университете, а он в Петровской академии. Саркисян, добросердечный, искренний и вдумчивый, любил поговорить. Его родители, коренные тифлисцы, были довольно зажиточными, поэтому он иногда часть получаемых от них денег мог отдавать нуждающимся товарищам. Он, между прочим, однажды помог и Ростомяну (хотя тот упрямо отказывался), дав ему взаймы сумму, необходимую для своевременного взноса за учение и квартиру. С тех пор Ростомян стал искренне уважать Саркисяна, хотя близкими друзьями они и не стали.

— Куда ты такой озабоченный? — спросил Саркисян, дружески улыбаясь и обеими руками пожимая руку Ростомяна.

— Просто так, гуляю.

— В таком случае, позволь к тебе присоединиться. Удивительное дело — по праздникам я очень скучаю от безделья.

Беседуя, они прошли к Михайловскому мосту. Саркисян спросил Ростомяна о его здоровье и делах, рассказал о своей работе, сообщил несколько новостей. Затем разговор перешел к их старым товарищам по учению. Саркисян одного осуждал, другого критиковал, о третьем говорил с пренебрежением.

— Знаешь что, — говорил он с видом разочарованного жизнью человека, — проклятая жизнь страшно портит людей. Это ужасное бедствие. То, что мы ненавидели в дни нашего студенчества, теперь нам кажется привлекательным, мы им увлекаемся. Вот я, например, ясно чувствую, что со дня на день опускаюсь, искренне тебе говорю — опускаюсь, Ростомян. Иногда смотрю на себя глазами прежнего Саркисяна, и знаешь, что я вижу? Вижу, что, как свинья, уже по самые колени зарылся в грязное

прогнившее болото и, пройдет еще немного, влезу в него с головой. Это еще я... Есть такие, что и похуже меня. Сатунян — ярый нигилист — теперь стал чиновником. Месропян — помнишь, фанатичный проповедник, который постоянно с пеною у рта кричал об интересах народа, — теперь, представь, не стыдясь говорит: «Жертвую всеми моими идеями тех дней сладкой улыбке женщины»... Вышучивает, высмеивает, сплетничает... Эх, все, что хочешь, делает, натирает своими башмаками полы в балльных залах, завистничает, ревнует, старается унижить своих соперников. И ради чего все это? Иной раз только для того, чтобы поправиться какой-нибудь женщине. Ах, Степан, ты не можешь себе представить, как существо, называемое женщиной, коверкает наш характер. Она испортила и меня.

— Женщина коверкает наш характер? — повторил Ростомян. — И это говоришь ты, когда-то защищавший женщин?

— Да, защищал, что грех таить, защищал и восхищался теми философами, которые орали, что женщина раба мужчины, что ее угнетают, и прочее, и прочее. Но у всех нас переменялось мировоззрение, переменялись идеи. Изменил и я свои убеждения. Но я нашел правду. Я утверждаю теперь, что мы, мужчины, рабы женщин, а не наоборот. Изучай жизнь в ее мелочах, и найдешь много тому доказательств. Вот, спрошу, каковы свойства раба? Лицемерие, лживость, тупое остроумие, лживость, трусливость, покорность. Ну, скажи теперь, кто и перед кем чаще всего фальшивит, кто кому льстит, лжет, кто в жизни чаще подчиняется воле другого — женщина или мужчина? Мужчина. Я знаю очень многих, пользующихся успехом у женщин только потому, что они день и ночь льстят им, прямо или намеками хвалят их ротик, ножки, глазки, рост, с рабской покорностью подчиняются их воле. Я уж не говорю о тех дураках, которые из-за одной женской улыбки играют роль балаганных шутов. Вот, погляди-ка на того вертопраха, — добавил он, обращая внимание Ростомяна на довольно молодого человека, проходившего мимо с двумя женщинами. — Почему он так низко склоняется, разговаривая с ними? А женщины, погляди, как, гордо задрав головы, слушают его и даже на него не смотрят. Между тем, он не дурак, он счи-

тается самым умным в Тифлисе прокурором. И вот так — женщины принуждают мужчин сначала гнуть перед ними спину, потом льстить им, потом полностью подчиняют их, делают рабами и бросают...

В то время как Саркисян говорил, Ростомян молча раздумывал над его словами. «Очень может быть, что ты говоришь правду», — отвечал он ему мысленно, и то улыбался, то ронял одно-два слова, иногда одобрительных, иногда выражающих несогласие.

Они вышли на Михайловский проспект. День склонялся к вечеру.

— И ты довольно изменился, Ростомян. Раньше я смеялся над тобой, над тем, как ты, отрекшись от мира, прячешься дома, как постаревшая дева. Но потом, когда я немного вкусил жизни, я стал считать тебя умницей и завидовал тебе. Теперь, братец, я вижу, что и тебя малопомалу захватил жизненный поток. Ах, женщины, женщины!

Неожиданное замечание и многозначительный тон, каким было сказано слово «женщины», привели Ростомяна в смятение.

— Я не понял тебя, Саркисян, не скажешь ли ты яснее? — спросил он.

— Ладно, не притворяйся ангелочком. Кто эта женщина, за которой ты волочился на концерте? Помнишь?.. Ты так был увлечен, что меня и не заметил.

— Это моя соседка.

— Замужем и не разведена?

— Да, — ответил Ростомян серьезным тоном.

— Гм, значит, не напрасно говорят.

— Кто говорит и что?

— Я, правду сказать, не очень-то верю людской молве, но — говорят, что поделаешь. Ты знаешь Безирганову, дочь твоей хозяйки? Честно говоря, я не из поклонников этой женщины, знаю, что это за фрукт. Но она бывает в одной порядочной семье. С этой семьей — не спрашивай какой — я очень хорошо знаком. Вот там-то я и слышал...

— Но что же ты слышал?

— Что ты влюблен в эту женщину. Я не верю этому, но — остерегись, не попади в ловушку, Степан, — такие, как ты, с ногами и руками попадают. Но, повторяю, я не

верю, что ты можешь влюбиться в замужнюю женщину, ты этого не сделаешь.

— А если сделаю? — спросил Ростомян, вполне владея собой.

— Тогда, эх, что скажешь... надо быть осторожным. В таких случаях ловкачи всегда оставляют себе путь для отступления, иначе это может кончиться плохо.

Слова эти оскорбили Ростомяна. Он знал, что хотел сказать Саркисян. «Вот как, значит, думает и рассуждает даже образованный человек», — сказал он про себя. Он молчал, умолк и Саркисян, чувствуя, как подействовало сказанное им на приятеля. Дойдя до конца улицы, они сели на конку и вернулись. Разговор не клеился. Ростомян отмалчивался, хотя Саркисян и пытался смягчить тяжелое впечатление, произведенное его словами.

Когда Ростомян вернулся домой, была уже глубокая ночь.

Во время обеда и после него Минас Кириллович все время посматривал на смущенное лицо дочери каким-то странным взглядом и молчал. Вечером он в обычный час вышел из дому, но отошел от него недалеко. Погуляв с полчаса, он вернулся и заперся в своей комнате.

Утром он позвал повара и сделал ему распоряжения насчет обеда, не посоветовавшись об этом с дочерью, как всегда делал прежде. Из своей комнаты он вышел только к обеду, а вечером, в одиночестве напившись чаю, отправился к Наталье Петровне. Пробыв у нее часа два, он вернулся, еще более взволнованный, и снова заперся.

Варвара молчала. С сердцем, полным печали, она не осмеливалась смотреть отцу в глаза. Было ясно, что он что-то понял, поэтому ее вначале мучил больше стыд, чем неудовлетворенное чувство любви. Она предпочла бы выслушать прямые упреки отца, чем видеть, как он подозрительно следит за ней, то и дело вздыхает и даже старается избегать ее.

В то же время она знала, что такое состояние долго продолжаться не может, что отец рано или поздно потребует объяснений, поэтому лучше бы раньше, чем позже.

Что же она должна ответить отцу, если он прямо спросит ее — любит она Ростомяна или нет. Да, любит. Но хватит ли у нее смелости или жестокости сказать отцу правду, отцу, которому она никогда не лгала? Нет, она не

сможет утаить от него своего счастья. Но и сказать о нем нелегко...

— У него не хватит сил перенести этот удар,— бесконечно повторяла Варвара.

Вечером она еще больше расстроилась, когда, посмотрев на окна Ростомяна, она не увидела в них света. Где он, что с ним случилось? Не наделал ли он в отчаянии какой-либо беды?

Весь вечер, бродя по комнате, она терзалась мыслью, что заставила Ростомяна уйти от себя в тяжелом состоянии, что в такой момент напомнила ему о каких-то трудностях. Она подходила к окнам и смотрела то на улицу, то во двор, и ночная мгла наполняла ее сердце ужасом... Что делать, к кому обратиться, где найти Ростомяна? В ее воображении вдруг возникли страшные картины. Ей чудилось, что она видит Ростомяна то на мосту, на берегу Куры, готового броситься в реку, то уже утонувшего, то окровавленного, с пулей в груди, на одной из глухих улиц или в какой-нибудь гостинице. Варвара, обезумев, бросается на его холодный труп, но — уже поздно. В ушах у нее звучат два ужасных слова: «Виновата ты...»

В ней мгновенно вспыхнуло бурное желание выбежать на улицу, найти Ростомяна, вернуть. Пусть он не отчаивается — Варвара его навеки, никто не может разлучить их. Она жертвует своей жизнью, даже... любовью отца, его честью...

Варвара кинулась к двери, посмотрела еще раз во двор и уже была готова выбежать, когда с другой стороны балкона до нее донеслись слабые отзвуки какого-то разговора. Вдали мелькнули тени, и одна из них прошла мимо квартиры хозяйки и скрылась в комнатах Ростомяна. Варвара свободно вздохнула. Он жив, вот вырисовался его силуэт на фоне слабо освещенного окна. Слезы радости оросили щеки Варвары. С облегченным сердцем она легла, но возбужденные нервы долго не успокаивались.

В таком же состоянии она провела и следующие день и ночь. Ростомяна не было дома с утра — он вышел рано и вернулся около полуночи.

На третий день старик, напившись утром чаю, послал повара на рынок, горничную еще куда-то, запер двери и позвал Варвару к себе в комнату.

— Сядь,— сказал он холодным торжественным тоном, указав дочери на стул, и сам, в домашнем халате, сел за стол. Он был бледен, руки дрожали. За последние два дня он, казалось, еще более постарел.

Варвара почувствовала, что настал критический момент, и напрягала все силы, чтобы сдержать охватившее ее волнение.

— Варвара Минаевна,— заговорил отец торжественно,— я пригласил вас, чтобы спросить о том же, о чем спрашивал уже две недели назад. Вы не дали тогда решительного ответа. Скажите окончательно — согласны вы жить со своим мужем или нет?

Варвара ничего не ответила.

— Согласны или нет? — повторил Минас Кириллович тоном строжайшего судьи.

— Папа... — умоляюще сказала Варвара и закрыла лицо руками.

— Согласны или нет? — еще раз спросил отец.

— Я ответила вам тогда...

— Оставьте, ради бога, эти нежности. Они мне уже надоели. Ответьте мне на вопрос: желаете ли вы помириться со своим законным мужем Акимом Абросимовичем Мизандронцевым?

— Нет.

У Минаса Кирилловича загорелись глаза, но он сдержал свой гнев.

— Это ваше последнее слово?

— Да,— ответила Варвара с изумительной смелостью, вызванной суровым голосом отца и его решительным тоном.

Старик с минуту помолчал.

— Благодарен вам за окончательный ответ,— сказал он наконец, вздохнув,— очень благодарен. Разрешите теперь, уважаемая, задать вам еще один вопрос. Я решил в ближайшие дни выехать в Моздок, соблаговолите ли вы меня сопровождать?

Варвара поняла истинный смысл вопроса. Она опустила голову на грудь и ничего не ответила.

— Мы отныне не можем оставаться в Тифлисе,— сказал старик, устремив на дочь испытующий взгляд.— Да, не можем, мы должны отсюда уехать. Да, уехать скоро, понимаете, послезавтра, завтра, даже сегодня...

Он потерял самообладание. Нижняя челюсть и подбородок задрожали, голос пресекся. Каждое его слово иглой вонзалось в сердце Варвары. Она с трудом удержалась, чтобы не сползти со стула к ногам отца. И так, значит, отец понял все и хочет разлучить их.

— Вы не отвечаете, госпожа! — воскликнул старик. — Понимаю причину. И как не понять: ясно, ясно... Бесстыд...

Скрипнув зубами, он сильно ударил кулаком по столу и вскочил.

— Отец!.. — слабым голосом произнесла Варвара.

— А-а, значит не отрицаете, уважаемая госпожа!.. Значит тот мерзавец, которого я имел глупость принимать у себя, свел тебя с ума? Он, этот наглец?.. Ах, если бы я знал!.. Бесстыдница, скажи, еще не поздно?..

Все потемнело в глазах у Варвары. Дрожа всем телом, она вскочила с места и кинулась к ногам отца.

— Отец, любимый, добрый отец, не проклинайте меня, пощадите... Нет, не поздно, отец, я виновата...

Горькое, сдавлившее горло рыдание прервало ее слова. Дрожжащими руками Варвара схватила полу отцовского халата и прижала ее к губам.

— Прочь, прочь, проклятая, прочь, говорю тебе, — закричал обезумевший от гнева старик.

Но Варвара, не выпуская из рук полу халата, подняла на взбешенного отца полные мольбы глаза.

— Прочь!.. — повторил старик и ударил дочь в грудь носком туфли. — Уйди, люби его, любите друг друга, наслаждайтесь! Пусть будет втоптана в грязь честь Киришчьева. Пусть ненавидят его... Пусть все показывают на него пальцами и отворачиваются, и презирают... Уйди, у меня нет дочери, она умерла для меня... Ах, если бы она умерла ребенком, как остальные... Что он делал здесь, скажи, что он делал здесь, этот бесстыдник?..

— Он не виноват, напрасно ты проклинаешь его.

— Не виноват? Ты еще осмеливаешься защищать его? Он не виноват, а убегает отсюда как помешанный! Увидав меня, не знает, куда спрятать лицо, и — не виноват?.. Спроси соседей, они расскажут тебе. Что знаешь ты, жалкое создание, ты простодушна. Страсть так ослепила вас, что вы даже не заметили, как за вами наблюдают в окно и смеются. Не увидела б ты света!..

Он вырвал из рук дочери халат и отошел. Варвара стояла у стены, ломая руки. Тяжелое дыхание вздымало ее грудь. Она не потеряла сознания, но была мертвенно бледна. Что сказать, как оправдаться? Сказать, что не любит Ростомяна, обмануть отца? Нет, это невозможно, да и напрасно. Ему все известно, он или сам видел все в окно, или ему рассказал соглядатай. Варвара вспомнила тень, проскользнувшую тогда мимо окна. Кто бы это мог быть?

— Ты позоришь родного отца, неблагодарная! — продолжал старик. — Ну, скажем, я повинен в твоём несчастье, но, проклятая, разве у тебя не было другого средства отомстить мне, неужели только этот позор — единственная возможная месть? В тысячу раз было бы лучше, если бы ты отравила меня, убила бы. А теперь?.. Что делать мне, скажи, что делать?.. Пойти убить это сатанинское отродье?..

— Отец, — Варвара протянула к нему руки, — убейте меня, я готова с радостью умереть от вашей руки. виновата я, признаюсь вам в этом. Но виновата только в том, что люблю... больше ни в чем. Я не хочу говорить вам неправду, обманывать. Если бы это зависело от моей воли, я бы не позволила ему сюда войти. Но — не смогла... Зачем привезли вы меня сюда, зачем и меня и его бросили в этот огонь? Что говорю я?.. Нет, вы не виноваты, так должно было случиться и случилось. Но не поздно, клянусь могилой моей матери, не поздно, верьте мне, папа. До сих пор мне известно только то, что он любит меня... больше ничего. Теперь лишь остается, чтобы я предала эту любовь забвению... Уедем, папа, удалимся из Тифлиса... я готова... я поза...

Варвара не смогла закончить. Голова ее бессильно откинулась на плечо, она пошатнулась и без чувств упала на пол.

В течение нескольких мгновений старик, опешив, холодно смотрел на, казалось, бездыханное тело дочери. Внезапно выражение его лица изменилось. Глухо вскрикнув, он бросился к Варваре и коснулся рукой ее лба. Опомившись, он в ту же минуту вскочил, схватил графин с водой и обрызгал голову, лицо, полуоткрытую грудь дочери.

Мало-помалу она пришла в себя, подняла отяжелевшие веки и оглянулась, ничего не соображая. Ей показалось, что отец ушел из комнаты.

Но Минас Кириллович сидел на стуле и, охватив седую голову руками, горько плакал...

11

День был воскресный. Вдова Наталья сидела на тахте у себя в комнате. Перед нею, обмахиваясь пышным светло-розовым веером, взад и вперед ходила Като, разряженная, в легкой тонкой шелковой накидке, высокой шляпе, украшенной перьями.

— Что бы ты ни говорила, — сказала вдова, печально покачивая головой, — ты не должна была так поступать. Какое тебе дело?

— Ах, мама, ты из моих слов целую историю сделала. Сама я ведь ничего не сказала — он посмотрел на меня удивленно, я засмеялась, он понял. Он и без меня все бы понял. Встретился лицом к лицу с Ростомяном! Будь он слепым, и то мог бы понять, что произошло в его доме. Эх, что я говорю, теперь это всему Тифлису известно.

— Будь проклят твой Тифлис! — в сердцах крикнула вдова. — Кто так быстро разболтал?

— Вот так штука, чем виноват Тифлис? Приезжают сюда эти кро из других городов, позорят имя тифлисцев, а «Тифлис виноват!». Очень хорошо, что не молчат...

Разговаривая, Като мелкими шажками ходила по комнате, иногда останавливаясь перед высоким настенным зеркалом и с гримасой рассматривала свой «турнюр», придававший ей вид распустившего хвост павлина.

— Ты все еще бываешь у них, мама? — вдруг спросила она.

— Бываю, но редко.

— Ну что ж, обрадована или огорчена эта твоя чудесная Варвара Минаевна?

— Ты смеешься, Като, а смеяться нечему. Увидишь ее — не узнаешь, ходячая покойница. Несколько дней лежала, была больна. Вчера только встала. Говорит «ничего», но видно — в плохом она состоянии. Знаешь, они

скоро уедут из Тифлиса,— сказала добросердечная женщина и вздохнула.

— Э-э, что ты говоришь? А Ростомян знает, что его возлюбленную похищают?

— Наверяд ли... Со мной он не говорит, стыдится, а я не начинаю разговора. Эх, Като, не нравится мне то, что он сделал, но жаль мне беднягу. С того дня он все тает и тает. Днем дома не сидит, четыре дня не обедал, потом опять стал приходить. Бедный парень!..

— Пропади он, твой бедный парень! — с пренебрежением воскликнула Като.

На балконе появился Лазарь Макарович, тоже разряженный, в блестящем цилиндре, со свежесвыбритым широким подбородком, подкрученными толстенькими усами.

— Вот и я, здравствуйте, Наталья Петровна,— воскликнул он, входя в комнату. Лицо у него было радостное, веселое. — Като, нанял дачу в Боржоме, воля твоя выполнена. Там и проведем лето. Наталья Петровна, и вы должны поехать с нами.

— Нанял?! — возмущенно вскричала Като. — Кто тебе сказал, чтобы так торопился, может быть, я в Боржом и не собиралась, а хотела еще куда-нибудь?

— Боже милостивый, сама же ты сказала, что это лето мы проведем в Боржоме?

— Сказала, но не говорила, чтобы ты сейчас же побежал и нанял. В апреле месяце?.. В этом году многие из тех, кто ездил в Боржом, собираются в другие места, а если они не поедут, на что мне Боржом нужен?..

— Ну вот, один не поедет, другой поедет — какое нам до этого дело? Мы же на дачу едем, а не на людей глазеть.

Наталья Петровна, молча смотревшая то на дочь, то на зятя, одобрительно кивнула ему головой.

— Ты мне скажи окончательно — нанял, задаток дал? — спросила Като.

— Дача Махсудова, а Махсудов — мой приятель, мы свое держим, не отступаемся.

— Ну, если не захочу — не поедем, конечно. Теперь скажи, ты только из-за этого сюда за мной прибежал или у тебя другие дела есть?

— А какие же еще дела — в первый раз тебя в Боржом везу, что — это мало?

— Кто сказал, что мало, — язвительно ответила Като, — но, извини, сейчас мне о Боржоме думать некогда. Ты посиди с мамой, я сейчас вернусь.

— Куда ты? — спросил Лазарь Макарович изумленно.

— Завтра певица Соловьева уезжает. Сегодня она будет у мадам Сатоян, я хочу с нею познакомиться.

— Сделано — кончено, — насмешливо улыбнулся Лазарь Макарович.

— Что тебе нужно, что? — возмутилась Като.

— Хочу, чтобы ты повсюду ходила со мной, — шуточно ответил Лазарь Макарович. — Я ревнив, понимаешь? — добавил он тем же тоном.

— Азиат, — с издевкой сказала Като, — этого недо-ставало, чтобы ты за мной бегал и не отпускал меня ни на шаг. Подумаешь, ревнив. А завтра, как авлабарец, еще скажешь: «Сиди дома и никуда не ходи!». Стыдись, стыдись, Лазро, что скажут, если услышат?.. Это в старые времена муж командовал женой, теперь времена другие, понимаешь?

— Правду говоря, мне старые времена очень, очень нравятся.

— Что я тебе — дочка каменщика, кожевника или башмачника? — возмущенно вскричала Като. — Жаль... Тебе бы такую жену, — многозначительно мотнула Като головой в сторону соседней квартиры, — она бы тебя вразумила. Бедный человек, не отходил от дочки, а видел, что наделала?..

— Ну ладно, Като, — вмешалась вдова, — ничего он тебе особенного не сказал, пошутил.

— Пусть в другой раз он шутит со мной умнее, — с укором ответила Като, — а не то и тыобразишь, что я шляюсь. Пойдем, — обратилась она к мужу, — пойдем, покатаемся на фэртоне, потом, к двенадцати часам, ты отвезешь меня к мадам Сатоян.

Когда дочь с зятем ушли, вдова, испустив глубокий вздох, сказала им вслед:

— Ах, если бы вы до смерти прожили в согласии...

Несколько часов спустя слуга вдовы Петрэ стал накрывать на стол. Утром на вопрос Натальи Петровны

Ростомян сказал, что будет обедать дома, но вот уже шел третий час, а его все еще не было. Наконец он пришел, и вдова сейчас же его позвала.

Ростомян выглядел устало, был весь в поту, ботинки и края брюк — в пыли.

— Долго гуляли? — спросила Наталья Петровна.

— Далеко был, за городом, — утомленным голосом ответил Ростомян. Он начал торопливо есть. Вдова исподтишка за ним наблюдала. Ей казалось, что ее молодой квартирант за последние дни не только похудел, но и постарел. В самом деле, у висков словно прибавилось седины. Глубоко запали морщины возле углов рта, а коротко подстриженная редкая бородка еще более подчеркивала его худобу.

После обеда Ростомян, против обыкновения, остался у вдовы. Он сел на тахту и взял в руки папироску. Вдова чувствовала, что он хочет ей что-то сказать. И вправду, Ростомяну хотелось поговорить со своей добросердечной хозяйкой... о Варваре. С того знаменательного вечера прошло целых тринадцать дней, и с тех пор Ростомян ни разу не видел Варвару. Дней пять-шесть подряд он бродил где-то вне дома. Терпение его наконец истощилось, и он решил непременно повидаться с молодой женщиной. А ее не было видно ни на балконе, ни у окна. Что с нею случилось? Не больна ли? Вероятно, больна, иначе появилась бы. Только один раз за все это время перед Ростомяном мелькнула в свете лампы фигура Варвары, но это не рассеяло у него опасений, связанных с ее здоровьем.

После небольшого разговора с вдовой о различных пустяках Ростомяну удалось перевести речь на желаемую тему. Он прекрасно знал, что вдове все известно, но до сих пор не решался поговорить с нею прямо. А Наталья Петровна хранила корректное молчание — вопрос был весьма шепетилен.

— Минаса Кирилловича что-то не видно, — заметил Ростомян с деланным безразличием.

— Почему? Он нет-нет, а выходит из дому.

— А вы бываете у них? — с таким же напускным спокойствием спросил Ростомян.

— Была вчера.

— Не больны ли они?

Вопрос этот развязал язык Натальи Петровны. Со вздохами и стонами она стала описывать положение своих квартирантов. Отец очень опечален, а дочь и не больна по-настоящему, но и не здорова. А за последние дни просто тает.

— Лежит? — спросил Ростомян, все еще сдерживаясь.

— Несколько дней лежала, теперь встала.

Разволновавшись, Ростомян прикусил губу.

— Вчера Минас Кириллович мне сообщил, что они скоро от меня уедут.

— Переезжают на другую квартиру?

— Нет, Степан Григорьевич, уезжают.

— Куда?

— Не знаю, не хотят оставаться в Тифлисе.

— Когда они едут? — напряженно спросил Ростомян, пораженный этим неожиданным ударом.

— Еще неизвестно. Минас Кириллович должен откуда-то получить деньги. Как только получит — уедут. Но, — добавила вдова, таинственно покачивая головой, — навряд ли это случится скоро. Доктор сказал, что Варвара не сможет перенести сейчас длительного путешествия... оно может ей повредить...

Ростомян побледнел. Итак, она лечится, значит больна по-настоящему и, может быть, опасно. Он прекратил свои расспросы, переменял тему и через несколько минут ушел к себе.

Торопливо присев к столу, он начал писать Варваре. Он умолял молодую женщину позволить ему хотя бы на полчаса увидеть ее. Письмо было написано, вложено в конверт. Осталось найти способ его передать. Ростомян подумал сначала о почте, но это был сомнительный способ, письмо могло попасть в руки Минаса Кирилловича. Два дня подряд Ростомян ходил с письмом в кармане. На третий день утром он заметил, что старик куда-то ушел. Он долго следил за ним в окно и, когда Минас Кириллович скрылся за углом, вышел на балкон. Время от времени из комнат в кухню и обратно проходила Матрена. Ростомян улучил удобный момент и поманил к себе старуху.

— Матрена, у меня к тебе просьба, исполни ее,— попросил он, отводя старуху в сторону.

— Прикажете,— сказала русская старуха, обрадованная тем, что такой молодой красивый господин о чем-то ее просит.

— Вот, передай это письмо Варваре Минаевне, сию же минуту. Но так, чтобы никто не видел. На, возьми.

Сказав это, Ростомян сунул в руку старухи письмо, в другую — рублевку. Старуха подозрительно посмотрела на него и не двинулась с места.

— Ну, иди же, но чтобы никто не узнал, понимаешь, никто.

Старуха таинственно осмотрелась и, взяв письмо, направилась в комнаты своей хозяйки.

Ростомян вернулся к себе, лег ничком на кровать и погрузился в раздумье. Что ответит ему Варвара? Примет ли она его, как, где? У себя она его принять не может: Минас Кириллович как бдительный страж теперь следит за каждым шагом дочери. Да и только ли следит, он, вероятно, еще и терзает ее своими спросами да расспросами? И упрекает с утра до вечера, и обращается еще суровее или, может быть, чтобы наказать за дерзость, прибегает к другим варварским средствам. И может ли человек, у которого честолюбие стало болезнью, сдерживать раздражение против родной дочери, если он считает ее поведение столь предосудительным, столь преступным. Нет, отнюдь. Он жестоко накажет преступную. И он не сможет поступить иначе потому, что этого требует его мировоззрение, окружающая его толпа. Толпа, перед мнением которой Минас Кириллович трепещет, которая его гнетет, закабалает. Почему? Потому что толпа для него единственный безошибочный судья, она руководит его умом и сердцем. У него нет своего мнения, своего чувства справедливости. Да, ужасно нравственное ярмо, налагаемое на человека обществом. Оно деспотично, зачеркивает, уничтожает всякую самостоятельность личности. Вот почему, когда личность дерзко восстает, дерзает против этого общественного деспотизма, толпа начинает орать, указывая на нее пальцами: «Вот преступник, которого следует наказать, вот сумасшедший, руки и ноги которого надо сковать! Накажите его, выбросьте из нашего круга, потому что он осме-

ливається восставати проти наших предрасудков и суевір'ї...»

Общество — слепой, фанатичный судья, который судит и осуждает всегда односторонне. Пусть судит и осуждает. Но ведь законы тоже создают люди. Ведь было время, когда многое из того, что теперь общепринято, считалось исключением и точно так наказывалось толпой. И неужели то, что и в этом случае считалось преступным, не станет в будущем законом? Неужели кто-либо сможет остановить колесо безостановочно работающей машины природы?

Тяжесть этих мыслей давила, Ростомьян поднялся с кровати и выглянул во двор. Прошел уже целый час, но от Варвары ответа не было. Минуты бежали за минутами, но горничная не приходила. Прошло два, три часа — все то же. Наступил печальный вечер. На дворе уже стемнело, но в окне у Варвары не было видно света. Что делать, к кому обратиться? Неужели Варвара так больна, что не может написать хотя бы нескольких строк? Может быть, она не хочет отвечать? Может быть, решила все предать забвению?.. Вполне возможно, ведь она «любит отца».

До самой полуночи Ростомьян, оставив двери открытыми, бродил по комнате, все еще надеясь получить какое-нибудь известие. Он то и дело выходил на балкон, рассчитывая увидеть старуху горничную. Но свет давно потух и на кухне. Ростомьяну было тревожно и беспокойно. Его пугал окружающий мрак. Его сердце, казалось, предчувствовало какое-то новое несчастье. Ему казалось, что злой рок навеки лишил его возможности увидеть Варвару. Надежды получить от нее весточку уже не было. Поэтому он закрыл двери, разделся и лег.

Тяжела была для него эта ночь. Настоящее и грядущее возникали перед ним в каком-то непроицаемом хаосе. Как произошло все это? Как зародилось в нем и развилось чувство любви? Разве прежде не показалось бы ему смешным, если бы кто-нибудь предсказал ему то состояние, в котором он сейчас находится? Да, жизнь очень сложное, малопонятное явление — чем глубже проникаешь в него, тем более оно становится таинственным. Мог ли он три месяца назад представить, что его безмятежное, монотонное, скучное существова-

ние так резко изменится? И что такое любовь, что в ней за невидимая сила, такая деспотичная, непреодолимая? Любить и не надеяться, что когда-либо придет счастье — нет, более тяжелого страдания нельзя себе представить!

Для того чтобы хотя бы на два часа дать покой своим расстроенным нервам, Ростомян старался забыть — совсем не думать или думать о чем-либо другом. И воспаленное воображение, на несколько минут разлучив с теперешними переживаниями, унесло его вдаль, к глубокому прошлому. Он вспомнил свой родной город, родителей, детство. Вот их бедненький дом, вот тот широкий двор, где в тени деревьев он играл с единственной сестрой, живущей теперь с мужем в одном уездном городе, и с младшим братом, умершим в юности. Вот истомленная гнетом бедности, худая, но красивая мать. Вот невысокий, седовласый, в восточной одежде отец — он старше матери на двадцать лет. Каким ревностным христианином был этот человек — он утро и вечер проводил в церкви, дома с головой уходил в священные книги. Вспомнил Ростомян и те зимние вечера, когда мать что-нибудь шила, склонив голову над работой, а отец, заложив за спину подушку, сидел, поджав ноги, у стены и читал вслух евангелие или библию, а они с сестрой учили уроки в углу комнаты или играли. Иногда он бросал учебник, подсаживался к отцу и слушал его. Он до сих пор помнит ровный монотонный голос покойного отца, то повышающийся, то понижающийся, когда он читал вдохновенные евангельские тексты.

Ростомян вспомнил многие из этих текстов, те отдельные отрывки их, которые отец читал подчеркнуто, особенно оттеняя их. Они особенно часто звучали в ушах мальчика.

Вдруг он в ужасе вскочил и сел на постели. «Не пожелай жены ближнего твоего» — вспомнил он и произнес вслух запомнившийся ему текст. Потом, приложив руку ко лбу, он вспомнил и другой: «Женщина замужняя с мужем живым связана законом»...

Вот где источник, начало, вот что оправдывает предрассудки Минаса Кирилловича и других людей. Зачем же обвинять старика, называть его деспотом, безжалостным отцом?..

— Зачем? — повторил он вслух. — Разве я тот, кто может дерзнуть зачеркнуть этот вековой завет?..

Да, противник мощен, непобедим — это вековая традиция и нерасторжимый закон... Это давно известно Ростомяну. Фраза эта, которую читал ему отец из священной книги и которую он так ясно вспомнил, вызвала в нем какое-то особенное чувство, и он долго томился в постели, пока наконец не посветлело в окнах...

12

Весь день и всю ночь после обморока у Варвары сильно болела голова. Затем головная боль прошла, но какая-то необычная слабость охватила все тело молодой женщины. Она, однако, не обращала на нее внимания, хотя порой едва держалась на ногах. Жизнь, которая несколько дней назад стала такой заманчивой, теперь казалась ей погруженной в мрачный туман. Начиная с той минуты, когда она ответила отцу, что согласна последовать за ним, согласна покинуть Тифлис, грядущее не обещало ей никакой радости. Она знала, что решение отца неизменно — если она откажется, он оставит ее и уедет один. Бог знает, куда уедет, и Варвара чувствовала, что в таком случае она больше не увидит его. Дать другое направление делу теперь было невозможно. Оставались только два выхода: последовать за отцом, навеки унося в сердце гнет неутоленной любви, или уйти с Ростомяном и стать отцеубийцей. Долго раздумывать было некогда, надо было выбрать один из этих путей, и она решила выбрать первый — свою муку.

— Нет, любовь никогда не заставит меня поднять руку на старика-отца, — неустанно повторяла Варвара.

И повторяла не с той бесстрашностью отчаявшегося человека, которая отражает высокомерную непреклонную настойчивость, а с решимостью остаться верной своему слову до самой последней ужасной минуты. Она словно уговаривала самое себя, стараясь во имя дочерней любви и понимания долга подавить в себе любовь более сильную. Но если даже она сможет одержать над последней какую-то решительную победу, ради чести и счастья отца,

то как все же преодолеть ей ужасное препятствие, которое она встречает на этом пути... Перед ее глазами возникает горестное лицо Ростомяна. Она слышит его отчаянный призыв. «А я?.. Неужели ты должна пожертвовать ради спокойствия старика молодой жизнью?..»

Вот почему Варвара, решив последовать за отцом, все же колебалась. Что будет делать Ростомян? Сможет ли он перенести этот удар? Сможет ли забыть?..

Томясь этими мыслями, Варвара как-то вечером ходила из угла в угол по своей комнате. Окна и двери были закрыты — на дворе немного похолодало, но в комнате было душно и жарко. Варвара открыла одно из окон, выходящих на улицу, и вдыхала свежий воздух. Прохладный ветерок освежающе коснулся ее разгоряченной головы и полубоюженной груди.

Еще не было поздно. Еще были слышны звонки конки, гул проезжающих экипажей, глухие голоса людей. А откуда-то, совсем издалека, доносился и бурный шум Куры, вздыбленной тяжелыми весенними водами. Этот шум текущей воды, доходившей до нее из окутанной мглой дали, и привлекал Варвару и оказывал на нее какое-то ужасное влияние. Стоя неподвижно у окна, она прислушивалась к нему довольно долго. «Сколько несчастных поглотила Кура», — промелькнуло вдруг у нее в голове. Варвара высунулась из окна и прислушалась к шуму реки. «Как ужасно грохочет она. Воды вздулись, волны мутны и бешены... Они могут за одну минуту унести тебя, поглотить... Вот где можно найти покой. Мгновенно — и все будет кончено...»

Все еще прислушиваясь, она опустила глаза на мостовую, едва видневшуюся в темноте. «Зачем в Куру? — подумала она, — смерть и здесь недалеко от меня — легкое движение, и на мостовую упадет мое бездыханное тело»... Голова у нее вдруг закружилась и она, ужаснувшись, отодвинулась от окна. В то же время она почувствовала какой-то холодок в спине, и по всему телу пробежала дрожь. Это было влияние прохладного воздуха, до сих пор казавшегося ей таким приятным. Варвара закрыла окно и отошла в глубь комнаты.

Прошло около часа. Варвара легла. Несмотря на теплое одеяло, холодок в спине стал ощутительнее, и она стала дрожать. В течение двух часов у нее непрерывно лихо-

рабочно стучали зубы. Затем ее охватило приятное тепло, и она забылась.

Проснувшись утром, Варвара хотела одеться. Но когда она приподнялась на постели, у нее вдруг сильно закружилась голова, и она снова легла. Какая-то неодолимая слабость охватила все ее существо, остро заняли кости. В таком состоянии она пролежала около часу. В комнату вошла горничная, спросила — не желает ли барыня умыться? Старуха была очень удивлена, найдя Варвару в постели — обычно она вставала раньше всех.

— Барин уже напился чаю и сидит в своей комнате, — объявила горничная.

— Очень хорошо, можешь убрать со стола, Матрена, я чай пить не буду, — сказала Варвара, с трудом открывая глаза.

— Почему?... Господи боже, да вы, кажется, больны, барыня?.. — старуха подошла к постели и коснулась лба Варвары. — Ну конечно, больны, по-настоящему больны, барыня... Глаза у вас красные, лоб горяч, как огонь. Сейчас пойду, скажу Минасу Кирилловичу.

— погоди, Матрена, не надо, не говори... Ничего нет.. Немного слаба, скоро встану... Пойди, принеси мне воды умыться...

Горничная ушла и тотчас принесла воду.

Варвара села в постели, стараясь победить свою слабость. Плеснув холодной водой на щеки и лоб, она, обессиленная, снова легла, обернулась лицом к стене и махнула старухе рукой, прося оставить ее одну.

Минас Кириллович проводил дни, уединившись в своей комнате. Порой он не выходил ни к чаю, ни к обеду. Горничная все приносила к нему в комнату и всегда видела старика с длинным чубуком в руках, погруженного в думы. Простодушной старухе давно было известно, что Варвара несчастлива в браке, и она объясняла печальный вид старика именно этим обстоятельством, а о последних событиях еще ничего не знала. Не сдержав обещания, она сообщила барину, что дочь его больна и лежит.

Минас Кириллович принял известие холодно и только кивнул головой.

К полудню жар у Варвары усилился. Когда Матрена зашла к ней спросить, как она себя чувствует, Варвара

лежала без сознания и тяжело стонала. Старуха, перепугавшись, снова помчалась к Минасу Кирилловичу.

Когда отец вошел в комнату к дочери, Варвара пластом лежала на кровати, раскинув белые обнаженные руки по одеялу и устремив горящие глаза на потолок. Вот уже две недели отец шага не делал в эту комнату, куда прежде заглядывал по нескольку раз в день — поболтать с дочкой, сообщить ей какую-нибудь городскую или газетную новость.

— Вы больны? — суровым голосом спросил он, остановившись в двух шагах от кровати.

Варвара не услышала голоса отца, но подняла на него глаза. На несколько мгновений взгляды отца и дочери встретились. За последние две недели в первый раз они смотрели прямо в лицо друг другу.

— Вы больны? — повторил старик еще громче.

— Нет, — ответила Варвара, но по ее побелевшим щекам и покрасневшим глазам было видно, что она говорит неправду.

— Матрена сказала, что вы больны.

— Нет, я не больна...

— Если больны, я пошлю за врачом, — сказал отец, еще на шаг подходя к кровати.

— Врача?.. Нет, не надо, не хочу, сейчас все пройдет, я встану... Спасибо...

— Скрывать напрасно, больному нужен врач, — сказал Минас Кириллович и вышел.

Не прошло и получаса, как он вернулся и впустил в комнату дочери человека лет пятидесяти с лишним, подвижного, чисто выбритого, с рябоватым лицом и тронутыми сединой волосами. Это был один из видных тифлиских врачей армян.

Твердыми шагами подойдя к больной, врач очень весело заговорил с нею, пощупал пульс, посмотрел язык и начал ее расспрашивать. Затем с загадочным лицом он подошел к столу, выписал несколько рецептов, сделал несколько необходимых указаний и ушел, обещав зайти еще раз.

Варвара приняла прописанные ей лекарства, однако к вечеру температура дошла у нее до сорока с лишним. Врач приехал еще раз и прописал новые лекарства.

До поздней ночи Варвара металась в сильном жару. За нею ухаживала Матрена, а Минас Кириллович, сидя в углу комнаты, слушал, как бредит дочь. И в ее несвязных словах он ловил то имя, то фамилию Ростомяна.

«Действительно она больна или притворяется?..» — подумал было он, но воспоминание о рецептах доктора, о его серьезном лице отогнали эту мысль.

Жар не спадал пять дней. Дважды в день врач аккуратно навещал Варвару и каждый раз выходил от нее с угрюмым лицом. На шестой день утром Варвара сказала врачу, что чувствует себя здоровой и просит разрешить ей встать. Но он приказал ей оставаться в постели еще несколько дней. Однако Варвара на другой день была уже на ногах. Врач, увидев, что больная не желает его слушать, рассердился, упрекнул ее и объявил, что отныне, раз она чувствует себя здоровой, его посещения излишни. Минас Кириллович вручил ему гонорар и проводил к выходу.

Так или иначе, Варвара поднялась, и Минас Кириллович стал готовиться к отъезду. Деньги, которые он ждал, им уже были получены. Однажды утром он предложил Варваре собрать свои вещи с тем, чтобы через два дня они могли выехать пораньше. Старик уже распорядился, чтобы владелец мебели пришел в этот день и увез ее. А за пианино должны были прийти накануне их отъезда.

Варвара была занята укладкой своих вещей, когда вошла Матрена и молча вручила ей письмо Ростомяна.

— Кто тебе дал? — спросила Варвара, еще ни разу не видевшая почерка Ростомяна.

— Тот молодой господин, — ответила старуха, показывая рукой на соседнюю квартиру.

Варвара, ослабев, села на стул и отпустила горничную. Разорвав дрожащими руками конверт, она вынула письмо и прочла. Письмо было короткое, но очень на нее подействовало. В течение нескольких минут, наклонив усталую голову, опустив ослабевшие руки на колени, Варвара, колеблясь, раздумывала — принять Ростомяна или отказаться?

Строки письма внушали ей надежду. Оно было написано отчаявшимся человеком. Один раз, и только один раз хотел повидаться с нею Ростомян.

— Он слышал о моем отъезде и не надеется меня увидеть, — сказала Варвара. — Нет, я не могу так холодно с ним расстаться, отчаяние его убьет. Я внушу ему бодрость... Надо исполнить его единственную и последнюю просьбу.

Но как и где назначить свидание? Отец не выходит из дому, значит Ростомян прийти к ней не может. Неужели Варвара должна будет сама к нему пойти? Нет, ни то, ни другое...

Весь день, ночь и на следующий день до вечера Варвара, продолжая собирать вещи, раздумывала, как поступить. Под вечер пришли люди и увезли пианино. Оставались две ночи и день, после этого Ростомяна уже нельзя было увидеть. Минас Кириллович взял билеты на скорый поезд, отходивший на третий день утром. Значит — либо этой ночью, либо завтра. Но зачем она хочет увидеть Ростомяна, разве уже не поздно?

Варвара то укладывала белье в дорожный сундук, то ходила взад и вперед по комнате. Иногда она останавливалась у окна и смотрела на балкон. Обитатели двора, по видимому, спали. В окнах вдовы не было света, так же как и в кухне. Настала полночь. Спал Минас Кириллович или не спал — было неизвестно. Из его комнаты не доносилось ни звука.

Неожиданно Варвара заметила на балконе какую-то темную фигуру. Под влиянием последних событий она стала еще более робкой. Испугавшись, Варвара закрыла двери. Потом, однако, снова подошла к ним и стала прислушиваться.

Кто-то снаружи два раза стукнул по стеклу. Варвара, набравшись духу, подошла к окну и услышала тихий голос, назвавший ее имя.

Она, дрожа, приоткрыла одну из ставней и лицом к лицу встретилась с Ростомяном.

— Это я, не бойся, — прошептал он.

Мгновенно сообразив, что разговаривать через окно еще опаснее, Варвара открыла двери и впустила Ростомяна.

— Что тебе нужно? — спросила она в смятении. — Зачем ты пришел так не вовремя?

Вместо ответа Ростомян схватил Варвару за похудевшие руки и повернул ее лицом к лампе.

— Ты больна? Скажи, опасна твоя болезнь, Варвара? — забыв, где он находится, спросил Ростомян довольно громким голосом.

— Я? Нет... Видишь, не лежу.

— Сядь, я взволнован и в таком состоянии говорить не могу. Сядем, потом... Он спит, я знаю, не сердись, не бойся, Варвара.

Ростомян сел на один из стульев, другой подставил Варваре. Но она не села, продолжая с боязливым лицом прислушиваться и осматриваться.

— Я боюсь, Степан, за нами следят, он может каждую минуту выйти. Скажи то, что хочешь сказать, и скорее уйди...

— Варвара, мне нечего тебе сказать, я только хотел тебя увидеть. Твоя болезнь опасна, я чувствую это. Погляди, какие синяки у тебя под глазами, как ты пожелтела. И у тебя сейчас жар, — добавил он, взяв ее за руку. — Боже мой, что случилось с тобой, неужели ты поедешь в таком состоянии? Пожалей себя, Варвара, упроси этого человека, чтобы он отложил свое решение до твоего выздоровления...

— Поздно. Видишь, мои вещи уже увязаны, все кончено... Прости меня, Степан, за то, что я причинила тебе горе... Забудь меня... Уйди...

Ростомян попеременно целовал ее руки, то правую, то левую. С тревожным лицом смотрел он на похудевшие, впалые щеки Варвары, на которых выступал какой-то неестественный легкий румянец. Он не предполагал, что болезнь могла так изменить ее. Какое-то зловещее подозрение вспыхнуло в его сердце, и он почувствовал, что болезнь действительно очень опасна. С глубокой горестью Ростомян несколько минут смотрел на лицо Варвары, она, отвернувшись от него, спокойно освободила правую руку и положила ему на плечо. А Ростомян, со шемящей болью в сердце, потрясенный жалостью, подавленный тяжестью предчувствия, нежно прижался губами к ее похудевшему лбу.

Прошло десять счастливых минут. Сердца их бились бурно. Варвара время от времени судорожно вздрагивала, а Ростомян все крепче сжимал одной рукой ее руку, другой то гладил ее лоб и волосы, то прижимал голову к своему плечу.

В открытые двери подул прохладный ветерок, и в то же время послышался какой-то легкий шорох. Варвара быстро оторвалась от Ростомяна и зашептала испуганно:

— Уйди, Степан, не испытывай меня, уйди...

Она подошла к двери и выглянула на балкон. Никого не было, ничего не было слышно, только мягко шелестели листья акаций.

Ростомян, позабывший в обольстительной близости Варвары о действительности, о своем и ее опасном положении, пришел в себя, сел на стул и ослабевшим голосом заговорил:

— Неужели в нем совершенно умерла жалость, неужели он решил убить свою единственную дочь? Нет, Варвара, — продолжал он, повысив голос, — его нельзя жалеть, жалеть надо тебя и меня... меня. Оставь его, уйди... Уедем вместе, скроемся от этого общества. Пусть обвиняют нас, не все ли равно?.. Пусть отец твой проклянет нас. Его проклятие не может на нас подействовать, виновен он... Бог не услышит проклятий человека, который во имя своей чести жертвует счастьем единственной дочери...

Он встал и снова подошел к Варваре, без конца повторяя:

— Уйдем, уйдем, Варвара!

Но Варвара, неподвижно стоя у стены, тихо плакала, закрыв лицо руками. Когда Ростомян подошел к ней, она отняла руки и решительным тоном сказала:

— Довольно, не подходи ко мне... Уйди, уйди и — забудь обо всем...

— Забыть? Мне, мне, забыть?.. — воскликнул Ростомян. — Забыть и допустить, чтобы ты, в этом состоянии, разлучилась со мной? Слушай, Варвара, я готов сейчас прибегнуть к какому угодно средству ради твоего и моего счастья. Я предлагаю тебе оставить старика и уйти со мной. Не хочешь?

Закрыв рукой лицо, Варвара сделала другой отрицательный жест.

— В таком случае остается один выход, позволь мне прибегнуть к нему. Позволь мне завтра утром прийти к твоему отцу, объяснить ему все, просить простить нас. Я буду его просить, умолять, чтобы... Что, неужели и это недопустимо?.. Тогда проси его сама, я все еще надеюсь,

что он не так безжалостен. Положим, что он не любит тебя как отец, но ведь человек же он, есть же у него сердце? Стань перед ним на колени, умоляй...

В то время как Ростомян в отчаянии убеждал ее, Варвара, казалось, и слушать не хотела его горьких слов. Сжимая горячие руки, она только умоляла Ростомяна оставить ее, уйти. В легком белом домашнем платье, с распущенными по заметно похудевшим плечам и белой груди пышными каштановыми волосами, слегка наклонившись вперед, она казалась в слабом свете лампы окаменевшим отчаянием.

Умоляя Ростомяна уйти, оставить ее, лишиться навек возможности ее видеть, она в эти минуты думала не о том, куда он может уйти, как может забыть ее. Она думала только о старике-отце, который с минуты на минуту мог войти и найти тут свою смерть.

Наконец, окончательно потеряв надежду, Ростомян, с трудом переводя дыхание, душераздирающим голосом произнес:

— Жестокая, ты меня не любишь!

Горькая улыбка скользнула по болезненному лицу Варвары. Она ничего не сказала, только протянула руку к двери в комнату отца.

— В таком случае отдай меня в жертву ему! — вскрикнул Ростомян с угрожающим видом и, не поцеловав Варвару в последний раз, даже не простясь с ней, выбежал из комнаты.

Варвара стояла окаменев, прислушиваясь к постепенно затихавшим шагам.

Внезапно из ее груди вырвался горький вопль безнадежности. Она побежала к двери и выглянула на балкон. Ростомяна уже не было видно...

— Все кончено! — воскликнула она и, обессилев, упала на постель...

Настало утро дня, когда отец и дочь должны были выехать из Тифлиса.

Все уже было готово, вещи связаны, мебель сдвинута в сторону. Еще накануне Минас Кириллович распла-

тился с поваром, но просил его прийти утром, помочь в сборах.

Матрена увязала свои убогие пожитки в большую скатерть, положила узел в одном из углов кухни и торопливо раздувала самовар, чтобы без чая не пустились в дорогу ни барин с барыней, ни тем более она.

Минас Кириллович проснулся очень рано. Он быстро оделся, натянул длинные дорожные сапоги и вышел из комнаты. Лицо у него было радостным, глаза блестели. Казалось, уезжая из Тифлиса, он навеки стряхивал с себя тяжелое впечатление, оставленное последними событиями. Вечером он несколько раз говорил с Варварой о предстоящей поездке, спрашивал, не чувствует ли она себя слабой и сможет ли выдержать переезд. Варвара уверила его, что совершенно здорова и готова ехать куда ему будет угодно. И действительно, она казалась здоровой, оживленной, на щеках выступил легкий румянец, походка была быстрее обычной, и голос звучал ровно и твердо.

Было шесть утра, до отхода скорого поезда оставалось еще два часа. Но вещей было так много, что на вокзал следовало попасть хотя бы за полчаса, чтобы успеть все разместить.

Минас Кириллович в последний раз осмотрел комнаты, сундуки, свертки — не забыто ли что-нибудь? Потом он посмотрел на часы и вышел на балкон, где повар ожидал последних распоряжений.

Старик послал его за папиросами, а сам вышел на кухню.

Высоко закатив рукава, старуха Матрена сидела на своем узле и, погрузившись в думы, смотрела на медленно закипавший самовар. «Зачем они приезжали, зачем уезжают?» — спрашивала она сама себя: Вот уже тридцать лет, как она служит у Киришчиева, видела смерть и детей и жены его, а Варвара выросла у нее на коленях. И за эти долгие тридцать лет она сжилась и с отцом и с дочерью, стала как бы членом семьи. Она часто признавалась, что любит их больше, чем своих сыновей, один из которых пропал неизвестно где, а другой батрачил на Волге, оставляя весь свой заработок в кабаках. Куда бы Киришчиевы ее с собой ни брали, Матрена отправлялась за ними. Минас Кириллович, из чувства жалости и благо-

дарности, не увольнял ее, тем более что горничную любила Варвара.

Неудачный брак Варвары очень огорчал старуху. Почему, думала она, эта молодая женщина должна оставаться без мужа? Но в то же время, зная поведение и повадки Мизандронцева, Матрена предпочитала, чтобы Варвара оставалась без мужа, чем жила с таким, как он. Она часто выражала Варваре свое сочувствие, утешала ее и проклинала Мизандронцева, и заодно всех мужчин, и оплакивала женскую участь.

— Торопись, Матрена, время проходит, — сказал Ми нас Кириллович, входя в кухню.

— Сию минуту, — очнулась Матрена.

— Барыня твоя проснулась?

— Должно быть, проснулась, сейчас пойду погляжу.

Матрена быстро прошла в комнату Варвары. Варвара уже проснулась, но еще лежала, отвернувшись лицом к стене и раскинув руки по одеялу. Войдя в комнату, Матрена тотчас услышала ее громкое дыхание. Думая, что Варвара спит, старуха подошла к кровати на цыпочках.

— Ты это, Матрена? — спросила Варвара, с трудом поворачиваясь на другой бок.

— Да, барыня, проснулись? Вставайте, мы уже готовы, самовар сейчас принесу. И барин уже сапоги надели...

— погоди, я сейчас встану.

Варвара слабой рукой откинула одеяло и встала с постели. Горничная сняла со стула и подала ей платье.

У Варвары дрожали колени, у нее был жар, кружилась голова, но она скрывала это. Она дрожала всем телом и одевалась с трудом, держась за спинку кровати, чтобы не упасть.

— Барыня, вы нездоровы? — спросила Матрена, подозрительно глядя в лицо Варваре.

— Здорова, Матрена, слава богу.

— Нет, барыня, вы меня обманываете, вы больны.

— Пойди, займись своим делом, я сейчас приду, — прервала ее Варвара.

— Воды умыться вам подать?

— Нет, потом, сейчас не надо.

Матрена вышла.

— Боже милостивый, неужели мне не удастся побороть свою слабость? — сказала себе Варвара. — Грудь, грудь моя... Прежде всего нужно спрятать эти платки... Она вынула из-под подушки два покрытых кровью платка и спрятала в карман.

Зловещий кашель прервал ее слова. Ее щеки побледнели. Она приложила платок ко рту, но на этот раз крови не было.

Самовар уже стоял на подоконнике в столовой. Минас Кириллович пил чай.

— Матрена, налей чаю барыне, время проходит, — распорядился он, искоса взглянув на пылающие щеки дочери, вошедшей в эту минуту в комнату. Он совершенно не думал, что болезнь ее так опасна.

Варвара открыла один из сундуков и пошла в свою комнату за вещами, которые нужно было взять с собой.

В то время как она была занята укладкой, старик приказал повару нанять два фаэтона, чтобы на час раньше послать на вокзал вещи. Матрена налила Варваре чай. Минас Кириллович, куря, прохаживался по комнате. Он часто поглядывал на часы и поторапливал дочь. Стрелка часов подходила к семи. Варвара уложила вещи и присела на сундук отдохнуть. Дыхание у нее ослабело, щеки опять побелели.

— Ты очень устала? — спросил Минас Кириллович. — Ничего, в дороге отдохнешь. Я взял целое купе, кроме нас никого не будет. Пей же чай.

Варвара, неподвижно сидя на сундуке, устала, уставилась в какую-то точку на полу. Дышать ей с каждой минутой было труднее, она употребляла сверхъестественные силы, чтобы не выдать свое состояние.

— Что с тобой, Варвара? Почему так тяжело дышишь?

— Ничего... — ответила она и, опершись рукой о стенку, сделала попытку встать.

— Ты больна, Варвара... Ты так бледна. Матрена, помоги ей, она больна...

Если бы горничная и отец не поспешили к ней на помощь, Варвара упала бы на пол. Она оперлась на плечо Матрены. С другой стороны ее поддерживал Минас Кириллович.

— Что случилось, что случилось? — спрашивал он.

Варвара ничего не ответила. В своей руке отец почувствовал холодную как лед руку. Пульс едва бился. Он в испуге обнял дочь, посмотрел ей в лицо. В нем не было ни кровинки, не было слышно и дыхания.

— Помоги, Матрена, она больна, — в смятении закричал отец и при помощи горничной отнес бесчувственное тело дочери в ее комнату.

Матрена быстро распаковала один из тюков и мгновенно постлала постель. Варвару уложили.

— Фаэтоны поданы, — доложил повар.

— Сядь в один из них и поезжай поскорее к Мискарянцу, знаешь его? Попроси от моего имени, чтобы он сейчас же приехал. Матрена, сбегай к хозяйке и позови ее сюда, скорей.

Ожидая прихода Натальи Петровны, старик, держа в своих руках руки дочери, старался привести ее в чувство. Варвара вскоре пришла в себя и окинула отца мрачным взглядом.

— Сейчас пройдет, — сказала она дрожащим голосом, — доктора не надо... Сейчас же уедем...

— Нет, Варвара, сегодня нельзя, уедем завтра, ты больна... Не бойся, доктор приедет и поможет...

В комнату вошла вдова Наталья.

— Не говорила ли я вам, что она больна, видите? — обратилась она с укором к старику. — Ничего, Варвара, доченька, приди в себя, приободришься...

Она куда-то убежала, но сейчас же вернулась со стаканом уксуса в руках и начала растирать им лоб, шею, руки и ноги больной.

Повар вернулся и сообщил, что доктор Мискарянец не приедет, отказался.

— Почему? — спросил Минас Кириллович удивленно и сердито.

— Говорит — занят.

— Негодяй, он не имеет права отказываться... Я поеду и сам привезу его.

— Понапрасну будет, барин, он сердится, говорит — лечил ее, не дали вылечить... Теперь, говорит, пусть другого зовут.

— Доктор Мискарянц очень грубый человек, он не придет, я знаю, пошлите за Мирзаханянцем, он сейчас же придет,— вмешалась вдова.

Повар ушел и, действительно, сейчас же привез Мирзаханянца.

Это был молодой человек среднего роста, франтовато одетый, с черной как смоль бородой, пробритым подбородком и почти закрывающими рот толстыми и длинными усами, похожими на крылья ласточки.

С важным видом опытного специалиста, который совершенно не шел к его женственным щекам и лбу, врач осмотрел больную, приободрил ее и попросил дать ему перо и бумагу.

Все было уложено. Вдова сбегала к Ростомяну, принесла перо, чернила и бумагу. Пока вдовы не было, доктор, расспрашивая больную, в то же время искоса осматривал комнату. Когда он, задавая наводящие вопросы, понял, почему комнаты опустели, выражение его лица изменилось, он начал говорить более мягко: Минас Кириллович не был беден...

Наталья Петровна дала Варваре лекарство и по-матерински за нею ухаживала.

Минас Кириллович отложил отъезд на неопределенное время. Тюки снова были развязаны, и комнаты приняли свой прежний вид. Повар остался. Жизнь потекла по старому руслу.

Доктор приезжал каждое утро и вечер и всегда утешал, говоря, что ничего особенного нет, что больная скоро выздоровеет.

Вдова по несколько раз в день навещала Варвару и часами просиживала у ее постели. Добросердечная женщина буквально страдала, ясно видя, с какой быстротой угасает жизнь в этом красивом молодом теле. Температура у Варвары то понижалась, то повышалась, а врач продолжал обнадеживать и отца и дочь.

Сама больная только улыбалась, когда слышала успокоительные слова врача. Для нее теперь было безразлично — выздоровеет она или нет. Она думала только об отце. Что будет со стариком, кто утешит его и чем? Но иногда она подбадривала и сама себя, думая, что последние события уменьшили любовь к ней отца. Удар не будет для него таким чувствительным, как если бы он любил ее по-

прежнему. Гораздо больше огорчала ее судьба Ростомяна — вдова приносила неутешительные вести о своем жилище.

Болезнь Варвары дала наконец повод Ростомяну поведать вдове о своей любви, сказать ей то, что она и так давно уже знала. Зачем, да и как было скрывать это теперь, когда он каждый день нетерпеливо, в горьком томлении, ожидал, когда Наталья Петровна принесет ему весть о состоянии больной.

В последние дни он по-прежнему не выходил из дому, кроме тех случаев, когда его вызывали к начальству. В первый раз ему был сделан легкий намек на то, что он очень запаздывает с завершением своей работы. Во второй раз он получил замечание, а в третий — строгий выговор.

Во время этих свиданий Ростомян и со своим начальством и с сослуживцами держался очень странно. Когда у него требовали сведений, связанных с его работой, он словно не слышал вопросов и заставлял повторять их, или смотрел изумленно. Нашлись наглецы, которые стали прямо говорить, что у него мозги не в порядке. Это мнение, как и все злые слухи, с быстротой молнии распространилось среди его сослуживцев, а там уже как определенный факт было вынесено и на улицу.

Наконец он был приглашен к начальству еще раз. Ему было предложено в течение нескольких дней закончить работу. В противном случае он будет уволен. Но куда там... У Ростомяна не было ни сил, ни желания работать.

Его уволили, работу отобрали и поручили другому. Ростомян принял удар с полным безразличием.

Зачем ему теперь служба и работа, и для кого он должен работать, когда изо дня в день угасал его интерес к жизни.

— Наталья Петровна, неужели нет надежды на выздоровление?

— Богу ведомо, сынок...

И Ростомян безнадежно опускал голову и умолкал. Какой смысл имели уверения врача, когда и неопределенные ответы вдовы и горестное лицо Минаса Кирилловича, время от времени появлявшегося на балконе, внушали Ростомяну, что больше надеяться не на что...

Итак, значит люди достигли цели — убили того, кто дерзнул поднять руку на их идолов... Судить их будут грядущие поколения...

Наталья Петровна, видя, как страдает ее квартирант, старалась утешить его, но напрасно... Бедная женщина не умела лукавить. Ее уверения не успокаивали Ростомяна. Иногда, возвращаясь от Варвары, она, сидя в одиночестве, старалась понять истинные причины несчастья молодой женщины. Она обвиняла то Минаса Кирилловича, то Мизандронцева, порой — Ростомяна, но ни на ком из них определенно не останавливалась. В конце концов, покачав в сомнении головой, она подходила к окну и долго-долго смотрела вдаль...

Като, как и прежде, часто навещала мать и подробно выспрашивала у нее о Варваре и Ростомяне. Ростомян и теперь ее избегал. Но завистливая женщина не осуждала Варвару с прежней суровостью. Добросердечная вдова в таких густых красках рассказывала ей о положении больной, что Като умолкала.

Однажды, когда Наталья Петровна переставляла мебель в одной из своих комнат, готовя ее для вскоре ожидавшегося в Тифлисе сына, к ней вошла Като. Она была взволнована и сердита.

— Что случилось? — спросила мать обеспокоенно.

Кинув на стол зонтик и шляпу, Като сказала:

— Пойди скажи Варваре Минаевне, что мне очень, очень нравится ее поступок. Негодяй, кинто, авлабарец, лавочник!..

— На кого ты сердишься, Като? В чем дело?..

— В том, что ты сделала меня несчастной.

— Я сделала тебя несчастной?.. Чем?

— Тем, что отдала меня замуж за этого авлабарского кинто... Грубый, невоспитанный... Позволяет себе меня подозревать...

— Подозревать? Что ты говоришь, Като?

— Послушай и поймешь, о чем я говорю. Я после этого... не-е-е могу-у с Лазро... жи-ить... Он сошел с ума, понимаешь, сошел с ума. Он прогоняет из дому моих гостей, он меня срамит во всем городе, имя мое грязнит...

— Кого он прогнал, когда?

— Погоди, расскажу.

И Като рассказала. Утром Лазарь Макарович уходит по своим делам. Като остается дома и занимается домашними делами. В одиннадцать часов брат госпожи Мейбаровой, князь Серапион Бекханов, приезжает по поручению сестры — спросить, когда они собираются на дачу. Не впервые же и не в последний раз на свете знакомый приезжает к знакомому? Ну, Като из вежливости предлагает гостю чашку кофе. «Бедный» молодой человек остается. В это время возвращается Лазарь Макарович, видит князя и — вешает нос. Като старается быть с гостем любезной — гость, ведь нельзя его обижать. Час, целый час этот грубый, невоспитанный лавочник Лазро сидит, кисло смотрит, а если говорит, то будто нехотя. Наконец князь уезжает, а Лазро начинает кричать: «Какое до нас дело этому молодому князю — кто я, кто он?..»

— Я говорю ему,— продолжает Като,— ведь мы с ним целых два года знакомы, и ты и я. «Какие там знакомые, говорит, это ты их мне на шею навязала, у меня с такими пустыми людьми дел нет. Ходит голодный, какая от таких польза? Глядишь, денег в долг попросит или пакость сделает...». «Что он может дурного сделать?» — спрашиваю. «По глазам вижу, человек грязный». Видишь, мама, каким большим человеком авлабарский лысый Лазро стал, ему даже князья не нравятся. Начала я его успокаивать... Ничего не выходит. Вижу — глаза у него красные, как у волка бешеного, так вот меня и придушит на месте. Лопнуло у меня терпение, начала ему возражать. А он совсем взбесился и ругнулся, да как... Вот я со стыда взяла и убежала, только бы не слышать. Нет, нет, мама, я не могу быть женой такого человека, он с ума сошел...

Вдова стала успокаивать дочку, оставила обедать, обещала побранить Лазаря Макаровича, примирить их.

— Нет, я с ним не помирюсь,— воскликнула Като,— пусть убирается куда хочет, пусть найдет себе жену лучше меня!

На следующий день гнев Като прошел, и она обещала матери помириться с мужем, если только мать пойдет, как следует его отругает и добьется, чтобы он сам пришел просить прощения.

— Иначе я к нему не вернусь,— заявила она.

Лазарь Макарович был действительно взбешен, но когда жена не вернулась домой, оставшись ночевать у мате-

ри, он наутро пожалел, что заподозрил ее в неверности и так грубо обошелся с нею. Однако самолюбие не позволило ему протянуть Като руку примирения. Он надеялся, что она вернется сама и попросит прощения. Наконец, когда спустя два дня перед ним появилась Наталья Петровна, он встретил ее с тайной радостью, но внешне весьма холодно. Вдова стала уговаривать его, попросила от имени дочери извинения, обвинила ее и, наконец, словив упрямого зятя, увела его к себе. Там его с нетерпением ожидала Като. Они вместе пообедали и, чтобы скрепить примирение, Наталья Петровна заставила их троекратно облобызаться. Однако вдова опять загрустила. Кто знает, что подумала она, увидев, как легко меняет свои настроения ее дочь...

Пока муж и жена после обеда полусерьезно, полушутя укоряли друг друга, вдова поспешила к Варваре. Через полчаса она вернулась хмурая.

— Как ее дела? — спросила Като.

Мать лишь грустно покачала головой.

Примирившиеся супруги отправились домой, а Наталья Петровна пошла к Ростомяну.

Он сидел в углу комнаты, мрачно уставясь взглядом в пол. Увидев вдову, он встрепетул, но с места не сдвинулся, готовый принять последний, ужасный удар. Вдова, ахая и охая, подошла и присела возле стола.

— Вы оттуда, Наталья Петровна? — спросил Ростомян.

— Да, с полчаса назад была там, — ответила вдова и, сжав губы, втянула ноздрями воздух.

Ростомян посмотрел на нее вопросительно.

— Бог милостив, сынок. Доктор был, все еще обнадеживает.

— Говорит она?

— Почему бы нет? Немного говорит. Увидев меня, очень обрадовалась. Когда я сажусь рядом, берет меня за руку и не отпускает. Эх, что сказать, бог даст, выздоровеет бедная, я ведь как родную ее люблю. У кого еще есть такие душа и сердце? Она добра как ангел. Господи боже, мало ли на свете дурных, злых душой людей — почему к ним не пристаёт болезнь?

Ростомян смотрел на вдову немигающими глазами. Слышал он ее или не слышал?

— Наталья Петровна, и вы, как другие, осуждаете Варвару?

Вдова поняла смысл вопроса, но ответила не сразу. Она, вздыхая, несколько мгновений смотрела во двор, потом наконец сказала:

— Дела твои, господи, что могу знать я?.. Человек не может противиться делам господним...

Но каковы же эти «дела господни», против чего не может протестовать человек — против супружества Варвары или ее любви? Сделав паузу, вдова опять вздохнула и добавила:

— Ах, если бы все были правы, как Варвара... Бог один знает, как я ее полюбила.

Она не сказала ничего больше, но последние слова, произнесенные подчеркнуто, выдали протест ее совести против взглядов, укоренившихся в ней с младенческих дней.

Ростомьян больше ничего не спросил. Он снова опустил голову на грудь и уставился в какую-то точку на полу...

14

Так прошло около полумесяца. Настали первые дни июня — те дни, когда население Тифлиса устремляется на дачи, город пустеет и улицы его замирают — жара становится невыносимой.

Варваре со дня на день становилось хуже. Врач все время навещал ее и по-прежнему обнадеживал. Но Минас Кириллович больше, чем словам, верил звукам его голоса, выражению лица и манере обращения с больной, в которых не сквозило искренней уверенности в счастливом исходе.

Что ни день, подушки больной поднимали все выше. Она стала такой малокровной, что дышать ей было все труднее. В последние дни врач запретил больной много говорить, а отцу настрого приказал не входить к дочери с мрачным лицом и ничем ее не расстраивать.

Варвара, однако, не обращала никакого внимания на предписания врача, не слушала просьб отца. Она без конца говорила, смеялась, ела то, что ей было запрещено, а

если не давали, плакала как ребенок. Она поминутно раздражалась, стала еще нервнее и придирчивее.

Вдова навещала ее и кстати и некстати и часами сидела у ее постели. Варвара встречала ее радостно. Часто, положив костлявую руку на мягкую ладонь вдовы, она хриплым, дрожащим голосом говорила так много, что Наталья Петровна, опасаясь нежелательных последствий, бывала вынуждена ее прерывать.

Говорила Варвара несвязно, все время меняя тему разговора, все время о разном. Каждый раз она просила вдову утешать старика, не позволять ему убиваться из-за ее болезни.

— Я надеюсь скоро выздороветь,— часто повторяла она в последние дни.

Первое время ее болезнь еще могла казаться не очень опасной, но и в последние дни, когда она уже едва дышала, когда ее зеленовато-землистого цвета лицо говорило о смерти, и только о смерти, в ней продолжала жить надежда на скорое выздоровление. Чем ближе подступала смерть, тем желаннее становилась для больной жизнь и крепче уверенность в счастливом исходе. И чем больше ослабевала она телом, тем яснее становились ее ум и мысль и проницательнее ее замечания. Словно силы, покидая тело, подкрепляли душу и мысль.

— Ах, какой сегодня хороший день,— говорила она вдове, переводя глубоко запавшие глаза на окно, выходящее на улицу.— Знаете ли, Наталья Петровна, мне ваш Тифлис очень понравился, очень. Нигде нет такого прозрачного и лазурного неба, как здесь. Вот как только выздоровею, мы вместе отправимся куда-нибудь за город, на дачу.

— Даст бог, даст, вы только выздоравливайте, а поехать за город — дело пустое,— обнадеживала больную Наталья Петровна, с материнской лаской глядя ее похudevшую, с выступившими голубыми жилками руку.

— Что говорит доктор, скоро ли я покину постель?.. Вы знаете, от долгого лежания у меня на спине образовались болячки.

— Скоро встанешь, доченька, скоро,— отвечала вдова, с трудом скрывая глубокую горечь.

— Я здорова, Наталья Петровна, вот только этот кашель и остался, надоел мне. Точно кто-то изнутри хватает меня рукой за горло... ах... ках... ках... ках...

От кашля ее щеки и уши краснели, губы синели, жилы на лбу напрягались, зрачки становились шире, придавая ее лицу ужасное выражение. В течение целой минуты она не могла свободно вздохнуть.

Однажды вечером Минас Кириллович сидел у изголовья дочери и то смотрел на ее лицо, то осторожно гладил ее щеки, лоб, длинные волосы, пышной волной рассыпавшиеся по белой подушке.

Глаза больной были закрыты, но она не спала, а находилась в забытьи, всегда предшествовавшем сильному повышению температуры.

Уже стемнело, окна были открыты, и легкий вечерний ветерок освежал знойный воздух.

Осторожно ступая, в комнату вошла горничная, зажгла лампу на столе у кровати и вышла. Свет упал на веки больной.

Она открыла глаза и посмотрела на отца.

— Чего-нибудь хочешь, Варя? — спросил отец, подвигая свой стул ближе к кровати.

— Ничего, просто так думала.

— О чем, Варя?

— Думала... о маме. Мне хочется посмотреть на ее портрет, можно, папа?

Минас Кириллович молча опустил голову и не сдвинулся с места. Больная была в сильном жару, она и так была взволнована, а портрет матери взволнует ее еще больше.

— Нельзя? Не хотите дать мне посмотреть? Хорошо, не давайте, я недостойна смотреть на ее лицо. Понимаю...

— Успокойся, Варя, потом посмотришь... Ты же знаешь, что доктор запретил тебе много говорить, волноваться.

— Запретил? Почему? Неужели я не могу посмотреть и на портрет своей матери? Ох, врач говорит неправду, я не так слаба, я могу говорить долго, долго...

Кашель снова прервал ее речь, снова изменил цвет ее лица. Она подняла дрожащую руку, и отец подал ей платок, лежавший на одеяле. Когда она оторвала его ото рта, платок был покрыт мокрыми светло-коричневыми пятнами.

Невыносимая тоска острой иглой пронзила истстрадавшееся сердце старика. Он отвернулся, чтобы скрыть от больной выражение своего лица.

А врач все еще обнадеживал его. Нет, надежды нет. Неужели, неужели нет? Неужели он навеки лишится своего последнего утешения? Почему? По чьей вине?

— Отец, — услышал он хриплый голос больной, — отец, — повторяла она, повернув лицо к стене.

— Варя, Варенька, довольно, ты много говорила, сейчас придет доктор.

Но врача не было. Больная продолжала:

— Я знаю, почему вы так нехорошо смотрите на меня... Но разве вы не простите меня? Скажите, не должны простить?

— Варя, нельзя так волноваться... Что, ты плачешь?.. Успокойся, ради бога...

За слабыми, прерывистыми рыданиями последовал зловеющий кашель. Быстрым движением больная откинула со своей груди одеяло.

— Нет, скажите же, вы не простите меня? — спросила она, с трудом сдерживая рыдания.

Отец взял ее за руку, другой рукой закрыл свои глаза и, несколько мгновений помолчав, дрожащим, слабым голосом ответил:

— Я уже простил тебя...

Больная повернулась к отцу. С улыбкой глубокого удовлетворения на губах и радостным блеском в глазах она потянула к себе руку отца и три раза ее поцеловала. Затем, устремив глаза в потолок, она стала говорить словно сама с собой.

— Благодарю, я была недостойна. Я для того просила дать мне портрет матери, чтобы увидеть: так же ли, как прежде, смотрит она на меня, грустно, с упреком? Вы добры, была добра и она. А я?.. Уедем отсюда. Я не хочу оставаться. Увезите меня отсюда, скорее, скорее увезите. Вы думаете, что я не вынесу дороги? Доктор ошибается. Доктора всегда ошибаются... Сегодня ночью я видела сон, хороший сон. Я была здоровой, веселой, радостной... Мы — я, вы, мать — были на вокзале. Далеко, очень далеко уезжали... Ах, как ужасно, как жарко, — продолжала она, совсем откидывая одеяло. — Я правду говорю, что должна уехать. Кто может мне запретить?.. Никто. Портрет, портрет, вы говорите? Нет, не надо... Я видела могилу матери и снова хочу увидеть. Хочу пасть на ее надгробный камень и плакать... Ах, плакать, я хочу плакать, позвольте

мне плакать... Это ложь: в мире нет дочери, которая не любила бы своих родителей. Счастлива та, у кого жива родная мать. У меня нет, Наталья Петровна, у меня нет. Она бы любила меня, если бы видела меня. Она и теперь любит... Скажите — любит, любит?.. Кто это! Прочь, не хочу! Он войдет, нехорошо. Степан, Степан, Степан! Он не пускает меня. Он, отец мой, запрещает... Ах, как жарко!..

Больная бредила. Смущенный, обеспокоенный отец то вставал и поправлял покрывало, то снова садился, брал руку дочери, смотрел ей в лицо и повторял бесконечно:

— Варя, успокойся, успокойся, Варя...

Но больная не успокаивалась. Словно безумная металась она по кровати, произнося какие-то невнятные, непонятные слова.

Пришел врач. Торопливо сняв перчатки, подошел к больной, пощупал пульс. Никогда еще температура не повышалась у нее так, как в этот день.

По другую сторону кровати, с глубокой почтительностью глядя на врача, стоял Минас Кириллович — похуdevший, бледный, неподвижный.

Врач сделал попытку поговорить с больной. Варвара, красная, широко раскрыв глаза, молча смотрела на него. Она узнала врача, сделала рукой отрицательный жест и, отвернувшись к стене, натянула покрывало на голову.

— Очень волновалась сегодня? — шепотом спросил врач.

Старик отрицательно качнул головой.

Врач отошел в угол комнаты и, засунув руки в карманы, сказал:

— Когда предписаний врача не выполняют, его ответственность уменьшается. Я невиновен.

Затем, прописав какое-то успокоительное средство, он позвал слугу и сам приказал ему принести поскорее лекарство именно из той аптеки, которую он указал.

Старик отозвал его в сторону.

— Господин доктор, там — бог, тут — вы, — сказал он, указав сначала вверх, затем вниз, на пол комнаты. — Скажите: есть надежда или нет?

Решительный вопрос этот поставил доктора Мирзаханянца в тупик. Взявшись правой рукой за один из концов

своей раздвоенной бородки, а левой упершись в бок, он несколько мгновений стоял, опустив голову.

Это было подозрительное и загадочное молчание. Старик сейчас же почувствовал, что сказал бы врач, заговорив.

— Доктор, прошу вас, пригласите немедленно несколько других врачей, посоветуйтесь с ними.

— Ах, вы хотите созвать консилиум? Хорошо, пригласите, если вам угодно,— ответил Мирзаханянец и, наклонив голову на правое плечо, добавил: — С моей стороны возражений нет.

Мирзаханянец назвал имена трех своих коллег и дал их адреса Минасу Кирилловичу.

— А Мискарянца не пригласим? — спросил старик, не найдя в списке, составленном Мирзаханянцем, имени этого известного врача.

— Он груб.

— Но, говорят, врач знающий.

— Пределы его знаний нам, врачам, известны. Толпа слепа.

Минас Кириллович, однако, настоял на приглашении Мискарянца, хотя бы по одному тому, что вначале он лечил Варвару.

— Воля ваша, господин Киришчиев, приглашайте кого вам будет угодно,— ответил врач и, рассерженный, ушел.

На другой день, в десять часов утра, состоялся консилиум, в котором участвовало пять врачей. Приехал, против воли Мирзаханянца, и Мискарянц.

Когда собрались врачи, Минас Кириллович сидел у постели больной. На заре Варвара вздремнула, температура немного спала, и больная пришла в себя. Отец поил ее молоком.

Врачи совещались довольно долго. Старик с нетерпением ждал их окончательного заключения. Он, потерявший уже надежду на выздоровление дочери, увидев врачей, вдруг снова преисполнился обманчивой верой. Да, вероятно, не напрасен этот долгий разговор специалистов. Зачем бы им было, если положение больной безнадежно, терять понапрасну столько времени?.. Нет, конечно, конечно они спасут Варвару.

И он напряженно прислушивался к слабо доносившимся из гостиной голосам врачей.

Но вот консилиум окончился. Врачи вышли. Впереди всех шел Мискарянц, за ним остальные. Шествие замыкал Мирзаханянц с искаженным от волнения лицом, побагровевшими кончиками ушей.

Минас Кириллович побежал навстречу врачам. Голос у него дрожал. Осталась ли хотя бы капля надежды на спасение дочери? Врачи, колеблясь, переглянулись. Остался невозмутимым лишь Мискарянц, который в таких случаях считал излишним говорить неправду.

— Медицина,— сказал он,— бессильна перед волей божьей. Лекарства теперь не нужны. Оставьте больную в покое.

Произнеся эти ужасные слова, безжалостный врач вышел, слегка кивнув Минасу Кирилловичу и кинув пренебрежительный взгляд на своих коллег.

В то время как он, быстро шагая, уходил, Минас Кириллович, оглушенный, стоял посреди комнаты, жалко поглядывая на всех.

Бессовестные люди, никто, никто из них не запротестовал против безжалостного приговора Мискарянца. И какими жестокими и ненавистными казались бедному старику в эти минуты безразличные лица врачей...

... Четыре часа дня. У изголовья Варвары сидит Наталья Петровна, в ногах — старуха Матрена.

С полчаса Варвара без умолку говорила с вдовой. Теперь, закрыв глаза, она лежит спокойно.

Подперши левой рукой подбородок, вдова то останавливает взгляд на больной, то переводит его на Матрену, то без цели оглядывает комнату.

Двери открываются. Входит старик. Посмотрев на вдову, потом на горничную, он осторожными шагами подходит к больной.

— Не спит? — шепотом спрашивает он.

Наталья Петровна прикладывает руку ко рту:

— Тише, спит.

С детской покорностью старик отходит от кровати дочери и садится в кресло в углу комнаты, положив руки на колени и склонив голову на грудь. Итак — смерть неизбежна, сегодня или завтра, рано или поздно, она лишит его единственного утешения в жизни. Варвара умрет.

— Умрет,— повторяет старик и, сильно вздрогнув, поднимает голову и смотрит на больную.

Вдова и горничная в том же положении сидят неподвижно, как истуканы. Бурное дыхание больной ясно доходит до ушей старика, и он, кроме него, ничего не слышит. Ему кажется, что оно порой ослабевает, порой становится совсем неслышным. В эти мгновения он, немного приподнявшись, смотрит на мертвенное лицо дочери. Вдруг больная, испустив глубокий вздох, поворачивает голову в сторону вдовы и просыпается.

Все выходят из неподвижности. Старик подходит к кровати, мягко касается руки дочери, начинает говорить с нею. Варвара немигающими глазами смотрит на отца. Ужасный, неестественный взгляд. Глаза Варвары — большие, полные жизни, меланхоличные, получили теперь какое-то странное выражение: зрачки блестят, как стекло, а белки стали еще белее и кажутся отвердевшими, как кость.

Старик с беспокойством смотрит на лицо вдовы. Она в это время ощупывает ноги больной, делает рукой какой-то загадочный жест и торопливо выбегает из комнаты.

— Молока...— слышит старик голос дочери, словно исходящий откуда-то из глубокой пропасти.

Старик подносит к губам дочери стакан молока. Она отпивает несколько капель и с отвращением отталкивает стакан.

— Это вода,— говорит она.

Первая победа смерти — она уже отняла у больной одно из пяти чувств — вкус.

— Варя,— потеряв последнюю надежду, восклицает старик и наклоняется, чтобы поцеловать землистого цвета лоб.

Варвара лежит, раскинув руки. Отец и дочь целуются.

Долго-долго, до тех пор пока кто-то не берет его за руку, старик не может расстаться с дочерью.

Он оглядывается и видит кого-то в черном, высокого, с белой бородой. Что-то шепча ему на ухо, человек этот старается отстранить его от кровати.

Вслед за священником в комнату входит Наталья Петровна, а за нею — Като.

Наступает таинственная тишина, нарушаемая только монотонным, равнодушным голосом священника.

В ту же минуту в комнату незаметно входит и еще кто-то и останавливается в пустом углу, позади Минаса Ки-

рилловича. День прошел, в комнате темно, и вновь пришедший может остаться незамеченным. Но у Като острые глаза. Като, которую привело к ложу умирающей скорее бурное любопытство, чем чувство горести, придвигается ближе к вошедшему: он ли это? Да, он.

Священник дочитывает молитву, прячет дароносицу и подходит к Минасу Кирилловичу, чтобы его утешить. Не успевает он, однако, сказать и слова, как старик оглядывается, и его отупевшее под влиянием глубокого горя лицо вдруг искажается. Яростный огонь загорается в его глазах, кулаки сжимаются, губы начинают дрожать. Он бессознательно делает несколько шагов вперед и, скрипя зубами, выкрикивает:

— Наглец!..

Но Ростомян уже стоит возле кровати. Трудно представить себе более достойную жалости фигуру... Бледный, худой, с растрепанными, рассыпавшимися в беспорядке по лбу волосами и бессмысленно блестящими глазами... Словно бешеный зверь, только что разорвавший путы, которыми он был долго связан, и в первые минуты свободы еще не пришедший в себя, стоит он неподвижный, устремив безумный взор на закрытые глаза Варвары.

Священник в страхе останавливается. Като испуганно вскрикивает, вдова вскакивает со стула, больная открывает глаза, смотрит.

Старик схватывает пришедшего за руку. А он, несколько мгновений поколебавшись, восклицает два раза: «Варвара! Варвара!» — и падает на колени у ее ложа.

Казалось, позабыв, что он стоит у одра умирающей дочери, старик с силой хватает пришельца за воротник. Но в это мгновение Варвара устремляет свой полупотухший взор на отца. Все, кто находится в комнате, смутясь, наблюдают молча за необычным зрелищем, все замечают взгляд дочери, никто, однако, не понимает, что он означает — укоряет она отца или просит не трогать стоящего на коленях плакальщика? Но руки старика слабеют, и он отпускает Ростомяна.

Последний взгляд умирающей дочери проникает в глубины виновного сердца, чтобы остаться там навсегда...

Варвара узнает Ростомяна — это ясно. И несколько мгновений ее, лишенные крови, цвета воска губы шевелятся, затуманенный взор прикован к его лицу. Затем она

опять отворачивается к стене, закрывает глаза и — уже навеки... Вдова прижимает свой платок к ее глазам, а затем, тем же платком, подвязывает челюсть...

Следующий день был субботний. Похороны Варвары отложили на воскресенье. У Минаса Кирилловича, человека пришлого, в Тифлисе ни родных, ни друзей не было. Кто в обычный день мог бы присутствовать на похоронах его дочери, кроме трех-четырех человек? Но воскресенье было днем праздничным. Благочестивые прихожане, может быть, и не в большом числе, но придут в этот день в церковь. И если среди них и не найдется охотника проводить гроб на кладбище, то, по крайней мере, церковь не будет так пуста в час отпевания.

Так думала вдова Наталья, которой старик поручил распоряжаться похоронами и устроить все так, как требуют местные обычаи.

В десять часов утра гроб с телом Варвары перенесли в церковь. Там было много молящихся, но немногие из них слышали имя Киришчиева. Впереди молящихся женщин стояли вдова с дочерью. После обедни, когда началась панихида, вдова расплакалась. Многие женщины заинтересовались — почему она плачет, кто такая покойница? Като тотчас вмешалась и начала рассказывать обо всем, не забыв упомянуть и о Ростомяне. Старухи выразили сочувствие и пожелали увидеть отца покойной. Като показала. Старик, прижав руки к груди, стоял, склонив голову, среди священников. Он не отрываясь смотрел на гроб. Он не плакал, даже не вздыхал. Слезы давно высохли у него на глазах...

Когда Като рассказала о последних минутах покойной и связанном с ними эпизоде, молодые женщины горестно покачали головами, повздыхали. Одна даже расплакалась и попросила Като показать ей Ростомяна. Като поискала глазами, но Ростомяна не было видно.

Служба кончилась, гроб вынесли из церкви. По просьбе вдовы Лазарь Макарович заказал самую лучшую в городе погребальную колесницу, усыпал гроб розами и другими живыми цветами. Словом, Наталья Петровна сделала все, чтобы похороны не были слишком скромными.

Женщины, бывшие в церкви, разошлись. Вдова покрыла лицо Варвары бесчисленными поцелуями и не хотела расставаться с нею, точно она была ее родной дочерью. Като тоже приложилась к покойнице и — то ли прослезилась, то ли нет, оглянувшись по сторонам, прижала к глазам красивый батистовый платочек.

Благочестивые люди проводили немного гроб, затем, устав, перекрестились и разошлись.

День был ясен, погода довольно прохладная — ночью шел проливной дождь, и воздух был чист, как это бывает только осенью.

Старик захотел, чтобы дочь похоронили на Ходжи-ванском кладбище и сам выбрал место для могилы, в стороне от других могил, у стены кладбища.

Гроб поставили на холмик свежей земли у открытой могилы. Священник в последний раз отслужил панихиду. Старик не плакал. В той же позе, как и в церкви, стоял он, неподвижно, не спуская глаз с лица умершей. Он, казалось, ничего не чувствовал, ничего не замечал и не понимал, что делается вокруг.

Священники умолкли. Один из них, вложив старику в руки конец креста, что-то сказал, показывая на могилу. Отец в последний раз должен был поцеловать холодный лоб дочери. И он это сделал. Потом гроб опустили в могилу, и священники опять запели. Старику предложили взять горсть земли, священник что-то произнес, перекрестил эту горстку земли, и старик кинул ее в могилу на гроб дочери... Затем он взял еще горсть, другую...

В это время среди гробовщиков произошло какое-то движение.

— Я говорил, я говорил, что ее похитили разбойники, что ее хотят убить. А они не позволили мне прийти, освободить ее...

С этими словами выбежал вперед какой-то человек и обессиленный упал на землю. Все смущенно переглянулись. Лазарь Макарович, постучав себя пальцем по лбу, сделал глазами какой-то знак священникам. Затем он подошел и с силой оторвал человека от гроба.

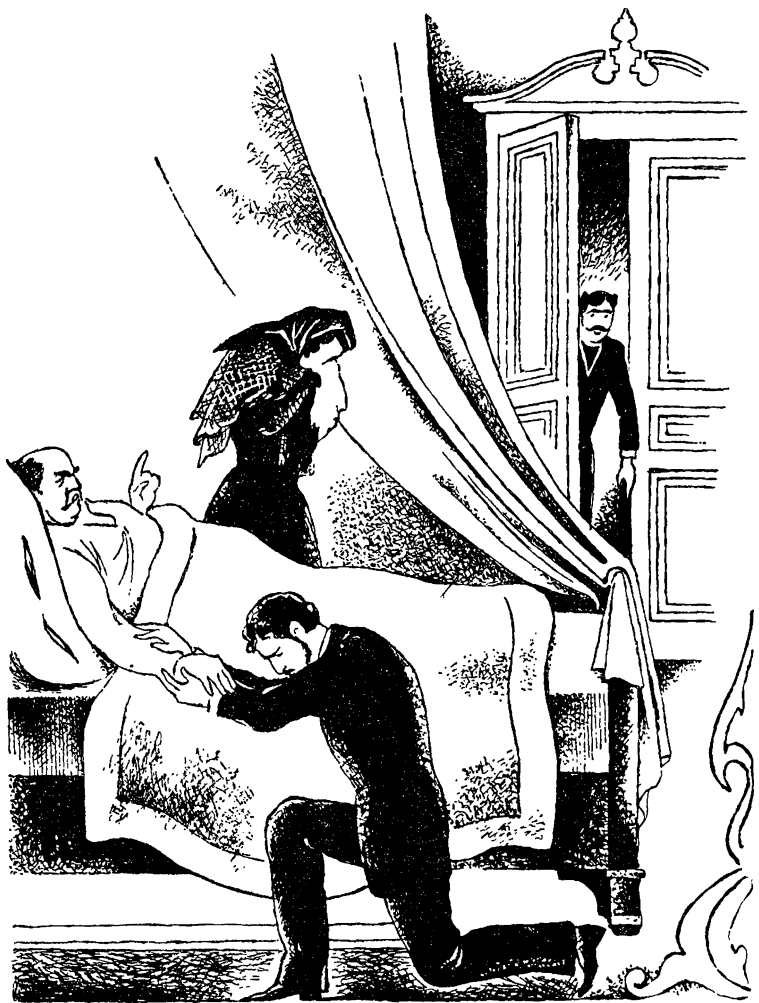
В изорванной одежде, пропыленных брюках, с растрепанными волосами, у могилы стоял... Ростомян. Неподвижным взглядом он смотрел в глубину могилы, где мало-помалу скрывался из глаз гроб Варвары.

Теперь уже у старика не было возможности негодовать. Но, когда он посмотрел в лицо Ростомяну и увидел бессмысленное выражение его глаз, их ужасный и в то же время жалкий блеск, он отвернулся.

Да, это уже был взгляд сумасшедшего, и он так же пронзил сердце старика, как и проникший в глубины его сердца последний взгляд дочери...

1887 г.

Т и ф л и с.



ХАОС



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

М

1

аркос-ага Алимян тяжело заболел.

Неделю назад, осматривая постройку своего нового дома, одиннадцатого по счету, он вдруг почувствовал озноб, вернулся домой, слег и больше не вставал. Врачи, внимательно выслушав больного, определили воспаление легких.

Весть о его недуге тотчас разнеслась по всему городу. Кто только не знал землевладельца и нефтепромышленника Маркоса Алимяна, этого тучного, но деятельного и бодрого шестидесятилетнего старика с круглой фигурой и пухлыми щеками. Кому не приходилось слышать назидательную повесть о его многотрудной жизни! Ровно полвека назад, покинув свое глухое селение, он обосновался в небольшом, незаметном приморском городке, которому в недалеком будущем суждено было приобрести мировую известность благодаря сокровищам, скрытым в его недрах.

Теперь, в последней четверти XIX века, вокруг имени Алимяна сложились целые легенды. Рассказывали, будто в подвале его великолепного дома имеется особая комната, темная и холодная, как склеп. Ни одно живое существо, кроме Маркоса-аги, никогда еще не отворяло железной двери и не переступало ее порога. Там хранились набитые

золотом мешки. Рассказывали, будто каждую ночь мрачный старик, один-одинешенек, в черном ночном колпаке и в длинном бархатном халате, с лампой в руке, спускался в подвал, отпирал заржавленным ключом железную дверь, пересчитывал мешки и прятал в них новые червонцы. Уверяли, что там в стальном сундуке бережно хранятся те самые лапти, в которых Маркос-ага вышел из родного села пятнадцатилетним мальчиком. Уверяли также, что в страстную субботу и в сочельник он зажигает две свечи, и, став на колени, молится перед сундуком, благословляя заветные лапти.

Его великолепные дома, горделивыми фасадами красовавшиеся на центральных улицах, мозолили многим глаза, нефть, бьющая из многочисленных скважин, не давала им дышать, а клубы заводского дыма выедали глаза. Но люди знали, как утешить зависть, клокотавшую в их сердцах. Ведь известно же, что Маркос Алимян был водовозом, дворником, поваром, фруктовщиком, вино-торговцем и ни одного дела не вел честно. Исходив всю Россию, он вернулся с пачкой фальшивых денег, которые потом сплавлял простакам. Он обманывал, обирал бедных и даже, как передавали, отравил своего компаньона. Он скуп, руки у него трясутся, когда он достает деньги из кармана, он не умеет жить, золото стало его верой, божеством. Просторная квартира с голыми стенами сделалась для него, жены и детей мрачной тюрьмой. У него нет ни мебели, ни слуг, ни повара. Провизию Маркос-ага приносит домой сам, рано утром, чтобы никто не заметил. У него в кармане проволочное кольцо, и он покупает лишь те яйца, которые не проходят через это кольцо, и часто приходится Маркосу-аге обойти весь рынок, чтобы купить яйца по этой мерке...

Многие прекрасно знали, что все это сплетни, что в доме Алимяна есть и слуги, и повар, и мебель, да к тому же еще роскошная. Знали также, что если у Маркоса-аги и есть кольцо, так это только то, которым он нещадно сжимает горло своим должникам. Но черная зависть ослепляла людей, и они без конца измышляли все, что могло хоть сколько-нибудь успокоить сердца, заржавевшие и очерствевшие из-за житейских неудач.

Безудержно злословили они, высмеивали и поносили первого миллионера в городе, но только за глаза. А когда

Маркос-ага, выпятив круглый живот и переваливаясь как утка, проходил по улицам, заглядывая в магазины, или появлялся в клубе, всякий норовил поймать его взгляд, отвесить поклон и удостоиться его хотя бы пренебрежительного кивка. Самому Маркосу-аге, этому бывшему водовозу и дворнику, безразличны были все приветствия, кроме приветствия губернатора — хозяина края. Уже двадцать пять лет он как бы вознаграждал себя за испытанные в прошлом унижения, принимая от окружающих все те знаки почтения, которые сам на протяжении четверти века, не скупясь, расточал перед властью имущими и сильными мира.

И вот сегодня умирает этот именитый горожанин, умный человек, рачительный купец, весь век проводивший в неустанных трудах, замкнувший свою совесть в железный сундук и упрятавший душу в карман.

Жил он в центре города. Дом, конечно, собственный, двухэтажный, из тесаного камня, с плоской асфальтовой крышей. Нижний этаж отведен под магазины и контору, в верхнем жила семья Алимьяна.

Стоял сухой, знойный августовский день. Солнце клонилось к закату, и последние лучи его пронизывали лишенный зелени неприветливый город и расстилавшуюся перед ним морскую даль. Тяжелое, гнетущее впечатление производит облик этого города. Издали плоские крыши и голые улицы имели такой вид, точно их опустошил пожар, уничтожив все, что только может уничтожить огонь, оставив лишь один гигантский остов. Кое-где на окрестных песках темнели нефтяные озерки. Ничто не смягчало тропического зноя, даже море. От жгучих лучей накалялись каменные стены, песок становился нестерпимо горячим, воздух удушливым. Жители спасались от духоты в купальнях, с утра до вечера барахтались в море голые тела, то нежившиеся под лучами солнца, то нырявшие, как дельфины.

Наружные окна Алимьянов выходили на запад. Летом с полудня и до позднего вечера ставни закрывались. Сегодня они были открыты, окна растворены, и уличная духота широким потоком хлынула в дом.

Здесь было необычайное смятение. Прислуга и приказчики сновали взад и вперед, покрикивая друг на друга, перебраниваясь и напрасно стараясь поддерживать тиши-

ну. У подъезда то и дело останавливались экипажи, из них выходили родственники, друзья и знакомые Алимьянов с притворным или искренним выражением соболезнования.

Все спешили к умирающему миллионеру, надеясь повидать его в последний раз и, быть может, разузнать кое-что о его завещании. Двери в спальню были закрыты. Там вокруг его постели собрались члены семьи, кое-кто из близких, приходский священник и врачи. Прочие толпились в гостиной. Воздух был до того сперт, что трудно было дышать, и, однако, никто не собирался уходить. От дорогих персидских ковров поднималась тонкая пыль. Солнечные лучи, проникая сквозь толстые шерстяные занавеси, золотили эту пыль косыми, медленно падавшими столбами. Один из них краем своим коснулся бронзовых часов на мраморном камине. Заискрился овальный стеклянный колпак, обдавая потоками света статуэтку: под колпаком властная красавица с мечом наступала на горло разъяренному льву.

Терпение посетителей постепенно истощалось: ожидали кончины больного, а он все не умирал. По временам то один, то другой наклонялся к замочной скважине и заглядывал в спальню или же, приложив ухо к двери, старался хоть что-нибудь расслышать. Потом отходили и начинали шептаться, искоса обмениваясь злобными взглядами. У каждого в душе теплилась слабая надежда: не упомянут ли и он в завещании Маркоса-аги?

Дверь спальни осторожно приоткрылась: шепот мгновенно оборвался, точно карканье ворон после выстрела. Из спальни вышел мужчина лет под шестьдесят, высокий, бодрый, с гордой осанкой. Его гладко выбритое лицо с крупными чертами, пронзительный взгляд, густые брови и особенно пышные с проседью усы, сливающиеся с бакенбардами, придавали ему сходство с военным николаевских времен. На нем был поношенный, выцветший мундир отставного чиновника, в петличке орден.

— Срафион Гаспарыч! — раздалось отовсюду, и все тотчас окружили старика, напоминавшего в эту минуту горделивого военачальника, окруженного телохранителями.

— Бренный мир! Бренный мир! — повторял чиновник, глядя через головы на противоположную стену и поправ-

ляя орденюк.— Челювек не может отдать душу богу, не повидавшись с сыном.

Все удивленно в один голос спросили:

— Да разве не все дети около него?

— Старшего нет,— простонал Срафион Гаспарыч, грустно покачивая головой.

— Старшего, Смбата? — торопливо спрашивали гости, толкаясь и тесно обступая старика.

— Да, Смбата, — ответил Срафион Гаспарыч. — Он должен приехать, ждем его с минуты на минуту. Еще неделю назад старик слышать не мог о нем без отвращения, а теперь не хочет умереть, не простившись с ним.

— Телеграфировали?

— Конечно. Ждем его сегодня. Когда приходит поезд из Москвы?

— В пять сорок.

— Сейчас без пяти шесть; должно быть, уже прибыл, — заметил Срафион Гаспарыч и, взглянув на часы, подошел к окну.

Все, толкаясь, двинулись за ним.

— А вот и он! — воскликнул кто-то.

Срафион Гаспарыч поспешил в переднюю.

Через несколько минут он вернулся с молодым человеком, хорошо сложенным, ростом чуть ниже его самого. Все, расступившись, дали им дорогу, стараясь придать своим лицам выражение скорби. Держа соломенную шляпу в руке, приезжий вежливо, но очень сухо раскланялся и поспешно прошел в спальню. Гости снова стали перешептываться, мгновенно заметив грустное выражение лица пренебрежительным.

Кровать умирающего стояла у окна. С одной стороны ее — жена и дочь, с другой — сыновья. Умирающий полулежал в постели, поддерживаемый мягкими подушками, прикрытый шелковым одеялом, бессильно опустив голову. Врач то и дело впрыскивал ему что-то. Необходимо было хоть на несколько минут удержать жизнь в этом разбитом, развалившемся сосуде.

Больной открыл глаза и с трудом приподнял голову. Лицо его приняло землистый оттенок, свойственный мертвецам; характерные впадины в углах губ почти сгладились, полное лицо осунулось, и на поблекших губах обозначалась слабая беспокойная улыбка.

Врач тихо сообщил ему о приезде сына. Приезжий, уронив шляпу и саквояж, опустился на колени перед кроватью и припал к сухой похолодевшей руке старика.

Огонек предсмертной надежды, на мгновение вспыхнув, озарил мертвенно бледное лицо умирающего; глаза широко раскрылись, и какая-то преходящая радость оживила черты лица, никогда не выражавшего радости за всю шестидесятилетнюю жизнь Маркоса Алимяна; из бескровных губ вырвался какой-то шепот; старик обнял кудрявую голову сына и прижал к груди, насколько позволяли слабеющие руки.

Жена Алимяна зарыдала. За нею — дочь и сыновья. Теперь старик мог кончать расчеты с жизнью — правда, не спокойно, как ему хотелось, а с неутомимой скорбью в сердце. Целых восемь лет не видел сына, сына-первенца, на которого он возлагал столько надежд, которого любил больше всех и которому собирался доверить все свои дела. Не только не видел сына, но и слышать о нем старик не хотел. О, как разочаровал его этот любимый сын, сколько страданий и душевных мук причинил ему! Нужны были нечеловеческие усилия, чтобы скрыть все это от недругов и завистников. Да будет проклят тот день, когда он разрешил своему Смбату уехать в чужие края продолжать учение! Да будет проклята женщина, отнявшая у него сына!..

Умирающему хотелось излить горечь, накопившуюся в его сердце, высказать все, все, что он перечувствовал за восемь лет, — высказать, орошая слезами шальную голову беспутного сына. Но силы изменяли ему. Старания врача уже не могли вдохнуть жизнь в остывшее тело. И только долгий пронизывающий взгляд, устремленный как бы из глубины могилы, открыл все виновному сыну, который с трудом сдерживал слезы, чтоб не показаться малодушным.

— Один приехал? — еле вымолвил умирающий.

— Один, — ответил сын, тотчас поняв смысл вопроса.

Мрачная улыбка на лице старика на миг сменилась отблеском надежды: а что, если он мучился напрасно?

Неужели он не был прав, когда проклинал своего первенца?

Но вот мутный взгляд старика остановился на обручальном кольце сына, и голова Маркоса-аги беспомощно упала на подушку, глаза закрылись.

— Прошлого не воротишь, отец! Благослови! — вымолвил сын глухо: в словах его звучала острая горечь, но не раскаяние.

Никто из окружающих не понял подлинного смысла этих с трудом произнесенных слов и не почувствовал, как терзалось в эту минуту сердце сына, на вид такого цветущего и самоуверенного.

— Будь проклят, если не исполнишь моей последней воли, — вымолвил старик, еле выдавливая слова из немеющих уст.

В эту минуту Маркос Алимян был страшен, как сама смерть, страшен для провинившегося сына.

— Дай сюда, — послышался вновь замогильный голос старика, и он устремил свой леденеющий взгляд в лицо жены.

Жена достала из-под подушки большой пакет, запечатанный красным сургучом. Стекланный взгляд умирающего остановился на Смбате, и мать передала пакет сыну.

— Будь проклят, если не исполнишь!

Это были последние слова Маркоса Алимяна, прозвучавшие, однако, ясно и внушительно. То были последние всплески уходящей жизни, последние капли иссякающего родника, с какой-то особой силой прозвучавшие в высохшем водоеме. Под холодным дыханием смерти лицо старика слегка исказилось. Горькая, беспокойная улыбка лишь на несколько секунд появилась на его губах и застыла в уголках похолодевшего рта. Обладатель миллионов, предмет всеобщей зависти, скончался, унося в могилу тяжелую скорбь; половину своего богатства он был готов отдать, чтобы избавиться от этой скорби. И виновниками ее были его собственные дети.

Овдовевшая Воскехат с рыданиями бросилась на остывающее тело мужа. За нею — дочь, Марта Марутханян. Брат Воскехат, Срафион Гаспарыч, взяв их обеих за руки, отвел от покойника.

— Бедняжка, истерзался ты из-за детей, измучился вконец! — твердила Воскехат.

Ей вторила дочь.

Срафион Гаспарыч почти силой увел их в соседнюю комнату. Там они могли дать волю слезам и досыта наплакаться. Он пригласил всех туда же. Смбат шел, едва сдерживая слезы. За ним следовали остальные. Тут Вос-

кехат бросилась к только что приехавшему сыну и стала осыпать его жаркими поцелуями. Скорбь ее мешалась с радостью. Потеряв мужа, с которым сорок лет делила горе и радость, она обрела сына, которого восемь долгих лет считала потерянным.

— Истрадался он, несчастный твой отец, — повторяла она, рыдая. — День и ночь только и твердил: «Сын мой отрекся от веры предков, сын мой осрамил меня!»

Смбат, прислонившись к стене и опустив голову, до крови кусал себе губы. «Будь проклят, если не исполнишь», — так грозно звучали в его ушах последние слова отца, что он вздрагивал всем телом, крепко сжимая заветный пакет.

Взгляды присутствовавших были устремлены на этот пакет, и пристальней всех глядел на него второй сын покойного, Микаэл. Это был молодой человек лет двадцати восьми, с виду хрупкий, худощавый, бледный, с черными, как уголь, волосами и узкой модной бородкой. Его большие глаза цвета темного ореха были выразительны, умны и в то же время как будто безучастны к семейному горю. И в самом деле, его не столько удручала смерть отца, сколько интересовало содержимое пакета. Он знал, что в пакете отцовское завещание, но что в нем — вот в чем суть. Завещание должно решить его судьбу. Порою он нетерпеливо дергался, как будто собираясь броситься на старшего брата и вырвать у него пакет, подобно магниту притягивавший все его внимание, все его помыслы.

— А что, если старик выжил из ума и лишил меня наследства? — обратился он к мужчине лет сорока, неотступно следовавшему за ним.

Это был зять покойного, муж Марты, хорошо известный в городе заводчик и делец — Исаак Марутханян. Наружность его обличала человека невозмутимого, расчетливого, холодного и себялюбивого. Среднего роста, коротко подстриженные черные волосы, эспаньолка, пышные закрученные вверх усы — такова была его внешность. Щеки его были слишком румяны, как у десятилетнего мальчика. Из-за очков выглядели зеленовато-желтые глаза с выражением не столько умным, сколько коварным и отталкивающим. На пухлых красных губах играла притворная, неприятная улыбка, как бы говорившая: «Не думайте, что я дурак!» Держался он с невозмутимым спокойствием и

так высоко поднимал голову, словно шея его была в железных тисках. Быть может, тому причиной был чересчур высокий и твердый воротник безукоризненно чистой накрахмаленной сорочки. На нем был длинный черный редингот, серые брюки и черный шелковый галстук. Зеленовато-желтые глаза его вращались, как у заводной куклы, так же искусственны были и все манеры и движения.

Смерть тестя несколько не нарушила дремоты его родственных чувств. Умри мгновенно все присутствовавшие у него на глазах, сердце этого дельца ничуть не шевельнулось бы. На рыдания и слезы жены он смотрел равнодушно. Между тем разодетая Марта, прижимая платок к глазам, неумолчно всхлипывала, и не без мастерства. И Марутханян больше чем кто-либо сознавал всю возмутительную ложь этого плача. Он отлично видел, как жена из-под платочка украдкой следит за впечатлением, производимым ее всхлипываниями на окружающих, и в особенности на старшего брата, в руках которого завещание. Никто не горевал искренне, кроме вдовы, а шестнадцатилетний Аршак, самый младший в семье, безучастно окидывал взглядом каждого из присутствовавших, как бы стараясь вникнуть в смысл происходившего вокруг. Вскоре картина скорби стала лагонять на него скуку, и эта скука явственно проступала в крупных чертах его смуглого лица, выражавшего преждевременную возмужалость и даже чувственность.

Вдова со слезами рассказывала о муках покойного. Она обращалась главным образом к старшему сыну и говорила обо всем, что происходило в доме за эти восемь лет. Бедняжка, как не хотелось ему бросить на ветер добро, нажитое в поте лица за пятьдесят лет... То есть он не желал передавать его в руки второго сына, Микаэла.

— Не сердись, — обратилась она к Микаэлу, злобно глядевшему на нее. — Я повторяю слова твоего отца. Он боялся, что не пройдет и года, как ты всех наспустишь по миру, и вызвал из Москвы Смбата. Отец говорил: «Передашь ему, чтобы наставил на путь истинный расточительного брата, присматривал за Аршаком и тебя не оставлял. Скажешь ему, что довольно и тех страданий, что причинил он мне, хоть бы тебя, бедняжку, щадил, щадил твое доброе имя».

«Доброе имя! — повторил про себя Смбат. — Выходит, что это я опорочил доброе имя нашей семьи!»

Вдова умолкла, рыдания заглушили взрывы горьких упреков. Пересилив себя, она снова обратилась к старшему сыну:

— «Зачем он связал жизнь с девушкой чужого племени?» — говорил бедняжка. Заметил ты, сынок, как ему сразу стало не по себе, когда, взглянув на твою руку, он увидел кольцо? Он знал, что ты обвенчался в русской церкви, знал, что у тебя дети, и все же не хотел верить этому несчастью. «Нет, — говорил он, образумится, разведется». Вот теперь, сынок, в твоих руках завещание покойного отца, поступай как знаешь, но смотри — не навлекай на себя родительского проклятия. Ты же слышал его? «Будь проклят, если не исполнишь моей воли!» Последнее проклятие умирающего отца нисходит с неба, душа умирающего изрекает его. Бедняжка только и хотел, чтобы ты их оставил там и вернулся в родительский дом. Теперь дело за тобой.

Смбат стоял молча, по-прежнему неподвижный, с пакетом в руке. Слова матери угнетали его, терзали его сердце. Он чувствовал всю ответственность за свой необдуманный житейский шаг, его столь тяжелые последствия. А он сам — разве он все эти восемь лет жил спокойно и счастливо? Разве ему меньше приходилось страдать, чем родне?

— А если я не смогу исполнить отцовской воли? — вымолвил он невольно и еле слышно.

— И не исполнишь, если ты человек действительно благородный! — раздраженно перебил брата Микаэл.

Взгляды братьев встретились. В глазах Микаэла вспыхнуло какое-то странное злорадство, он не переставая покусывал тонкие усы.

Мать с изумлением взглянула на Смбата: неужели сын решился нарушить последнюю волю отца?

— Микаэл! — произнесла она с укоризной.

— Да, — разразился Микаэл, — это ты заставила отца завещать все старшему сыну, а не подумала, какую большую ответственность и какой тяжелый долг ты возлагаешь на него! Теперь ему остается бесчестие или проклятие отца — выбора нет!

С этими словами Микаэл быстро вышел. Бросив острый, испытующий взгляд на Смбата, за ним последовал Исаак Марутханян. Спокойная поступь дельца вполне соответствовала его манерам.

— Распечатай и прочти,— обратилась вдова к Смбату.

— Нет, прочтем завтра, а пока пусть останется у меня.

Он положил пакет в карман и, тяжело вздохнув, прошел в гостиную, где дожидались еще кое-кто из знакомых, надеясь хоть что-нибудь узнать о завещании.

2

Три вечера служили панихиды по усопшему. Люди всех слоев общества приходили отдать последний долг покойному. Никто уже не злословил, никто теперь уже не называл Маркоса Алимяна обманщиком, обиралой, скрягой, деспотом. Смерть всех примирила с ним, и каждый спешил выразить соболезнование его семье.

Центром общего внимания был Смбат. Все разговоры были о нем. Многие говорили, что старик, конечно, прожил бы гораздо дольше, если бы не сердечная рана, нанесенная ему сыном. О-о, предательский поступок сына доконал несчастного! Впрочем, обвиняли шепотом. Никто не решался говорить открыто. Каждый опасался, как бы эти разговоры не дошли до наследника. Ведь уже весь город знал, что бразды правления торгового дома Алимяна перешли в руки Смбата.

Завещание вскрыли на другой день после смерти Маркоса-аги, как того хотел Смбат. Оно скорее походило на излияние чувств, чем на практические распоряжения. Под диктовку старика все было записано приходским священником, отцом Симоном. Прежде всего покойный наказывал Смбату постараться наставить Микаэла на путь истинный, помочь ему порвать с засосавшей его беспутной и расточительной компанией, далее завещал он ему бдительно следить за поведением Аршака, любить и уважать мать, жить с ней нераздельно под одной кровлей. Затем он просил и молил «исправить ошибку». Что же касается практической стороны завещания, то покойный, за исключением некоторых незначительных пожертвований бедным родственникам и на благотворительные цели, все движи-

мое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги и поступления предоставлял в распоряжение Смбата. Жену он назначал опекуницей младшего сына до его совершеннолетия.

Примечательна была оговорка, касавшаяся наследственных прав Микаэла. Ему было назначено всего сто рублей ежемесячно на карманные расходы, но за ним оставалось право на непременноe получение части наследства лишь в том случае, если он женится на девушке «армяно-григорианского вероисповедания». Иначе — до конца жизни ему придется довольствоваться скудным ежемесячным окладом. А жениться Микаэл мог только при условии, если изменит расточительный образ жизни.

Еще примечательней был другой пункт: Смбат не имел права завещать свое наследство ни «иноплеменнице-жене», ни детям от нее. Если же он разведется с пынешней женою и женится на армянке, дети от нового брака будут считаться его законными наследниками.

Завещание разбило немало основательных и неосновательных надежд. Многих оно чрезвычайно огорчило, а больше всех — Исаака Марутханяна. Он рассчитывал, что известная часть наследства достанется его жене, и теперь был взбешен, но не подавал виду. При оглашении завещания ни один мускул не дрогнул на его лице, только в зеленовато-желтых глазах вспыхнул хищный огонек. Наклонившись к жене, он шепнул:

— Завещание незаконно!

Она удивленно взглянула на него.

Марутханян продолжал:

— Отец твой продиктовал его уже не в здравом уме. Это — не завещание, а поучение, записанное идиотом попом. Суд не утвердит его. Уйдем отсюда. Тут, кроме Микаэла, все станут нашими врагами... Скоро сама убедишься...

И, не ожидая жены, Марутханян с гордо поднятой головой направился к выходу.

Притворное соболезнование родственников, разумеется, сразу уступило место яростной ненависти и вражде. Все ополчилось на Смбата.

Выяснилось, что хранившиеся в подвале набитые золотом мешки были плодом пылкой фантазии. Старик оставил наличных средств четыреста — пятьсот тысяч, и то в

процентных бумагах. Остальное богатство заключалось в недвижимом имуществе, нефтяных промыслах, заводах и двух пароходах. Не подтвердились также басни о существовании лаптей. Распространился слух, будто старик приказал положить их в гроб и так предать его земле. Легковерные люди во время панихиды подходили к гробу Маркоса-аги, чтобы взглянуть на заветные лапти. Однако в гробу ничего не оказалось, кроме желтого трупа в черном сюртуке.

В воскресенье с самого утра в доме Алимянов яблоку негде было упасть. Число желающих нести гроб было так велико, что очередь не дошла даже до Срафиона Гаспарыча — главного распорядителя похоронной процессии. Людское лицемерие выводило его из себя, и он, не стесняясь, громко негодовал:

— Проклятые, пока жив был человек — злословили, клеветали, отравляли ему жизнь, а теперь вдруг все стали его друзьями! Умерьте ваши аппетиты — Смбата вам не провести!

Обедню служил «либеральный» отец Ашот, молодой, худощавый поп, сотрудничавший в одной из газет, — сущее наказание для прочих пастырей! Прибыл глава епархии Епрем Пирвердиан, пожелавший присутствовать на похоронах. Стоя под деревянным балдахином, он обдумывал приличествующую случаю проповедь.

Перед гробом, утопавшим в венках из живых цветов, стояли трое сыновей покойного, занятые своими думами.

Аршак блуждал глазами по сторонам. Он устал и был голоден, потому что плохо спал ночью и с утра ничего не ел. Апатично слушал он зычные возгласы священников — эти монотонные «аллилуйя» и «мир всем», пестройные напевы дяконов, позвякивание кадил, шепот густой толпы; равнодушно смотрел на кадильный дым, на сияние и копоть погребальных свечей. Смерть отца даже радовала его, как избавление от мелочной, скупой и жестокой опеки.

Сердце Микаэла щемило; он осунулся, впадины под глазами углубились и посинели. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. С той минуты, как он узнал содержание завещания, покойник стал ему ненавистен. Теперь Микаэлу чудилось, что холодный и разлагающийся труп злорадно насмехается над ним, как адский призрак, лишивший его

счастья. И в самом деле, разве отцовское завещание — не сплошное издевательство? Объявить под опекой двадцативосьмилетнего мужчину — какому отцу придет в голову подвергнуть родного сына такому жестокому наказанию? О, безжалостный старик! А он-то, по простоте душевной, воображал, что со смертью отца избавится наконец от надоедливой опеки и невыносимых попреков, будет жить, как ему угодно, и свободно распоряжаться наследством! Стоя по правую руку от старшего брата, он чувствовал, что рядом — чужой, незванный гость, пришелец из неведомых далей, насильно вторгшийся в его собственный дом и завладевший его добром, как разбойник. Ведь целых восемь лет этот человек жил в памяти отца только для ненависти и проклятий. Ведь Смбат был изгнан из родительского дома как виновник чудовищного позора, обрушившегося на семью. А теперь!.. Он явился теперь как хозяин, владыка!..

Иное чувствовал Смбат. Погруженный в мрачные мысли, опустив голову, стоял он, словно приговоренный. Сколько воспоминаний ожило в нем! Тяжелые мысли обступили его в этой родной обстановке, покинутой на долгие годы, где его сегодня отталкивают, как чужого. Долгие годы? Нет, всего восемь лет. Но ему казалось, что за это время он передумал и перечувствовал гораздо больше, чем за всю предыдущую жизнь. Какая-то несокрушимая стена отделяла его эти последние восемь лет от прошлого. И никакого сходства между этими периодами жизни, ни единой общей черты. Еще неделю назад ему думалось, что он навсегда оторвался от близких и больше никогда, никогда не вернется под родительскую кровлю. Отец проклял его, с отвращением прогнал и, казалось, забыл о его существовании. Но когда Смбат получил телеграмму, принесшую печальную весть, в его сердце мгновенно все перевернулось. Скупые слова телеграммы мгновенно разбудили в нем сыновние чувства к отцу, подобно тому, как пущенный сильной рукой камень будит тишину сонного пруда.

Вновь в глубине его души ожили старые чувства. И теперь он плакал у гроба отца, плакал искренне. Острая скорбь заставляла его время от времени вздрагивать, ему казалось, что он-то и виноват в смерти старика, он со своей непоправимой ошибкой. Ведь человек с таким же-

лезным здоровьем мог бы жить еще долгие годы — это душевные терзания преждевременно свели отца в могилу.

Однако, скорбя, оплакивая и укоряя себя, Смбат в то же время чувствовал, что стена между ним и окружающими несокрушима...

Взойдя на амвон, епископ начал высокопарно восхвалять покойного за его пожертвования, кстати сказать, весьма скудные сравнительно с его огромным состоянием.

— Эчмиадзинскому монастырю — пять тысяч, духовной академии — пять тысяч, «Человеколюбивому обществу» — десять тысяч, школе — одну тысячу, богадельне — три. Да будет благословенна незапятнанная память почившего, да воздаст господь сторицей его благородным наследникам, да послужит примером для всех истинных армян сие озаренное светом небесной благодати дело...

Обедня отошла. Отслужили панихиду и понесли гроб на кладбище. Погребальный обряд закончился к трем часам дня.

Вопреки обычаю, установившемуся с недавних пор, вдова Воскехат настояла, чтобы устроили такие пышные поминки, каких еще никто не видывал. Скрепя сердце Смбат согласился, не желая огорчать мать.

Хотя большинство участников похорон и разошлось, просторная квартира Алимянов была переполнена. Все уже успели проголодаться и с нетерпением ждали обеда еще во время заупокойной литургии. Расставленные на белоснежных скатертях яства и сверкающие бутылки возбуждали аппетит. Отец Симон, приходский священник Алимянов, сидевший с «именитыми» горожанами в особой комнате, предложил выпить за упокой души Маркоса-аги. За ним последовали «либеральный» отец Ашот и «консервативный» отец Саак. Возглас «царство ему небесное» пронесся по комнатам, настроив к возлияниям. Начали осушать бокалы, заработали вилки и ножи. Сперва все напоминало эчмиадзинскую монастырскую трапезную с ее каменными столами: гости ели молча, исподлобья искоса поглядывая друг на друга. Однако первая смена винных бутылок разгорячила головы, языки развязались, и оживление распустилось, как цветы под майским дождем.

Смбат, давно не видавший подобных пиршеств, переходил из комнаты в комнату и не без любопытства при-

сматривался. Он не был голоден и дивился аппетиту гостей. Многие, хмелея, шутили, смеялись, потчевали друг друга, чтобы и самим выпить лишнее. Чувства Сибата были оскорблены. Какой-то сапожник, осушая бокал, всякий раз локтем толкал соседа, подмигивал сидевшему напротив приятелю и поглаживал грудь, как бы желая сказать: «Ну и вкусное же вино у богача!» Другой, с набитым ртом, рассказывал циничные анекдоты и смешил гостей. Кое-где уже успели залить скатерть красным вином и посыпали ее солью. Те, кто наедался до отвала, рыгали. Некоторые из приказчиков паясничали. Главной мишенью их шуток был «адвокат» Мухан, человек с желтым лицом и распухшим носом, запивавший каждый кусок вином или водкой. С пыльными, всклокоченными волосами, с взъерошенной седоватой бородой, вроде обшарпанного веника, с воспаленными глазами, в грязном выцветшем и потертом сюртуке, Мухан напоминал истопника восточных бань. Изю дня в день у камеры мирового судьи сочинял он за гривеншик прошения либо разъяснял статьи законов, а потом всю дневную выручку добросовестно сдавал кабатчикам.

Приказчики кидали в «адвоката» хлебные шарики, метя в большую шишку на кирпично-красной шее. Его трясущиеся руки роняли на пол то нож, то вилку, то салфетку, то куски мяса, и, когда он нагибался, чтобы поднять их, хлебные шарики градом сыпались на его шею.

Раз, когда один из шариков угодил ему в нос, Мухан, побагровев, хотел уже выругаться, но чья-то рука сзади прикрыла ему рот.

— Довольно, наклюкался! — шепнул ему на ухо невысокий человек с желтоватыми волосами и стеклянным взглядом. — Дело у меня к тебе... К восьми часам вечера зайди ко мне.

И тотчас исчез.

Стояла ясная погода. Воздух был теплый. Лучи заходящего солнца пробивались в комнаты, освещая разношерстную толпу гостей.

Дыхание людей, пар от еды, табачный дым, пыль, грязь и пот, смешиваясь, создавали в комнатах тяжелую и неприятную атмосферу второразрядного трактира. Многие из гостей уже охмелели и рыгали, по персидскому обычаю давая понять, что сыты по горло, но тем не менее

продолжали жевать: ведь бог знает, когда еще удастся поесть за таким обильным столом.

Обжорство гостей, их оживленные, веселые лица, взрывы беззастенчивого хохота вызывали в Смбате невольное отвращение. Давно не приходилось ему видеть подобного отталкивающего зрелища. Проходя мимо «адвоката» Мухана, он заметил, что этот пропойца опрокинул полный бокал на скатерть и ищет солонку, чтобы засыпать красное пятно. Сидевшие рядом с ним портные гоготали, широко, по-акульи, разевая полные рты.

— Я вам покажу перед зеркалом су... — рассвирепел Мухан.

Смбат, подавляя отвращение, поспешил к «именитым». Тут ели не без аппетита, но пристойно; пили немало, но не шумно и не спеша; смеялись, но не громко.

Отец Ашот с воодушевлением говорил о национальных чаяниях своей паствы и о новых задачах церкви. Его «либеральные» взгляды выводили из себя «консервативного» отца Симона, вообще не выносившего своего молодого сослужителя. Вскоре между ними возник спор, постепенно разгоравшийся. Каждый из них старался блеснуть ученостью и этим приковать к себе внимание и симпатии богатых сопратезников. Между тем богачи только делали вид, что слушают внимательно, — мысли их были заняты наследством, оставленным Маркосом Алимьяном, и собственными делами: у одного в буровой скважине прогнулась труба, у другого проворовался приказчик, третьему завтра предстояло выкупать векселя, четвертый обдумывал, как бы, подобно иным ловкачам, проложить потайную трубу к нефтехранилищу соседа для воровской откачки нефти. Одним словом, всем им было не до просвещенных идей отца Ашота.

На поминальном обеде присутствовали также некоторые друзья Микаэла. Все они были одеты с иголки, начиная от острых носков ботинок, кончая прическами и лихо закрученными усами. Один из них шепотом описывал соседу прелести недавно прибывшей опереточной певицы.

— Вчера за кулисами познакомился. Просила навещать... За ее здоровье!..

Это был известный в городе кутила — Григор Абетян, прозывавшийся «Гришей». С красным мясистым лицом,

толстыми губами, жгучими черными глазами, этот молодой человек любил на шумных попойках швыряться посудой, резаться в карты, хлестать шампанское прямо из горлышка, шататься ночью по улицам под звуки тара и дудуки, задиравать полицейских и задабривать их взятками. По одну сторону Гриши сидел желтолицый Мелкон Аврумян, нефтепромышленник лет двадцати шести, в чертах лица которого резко проступал страшный недуг, превративший его в скелет. По другую сторону — сонливо-пьяный Мовсес Бабаханян, мысли и чувства которого были заняты только карточной игрой.

— Познакомишь и меня, не так ли? — спросил Мелкон Аврумян.

— Ужин и две дюжины шампанского! — поставил условием Гриша.

— Идет.

— Где?

— На поплавке.

— Молодец! Но этого мало.

— Чего же тебе еще?

— Оркестр...

— Будет.

— После ужина на баркасе до острова Наргена... Ночи лунные...

— Согласен.

— О чем это вы шепчетесь? — вмешался, позевывая, сонливо-пьяный Мовсес Бабаханян.

Мелкон объяснил.

— Дуэль! — прошептал Мовсес Бабаханян и сунул руку в большой карман.

Вытащив сторублевку, он зажал ее в кулаке и прохрипел, с трудом поднимая усталые веки:

— Чет или нечет?

— Нечет! — отозвался Гриша.

Проверили номер кредитки — он оказался нечетным. Мовсес Бабаханян передал деньги Грише.

Микаэл сидел поодаль, рядом с Исааком Марутханяном. Ему казалось, что приятели подтрунивают над ним. Ведь он не раз хвастал перед ними, что после смерти отца будет тратить столько, сколько никто еще не тратил. А сегодня вдруг выяснилось, что он не полноправный наслед-

ник, а лишь подчиненный брата, с ничтожным жалованьем простого приказчика.

— Как мне быть? Научи, Исаак, как мне быть? — то и дело обращался он к Марутханяну.

Зеленовато-желтые глаза за стеклами очков в эту минуту глядели задумчиво. Было ясно, что Марутханян обдумывал что-то очень важное. Вдруг он слегка наклонил неподвижную голову и прошептал Микаэлу:

— Вечерком зайди ко мне, дело есть...

— Стало быть, можно надеяться? — обрадовался Микаэл.

— Приходи, потолкуем.

Поминки пришли к концу. Священники прочитали молитву, и гости стали расходиться. Остались только друзья семьи и приятели Микаэла. Они еще ничего не знали о завещании.

На просторном дворе Алимянов собралась огромная толпа голодного люда. Приказчики и прислуга покойного раздавали нищим еду. Царила невероятная суматоха. Грязные, полунагис попрошайки, толкались и ругались, стараясь опередить друг друга, чтобы добраться до кухни.

Звон огромной медной посуды, окрики прислуги, шум голодной толпы — все это сливалось в общий гул, производило впечатление восточного базара. Грубость, прязь, чад, зловонные лохмотья вызывали отвращение в сытом и безучастном наблюдателе.

Какой-то слепой армянин, размахивая палкой, прокладывая себе путь к вкусно пахнущим котлам. Юный перс отталкивал его за полу, норовя пробраться первым. Русский инвалид споткнулся, упал на айсорку и в ярости стал бранить ее же. Краснолицый лезгин, безрукий до локтей, бросался от одного к другому, выхватывал зубами куски и проглатывал их почти не жуя.

Стая бродячих собак, смешавшись с нищими, обгладывала, рыча, остатки костей. Приказчики и прислуга пытались осадить напиравшую толпу, но все их усилия водворить хотя бы подобие порядка оказывались тщетными.

Наконец вся еда была роздана, двери кухни затворились, но толпа не расходилась — значит, предстояло еще что-то. Вот на площадке лестницы показалась внушительная фигура Срафиона Гаспарыча. Он распорядился подпускать к себе нищих поодиночке. В руках у него был пе-

стрый платок с серебряными монетами. Вдова Воскехат назначила для раздачи нищим двести рублей из своих средств.

Срафион Гаспарыч встряхнул платок, и монеты зазвенели. Привлекательный звон серебра подействовал на толпу, точно электрический ток, и она дрогнула. Все на мгновение застыли и ошеломленно впились глазами в волшебный платок отставного чиновника. Но вот толпа снова всколыхнулась, загудела и, как стая хищных птиц, кинулась к платку. Теперь уже ни прислуга, ни приказчики, ни даже прибежавшие полицейские не в силах были сдерживать напор толпы.

Старика окружили со всех сторон. Сотни рук, словно движущийся лес, замелькали в воздухе. Тут были расслабленные, безногие, с невероятными усилиями, ползком пролагавшие себе путь, были обессиленные чахоточные, попадались даже прокаженные, которых толпа не замечала. Молодые орудовали локтями и кулаками. Женщины трепали за косы друг друга. Персы славословили память покойного и желали ему райского блаженства. Христиане поносили «неверных» и били их нещадно. В оглушительной сутолоке раздавалась на разных языках самая отвратительная ругань; выношенная столетиями в горниле смрада и грязи, эта ругань была как бы мстостью природы человеку за извращение естественного правопорядка.

Зрелище заинтересовало многих гостей. Столпившись на балконе, они развлекались, глядя, как попиралось человеческое достоинство. Это были главным образом сынки толстосумов — «золотая молодежь».

— Чет или нечет? — невозмутимо продолжал пытаться счастье Мовсес Бабахаян.

Тут находился и репортер либеральной газеты Арменак Марзпетуни, молодой человек со смугло-желтым лицом и большим носом, в неловко сшитом длиннополом сюртуке, складки которого свидетельствовали, что он совсем недавно был извлечен из сундука. Поминки дали ему тему для статьи, которую он решил назвать «Контраст». Внизу зрелище ужасающего голода и наготы; трудно отличить людей от псов. А здесь, наверху, — живое воплощение сытости и довольства. Там — нужда, полуголые тела, море голов, грязных, взъерошенных. Тут — щегольские костюмы, золотые цепочки с драгоценными брелоками,

брильянтовые кольца и булавки в галстуках. Можно было бы пожалеть находящихся внизу, посочувствовать им, но Арменака Марзпетуни больше влекли к себе те, что были наверху.

Репортер подошел к Смбату, наблюдавшему, как толпа набрасывалась на крохи с его барского стола.

— Господин Смбат, я намерен сегодня же описать похороны вашего родителя и послать статью в газету «Молния», пользующуюся, как вам, наверное, известно, всеобщим уважением.

— Как вам угодно, — отозвался Смбат сухо, даже не взглянув на корреспондента.

— Наш долг ознакомить читателя с примерной благотворительностью покойного. Проповедь слышали только здесь, печатное же слово прозвучит по всей стране. И потому, прежде чем написать статью, я бы попросил сообщить мне кое-какие дополнительные сведения.

— Как-нибудь в другой раз, милостивый государь, сегодня не время, — отрезал Смбат и отвернулся.

Репортер метнул ему вслед яростный взгляд и решил: «Теперь-то я знаю, что надо писать, разжиревший буржуа!»

Подошел либеральный отец Ашот.

— Прощайте, Смбат Маркич, разрешите заверить еще и еще раз, что отец ваш обессмертил свое имя.

— Господин Смбат лучше нас знает цену деяниям покойного отца своего, — перебил его консерватор отец Симон, на правах духовника неотступно следовавший за Смбатом.

Смбат вежливо, но холодно пожал обоим руки и, повернувшись, отошел.

Отовсюду Смбата провожали десятки завистливых взглядов. А он в эту минуту чувствовал на сердце такую тяжесть, какой еще никогда не испытывал.

3

Сидя в отцовском кабинете, Смбат приводил в порядок дела покойного.

На столе множество бумаг — договоров, счетов, векселей. Знакомясь с делами отца, Смбат размышлял о том

положении, которое предстоит ему занять в совершенно новом, незнакомом коммерческом мире. Однако сосредоточиться на этом ему не удавалось — нечто другое властно теснило мысли. Мужественное лицо то морщилось горькой улыбкой, то разглаживалось.

Посреди стола перед ним стояла большая фотография, прислоненная к чернильнице. Вот они, дорогие существа, на долгие годы оторвавшие Смбата от родного гнезда и навлекшие на него отцовское проклятие. Ужасная дилемма: он ненавидит жену, но любит детей. Прошло всего пятнадцать дней, как Смбат расстался с этими бесконечно милыми ему существами, а сколько тоски, горечи, скорби! Он никогда еще так сильно не любил своих детей, никогда! И вот хотят заставить его расстаться с ними, расстаться навсегда, во имя каких-то вздорных законов, каких-то диких предрассудков! Да разве можно вырвать сердце из груди, разлучить душу с телом и... все-таки жить!

Нет, нет! Он не любит жену и давным-давно убедился, что никогда не любил и не был любим. Произошла роковая ошибка, оплошность, которую он допустил, не разобравшись в своих чувствах, — ошибка, обычная для многих в юности.

А когда он понял свою ошибку, было уже поздно, слишком поздно. Что же, разве Смбат, как честный человек, не должен был связать себя законным браком с чистой, непорочной дочерью порядочных родителей, которую соблазнил в минуту увлечения? Наконец, неужели он должен был выкинуть на улицу беспомощное милое существо, которому сам дал жизнь, — родное дитя? Зачем, в силу какого морального веления? И вот он женился, пожертвовав ради элементарной порядочности черными предрассудками и отжившими традициями родителей. Поздно тужить о том, что он был изгнан из-под отчего крова и заслужил родительское проклятие...

Теперь он снова у родного очага, но проклятие все же тяготеет над ним. Примириться ли с этим, или же, вырвав собственное сердце, освободиться от проклятия? А потом? Неужели тогда не нависнет над ним еще более жестокое, чудовищное проклятие — вечное проклятие собственных детей? Нет, нет! Он может ненавидеть ту, которую, как ему казалось, когда-то любил, а теперь ненавидит, — но

как разлучиться с родными детьми, когда даже хищное животное не покидает своих детенышей? Не легче ли перенести проклятие упрямого и темного отца, насмешки и презрение сородичей, чем стать нечестивцем, жестокосердным родителем, носить в груди черную змею, а на совести тяжелый камень?

Смбат снова взял со стола заветную фотографию и прижал к губам, не замечая, что мать неслышно подходит к нему.

Вдова на минуту остановилась за спиной сына. Тронутая зрелищем, она грустно покачала головой. Но это мимолетное чувство тотчас сменилось другим, более мощным; бескровные губы Воскехат дрогнули, и из ее груди вырвался тяжелый вздох.

— Твои дети? — спросила она, положив руки на плечо сына.

Смбат вздрогнул, поднял голову и посмотрел на мать, одетую в черное с головы до ног.

— Скажи, это твои дети? — переспросила вдова.

— Да, мама, мои кровные дети, — ответил Смбат, ставя фотографию на место.

— Нет, сын мой, не кровные они, нет!

— Мама! — произнес Смбат укоризненно.

— Да, да, они от тебя, но не твои!

— Мама, не говори так, у тебя тоже дети, которых ты любила.

— Да, любила и люблю. Но послушай, сынок...

Вдова уселась против сына, сложила руки на груди и направила на него взгляд, полный участия. Взгляд этот слегка смутил Смбата, в сердце его закралась какая-то неприязнь к матери. Ему показалось, что перед ним не любящая мать, а неумолимый судья.

— Сын мой, — продолжала вдова, озабоченно вздыхая, — довольно тебе позорить себя, родителей и всю семью. Ты с детства был умницей. Отец твой знал это, потому и передал тебе свои дела. Неужли ты не понимаешь, что поведение твоё противно обычаям наших отцов, дедов и законам нашей святой церкви? Две недели назад отец твой сидел вот тут, на этом месте. Бедняжка! Никогда он не был так озабочен и грустен. «Воскехат, — сказал он, — мне снилось, что я скоро умру, как быть со Смбатом? Не

хочется умереть не помирившись». И он горько заплакал. Потом, положив руку мне на плечо, заставил поклясться прахом родителей, жизнью детей и брата, что я буду молить тебя образумиться. В завещании написано мало, но он много говорил об этом. День и ночь только о тебе, о тебе только и шла речь.

И вдова черным шелковым платком утерла слезы.

— Мама, значит, ты хочешь, чтобы я своих собственных детей вышвырнул на улицу, как лишнюю обузу? — молвил Смбат, с трудом сдерживая гнев.

— Боже упаси, сынок! Зачем выбрасывать? Отец твой мечтал только об одном: чтобы ты порвал с иноплеменной, лишил детей своего имени. Пусть их живут как хотят. Слава создателю, покойный оставил такое состояние, что ты можешь обеспечить на всю жизнь жену и детей. Пусть им перепадет часть твоего наследства, бог с ними!

— Мать, я понял тебя, довольно, больше об этом ни слова! — возмущенно прервал сын.

Он встал и, заложив руки в карманы, подошел к окну. «Ни слова!» — но как же молчать матери, страдавшей за сына целых восемь лет, матери, на которую была возложена исстрадавшимся отцом священная обязанность — помочь сыну ступить на верный путь? Как же было не говорить ей, когда над любимым сыном нависло отцовское проклятие? И Воскехат продолжала говорить. Она описывала свои терзания, муки отца, упреки родни и друзей, молчаливое презрение знакомых, проклятия соотечественников и церкви...

Смбат слушал молча, взволнованно шагая по комнате. Когда мать облегчила сердце, он, схватившись за голову, горестно застонал:

— Мама, ты отвела душу, теперь оставь меня одного. Я обдумаю, как мне поступить.

— Но ты сегодня же, не так ли, сегодня же должен это решить! — упорствовала вдова.

Вошел Срафион Гаспарыч и стал успокаивать сестру. Еще не время решать эту тяжелую задачу. Пускай пройдут дни траура, а после он сам переговорит со Смбатом. Дядя объяснит ему все обстоятельства и убедит исполнить последнюю волю родителя. А сегодня надо принять епар-

хиального начальника: он выразил желание «лично утешить скорбящих».

— Владыка прислал сказать, чтоб ты ожидал его,— обратился Срафион Гаспарыч к племяннику.

И действительно, час спустя слуга доложил, что епископ уже выходит из кареты.

Прибытие его преосвященства было обставлено довольно торжественно. Он шествовал в сопровождении молодого архимандрита, всех городских священников и двух ктиторов, как бы желая показать все величие своего сана. Два соперника — краснолицый, крепкий, чернобородый отец Симон и сухопарый, в очках, отец Ашот, подхватив под руки владыку, бережно помогали ему подыматься по устланной коврами лестнице.

Епископу было лет пятьдесят пять, он был среднего роста, кругленький, тучный, как откормленный боровок. С его мясистого и широкого лица ниспадала длинная и густая борода теплого оттенка, закрывавшая ему грудь наподобие расправленных орлиных крыльев. Из-под блестящего шелкового клобука виднелась пара очень бойких глаз с припухшими красными веками, отчасти скрытыми под густо разросшимися длинными бровями. По обеим сторонам его толстого носа с жесткими волосками на кончике возвышались две синеватые припухлости, замаскировавшие ему щеки,— единственные места на лице, где не было волос. На грудь спускалась массивная золотая цепь с большим крестом, осыпанным бриллиантами.

Пока епископ с важной медлительностью подымался, постукивая о ступени посохом, его беспокойно рыскавшие глаза изучали обстановку богатой прихожей. У последней ступени Смба́т припал к его волосатой с синими жилками руке.

Епископ тяжело вздохнул и перевел дух, мысленно проклиная свое толстое чрево. Но пусть окружающие думают, что этот вздох — выражение глубокого соболезнования осиротевшей молодежи.

Торжественное шествие, возглавлявшееся владыкой и замыкавшееся священником в коротенькой рясе лягушечьего цвета, направилось к гостинице в сопровождении Смба́та и Срафиона Гаспарыча. Тут его преосвященство ожидали вдова Воскехат, Марта Марутханян и несколько

пожилых женщин. Все приложились к руке епископа и удостоились его благословения.

Отец Симон и отец Ашот торжественно усадили владыку в бархатное кресло; он утонул в нем до остроконечной верхушки своего клобука, напоминая тяжелую литую бомбу в облаке ваты.

— Его преосвященство патриарх и католикос всех армян,— начал епископ, торжественно отчеканивая слова,— соблаговолил прислать кондак¹ с благословением вашему степенству, высокочтимый Смбат Алимян. Я явился, чтобы вручить вам сие святое послание и со своей стороны также отечески паки и паки воздать благодарность доброй памяти усопшего, а также благословить вас за пожертвования приснопамятного родителя вашего на процветание церкви и на нужды народные.

И, вынув из-за пазухи большой пакет, он высоко поднял его со словами:

— Прочтите, отцы!

Отец Симон и отец Ашот одновременно потянулись к пакету. Отец Ашот, более ловкий, чем его противник, успел перехватить кондак.

— Отец Симон, читай лучше ты, у тебя голос покрепче, — приказал владыка.

Отец Ашот, кусая губы, передал пакет свосму противнику.

Отец Симон начал читать. Вдова заплакала, за нею и другие старухи, хотя ровно ничего не понимали из того, что читалось.

— Сей благословенный дом достоин патриаршего благословения, — изрек епископ по прочтении кондака и собственноручно передал его Смбату. — Не плачьте, сестры, а возрадуйтесь, ибо отныне десница царя небесного пребудет над сим семейством. Да примет всевышний душу покойного в сонм святых и пророков!

При этих словах владыка благоговейно возвел очи. Но тут взгляд его остановился на огромной золоченой бронзовой люстре, спускавшейся с потолка. «А любопытно знать, сколько она стоит?» — промелькнуло в его голове.

Потом он заговорил об эчмиадзинском монастыре, посоветовав вдове Воскехат посетить святую обитель к пред-

¹ К о н д а к — послание.

стоящему празднику мироварения, добавив, что и сам будет там, чтобы помолиться за паству своей епархии и принести его святейшему, католикосу, уверения в преданности этой паствы заветам родной апостольской церкви.

— Грех на моей душе, владыка, великий грех против нашей святой веры, не могу я с чистым сердцем ехать в Эчмиадзин, — проговорила вдова, бросив многозначительный взгляд на сына.

Епископ знал семейные обстоятельства Алимянов. Поэтому, поняв намек вдовы, он обратился к сопровождавшим его духовным лицам:

— Отцы и ты, отче архимандрит, пройдите в другую комнату.

Приказ был немедленно исполнен, и в гостиниой остались, кроме епископа и Воскехат, Смбат и Срафион Гаспарыч.

Первой начала вдова:

— Да, великий грех тяготее над домом Алимянов, и пока не будет он искуплен, никто из нашей семьи не посмеет считать себя подлинным правоверным армянином.

Смбат предчувствовал, о чем будет говорить мать с епископом, а потому заранее решил вооружиться хладнокровием, чтобы не огорчить ее каким-нибудь резким возражением.

Вдова вкратце рассказала все то, что уже было известно епископу: рассказывала она взволнованно, то и дело прижимая к глазам черный шелковый платок.

— Сын мой не повинен, нет, нет, — заключила она. — Он был молод, его совратили и впутали в беду...

Наивная женщина! Она все еще думала, что ошибку сына можно легко исправить — стоит лишь ему этого захотеть... Она думала, что только тот брак свят и нерасторжим, который связывает двух единоплеменников и единоверцев, и что только дети, родившиеся от такого брака, могут считаться законными и достойными любви.

Епископ чувствовал себя в затруднительном положении. От него требовалось, чтобы он убедил Смбата нарушить обет, порвать с женой и бросить детей. Как заставить человека с твердыми взглядами, с университетским образованием решиться на такой шаг, какими словами и доводами подействовать на него?

У его преосвященства участилось дыхание, он вспотел под тяжестью навалившейся на его тучные плечи непосильной обузы. Но все же он заговорил — заговорил об историческом и политическом значении родной церкви, описал гонения, ею перенесенные, доказывал необходимость любви и преданности религии для «сохранности нации», но, не дойдя до сути дела, устремил взгляд на бронзовую люстру и замолчал.

Вдова Воскехат тяжело вздохнула, чувствуя, что вопрос гораздо сложнее, чем ей казалось, и вновь прибегла к своему обычному оружию — просьбам и слезам.

— Сними, сынок, с себя отцовское проклятие, избавь себя и нас от напасти! — твердила она в сотый раз одно и то же.

Для Смбата все это было тяжелым испытанием, которое, если бы продолжалось, могло сделаться непосильным. Он кусал губы, чтобы сдержать крик, чтобы не оскорбить в присутствии епископа мать лишним словом.

— Преосвященный, — заговорил он наконец, — благоволите убедить мою мать, что не человек, а чудовище тот, кто способен выбросить родных детей на улицу. Я любил отца, люблю мать, но могу ли во имя этой любви пожертвовать детьми? Преосвященный, каждый человек сам отвечает за свои поступки и на этом и на том свете. Если мой шаг — преступление против моего народа, против религии и родины, то я, и только я, должен нести наказание. Проклятие отца я постараюсь снять с себя как-нибудь иначе; я постараюсь быть безупречно честным в отношении семьи, близких, но покинуть детей — никогда, никогда!..

— А коли так — возьми детей, а жену брось! — не выдержала старуха.

— Бросить мать детей?! — вскричал Смбат, не в силах более сдерживать себя. — Что бы ты сделала, если бы у тебя отняли детей? Нет, преосвященный, ваше вмешательство ни к чему не приведет. Я не могу исполнить требование матери!

При этих словах он встал, давая понять, что разговор кончен.

Епископу было приятно, что вопрос не усложняется и что он может теперь свободно вздохнуть. Выбрав удобную минуту, владыка тоже поднялся и прочитал молитву,

давая понять находившимся в соседней комнате, что беседа на щекотливую тему окончена.

Епископ получил плату «за допущение к его руке» и отбыл с той же торжественностью, с какою прибыл.

Вдова плакала, Срафион Гаспарыч ее утешал.

Четверть часа спустя Смбат снова прошел в отцовский кабинет. Хотя он и был огорчен, но все же чувствовал в душе облегчение. Первая буря, ожидавшаяся им ежеминутно после похорон отца, оказалась не столь уж сильной. Смбат сумел противодействовать матери. Теперь ему уже не трудно намекнуть на близкий приезд из Москвы жены и детей. Вдова, разумеется, вознегодует, заплачет, будет упрашивать, но это не беда, мало-помалу свыкнется с мыслью о неизбежной встрече с невесткой. Ну, а дальше? Неужели вопрос решен? О нет, нет, не в этом суть: примирится ли он сам, Смбат, со своим положением, если даже предаст забвению отцовское проклятие?

Он больше не мог заниматься, начал собирать бумаги. Вошел слуга и доложил, что уста¹ Барсег хочет видеть хозяина.

— Кто такой Барсег?

— Один из ваших арендаторов.

— Пусть войдет.

Посетитель оказался тем самым рыжеволосым человеком, который на поминках подошел к «адвокату» Мухану и попросил его зайти к нему вечером. Он остановился у дверей, сложил руки на груди и отвесил низкий поклон. Воровато озираясь, подошел к Смбату и с льстивой улыбкой протянул ему руку. С первого же взгляда вид и хватки этого человека произвели на Смбата отталкивающее впечатление.

— Что вам угодно?

— Доброго здоровья вашей милости, Смбат-бек, — раздался в ответ глухой голос уста Барсега.

— У вас дело ко мне?

— Маленький счетец, Смбат-бек.

— Присядьте.

Гость поклонился, но не сел.

— Ваша милость, как вижу, изволили забыть меня, — заторопился он, устремив стеклянные глаза на хозяина. —

¹ Уста — мастер.

Оно, конечно, дорогой ага, столько лет прошло... Только мы вашу милость помним. Во какой был ты... — продолжал гость, держа руку на аршин от полу, — маленький-маленький. А потом подрос еще малость и уехал в Москву. Сохрани тебя господь, теперь ты уже мужчина, да еще какой! Как поживаешь, дорогой ага?

— Спасибо. Вы сказали, что у вас есть счет, что это за счет?

Барсег сделал вид, что не расслышал, и продолжал по-прежнему:

— Бывало, приходил ты ко мне в лавку и бубенчики спрашивал — кошке на шею. Вот под этой самой комнатой наша лавка, миленький, топнешь — и прямо в голове слуги твоего отзовется.

— Вспоминаю, вспоминаю, — нетерпеливо прервал его Смбат, — вы — уста Барсег, серебряных дел мастер... Скажите, что у вас за счет, уста Барсег?

— Пришел ты как-то ко мне: «Сделай удочку, уста Барсег, рыбу ловить». — «Со всем нашим удовольствием, говорю, сделаю, голубчик ты мой». Засел я, провозился целый день, смастерил хороший серебряный крючок и подарил тебе. Ну и обрадовался же ты, миленький...

— Уста Барсег, вы про какой-то счет говорили...

— На другой день ты прибежал опять: уста Барсег, говорят, мол, серебро фальшивое. Уж и не знаю, кому это нужно было сказать, что уста Барсег фальшивое серебро за настоящее выдает... Помнишь?

— Что у вас за счет, уста Барсег? — воскликнул Смбат раздраженно.

— Счетец? — небрежно переспросил гость. — Да, заговорился и забыл о нем. Счетец, Смбат-бек, на имя Микаэла Маркича... Счетец, голубчик ты мой, маленький, очень маленький... Но Микаэл Маркич все тянет... Вот уже три дня просим-молим... не оплачивает...

— Не оплачивает? Значит, он вам должен?

— Именно должен, голубчик ты мой. Ежели не отдаст, конечно, помолчим, но ведь он должен по векселю.

— По векселю?

— Чисто... На предъявителя!

— Сумма?

— Для вашей милости — сущие пустяки, цена костюмчика, вечерок в компании... Для нас же, голышей,

целая казна, царство, сад Гарун аль Рашида, ха-ха-ха!..

Смех этот был до того сух и исприятец, что Смбат почувствовал невольное омерзение. Однако он уже был заинтересован словами посетителя.

— А ну-ка, покажите вексель, — протянул Смбат руку.

Барсег, озираясь, вытащил из бокового кармана истертый бумажник. Из пачки каких-то бумаг осторожно извлек вексель, развернул и, держа крепко за уголки, поднес к глазам Смбата.

— Да, это подпись Микаэла, — подтвердил Смбат. — Вы не бойтесь, я не отниму, хочу только взглянуть, на какую сумму.

Смбат изумился. Вексель был на семь тысяч рублей — сумма, несомненно, превосходившая все состояние заимодавца.

— Уста Барсег, вы и теперь занимаетесь вашим ремеслом?

— Да, голубчик мой, как были ремесленниками, так ремесленниками и остались: постукиваем молоточком — семью содержим, пятеро детей... Вот уже года два как шкафчик завели, разложили в нем кое-что из золота и серебра и тешимся, авось и мы чего-нибудь да стоим...

— А может быть, Микаэл у вас золотые вещи брал?

— Нет, жизнью твоей клянусь, наличными. Клянусь драгоценной жизнью твоей, у детей изо рта вырывал — ему давал...

— Уста Барсег, вы ему ровно семь тысяч дали или меньше? — спросил Смбат, бросив пронизательный взгляд на посетителя.

Уста Барсег смутился, но лишь на мгновение. Тотчас овладев собой, ответил улыбаясь:

— Конечно, голубчик ты мой, дал я немного меньше, но вся-то сумма семь тысяч серебром.

— Я вас прошу сказать, сколько вы дали наличными деньгами? Ведь вексель содержит и проценты?

— Проценты, понятное дело, а то как же без процентов... Но долг Микаэла Маркича — ровно семь тысяч рублей.

— Когда истекает срок?

— Срок? Да сегодня. Уже шестнадцать дней прошло, как помер Маркос-ага, царство ему небесное! Клянусь

твоей жизнью, мы денно и пощю за него молились. Но что же подделаешь — ни нам от смерти не уйти, ни смерть нас не забудет. Видно, так богу было угодно...

— Что вы хотите сказать, уста Барсег? Не пойму я вас.

— Ясно как день, Микаэл-ага обещал уплатить спустя несколько дней после смерти отца.

Смбат вздрогнул. Он понял чудовищный поступок брата, делавшего ставку на смерть отца. Несомненно, этот Барсег, кровопийца ростовщик, воспользовался стесненным положением расточительного молодого человека и ссудил деньги под чудовищные проценты с обязательством уплаты тотчас после смерти старика. Но кто из них омерзительней — должник или кредитор?

— Ладно, — сказал Смбат, — повремените до завтра, я переговорю с братом, и после увидимся.

— Нет, нет, молно тебя! Микаэл Маркич не должен знать, что мы приходили к вашей милости. Упаси гослюди! Буйный он человек, убьет меня и пустит по миру моих детей...

— Ступайте! Приходите завтра — получите деньги.

— Да, голубчик ты мой, завтра покончим. Пятеро детей, старуха мать, сестры, братья, племянницы, племянники — целая орава у меня. По судам бегать неохота. Лучше по-хорошему, сам Христос так велел. Дай бог царство небесное Маркосу-аге, отменший был человек, очень нас любил, каждый день заходил ко мне в лавку. Мы тоже к услугам вашей милости, под сенью вашей и живем. Прости за беспокойство, не сердись, голубчик, уходим без разговора, завтра явемся, просим прощения...

И уста Барсег, пятась к двери и отвешивая низкие поклоны, выкатился из комнаты.

В тот же вечер между Смбатом и Микаэлом произошло первое столкновение. Микаэл без стеснения сознался, что занял у Барсегга всего одну тысячу, выдал же вексель на семь. Ничего другого не оставалось — нужны были деньги. Он поступил так же, как поступали многие дети скупых родителей. Он лишь не морил себя голодом, будучи сыном миллионера, в то время когда его друзья тратили тысячи, десятки тысяч. А сейчас, когда он наконец имеет право на свободное, независимое существование, вместо одного деспота является другой. Нет, это невыносимо и оскорби-

тельно. Отец оставил незаконное завещание, и он, Микаэл, разумеется, не будет сидеть, сложа руки, он примет необходимые меры, а пока что Смбат, без лишних слов, должен заплатить уста Барсегу, иначе дело поступит в суд...

Смбат принялся разъяснять, что ему в голову не приходило стать деспотом Микаэла, что они равные братья и обязаны помогать друг другу добрыми советами. Но ведь жизнь Микаэла — это духовное банкротство, нравственное падение, разложение. Пусть посмотрит на себя в зеркало. Так продолжаться не может — это оскорбление для семейной чести.

— Наконец, мы не имеем морального права бросать на ветер ради нашего удовольствия состояние отца, нажитое в поте лица.

— В поте лица! — повторил Микаэл с торькой усмешкой. — Ты убежден, что наш отец нажил миллионы честным путем?

— А ты сомневаешься?! — воскликнул Смбат удивленно.

— Я? Я-то убежден, а вот ты — нет.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что ты в душе считаешь нашего отца эксплуататором и в то же время не стесняешься пользоваться его богатством.

— Микаэл!

— Зря ты оскорбляешься. Хочешь, я покажу твои письма из Москвы, после того как покойный отказал тебе в деньгах? Ты писал, что в наши дни нельзя разбогатеть честным путем. Ты обвинял отца в эксплуатации трудового люда, в жадности и скупости, я же отвечал, что богатство Маркоса Алимяна не результат чужого пота, а игра случая, дар судьбы, лотерея. Я защищал, ты — наносил удары! Скажи же теперь, кто из нас более достойный наследник — я, ведущий расточительный, распутный образ жизни, или же ты с твоими экономическими воззрениями и вычитанной из книг философией?

— Не знаю, может быть — ты...

— Да, я! Дай в таком случае мне пользоваться наследством. Удались от дел и передай мне богатство, накопленное эксплуатацией. Ты — человек образованный, я — неуч, ты — умен, я — дурак, деньги дураку и нужны, ведь

умный сам может их заработать. Вот ты козыряешь своей безупречностью и воздержанностью, но забываешь житейские условия, в которых мы росли. Тебя в двенадцать лет вырвали из дурного общества и отправили в Москву. Жил ты там в лучших семьях, воспитывался у лучших учителей, окончил университет. Меня же держали тут, в этом поганом городе, и, не получив по твоей милости никакого образования, я попал в дурную среду.

— По моей милости? — прервал его Смбат.

— Да, именно, разве ты этого не знал? В тот день, когда отец узнал, что ты женился не на армянке, он поклялся не только не посылать остальных детей в Россию, но и вообще не отпускать их от себя ни на шаг. Вот почему я лишился тех добродетелей, которыми ты теперь гордишься. Да, да, ты умен, ты получил высшее образование, ты можешь себя обеспечить честным трудом, а вот я не могу, ведь я — невежда, дурак, ни к чему не способен. Именно мне, а не тебе пристало проматывать богатство, добытое чужим горбом.

— Но ведь я обязан исполнить волю, выраженную в завещании отца?

Микаэл расхохотался.

— Обязан исполнить волю! — повторил он, всплеснув руками и покачав головой. — Ай-яй-яй, нечего сказать, похвальная покорность! Обязан? Так выполни в первую очередь главный пункт завещания: разведись с женой и брось детей!

— Это тебя не касается!

— Пусть так. Если тебе угодно, отныне не буду говорить об этом, но при одном условии, чтобы ты тоже не надоедал мне своими увещаниями и наставлениями, не имеющими для меня ни малейшей ценности.

— Но я обязан тебя наставлять, такова воля не только отца, но и матери.

— Почему? Потому что я шарлатан, а ты порядочный человек, я беспутный, а ты нравственный, да? Потрудишься же, нравственный человек, пройти к матери и посмотреть, из-за кого бедняжка проливает слезы. До свидания, завтра без лишних слов уплатишь уста Барсегу мой долг, отберешь вексель, а для меня приготовишь пять тысяч рублей. У меня есть и другие долги — все уплатишь и запишешь за мной.

Он вышел, бросив на брата взгляд, полный презрения.

Смбат возмущенно ударил по столу и поднялся. Вот как! Даже этот испорченный до мозга костей юнец укоряет его, тычет ему в глаза его непоправимой ошибкой. Но что поделаешь? Как тут наставить брата на «путь истинный», когда он сам не выполняет возложенного на него последней волей отца тяжелого обязательства?

«А все-таки я приберу тебя к рукам», — решил Смбат про себя.

4

Как! Долгие годы играть роль заурядного приказчика, томиться под пытливым взглядом упрямого и мелочного старика, придумывать всякий раз небылицы для оправдания расходов, порою с нечистыми руками подходить к отцовскому сундуку и волей-неволей жаждать смерти родителя в надежде, что она освободит от ненавистного гнета, — и что же! Умирает в конце кощов отец, оставив огромное наследство, а он, Микаэл, неожиданно оказался лишенным законных прав и очутился под новой докучливой опекой?

Нет, нет, это невыносимо, оскорбительно для Микаэла. Этого удара он не перенесет. Что скажут его друзья и приятели? Не вправе ли они смеяться, издеваться над ним? Нет, нет, он не покорится безмолвно воле старшего брата, он равный наследник. Что за бессмысленное завещание! От него требуют изменить образ жизни, жить по прихоти полупомешанного старика и жениться на армянке, чтобы вернуть себе наследственные права. Жениться в такие годы, когда его друзья свободны от брачных пут, а те, кто женился, уже раскаиваются, как, например, Мелкон Аврумян и многие другие. К чему ему лезть в ярмо, плодить лишние рты и ежедневно слышать «папа, папа» — это глупое, смешное слово, приятное для тупиц и несносное для тех, кто умест ценить блага жизни и пользоваться ими. Нет, Микаэл теперь независим, свободен и хочет остаться таким — холостая жизнь ему еще не прискучила!..

Занятый этими мыслями, Микаэл чувствовал, как в его сердце с каждым днем растет ненависть к Смбату, и он

придумывал всевозможные планы, чтобы выйти из-под опеки старшего брата.

Смбат уже уплатил долг Микаэла уста Барсегу, отобрал вексель и передал брату, но в просимых им пяти тысячах отказал.

Время шло к полудню. Полчаса назад Микаэл снова попросил денег у брата и снова получил отказ. Теперь он взволнованно шагал по своей комнате, самой комфортабельной в доме Алимянов. Тут были изысканные белуджистанские ковры, подушки, подушечки, кресла, обитые нежнейшей хорасанской и кирманской шалью и парчой. Перед одним из окон, задернутых плотной шелковой занавесью, стоял большой письменный стол, обремененный массивным серебряным чернильным прибором, всевозможными статуэтками и альбомами в дорогих переплетах. В углу — роскошный книжный шкаф, набитый сочинениями русских поэтов и прозаиков в золоченых переплетах. Бросалась в глаза также переводная литература. Через сводчатую дверь виднелась спальня, устланная мягкими коврами. Там, в углу, — постель, покрытая шелковыми одеялами и вышитыми тканями. На ней — пять-шесть подушек, сложенных горкой. Можно было подумать, что это ложе шикарной кокетки, если бы стена над кроватью не была увешана оружием. В другом углу — туалетный столик, уставленный всевозможными флаконами, кремами, гребнями, щеточками и ножницами.

В создании этого уютного уголка большое участие принимала Воскехат. Это она убедила мужа не останавливаться перед расходами, чтобы сделать приятное сыну: ведь то, что тратится на убранство дома, зря не пропадает, да и Микаэла можно этим постепенно приучить к оседлости и вызвать в нем желание обзавестись семьей. А пышная обстановка льстила тщеславию Микаэла. Ему было приятно, что иные из его друзей завидовали, когда он угощал их вином в золоченых бокалах или же, открывая карточный стол, ставил на него золотые подсвечники.

Отворилась дверь, и вошел Исаак Марутханян с вкрадчивой улыбкой на румянном лице.

— Наконец-то! — воскликнул Микаэл по-русски и знаком пригласил гостя сесть. — Ну, говори, какие новости?

— Смотря что тебя интересует, — ответил Марутханян, подбирая полы сюртука и усаживаясь в кресло.

— А что еще может меня интересовать, кроме этого дурацкого завещания?

— Понятное дело,— проговорил Марутханян, медленно снимая перчатки и бросая их в шляпу. Он осмотрелся по сторонам.— Надеюсь, никто нас не услышит?

— Не беспокойся. Хочешь, закроем двери.

— Не худо.

Микаэл подошел к двери и повернул ключ.

— Вопрос ясен,— начал Марутханян, взяв со стола папиросу.— Прежде всего ты должен дать мне честное слово, что все, о чем мы будем говорить, останется между нами.

— Излишняя осторожность. Я себе не враг.

— Молодец! Тебе известно, дорогой мой, что я не похож на здешних горе-купцов. Я — юрист, хотя и без высшего образования, но не хуже любого присяжного поверенного разбираюсь в законах. Меня знают и здесь и в Тифлисе. Этим я хочу сказать, что если берусь за какое-нибудь сложное дело, так уж довожу его до конца, действуя осторожно и обдуманно: семь раз отмерю, один раз отрежу.

Пустив в потолок клуб дыма, он уставился желтовато-зелеными глазами на Микаэла.

— Хочешь, чтобы завещание было признано незаконным и утратило силу?

— Конечно хочу! — ответил Микаэл с жаром.

— Отлично! Но для этого потребуется ряд условий.

— Например?

— Во-первых, твердость воли, хладнокровие, а затем умение лицезерить и ловко лгать.

— Лгать? Разве это необходимо?

— Безусловно! Деятнадцатый век, милый ты мой, век лжи, а век этот еще не кончился. Нынче лгут все, и особенно те, кто восстает против обмана.

— Ну, а дальше? Изложи свой план.

— Сию минуту. Твой старший брат, Смбаг, вот уже три дня как судебным порядком утвержден в правах наследства. Отныне ты его раб в полном смысле этого слова. Так или нет?

— Допустим, что так.

— Допускать нечего, по точному смыслу закона это так. Отец твой назначил тебе ежемесячно сто рублей —

жалованье повара средней руки. Ты можешь вступить в наследственные права лишь после женитьбы. А жениться разрешается тебе лишь в том случае, если ты станешь серьезным, рассудительным человеком, ха-ха-ха!.. Этот пункт завещания весьма эластичен и обличает наивность того, кто писал, и невежество того, кто диктовал. Скажи, пожалуйста, если ты совсем изменишь образ жизни, то есть бросишь пить, играть в карты, волочиться за женщинами, напустишь на себя важность, как ты можешь доказать, что ты на самом деле изменился? При желании Смбат может возразить: дескать, ты остался таким же, каким был и при жизни отца. Это — во-первых. Во-вторых, разве ты согласился бы жениться? Уверен, что нет. Ты принадлежишь к категории мужчин, для которых слово «женитьба» звучит так же ужасно, как для меня «Сибирь» или «Сахалин». И на кой черт жениться тебе, когда к услугам таких, как ты, жены дураков? Итак, этот пункт завещания, как видишь, твоя гибель, намыленная петля... И вот я со своим планом иду тебе навстречу. Мой план хоть и наскоро составлен, но все же лучше этого идиотского завещания — мой план так или иначе может изменить твою судьбу.

— А что это за план?

— Другое завещание, так сказать, контрзавещание.

— Где же его взять?

— Вот в этом-то и загвоздка! Допустим, что контрзавещание составляется с полного твоего согласия, по моему плану и при участии двух таких помощников, из которых каждый мастер своего дела и никогда еще не был уличен ни в чем. Только ответь — хочешь ли стать полноправным наследником богатства, оставленного твоим батюшкой, или же предпочитаешь быть рабом брата?

— Говори скорее, бога ради! — воскликнул Микаэл, которому казалось, что зять шутит.

— Контрзавещание, разумеется, будет составлено задним числом, и на нем, понятно, будет подлинная подпись покойного. Это не так трудно, как тебе может показаться. Ты мне дашь образчик почерка отца, лучше всего подпись под какой-нибудь бумагой, а уж остальное — дело мое и моих помощников. Согласен?

— А каково будет содержание контрзавещания? —

поинтересовался Микаэл, убедившись, что Марутханян вовсе не шутит.

— Весьма любопытное, психологически весьма правильное, весьма ясное и справедливое,— ответил Марутханян, поправляя свой красный галстук.— Прежде всего о размере наследства. По самому скромному подсчету оставленное покойным недвижимое имущество я оцениваю в три с половиной миллиона. На четыреста пятьдесят тысяч процентных бумаг и приблизительно столько же наличными. По контрзавещанию наличные деньги, процентные бумаги вместе с обстановкой этого дома достаются тебе. А вся недвижимость, как-то: нефтяные промысла, дома и завод, то есть их стоимость или же доходы с них — делятся на три равные доли: одна — опять-таки тебе, другая — твоему младшему брату, Аршаку, третья — сестре, то есть моей жене... Что касается матери, то она, согласно закону, получает седьмую часть. Думаю, что более справедливого и законного завещания нельзя и представить.

— А Смбат?

— Было бы неосмотрительно упоминать о нем в завещании. Все знают, что он был проклят и изгнан, естественно, Смбат должен быть обделен. Выиграв дело, мы назначим ему постоянный оклад или же дадим некоторую сумму, и тогда нас же будут хвалить за великодушные.

— Но выиграем ли мы дело?

— Может быть, выиграем, а может быть, и нет. Если не выиграем и обман обнаружится, нас потянут к уголовной ответственности.

— Нет, нет, я на это не пойду! — воскликнул Микаэл, ужаснувшись.

Марутханян иронически улыбнулся.

— Но ведь мы без всякого сомнения выиграем дело,— проговорил он с полным спокойствием.— Ты послушай! Где будет рассмотрено дело? Ясно, в губернском суде. Вот тут-то и зарыта собака. Кем выносятся решения? Лишь дураки и идиоты верят в справедливость. А я наперечет знаю всех членов суда, знаю также, до чего они падки на взятки. Взятка — вот та великая сила, что движет совестью судей и законами. Мне же известны приемы, как подкупить членов суда и других, начиная от швейцара и кончая председателем.

— А если нам не удастся подкупить? — спросил Микаэл с нетерпением.

— Тогда мы прибегнем к другому средству, — предложим пойти на мировую.

— Кому?

— Смбату.

— Каким образом?

— Прежде всего припугнем его слухами о контрзавещании. Мною уже кое-что предпринято в этом направлении. Затем появится на свет контрзавещание. Смбат, увидя подпись покойного батюшки и выслушав мои показания, придет в ужас, и мы прижмем его к стене.

— Выходит, что ты мне предлагаешь пойти на мошенничество?

— Дорогой мой, — сказал Марутханян, снова поправляя галстук, — на свете много ложных понятий и ложных чувств. Мошенничество — понятие растяжимое. Разве не мошенничество — опозорить имя родителей, изменить веру отцов, погубить будущность детей за ласки какой-то распутницы, поносить родного отца при жизни, а после смерти завладеть его богатством, обобрав законных наследников? Своими махинациями я хочу восстановить справедливость, как дипломат, который правдой и неправдой спасает свое отечество. Впрочем, зря я затягиваю, воля твоя, не хочешь — что я могу поделаться? — тогда ступай и пей воду из рук брата, как глупый баран...

— А не слишком ли много придется на долю твоей жены?

— Доля долей, а мне за труды? Неужели, рискуя своей репутацией, я должен остаться при пиковом интересе?

— Ведь говорил же ты: семь раз примерь да раз отрежь — значит, ты не очень рискуешь.

— Будущее покажет... В этом деле главная роль принадлежит тебе. Впрочем, нечего канителить: либо да, либо нет!

— Ладно, делай как хочешь, но только обойдись без мспя. По судам таскаться мне неохота, да и вообще твой проект мне не особенно улыбается. Это дело темное.

— Оно сделается ясным, раздобудь только мне одну подпись покойного или лучше несколько...

— Хорошо,— согласился Микаэл,— сегодня же разыщу и дам.

— Вот за это хвалю! Надо, милый мой, действовать, действовать!

Покидая Микаэла, Марутханян в дверях едва не столкнулся с Гришей. Толстяк, почтительно пропустив Марутханяна, вошел, устало отирая платком пот с покрасневшегося лица и шеи, и с плечами ушел в кресло.

— Ох,— простонал он, насилию переводя дух,— подниматься по лестнице — мучение! У порядочных людей дом должен быть без лестниц... Черт бы побрал этих врачей, пристали: ходи да ходи, чтобы похудеть! Каково мне таскать этот бурдюк! Собираемся у Кязим-бека, дружок, пей укус: большой дебош предстоит. Кстати, когда сороковины?

— Кажется, через неделю.

— Так я ему и сказал. Значит, в то воскресенье мы воздадим памяти покойного последние почести, а во вторник спим с тебя траур. Однако к делу. Я пришел просить тебя сегодня вечером ко мне: предстоит небольшая партия в баккара. Вели подать стакан воды.

Лакей принес нарзан, и Гриша напился прямо из горлышка бутылки. Потом он уговорил Микаэла отобедать в гостинице «Европа» — там будут артистки недавно прибывшей оперы во главе с очаровательной примадонной Барановской.

— Ну, я передохнул. Айда, пошли!

Вышли вместе. Стояла теплая погода, хотя и было начало октября. Друзья проились по центральным улицам и дошли до квадратной площади, служившей местом прогулок. Отвечая на приветствия многочисленных знакомых, Микаэл уже воображал, что всем известно о завещании: не смеются ли над ним, а может быть, и сочувствуют?..

— Ступай в гостиницу, мне надо позвонить по телефону кой-кому о сегодняшнем баккара.

И Гриша скрылся за дверью ближайшей конторы.

Микаэл свернул на узенькую улицу, потом на другую и, остановившись перед новым одноэтажным домом, призадумался. За последнее время, проходя мимо этого дома, он всегда на несколько мгновений задерживался и засматривал в окна.

Сегодня на улице было почти пусто. Лишь изредка показывался прохожий или извозчик, и снова наступала тишина. Микаэл почувствовал приятное волнение, кровь в его жилах заиграла, наполняя тело приятной истомой. Сняв пальто, он перекинул его через руки. Сердце забило, в висках застучало, как в жару, глаза загорелись, губы подергивались.

У окна стояла женщина и, улыбаясь, глядела на Микаэла. Вот эта самая улыбка и зажгла в нем кровь. Женщина высокая, широкоплечая, с крупными, но привлекательными чертами; отличительной особенностью ее лица были нежные, едва заметные усики, пленявшие Микаэла.

Он подошел к окну.

— Где это вы пропадали? Что вас давно не видно в наших краях? — произнесла дама густым, бархатным контральто.

Казалось, ей надо было быть мужчиной, а этому молодому, женственно хрупкому человеку, так нежно пожимавшему ей руку, скорее пристало родиться женщиной. Словно природа перепутала их оболочки, как пропойца портной, надевающий заказчику платье, скроенное на другого.

— Занимался домашними делами.

— Вы — и домашние дела! — усмехнулась дама, облачиваясь на подоконник и наклоняясь вперед.

— Ведь я же в трауре, — отозвался Микаэл, жадно глядя на ее чуть видневшуюся полную грудь необычайной белизны.

— А-а, понимаю, заняты делами, завещание... Но...

— Как поживаете, сударыня? — перебил Микаэл, не желая говорить о завещании.

— Очень плохо, тоскливо...

И выразительные глаза ее медленно поднялись, по губам пробежала страстная улыбка, открывшая ряд жемчужно-белых зубов. Они не отводили друг от друга глаз. Дама ловко повернула тему беседы вопросом: отчего это Микаэл не женится? Ах, нынешняя молодежь вконец испорчена: эта молодежь чурается семейной жизни, тратя драгоценные годы на излишества.

— Взгляните в зеркало, вы с каждым днем чахнете...

— Я чахну, зато брат ваш все добреет. Отчего же вы его не уговорите жениться?

— Гришу-то?.. О, он неисправим! Его сердечко занято оперными и опереточными певицами. Вы — другое дело, ваше сердце свободно...

— Как знать!

— Ах, так? И вы? А я считала вас неспособным увлечься, — с насмешливой лаской улыбнулась она.

— Вы правы, любовь певицы меня захватить не может.

Дама откинулась от подоконника, и складка на ее белом подбородке сгладилась.

В свое время много шуму наделала в городе история замужества Ануш Гуламян. Дочь Мнацакана Абетяна, богача, владельца лучшего в городе магазина, влюбилась в одного из отцовских приказчиков. Родители, разумеется, воспротивились неравному браку, но однажды Ануш бросилась на колени перед матерью и со слезами покаялась.

Мать не могла скрыть это признание дочери от мужа. Надменный толстосум разъярился, вызвал Ануш к себе, обругал, назвав «распутницей», и, как поговаривали, даже поколотил ее.

Но было уже поздно, начались сплетни, насмешки, и отец скрипя сердце выдал Ануш за своего приказчика. Теперь у этого приказчика в центре города лучший магазин; на позолоченной вывеске значится «Петр Иванович Гуламов, представитель московских мануфактурных фирм».

В год скандальной женитьбы Микаэл Алимян был учеником седьмого класса реального училища. Эта история запечатлелась в его памяти, и с тех пор Ануш приворожила его. Микаэл познакомился с ней через Гришу года два назад и время от времени навещал ее как близкий товарищ брата. И Ануш и супруг ее принимали Микаэла радушно, как бы считая за честь, что у них бывает сын миллионера Алимяна.

Ануш опять высунулась из окна, на этот раз еще ближе склонившись к Микаэлу, и осмотрелась по сторонам. Щеки ее зарделись, глаза сверкали, как черные алмазы, пышная грудь колыхалась. Она отбрасывала со лба густые черные пряди волос.

Микаэл опьяненными глазами продолжал впиваться в ее полные плечи, стройный стап и особенно в полу-

открытую грудь. Какая шея, какие огненные глаза, какой манящий взгляд! Пусть говорят, что хотят, о неженственности этого существа, а все же она очаровательна, бесподобна. Оглянувшись, Микаэл потянулся к Ануш и уже хотел поцеловать ее, как, отодвинувшись, она произнесла еле слышно:

— Гриша идет.

Микаэл отскочил. Кокетство Ануш, ее бесконечно трогательная и вызывающая улыбка, страстное выражение глаз доставили Микаэлу такое наслаждение, какого он не испытывал никогда, — наслаждение, которое стоило многих побед. Ведь Ануш — одна из самых уважаемых в городе дам, считается добродетельной безупречной женой, несмотря на скандальный брак с Гуламяном.

— Это ты с Ануш разговаривал? — спросил Гриша, подходя к Микаэлу. — Ты заметил, как она скрылась, завидя меня? Мы в ссоре, не разговариваем.

— Почему же вы в ссоре?

— Потому что ее муж — осел. Третьего дня я в присутствии жены назвал его ослом, вот она и разобиделась, не разговаривает со мной.

— Но почему же ты обидел человека?

— Как не обидишь, милый мой, я у него попросил в долг тысячу рублей, а он отказал. «Нет», — говорит. Разбойник, обобрал моего отца, нажил миллионное состояние и говорит «нет». А для любовниц, конечно, есть.

— У него любовницы?

— Да еще сколько! Во всех уголках города. И какие красотки — одна уродливее другой!..

Это было новостью для Микаэла, и весьма приятной. Ведь если муж неверен жене, стало быть, и жена вправе изменять ему. С этого дня нежные усики Ануш все сильнее манили Микаэла. Несколько дней подряд в известные часы прохаживался он под окнами одноэтажного дома, однако Ануш не показывалась. Это сильнее подстрекнуло Микаэла. Наконец он решил навестить ее.

Против ожидания, муж оказался дома, хотя обычно он в эти часы уходил в клуб. После недельной размолвки муж и жена помирились. Их былая «любовь» давно уже успела смениться взаимной холодностью, и месяца не проходило, чтобы супруги не оскорбляли друг друга из-за какого-нибудь пустяка. Охлаждение наступило уже через

год после брака. В глазах друг друга они стали скучнейшими существами: муж со свойственным его кругу убожеством, жена — со своей требовательностью и претенциозностью. Оба поняли, что не любовь, а мимолетная страсть бросила их в объятия друг друга. Эту страсть Петрос перенес на продажных женщин, у Ануш же она лишь временно погасла, как бы ожидая случая вспыхнуть снова.

Сегодня Ануш с особенным вниманием разглядывала то супруга, то гостя. Разница между ними оказалась разительной. Неповоротливый, толстобрюхий, с глубоко посаженными алчными глазами, плешивый и прыщеватый — таков Петрос; он прихлебывал чай с блюдца, полоща в нем отвисшие усы и сопя. Жадно, непрерывно сопя и чавкая, большими кусками глотал пирожное; не умел держаться с гостем; увидя в своем доме Микаэла, этого изысканно одетого, изящного сына миллионера, чьи манеры и повадки изобличали человека, выросшего в роскоши и холе, он растерялся. Да, только безумие могло толкнуть Ануш на брак с этим уродом, вдобавок еще изменяющим ей, тогда как, казалось, должно было быть наоборот.

Петрос завел речь о торговых делах, несколько не интересовавших Микаэла. Нефть с каждым днем дорожает, счастлив тот, у кого имеются нефтяные участки. У Петроса их нет. Вот если бы Микаэл Маркович был так добр и уступил часть из своих владений по сходной цене, Петрос был бы ему бесконечно благодарен. Ануш с отвращением отвернулась: она не помнит случая, чтобы ее муж, беседуя с богатым молодым человеком, чего-нибудь да не клянчил. Вот что значит бывший приказчик! Но в то время как муж клянчил, жена обещала... обещала пленительной улыбкой, глубокими взорами. Больше того — прощаясь, Ануш так крепко пожала руку молодому человеку, что у него уже не могло остаться и тени сомнения...

Два дня спустя Микаэл наведаясь снова и на этот раз застал Ануш одну. Даже детей не было дома — няня увела их к бабушке.

Ануш встретила Микаэла как-то умышленно холодно, с печатью грусти на лице. Но Микаэл был стреляной птицей — настроение изящной дамы он истолковал правильно: сегодня ей хотелось побеседовать о муже, пере-

мыть ему косточки. Ей казалось, что, не поступи она так, Микаэл, чего доброго, может подумать, что Ануш все еще любит этого безобразного и грубого мужлана. Однако самолюбие удерживало ее, и она ограничилась несколькими намеками, показывавшими, как тяготится Ануш своей участью. Меняются времена, меняются вкусы и потребность женщины: сейчас уже мало иметь супруга и детей, чтобы чувствовать себя счастливой, есть и духовные запросы. Ах, как бы хотелось Ануш заняться каким-нибудь делом вдали от неприглядной семейной обстановки. Вчера она была в театре. Шла какая-то новая драма, где героиня, уставшая от семейной жизни, стремится к общественной деятельности. Ануш взволновалась, с трудом сдерживала слезы; ей казалось — будь она актрисой, наверное, эту роль она сыграла бы лучше, чем кто-либо другой.

— Поверьте, в наши дни одни только артистки и живут полной жизнью, а такие, как я, — несчастны.

Микаэл слушал сочувственно. Он уже убедился, что никакой любви к мужу у Ануш нет: больше того — все ее желания и помыслы вызваны ненавистью к нему.

С этого дня Микаэл уже не боролся со страстью, разгоравшейся в его сердце с нарастающей силой. Он ходил к Ануш каждые два-три дня под тем или иным предлогом и всегда в отсутствие Петроса...

5

За месяц Смбат успел ознакомиться с отцовскими делами. Изучая их, он все более и более заинтересовывался ими. Миллионные предприятия, кроме своей материальной основы, заключали в себе какую-то особую, неизъяснимо притягательную силу. Он, всего лишь какой-нибудь месяц назад имевший под своим начальством одну горничную, теперь распоряжался огромным количеством людей. Около тысячи мастеровых, рабочих и приказчиков видели в нем полновластного хозяина, который мог осчастливить их или лишить куска хлеба.

Смбат удивлялся природному уму, такту, энергии и особенно выдержке покойного отца. Этот невежественный

человек, с трудом выведивший свою фамилию на банковских чеках и векселях, в течение многих лет вел обширное и сложное дело, с которым вряд ли сумел бы справиться целый отряд специалистов. Отец был человеком безусловно незаурядным.

Смбату часто вспоминались едкие насмешки Микаэла. Да, он, Смбат, часто утверждал, что в наше время невозможно нажить богатство честным путем, что все богачи — своего рода вампиры, сосущие кровь человечества. И вот он теперь распоряжается богатством, нажитым потом и кровью трудового народа. Как ему быть? Остаться ли верным заветам прошлого, презреть все, отдать богатство брату и стать бедняком, каким он был всего месяц назад? Будь у него сила воли и моральный закал, он так бы и поступил, но тут являлись другие мысли: а ведь тогда распылится и исчезнет в несколько лет все это колоссальное состояние — стоит лишь ему попасть в руки Микаэла. Между тем, сколько хорошего и полезного можно сделать, если применить для нравственной цели безнравственными путями добытые средства! И, увлеченный этими мыслями, Смбат чувствовал в себе прилив какой-то необыкновенной энергии, неведомую до сих пор нравственную зарядку. В нем словно пробуждалась дремавшая мощь, напрягая все его существо. Он мысленно разрабатывал десятки планов, один заманчивей другого, — проекты, рассчитанные на облегчение человеческих страданий. Смбат улучшит положение своих рабочих — это будет его первым и, само собою разумеется, большим делом, делом, за которое пока еще не брался ни один нефтепромышленник и заводчик.

Днем Смбат работал, а по веречам запирался у себя в кабинете — читал, писал и изучал проблемы экономики. Порою доставал из бокового кармана заветные фотографии, долго рассматривал их и покрывал поцелуями. Он сильно тосковал по детям, ему казалось, что давно, очень давно разлучен с ними и словно оторван от них навсегда. О поездке в Москву Смбат пока не думал. Дела заставляли его быть здесь. Оставалось вызвать сюда жену с детьми. Но мог ли Смбат водворить их под тот самый кров, откуда когда-то его самого изгнали и где никто не встретит его детей с распростертыми объятиями? Имел ли он, наконец, на это право, когда над ним тяготеет,

с одной стороны, угроза проклятия, закрепленная отцовским завещанием, с другой — нескончаемые упреки матери? Но ведь он страдает в разлуке с детьми, а там, на холодном севере, в этих детях бьются сердца, полные горячей любви к нему! Вдобавок, как разлучить эти невинные создания с матерью, заставить их мучиться вдали от нее?

Как-то вечером, раздумывая об этом, Смбат невольным движением взял лист бумаги и стал писать жене. Он больше не в силах переносить разлуку с детьми. Тоска по ним ломает его жизнь — он не может ни работать, ни думать.

Дописав письмо, Смбат перечитал его и снова погрузился в думы: что собственно он затеял — надругаться над отцовским завещанием, пренебречь слезами и мольбами матери и остаться под вечной угрозой проклятия? А потом: как же он примирит родных, до мозга костей пропитанных предрассудками, с женой, воспитанной в современном европейском духе? Но это еще с полбеды, есть и другое, более серьезное препятствие: ведь он не любит жену — семь лет, проведенных вместе, были для него сплошным адом. И вот едва он расстался с женой, едва вздохнул свободно, а уже опять собирается вернуть прошлое.

Смбат хотел уже порвать письмо, как вдруг вспомнил детей и снова почувствовал укоры совести. Ах, если бы он не был так привязан к ним, если б он походил на тех своих соотечественников, которые в подобных случаях бросали детей на произвол судьбы и со спокойной совестью, воротясь на родину, вновь вступали в брак! Тогда он омыл бы свою нечистую совесть в купели святости. Но ведь Смбат любил эти создания и как родитель и как чуткий человек. Ненавидя жену, сам ненавидимый ею, сознавая непоправимость своей ошибки, проклятый отцом, вдали от матери, братьев, близких, он имел лишь одно утешение — в дтях, только с ними он забывал сердечную горечь.

Смбат вложил письмо в конверт. Вошел Микаэл. Приблизившись, он молча сел против брата у письменного стола. Лицо Микаэла выражало решимость — было видно, что он явился по серьезному делу.

— У тебя есть время? — спросил он.

— Смотря для чего.

— Сейчас скажу. Что это за письмо?

— Тебя оно не касается.

— Догадываюсь, ты пишешь жене. Конечно, я не имею права вмешиваться в твою жизнь, однако не мешает знать: как ты распорядился судьбой детей?

— Пишу их матери, чтобы она приезжала с ними. Надеюсь, что по крайней мере хоть ты не будешь против.

— Да ведь ты сам сказал, что это меня не касается. Только не рано ли задумал?

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что, прежде чем писать ей, тебе следовало бы посоветоваться со мною.

— Не понимаю тебя.

— Хорошо, я буду говорить ясно и решительно: тебе придется в ближайшем будущем вернуться в Москву.

— Вернуться в Москву? Зачем?

— Чтобы продолжать прежнюю жизнь семейного отщепенца.

— Микаэл, я не настроен шутить.

— А я тем более. Должен тебе сказать, что ты получил отцовское наследство незаконно.

— Неужели? — спокойно отозвался Смбат, прижимая пресс-папье к конверту.

— Да, не ты законный наследник.

— Есть у тебя марки? — обратился Смбат к брату с полным хладнокровием. — Я хочу отправить письмо сейчас же.

— Прошу оставить шутки и выслушать меня.

— Ну, говори, я слушаю.

— Отец тебе ничего не завещал. Тот документ, по которому ты стал обладателем его состояния, фальшивый. Настоящее завещание у меня. Если угодно, можешь ознакомиться с его содержанием.

— Должно быть, ты прямо из-за стола. Голова у тебя отяжелела, поди проспись.

Микаэл вспыхнул.

— Я трезв как никогда! — воскликнул он, выхватывая из бокового кармана вчетверо сложенную бумагу.

Смбат нажал кнопку. Вошел слуга.

— Отнеси письмо на почту.

Слуга взял письмо и удалился.

— Что это за бумажка? — спросил Смбат с прежним хладнокровием.

— Да, бумажка, клочок бумаги, однако это подлинное завещание нашего отца. Верю твоей честности, на, прочти.

Смбат протянул было руку.

— Впрочем, постой, — засуетился Микаэл и засунул руку в карман, — я ошибся. Марутханян говорит, что в наши времена нельзя доверять никому, даже родному брату. А он-то уж знает людей!

— Младенец! — усмехнулся Смбат. — Неужели у тебя нет другого довода, кроме оружия?

Он взял бумагу, развернул и посмотрел на подпись.

— Да, наметанная рука у составителя этой бумажки!

— Ты не веришь?

— Конечно, нет, но...

Он замолчал на минуту, потирая лоб. Смбату не верилось, но в то же время он колебался в выводе. Неужели это настоящее завещание? Он посмотрел на дату и смутился: бумага была составлена после той, что хранилась у него. И там и тут одна и та же подпись. Значит, рушатся все его планы. Опять нищета, вдали от родных, под гнетом проклятия?.. Что же это такое, в самом деле? Неужели покойный издевался над ним на смертном одре? Или он действовал в состоянии умопомрачения, спутав одну бумагу с другой?

Смбат бросил на Микаэла испытующий взгляд, и его помутившийся рассудок мгновенно прояснился. Сгладись морщины на лбу, по губам пробежала горькая улыбка.

— Кто состряпал эту бумажонку? — воскликнул он, ударив рукой по подложному завещанию.

— Сам покойный составил, неужели не ясно?

— Возьми его обратно, изорви и брось в сорный ящик! Ты — жертва гнусной интриги!

— Ха-ха-ха! — ответил деланым фальшивым смехом Микаэл.

Смбат еще раз сличил поддельную подпись с другими, имевшимися в делах, и задумался. Он понимал, что эта бумага, хоть она и подложная, причинит ему большие неприятности.

— И ты хочешь, чтобы я на основании какой-то бу-

мажки уступил тебе свои, утвержденные законом, права? — спросил он, вставая.

— Иного выхода у тебя нет.

— А если я не соглашусь?

— Тогда я обращусь в суд.

Смбат замолчал, сложил бумагу и положил ее перед братом. Микаэл смотрел на него в упор. Он было подумал, что поступает дурно, — но лишь на миг. Не стоило начинать комедию, а раз начал, необходимо довести ее до конца.

— Значит, действовать через суд?

— Действуй как тебе угодно, — ответил Смбат решительно. — Я это завещание считаю подложным, его сострепал Марутханян.

Микаэл вздрогнул, как птица в силке, однако, тотчас овладев собой, приподнялся.

— Жаль, но придется обратиться в суд, — сказал он.

И, чтобы не подвергать свою выдержку еще более тяжелому испытанию, поспешно вышел, сунув в карман бумажку.

Уставясь в пол, Смбат в раздумье прижал палец к губам. «А если бумага не подложная? Придется обдумать положение. Ему не хочется терять отцовское добро. Да и кто захочет? Пусть родительское богатство накоплено нечистыми руками, можно его очистить, употребить на общую пользу, но снова обеднеть — благодарю покорно...»

Наутро Смбат зашел к Микаэлу и застал у него Исаака Марутханяна. Не трудно догадаться, что могло заставить зятя явиться к шурина в такой ранний час. Смбат догадался также, что зять успел настроить Микаэла против него. Смбат потребовал объяснений. Микаэл повторил то же самое, но более решительно.

— Сегодня же я подам в суд, если не пожелаешь кончить дело миром.

— Подавай, — ответил Смбат, бросив испытующий взгляд на Марутханяна. — Подавайте, вы оба ломаете себе шею! Фальсификаторы!

— Прошу без оскорблений! — возмутился Марутханян. — На каком основании ты впутываешь меня в это дело?

И, не получив ответа, прибавил:

— Единственная моя вина заключается в том, что я доверяю Микаэлу больше, чем тебе. Контрзавещание подлинно и неоспоримо. Я, как юрист, в этом уверен.

Настроение Смбата мгновенно упало, но не от страха, а от сознания того, что, если даже выяснится подложность контрзавещания, все же оно способно наделать много шума и хлопот...

— Микаэл,— обратился Смбат к брату, стараясь держаться возможно хладнокровней,— не доверяйся этому человеку, он может тебя погубить. Говорю без всякого стеснения, в его же присутствии.

С этими словами Смбат направился в одну из лавок нижнего этажа.

Это была длинная, широкая комната, разделенная деревянной перегородкой. В задней части ютился один из городских приказчиков, а передняя была отведена под контору. Тут стояли: желтый расшатанный шкаф, два ветхих письменных стола, несколько не менее ветхих стульев. Несгораемой кассы не было, на полу было разложено промысловое и заводское оборудование, трубы, краны, связки канатов.

За столом, в глубине комнаты, сидел, склонившись над бумагой, худощавый человек лет сорока, с преждевременно поблекшим лицом. Завидев Смбата, он поднялся во весь рост и поздоровался, согнув и без того сутулую спину. На нем был поношенный сероватый сюртук с потертыми металлическими пуговицами, блестящими, точно ордена. Черный засаленный платок, обмотанный вокруг шеи, придавал ему болезненный вид, кончик другого пестрого платка торчал из заднего кармана. Внешность этого человека говорила о том, что он прошел суровую житейскую школу.

Смбат присел за стол и подписал несколько бумаг, молча положенных ему сутулым человеком, одновременно исполнявшим обязанности заведующего конторой, приказчика и бухгалтера. Приняв из рук Смбата бумаги, он под подписью хозяина везде поставил и свою: «Бухгалтер Давид Заргарян».

Подписав бумаги, он достал из кармана пачку кредиток и положил ее перед Смбатом со словами:

— Поступления от двух магазинов.

— Оставьте у себя, сдадите завтра,— сказал Смбат.

— Нет уж, получите. Я не могу держать при себе такие деньги ни единого часа.

Видно было, что бухгалтер взволнован. Вся его фигура выражала оскорбленное достоинство.

— Опять случилось что-нибудь? — спросил Смбат, уже успевший изучить характер Заргаряна.

— Господин Смбат, получите деньги и освободите меня от всяких денежных счетов.

Проговорив это, Заргарян принялся большими шагами расхаживать по комнате с таким видом, точно он старался наступить на ускользающего гада.

— Не понимаю, — заметил Смбат, — может быть, я чем-нибудь обидел вас?

— Нет, господин Алимян, вы слишком воспитанны, чтобы обижать таких, как я. Мне просто страшно держать при себе деньги.

— Бойтесь потерять?

— Да.

— Но, насколько мне известно, вы служите у нас много лет и ни разу еще ничего не теряли.

— Нет, раза два случалось при жизни вашего покойного батюшки.

Смбат почувствовал в словах Заргаряна какой-то особый смысл. В честности бухгалтера он ни на волос не сомневался. Довольно было, что его держал семь-восемь лет такой осторожный и недоверчивый человек, как покойный Маркос Алимян.

— Убедительно прошу вас, говорите яснее. Вижу, вы хотите что-то сказать, но не решаетесь.

— Хорошо, скажу яснее, раз вы мне разрешаете, — ответил Заргарян и, широко шагнув, остановился перед хозяином. — Ваш брат, господин Смбат, занимается воровством.

— Заргарян! — прервал Смбат возмущенно.

— Вы мне разрешили быть откровенным, значит не должны сердиться. Да, господин Микаэл ворует, и я не в силах ему препятствовать. За эту неделю он трижды брал из конторы деньги, не оставляя никаких расписок. Вот счет: тысяча семьсот рублей.

И он положил перед Смбатом листок.

Воровство! Что за чудовищный удар по семейному престижу Алимянов! Об этих деньгах Микаэл ничего не

говорил Смбату и, конечно, не собирався говорить. Вот как! Значит, Микаэл, не довольствуясь тем, что получает от матери и от брата, не останавливается перед воровством! Он не шадит даже этого несчастного бухгалтера, подвергая риску его репутацию. Вот до чего дошел Микаэл!

— Покойный,— продолжал Заргарян со вздохом,— хорошо зная сына, строго-настрого наказал съемщикам и приказчикам не давать ему ни гроша. Было бы недурно, если бы то же самое сделали и вы.

— Отлично, я воспользуюсь вашим советом.

И Смбат покинул контору, чтобы рассеяться.

Жизнь в промышленном городе кипела. Люди торопливо и озабоченно сновали взад и вперед. Не трудно было угадать, что головы их заняты одной мыслью, сердца — одним чувством: нажить как можно скорее и больше. Воздух был пропитан духом наживы. Люди раскланивались поспешно, разговаривали второпях, едва переводя дух. Останавливались лишь изредка, чтобы обменяться рукопожатием. На свежего человека город производил впечатление вокзала, где каждый спешит, суетится, толкается, боясь опоздать на поезд. Вихрем мчались экипажи мимо недавно воздвигнутых зданий, развозя дельцов, одержимых жадной жаждой золота. Старые глинобитные приземистые азиатские лачуги с плоскими земляными крышами заменялись великолепными каменными домами европейского типа. Все менялось, обновлялось с лихорадочной быстротой, и прежде всего — внешность горожан. Вчерашняя персидская папаха, длиннополый балахон и чарухи¹ уступали место шляпе, сюртуку и лакированным ботинкам. Конторы и великолепные магазины были полны посетителей: входили, выходили, покупали, продавали, надували — и неизменно спешили.

Смбат заметил толпу перед небольшим двухэтажным домом: люди перешептывались с таинственным видом и опасливо озирались. Он безотчетно поднял голову и прочел на фронтоне: «Биржа». Сюда в известные часы сходились маклеры и «биржевые зайцы», тут наживали и обманывали. Каждый норовил купить чужой товар подешевле, продать его подороже, чтобы выгадать самому. Несколько

¹ Ч а р у х и — лапти.

человек, узнав Смба́та, почтительно расступились и дали ему дорогу, иные низко кланялись.

Смба́т сперва почувствовал к этим людям презрение, смешанное с отвращением,— дармоеды, язва на общественном организме! В либеральных студенческих кружках ему не раз приходилось жестоко порицать общественные группы, чуждые производительному труду. Теперь презрение уступило место другому чувству: вправе ли он считать этих посредников паразитами и клеймить их презрением? Не легкомысленно ли порицать явление, не разобравшись в породивших его причинах? Если посредник— тунеядец, паразит, то таким же именем можно окрестить и любого нефтепромышленника, заводчика, помещика, купца, лавочника, а стало быть, и его самого, Смба́та Алимяна?

Мысли заводили его в глубокие дебри политической экономии. Его охватило странное чувство стыда за самого себя. Два человека боролись в нем: один — нынешний Смба́т, другой — тот же Смба́т, но два месяца назад; один — наследник миллионов, другой — тот самый бедный молодой человек, что содержал семью частными уроками, был проклят отцом и изгнан из родного дома.

К которому из двух вернуться, с кем слиться? Что лучше — потерять богатство, но остаться верным принципам, или предпочесть золото, силу и власть? Проблема казалась неразрешимой.

Вдруг Смба́т вздрогнул. Он вспомнил контрзавещание, о котором успел было забыть. Да, если оно законно, то вопрос разрешится сам собой, помимо его воли. Его снова выгонят из семьи, и он опять станет тем, кем был два месяца назад. Пусть тогда Смба́т отстаивает свои идеи, на пустой желудок проповедует нравственные принципы и кормит своих детей высокими теориями...

— Смба́т! — послышался сзади знакомый голос; он обернулся.

Это был Григор Абетян, запыхавшийся и обливавшийся потом.

— Уф! Чуть не лопнул! Проклятые врачи выматывают душу, а помощи никакой... Послушай, я к тебе с миссией: Кязим-бек Адилбеков просит тебя пожаловать к нему на гала-кейф¹. Он хочет снять с тебя траур и подружиться

¹ Г а л а - к е й ф — большой кутеж.

с тобой. Заклинаю тебя именем всех международных кутил — не отказывай! Я дал слово, что заполучу тебя, и ты должен пойти.

— А кто там будет?

— Говорят тебе — международные кутилы.

— А Микаэл?

— А то как же? Микаэл — душа нашей компании. Без него кутеж, что люля-кябаб без сумака.

Смбат хотел было отказаться от этой чести, но любопытство взяло верх: хоть раз побывать в кругу друзей Микаэла, посмотреть, как он прожигает жизнь.

— Ладно, приду!

— Нет, этак нельзя, ты можешь забыть или, чего доброго, сбежишь. Сначала поедем в клуб, я заеду за тобой, жди меня дома. Впрочем, нет, жди в конторе — у меня не хватит сил подняться по лестнице.

6

Швейцары Общественного собрания, увидев Смбата, засуетились; торопясь и толкаясь, они принимали от него пальто и шляпу.

Поднявшись широкой лестницей, Смбат и Гриша прошли в обширный зал. Здесь одни играли в карты, другие, разбившись на группы, беседовали и спорили, убеждали, разъясняли. Тут же заключались торговые сделки. Шутили, остряли, рассказывали циничные анекдоты, похлопывали друг друга по плечу или по брюшку и совершали дела на десятки тысяч. Возгласы и жесты, допускавшиеся в Общественном собрании, могли оскорбить непривычного человека. Менялась лишь одежда у вчерашних лавочников, фруктошников и возчиков. Они в крахмальных сорочках и лакированных ботинках пришли с улицы в Общественное собрание, залитое светом электрических люстр и уставленное роскошной мебелью. Небрежно развалившись в бархатных креслах, здесь восседали люди, еще недавно сидевшие на драных циновках, поджав по восточному обычаю ноги.

Тут были также врачи, адвокаты, инженеры, внешнее обхождение и речь которых носили неизгладимый отпечаток воспитавшей их среды — почти те же грубые повадки,

та же вульгарная речь невежественных торгашей. Они даже умышленно перенимали повадки разбогатевших поваров и дворников, с единственной целью — понравиться им.

Смбата встретили любезными приветствиями, подобострастными улыбками. Все наперерыв спешили пожать ему руку, выразить соболезнование по поводу смерти отца и восхваляли достоинства покойного.

— А вот тут наши патриоты, — сказал с иронией Гриша, вводя Смбата в небольшую комнату, где человек пять-шесть о чем-то с жаром рассуждали.

— Голодное брюхо шевелит мозг! — сострил Гриша.

Затем они очутились в ярко освещенной просторной комнате, где за длинным столом группа людей читала газеты.

— Местные политиканы! — объяснил Гриша с жестом гида.

Следующие комнаты были битком набиты играющими в карты. Меловая пыль, табачный дым, тяжелое дыхание образовали сплошной сизый туман, в котором мелькали раскрасневшиеся лица, заплывшие глаза и обвисшие животы, один другого дороднее. Иные и за картами совершали торговые сделки.

Поминутно хлопали пробки: новоиспеченные буржуа, сопя и рыгая, освежались минеральными водами после плотного обеда.

В последней комнате сражались на бильярде. Здесь были Мовсес и Мелкон.

— Добро пожаловать, сиротка! — обратился к Смбату Мелкон, прицеливаясь в шар.

— Иншалла! ¹ — проронил сонливо-пьяный Мовсес, натирая мелом концы кия. — Карамболь!..

— Ну, пора кончать, уже десять! — крикнул Гриша нетерпеливо.

Партию dokonчили кое-как. Смбат, Мелкон и Мовсес отправились прямо к Кязым-беку, а Гриша по пути свернул в театр.

— Забегу я за моими красотками, не то их похитят.

Помещение, называвшееся театром, представляло собою убогое четырехугольное сооружение, лишенное стиля

¹ И н ш а л л а — хвала богу (араб.).

и напоминавшее сарай. В узком проходе Гриша бросил пальто подбежавшему капельдинеру и шмыгнул за кулисы. Тут царила ярмарочная сутолока: в то время как на сцене пел хор и порхали балерины в легких нарядах, здесь, за кулисами, хохотали, толкались, флиртовали, спорили, бранились. Несколько завязтых ловеласов из разбогатевших мошенническим путем приказчиков и маклеров поджидали тут своих временных дульциней, чтобы увести их после спектакля ужинать.

Гриша потрепал по щеке смазливую балерину и приостановился около миловидной хористки, в ожидании, когда примадонна кончит на сцене свою партию, удостоится аплодисментов и получит от какого-нибудь бывшего возчика корзину цветов. За кулисами Гришу принимали с любовью и почтительно, а иные актрисы прямо вешались ему на шею.

Сообщив примадонне, где они соберутся после спектакля, Гриша поспешил в битком набитый зрительный зал. Уверенными шагами прошел он между пышно разряженными дамами и с иголки одетыми мужчинами и занял свое постоянное место в первом ряду. Десятки глаз завистливо следили за этим баловнем счастья, чувствовавшим себя в зрительном зале, как дома, а за кулисами — как в собственном гареме.

Среди товарищей Микаэла Кязим-бек Адилбеков был самым свободным в отношении семейных обязанностей, самым богатым и самым расточительным. Родители его умерли несколько лет назад. Дома, кроме двух-трех слуг лезгин, повара и кучера, он никого не держал. Жил Кязим-бек не магометанином, был свой он приносовил к вкусам и привычкам друзей-христиан. От отца ему досталось несколько великолепных домов, многочисленные нефтяные скважины, два парусных судна, пароход и мешки с золотом. Он уже успел спустить половину родительского добра и принялся за другую. Благочестивые мусульмане давно уже примирились с греховными привычками Кязимбека, считая его поганым «гяуром», обреченным на вечный адский огонь...

Гости прошли в просторную комнату с полуевропейской и полувосточной обстановкой. В одном углу, на тахте,

поджавши ноги, пели и играли сазандары. Хозяин с приятелями сидел за картами — играли в винт. Это был здоровый, жизнерадостный молодой человек с привлекательными чертами тщательно выбритого лица, с большими черными глазами и с нежными темными усиками. На нем была черкеска из тончайшей дагестанской шерсти, надетая на шелковый архалук, стянутый золоченым поясом; на поясе — кинжал в ножнах с великолепной резьбой по золоту и слоновой кости.

При виде гостей Кязим-бек вскочил, расправив гибкий стан. По багровому лицу и воспаленным глазам не трудно было заключить, что он питает слабость к спиртным напиткам и по ночам кутит.

— Машалла! Машалла! ¹ — воскликнул он, бросаясь к Смбуату Алимяну. — Клянусь именем Иисуса, что я безмерно счастлив видеть тебя сегодня в моем доме. Ну и сюрприз!

Он обнял Смбуата, поцеловал и представил его гостям. Тут были: русский офицер, грузинский князь, персидский консул, трое армян, лезгин, два еврея, грек и поляк. Самым старым из присутствовавших был армянин лет пятидесяти пяти, один из первых богачей города — баловень судьбы. Про него рассказывали, что в прошлом он был поваром. Второй армянин — молодой человек с увядшим лицом — производил впечатление кутилы, пресыщенного обилием земных благ. Третий — Микаэл, который с появлением Смбуата отошел в отдаленный угол.

Винт был прерван. Приступили к баккара. Вновь прибывшие, кроме Смбуата, никогда не бравшего в руки карт, не теряя золотого времени, разместились за карточным столом. Кязим-бек не решился предложить Смбуату присоединиться к игрокам.

Вначале игра шла вяло — на карту ставили не больше десяти-двадцати рублей. Партнеров стеснял офицер. Денег у него было мало, поэтому остальные играли осторожно, не желая нарушать «картежную этику». Наконец офицер спустил все дочиста и поднялся, к вящему удовольствию сонливо-пьяного Мосико. Ескоре игра оживилась. Микаэл проигрывал, Мелкон тоже. Кязим-бек перестал играть, обнял Смбуата, и они вместе вышли на балкон.

¹ М а ш а л л а — bravo (араб.).

Микаэл начал волноваться и сердиться. Карты его «бились» одиннадцать раз подряд. Нет, это невозможно, он насилу добыл несколько тысяч, и вот — уже больше половины ушло. Надо «переменить руку». Пока играли «по маленькой» — везло, а теперь...

— Николай Лукич, присядьте,— обратился он к офицеру, с завистью следившему за игрой; так голодные глядят на пышные яства.

Офицер нагнулся, и Микаэл сунул ему пук кредиток.

— Играйте смелее!

Не прошло и десяти минут, как офицер продулся. Микаэл продолжал проигрывать.

Все были разгорячены. Уже никто не считался с величиной банка, шли на все вызовы. Лица были воспалены, глаза горели, сердца бились от особенного волнения, свойственного лишь азартным игрокам, заставляющего их долгие часы проводить за карточным столом,— волнения, не лишнего своеобразного удовольствия.

Смбат, вернувшись, с любопытством следил за Микаэлом. Его занимали не выигрыши или проигрыши, а душевное состояние брата. Игра совершенно преобразила Микаэла: воспаленные глаза его блуждали, ноздри дрожали, как у арабского скакуна, весь он был охвачен страстью — бледный, как бумага, он тяжело дышал, грудь подымалась и опускалась, точно кузнечные мехи. Он не смотрел на Смбата, играл как одержимый, то загребая, то отбрасывая кипы ассигнаций.

Выбыл из строя еще один игрок, и Кязим-бек занял его место.

Смбат почувствовал, что какая-то дьявольская сила влечет и его к карточному столу. Свойство бездны — притягивать, удержаться на краю ее — геройство. Смбат уже постиг нехитрую механику игры и мог бы участвовать в ней. Временами он волновался вместе с игроками, ставившими огромные суммы, или негодовал на неудачные ходы.

Соблазн становился все непреодолимей.

Внезапно сунув руку в боковой карман, а другую положив на стол, Смбат воскликнул:

— На пробу!

Сдавал Мосико. Он вышел из своего обычного сонливого состояния и играл азартнее всех. Он утроил банк. Смбат взял карты. По бледным губам Микаэла пробежала

ироническая улыбка. Смба́т бросил на стол шесть сто-рублевоек и проиграл. Еще взял карты — опять проиграл. Третью карту побил и отошел.

Грузинский князь спустил всю наличность и уже играл «на мелок».

— Папаша, уступи мне место,— обратился Мелкон к бывшему повару, непрерывно загребавшему выигрыш.

— Я... гм... старый человек... Я... гм... гм... не могу встать...— проговорил, запинаясь, экс-кухмистер, прозванный «Папашей».

— Коньяку! — крикнул Мосико.

Слуга лезгин тотчас исполнил приказание. Выпили по рюмке, по другой, по третьей, и кровь заиграла еще сильнее.

Теперь Микаэл уже выигрывал. Выигрывали также Мосико и Папаша. От остальных счастье отвернулось.

Карты, сделав круг, перешли к Мелкону Аврумяну. Бросив на соседа пронизывающий взгляд, он крикнул:

— Тысяча рублей!

Никто до сих пор не начинал с такой крупной суммы. Сосед Мелкона, грузинский князь, замялся и посмотрел на Папашу: он просил у бывшего повара денег, но взгляд его требовал. Старик мотнул головой, давая понять, что он уже довольно ссужал соседа в долг без отдачи. Все переглянулись.

— Идет! — воскликнул Мосико, ударяя по столу.

Он выиграл, покрыв восьмерку девяткой. Мелкон сквозь зубы крепко выругался и швырнул карты. Взяли новые колоды. Не помогло. Счастье на этот раз изменило Мелкону. Он был вне себя от злости и искал, на ком бы сорвать ее. Вообще Мелкон слыл забиякой. Неудачный игрок с досады прикрикнул на музыкантов, обступивших стол и жадными глазами пожиравших груды денег. Когда карты опять перешли к нему, он на минуту задумался, потер лоб и объявил:

— Три тысячи!

На этот раз даже Мовсес поколебался, хотя выиграл немало.

— Идите,— посоветовал грузинский князь Папаше.

— Я... гм... пока не пьян... гм... гм... не орехи...

— Сбавь,— обратился Микаэл к Мелкону,— видишь, карта не идет, с ней не сговоришься.

— Пять тысяч! — разгорячился Мелкон.

— Коньяку! — крикнул Мосико.

Он хватил рюмку, приложил руку ко лбу и на минуту задумался. Потом выбрал карту, посмотрел масть. Мовсес загадал: если красная — идти.

— Шесть тысяч,— накинул Мелкон, побелев как полотно.

Смбат уставился на Микаэла. Он видел, как брат горячился, и понимал его: он сам был охвачен дьявольской властью азарта.

— Семь тысяч! — крикнул Мелкон и, не получив ответа, процедил сквозь зубы:— Труссы!..

Самолюбие Микаэла было уязвлено.

— Идет! — отозвался он и посмотрел на брата.

Смбат притворился равнодушным.

— Это не шутка, а игра,— предупредил Мелкон.

— Я не признаю шуток, дай карты!

— Клади деньги!

— Можешь поверить до завтра.

Микаэл опять посмотрел на брата.

Смбат продолжал казаться безучастным.

— Поверю, если карты возьмет твой брат.

— Ты что — меня за шулера считаешь? — возмущился Микаэл, стукнув изо всей силы по столу.

— Боже упаси, я только не доверяю твоей кредитоспособности.

— Я, сударь, не банкрот!

— Банкроты те, что когда-то что-то имели.

На минуту воцарилось общее замешательство. Музыканты испуганно отскочили от игроков.

— Даешь или нет? — вскричал Микаэл угрожающе.

Мелкон повернулся к Смбату.

— Можешь сдавать,— произнес Смбат, не в силах вынести унижения брата.

Мелкон сдал две карты Микаэлу и две взял себе. Потом осторожно посмотрел на свои и напустился.

— Даю...

— Бери себе,— сказал Микаэл. Мелкон прикупил карту. Губы его дрожали.

— Ну-с, что скажешь? — спросил он.

— Говори ты.

— Нет, слово за тобой.

— У меня шестерка.

— Покажи.

— Семерка... — сказал Микаэл, раскрывая карты.

Он был уверен в удаче. Но Мелкон выложил перед ним две десятки и девятку. Микаэл вздрогнул.

— Не может быть! Не может быть! — крикнул он, теряя власть над собой. — Я не позволю обирать меня!

— На то и игра, — хладнокровно сказал Мелкон. — Завтра заплатит брат.

— Разбойник, девятку ты из-под колоды вытащил!

— Ты сам шулер!

Поднялся переполох. Противники вскочили и схватились за стулья. Еще минута, и они бросились бы друг на друга. Но вмешался Смбат. Он оттащил брата в сторону и отчеканил Мелкону:

— Завтра утром ты получишь выигрыш.

Игра, разумеется, прекратилась. Смбат хотел смедленно уйти и взять с собой Микаэла.

— Нет, нет, — умолял Кязим-бек, — вы кровно обидите меня. Пустяки, помирятся.

Пока успокаивали игроков, вошли Гриша, примадонна, две хористки и певец. Их появление и особенно красивое, улыбающееся лицо примадонны успокоили разбушевавшиеся страсти.

Слышшая красавицей примадонна была высокая, довольно полная блондинка, с падавшими на лоб завитками волос, собранных в греческий узел на затылке. Искусно подведенные глаза казались большими и томными. Пудра и белила скрывали кое-какие шероховатости кожи, а умело палоченные румяна придавали щекам привлекательную свежесть. Жидкие брови были подрисованы с таким мастерством, что никому не пришло бы в голову заподозрить тут участие косметики.

Примадонна дружески пожала всем руки и подарила компанию очаровательной улыбкой, свойственной служительницам сцены. Сазандары воодушевились, предвкушая исключительное пиршество, а стало быть, и щедрое вознаграждение, особенно если состоится примирение между Микаэлом и Мелконом.

Гриша обнял и расцеловал почтенного Папашу, нашептывая ему фривольные похвалы дамам. Старик, под-

кручивая пышные усы и поправляя галстук, устался на примадонну, как блудливый кот, и, меряя ее взглядом с ног до головы, мысленно раздевал красотку.

Полчаса спустя Кязим-бек пригласил гостей в столовую, где их ожидал стол, ломившийся под тяжестью яств и вин. Микаэл занял место по правую руку примадонны. Больше месяца он не бывал в женском обществе и стосковался по нем. Гриша очутился слева от красавицы. Кязим-бек и грузинский князь сели напротив. Смбат занял место между хозяином дома и Папашей.

Распорядителем пира был избран Гриша. Первое время все старались держаться солидно в присутствии примадонны, тем более, что впечатление от ссоры еще не рассеялось. Тамада предложил тост за «яркую звезду» искусства — тост, принятый стоя и с большим воодушевлением. Сазандары исполнили туш.

— Silence! ¹ — воскликнул молодой юрист с утомленным лицом, исполнявший обязанности мирового судьи.

Воцарилось молчание. Юрист произнес речь, посвященную красоте и искусству. Начал он с древних греков и римлян, дошел до наших дней и, исчерпав весь запас своих знаний, закончил:

— Ergo ², мы, как горячие поклонники искусства, преклоняемся перед его царицей.

Кязим-бек воскликнул:

— Афарим! ³

Грузинский князь поддержал:

— Ваша! ⁴

Гриша предложил прибывшему с ним актеру спеть романс.

Поднялся бритый, основательно потрепанный мужчина — второй тенор оперы — и стал извиняться и отказываться. Ему хотелось, чтобы весь стол упрасивал его. Желание сбылось.

— Джноконда! — обратился он к «царине искусства». — Романс для тебя вещь слишком шаблонная. Разрешите мне спеть и представить «Сумасшедшего».

— Bravo, bravo, чудесно, дядюшка! — отозвалась при-

¹ Молчание! — (франц.).

² Следовательно (лат.).

³ Афарим — молодец (араб.).

⁴ Ваша — ура! (груз.).

мадонна. — Господа, прошу внимания. «Сумасшедший» — номер исключительный. Честь имею представить: будущий Барнай, или, если хотите, Сальвини. Он решил посвятить себя драме. О господи боже, нервы мои не выносят этих диких звуков! — прибавила Джиоконда, сделав недовольный жест в сторону восточных музыкантов.

— Помолчите, ребята! — приказал Кязим-бек, и сазандары прекратили игру.

«Будущий Барнай, или Сальвини» торжественно оглянулся, вытерся, поправил галстук, чтобы обратить на себя всеобщее внимание, и принялся изображать «Сумасшедшего». Губы его кривились, лицо морщилось, зрачки бегали, и будущий «Барнай» напоминал циркового клоуна. Его охрипший от пьянства голос то возвышался, то застревал в горле, временами издавая звуки, похожие на скрип намазанного колеса.

Примадонна, в глубине души жалевшая своего «пропащего» коллегу, заплодировала. За ней остальные. «Будущий Барнай», с достоинством раскланявшись налево и направо, грустно, со вздохом опустился на стул.

— Сколько экспрессии! Сколько чувства! — воскликнула примадонна, прижимая платок к глазам, делая вид, что вытирает слезы. — Экстра твоё здоровье, многострадальный мученик искусства!

— О Джиоконда, экстра, экстра! — воскликнули все в один голос, осушая бокалы.

Гриша умел почтить прекрасный пол, он предложил тост за хористок.

Настала очередь поднять бокал за Сибата Алимяна. Гриша объявил, что сегодня компания обрела драгоценного сочлена, «заблудшую овцу», сбегавшую из родной овчарни.

Когда запас тостов наконец иссяк, Кязим-бек велел сазандарам сыграть какой-то танец. Первым пустился в пляс он сам, не сводя глаз с пышных форм красавицы и кружась у стола.

— Шампанского! — крикнул он слугам.

Сибат чувствовал какую-то необычайную теплоту. Эта обстановка, еще час тому назад казавшаяся ему чуждой, теперь уже не отталкивала его. Теперь он не жалел, что пришел сюда. Более того: он уже оправдывал Микаэла и даже готов был обнять его и расцеловать.

Микаэл уже забыл о неприятном столкновении и не переставая шептался с примадонной. За картами он не раз вспоминал усики мадам Ануш Гуламян, но теперь, сидя подле певицы, совершенно забыл об Ануш. Кровь Микаэла кипела, зажигая в сердце сладкую тревогу. Он не сводил страстных взглядов с пышной груди певицы, с ее белоснежной шеи. Временами ему казалось, вот-вот он обнимет эту шею и крепко прижмет к ней губы, но его сдерживали устремленные со всех сторон завистливые взгляды, в особенности — взгляды Смбата, тоже пылавшие страстью к певице.

Первый бокал шампанского был выпит за примадонну, но на этот раз не как за «царицу искусства», а как за «прекраснейшую». Все шумно поднялись, за исключением Смбата, все еще соблюдавшего траурный этикет. Кязимбек подошел к «несравненному созданию» и попросил разрешения приложиться к ее «эфирному» плечу. Пример оказался заразительным — все поочередно облобызали соблазнительное плечо красотки. Не тронулся с места один Смбат, и это не ускользнуло от зоркого взгляда певицы.

— Кажется, господин Алимян слишком поглощен своей визави, — заметила она, смеясь.

Визави оказалась одной из хористок, на которую Смбат до этого ни разу не взглянул.

«Будущий Барнай» порядком уже подвыпил и со слезами посвящал сидевшего с ним рядом офицера в душевные муки служителей искусства. Напились также Мелкон и Мовсес. Папаша, улучив удобный момент, взял стул и подсел к певице. Поднялся общий хохот.

— Тронулся Папаша! Папаша теряет над собой власть! — раздалось отовсюду.

Певица, уже слышавшая о богатстве бывшего повара, подарила его очаровательной улыбкой.

Гриша что-то шепнул примадонне, подливая ей шампанского.

— Господа! — воскликнула певица, поднимая бокал. — Там, где веселье, нет места раздорам.

— Внимание, внимание! Сама богиня вещает, — раздался голос Гриши.

— Я пью за здоровье Микаэла Марковича и Мелкона Амбарцумовича и прошу их поцеловаться в знак примирения.

— Целоваться, обязательно целоваться, ура! — слышались дружные возгласы.

Часть гостей окружила Микаэла, другая — Мелкона; подталкивая друг к другу, их заставили поцеловаться.

Примирение воодушевило всех. Теперь уже можно было продолжать пиршество без всякого стеснения.

Смбат возмущенно наблюдал сцену примирения. Значит, в этом кругу слово не имеет цены. Неужели чувство чести незнакомо этим людям до того, что они способны обниматься через час после нанесенных друг другу тяжких оскорблений?

Микаэл также терял самообладание — актриса обворожила его своими недвусмысленными улыбками и обольстительным голосом. Время от времени он осторожно пожимал локоть соседки, не встречая заметного сопротивления.

— Когда ваш бенефис? — спросил он наконец.

— В ближайшее воскресенье.

— Могу я надеяться, что в этот день вы пообедаете со мной?

— С удовольствием.

— И поужинаете?

— Этого обещать не могу. Все зависит от публики. Быть может, меня пригласят со всей труппой.

— Вы разрешите мне теперь же исполнить один приятный долг?

— Что вы хотите этим сказать?

— Вот что! — ответил Микаэл и, сняв брильянтовое кольцо, попросил у певицы разрешения надеть его на ее палец.

Красотка взглянула на искрящийся брильянт и прикинулась смущенной.

Нет, нет, подношения она обычно принимает в храме искусства. Но, ах, какой чудесный камень, какая отделка! О нет, она не примет! Что скажет Смбат Маркович?

— Посмотрите, как он глядит на нас...

Самолюбие Микаэла было задето. Ведь он человек самостоятельный, и брат не имеет никакой власти над ним. Он нарочно, в кругу товарищей, подносит ей кольцо,

чтобы доказать свою полную независимость. Другьям он уже сообщил о контрзавещании. Было решено завтра же в последний раз предложить Смбату добровольно признать законность этого завещания, иначе дело поступит в суд.

— Помогите мне, Гриша, — обратился Микаэл к товарищу.

— Простите, Елена Анастасьевна, — сказал Гриша, пытаюсь надеть кольцо на указательный пальчик певицы. — Мы — грубые кавказцы. Когда слово не действует, прибегаем к силе...

— Скажите лучше: рыцари без страха и упрека. Можно ли обижаться на вас? — ответила певица, протягивая палец. — Какие у вас изящные руки — прелесть! — прошептала она, лаская пальцы Микаэла.

Этой легкой лаской дива наградила Микаэла за цепный подарок.

— О чем вы там шепчетесь? — раздалось со всех сторон.

— Да ничего, — засмеялась певица, — я слегка порезала палец, и Микаэл Маркович перевязал его.

И, подняв руку, она как бы печально похвастала подарком. Ей хотелось вызвать зависть у других, но не удалось. Кое-кто усмехнулся легкомыслию Микаэла: стоило ли до бенсфиса делать такой богатый подарок? Это мещанское тщеславие.

Смбату стало стыдно за брата, но он сдержался.

Все уже были пьяны, кроме грека и евреев. Поляк незаметно скрылся. От табачного дыма и чада трудно было дышать.

— Как жарко! — заметила певица, готовясь встать.

Дело в том, что румяна на лице ее таяли, а пудра осыпалась, и ей приходилось то и дело пудриться.

— Да, жарко, — повторил Мосико, собираясь скинуть пиджак, но ему помешали.

— Дайте спичек, — крикнул Мелкон, не сумевший побороть зависть к Микаэлу. — Небольшой фейерверк в честь богини искусства...

Он сплел из нескольких кредиток подобие венка, намочил их бенедиктином и положил на тарелку; в середине этого венка он поместил фотографию певицы. Спичка вспыхнула, и кредитки загорелись, освещая портрет дивы

радужным пламенем. Эффект был полный. Раздались рукоплескания, грянула музыка. Под фотографией остались нетронутыми несколько сторублевок. Мелкон поднес этот венок «Богине искусства».

— Дико, но оригинально! — восхитилась певица, громко смеясь и пряча кредитки в ридикюль.

Хористки жадно следили за этим зрелищем, завидуя примадонне. Вдруг они пискливо затагнули какой-то дуэт. Папаша бросил им в бокалы по паре золотых и украдкой поцеловал в шею одну из девушек.

— Bravo, Папаша! Брависсимо! — воскликнула певица, от зоркого ока которой ничего не ускользало.

Сутолука все больше и больше нарастала.

Гришу бесило, что певица больше занята Микаэлом; он со злости дважды выплеснул на сазандаров шампанское. Мовсес подшучивал над хористками, время от времени ржал, как ретивый жеребец, и кусал девушкам плечи, вызывая ревность в стареющем Папаше. Мелкон то и дело целовался с соседями, как пьяный провинциальный репортер. Кязим-бек все чаще подходил к примадонне и прикладывался к «эфирной ручке», все еще не решаясь подняться выше. Князь Ниасамидзе вывел на балкон расклеившегося тенора и опрокинул ему на голову ведро холодной воды. Белобрысый лезгин с толстой шеей мысленно сравнивал хористок, не зная, кому бы отдать предпочтение... Исполняющий обязанности мирового судьи, произнося заключительную речь, воодушевился до того, что хлопнул бокалом о бутылку и разбил его вдребезги.

Смбат думал о том, что уже поздно, время покинуть бесшабашную компанию, но какая-то невидимая сила приковала его к месту. Он не испытывал удовольствия, но и не скучал. Все, что здесь творилось, противоречило его нравственным убеждениям, претило его вкусам, но в то же время таило в себе какую-то демоническую силу, парализовавшую его волю.

Офицер, поднявшись, подошел с бутылкой шампанского к певице. Он расстегнул китель, заложил руку в карман синих рейтуз и громко попросил внимания. Никто его не слушал. Тогда, хлопнув по плечу тамады, он крикнул:

— Слушай, дружок! Слушайте, господа! — и, на минуту овладев вниманием, продолжал: — Господа, я видел в Москве, как чтут искусство наши именитые богачи. Вам

этого не понять, вы — азиаты... Слушайте, слушайте! Край хрустального бокала слишком грубы, чтобы воздать по чести искусству, понимаете, черт побери!

Певица не могла догадаться, к чему клонит пьяный офицер, и не на шутку испугалась его налитых кровью глаз. Эти офицеры вообще падки до скандалов.

— Господа, было время, когда и я купался в шампанском. Увы, отцовские капиталы! Позвольте же, черт вас побери, хоть раз тряхнуть стариной...

Он, нагнувшись, ухватил певицу за ножку.

— Это принято всюду, где умеют, черт побери, прожигать жизни!

Певица уже поняла, в чем дело, сняла туфлю и передала офицеру.

— Да здравствует Мельпомена, обладающая столь очаровательной ножкой! — воскликнул офицер и, налив в туфлю шипучего, поднял ее над головой. — Во имя искусства! Во имя любви к искусству!

— Ура! Ура! — гремело со всех сторон.

И все выпили по туфле шампанского, все, кроме Смбата Алимьяна, слыхавшего ранее о подобных выходках, по первый раз наблюдавшего их теперь воочию.

Певица хохотала до слез при виде необычной чести, которой удостоилась ее туфля.

— Это не ново. Мы видали номера и почище, — обратился Гриша к офицеру и, достав из кармана пару новеньких атласных туфель, нагнулся и падел на ножки певицы.

Неглупая и практичная примадонна сообразила, что дело заходит далеко и бог весть чем может кончиться. Быстро поднявшись, она прижала руку ко лбу, другую — к сердцу и потупилась.

Микаэл в замешательстве обнял ее за талию.

— Что такое? Что случилось? — раздалось голоса.

Певице сделалось дурно. Закрывая глаза, она прикусила губу:

— Сердце, сердце...

Разумеется, все мгновенно окружили ее.

— Дохтура, гм... дохтура... — заволновался Палаша.

Принесли одеколон, натерли диве виски. Кязим-бек бросился вызывать по телефону врача. Певица продолжала стонать, повторяя:

— Отвезите меня домой! Домой хочу...

Многие порывались проводить ее, в особенности Микаэл и Гриша, однако она неожиданно склонилась к плечу тенора, обняв рукой одну из хористок. Ничего другого не оставалось, как вывести ее и посадить в экипаж Кязимбека.

Ах, она просит извинить ее, она очень и очень признательна, но сожалеет, что не справилась с нервами и захворала некстати. О, она никогда не забудет оказанной ей чести. Она горячо любит всех вас и уверена, что вы не забудете о ее бенефисе...

— О-о-о, не могу, сердце!.. Живей, кучер, гони! Скорее домой, дядюшка, и ты, дорогая подруга!

Когда экипаж скрылся в ночной темноте, певица внезапно преобразилась, хлопнула тенора по плечу и, громко смеясь, воскликнула:

— Видал?.. Ну, скажи, кому из нас лучше даются драматические роли?.. Дураки, поверили...

— Бесподобно было, моя богиня, изумительно! Подари мне одну сотняжку, завтра надо за номер платить.

Певица дала ему кредитку, заметив:

— Завтра, наверное, один из этих эфиопов навестит меня, придется немного всплакнуть, а там...

Гости, хмурые, вернулись в столовую. Микаэл приуныл. Он напоминал ребенка, у которого упорхнула птичка, похитившая золотое кольцо.

Кутеж совсем разладился, не стоило продолжать.

— А я? А я? Кто меня проводит? — бросалась то к тому, то к другому потрепанная худощавая черноглазая хористка.

— Папаша, Палаша, — раздалось отовсюду.

— И думать нечего, — воспротивился Кязимбек, — никого не выпущу! Настоящий кутеж только теперь и начинается.

— Господа, — объявил Гриша, — я отказываюсь от обязанностей тамады.

— Да здравствует республика! — рывкнул кто-то.

— Молчать! — заорал офицер.

Снова зашипело шампанское и заиграли сазандары. Пиршество превратилось в оргию, какой Смбат и представить себе не мог.

Папаша скинул сюртук, швырнул его на головы сазандарам и принялся сткалывать «карабахскую». За ним — Мовсес и Мелкон. Князь Ниасамидзе гаркнул: «Лекури!» — и, подобрав полы черкески, пустился в пляс, развевая широкую бороду. Поднялась невероятная суматоха, так что ничего нельзя было разобрать, — каждый самого себя только и слышал.

Расстроенный Кязим-бек сердито кусал усы: надула, сукина дочь, ничего у нее не болит, удрала, чтобы никому не достаться на ночь. Завтра потребуем объяснения, — если она притворялась, мы ее проучим. А уж проучить Кязим-бек сумеет на славу. В день бенефиса он скупит билеты первого ряда и раздаст уличной голи. Как только певица появится на сцене, вся эта орава начнет свистать, шикать, выть, швырять в нее гнилыми огурцами, апельсинными корками, тухлой рыбой, дохлыми крысами... Вот тогда она и поймет, что с кавказцами шутки плохи. А пока надо придумать для гостей какое-нибудь исключительное развлечение.

Для начала Кязим-бек заставил хористку подбежать к Папаше и вскочить ему на спину. Шутка удалась. Все захохотали, хватаясь за животы. Потом он приказал слугам:

— Ванну сюда!

— О-о-о! — воскликнули все в один голос, угадывая пикантную затею.

Исчезновение примадонны разом отрезвило всех, и теперь, в предрассветный час, каждый осознавал свои поступки. Один Смбат был как в тумане и не столько от вина, сколько от непривычной обстановки. Он смотрел, но видел неясно и озирался то на того, то на другого. На всех лицах читалось ожидание чего-то необычайного, необычайного, и это ощущение возбуждало с новой силой, тормозило уснувшие страсти. Все знали, что когда Кязим-бек в ударе, его причудам нет удержу и границ.

Папаша ухарски покручивал усы. Кровь этого пожилого кряжистого мужлана обладала свойством старого вина — не пенилась, а обжигала.

В дверях послышался грохот. Слуги лезгины, кряхтя и задыхаясь, притащили большую мраморную ванну, и вслед за тем появились корзины с шампанским. Жирные

лица музыкантов засияли от удовольствия — не впервые им приходилось быть свидетелями невообразимых проказ Кязим-бека.

Ванну поставили посреди комнаты.

— Кябули! — крикнул хозяин музыкантам, вскочил в ванну и, выхватив кинжал, стал плясать.

Он кружился, изгибался, выпрямлялся, подпрыгивал, подносил к глазам лезвие кинжала и проворно засовывал его под согнутое колено, вызывая общее изумление. Отплясав, Кязим-бек выскочил из ванны, вложил кинжал в ножны, подошел к хористке и облапил ее своими мощными руками.

Уже светало. Однако люстры еще продолжали гореть. Папаша приспустил занавески на окнах и велел слугам удалиться. Присутствие слуг оскорбляло «порядочность» Папашин.

Только теперь сообразил Смбат, свидетелем какого зрелища придется ему быть. Хотелось уйти, но неведомая, непреодолимая сила по-прежнему удерживала его.

— Караул! Помогите, караул! — волила хористка.

Но Кязим-бек уже не помнил себя. Кое-кто из гостей пытался отговорить хозяина от беспутной затеи, хотя в то же время всех тянуло посмотреть на это пикантное зрелище.

— Спасите меня, христиане, — продолжала причитать еврейка дребезжащим, неприятным голосом.

Офицер, стоя поодаль, крутил усы:

— Вот это я понимаю, это значит кутить по-московски...

Не легко было вырвать хористку из цепких объятий Кязим-бека. Он уже раздевал несчастную, крича, чтобы остальные лили шампанское в ванну.

Поруганная женская честь и безобразное зрелище принудили Смбата вмешаться. Он попросил Гришу заступиться за девушку. Года два назад Гриша первый подал подобный пример, выкупав проститутку в пиве; потом она заболела и чуть не умерла от воспаления легких.

— Разве тебе не хочется посмотреть? — спросил Гриша с удивлением.

— Нет, это дико, подло, возмутительно!

— Да ведь Кязим-бек для тебя же и старается.

— Я не желаю, меня тошнит! — воскликнул Сибат возмущенно. — А если ты боишься Кязим-бека, рассчитывай на меня.

Самолюбие Гриши было задето. Чтобы он боялся кого-нибудь? Да ведь эта чертовка, поди, рада искупаться в шампанском, только ломается, чтобы набить себе цену.

— Не допускай, прошу тебя, — настаивал Сибат.

— Ладно.

Гриша подошел к хозяину и положил ему руку на плечо.

— Кязим, оставь эту женщину, хватит.

— А ты кто такой будешь? — огрызнулся Кязим-бек, сверкнув глазами.

— Я Гриша.

— Проваливай!

— Прошу тебя...

— Отвяжись...

Теперь уже всеобщее внимание было устремлено на Гришу. Он был единственный человек, которого Кязим-бек побаивался. Было заметно, что Гриша уже теряет хладнокровие.

— Прошу тебя, Адилбеков, — снова попытался он уломать хозяина.

— Заткни глотку, — заревел Кязим-бек, — что захочу, то и сделаю.

Гриша сильной рукой оттолкнул его и, заслонив собой хористку, бросил на Кязим-бека гневный взгляд.

— Ты забыл, что я — Гриша? — процедил он сквозь зубы, выхватывая револьвер.

Кязим-бек очнулся — не от страха, а от стыда: разве пристало хозяину вздорить с гостем из-за какой-то потаскушки?

— Ну да ладно, я пошутил, — и он крикнул слугам: — Убрать ванну!

Хористка, вырвавшись из железных рук Кязим-бека, полураздетая, задыхаясь, бросилась на тахту.

«Сеанс» был сорван, но никто не посмел выказать недовольства.

Кязим-бек позволил хористке уехать, сунув ей две сотенных и приказав слугам положить в экипаж полдюжины шампанского.

— Дома сама устроишь себе ванну.

Хористка засмеялась, сразу забыв о происшедшем. Она даже поцеловала Кязим-бека и выпорхнула, вне себя от радости.

— Микаэл, не пора ли? — обратился Смбат к брату.

— Остается еще финал.

Было уже совсем светло, хотя солнце еще не взошло.

Гости в сопровождении музыкантов выбрались на улицу. Теперь компанией верховодил Мосико. Удивительный человек: чем больше другие пьянели, теряя рассудок, тем крепче он себя чувствовал. Теперь он был неузнаваем: говорил больше всех, пел, шутил, прыгал.

Стояла тихая, теплая погода. В зеркальной морской глади отражался темно-синий купол неба. Направо, в стороне так называемых Черного и Белого городов, поблескивали тысячи электрических огней, постепенно исчезающих при свете набегающего утра. Дым, подымаясь столбами из несчетных заводских труб, заволакивал небо черным туманом. Справа виднелся Баиловский мыс с его морскими казармами и красивой церковкой, луковки куполов которой темнели на чистом небосклоне и как будто безмолвно перекликались с творцом. А там, еще дальше, за горой, шетинились стрелчатые нефтяные вышки.

По улицам уже двигались рабочие и мастеровые — одни грустнo и понурясь, другие — бодро, иногда с песнями. Долетали отголоски заводских гудков, то глухие, точно рыканье льва, то пронзительные, как змеиное шипение. Алебастрового оттенка пар, на мгновение сверкнув в воздухе, незаметно разлетался. Вдали на горизонте вставало пламя — должно быть, горел завод: яркие вспышки огня прорезывали черные клубы дыма.

Но вот, наконец, из-за Апшеронского полуострова поднялось багряное солнце, похожее на гигантский кубок литой бронзы, медленно, гордо, уверенно, как властелин вселенной, купаясь в своем сиянии, как в огненном море. Гряды высоких облаков загорелись подобно труту, озаряя небосвод. Лучи этого пламенного океана рассеивались на небе, прогоняя последние остатки ночной темноты. Золотились мачты, паруса, фасады домов, оконные стекла, нагие песчаные холмы, кладбище с гробницами, кустами и огромная башня — памятник трагической гибели легендарной девушки.

Звезды незаметно теряли свой блеск, электрические огни гасли, шум и грохот усиливались... Парусники и пароходы, дремавшие на якорях после летних рейсов, сиротливо покачивались на глади моря, словно гигантские лебеди. Юные рыбаки приводили в порядок свои снасти, собираясь добывать хлеб насущный. Матросы, распевая, мыли палубы, и в их сильных мужественных голосах звучала свежесть и мощь водной стихии. На длинных деревянных пристанях, заваленных грудями тюков и бочек, работали, разгружая и нагружая пароходы, тысячи грузчиков, вечно согбенных, вечно потупленных, как бессловесные животные.

Сказочной музыкой мерно зазвенели бубенчики. Это верблюды длинной вереницей поднимались песчаной горой по узкой тропе, ведущей далеко-далеко, куда еще не успели проникнуть пар и электричество. Эти караваны переносили мысль в библейские времена. А там, налево, бесчисленные пароходы и заводы гордо возвещали о силе современной цивилизации. С одной стороны — Азия, с другой — Европа. Настоящий хаос контрастов, где новое насмерть борется со старым.

Смбат наблюдал это бесподобное зрелище и умилялся. Но восторг его отравляла капля горького яда. Чарующее пробуждение природы напоминало о раннем увядании его собственной жизни, и он забыл обо всем: о Микаэле и его компании, об отцовских делах, о подложном и подлинном завещаниях, о становящихся со дня на день все назойливее угрозах брата — он помнил только о своих детях! О, он был бы бесконечно счастлив, живя полунагим, полуголодным, но свободным от семейных пут...

Усталый, присел Смбат на скамейку у берега моря — усталый не от вина и бессонной ночи, а от душевных мук. Куда ни глядел он, везде перед ним возникали две пары детских глаз, немым укором терзавшие его. Нет, нет, Смбат никогда не бросит их на произвол судьбы, никогда не расстанется с ними: ни родительское проклятие, ни мать, ни религиозные предрассудки — ничто не сломит его воли.

Кругом хлопотливо щебетали воробьи в поисках пищи. Птички и те озабочены, а эта пьяная ватага людей тащится по набережной, с виду беспечная и беззаботная, на деле же пресыщенная жизнью. Для них день только кон-

чается и начинается ночь; день, отравленный излишествами и пьяным угаром, ночь — изнуряющая, подтачивающая здоровье.

Впереди играли и распевали сазандары, а за ними тянулась вереница порожних извозчиков в надежде развезти кутил по домам и получить щедрую мзду. Проходившие рабочие и мастеровые не достаивали кутил даже взглядом. На бледных, худых лицах этих эксплуатируемых и угнетенных людей выражалось презрение честных тружеников к дармоедам. Никого из них не интересовало это зрелище — заводские гудки властно звали их к труду, им нельзя опоздать ни на минуту.

Вдруг три грузчика, на спинах которых сидели Гриша, Мосико и Микаэл, бегом протискавшись сквозь толпу, очутились впереди. Поднялся хохот. Иные стали рукоплескать, а кое-кто швырять в них камнями. Азиатские музыканты заиграли европейский марш. «Наездники», размахивая шляпами и дико завывая, нещадно колотили ногами в живот и бока грузчиков, превращенных в животных. Да отчего и не потешиться, ведь они заплатили им по рублю — двухдневный заработок поденщика. Пусть себе тешатся господа, господам все разрешается...

Смбат молча всматривался вдаль, где в легком утреннем тумане четко вырисовывался небольшой островок. На днях из-за этого островка покажется пароход, который привезет его детей и жену — его радость и горе.

На минуту отвернувшись, Смбат заметил юношей, с пением и криком спешивших к одной из морских купален. Кто-то отделился от компании и стал быстро удаляться. То был Аршак, младший брат Смбата, — ученик реального училища, в штатском платье. Смбат бросился за юношей и пагнал его.

— Что ты тут делаешь в такую рань?

— А ты-то сам что делаешь? — дерзко ответил юноша, выдергивая локоть из рук брата.

— Значит, и ты начал?

— Так же, как и ты. Только я начал вовремя, а ты опоздал.

Дерзкий ответ брата не столько возмутил, сколько смутил Смбата.

— Пошел домой! — крикнул он.

— А тебе какое дело? Ты думаешь, я от тебя убегал.

Кто ты такой, какие у тебя права надо мной! Мой старший — Микаэл, я от него убежал.

У Смбата руки ослабели, он выпустил юношу. «Вот оно что! Значит, Марутхянян и его сбил с пути, восстановил против меня!..»

Аршак убежал, присоединился к товарищам и вошел в купальню. Ночь напролет он кутил, опьянел, раскис и теперь собирался освежить себя купаньем.

Компания Микаэла решила прокатиться по морю. Взяли две причудливо раскрашенные лодки и расселись вместе с музыкантами. Как ни упрашивали Смбата, он остался на берегу — свинцовая тяжесть давила ему сердце. А не лучше ли было бы и для него провести юность и молодость подобно этим людям? Тогда он, наверное, избежал бы непоправимой ошибки. У них нет нравственного критерия, но они еще могут исправиться — еще довольно времени и возможностей у них стать на истинный путь. А он? Ах, какое было бы счастье остаться под крылом родителей, пусть даже невеждой, но избежать на чужбине встречи с той, которую он как будто бы любил и у которой вызывал ответную любовь, теперь перешедшую во взаимную ненависть.

Уж не телеграфировать ли ей, чтобы не выезжала? Но как быть тогда с детьми, этими милыми и невинными существами?

8

Никогда еще в доме Алимянов не бывало такого множества незваных гостей, как после сороковин Маркосу Алимяну.

Прежде всех не замедлил пожаловать глава епархии и снова повел разговор о нуждах церкви. Необходимо в одном из сел построить церковь, не то погибнет сельский приход. Уже проникли в это село лютеранские миссионеры и таскают поодиночке невинных агнцев из Христова стада.

Вдова Воскехат вручила владыке кругленькую сумму. Три дня спустя в одной из газет появилось благодарственное письмо «в назидание всей пастве», за подписью его преосвященства.

Явились один за другим отец Ашот и отец Симон. Первый вытащил из своего широкого рукава подписной лист и положил перед Смбатом. Надо пожертвовать некоторую сумму «на издание бессмертных творений выдающегося публициста»; не явись этот замечательный публицист на свет божий — наверняка погиб бы армянский народ. Второй в мрачных красках обрисовал материальное положение одного редактора, без стойкой помощи которого неминуемо рухнула бы американская церковь.

Чтобы отвязаться от них, Смбат дал и тому и другому. Несколько дней спустя об этом появились сообщения в печати. В одной из газет хвалили отца Ашота и поносили отца Симона как «обскуранта»; в другой — восхвалялся отец Симон и поносился отец Ашот как «ярый либерал».

Явился какой-то юноша с известием, что профессора пения нашли у него бесподобный тенор; ему необходимо ехать в Италию, а средств нет. Другой принес какую-то мазню и объявил, что все советуют ему поехать в столицу для дальнейшего развития таланта. Приходили дьячки, священники-переселенцы, неимущие учащиеся, и все просили помощи. Дошло до того, что Смбат приказал больше никого не пускать к нему. Тогда все эти неудачники принялись обивать порог конторы. Заргарян беспощадно гнал их. Попрошайки пустились ловить Смбата на улицах, в клубе, в магазинах, словом — везде и всюду.

Очередь дошла до корреспондента газеты Марзпетуни. После долгой слезки он наконец улучил момент и застал Алимяна в конторе. На его счастье, здесь не оказалось бухгалтера Заргаряна.

Марзпетуни начал издавека. Некогда армяне полагали, что нацию охраняет религия. Но, после того как «яркие лучи европейской культуры распространились и на нас», выяснилось, что нации необходимы, конечно, не только церковные книги и духовные гимны, необходимы также наука, искусство и в особенности литература.

Продолжая речь в этом же духе, Марзпетуни осторожно коснулся щекотливой стороны вопроса. Оказалось, что им написана книга, но у него нет средств на ее издание. Вот если бы нашелся просвещенный меценат, который не то чтоб пожертвовал, — о нет, нет, Марзпетуни не

из тех, что творят за чужой счет! — а ссудил некоторую сумму, тогда он своим «скромным трудом» обогатил бы родную литературу. Кстати, «случайно» он прихватил и рукопись. Марзпетуни положил ее на стол. В заголовке стояло: «О бессмертных усопших». Речь шла «о ярких звездах» V века, но если на долю автора выпадет успех, он доведет повествование до наших дней: «Ведь и в наши дни имеются бессмертные».

Как на грех, в самую решительную минуту в контору вошел Заргарян и положил перед Смбагом пачку денег. Марзпетуни знал, что бухгалтер его терпеть не может. Литератор посмотрел на деньги и поправил галстук.

— Ну что, господин хороший, уж не собираетесь ли вы издавать книгу? — спросил Заргарян с иронией.

Автор поспешил придвинуть к себе рукопись.

— Милый друг, пожалейте бумагу и чернила, вы не писатель, а пачкун. Занялись бы лучше чем-нибудь полезным...

— Не вашего ума дело!

Смбат дал автору пятьдесят рублей. Тот вложил их между страницами «Бессмертных усопших», поклонился и, бросив на Заргаряна негодующий взгляд, вышел.

— Напрасно вы ему дали, — заметил бухгалтер.

— Ну, бог с ним, может быть, и в самом деле человек нуждается.

Заргарян горько усмехнулся.

— Нуждается!.. Эх, господин Алимян, вы еще молоды, вы еще не понимаете, что такое настоящая нужда. Да, простите, вы не понимаете этого. Подлинная нужда не обивает порогов, не кричит, не плачет на людях, а терпит молчаливо.

Голос его задрожал, глаза странно засверкали. Семь лет служил Заргарян в этой конторе, но никто не знает, какую нищенскую жизнь он ведет. На сорок рублей в месяц он содержит шесть душ: паралитика-брата с женой и дочерью и вдовую сестру с двумя детьми. И никто никогда не слышал от Заргаряна жалоб на судьбу. Это был один из тех молчаливых и скромных тружеников, что заботятся только о других, а потом вдруг исчезают, не оставляя следа, кроме, быть может, признательности у облагодетельствованных ими. Житейские невзгоды они переносят

молча, подавляя горькие слезы, чтобы не отравлять ими куса хлеба, добываемого для близких.

Ярмо нищеты, безропотно влачимое Заргаряном, стало новилось ему уже не вмоготу. Отсюда и тревожное беспокойство, угнетающее его в последнее время. Слабые плечи, на которые судьба взвалила такую тяжкую ношу, не выдерживали ее. Нервы бедняка были чрезмерно напряжены. Ах, с самых детских лет на них, на этих струнах, только нужда и играла. Между тем, в груди его никогда не умолкал голос самолюбия, голос бессильной гордости бедняка...

Овладев собой, Заргарян уселся за работу, но вскоре бросил перо. Было ясно, что он совершенно подавлен. Смбат украдкой следил за странными движениями бухгалтера, догадываясь, что он хочет что-то ему опять сказать, но не решается.

— Господин Смбат, — заговорил наконец Заргарян, привстав, — прошу меня уволить.

Смбат удивленно вскинул глаза. Целых семь лет этот человек безропотно служил у них и вдруг собирается уходить. Разумеется, это неспроста.

— Вы нашли лучшее место? — спросил он.

— Нет, места я еще не нашел.

— Значит, разбогатели?

— Да, долгами.

— Не понимаю тогда, почему же вы хотите бросить место?

— А потому, что я теперь тут лишний. Я слышал, что вы собираетесь вести счетоводство по новой системе, я же не специалист...

— Да, я намерен вести счетоводство по новой системе, но вы все же будете мне нужны. Господин Заргарян, не в этом дело, вы, должно быть, обижены на нас.

Заргарян ухватился узловатыми длинными пальцами за свою жиденькую бородку, и вдруг его прорвало:

— Вы правы, я обижен!.. Ваш брат, господин Смбат, меня преследует. Я больше не могу оставаться у вас, нет сил, избавьте меня! Спасибо, что держали до сих пор...

Смбат задумался. Увольнять Заргаряна ему не хотелось. С другой стороны, он знал, что Микаэл действительно преследует несчастного за отказы в деньгах.

— А не пожелали бы вы перейти на промысла?

— На промысла?..

— Да. Я вас назначу туда помощником управляющего и бухгалтером. Там вы будете иметь бесплатную квартиру из четырех комнат. Можете перебраться со всей семьей. Теперь вы получаете сорок рублей, а там будете получать вдвое больше.

Заргарян, не веря ушам, удивленно взглянул на хозяина. Смбат повторил свое предложение. В глазах Заргаряна мелькнула улыбка, первая веселая улыбка, подмеченная Алимьяном на этом мрачном лице.

— Но ведь я незнаком с промысловым делом,— возразил Заргарян неуверенно.

— Научитесь. Если у вас нет других возражений, можете завтра же переезжать. Я сейчас собираюсь на промысла и распоряджусь, чтобы вам приготовили квартиру.

Полчаса спустя Заргарян торопливо шел домой — сообщить своим радостную весть. От необычайного волнения колени его подгибались. Он никогда не чувствовал себя таким счастливым: восемьдесят рублей при бесплатной квартире, чистый воздух для паралитика-брата, а самое главное — подальше от Микаэла. Вот неожиданное счастье!

Заргарян разговаривал сам с собой, высчитывал, расплачивался с долгами, накупал гостинцев для племянников, размахивал руками, улыбался, смеялся, привлекая внимание прохожих.

Наконец он добрался до узенькой, грязной, зловонной улицы и через большие ворота вошел в широкий двор, такой же сырой, грязный и кочковатый, как и вся улица.

Не помня себя от радости, Заргарян поклонился какому-то работнику, медленно погонявшему лошадь. Она тянула веревку, конец которой был протянут к колодцу. Отходя от колодца, лошадь вытягивала бурдюк, от сырости размякший и белый, как вата. Работник дергал веревку, и вода из бурдюка выливалась в желоб соседней бани. Во дворе повсюду было развешано зловонное тряпье. Пробравшись между этих тряпок, Заргарян узким, тянувшимся вдоль двора балконом прошел в небольшую полутемную комнату, где играли двое полунагих ребятишек. Вся обстановка состояла из нескольких желтых стульев, простого некрашеного стола, накрытого чистой скатертью, и зеркала на двух ножках. Стены были вымазаны

белой глиной, пол тоже выложен глиной и покрыт желтой циновкой.

Заргарян прошел в следующую комнату, выглядевшую так же мрачно,— тут уже не было ни стульев, ни стола. На краю длинной тахты сидел его брат-паралитик — Саркис.

Лет шесть назад этот человек прибыльно торговал в одном из северных городов. Но счастье изменило ему — богатый магазин сгорел, и Саркис обнищал. Этой беды он не перенес: его разбил паралич. Раньше Саркис ни разу не вспоминал, что у него в Закавказье есть брат, скромный учитель, потом ставший конторщиком, содержавший престарелых родителей и овдовевшую сестру с детьми. В несчастье Саркис вспомнил брата, написал ему, прося помощи. Заргарян откликнулся с христианским всепрощением и взял к себе паралитика, его жену и дочь.

От некогда счастливого человека теперь остался полутруп: половина тела омертвела, лицо распухло, глаза вылезли из орбит. Но у этого полутрупа осталось от счастливого прошлого два свойства: неутолимый аппетит и неугомонный язык. Было ли в доме что поесть, голодали ли дети — паралитику все равно: он должен завтракать, обедать и ужинать. Веселились или грустили — все равно, в доме на первом месте причуды больного, все более и более впадавшего в детство.

Главной жертвой этих причуд была его двадцатидвухлетняя дочь Шушаник. Весь день девушка только и была занята отцом — водила его под руку, когда он прохаживался по комнате, читала вслух, играла с ним в карты, прислуживала. Она все еще любила эту развалину, любила всей силой дочернего сердца.

Когда дядя вошел, Шушаник кормила отца. Это была девушка немного выше среднего роста, с лицом бледным, но не болезненным, одетая очень скромно, с серой шерстяной шалью на плечах, скрывавшей ее стройный стан. В светлых и задумчивых глазах светились ангельская кротость и беспредельное терпение. В эту минуту, с ложкой и тарелкой в руках, она напоминала самоотверженную сестру милосердия, посвятившую страданиям других и радости и горести свои. Но она была больше, чем сестра милосердия,— она была любящей дочерью, с сердцем от зычливым, как эолова арфа.

Заргарян сообщил радостную весть. Две преждевременно увядшие женщины, одетые в черное — его сестра и невестка, — даже вскрикнули от радости. На меланхолическом лице Шушаник заиграла светлая улыбка; она, откинув со лба густую прядь каштановых волос, взглянула на отца. Паралитик как будто не радовался вести, принесенной братом, а может быть, и скрывал свою радость. В эту минуту он был не в духе: горячая пища запоздала. Несколько минут назад он разбранил жену, брата, всю семью. Весь мир только и думает, как бы уморить его голодом! Услыхав от брата о переезде на промысла, Саркис здоровой рукой оттолкнул тарелку, воскликнув:

— Ты задумал утопить меня в нефтяном колодце! Не поеду я туда!..

Шушаник любила дядю не меньше, чем отца. Человск, на которого была взвалена вся тяжесть заботы о семье, вместо благодарности встречал одно недовольство. И это со стороны брата, не удостоивавшего его даже переписки, когда Саркис был богат и здоров... От волнения девушка судорожно сжала кулаки, как бы желая тем самым заглушить горечь сердца.

— Папа, — заговорила она растроганно, — ты будешь каждый день есть жареную рыбу. Дяде дадут хорошее жалованье.

— Врешь! — воскликнул паралитик, выпучив глаза на девушку. — Знаю я вас, вы меня там похороните, да, похороните... Обольете меня керосином и сожжете. Не знаю, что ли, я вас, вы безбожники!

И, уронив голову на подушку, он заплакал, как ребенок. Заргарян, овладев собою, прошел в другую комнату. Ему хотелось есть, но он был так взволнован, что почти не притронулся к хлебу с сыром.

— Вам нездоровится, дядя? — спросила Шушаник. — Вас знобит?

— Нет, нет я не болен. Уговори отца, чтобы он согласился переехать на промысла. Клянусь богом, там мы проживем хорошо. Три комнаты, нет, четыре, понимаешь, четыре, восемьдесят рублей в месяц — не шутка! Почему знать, может быть, удастся и прислугу нанять, избавить тебя от тяжелой домашней работы. Погляди-ка, Шушаник, как огрубели твои руки. Нет, я не хочу, чтобы ты работала на кухне, жалко тебя, красавица моя...

Шушаник засмеялась. Чудак этот дядя, она ведь не на чужих работает, а на родителей, на дядю, на тетю.

— Оно верно, милая моя! — воскликнул Заргарян.— Все мы на ближних работаем, но ведь ты молодая де-вушка... Как знать?.. Зачем так изводить себя, худеть и бледнеть?.. Правда, я никогда не жаловался, но должен сказать, что отец тебя не любит, Шушаник, не щадит он тебя, неблагодарный человек...

— Он болен, будьте к нему снисходительней.

— Глупенькая ты, — произнес Заргарян смягчаясь.— Разве я на него сержусь? Нисколько. Но ведь он должен войти в твое положение, я о тебе только и забочусь.

Из комнаты больного вышла мать Шушаник и тетка. Разговор прервался. Со двора прибежали босые дети семи и девяти лет, только что повздорившие с соседскими мальчишками и порядком пострадавшие от них. Они со слезами прижались к матери. Шушаник обняла детей и стал успокаивать, а мать вышла браниться с соседями— зачем они распускают своих ребят.

— Хоть от этого крика избавимся, — заметил Заргарян, — там у нас не будет соседей. Ну, полно тебе, Анна, — крикнул он сестре, подойдя к двери, — брось, не стоит!..

Анна вернулась и в сердцах хотела отшлепать детей, но Шушаник заступилась за них — увела в другую комнату, откуда доносился ропот паралитика:

— Позови его, позови сюда!

Шушаник позвала дядю.

— Давид, — забормотал больной, — бога ради, избавь меня от этого ада. Соседи убьют, задушат меня ночью... Я задыхаюсь от банной вони... вызволи, избавь меня...

На другой день Давид Заргарян сдал дела новому бухгалтеру и перебрался на промысла. А через два дня перевез туда и семью. Перед отъездом паралитик снова заявил, что не желает жить на промыслах, и здоровой рукой оттолкнул дочь, подымавшую его. Но когда брат решительно возразил, что он может, если хочет, остаться в городе, больной пустился причитать: как, неужели хотят его бросить?

— Извозчика! Сейчас же за извозчиком! Заберите меня, заберите хотя бы в ад!..

В этот день приехал на промысел и Смбат. Его инте-

ресовала участь семьи Заргаряна. Улучшение жизни подчиненного радовало его.

Но лохмотья на детях, поношенные платья женщин, жалкий домашний скраб произвели на него тяжелое впечатление. Он не подозревал, что Заргаряны так бедны.

— А кто эта девушка? — спросил он бухгалтера.

Речь шла о Шушаник, которая в неизменной серой шали на плечах тщательно обтирала привезенные из города вещи и вносила их в дом. Ее ясные и умные глаза, меланхолическое лицо невольно привлекли внимание Смбата. Он не смог побороть любопытства и перед отъездом в город почти напросился на чай к Заргарянам.

Обездоленное семейство было тронато скромностью молодого миллионера. Шушаник подавала чай на балконе. Паралитик оставался в комнате. Смбат слышал доносившееся оттуда беспрестанное ворчание. Дети играли во дворе, а женщины занимались распаковкой, раскладкой и установкой вещей.

Смбат, увлеченный ясными глазами, стройным станом и милым лицом Шушаник, украдкой наблюдал за нею, беседуя о делах со своим подчиненным. Ему казалось, что нужда еще не успела сломить девушку и не лишила ее гордости. В то же время он чувствовал, как необходима эта девушка жалкому паралитику, полуголым племянникам и всей семье. И чем больше Смбат наблюдал, тем больше радовался в душе, что хоть немного облегчил участь этой семьи; по-видимому, отныне судьба уж не так сильно будет ее угнетать, а значит, и домашняя работа этой молодой и привлекательной девушки станет легче.

Прощаясь, Смбат встретился взглядом с глазами девушки и почувствовал, как рука ее дрогнула в его руке. Это не было смущение дочери бедняка перед богачом. Это была дрожь женской стыдливости от слишком любопытного взгляда мужчины, с которым она только что познакомилась.

9

Утром Смбат, направляясь в экипаже на промысла, с особенной тоской вспоминал своих детей.

Было холодно. Дул пронизывающий северный ветер.

Песок, взмывая, кружился в воздухе, мелкой дробью обдавая лицо Смба́та.

Экипаж был уже за городом. Справа тянулись нефтеперегонные заводы Черного города, окутанного дымом, копотью и паром. Море подернулось белым туманом — надвигалась буря. Слева — холмики, пустынная песчаная равнина, местами вспаханная, но чаще нетронутая, унылая и мрачная. Не было даже следов растительности. Всюду песок, известняк, груды камней да высохшие соленые озера, сверкавшие издали, как снежные поля.

Весною здесь земля ненадолго покрывается чахлой травой. Поднимаются на две пяди всходы пшеницы и ячменя, но вскоре палящие лучи солнца выжигают всю растительность, окрашивая почву в желтый цвет. Начинается убогая жатва, и к середине лета земля снова одевается в бурые лохмотья. Однако под этими лохмотьями таятся несметные сокровища. Кажется, здесь природа сняла с лица земли все свои дары и скрыла их в недрах.

Безжизненный пейзаж усиливал тоску Смба́та. Сегодня он казался себе глубоко несчастным. Опять был крупный разговор с Михаэлом по поводу завещания. Пришлось решительно заявить брату, что он может обращаться в суд и что Смба́т готов судиться с ним, но добровольно отдать отцовское наследство никогда не согласится. Но не это наводило на него такое уныние. В глубине души он был убежден, что копртзавещание подложно и что Михаэ́л признает в конце концов законным наследником старшего брата и примирится с ним. Причина его подавленного настроения лежала глубже. До сих пор Смба́т как-то ухитрялся гнать тяжелые мысли и, не споря с судьбой, закрывать глаза на действительность. А сейчас какая-то упрямая и непреодолимая сила заставляла его твердить самому себе: «Неужели нет выхода?»

Неужели, ненавидя жену, он обязан вечно быть связанным с нею? Неужели, любя детей, он должен вечно нести бремя отцовского проклятия и материнских укоров?

Смба́т глядел вдаль. На обширной возвышенности чернел лес — фантастический лес, лишенный листвы и ветвей; там вместо холодных родников течет черная густая жидкость, вместо пения птиц слышится рев гудков, вместо предрассветного тумана — пар и дым. Там днем

и ночью работает множество машин и рук. Это — подземные сокровища, чаша черных нефтяных вышек, неприглядных, как окрестные пески и соляные лужи, сумрачных, как лица обитающих здесь людей.

Темный лес постепенно редел, «деревья» раздвигались. Все яснее и яснее виднелись приземистые рабочие казармы, железные резервуары, телефонные столбы — все черное от копоти и нефти.

Экипаж неся мимо большой нефтяной лужи и уже забирался на крышу подземной сокровищницы. Работа на промыслах кипела. Здесь бурили новые скважины, там расчищали старые. Вертевшиеся на вышках шкивы свидетельствовали о работе в недрах земли. Время от времени с разных сторон доносилось журчанье — это сливалась в ближайшие чаны нефть, которая потом по трубам стекала в резервуары и далее под мощным давлением всепобеждающего пара перегонялась на заводы. Здесь она отстаивалась, очищалась и потом развозилась во все концы света, превращаясь в золото, наполняя карманы немногих счастливых.

К числу таких счастливых принадлежит и Смбат Алимян — законный наследник Маркоса-аги. И однако же он говорит: «Я несчастен!»

Экипаж останавливается перед большим зданием. Очнувшись, Смбат сходит. На миг он оборачивается к соседнему балкону, лицо озаряется улыбкой; так луч солнца пронизывает туман. Смбату грезится пара ясных, умных и кротких глаз...

Он идет дальше по грязной тропинке и вместе с Заргаряном подходит к одной из вышек. Это — высокое деревянное строение с земляным полом и со стенами, пропитанными нефтью. Оно возвышается над скважиной в полверсты глубиной, выложенной железом. Проще говоря — это труба, всаженная в землю.

Входя, ощущаешь острый и одуряющий запах газа. В углу силою пара работает маховик, вращающий передаточным ремнем огромный барабан. Управляемый рабочим, барабан наматывает и разматывает длинный канат.

Завидя хозяина, рабочий спимает огромную мохнатую папаху и кланяется. Глядя на его перепачканное нефтью лицо, Смбат думает: «Ты не несчастнее меня!»

Канат извивается змеей, обматываясь вокруг шкива

на самом верху вышки. На конце его — желонка, цилиндр длиной в несколько сажень с клапаном на дне. Как только барабан разматывает канат, желонка стремительно летит в скважину, громыхая о железные стенки, падает в подземное озеро и с глухим шумом поднимается вновь, переполненная драгоценной влагой. Эта влага изо дня в день умножает богатство Алимянов, а между тем Смбуату и в ее плеске слышится: «Ты несчастен!»

Смбат подходит к скважине и прислушивается. Там в черной бездне словно творится «геенское действие»: нефть клокочет под напором газа, скоплавшегося веками. Раздаются странные звуки — не то порывы ветра в лесной чаще, не то далекий рокот морских волн. В ушах Смбуата этот шум звучит напоминанием: «Ты несчастен!»

Желонка с шипеньем выползает, точно чудовище из норы. На минуту сверкнет, отливая желтизной, и, стремительно взвизываясь, опять замирает, словно в усталом раздумье, ударяется клапаном обо что-то и выливает в чан поток драгоценной жидкости. Брызги нефти, смешанные с газом, распыляясь, рассеиваются в воздухе.

Ах, если бы удалось Смбуату одним могучим ударом развеять тяжелое горе, камнем сдавившее ему грудь!

Он переходит от вышки к вышке. Всюду грязь — копоть, нефтяное месиво. Слуют босые рабочие, насквозь пропитанные нефтью, точно живые фитили. Тут жизнь ежеминутно в опасности: малейшая неосторожность — и взрыв газа неминуем.

Смбат входит в котельную. Заргарян удивлен: никогда хозяин так тщательно не осматривал промыслов и никогда не был так задумчив, как сегодня.

— Что с ним? — шепчутся рабочие.

Пять исполинских огненных глаз горят в кирпичной стене.

Мощные пламенные струи вихрем кружатся в топках котлов, ревут, жадно вылизывая стенки. Двое рабочих день и ночь суетятся перед этими огненными глазами, поддерживая пламя, как жрецы. В котлах кипит вода, превращаясь в пар для машин.

Царящий тут шум приводит в смущение непривычного человека. Мысль невольно уносится далеко-далеко. Кажется, что это воплощение ада, с той лишь разницей, что люди сами добровольно обрекают себя на эту геенну.

Кажется, что вот-вот какой-нибудь котел, не выдержав дьявольского состязания огня и воды, лопнет, и все взлетит на воздух, а прежде всего эти несчастные, еле дышащие в ужасающем жару.

И чудится Смбату, что даже эти огненные глазища котлов твердят: «Ты несчастен!»

— Не знаю, почему,— обращается он к Заргаряну,— но мне кажется, что я сейчас задохнусь.

— И не удивительно: тут совсем нет воздуха,— отвечает бухгалтер, поняв его буквально.

Смбат молча направляется к выходу и идет дальше. Вот он переступает порог узкой комнаты, шагов десять в длину, с низкими окнами и кирпичным выщербленным полом. Потолок чуть выше человеческого роста; черные от копоти стены в белых, как язвы прокаженного, пятнах плесени; вдоль стен — нары, пол под ними земляной. На нарах груды грязного, прокопченного тряпья — постели рабочих.

Смбат впервые видит жизнь рабочего люда, перед ним впервые подымается завеса, скрывающая эту каторгу. Совесть терзает его. Ему кажется, что он незаконно владеет богатством, что весь отцовский капитал принадлежит не ему, а этим несчастным. И, обращаясь к Заргаряну, он говорит:

— Мы обязаны построить для рабочих новые жилища.

— Было бы недурно, господин Смбат, было бы недурно,— повторяет Заргарян довольным тоном.

— Сегодня же закажите проект.

— Не обождать ли, пока поправится Сулян?

Сулян — инженер, управляющий промыслами, он болен и лежит в городе.

— Обойдемся и без него. Вы закажите проект. А сколько у нас рабочих?

— В Балаханах — шестьдесят, в Сабунчах — пятьдесят пять, в Романах — сто девяносто... Всего пока триста пять.

— На всех промыслах придется снести старые казармы и построить новые. Идемте выпьем чаю и поговорим подробнее. В этих свинарниках невозможно жить.

За столом Смбат набросал план будущих жилищ, давая Заргаряну необходимые пояснения. Он все больше

воодушевлялся, с увлечением развивая внезапно озарившую его идею.

Главное — ничего не жалеть, выстроить просторные, светлые, удобные общежития.

Чай подавала опять Шушаник в комнате, назначенной для приема гостей и довольно прилично обставленной.

Сегодня девушка причесалась особенно тщательно и надела свое единственное праздничное темно-красное платье. Ведь нынче день ее рождения: сй исполнилось двадцать два года! День, до сих пор ничем не отличавшийся от всех остальных. Бедная семья не имела обыкновения праздновать дни рождения своих членов. И лишь паралитик, вспомнив счастливое прошлое, потребовал, чтобы Шушаник испекла ему пирог; она исполнила это с удовольствием.

Смбат, склонившись над бумагой, чертил и объяснял Заргаряну. Иногда он украдкой поглядывал на девушку, замечая, что и она смотрит на него. Он чувствовал, что Шушаник интересуется его идеями, и это его еще больше воодушевляло. Но вместе с тем он досадовал, что внимание Шушаник слишком его занимает.

— Мне кажется,— прервал наконец Заргарян его пространные объяснения,— если вы осуществите все задуманное, то неизбежно навлечете на себя неприязнь соседей по промыслам.

— Почему?

— Ну да, столько благ рабочим: бани, сад, школа, читальня, даже театр. У нас это вещи небывалые.

— Самые обыкновенные и простые вещи для каждого порядочного предпринимателя. У всякого буржуа своя фантазия, а это — моя фантазия. Не думайте, что я уж слишком забочусь о рабочих.

Сказал это он как-то беспечно, но искренне.

— Пошли бог всякому предпринимателю такую фантазию! — вздохнул Заргарян, невольно поддаваясь обаянию его скромности.

— Оставим это. Так вот, завтра же закажите по моим указаниям проект, а там посмотрим. Теперь, — обратился Смбат к Шушаник,— скажите, какую роль в этом предприятии вы могли бы взять на себя?

— Я? — переспросила Шушаник, не ожидавшая такого предложения.— Что я могу делать?

— О, очень многое. Вы бы могли заняться библиотекой-читальней! Если не ошибаюсь, вы учились в гимназии?

— До седьмого класса,— ответил за племянницу Заргарян.— Но знает она больше, чем даже некоторые окончившие. Время у нее не проходит зря.

Девушка бросила на дядю укоризненный взгляд, тщетно стараясь скрыть смущение.

— Ну и прекрасно,— улыбнулся Смбат,— есть дела, с которыми женщины справляются лучше нас. Например, воскресная школа для неграмотных. Как только построим новые казармы, думаю, нужно будет открыть такую школу. Взяли бы вы на себя это дело?

Как понять это предложение хозяина? Уж не смеется ли он над Шушаник? Или, быть может, этот молодой миллионер ее испытывает? Ясные глаза потупились, бледные щеки порозовели. Девушка промолчала.

— Чего ты молчишь?— вмешался Заргарян.— Не мешало бы поблагодарить господина Алимяна, что он именно тебе оказывает такое доверие. Соглашайся, слышишь? Не то во мне взбунтуется кровь старого учителя.

Говорил он при хозяине смело, шутливо, но несколько не впадал в фамильярность.

— Если сумею быть чем-либо полезной, я с готовностью возьмусь,— ответила наконец Шушаник.— Позвольте вам еще чаю?

— Нет, благодарю вас. Ну вот, у нас уже и помощница есть. Всего хорошего. Завтра поговорим подробнее.

После ухода Смбата Заргарян упрекнул Шушаник: Алимян так доверяет ей, а она как будто не ценит.

— Человек он умный и понимает, что ты здесь, в этом невзрачном окружении, сучаешь, вот он и предлагает тебе работу.

— Но я же сказала, что охотно возьмусь, если смогу быть полезной.

— Что значит «если смогу»? Не ахти какое дело — обучать грамоте. Наконец, много ли у нас учительниц развитее и начитаннее тебя?

Девушка не сказала ни слова и прошла в свою комнату. Из окна она проводила глазами Смбата, уезжавшего в город...

На другой день вечером Шушаник сказала дяде:

— Надо скорее строить жилища для рабочих. В самом деле, в старых домах жить невозможно...

— Откуда ты знаешь?

— Я нынче ходила и осмотрела их.

И в голосе ее звучало беспредельное сострадание.

10

Мадам Ануш Гуламян сидела на излюбленном месте у окна в гостиной, откуда она разглядывала прохожих. Напротив в первом этаже жила какакая-то неармянская семья, только что вернувшаяся из летней поездки по России. Эта семья состояла из мужа — рослого, здорового архитектора, и жены — элегантной красивой дамы.

Много толков ходило об этой женщине. И Ануш не раз видела ее разговаривавшей более чем нежно с каким-то молодым человеком.

Сегодня Ануш опять побранилась с мужем. Они наговорили друг другу много обидного. Взаимное влечение давно потухло. Бывали минуты, когда они испытывали друг к другу нестерпимое отвращение. Петроса раздражали усики и мужской голос Ануш. А ее отталкивали маленькие, хитрые, заплывшие жиром глазки, уши цвета свежего мяса, толстая шея, а в особенности — грубые манеры. И все же она оставалась верна мужу, изменявшему ей на каждом шагу.

Погода еще стояла ясная, солнце ласково грело. Был уже конец октября, но все одевались по-летнему.

Впечатление от ссоры несколько сгладилось. Глядя на соседку, весело порхавшую по комнатам, Ануш почувствовала зависть. В сердце ее вспыхнула любовь к жизни, кровь закипела, как и в те дни, когда она, ослепленная страстью, бросилась на шею Петросу Гуламяну.

Ануш мечтательно припоминала волнующие сцены из прочитанных романов и воображала себя то одной, то другой героиней. Вспоминались ей юные годы — девичья пора. Веселые, беспечные часы! Чего только не проделывала она вместе с подругами, сколько они шутили и проказничали, особенно когда возвращались с прогулки. Девушки подзадоривали сверстников, хихикали, подталкивали друг друга, как бы невзначай роняли нежные сло-

вечки, чтобы верней одурачить молодых парней, а порой прикидывались и влюбленными. Случалось, что писали письма, назначали свидания. Зачинщицей всех этих проказ была Анна Королькова, дочь таможенного чиновника, самая бойкая и изобретательная среди подруг.

Эх, счастливая пора! Но быстро она промчалась. Едва минуло Ануш четырнадцать лет, а уже учење наскучило ей. И какое там учење, кто интересовался уроками! Ануш, как и большинство ее подруг, ходила в школу для формы. Посылали родители ее в школу, только следуя моде, чтобы, так сказать, не отставать от других.

Ушла она из четвертого класса, не вынеся из школы ничего, кроме веселых воспоминаний.

Двери противоположного дома раскрылись. Натягивая перчатки, вышла изящная соседка с красным зонтиком под мышкой. За ней бомбой вылетела серенькая собачка с черной приплюснутой мордочкой, с ошейником, унизанным бубенчиками. После летнего путешествия красавица посвежела и похорошела. Своим независимым видом она окончательно сразила Ануш и, словно нарочно, чтобы сильнее возбудить зависть, подойдя к окну, спросила:

— Что вы все сидите дома в такую погоду?

Они познакомились на каком-то вечере.

— Да так, никуда не тянет...

— Пройдитесь по набережной, подышите чистым воздухом. Впрочем, простите, кажется у вас не принято выходить без супруга,— прибавила дама с мягкой иронией.

— Напротив, у нас не принято выходить с супругом, если вы имеете в виду азиатские обычаи.

— Вот как! А я не знала. У нас можно и так и этак,— заметила красавица, лукаво подмигнув.

Раскрыв шелковый зонтик, она грациозно подобрала юбку и с милым кивком удалилась, окликающая собачку:

— Мопсик, Мопсик!..

«У нас принято и так и этак,— повторила Ануш.— Да, у вас принято, почему же у нас не принято? Почему армянка безропотно терпит распутство мужа и не осмеливается ему отомстить? Почему ей так трудно изменить? Должно быть, это признак невежества и трусости...»

Звонок прервал ее мысли. Она вздрогнула и поднялась. Вошел Микаэл Алимян.

Ануш молча пригласила молодого человека сесть. Заговорила о красивой соседке. Микаэл был знаком с этой четой, он только что встретил красавицу и поболтал с нею. Микаэл знал ее историю, знал и много других таких же. И то, о чем несколько минут назад думала Ануш, он высказал откровенно, обвиняя армянских женщин в малодушии. Он говорил в полуироническом и полусерьезном тоне.

Ануш не спорила и только изредка полусхотливо приговаривала:

— Да помолчите, полно вам!

И больше ничего. Но вместе с тем думала: да, да, армянская женщина безмолвно и безропотно терпит беспутство мужа, но ведь она тоже живое существо, у нее тоже есть сердце. Настанет день, когда и ее долготерпению придет конец.

Страстные взгляды Микаэла несколько не оскорбляли Ануш. Они доставляли ей глубокое наслаждение. Микаэл с трудом сдерживал себя. Страсть вынуждала его отбросить ребяческую робость. Ему хотелось обнять это пышное тело, обвить пленительную шею, как обвивается пригретая солнцем змея, и впиться поцелуем в эти румяные щеки.

Ануш вертела золотой браслет, снятый с белой пухлой руки. Внезапно она взглянула в глаза Микаэлу, руки ее ослабли, пальцы разжались, браслет скользнул на колени и, прошуршав вдоль шелковой юбки, блеснув на миг, куда-то закатился.

Микаэл быстро нагнулся; Ануш, отодвинув кресло, тоже нагнулась, ища браслет. Солнечные лучи озарили голову Микаэла и шею Ануш. Ее бросило в жар. Волосы ее касались лба Микаэла. Их головы настолько сблизились, что Ануш чувствовала на щеках горячее дыхание молодого человека. Микаэла страсть охватила с гораздо большей силой, чем тогда, когда он сжимал локоть примадонны. Он уже не сознавал, зачем нагнулся и чего ищет, лишь глядел украдкой на полную грудь, на белую шею женщины и судорожно кусал губы. Глаза Микаэла горели, рассудок мутился, как в горячке. Еще мгновение, и, быть может, он, не сдержавшись, обхватил бы ее

голову и прижал к груди со всей силой взбужевавшей страсти.

Ануш приподнялась — она нашла браслет. Хотела надеть, но ей не удавалось.

— Позвольте,— прошептал Микаэл, дрожа от волнения. Ануш протянула руку, слегка подавшись вперед. Этот порыв убил в Микаэле последние сомнения. Теперь щеки Ануш побледнели, глаза сверкали, грудь вздымалась. Перед ней носился смелый жизнерадостный образ счастливой красавицы соседки.

Микаэл крепко сжал ее мягкий локоть, как бы пробуя соединить концы браслета. Ануш время от времени делала слабые попытки освободить руку. Горячие пальцы Микаэла жгли ей ладонь.

— Ах, это солнце, — проговорила Ануш, смеясь и приподнимаясь. Не отнимая руки, она притворила ставню.

С исчезновением солнечных лучей исчезли и последние проблески света в мозгу молодого человека. Безумное желание поглотило его целиком. Буйная кровь разыгралась, ударила в голову, точно кипяток в крышку завинченного котла. Губы его дрожали от звериной страсти, обнажая оскал белых зубов. Дыхание обжигало, точно пламя, глаза утратили человеческое выражение. Это был образ воплощенной страсти, страсти жгучей и неодолимой.

Ануш рванулась из рук Микаэла, слабо вскрикнула. Движение было слишком нерешительным для женщины, если не превосходившей мужчину силой, то во всяком случае не уступавшей ему. Микаэл привлек Ануш к себе на этот раз довольно грубо.

— Что вы делаете? С ума сошли?— вскрикнула Ануш и вырвалась.

Они посмотрели друг на друга. Микаэл смутился. Но оба дрожали от охватившего их волнения. Ануш поспешно открыла ставню и выглянула на улицу.

С минуту Микаэл стоял неподвижно. Он смотрел на плечи, шею и сбившуюся прическу Ануш, потом взял шляпу и поспешно вышел.

— Прощайте!

Сперва Ануш была рада, что Микаэл не показывался, и мысленно негодовала на себя, что позволила моло-

дому человеку, зайти так далеко. Но прошли первые дни, и она начала беспокоиться: не обидела ли его! Но чем? Неужели тем, что не хотела забыться и броситься в объятия чужого человека? Ну, а если бы бросилась — что такого?

Ануш задумалась. Муж опротивел ей до того, что она и видеть его не могла. Дети, положение, общественное мнение — вот что сковывало ее. «Ах, почему так трудно согрешить?» А между тем страсть разгоралась в Ануш все сильней. Она ждала Микаэла, ждала с нетерпением, с сердечным трепетом. Но Микаэла все не видно. Каждый день Ануш садилась в обычные часы у окна и смотрела на улицу и на окна противоположного дома. Красавица соседка беспечно порхала по комнатам и, конечно, продолжала изменять мужу. А Микаэла все нет и нет.

Наконец он появился. Но не веселый и бодрый, как прежде, а погруженный в задумчивость. Он кается в своем поступке и пришел просить прощения. К раскаянию его вынуждает любовь, питаемая им к одному привлекательному созданию.

Ануш была взволнована. О ком идет речь? Как он смеет, любя одну, покушаться на честь другой?

— Кто же она? — не выдержав, спросила Ануш.

— Вы ее не знаете. Одна прекрасная немка.

От ревности Ануш кусала губы. Она не подозревала, что «прекрасная немка» — пробный шар, пущенный Микаэлом. Этой выдумкой он хотел вызвать в Ануш ревность и нанести решительный удар остаткам ее скромности.

Ануш старалась сдерживаться и заглушить свои чувства, но напрасно. Она говорила с Алимяном о посторонних вещах, но мысли ее были заняты прекрасной немкой. Чем равнодушнее казался Микаэл, тем больше воспламенялась Ануш. Она опять заговаривала о своем невыносимом семейном положении, теряя прежнюю сдержанность. Она то вздыхала, опуская голову на грудь, то, резко взмахивая рукой, говорила, как бы думая вслух.

— Ну что же, ничего не поделаешь...

Или:

— Без горя не проживешь...

А Микаэл все притворялся равнодушным. Он угадал слабую струнку собеседницы. Прощаясь с Ануш, он ска-

зал, что его ждут, и, уходя, подарил ее иронической улыбкой.

Вечером, уединившись в спальне, Ануш думала о будущем. Жизнь с Петросом стала нестерпимой. Она горько ошиблась, всему виной ее неопытность. Мало ли обманувшихся женщин — обманулась и она. Неужели Ануш должна всю жизнь страдать? Петрос виноват во всем, и он еще изменяет ей. Где же справедливость? Нет, больше Ануш не в силах жить с этим грубым, безобразным, отталкивающим человеком. Она пойдет к епархиальному начальнику, бросится ему в ноги и вымолит себе развод. А не согласится епископ помочь, Ануш подкупит его. Ведь эти святые отцы за деньги готовы соединять несоединимое и расторгать нерасторжимое.

Это была последняя трезвая мысль Ануш. Она сменилась пламенной страстью, такую же, как девять лет назад. Притворное равнодушие Микаэла терзало ее бесконечно. Надо было как-нибудь покончить со всей этой путаницей. И она покончила...

Дни шли. Ануш и Микаэл всецело отдались порывам страсти, не думая о том, что их ждет впереди. Безотчетно говорили они друг другу «люблю», воображая, что на самом деле любят, что это и есть подлинная любовь, изображаемая романистами и воспеваемая поэтами.

Однако мало-помалу лучи действительности стали проникать в их затуманенное сознание. Прошла пора безумных порывов, и Ануш немного очнулась. Она решила намекнуть Микаэлу на то, что собиралась сказать ему, перед тем как решиться на смелый шаг: она хочет развестись с Гуламяном и...

Ануш не в силах была продолжать. Для начала довольно и этого. Неужели Микаэл не понимает, как мучительно женщине жить под одним кровом с нелюбимым, принадлежа душой и сердцем другому, любимому?

Микаэл молча выслушал ее, обнял, поцеловал и вышел. И с этого дня им овладело необычайное беспокойство. Желание Ануш порвать с мужем поставило его в затруднительное положение. Какая глупость — ха-ха-ха! Отнять у мужа законную жену и жить с ней! Что скажет общество? Вдобавок с дамой, у которой — ха-ха-ха! — двое детей, которая за девять лет замужества успела утратить свежесть...

Нежные усики, отчего вы теряете свое очарование при одной этой мысли? Почему Ануш превращается в заурядное, ничем не выделяющееся существо и становится похожей на всех остальных женщин? Похожей? Нет, это далеко не так...

Вот что случилось однажды. Целуя Ануш, Микаэл вдруг почувствовал неприятное щекотанье и сейчас же выпустил ее голову, доверчиво склоненную ему на грудь. Они посмотрели друг на друга. Обычно Ануш по лицу и глазам Микаэла угадывала его душевное состояние. Но на этот раз не угадала. Ей показалось, что Микаэл собирается с новой силой сжать ее в объятиях и осыпать поцелуями, как бывало раньше, и первая потянулась, прижалась и начала целовать его, как безумная.

Микаэл незаметно старался уклониться от поцелуев. Он боялся, что неприятно щекочущие усики на этот раз заставят его еще резче оттолкнуть Ануш. И, разумеется, он обидел бы ее этим. Удивительно, поистине удивительно, что эти же самые усики и свели его с ума. Как это неестественно! Нет, женщина должна быть женщиной, со всеми внешними признаками женственности. А эти усики? Фу!... А грубый баритон? Фу!

Эти минуты появлялись черными хлопьями перегара — не больше; мелькнув, они мгновенно исчезали. А в горниле страсти продолжало пылать пламя. Иногда Микаэл готов был задушить Ануш в объятиях, если бы хватило сил. Порою, расставаясь с Ануш, он испытывал большое самодовольство: вот он каков — неотразимый лев, настоящий демон, чье очарование способно самых добродетельных женщин заставить броситься в его объятия, как бросилась эта!.. Так почему же довольствоваться только этой победой и не идти дальше?..

11

Прошло две недели после оргии у Кязим-бека. За это время Смбуату не удавалось увидеться дома с Микаэлом так, чтобы серьезно поговорить о контрзавещании. Правда, на другой день после кутежа Микаэл решительно

ему заявил, что обратится в суд, но до сих пор об этом ничего не было слышно.

Вот уже десять лет как Микаэл превращал ночи в дни и дни — в ночи. Домой он возвращался не раньше трех-четырёх часов утра и спал до вечера. Встав с постели, пил наскоро чай и снова исчезал. Где он пропадал и какой образ жизни вел — теперь это уже не составляло секрета для Смбата: он уже хорошо знал ту растленную обстановку, где прожигал свою молодую жизнь брат.

Смбат хотел повидаться с Микаэлом и поговорить серьезно. На контрзавещании стояла подпись отца, ничем не отличавшаяся от подлинной. Он сказал Микаэлу, что это подлог. Если второе завещание действительно было подложным, то все же оно сострепано довольно искусно. Брата он не считал способным на такое опасное мошенничество и был уверен, что его сбил с толку зять. Марутханян — человек, которого Смбат ненавидел всей душой. Марутханян восстановил против него не только Микаэла и Аршака, но и свою жену. Почти каждый день Марта приходила к матери и жаловалась ей, что Смбат «отнял» ее долю наследства.

Однажды она завела об этом речь со Смбатом и наговорила ему грубостей. Брат и сестра рассорились, и Марта вышла от матери вся в слезах.

В тот же день Смбат решил остаться дома, дожидаясь, пока не встанет Микаэл. Наступил вечер, когда, наконец, слуга доложил, что Микаэл проснулся. Смбат поспешил к нему. Микаэл в шелковом халате пил чай. Он встретил брата легким кивком, словно это был случайный, незначительный гость. Лицо его, как всегда, было бледным. Под глазами — синяки.

Смбат попросил его еще раз показать завещание. Микаэл сказал, что оно уже в суде, однако несколько минут спустя вытащил связку ключей и открыл один из многочисленных ящичков стола.

Смбат достал из кармана несколько договоров и счетов с подписью отца и принялся внимательно сличать эти подписи с подписью на завещании. Никакой разницы: те же буквы, и прописные и мелкие, тот же самый росчерк. Исчезло последнее сомнение. Но одно обстоятельство все же смущало Смбата: если завещание подлинное, по-

чему же они медлят и не предъявляют бумагу в суд? Ведь Смбат не раз категорически заявлял, что добровольно ничего не уступит. Допустим, Микаэл колеблется, тогда чего же медлил Марутханян, для которого интересы кармана выше всяких родственных и нравственных соображений?

Микаэл снова предложил брату кончить дело миром, но и на этот раз получил решительный отказ. В городе уже начали ходить слухи, что он незаконно завладел отцовским наследством, и, если Смбат решится теперь на уступки, могут подумать, что он и впрямь незаконный наследник. Смбат попытался убедить Микаэла, что суд установит подложность контрзавещания и что Микаэл со своим сообщником пропадет. Этот сообщник — человек опасный, хотя он и зять их. Все свое состояние Марутханян нажил нечистыми путями.

— Я прекрасно знаю его, — прервал Микаэл, — но в данном случае он не плутует. Наконец, какое мне дело до него. Я хочу быть богатым, самостоятельным, свободным, а не играть роль жалкого приказчика у тебя.

— Исполни волю отца и получишь наследство наравне со мною.

— Ты говоришь о женитьбе? Ха-ха-ха! А ты-то сам очень счастлив, что советуешь мне жениться? Гм... за живое задел, кажется, да? Эх, дружище, считай меня шарлатаном или кем хочешь, но у меня тоже голова на плечах.

— Мое счастье в детях.

— В детях? Возможно, но не маловато ли для счастья? А может быть, и в их «родительнице»? Трудно тебе?

— Жена моя очень умная и порядочная женщина.

— В этом-то и состоит твое несчастье. Не будь она умной и порядочной, ты бы со спокойной совестью мог бросить ее, а так ты опасасешься общественного мнения.

— Никогда не опасался его, доказательством может служить хотя бы то, что я женился наперекор этому самому мнению.

— Значит, дети мешают тебе порвать с женой? Вот то-то и есть; куда ни помотришь — натыкаешься на несуразность. Один любит детей, но ненавидит жену, у другого жена изменяет, третий не ладит с женой. Куда ни

глянь — семейная драма. И ты еще хочешь, чтобы я тоже стал героем подобной драмы. Нет, друг мой, уж лучше оставаться бонвиваном. Наконец, на кой шут мне жена, если имеется много чужих жен? Вот через час я буду у чужой жены.

— Микаэл, твоему беспутству нет предела...

— Что, что ты сказал? Беспутство? Ха-ха-ха! Чудесное слово! Знаешь ли, дорогой мой, с первого же дня ты взял на себя по отношению ко мне роль наставника. Конечно, ты на это имеешь все основания, раз в законном завещании — ха-ха-ха! — отец поручил тебе наставлять меня на путь истинный. Кроме того, ведь ты старший брат, и притом с высшим образованием. А я-то кто? Недоучка, невежда, распутник. Но намотай себе на ус: я в грош не ставлю твое мнение обо мне. В тот вечер у Адилбекова кровь бросалась мне всякий раз в голову, как ты посматривал на меня с соболезнающим снисхождением. Я чувствовал, что в душе ты меня жалеешь. О-о, много встречал я героев вроде тебя — взять хотя бы всех этих наших докторов, адвокатов, инженеров. Все они тоже распинаются в защиту нравственности, а как окунутся в жизнь и нагуляют брюшко, швыряют за борт моральные принципы и наполняют карманы. Им ничего не стоит дружить со вчерашними контрабандистами, с вышедшими в люди приказчиками, обворовавшими своих хозяев, со злостными банкротами, с идиотами и распутниками вроде меня. Барахтаясь в этом болоте и воображая, что уносятся ввысь на крылышках времени, они изо дня в день опускаются все ниже и ниже. И ты, дорогой мой, как вижу, не без идеалов. Будь же осторожен — как бы не утопил ты их в нефтяной скважине. Мой совет — заботься только о себе... До свидания. Я спешу к чужой жене. А что до завещания... оно подлинное. Если не хочешь, чтобы тебя затаскали по судам, приготовь мне на завтра пока тысячу пять... До свидания....

Он ушел в спальню переодеться.

Смбат, пожав плечами, проводил его глазами. Вот красивая куколка, утыканная иголками, за которую надо браться осторожно. Что ни говори, а этот молодой человек не лишен ума, а пожалуй, и остроумия. Но все же и Смбат не даст себя обмануть подложной бумажкой, он сумеет отстоять свои права; не поддастся он и этому

красноречию, постарается вывести родного брата на путь истинный.

На другой день Микаэл зашел в контору и повторил, что ему нужно пять тысяч.

Самбат отказал.

— Отлично, возьму у Марутханяна в счет будущего наследства.

С этого дня отношения между братьями еще более обострились. Марутханян неустанно подговаривал Микаэла не столько начинать дело против Смбата, сколько донимать его контрзавещанием. Ловкого дельца бесило хладнокровие Смбата, он день и ночь размышлял, как бы сломить противника. Неужели Смбат будет безнаказанно пользоваться этим огромным богатством? Тот, кто не трудился и не ждал ничего,— вдруг завладеет миллионами! Нет, этому не бывать. Марутханян никогда не позволит, чтобы какой-нибудь мальчишка владел таким состоянием. Он знал, что Смбат ненавидит его и считает мошенником. И это еще больше разжигало его вражду. Однако Марутханян не терял спокойствия и внешне держался вполне корректно. В сущности он и не надеялся на силу контрзавещания. Это был маневр, чтобы опорочить Смбата,— Марутханян думал, что таким путем удастся заставить шурина выделить сестре хоть некоторую долю наследства. С другой стороны, состряпав контрзавещание, он может прибрать к рукам Микаэла, и это ему почти удалось. Теперь они союзники, связанные всеми последствиями мошеннической сделки; Марутханян чувствовал, что отныне Микаэл без него не может шагу ступить. А это было ему необходимо для другой цели — цели более легкой и более прибыльной, нежели получение некоторой части наследства.

Марутханян пользовался в городе уважением. Каково было его прошлое и какими средствами он разбогател — это уже все предали забвению. Достаточно того, что он был довольно известным заводовладельцем и умным коммерсантом. Он умел поддерживать свое положение и не упускал случая так или иначе поднять свой престиж.

Подходящим случаем он считал присутствие в городе епархиального начальника и пригласил его на обед у себя на квартире при черномгородском заводе.

Черный город и на самом деле был черным, как заколдованный мир, отмеченный божьим проклятием. Копоть, день и ночь валившая из труб, пачкала все — и дома и даже птиц. В вечно дымном воздухе еле мерцали солнечные лучи, бросая тусклые красно-бурые отблески. Улицы изобиловали рытвинами и лужами, вперемежку с горами нечистот. Черные от сажи свищи рылись в поисках пищи, хрюкая и тыча мордами в грязь, а из луж женщины набирали в ведра нефть. Множество нефтепроводных металлических труб на земле и под землей под напором клокотавшей в них нефти издавало звуки, напоминавшие то стрекотанье сверчков, то тяжкие удары молота в незримой кузнице. Это стучал пульс нефтяной промышленности, измеритель адского труда несметных человеческих масс и богатства немногих счастливых.

Завод Марутхяна располагался несколькими корпусами в центре Черного города. Двор, обнесенный каменной стеной немного выше человеческого роста, был переполнен оборудованием. Бросались в глаза железные нефтехранилища, высокие, вместительные, с куполообразным верхом; сеть нефтепроводных труб, то проложенных в земле, то протянутых над головой; насосы, котлы, краны...

Время от времени здесь мелькали человеческие фигуры, грязные, с ног до головы пропитанные черной жидкостью, полунагие и мрачные, как подобало обитателям черного мира.

На просторном балконе двухэтажного дома собралось общество армянских нефтепромышленников, купцов, ростовщиков и инженеров. Его преосвященство еще не прибыл. Гости дожидались епископа, чтобы сесть за стол. Тут был и Микаэл со своей компанией. Марутхяна ничего не пожалел, устроил роскошный обед. Он пригласил даже репортера Марзпетуни в надежде прочесть в газете описание обеда.

Среди приглашенных был также Петрос Гуламян. Микаэл, несколько не смущаясь, подошел к нему и осведомился о его здоровье и о семейных делах. Внимание молодого миллионера сильно льстило простому торгашу. Но тут же над честолюбием Гуламяна взяли верх практические соображения, и он не постеснялся снова намекнуть Микаэлу насчет нефтяного участка. На этот

раз Микаэл твердо обещал уступить ему по сходной цене некоторую часть земли, незадолго до того купленной Сибатом. Глаза лавочника заблестели.

Прибыл его преосвященство. Гостей пригласили к столу, накрытому в просторном зале. Распорядителем обеда был избран Срафион Гаспарыч, в новом мундире и свежевыбритый, усы его были расчесаны особенно тщательно.

Микаэл со своей компанией поместился в конце стола. Тут молодые люди могли болтать без стеснения. Только Папаша не позволил себе присоединиться к компании. Как самый богатый и почетный гость, по предложению хозяина он уселся рядом с владыкой. Сегодня он был настроен очень серьезно. Сборище было не интимное, а носило до некоторой степени общественный характер, между тем во всем городе Папаша слыл за патриота, благотворителя и искреннего защитника общественных интересов... Когда тамада предложил тост за здоровье его преосвященства, Папаша выразил желание сказать «пару слов» и поднялся.

— Ваше преосвященство, гм... господа... — начал он. — Мы, армяне, значит, всего, гм... одну церковь, значит, всего, гм... имеем...

— Имеем! — прошептал Гриша в своем кругу, передразнивая оратора.

— Я, значит, гм... как верный сын этой... гм... самой церкви, гм... говорю: мы обязаны почитать, гм... потому, гм... я пью...

— Змеиный яд! — вставил опять Гриша.

— За служителя, гм... церкви, значит, желаю, гм... чтобы...

Папаша на миг остановился и уставился на тщательно закрученные усы Срафиона Гаспарыча. Но, не найдя в этих усах нужных слов, он полез пальцем в полный бокал, где плавала муха.

— Одним словом,— продолжал Папаша, стряхнув муху с пальца,— чего там, гм... канителить, гм... Давайте выпьем за здоровье нашего епископа, гм... Потому прошу встать...

Все встали с возгласами:

— Да здравствует его преосвященство! Да здравствует Аракелян!..

Епископ предложил здравицу «за местную общину» и тоже сказал «пару слов». Он воздал хвалу «общине», отметив патриотизм, добросердечие, щедрость, милосердие и безграничную мудрость ее «избранного слоя».

— Чет или нечет?— резались Мосико с Мелконом.

Потом его преосвященство повел речь о новом поколении, заговорил о молодежи, высказал свое мнение об электричестве, сравнил его с умом местного «избранного слоя», подчеркнув, что местная армянская молодежь куда просвещенней, богобоязненней и развитей всей остальной армянской молодежи.

В это же самое время Гриша последними словами ругал опереточную актрису за измену. Мелкон жаловался, что вот уже месяц как жена его хворает, и он вынужден вечерами, словно курица, с десяти часов усаживаться на насест. Мосико убеждал их устроить вечерком «легкую вертушку».

Его преосвященство тяжело опустился в кресло, вытирая пот.

После нескольких общих и официальных тостов настроение собравшихся значительно поднялось. Очередь дошла до либерального отца Ашота и консервативного отца Симона, в пику друг другу предлагавших тосты за своих богатых прихожан.

Марзпетуни был обозлен. Никто не поднял бокала за прессу. А у него в голове уже была готова ответная речь, которую он рассчитывал сказать в качестве представителя печати.

Стали шептаться о том, что Папаша, окрыленный приподнятым настроением гостей, собирается открыть подписку в пользу Эчмиадзина.

И точно — снова он поднялся и снова держал речь. Слова все трудней и трудней вылезали из горла — он смотрел то на свой бокал, то на камилавку епископа, то поправлял галстук. Смысл «речи» Папаши был ясен: подписной лист на круглом столе, желающие пусть подойдут и распишутся.

— Разводит патриотизм за чужой счет,— шептали некоторые.

Кое-кто незаметно улизнул. Охотно сделал бы то же самое и Марутханян, да некуда было бежать из собственного дома.

— Богачи не явились, так ты отыгрываешься на мне, — укоризненно шепнул он Папаше, намекая на отсутствие Смбата Алимяна.

Марзпетуни был взбешен, когда выяснилось, что подписка дала несколько тысяч. Зачем все в пользу Эчмиадзина? Надо положить конец этому «церковному» попрошайничеству. И он вытащил блокнот. Но тут хитрый Папаша что-то шепнул ему, и он сунул книжку в карман.

Подписной лист передали епископу, который был в полном восторге «от безграничного патриотизма избранного слоя». Обед завершился молитвой. Гости разошлись.

В последнем экипаже ехали Марутханян и Микаэл.

— На сколько ты подписался? — спросил заводовладелец шурина.

— На сто.

— Ха-ха-ха! — язвительно засмеялся Марутханян. — Я триста, а ты сто. Вот что значит не иметь своих денег! Брат твой мог бы дать тысячу. У него есть, а у тебя нет.

Самолюбие Микаэла было задето.

— Замолчи! — прикрикнул он на зятя.

— Кто этот с толстой шеей, что едет впереди нас? — спросил Марутханян, сразу меняя тон.

Язык у него развязался под влиянием вина.

— Петрос Гуламян.

— Bravo, молодец! Ей-богу, молодец! — воскликнул Марутханян, и его зеленовато-желтые глаза прищурились.

Микаэл смутился от этого взгляда.

— Ничего, — поощрил его Марутханян, — все мы смертны, не красней, холостяком я тоже не сидел сложа руки.

— Но ты ошибаешься насчет мадам Гуламян, — проговорил Микаэл тоном, допускающим возможность каких угодно предположений.

— Я не ошибаюсь, ошибается, должно быть, мой приятель, которому ты попадаешься, выходя от мадам Гуламян. Он их сосед. Понял? Ну да ладно, не робей, все останется между нами. Продолжай...

Экипаж остановился — шлагбаум был спущен. Свистя и пыхтя, словно ожившее сказочное чудовище, прошел паровоз, таща длинную вереницу цистерн. Грохот

поезда, рев заводских топок, шипящий пар, то тут, то там с пронзительным свистом вылетающий из бесчисленных труб, могли оглушить непривычного человека. Казалось, что тут происходит непостижимая битва и в этой оглушительной толчее участвуют целые сонмы злых духов.

— Погляди-ка,— опять заговорил Марутханян,— весь мир сожрал этот Нобель и все никак не насытится. Молодчина!..

Он указал на огромный завод чуть не вполовину Черного города.

— Люблю таких людей,— продолжал Марутханян, старательно подкручивая и без того заостренные густые усы,— копят, копят, а все не насытятся. Только бездельники назовут их жадными... Имеешь — старайся удвоить, утроить, удесятерить. Мало — отними у соседа, у друга, у брата. Оттачивай когти и бросайся на мир, души, не сиди и не завидуй другим, как старая баба. Лет десять назад я был помощником нотариуса и частным поверенным, а теперь у меня, слава богу, полмиллиона состояния. Да, не скрою, имею. Так почему же не обратить полмиллиона в миллион, в два, в три, в пять, в десять?

Марутханян продолжал в том же духе. В былые времена всякий лавочник считался купцом, обладатель крохотной мастерской — заводовладельцем, а хозяин двух лодочек — судовладельцем. Теперь их никто и в грош не ставит, безжалостно проглатывают их более сильные. Чтобы не стать устрицей для чьей-нибудь широкой глотки, нужно всячески распухнуть и раздуться...

— Деньги, деньги и деньги! — воскликнул Марутханян в каком-то экстазе. — Весь свет стоит на деньгах. Очнись, дружок, не позволяй брату грабить тебя ради его жены и детей. Наступи ему на горло, напугай ложным завещанием. Не бойся — смело судись с ним. Человек я осторожный, но не отказываюсь от риска: кто не рискует, тот не выигрывает. Но в нашем деле — осторожность и еще раз осторожность. Во что бы то ни стало отбери у брата отцовские миллионы. Мы их разделим на три равные части, чтобы после опять объединиться, организуем большое товарищество, закупим новые нефтяные участки, заложим новые скважины, вырастим большой завод, заведем шхуны, пароходы. Во всех странах создадим агентства, начнем конкурировать с американцами, а там, чем

черт не шутит, может, и в самом деле станем нефтяными королями. Наши имена будут известны во всех частях света, и все нам поклонятся в ноги. Тогда мы будем знаться не с какими-то Татосами и Матосами, а с гигантами вроде Ротшильда и Вандербильда, перед которыми склоняются даже президенты и короли. Вот тогда только ты поймешь настоящую жизнь!

И чем сильнее воспламенялся Марутханян, чем грандиознее становились его проекты, тем меньше казался он сам в своем экипаже. Съездившись подле Микаэла, Марутханян походил на огромную пиявку, готовую высосать кровь соседа. Наконец, он свернулся клубочком, припал головой к коленям Микаэла, ухватился обеими руками за его руку и, крепко стискивая ее, словно прирученная обезьяна, уставился на шуррина, как бы стараясь проникнуть в глубину его сердца.

— Микаэл, Микаэл! — воскликнул он, меняя тон, почти с мольбою. — Смбат — парень умный, он тебя проведет. Ты благороден, добродушен, доверчив. Он скажет: «Брат, давай покончим дело миром, Марутханяну ничего не дадим, сами будем хозяевами». Наобещает он тебе груды золота, а не даст и маковой росинки. Смбат вооружит тебя против меня и Марты, лишит куска хлеба твоих несчастных племянников, да еще скажет вдобавок: «Марутханян мошенник». А ты возьмешь да поверишь, ты наивен. Но, видит бог, надует он тебя... Осторожность, осторожность и осторожность!..

Они уже подъехали к городу. Марутханян выпрямился, поднял голову, поправил очки, закрутил усы и принял свой обычный надменный вид.

Микаэл, молча слушавший красноречивого зятя, отозвался наконец:

— Я не позволю Смбату распоряжаться мной. Поступай как найдешь нужным — я последую твоим советам.

Мадам Ануш постоянно твердила Микаэлу, что ей надо во что бы то ни стало развестись с мужем. Она клялась, что больше не в силах скрывать свою измену,

что какой-то внутренний голос заставляет ее признаться Петросу и раз и навсегда сбросить эту тяжесть с сердца. Все равно, если она и не скажет, рано или поздно Петрос догадается. Прислуга уже начинает подозрительно коситься на частые визиты Микаэла. Так продолжаться не может. Обмануть легче, чем скрыть обман. Вина бесконечно тяготит ее, и ей кажется, что, если она откроется мужу, ей станет легче.

Когда Ануш однажды опять заговорила об этом, Микаэл, потрепав ее по подбородку, сказал:

— Ануш, ты настоящее дитя.

И слово «дитя» он произнес так ласково и нежно, что сердце Ануш наполнилось радостью. Женщина, несколькими годами старше своего любовника, позабыла о запутанном положении, услышав лишь одно ласковое слово. С этого же дня она прикидывалась при Микаэле ребенком — мило шутила, плакала, дулась и отворачивалась к стене.

Но как-то Ануш снова заговорила о разводе. На этот раз она заявила, что готова даже оставить детей, только бы Микаэл принадлежал ей одной.

Дело с каждым днем принимало все более и более серьезный оборот. Надо было на что-то решиться. Микаэл объяснял, что без детей она и дня не проживет, что общество осудит ее, что следует быть дальновидной, взвесить все обстоятельства. А однажды пошел еще дальше: намекнул, что готов жить с ней открыто, только опасается, как бы Ануш не возненавидела вскоре и его, как ненавидит теперь супруга. Нет вечной любви на свете: возможно, что и Микаэл скоро наскучит ей.

Это, с одной стороны, было намеком, что и сам Микаэл способен ее забыть, а с другой — оскорблением. Лицо Ануш исказилось от злобы. Ах, вот оно что! Значит, Микаэл охладел и хочет избавиться от нее.

— Ты прав, порядочная женщина не должна забывать своих детей, да еще ради человека, подобного тебе!

И она разрыдалась уронив голову на тахту.

Микаэл подошел, обнял ее, но не поцеловал. Шелковистые усики теперь казались ему острыми иглами, коловшими лицо и губы. В другой раз Микаэл, которому наскучили, наконец, мольбы Ануш, поставил вопрос ребром: зачем ей терзать себя? И стоит ли? Она не пер-

вая и, конечно, не последняя. Пусть оглянется кругом — много ли на свете дурочек, превращающих комедию в драму?

Смысл этих слов был понятен, в пояснениях не было необходимости. Ануш окончательно вышла из себя и потребовала, чтобы Микаэл не смел больше никогда говорить подобные оскорбительные вещи. Она не может быть любовницей, пусть Микаэл зарубит это у себя на носу. Она не развратная, не падшая...

После этого Микаэл исчез на целую неделю. Ануш стала забывать обиду и, обдумав спокойно слова Микаэла, нашла положение свое не таким уж нелепым, как оно ей сгоряча показалось. В самом деле, не она первая, не она последняя. Мало ли жен, изменяющих мужьям и притворяющихся верными? Пусть же одной станет больше. Наконец, она ведь и без того любовница, так неужели развод с мужем поможет ей смыть позорное пятно? Напротив, именно тогда и поднимут ее на смех.

Сознание вины мало-помалу перестало угнетать Ануш. Кому она изменяет? Человеку, уже семь-восемь лет изменяющему ей. Они теперь сравнялись в правах, с той лишь разницей, что Ануш знает о проделках Петроса, а Петросу еще ничего не известно о романе Ануш. Но так ли это? А может быть, он уже знает?

Ануш боялась мужа, боялась физически, и этот страх был сильнее нравственных переживаний.

Однажды ночью, измученная тревожными снами, она вдруг проснулась и в ужасе громко вскрикнула. Ей приснилось, будто Петрос замахнулся на нее пожом. Прибавив огонь в ночнике, она осмотрелась и встала.

От крика Петрос проснулся и из-под одеяла молча следил за женой. Его толстые щеки, казалось, еще больше вздулись, лысина блестела при свете ночника, красные губы что-то бормотали. Ануш показалось, что это голова какого-то безобразного чудовища. О господи, и как она могла броситься в объятия такому страшилищу! Ей подумалось, что Петрос всегда был таким красным, раздувшимся, безобразным чудовищем. В нем уже не оставалось следов того бойкого, ловкого, шустрого приказчика, которым она так увлеклась десять лет тому назад.

Ануш с отвращением отвернулась и снова легла.

— Не спится? — вдруг услышала она ненавистный голос, прозвучавший в тишине так отвратительно и страшно, что Ануш вздрогнула и приподнялась.

Вместо ответа она повернулась к стене и с головой закуталась в одеяло. Немного погодя Ануш услышала шлепанье босых ног. Отбросив одеяло, она вскочила, как разъяренная тигрица.

Грудь ее вздымалась и опускалась, волосы рассыпались по плечам, на шее напряглись жилы. Она казалась олицетворенным отвращением, в то время как Петрос являл собой воплощение грубой страсти. Несколько минут они смотрели друг на друга безмолвно и неподвижно, как две враждебные стихии. Ануш угадывала намерение мужа. О зверь! Кто ведает, в чьих объятиях был он час тому назад...

Она изо всех сил оттолкнула его и выбежала в соседнюю комнату. Петрос бросился было за ней, но дверь мгновенно захлопнулась, и муж остался один, охваченный вожделением...

— У тебя любовник! — закричал он и улегся в постель.

На следующий день Ануш встретила Микаэла со слезами на глазах. Бросившись ему на шею, она зарыдала:

— Избавь меня, избавь от этого человека, он мне противен, страшен!..

Микаэла между тем уже начинала тяготить эта связь. Утоленная страсть уступала место холодному размышлению. Ослепленный рассудок прозрел и заявлял о своих правах. Этот человек, никогда не разбиравшийся в своих отношениях к женщине, теперь по-иному начал смотреть на свое поведение. Он уверял Ануш, что любит ее, и в то же время сознавал, что начинает испытывать к ней нечто вроде отвращения. Он выказывал Грише приятельские чувства, но вместе с тем понимал, что бросает тень на его имя. Он хотел покровительствовать Петросу Гуламяну, но в то же время чувствовал, что нагло топчет его честь. Пока у Микаэла была уверенность, что обществу ничего не известно о его близости с Ануш, он не особенно тревожился. Но Марутханян огорошил его. Теперь он злился на себя, что не сумел рассеять подозрения Марутханяна и даже как будто дал понять, что его намеки справедливы. Это было непростительное легкомыслие,

пустое мужское тщеславие. Оно конечно лестно казаться львом-сердцеядом, но последствия...

Микаэл перестал посещать Ануш... Три дня спустя он получил от нее письмо. Его принесли в присутствии матери. На вопрос Воскехат, от кого письмо, Микаэл ответил: от Петроса Гуламяна. Не назвать Гуламяна он не мог, потому что мать знала прислугу, доставившую письмо. Досадуя в душе на Ануш за то, что она доверила прислуге столь деликатное поручение, он прочел послание и нахмурился. Содержание его было отчаянное. Микаэл решил не отвечать и не бывать у Ануш, рассчитывая таким путем охладить ее чувства.

Но расчеты его оказались неверными. Страсть до такой степени завладела Ануш, что она совсем потеряла голову. Через два дня Микаэл получил от нее новое письмо. Ее отчаяние не знало границ. Положение становилось опасным. Надо было принять меры для прекращения этих бестактных выходов обезумевшей женщины. Микаэл ответил, что он занят делами, времени у него нет, пусть Ануш потерпит. В конце письма он настоятельно просил ее прекратить бессмысленную переписку — слава богу, он не гимназист, а она не гимназистка, чтобы развлекаться любовными письмами.

Разве Ануш не понимала, что ведет себя по-детски? Но одно дело — рассудок, другое — сила страсти. Не в характере Ануш было терзаться и молчать. А если уж страдать, так заодно с Микаэлом. Уж не пресытился ли он ею, не смеется ли он над ее слабостью, не хвастается ли легкой победой в своем кругу? Почему он не отвечает на ее письма, почему?..

От бесконечных сомнений Ануш день ото дня становилась все мрачнее и нелюдимее. Она то и дело кричала на детей, даже била их, гоняла из одной комнаты в другую, до крови кусала себе губы. Безделье было ее привычным образом жизни. За девять лет Ануш дома палец о палец не ударила. Часами просиживала у окна, подперев голову рукой, и глядела на улицу, на окна противоположного дома, где жила изменявшая мужу красавица. Ануш и теперь завидовала ей: любовник почти каждый день навещал соседку. А ведь Ануш только еще начинала жить, и вот — едва коснулись ее губы заветной чаши, как эта чаша падает у нее из рук и разбивается...

Бессовестный, безбожный человек!.. Почему же ты охладел так скоро и так внезапно? Не увлекла ли тебя другая, и теперь, нежась в ее объятиях, ты издеваешься над Ануш? О, если только есть такая, Ануш вырвет ей глаза и швырнет тебе в лицо!

«Сделаю, сделаю, сделаю! — повторяла она про себя, прижимая стиснутые пальцы к глазам.— Бессовестный, ты не останешься ненаказанным! Не дам я тебе жить спокойно. Ты не смеешь лицемерить перед любящей женщиной, чтоб, добившись ее взаимности, тотчас отвернуться!»

Она подходила к зеркалу и подолгу смотрела на себя. «Ах, что это? Мешки под глазами, морщины в углах рта и глаз, седые волосы! И так рано?! Неужели от страданий, пережитых за эти две недели? Боже мой, боже мой, отчего мужчины так жестоки? Почему они не хотят понять, как ужасна доля женщины, обманувшей мужа и обманутой любовником? Почему мужчине можно, как бабочке, порхать с цветка на цветок, а женщина этого сделать не может, не подвергаясь тысяче опасностей?» А что если она сейчас принарядится, выйдет и на глазах у изменника пройдет с другим, прочит его!

— Уведи детей, избавь меня от них,— приказала Ануш служанке, отправив седьмое письмо Микаэлу.

Теперь дети казались ей обузой, несокрушимой стеной, отделявшей ее от счастья. Уж не они ли напугали Микаэла, не из-за них ли он отвернулся от нее? Ведь говорят же, что мужчины сторонятся женщин, имеющих детей. И, как на грех, дети рождаются у женщин, ненавидящих мужей. Семейная жизнь — это глупость, сковывающая женщину! На что похожа семейная жизнь Ануш? Это мрачная тюрьма, холодный склеп, лишенный проблеска радости. И беспощадная традиция, нелепый предрассудок, безжалостно подрезавший ей крылья, постоянно напоминают: «Ты — мать!» Гнусные, отвратительные оковы! Уж не разбить ли их?

Шаги за дверью прервали ее размышления. Сердце Ануш на минуту радостно забилось, на лице появилась улыбка. Неужели это Микаэл? Не прошло и десяти минут, как она отправила последнее письмо, где молила его зайти хоть ненадолго.

Дверь быстро распахнулась, и на пороге показался

Петрос — страшный, неумолимый, как сама месть. Глаза его, хотя и отталкивающие, но никогда не угрожавшие, теперь метали искры. Куда девался румянец откормленного и самодовольного торгаша? Где умильная улыбочка подобострастно расшаркивающегося перед покупателями лавочника? Что за конверт у него в руках? Отчего дрожит его широкий подбородок?

Ануш вздрогнула. Достаточно было взглянуть на эту безмолвную фигуру, чтобы все стало ясно.

— Распутница! — заревел Петрос, шагнув вперед и комкая конверт.

Ануш отвернулась, скрывая смущение. Надо было что-нибудь придумать.

— Распутница! — повторил Петрос голосом, еще более грозным.

Ануш инстинктивно прикрыла голову руками и отошла к стене. Петрос схватил ее за полные плечи и с силой повернул лицом к себе.

— Поджидаешь? Да? Терзаешься? Умираешь? Да?

Он что было мочи тряс жену, как бы стараясь сразу вытряхнуть из нее тайну.

— Говори, говори все сию же минуту, подлая тварь!

Петрос требовал объяснений, но в то же время не давал Ануш говорить. Он принялся душить объятую ужасом жену.

На пороге показалась горничная. Бледная и дрожащая от страха, она подбежала, схватила что было силы Петроса за локти и оттащила его. Петрос, обернувшись, оттолкнул девушку и заорал:

— А-а, и ты заодно с ней?

Он выгнал горничную и закрыл за нею дверь.

— С каких пор?

Ануш молчала.

— С каких пор, спрашиваю?

Петрос так крепко сжал полные руки Ануш, что несчастная вскрикнула от боли. Она ему должна признаться во всем, он этого желает, требует; отрицать измену она не смеет, улыка налицо — письмо, написанное ею несколько минут тому назад. Сам бог помог Петросу. Не напрасны были его подозрения, и неспроста он в неурочный час заглянул домой. Подумать только! Целый день он должен мотаться в лавке как собака, кланяться,

унижаться, и для чего? Чтобы сбить аршин-другой товара, сколотить состояние, приобрести себе имя, а жена в это время наставляет ему рога!

— Потаскуха ты этакая, таких записей в торговых книгах мы не делаем. Мы, купцы, честь свою бережем!

Ануш слушала все еще молча, отвернувшись и прикрывая лицо руками.

Петрос вновь повернул ее к себе и занес кулак.

Ануш попробовала отрицать вину, но роковое письмо — в руках Петроса. Она возразила было, что это не любовное письмо, однако содержание его говорило иное. Она пыталась уверить, что это просто шутка, что ничего серьезного нет и не было между нею и Микаэлом. Но Петрос не ребенок, он отлично знал, что Алимян возиться с дамой попусту не станет.

Петрос неумолимо требовал, чтобы Ануш сама созналась, иначе он клещами вытянет из нее правду.

Ануш упорно молчала. На ее голову обрушился первый удар. Она вскрикнула. Последовал второй — раздался отчаянный вопль. Петрос одной рукой зажал жене рот, другой продолжал бить по голове, по плечам, в грудь. Наконец, повалив Ануш на пол, схватил ее за волосы и принялся таскать по полу.

— Опомнитесь, барин, опомнитесь!

Петрос забыл запереть вторую дверь, и на отчаянные крики хозяйки прибежал повар. Петрос, вне себя от ярости, душил жену и, конечно, задушил бы, если бы его не схватили за руки и не оттащили. И кто же?.. Повар! Какой позор для Петроса Гуламяна!

— Пусти меня, пусти! — кричала Ануш.

И она рванулась к двери. О нет, не так-то легко вырваться из рук Петроса! Ни шагу из комнаты, пока не признается в измене, хотя бы в присутствии слуг. Все равно они, должно быть, и без того знают.

— Делай что хочешь — задуши, убей... Ничего не скажу!..

— Скажешь, скажешь, собачье отродье!..

— Ты сам виноват. Девять лет терзал меня. Ни единого дня не дышала свободно...

— Кто тебя принуждал? Зачем навязалась?

— Обманулась. Ты обманул... — и, переведя дух, прибавила: — Я любила одного, а ты сотню.

— Заткни глотку, мерзавка!

— Мерзавец ты сам! Сколько раз ты обманывал меня, я тебя — только раз. Убивай, если хочешь, все равно мерзавец, мерзавцем и останешься! Нет, нет, нет, забирай своих детей. Я больше не жена тебе — довольно натерпелась!..

Она снова бросилась к дверям.

На этот раз Петрос накинулся на нее как зверь, повалил на пол и продолжал беспощадно бить ногами и кулаками... Перестал он лишь после того, как, издав последний пронзительный вопль, Ануш потеряла сознание и осталась лежать неподвижно, с запрокинутой головой и разметавшимися по ковру волосами.

13

Городская контора Алимянов теперь представляла собою целое заведение. Соседний магазин был освобожден и присоединен к конторе. Все было заново отделано, вычищено, прибрано. На месте Заргаряна теперь сидел главный бухгалтер с двумя помощниками, три конторщика и секретарь. Мебель была подновлена. У железного сундука за отдельным столом восседал Срафион Гаспарыч, назначенный Смбатом на должность кассира. Теперь он казался еще более внушительным и торжественным. За высокой железной решеткой он напоминал страшного дракона, приставленного охранять железный сундук.

Счета велись по-новому. Все имущество торгового дома было оценено и занесено в инвентарь. Теперь в любую минуту можно было выяснить общее положение дел. Смбат был гарантирован, что не может возникнуть никаких недоразумений, если бы наследникам захотелось потребовать от него отчета.

До полудня он занимался в конторе, в своем кабинете. Перед письменным столом на стене висели фотографии нефтяных промыслов, домов и караван-сараев, между ними, в черной раме, — большой портрет Маркоса-аги, писанный масляными красками. Художнику удалось по маленькой фотографии довольно живо воспроизвести об-

лик именитого гражданина. Лицо человека, из ничего создавшего многомиллионное состояние, выражало глубокую озабоченность, энергию и сметливость. Казалось, что пронизательный взгляд отца все еще зорко следит за ходом дел, за каждым шагом сына. На хмуром лице старика Смбат читал твердую, непреклонную цель: наживать и наживать для детей. Но все же, блестяще добившись этой цели, он унес в могилу глубокую скорбь о детях. И чудилось Смбату, что скорбь эта отразилась на портрете покойного, в его энергичных, выразительных глазах.

Смбат углубился в целый ворох бумаг, когда вошел один из конторщиков и подал телеграмму.

В ней стояло: «Петровск. Сегодня доехали на лошадях. Вечером выезжаем пароходом».

Наконец-то завтра утром сбудется его желание... И вместе с тем снова рисовалась в его воображении мучительная картина. С радостью он обнимет детей, тоска по которым изо дня в день становилась все невыносимей, но как встретит он жену, с которой уже три месяца в разлуке и нисколько этим не огорчен? Все указывало на то, что потухший в сердце Смбата огонь больше не вспыхнет. Да, никогда не вспыхнет.

Смбат сунул телеграмму в карман. Чтобы скрыть волнение от сновавших служащих, он снова погрузился в чтение деловой корреспонденции. Буря, клочковавшая в его груди, прорывалась то возгласом радости, то вздохами печали. Какое двусмысленное положение! От противоречивых мыслей лицо его то прояснялось, то темнело, смотря по тому, о ком он думал — о жене или о детях.

Однако надо же подготовить домашних к завтрашней встрече. Смбат прошел наверх к матери и прочел ей телеграмму. Вдова побледнела. Она все еще надеялась, что сын забудет свой грех. А между тем он не только не забыл, но еще сообщает неожиданную и горькую новость. И что же? Значит, та ненавистная женщина, которую она возненавидела, еще не видя, и из-за которой ей пришлось вытерпеть столько душевных мук, завтра переступит порог ее дома как законная невестка?

— Так-то ты исполняешь отцовскую волю?! — воскликнула вдова, зарывав.

— Ведь не раз уже говорил я тебе, что не могу жить без детей. А она — их мать. Мама, войди же в мое поло-

жение, я связан с ней навеки. Приготовься встретить ее приветливо, хотя бы с виду.

— Ничего другого не остается: раз ты ее выписал, я должна принять. Но, сынок, ты престапаешь волю отца. Нехорошо! Нехорошо!

И она еще пуще разрыдалась.

Смбат вышел от матери, предоставив ей одной готовиться к завтрашней встрече, наспех пообедал и отправился на промысла.

На этот раз его встретил управляющий промыслами Сулян, только что оправившийся после болезни и принявший дела. Это был молодой человек в форме гражданского инженера, худощавый, подвижной, с коротко подстриженными каштановыми волосами и бородкой. У Алимянов он служил уже три года, сумел расположить к себе Маркоса-агу и теперь старался снискать доверие его наследников. Слегка согнувшись, с предупредительной улыбкой, он проводил Смбата в контору и доложил о делах. Все было в порядке. Новая скважина сулила чудеса — пробурили уже сто двадцать сажен и пока еще не встретили никакой помехи: каменных пластов не попадалось, в грунте заметны признаки нефти, скоро может забить фонтан.

Заргарян представил сведения о добыче нефти за последний месяц и доложил о ходе работ по постройке домов для рабочих. Сулян не сочувствовал этому начинанию. Он заметил, что рабочие — народ неблагодарный, они не стоят таких издержек и не поймут добрых намерений хозяина. Смбат возразил, что он не благотворительность разводит, а только исполняет свой долг.

Сулян прикусил язык. Уже третий раз он неудачно пытался польстить тщеславию Смбата и третий раз нарывался на резкий отпор. Он забывал, что хозяин хотя и сын Маркоса Алимяна, но уже человек иных взглядов, и то, что льстило отцу, могло не понравиться сыну. Вот почему, желая поправить допущенную ошибку, управляющий впал в новую:

— То, что вы считаете вашим долгом, другие сочтут благодеянием. А что до рабочих, так те уже стали вас просто обожать!

Обратясь к Заргаряну, Смбат спросил, объявлено ли рабочим, что с первого числа им будет увеличено жало-

ванье? Оказалось, что Сулян не согласен и с этим. По его мнению, рабочие у Алимьяна и без того достаточно получают. И тут не удалось Суляну попасть в тон хозяину. Отстаивая интересы Алимьяна, проявляя скупость при защите хозяйских интересов, Сулян наивно думал, что перед ним все тот же Маркос-ага. Потерпев неудачу и на этот раз, инженер решил изменить тактику. Он притворился либералом в рабочем вопросе и похвалил меры, предложенные Смбатом для улучшения жизни рабочих. Скачок был сделан так ловко, что даже Смбат не заметил его и стал советоваться с Суляном.

Выйдя из конторы, Смбат встретил во дворе группу рабочих, явившихся за расчетом. Они собирались на родину. Рабочие сняли косматые папахи и черные картузы. Тяжелый труд наложил на них свой отпечаток: впалые груди, косые плечи, кривые ноги, согнутые спины. Все они были до того пропитаны копотью, что трудно было определить цвет их кожи. Глазницы пожелтели от сырости жилищ, и желтизна эта выделялась еще резче на черных лицах.

Смбат распорядился произвести с ними расчет и сверх того выписать каждому по двадцать рублей наградных. Распоряжение было сделано шепотом и по-русски, так что закоптелая команда, почтительно глядевшая на хозяина, ничего не поняла. С заложенными в карманы руками, в надвинутой на брови шляпе, широкоплечий, с умным мужественным лицом, Смбат вызывал у людей чувство невольного страха, смешанного с уважением.

На миг оглянувшись, Смбат увидел трогательную сцену: в углу двора, на высокой насыпи между двумя резервуарами, стояла Шушаник с неизменной серой шалью на плечах. Перед нею стоял молодой рабочий, казавшийся почти черным. Девушка бережно перевязывала ему руку.

Вечерело. Осеннее солнце клонилось к закату, освещая небо последними лучами. Пишные волосы, падая на уши, оттеняли бледные щеки девушки, обрисовывая нежный овал ее лица. Багряные лучи заката осыпали ее бронзовую пылью.

Рабочий отошел с поклоном. Скрестив руки, она глядела вдаль и не замечала Смбата. Неподвижная, со

слегка склоненной головой, Шушаник напомнила Смбуату картину старой школы, виденную им когда-то в петербургском Эрмитаже. Он глядел на Шушаник восторженно, не стесняясь Суляна, старавшегося понравиться молодому миллионеру и непрерывно болтавшего. Да, это была одинокая фиалка, выросшая на бесплодной почве. Не яркой розой была она, сразу пленяющей своей красотой прохожего, и не гордой лилией, чьим именем¹ она зовется, а подлинной фиалкой, которая чарует своей скромностью и нежным ароматом.

Солнце в последний раз ярко озарило девушку, словно любясь ею, и скрылось за далекими горами. Она все еще стояла, ничего не замечая вокруг. Казалось, ее ясные глаза, минуя теснившиеся напротив высокие черные вышки, искали чего-то в небе — там, куда уходило солнце.

Вдруг она вздрогнула: до ее слуха донесся мягкий бархатный голос Смбуата. Она повернулась, следя за ним; он направился к промыслам. Взгляд девушки провожал Смбуата, пока он не скрылся за вышками. Если бы в эту минуту кто-нибудь оказался поблизости, он услышал бы тяжелый вздох, а в глазах девушки подметил бы глубокую тоску.

В тот же вечер Шушаник с необыкновенным вниманием слушала рассказ дяди о женитьбе Смбуата. Заргярян поведал ей о тех душевных муках, что перенес Маркос-ага из-за ошибки сына. А вот теперь приезжает его жена с детьми. Смбуат грустен. Почему?..

Никто не заметил, как вдруг изменилось лицо Шушаник, как она то краснела, то бледнела и тяжело вздыхала. Не дослушав рассказа дяди, она прошла в другую комнату, подошла к окну, взяла карты и принялась гадать. В гадание Шушаник не верила, но все же, когда кто-нибудь в доме хворал, она всегда гадала и огорчалась всякий раз, если карты сулили недоброе.

И на этот раз она опечалилась, опечалилась сильнее, чем когда-либо.

Девушка бросила карты, присела на кровать, уставясь в пол.

¹ Шушаник — лилия (армянск.).

— Шушаник! — раздался голос матери.— Отец хочет шашлыку!

Впервые за всю жизнь девушка неохотно пошла на кухню.

Смбат, уединившись в кабинете, погрузился в размышления.

Не одна только предстоявшая встреча с женою и детьми занимала его теперь. Он вспомнил также картину, виденную незадолго. Никогда ни одна армянка не производила на него такого сильного впечатления. Перед ним ежеминутно возникал образ скромной, незаметной девушки из бедной семьи. Бывая в промысловой конторе, Смбат не раз слышал бесконечные жалобы паралитика и плач детей из соседней комнаты. Среди детского крика и ропота больного слышался нежный голосок девушки, умиротворявший взволнованную душу Смбата и рождавший в нем необычайные мысли, изменявшие его прежние представления об армянской женщине. Прежние мысли вызвали в нем теперь краску стыда, укоры совести...

В этот вечер под влиянием виденной им сцены в его душе совершился странный переворот. Смбат ясно чувствовал, как колеблется в нем одно твердое убеждение, сложившееся еще в юности. Вправе ли он был пренебречь армянкой и связать судьбу с иноплеменницей? Вот завтра приезжает та, которую он предпочел всем. Оправдала ли она хоть на волос надежды, возлагавшиеся на нее? Дала ли она ему то счастье, которое он думал найти, попирая заветные чувства родителей? Не встретился ли ему теперь, наконец, тот идеал, что когда-то сиял в его мечтах? И если идеал найден, не вдвойне ли он от этого несчастен?

Было уже десять часов, когда Смбат проснулся. На сердце лежала свинцовая тяжесть, невыносимо угнетающая его. Наспех он выпил стакан чаю. Через час должен прибыть почтовый пароход с женой и детьми. Он зашел к матери. Вдова грустно сидела у окна со сложенными на груди руками. Она посмотрела на сына, и сердце ее сжалось. Воскыхат почувствовала, что в душе Смбата бушует буря и что он не столько рад, сколько огорчен.

— Поезжай, сынок, поезжай за ними, я ведь тоже не камень,— проговорила вдова, стараясь казаться веселой.

— Спасибо,— ответил Смба́т и поцеловал увядшую руку старухи.

Когда Смба́т подъехал к пристани, там уже собралось много народа. Знакомые встретили его почтительными улыбками, а узнав, что Алимян явился встречать семью, принялись его поздравлять. От него не могло ускользнуть лицемерие многих. Чего только эти люди не измышляли о его женитьбе! Смба́т поспешил покинуть их.

День был довольно холодный. Северный ветер гнал к югу пепельно-серые облака. Море волновалось, и соленые волны уносили за собой мысли Смба́та к далекому горизонту, окутанному туманом. Сердце его забилося при мысли, что пароход может застигнуть буря. От бессонной ночи нервы его расшатались. Он готов был расплакаться, как ребенок.

На горизонте в тумане обозначилось еле заметное пятно. То был пароходный дым, полукругом расплывавшийся над поверхностью моря. Прошло еще полчаса. У Смба́та нетерпеливое желание скорее увидеть малышей сменилось предчувствием неприятной встречи с женой. Он беспокойно шагал по пристани, стараясь избегать знакомых. Ему казалось, что они или смеются над ним или жалеют его в душе.

Наконец в зыбкой дали уже можно было различить пароход. Вот отдаленный гудок, чуть слышный в плеске волн. Портовые рабочие быстро готовили швартовы для приближающегося судна. Ветер гнал волны и, с силой ударяя о железные борта парохода, замедлял его движение. На палубе показались пассажиры. Смба́т всматривался в них, стараясь узнать тех, кого ожидал. Острый нос парохода, словно гигантский меч, рассекал волны. Белые гребни то яростно взлетали до самой палубы, то, обессилев, падали.

Среди пассажиров на палубе Смба́т разглядел молодого человека, державшего за руки двух мальчиков, издали казавшихся близнецами. Он тотчас узнал детей и дядю их, брата жены. Над детскими головками заколыхался белый платок. Смба́т в ответ махнул шляпой.

Едва матросы приставили трап к борту, как уже Смба́т очутился на палубе и обнимал детей. Одному было семь, другому восемь лет. В них было заметно изящное сочетание южного и северного типов: светло-русые

волосы, выразительные глаза и черные брови, белая кожа. От холода свежие личики детей покраснелись. Смбат целовал то одного, то другого.

— Нацеловались?! — воскликнул шурин. — Давайте теперь поцелуемся и мы.

Высвободив руки из-под широкой зимней шинели, он размашисто обнял и трижды расцеловал зятя. Тут же стояла мать детей. Это была не особенно высокая блондинка с голубыми глазами, с выступавшими слегка скулами и маленьким носом. Годы уже сказывались в опустившихся углах губ и впадинах под глазами. Раскрасневшиеся от свежего морского ветра щеки, крупные белые зубы. Но для Смбата жена давно уже потеряла женскую привлекательность, оставаясь только матерью его детей.

Супруги ограничились рукопожатием.

— Измучились за дорогу,— были первые слова жены.

— Буря была?

— Страшная,— ответил шурин.— Чуть совсем не потонули. И что за паршивый пароходишко!..

Алексей Иванович Виноградов — так звали молодого человека — совсем не походил на сестру. Это был брюнет, полный, с более правильными, чем у сестры, чертами, с большими карими глазами, то и дело шутившимися из-под пенсне. Голос, манера говорить и все его повадки отдавали откровенным самодовольством. На лице сестры читалась какая-то обиженная неудовлетворенность.

— Вы один приехали нас встречать? — спросила жена Смбата.

— Один,— ответил Смбат, не отрывая глаз от детей. По лицу жены скользнула пренебрежительная улыбка.

— Ваши, как видно, не удостоили,— проговорила она, оправляя боа.

Смбат молча взял детей за руки и сошел с ними на пристань.

— А вещи? Как с ними-то быть? — забеспокоился шурин.

Смбат распорядился о вещах.

— Там у меня цилиндр, осторожно, чтобы не помяли,— предупредил Алексей Иванович.

Садясь в экипаж, он спросил:

— Это ваш собственный выезд?

— Нет, наемный.

Брат посмотрел на сестру. В этом взгляде можно было прочесть: «А как же ты говорила, что он очень богат?»

Вдова Воскехат не скоро вышла навстречу новой родне. Когда она показалась в гостиной, Смбат увидел на лице матери следы недавних слез. Старуха, обняв внуков, прижала их к груди, но заметно было, что сделала она это не без усилия над собой. Невестке Воскехат молча протянула руку. Всмотревшись пристальней в детей и залюбовавшись их прекрасными глазами, старуха снова обняла внучат и прижала к себе, на этот раз уже вполне искренне.

— Утомились, всю ночь не спали,— заметила невестка и тихонько высвободила внуков из объятий бабушки.

Смбат взглянул на мать и увидел, что ей очень не по себе.

С этой минуты установились отношения между невесткой и свекровью — обе возненавидели друг друга.

14

Петрос Гуламян не мог даже допустить мысли, что его жена решится на поступки, подобные его собственным. Петрос был уверен, что Ануш никогда не посмеет отомстить ему, пожертвовать своей честью. «В наше время содержать любовниц — дело обычное для людей богатых,— думал торговец.— Теперь жены не отравляют жизнь мужьям из-за такого пустяка. Если забитый ремесленник — и тот изменяет, что же говорить о купце, бывающем в Москве, насмотревшемся, как живут просвещенные люди?»

Однако длительная холодность Ануш заронила наконец подозрение в сердце Гуламяна. Эта женщина, по целым месяцам не слышавшая от мужа ласкового слова, за последнее время казалась довольной жизнью. Она наряжалась, прихорашивалась и... явно молодела. О, какой же дурак Петрос, что до сих пор не обращал внимания на это! Подозрительность его все более и более росла. После той ночи, когда Ануш так резко оттолкнула его,

он решил во что бы то ни стало доискаться истины. Однажды он вернулся домой в неурочное время. Алимян за полчаса перед этим был у них. Петрос прикусил палец: тут дело нечисто.

Он попытался во второй раз вернуться домой пораньше. Неожиданный случай объяснил ему все. У дверей он встретил горничную. Простодушная женщина, чувствуя вину перед хозяином, до того растерялась, что не знала, куда девать письмо. Петрос небрежно выхватил его, тотчас вскрыл и прочитал страстные строки потерявшей голову женщины. Подозрение перешло в уверенность — обманутый муж кинулся к жене, чтобы с бесчеловечной жестокостью добиться ответа.

Излив первую ярость в припадке грубого насилия, Гуламян заперся и стал серьезно размышлять, как быть дальше. Ясно, что жена, изменившая мужу, сама вынесла себе приговор: она должна быть либо изгнана из-под крова мужа, либо уничтожена — так поступают дорожащие своей честью мужья, — другого выхода у Петроса нет, и больше он знать ничего не хочет. Есть, конечно, люди, покорно примиряющиеся с позором, но Петрос таких всегда презирал. Никто не имеет права порочить его доброе имя, даже наследник миллионера. Щенок! Ты воображаешь, что раз ты богат, то все тебе с рук сойдет? Кто знает, перед кем только из товарищей ты не хвастался своей победой и сколько народу издевается теперь над Петросом Гуламяном! погоди ты у меня — грешно оставить тебя без наказания!

А пока что надо изводить Ануш, измучить и вышвырнуть вон. В то же время надо так повести дело, чтобы всем стало ясно, что он выгнал Ануш, не то дураки пустят слух, что она сама сбежала.

Петрос вызвал Гришу и в присутствии жены рассказал ему все. Горячий шурин, разумеется, вспылил и, обрушившись на зятя, обозвал его бесстыдным клеветником. Петрос показал письмо. Наконец и Ануш не стала отрицать свою вину. Гриша поклялся могилкой отца проучить Микаэла Алимяна, разругал сестру, даже плюнул ей в лицо и удалился...

Днем Петрос оставался дома. В магазин ходил только по вечерам, с наступлением темноты, и лишь для подсчета выручки. Он избегал жены. А Ануш все время про-

сизживала у себя взаперти. Она не знала, как быть, идти к матери не хотелось, стыд сковывал ее: ведь однажды Ануш уже опозорила родителей, бросившись на шею приказчику отца, — могла ли она нанести несчастной старухе матери второй удар? Наконец, еще вопрос — пустит ли ее Гриша в свой дом, если даже мать примет?

Ануш терзалась и силилась забыться в любви к детям. После рокового дня она была с ними неразлучна. С одной стороны, страх перед супругом, с другой, — сознание тяжкой вины толкали ее искать защиты у этих невинных созданий. Оскверненная душа стремилась омыться в лучах детской чистоты. Если бы Петрос выгнал Ануш, но отдал ей детей, это было бы самым счастливым исходом. Но она предчувствовала, что наказание не будет столь легким. Все это пробудило уснувшее было в ней материнское чувство. Она обнимала и целовала детей с такой страстностью, словно ей предстояло навеки расставаться с ними. И на детские головки падали горькие слезы запоздалого раскаяния.

Алимян стал теперь в глазах Ануш злым гением. Он проник в ее дремотную жизнь мгновенно, перевернул все вверх дном и убил ее нравственно. Боже мой, боже мой, стоило ли так забыться и пасть ради подобного человека!..

Не меньше терзался и Микаэл. Ануш написала ему обо всем, не умолчав и о побоях. Этот грубый, неотесанный лавочник не оставит ее в покое. Он накажет, и накажет беспощадно. Он способен даже убить ее. Тогда общество заинтересуется причиной наказания, имя Алимяна будет переходить из уст в уста, и, чего доброго, дело дойдет, пожалуй, и до суда.

— Что с тобой? — спрашивали Микаэла друзья.

— Ничего, — отзывался он.

Только Марутханяну поведал Микаэл свое горе и просил совета. Практичный делец был озадачен — что посоветовать? По его мнению, в молодости простительны всякие ошибки с женщинами. Время все исцеляет. Гуламян примирился со своей участью, Ануш забудет Микаэла, а Микаэл ее и подавно. Главное — избежать огласки.

Марутханян был озабочен контрзавещанием. Он еще не передал дела в суд и страстно, непрерывно убеждал Микаэла донимать брата, хотя уже не было никакой на-

дежды на податливость Смбата. Микаэл давно уполномочил зятя действовать по своему усмотрению. Однако тот все еще колебался. По-видимому, намерения его изменились.

Растерянность Микаэла безмерно обрадовала его. Он навешал шурина каждый день, всякий раз заводил речь о Гуламяне, волновал и будоражил Микаэла, и в эти минуты вдруг как бы случайно заговаривал о завещании. Микаэл повторял, что предоставляет ему поступать, как он найдет нужным. Марутханян время от времени доставал из кармана какие-то бумаги и давал подписывать ему. Микаэл подписывал, часто не читая. По словам Марутханяна, бумаги эти были необходимы для дела. Микаэл не давал себе труда спросить, что это за бумаги. Он подписывал их, чтобы отвязаться.

Большей частью Микаэл сидел дома. Стыд не позволял ему показываться в обществе. Кто его знает — может быть, все уже осведомлены об этой скандальной истории и чешут языки.

Шли дни, он не получал вестей от Ануш, Микаэл струсил: уж не расправился ли с ней Петрос по-своему? Но ведь случись с ней что-нибудь, весть об этом дошла бы до него. А если Петрос бьет свою жену, так пусть его бьет — у Ануш крепкое тело, выдержит. Возможно и то, что Петрос, опасаясь толков, молча проглотил оскорбление. Коли так, и подавно нечего бояться. Самое большее с месяц помучаются эти черные усики и успокоятся.

Ободренный этой мыслью, Микаэл стал забывать о неприятной истории. Постепенно он возвращался к своей обычной жизни, как неисправимый пьяница, который, едва очнувшись, снова тянется к вину. Разница лишь в том, что он теперь интересовался и делами или старался показать, что интересуется, но не городскими, а промысловыми. Время от времени он ездил на промысла, делая вид, что его сильно занимает закладка новой нефтяной скважины.

Разумеется, Смбат был доволен переменой, происшедшей в брате, однако частые поездки Микаэла на промысла вскоре возбудили в нем подозрение: нет ли тут какой-нибудь иной причины, кроме простого интереса к делам?

Подозрения Смбата усилились, когда однажды Ми-

каэл в его присутствии стал восхвалять Шушаник: что за очаровательные у нее глазки, какой прелестный взгляд, нежные губки, изящный лоб!

— Я бы не прочь поближе познакомиться с нею,— заключил он,— но, как видно, она гордячка.

— Она только скромна,— заметил Смбат коротко и оборвал разговор.

В другой раз Микаэл высказался о девушке уже с вожделением. Смбат вышел из себя.

— Оставь эту девушку в покое!

— Ого, глазки вспыхнули, голосок задрожал — уж не влюблен ли ты в нее, случайно? Милый мой, тебе это не к лицу, пойми. Она — моя!

Шутка показалась Смбату омерзительной, он потребовал, чтобы Микаэл говорил о девушке с уважением.

— Что там ни говори,— заметил Микаэл,— а мне она нравится. Лакомый кусочек!

— Я тебя прошу оставить эту девушку в покое!— повторил Смбат взволнованно, и в его голосе прозвучала ненависть.

Разговор происходил в экипаже, при возвращении с промыслов. Микаэл смолк, и до самого города братья не проронили ни слова.

Смбат хоть и жил в том же доме, где мать и братья, но устроился почти отдельно от них. В просторном особняке ему с семьей было отведено пять больших комнат. Квартиры отделялись одна от другой узким длинным коридором. Невестка и свекровь встречались только за обедом. Чай, завтрак и ужин подавались им отдельно. Обоюдная холодность, начавшаяся с первого же дня, не уменьшилась ни с той, ни с другой стороны. Дети — и те не могли стать звеном примирения. Мать не спускала с них глаз. Бабушка хотя и полюбила детей, но в глубине души не могла примириться с мыслью, что это ее родные внуки.

Как-то, зайдя к матери, Смбат застал ее у окна в слезах. Он подумал было, что она вспомнила покойного, однако причина слез на этот раз оказалась другая. Недавно бабушка вызвала к себе внучат, но не прошло и минуты, как мать уже послала за ними горничную.

— Это твоя жена проделывает каждый день,— добавила вдова, с горькой иронией произнося слова «твоя

жена». — Не слепая же я: вижу, что ей не хочется, чтобы твои дети полюбили меня.

Смбат пошел к жене. Антонина Ивановна с кислой миной писала подруге письмо.

— Где Вася и Алеша? — спросил Смбат.

— У себя в детской.

— Пошлите их к бабушке.

— Они только что были у нее.

— Пусть пойдут опять и поиграют там.

— Они готовят уроки, я еще не занималась с ними.

— Антонина Ивановна! — произнес Смбат, слегка повышая тон. — Не обращайтесь так с моей матерью.

Антонина Ивановна положила перо и взглянула на мужа.

— Не обращайтесь так с ней, — повторил Смбат. — Вы можете ее не любить, и она вас также, но насиловать чувства детей вы не имеете права.

— Я и не думала насиловать их чувства.

— Вы в них воспитываете ненависть к моей матери. Я это давно заметил.

— Ошибаетесь. Я только не хочу, чтобы они подпали под чужое влияние.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что в этом доме совершенно отсутствует воспитание.

— Неужели?! — воскликнул Смбат с иронией.

— Да, именно. Посмотрите на вашего младшего брата, Аршака... Я не хочу, чтобы мои дети воспитывались, как он.

— Не стану защищать воспитание брата, но моя мать не может дурно повлиять на детей.

— Почему знать?

— Антонина Ивановна, моя мать, правда, женщина неграмотная, но она добрая, порядочная, искренняя, разумная... Она ваша свекровь, и вы обязаны уважать ее.

— Да, я обязана уважать. А она? Обязана меня ненавидеть, презирать... так, что ли?

— Она патриархальная женщина.

— Дело тут не в патриархальности, а во взаимной ненависти, вполне естественной и понятной... Око за око,

зуб за зуб. Она меня ненавидит, и я не могу ее ни любить, ни уважать.

В письме, лежащем перед нею, Антонина Иваповна высказывала почти те же самые мысли. Она совершенно откровенно писала подруге, что не рада своему приезду на Кавказ. В новой среде ничто не соответствует ее взглядам. Богатство ее не прельщает, да и не может прельстить. Когда между супругами нет согласия, золото не может осчастливить их. Она не любит Алимяна и не любит им. Она исполняет лишь свой долг перед детьми и пробудет на Кавказе еще некоторое время, пока ей удастся как-нибудь договориться с мужем.

Смбат больше ничего не сказал и молча прошел к себе.

В эту ночь он не сомкнул глаз до самого утра. Любить детей и не любить их мать — вот роковое противоречие, которое терзает его уже много лет. Оторвавшись от ствола, он цепко хватался за молодые побеги и без опоры качался в воздухе; не хотелось ему отрывать ветки от ствола, но и выпустить их из рук он был не в силах.

Как он мог полюбить эту женщину? Как он не понимал, что в браке огромную роль играют происхождение, среда, традиции, обычаи? Отец не успел еще износить азиатских лаптей, а сын уже метил перегнуть его на много веков. По какому эволюционному закону? Образование создает равенство среди людей различных кругов, с этим он согласен. Но ведь то же образование бессильно стереть сложившиеся в течение веков национальные и бытовые предрассудки, как бессильно превратить брюнета в блондина...

Смбат ясно видел, что отныне взаимная холодность должна смениться взаимной ненавистью. Жизнь вообще и супружескую жизнь в частности он считал сплетением мелочей. Горький опыт убедил Смбата, что иногда незначительные явления порождают крупнейшие неприятности. Вот основа драмы. Если между Смбатом и женой несогласия вызваны противоположными желаниями, противоположными стремлениями и противоположными вкусами, то не трудно представить, какие столкновения должны произойти между его женою и матерью. Ему представлялось, что он стоит между двумя взаимно исключаящими друг друга началами — положительным и отрицательным. Он предугадывал, что все поступки матери — вплоть до ее

неуменья пользоваться вилок — вызовут насмешки и презрение жены. И, напротив, все, что бы ни делала жена, будет неприязненно воспринято матерью.

Вот всего две недели как встретились мать и жена, а взаимная ненависть уже дает себя знать.

15

С переездом на промысла жизнь Заргарянов значительно улучшилась. Семья была довольна своей участью и весьма признательна Смбути Алимяну. Один только паралитик неустанно жаловался, что отовсюду пахнет нефтью, что у него испортился аппетит, что шипенье пара не дает ему спать.

Безмерно довольна была и Шушаник, но совсем по иным причинам. В ее ясных глазах светилась какая-то непривычная печаль, не та, какую порождает бедность. На прекрасное лицо ее легла загадочная тень, отражавшая задушевные девические мечты. Ах, тяжелая жизнь не дала этим мечтам проснуться своевременно! Наблюдательный глаз мог бы подметить эту тень, особенно когда девушка, выйдя на балкон, всматривалась вдаль, в безграничную ширь горизонта... Не беда, что в эти минуты сердце Шушаник переполнялось беспредельной горечью, а воображение уносило ее в грустное, безнадежное будущее, — девушка чувствовала, что теперь, и только теперь она начинает жить разумной жизнью.

Как-то Шушаник попросила дядю разрешить ей поработать за него в конторе. Занятый весь день на промыслах, Заргарян едва справлялся с конторскими делами. Обратилась она с этой просьбой к дяде при отце. Паралитик вытарашил глаза, смерил дочь с ног до головы и разбил ее. Слышанное ли дело, чтобы дочь второй гильдии купца Саркиса Заргаряна пошла служить! Это невозможно! Так-то бережет ее честь родной дядя?

Девушка попыталась убедить отца, что конторские занятия никак не могут опорочить его дочь — женщины нынче не хуже мужчин справляются со всяким честным делом вне дома. Паралитик расвирипел, сбросил с колен одеяло и повернулся к жене:

— Анна, пойдем, пойдем, встанем на паперти, буду милостыню просить и освобожу тебя из рук этого бесстыдника.

«Бесстыдником» он называл Давида Заргаряна, который стоял сгорбившись, у его постели и безмолвно глядел на Шушаник. Он только теперь начинал понимать, какая бесценная жемчужина скрыта в его бедной семье.

Шушаник с жаром говорила о значении труда для женщины и для мужчины, толковала о той радости, которую испытывает человек, когда может заработать себе на хлеб собственным трудом, в особенности если этот труд идет на пользу ближним.

Давид Заргарян восторженно слушал племянницу. Вот где сказалося его влияние! Ведь Шушаник все эти шесть лет была его ученицей. Он воспитал ум своей племянницы, дав ее мыслям направление самое правильное, по его мнению, для девушки, живущей в тяжелых условиях. Он давал ей книги, рассматривающие труд как подлинную основу счастья, книги, которые ободряют бедняка и учат его любить жизнь-мачеху. И вот Шушаник не только не ропщет на свою долю, она проповедует любовь к труду. Однако можно ли согласиться с тем, что она говорит, можно ли разрешить ей работать вне дома? Нет, это было бы слишком. Разве она мало трудится дома?

Давид воспротивился, он решительно заявил, что у Заргарянов покуда нет необходимости, чтобы женщины из их семьи поступали на службу, и что, пока он жив, этого не будет. Тут Заргарян бросил на племянницу проницательный взгляд. Шушаник смутилась. Ей показалось, что дядя угадал ее мысль, которой она сама стыдилась.

Она быстро вышла, тяжело вздохнув, и прошла к себе. Взяв книгу, попыталась углубиться в чтение, как делала обычно в тяжелые минуты, но книга валилась из рук. Никогда еще сердце ее не билось так сильно, никогда ее вечер не бывал таким тревожным, а чувства такими смятенными. Наскоро покончив с домашней работой, Шушаник опять уединилась. Шли часы, но она все ходила вперед да назад, то прислушиваясь к шуму паровых машин, то глядя во двор, окутанный густым мраком.

Раздались гудки. Было двенадцать часов. Она трижды гасила свет, пытаясь уснуть, и трижды вновь зажи-

гала, берясь за книгу. Утомленные глаза закрывались, и сознание отказывалось служить.

Шушаник пыталась отогнать навязчивые мысли, но сила воли покинула ее. Она стыдилась неожиданно нахлынувшего смятения и в то же время не умела разобратся в нем. Старалась закрыть глаза, но в глубокой тьме возникал знакомый образ. Откроет глаза — все тот же образ неотступно перед ней: угрюмый, с пристальным взглядом, угнетенный тяжелой мыслью...

Шушаник сбросила с плеч серую шаль, почувствовала непривычный жар, подошла к столу, посмотрела на маленькие черные часики, недавно подаренные ей дядей. Было уже два часа. Она снова прошла по комнате. Ее густые волосы распустились, живыми струями покрыли уши и щеки, буйно рассыпались по полуобнаженной груди. Щеки зарделись, в глазах мелькнул необычайный огонек. Всегдашнее спокойствие сменилось тревогой. Если бы близкие в эту минуту взглянули на нее, они навряд ли узнали бы свою Шушаник. Глаза девушки утратили привычную ясность, а губы — безмятежную улыбку. Ах, только бы Смбат Алимян не считал ее дурочкой и не осмелел бы, как девочку, готовую видеть в первом встречном мужчине романтического героя! Нет, Шушаник не хочет оказаться легкомысленной в его глазах. Смбат умен и образован, он закален в испытаниях жизни. Такого человека не привлечет первая встречная девушка. У него большие требования, вот почему он сделал свой выбор в чужой среде.

Дядя говорит, что он несчастлив в браке и потому постоянно грустит. Зачем, господи, зачем же? Неужели он ошибся и теперь жалеет? Но что за вопросы, кто дал ей право вмешиваться в чужую семейную жизнь? Довольно, пора забыть о нем.

Утомленная, она снова опустила голову на подушку.

Утренний свет пробивался в комнату сквозь ставни, когда она наконец задремала.

— Анна, где твоя дочь? — в третий раз спрашивал паралитик жену.

— Спит еще.

— Уже десять часов, а она все спит? Ступай разбуди, мне скучно, пусть поиграет со мной в карты. И ногти бы мне надо подстричь.

Хотя часть работы Шушаник выполняла теперь недавно нанятая горничная, паралитик так привык к услугам дочери, что уже не мог обходиться без нее.

Анна осторожно постучалась к дочери. Дверь открылась. Шушаник уже встала и была одета. Щеки побледнели, веки заметно опухли.

— Уж не больна ли ты? — спросила мать.

— Нет.

Она быстро умылась, привела в порядок волосы, выпила стакан чаю и прошла к отцу.

— Не успели взять прислугу, как у тебя появились барские повадки, — попрекнул паралитик дочь. — Я тут мучаюсь, а ты дрыхнешь до полудня. Давай в карты играем.

Шушаник безропотно повиновалась, но играла так рассеянно, что опять рассердила больного.

— Играй толком! — крикнул он, здоровой рукой перебирая карты.

Вошел Давид с известием, что на соседнем участке забил фонтан и что если Шушаник хочет, он возьмет ее с собой.

— Разрешаешь, папа? — спросила девушка.

— Ты так глупо играешь, что можешь проваливать куда угодно! — совсем рассердился паралитик и швырнул карты.

Дул северный ветер. Было холодно. Шушаник надела зимнее пальто и круглую соболью шапку — подарок дяди. Заргарян старался возможно лучше одевать племянницу. Он пришел в восторг, увидев Шушаник в новом наряде. Уж очень она была хороша в нем. От холода щеки ее заиграли здоровым румянцем, ясные глаза засветились по-прежнему, а легких складок на лбу как не бывало.

До фонтана дяде с племянницей пришлось пройти довольно долгий путь. Миновав ряд вышек, Заргарян приостановился и указал на темно-бурую дугу, отчетливо вырисовывавшуюся за вышками на сером горизонте.

— Посмотри, как высоко бьет.

Перед Шушаник предстала величавая картина. Нефть, под напором газа вылетающая из подземных недр, извергалась непрерывным потоком. Взлетев до предельной высоты, она изгибалась полукругом и падала мощной струей. Ветер разносил брызги нефти, дождем рассыпавшиеся

далеко вокруг. Верх и стенки вышки обрушились от титанической силы фонтана, и лишь темный остов ее купался в черной влаге, как огромный дуб в потоках ливня.

Время от времени из недр земли вылетали камни величиной с человеческую голову. В бешеном круговороте, словно пушечные ядра, сыпались они то на вышку, то в окрестные нефтяные лужи. Земля гудела. Порою фонтан как бы уставал, снижался, издавал глухие стоны, но через мгновение опять раздавался все тот же оглушительный подземный рев. Тогда гигантская черная струя с особенной силой устремлялась ввысь.

Рабочие с лопатами и заступами окружили, словно муравьи, сиротливо торчащий скелет вышки, стараясь проложить временное русло для драгоценной влаги. Машины откачивали нефть по трубопроводам в Черный город. Мастеровые самодельными щитами старались предотвратить бесцельную утечку нефти. Время от времени рабочие с хохотом и криком разбегались, спасаясь от камней, вылетающих из-под земли. Полунагие рабочие, оступаясь на скользком песке, падали иногда в нефтяные лужи, вызывая дружный смех товарищей. Все они были веселые в ожидании награды.

А счастливый хозяин стоял в толпе зрителей, понаехавших из города. Это был богобоязненный хаджи с бородой, красной от хны, и гладко выбритой головой. Глядя на свое несметное богатство, он воссылал хвалу аллаху, внявшему его горячим мольбам. Еще недавно кредиторы собирались таскать его по судам как банкрота. Теперь он в уме высчитывал миллионы, ожидавшиеся от мощного прилива нефти. На его высохшем, морщинистом лице блуждала улыбка беспредельного восторга. Все окружили его, поздравляли, дружески жали руку, возобновляли полузабытое знакомство.

Инженер Сулян юлил перед ним, как охотничья собака. Он рассчитывал купить у него в кредит нефти, чтобы через день-два спустить ее по более высокой цене.

В нескольких шагах от Шушаник стояла группа молодых людей — нефтепромышленников, прибывших из города; они завидовали счастливому хаджи. Заргарян заметил, как они, подталкивая друг друга, с любопытством поглядывали на Шушаник. Всем хотелось знать, откуда эта прелестная девушка. Один даже обратил на нее вни-

мание владельца фонтана. Опыяненный счастьем, хаджи поклонился незнакомке, приложив руку к груди и к глазам. Он до того потерял голову, что принял девушку за поздравительницу.

Неожиданно все глаза устремились в другую сторону. Зрители расступились перед блондинкой, которую сопровождали Микаэл Алимян и еще какой-то господин в шубе.

— Жена Смбата,— шепнул Давид Заргарян племяннице. — А другой, должно быть, ее брат.

Девушка с любопытством посмотрела на Антонину Ивановну. Ее немного разочаровало, что дама не так уж элегантна, как ей представлялось. Да и как будто уже не первой свежести. Ей захотелось познакомиться с женою Смбата, и желание ее быстро исполнилось. Микаэл со своими спутниками поднялся на холмик, где стояли девушка с дядей. Он подошел и поздоровался с ними.

— Антонина Ивановна,— обратился Микаэл к даме, — разрешите представить: мадемуазель Заргарян и помощник нашего управляющего Заргарян.

Дама равнодушно протянула им руку, продолжая расспрашивать Микаэла о фонтане. А ее брат, шурясь из-под пенсне, шепнул что-то на ухо Микаэлу.

Антонина Ивановна не знала, как выразить свой восторг перед этим зрелищем могучего нефтяного фонтана, а хаджи вызывал у нее смех.

Потом она заговорила с Шушаник, уже внимательно приглядываясь к ней.

— Хотелось бы вам иметь такой фонтан? — спросила она вдруг.

— Нет, — бесхитростно ответила девушка.

Дама бросила на нее проницательный, испытующий взгляд и продолжала не без иронии:

— Говорят, здешние дамы тоже сходят с ума от фонтанов.

— Не знаю, сударыня.

— Посмотрите, как бьет. И все это — золото. Неужели вам не хотелось бы обладать этим золотом?

Шушаник чувствовала, что дама испытывает ее. Чувствовала она также и ее иронический намек на корыстолюбие здешних женщин; она ответила:

— Неужели вы думаете, что счастье только в золоте?

— Думаю ли я? А почему бы и не так?

— Тогда вы можете считать себя счастливой. Ни у кого скважины не дают так много нефти, как у Алимянов.

Антонина Ивановна смутилась. Она почувствовала, что с этой на вид застенчивой девушкой не так-то легко вести разговор в насмешливом тоне. Нагнувшись, она шепнула брату:

— А она не глупа.

— *Charmante*¹, — ответил Алексей Иванович, поправляя пенсне.

Шушаник попросила дядю вернуться домой.

— Папа будет сердиться, уже двенадцать часов.

— Пойдем, — ответил Заргарян.

— Пешком? — спросил Микаэл с притворным удивлением.

— Пешком.

— В такую даль? Сулян, это ваша вина, что на промыслах Алимянов до сих пор нет собственных экипажей.

— Приедете осмотреть свои промысла? — спросила Шушаник, протягивая руку Антонине Ивановне.

— Свои промысла?... Может быть, и заеду.

— Заргарян, — обратился Микаэл к своему подчиненному, — распорядитесь, пожалуйста, чтобы подали мой экипаж. Номер восемь. Крикните: «Гасаи!» — подъедет. Мадемуазель, я все равно сейчас должен ехать в вашу сторону — у меня дело на промыслах Мурсагулова. Простите, Антонина Ивановна. Сулян за меня объяснит вам все... Вероятно, вы минут двадцать полюбуетесь этим восхитительным зрелищем. Я вернусь скоро, очень скоро и отвезу вас на наши промысла. А вот и экипаж. Мадемуазель, прошу вас, пожалуйста, без церемоний... Алимяны — люди простые, совсем простые...

Как ни благодарила Шушаник, как ни отказывалась, уверяя, что ей приятнее пройтись, — ничего не помогло. Микаэл так настоятельно просил, что Давид Заргарян счел упорный отказ Шушаник невежливостью. Девушка смутилась от настойчивых взглядов дяди, уступила и почти машинально села в экипаж.

Фонтан продолжал бить с неослабевающей силой, и под нарастающими порывами ветра все шире разбрасывались в воздухе миллионы черных капель. Счастливый хад-

¹ Прелесть (франц.).

жи громко хохотал над угодившими под нефтяной дождь, хлопая себя по коленям и раскачиваясь всем телом.

Из города непрерывно прибывали экипажи, доставляя все новые группы любопытных. Приехали также Мосико, Мелкон и Қязим-бек. Усаживаясь в экипаж, Микаэл многозначительно подмигнул им, и компания уставилась на Шушаник.

Черная жидкость, с силой вырываясь из подземных недр, заливала вышки, мастерские, дома и людей. Воздух был насыщен чем-то опьяняющим. Люди хохотали и, как в хмелю, толкали друг друга под черные брызги фонтана.

Пока Заргарян скромно ожидал, что Микаэл и ему предложит сесть в экипаж, серые копи рванули и понеслись. Через несколько мгновений экипаж исчез за черными вышками.

— Удивительный джентльмен Микаэл Маркович, — обратился Сулян к Антошине Ивановне, покосившись на Заргаряна.

— И-да... это заметно, — ответила она, многозначительно посмотрев на Заргаряна.

И ее губы тронула полунасмешливая, полусочувственная улыбка.

— А я тебе доложу, — обратился Алексей Иванович к сестре, — что в этих краях гостеприимство не в таком уж почете.

16

Шушаник в смущении не знала, о чем говорить. Ей казалось, что невидимая рука обдала ее кипятком в ту самую минуту, когда она почувствовала Микаэла рядом. Да, именно почувствовала, потому что не смотрела в его сторону.

Экипаж быстро катил между двумя рядами вышек. Песчаная дорога была пропитана нефтью — чуть слышался дробный стук копыт. Шушаник высчитала мысленно, что самое позднее через четверть часа она доберется до дому и тогда лишь сумеет дать себе отчет о происшедшем. Господи, что она наделала? Она, дочь бедных родителей, едет с наследником миллионера — что могут подумать люди? Что скажут родители?

Микаэл концом трости коснулся плеча кучера и что-то сказал ему.

Экипаж свернул с дороги, промчался мимо промысловых строений под гору.

— Кажется, кучер сбился с дороги,— заметила Шушаник, оглядываясь по сторонам.

— Нет, мадемуазель, он у меня опытный, не собьется.

Вежливые манеры Микаэла, мягкий голос, осторожные движения несколько успокоили Шушаник. Она подумала, что пугаться или смущаться нечего. Всем известно, что Алимяны — хозяйева Заргаряна, а Заргарян — дядя Шушаник. Кто посмеет сплетничать? Наконец, неужели непростительно бедной девушке сесть в экипаж к своему знакомому, будь он даже архимиллионером?

— Как вам понравилась наша невестка? — спросил Микаэл.

— Что я могу сказать? Ведь мы только что познакомились. Нет, кучер положительно сбился с дороги.

Микаэл опять тронул тростью возницу и что-то сказал ему.

Вдруг экипаж остановился, и кучер спрыгнул с козел.

— Что случилось? — спросила девушка.

— Накапывает дождь, я велел поднять верх.

— Нет, нет, дождя не будет, я даже люблю дожди!

— Отлично, он поднимает наполовину. Гасан это знает. — Возница наполовину поднял верх и вскочил на козлы.

— Вы никогда не бываете в городе?

— Была раза два.

— Почему же так редко?

— Занята.

— Знаю, слышал. Ходите за больным отцом. Бедняжка! Говорят, когда-то был он очень богат и здоров. От души жалею.

Эти слова тронули Шушаник. Должно быть, она заблуждается. Вероятно, этот с виду себялюбивый молодой человек так же добр и чуток, как и его брат.

— Живя на промыслах, можно совсем одичать. Напрасно вы избегаете общества. Разве у вас в городе нет знакомых?

— Нет!

На минуту наступило молчание. Кучер обернулся.

— Вы любите театр? — спросил Микаэл, бросая на ку-
чера сердитый взгляд.

— Я люблю только драму.

— Драму? — обрадованно повторил Микаэл. — Те-
перь в городе драматическая труппа. Сегодня бенефис
очень хорошей артистки. Идет какая-то новая драма, да,
«Нора», «Нора»...

— «Нору» я читала, хотелось бы посмотреть.

— Прекрасно. Могу я пригласить вас на спектакль?

— Благодарю, но я не могу оставить отца.

— А что случится, если вы оставите его на один ве-
чер?

— Нет, нет, нельзя...

— Вы так молоды, прекрасны и сидите взаперти. Это
непростительно.

Шушаник почувствовала, что молодой человек смеле-
ет, и предпочла промолчать.

— Из театра я вас сейчас же доставлю домой, так что
ваш отец всего каких-нибудь три-четыре часа побудет без
вас.

— Нет, нет, это невозможно. Я без дяди никуда не
выхожу.

— Как будто трудно и его пригласить; я возьму ложу.

— Погодите, что это такое? Мы как будто миновали
поселок. Куда же мы едем, господин Алимян?

— Мы просто катаемся.

— Катаемся? — повторила Шушаник, прикусив гу-
бу. — А отец? Извините, господин Алимян, уже время
кормить отца, я не имею права кататься.

— Вы, сударыня, считаете меня каким-то чудовищем.

— С чего вы взяли? Я не считаю вас чудовищем, но...

— Но не считаете и человеком, хотите сказать, не так
ли? — договорил Микаэл, смеясь.

— Я и этого не говорю.

— Так почему же вы боитесь меня?

Самолюбие Шушаник было задето.

— Я — вас?! — воскликнула скромная девушка таким
серьезным тоном, какого Микаэл не ожидал от нее. — Вы
ошибаетесь!..

Странно. Пока Микаэл издали наблюдал за Шушаник,
ему казалось, что достаточно остаться с ней вдвоем, и он

сумеет овладеть ее сердцем. Дешевые победы развили в нем самонадеянность, а легко доставшаяся любовь Ануш убедила в собственной неотразимости. А теперь перед этой бедной, скромной, обремененной семейными заботами девушкой Микаэл ощутил незнакомую ему робость. Это серьезное, умное, красивое лицо, эти чистые, ясные глаза обезоружили его, — так иной раз человеческий взгляд укрощает ярость зверя. И, несмотря на непреодолимое искушение обнять и прижать к себе это беззащитное, невинное, чистое существо, подобного которому еще не было в списке его побед, — Микаэл чувствовал себя скованным.

Однако смелость Шушаник задела его за живое. Как? Чтобы эта простая девушка не боялась Микаэла Алимяна, человека, которому все доступно, если не в силу личного обаяния, то благодаря миллионам!

Глаза его заискрились страстью, губы задрожали. Раскрасневшиеся щеки Шушаник волновали его. Он попытался придвинуться к девушке, но она слегка отстранилась, не глядя на него. Микаэл, откинувшись назад, хотел было поймать руку Шушаник, казалось, праздно лежащую на коленях. В эту минуту на него устремился негодующий взгляд прекрасных глаз; руки его ослабели. Однако страсть заклокотала в нем. Он схватил руку Шушаник и крепко сжал.

— Господин Алимян, сидите спокойно! — раздался возмущенный голос девушки.

Она вырвала руку и отодвинулась. Микаэл терял самообладание. Холодность девушки все сильнее распалила его. На мгновение мелькнула мысль прибегнуть к насилию, но лишь на мгновение. Взглянув на ясный профиль девушки, он даже в очертаниях постиг всю чистоту этой девственной души. Но вождление уже овладевало им, вытесняя чувство оскорбленного самлюбия, и, не в силах сдержаться, почти бессознательно, обезумев от страсти, он опустил на колени:

— Ударьте меня, но я... я... люблю вас!.. Да, люблю... Я горю, поймите, я весь в огне... При первом взгляде на вас я потерял рассудок... никогда, никогда ни одна женщина не увлекала меня так... Для вас я сделаю все, все, сложу к вашим ногам мое богатство, понимаете, все мое богатство... Только... только... один поцелуй...

Шушаник с негодованием посмотрела на его искаженное страстью лицо, смутно испытывая ощущение чего-то грязного. Слово «любовь» в устах Микаэла звучало, как удар хлыста.

Ступив одной ногой на подножку, она уже хотела выпрыгнуть из экипажа, который несся вихрем по безлюдному полю неведомо куда.

— Остановитесь, сумасшедшая, — воскликнул Микаэл, хватая ее за руку и силой усаживая на место, — вы разобьете свою глупую головку!

— Прикажете повернуть на промысла!

Никогда ни один голос не казался Микаэлу грознее голоса этой беззащитной, слабой девушки. Он, каясь в своем поступке, покраснел от стыда, и покраснел, быть может, впервые с тех пор, как познал женщину. Опять он коснулся тростью плеча возницы. Экипаж, повернув обратно, через несколько минут уже катился по большой дороге.

Оба молчали. Микаэл был во власти смешанных чувств. Он и стыдился и сердился; ему в одно и то же время хотелось и просить прощения и отомстить. Одно лишь было несомненно: никогда ни в какой другой женщине не чувствовал он такой духовной силы. И сколько презрения прочел он на лице этой бедной девушки, сколько ненависти к красивому, богатому и молодому спутнику!

Экипаж быстро приближался к промыслам Алимянов. Микаэл пытался казаться хладнокровным, стремился показать дочери жалкого паралитика, что в его глазах она не выше горничной.

— Жаль мне вас, — пожал он плечами. — Теперь дома все начнут вас укорять — и сколько народу! Мать, отец, дядюшка, тетя, дети, а может быть, и прислуга...

— За что?

— За то, что вы удостоили на полчаса своим обществом такого омерзительного, гадкого, негодного человека, как Микаэл Алимян. Какая честь для подобного ничтожества!

Ирония не подействовала.

— Совесть моя чиста, — ответила Шушаник.

Экипаж уже подъезжал к конторе. Микаэлу хотелось добиться хотя бы снисходительной улыбки спутницы.

— А хотел бы я знать,— спросил он, меняя тон,— что вы думаете обо мне?

— О вас... ровно ничего.

— Ничего? — повторил Микаэл. — И я должен вынести это оскорбление? Можете бранить, ненавидеть меня, но не говорите, что ничего не думаете обо мне.

— Я думаю о том, какая разница между вами и вашим братом,— сказала Шушаник, быстро выскакивая из экипажа, как бы не желая слышать ответа.

Вот как! Эта бедная девушка до того горда, что даже не удостоила Микаэла Алимяна рукопожатия. Это уж слишком! Быть предметом издевательства со стороны племянницы какого-то приказчика, унизиться, не добившись цели,— этого Микаэл снести не в силах.

От бешенства он ерзал в экипаже, хлопая себя по коленям, яростно грыз ногти и негодовал на себя за свое унижение.

«Какая разница между вами и вашим братом!» — звучали в его ушах последние слова девушки. Что это значит? А это значит, что Смбат ей нравится, а Микаэлом она пренебрегает. Ну, и прекрасно, пусть! Микаэл Алимян не останется в долгу, он еще себя покажет.

Микаэл приказал ехать к фонтану. Антонины Ивановны там не оказалось — она уже уехала с братом. Мосико, Мелкон и Қязим-бек перекидывались шутками с владельцем фонтана, а фонтан продолжал выбрасывать миллионы для бывшего аробщика.

Микаэл в компании друзей вернулся в город. Дорогою Қязим-бек, ехавший с ним в одном экипаже, завел разговор о Шушаник.

— Плут ты этакий, у тебя во всех уголках жемчужины понапрятаны, а нам ни слова?

— Қязим, не шути над ней, она не из таких,— строго оборвал его Микаэл.

— Вот еще новости какие! — воскликнул Қязим-бек, но все же перестал говорить о девушке.

Микаэл время от времени вздыхал, вспоминал презрительную улыбку Шушаник и в особенности ее последние слова.

— Что случилось, дружище, чего ты насупился? — не вытерпел наконец Қязим-бек.

— И сам не знаю. У меня такое предчувствие, что со мною должно случиться несчастье.

— Не болтай глупостей. Приходи вечером в клуб, оттуда кой-куда заедем...

Однако предчувствию Микаэла суждено было сбыться как раз в клубе. Беда нагрянула оттуда, откуда он не ждал ее или, вернее, перестал ждать.

К восьми часам все друзья были уже в клубе, когда явился Микаэл. Недоставало только Гриши. Ждали его, чтобы вместе отправиться к общему приятелю-офицеру, пригласившему в тот вечер всю компанию «на штосс».

Микаэл в душе боялся встречаться с Гришей. Но самолюбие вынуждало не показывать этого. Он подбадривал себя мыслью, что Гриша, должно быть, ничего не знает о позоре сестры, а если бы узнал, навряд ли молчал бы до сих пор. «Эх, что прошло, то былшем поросло! Теперь, пожалуй, нет нужды опасаться и Петроса Гулямяна. А вот идет и он сам вместе с каким-то похожим на него лавочником. Ишь как бойко тараторит — должно быть, о торговых делах. Ах ты, жалкий трусишка, не сумел даже постоять за свою поруганную честь! Должно быть, ты вымещаешь злобу на жене. Бог весть сколько раз на дню ты колотишь ее. Колоти, колоти, но обиду проглоти, благо нынче все так поступают...»

Размышляя таким образом, Микаэл вместе с друзьями прошел в буфет. Сонливый Мосико «в ожидании сражения» подкреплял себя коньяком. Папаша был утомлен, кутить ему не хотелось. Кязим-бек говорил, что его тянет «к новой дичи». Мелкон все жаловался на жену: сущим наказанием она стала для него. Видите ли, родители жены винят его в ее болезни.

— Шурин мой, тупоголовый доктор, вбил в голову, что это я заразил жену. Вот не было печали! Ребята, не приведи вам бог жениться. Папаша да послужит вам примером.

Наконец явился Гриша. Уже издали можно было заметить, что он в боевом настроении. Гриша шел, выпятив живот и закинув голову, — он поигрывал часовой цепочкой.

— Больно, гм... горяч он... — проговорил Папаша, побаивавшийся Гриши.

Завидя Микаэла, Гриша на миг остановился, точно колебался — подойти к компании или нет. Это не ускользнуло от Микаэла. Друзья подошли, обступили Гришу, и начались обычные шутки. Папаша попытался незаметно увильнуть.

— Куда, куда? — кинулся за ним адвокат Пейкарян, обняв почтенного холостяка.

— Пусть себе уходит, новую вышку ставит, — засмеялся Мелкон.

— А сколько их у тебя, Папаша, а? — спросил Кязим-бек. — На Шемахинке, в Старом городе, на Баилове, на Набережной...

— Ни дать ни взять — султан марокканский, — заметил Мосико, жуя соленый огурец после рюмки коньяку.

Папаша улыбнулся. Ему льстили безобидные шутки молодых друзей.

— Господа, — воскликнул Гриша, меняясь в лице, — здесь присутствует негодяй, которого надо вышвырнуть из нашего общества!

Он подошел к Микаэлу и, выпятив живот, встал против него.

— Бесчестный вор, разбойник, низкая тварь! — громко крикнул Гриша и, не дав противнику прийти в себя, закатил ему звонкую пощечину.

Поднялась суматоха. Кое-кто схватил Гришу за руки. От удара Микаэл качнулся, склонился и едва устоял на ногах. Удар был до того силен, что Микаэл, очнувшись, увидел себя уже крепко стиснутым друзьями. Официанты и посетители, привлеченные скандалом, тесно обступили всю компанию.

Гриша, заложив руки в карманы, глядел на противника с холодным презрением. Микаэл кричал, стараясь вырваться из рук окружающих. Лицо его побагровело, мочки ушей пожелтели, пена клубилась на губах, грудь выпятилась, жилы на шее вздулись и посинели. Он изо всех сил колотил ногами об пол и кричал:

— Пустите, пустите, не то...

Он задыхался. Посщечина жгла ему щеку раскаленным железом. Какой стыд, какой позор! И где! Только Гриша мог так эффектно нанести оскорбление. А-а, все издеваются над Микаэлом, у всех соболезнующие взгляды! Да мыслимо ли, чтобы он, Микаэл Алимян, подвергся такому

бесчестию на глазах у друзей и недругов? Дайте хоть раз выстрелить...

Гришу увели.

Кое-как увели и Микаэла.

Буфет все наполнялся народом. Начались пересуды. Одни защищали Гришу: стоило разок проучить этого Алимяна — уж больно зазнался. Большинство заступалось за Микаэла. Многие осуждали и того и другого. Несколько преподавателей гимназии и членов суда требовали составить протокол и завтра же отобрать у обоих членские билеты.

Микаэла силой усадили в экипаж и отвезли домой.

Смбат побледнел, узнав об оскорблении, нанесенном брату. Вдова Воскехат громко вскрикнула. Антонина Ивановна бросила презрительный взгляд на Микаэла, удостоившегося публичной оплеухи.

— Дикая Азия! — произнес Алексей Иванович.

— Я этого Абетяна убью! Я постою за честь Алимянов! — кричал Аршак.

Кязим-бек, схватив юношу за руку, не дал ему убежать из дому.

Микаэл настаивал, чтобы друзья сию же минуту отвезли Грише вызов на дуэль.

— Ты на дуэли драться не будешь! — решительно заявил Смбат и, обратившись к гостям, попросил их оставить Микаэла.

Весь вечер семья Алимянов провела в тревоге. Вдова безутешно рыдала.

17

Рано утром Смбат зашел к брату. Против обыкновения Микаэл был уже на ногах. Всю ночь он почти не смыкал глаз.

— Что тебе надо? — встретил он брата.

Смбат посмотрел в его воспаленные глаза и спокойно уселся.

— Я пришел к тебе не как брат, а как друг и товарищ. Умоляю, скажи мне толком, что у тебя вышло с Григором Абетяном? Нельзя допустить, что не было серьезной причины.

— Помочь ты не можешь, чего же рассказывать?

— Значит, дело сложное?

— Оставь меня в покое, бога ради.

Смбат, закурив, раздумывал о чем-то.

Микаэл расхаживал взад и вперед, заложив руки в карманы.

— Видишь ли, Микаэл, у тебя могут быть тайны от меня — это вполне естественно. Но пощади мать. Ты молчишь, а она, бедная, воображает, что несчастье слишком велико. Она теряется в догадках.

Молчание становилось невыносимым даже для Микаэла. Он сам чувствовал потребность поделиться с кем-нибудь своей тайной. Мужественный голос и приветливое лицо Смбата побороли робость Микаэла и невольно расположили его быть искренним.

Начал он с туманных намеков, колеблясь и поминутно сбиваясь, но это продолжалось недолго. Заметив, что Смбата не слишком возмутила связь с замужней женщиной, Микаэл стал говорить откровеннее. Однако он все еще скрывал имя женщины, ставшей жертвой его страсти. Микаэл старался выгородить себя, животную страсть выдавал за идеальную любовь, преступную связь окружал сиянием таинственной чистоты.

Смбат слушал молча. В пышных фразах брата он пытался угадать, была ли тут настоящая любовь, и при всем своем искреннем желании, не мог ее найти. Как ни старался Микаэл затемнить подлинную суть происшествия, он нет-нет да и сбивался, обнажая истинную подкладку мниморомантической истории.

— Но кто же эта женщина, так очаровавшая тебя? Вероятно, какое-нибудь исключительное создание?

Вопрос этот смутил Микаэла. Он понял, что, возвеличивая свою любовь, невольно возносит до небес и предмет своей страсти.

— Армянка, и довольно известная, — вот все, что он мог ответить.

— Но что же общего между нею и Абетяном?

— Она — сестра Гриши.

— Мадам Гуламян? — воскликнул Смбат, вздрогнув.

Микаэл продолжал рассказывать, все больше увлекаясь. Он врал, сам того не замечая. Действительность

он прикрывал небылицами, вычитанными в романах. А молчание брата принимал за одобрение. Вот почему он изумился, услышав вдруг:

— Микаэл, ты поступил бесчестно.

В голосе Смбата звучало глубокое волнение.

Микаэл, тот самый Микаэл, чья упрямая натура не терпела не только упрека, но даже простого противоречия, со злости закусил губы, но стерпел. Публичное оскорбление сильно смирило его.

— Во имя любви,— продолжал Смбат,— я оправдываю все. Можно полюбить и замужнюю, но в том, что ты рассказал, на любовь нет и намека. Вы оба обманывали друг друга и позорили чужую честь — вот почему поступок твой не имеет оправдания.

С жестом глубокого недовольства Микаэл отошел к окну. Он почувствовал правоту в горьких словах брата.

Полчаса назад Смбат считал брата жертвой дикой выходки, теперь перед ним стоял человек, понесший заслуженную кару. Это уже не распушенность, а нечто худшее — болезнь, порок, порождение грязной среды. Обмануть близкого друга и ценою его чести купить наслаждение — какая низость!

Он встал и молча вышел. Смбат чувствовал, что любовь к брату сменяется в нем гадливостью. И такому человеку он еще советовал жениться! Кто бы стал его жертвой?

С десяти часов утра друзья Микаэла один за другим приходили выразить ему сочувствие и узнать, что он намерен предпринять. Адилбеков и Ниасамидзе уже повидались с Гришей и потребовали объяснений. Обидчик не объяснил, чем вызвана пощечина, а раздраженно отрезал: «Сам знает, за что я дал ему оплеуху!»

Микаэл тоже отказывался от объяснений, но этим лишь подогревал любопытство друзей. Качая головами, они с недоумением переглядывались. Значит, причина слишком важна и таинственна, если никто из противников не хочет ее открыть.

Князь Ниасамидзе намекнул на возможность дуэли, молодежато ухватясь за рукоятку кинжала. Микаэл заявил, что не отказывается от своих слов, и снова предло-

жил товарищам отправиться к Грише и как можно скорее договориться об условиях поединка.

Адилбеков направился к дверям. Он рассчитывал быть свидетелем рыцарской сцены, о которой знал лишь по романам и театральным представлениям.

— Погоди,— остановил Адилбекова офицер,— дело надо вести с умом.

Офицер был зол на Гришу: нужно же было ему выбрать для пощечины тот самый день, когда у него была назначена вечеринка, и тем самым лишить его богатых «партнеров». Он прочитал короткую лекцию о дуэли и предложил себя в секунданты.

Мелкон и Мовсес были того мнения, что Гриша может извиниться перед Микаэлом в присутствии друзей и вопрос, таким образом, разрешится. Нет надобности осложнять дело.

Адвокат Пейкарян утверждал, что дуэль — обычай несколько устарелый. Есть суд, существуют законы, ergo — поступок Абетяна можно подвести под соответствующую статью.

Папаша же твердил:

— Гм... дело пустое...

По его мнению, из-за одной пощечины не стоит будоражить весь свет.

— Молод, погорячился, замахнулся... Подумаешь, одна оплеуха! В твои годы, гм... я столько их наполучал — кожа на лице стала что твоя воловья шкура.

Присутствовал тут и Алексей Иванович. Он был возмущен «грубой выходкой азиата». Надо попросить губернатора выслать Абетяна в административном порядке в Архангельскую губернию или еще подальше. Порядочное общество не должно терпеть подобных дикарей.

Однако Ниасамидзе, Адилбеков и офицер продолжали настаивать:

— Дуэль — единственно допустимый способ мести.

— Нет! — раздался голос в дверях.— Дуэль — не честный способ!

Это был Смбат. С горькой улыбкой он подошел, слегка кивнул и присел в углу.

Офицер потребовал объяснений, и Смбат не замедлил их дать:

— Господа, не вводите в заблуждение моего брата.

Так называемая дуэль, правда, когда-то имела смысл, но теперь смысл этот исчез, и осталась лишь одна форма. Маскарады тоже имели некогда смысл, даже глубокий, а что они представляют теперь? Иметь твердую и искусную руку — еще не значит глубже чувствовать то, что именуется честью. Человеческая честь покоится не на кончике шпаги, а в глубине души. Допустим, я оскорбил вас, — прервал он офицера, пытавшегося ему возразить, — вы убиты. Где же логика и справедливость? Чем вы восстановили свою честь? Нет, господа, не к лицу человеку брать пример с петуха.

— Ergo, в суд, другого не остается, — вмешался адвокат.

— Нет, — обратился к нему Смбат, — суд учрежден для людей, которые сами судить не могут.

— А что бы вы сказали о товарищеском суде? — вмешался Мелкон. — По-моему, только мы, Гришины товарищи, и можем достойным образом наказать обидчика.

По лицу Смбата пробежала ироническая улыбка. Товарищеский суд! О, как много видел он этих судов и теперь не может без смеха вспоминать их комическую важность. Они всегда напоминали ему опереточных нотариусов и подест¹. Нет, это придумано не для серьезных людей. К товарищескому суду обращаются рохли, да, именно рохли, рабы предвзятых мнений, не умеющие сами оценить свой поступок. Человек с самолюбием и зрелым умом никогда не спросит товарища: «Что скажешь, друг, умел я или глуп, подл или честен?» Он сам знает себе цену.

— Мы ссоримся друг с другом и, как маленькие дети, бежим к старшим: «Бога ради, объясните, почему мы повздорили?», или же: «Кто из нас умнее?» Более смешного положения нельзя и представить.

— Правильно говорит, гм... молодчина... Очень правильно говорит, гм... — одобрил Папаша. — Какой там еще товарищеский суд? Забудь, гм... Микаэл, дорогой, забудь...

— Вы все отрицаете, — вставил адвокат, — а как выяснить суть дела, к кому обратиться?

— К кому? К нашему внутреннему судье. Как выяснить суть дела? Путем самоанализа.

¹ Подеста — средневековый городской старшина (*итал.*).

Все переглянулись, не поняв мысль Смбата.

— Да,— продолжал Смбат,— в нем наш суд, и в нем же наш приговор. Господа, всякий из нас — сочетание двух начал: одно действует, другое контролирует. Первое очень редко руководствуется указаниями второго — вот где источник наших ошибок. Наши ошибки на девять десятых порождение инстинктов. И, к несчастью, мы очень часто даже самые сложные вопросы жизни решаем, повинаясь инстинкту, и потом... потом горько каемся.

Смбат на минуту остановился, закусил губу, чтобы заглушить в себе внутреннюю горечь.

— Допускайте какую угодно ошибку,— продолжал он, — но потом, наедине с собой, спросите вашего внутреннего судью, и он даст самую строгую, но и самую справедливую оценку вашего поступка. Только будьте искренни с собой. Не допускайте, чтобы голос совести заглушали посторонние голоса. А это очень легко, когда дремлет разум.

Некоторые совсем не поняли Смбата, другие же продолжали настаивать на своем.

Микаэл молчал.

— Значит, вы не разрешаете вашему брату драться на дуэли?

— Спросите его самого. Я высказал лишь свое мнение, — ответил Смбат.

— Друг мой, — вмешался адвокат Пейкарян, — ваши слова прекрасны, но и только. То же самое подсказывает мне и мой рассудок, но ведь рассудок — одно, а чувство — совсем другое. Философией чести не восстановишь.

— Против этого мне нечего возразить. Но я исходил из требования здравого смысла,— ответил Смбат и замолчал.

— Значит, нам остается пасовать перед философией, раз чувство чести в нашем друге безмолвствует, — заметил офицер и поднялся.

— Что скажешь? — спросил Адилбеков Микаэла.

— Колеблешься? — проговорил Ниасамидзе полуиронически.

— Оставьте меня в покое, я после вам сообщу мое решение, — заговорил наконец Микаэл.

Все вышли, недовольные нерешительностью приятеля.

Чувствовалось, что слова Смбата сильно повлияли на Микаэла. По уходе друзей он обратился к Смбату:

— Чем же мне смыть позор?

Воспользовавшись настроением Микаэла, Смбат не дал остыть впечатлению и заговорил о создавшейся ситуации.

Он соглашался с тем, что Гриша нанес тяжелое оскорбление. Но почему Микаэл хочет вызвать обидчика на дуэль или же наказать как-нибудь иначе? Потому, что Гриша счел себя вправе осознать нанесенное ему Микаэлом бесчестие и поддался влечению грубого инстинкта. Но если он обошелся с Микаэлом дико, то ведь и Микаэл поступил по отношению к Грише еще более чем дико — поскотски. И он еще требует отчета от Абетяна — он, первый нанесший такое оскорбление и так воровски?

— Пожалуйста, — продолжал Смбат возмущенно, заметив, что брат собирается протестовать, — не надо горячиться! Пора понять, что никакой вопрос не разрешишь криком или кулаком. На минуту поставь себя на место Абетяна. Ведь ты бы подумал: «Как, чтобы мой близкий друг, которому я так доверял, вдруг обесчестил меня, а мне и пощечины ему не закатить?» И закатил бы, только не знаю, так ли эффектно. Нет, милый мой, надо быть логичным и не запутываться еще больше.

— Значит, проглотить оплеуху и стать посмешищем всего общества — такова твоя логика?

Наступило минутное молчание. Смбат нервно теребил цепочку от часов. Микаэл, опустив голову на грудь, грыз ногти и ходил по комнате. Он все еще был бледен и время от времени вздрагивал, как осенний лист, с трепетом вспоминая полученное оскорбление.

— Наивные люди! — воскликнул Смбат, как бы говоря с собою. — Вы всякое заблуждение принимаете за общественное мнение. Чье мнение вы выдаете за общественное — этих Кязимов, Мосико, Ниясамидзе, Мелконов и Папаш? Друг мой, нет большего нравственного удовольствия для этих людей, как судить и осуждать других. Судить тебя должны не они, а ты сам. Постарайся стыные очиститься, измени свою жизнь коренным образом — и тогда, вместо того чтобы быть посмешищем, сам будешь насмехаться над другими.

Он сделал паузу, посмотрел на брата, постепенно менявшегося в лице, и продолжал с еще большим чувством:

— Микаэл, даже для злодея есть путь к исправлению. Возьмись за себя, пусть другие злословят сколько угодно. Тогда поймешь, сколько блаженства в чувстве презрения. Слушай, Микаэл! Неужели в твоём сердце не осталось ни одной цельной струны, а в твоей душе — ни одного светлого уголка? Неужели ты в жизни не находишь иной улады, кроме рабского подчинения животной страсти?.. Слушай, ты видел лишь одну сторону жизни, но есть и другая. Ты вкушал до сих пор сладкий яд, но есть и горькое противоядие. Сладкое убивает, горькое исцеляет...

Смбат остановился и перевел дыхание. Внимание Микаэла воодушевило его. Час назад, при гостях, Смбат говорил, повинувшись рассудку, а сейчас он говорил, следуя чувству. Ему казалось, что слова его — благотворный дождь для загрязненной души брата и заставят его наконец оглянуться на себя и серьезнее отнестись к жизни.

— Рассказывая о своей страсти, — продолжал Смбат с горечью, — ты клеветал на любовь. Если бы ты действительно любил, дело не приняло бы такого оборота. Ты бы пожертвовал ради любимой женщины всем, и это было бы твоим наказанием. Не гляди на меня с таким удивлением — у меня есть основание говорить так. Человеческий эгоизм безграничен, и, поучая тебя, я не могу забыть о собственном горе. Микаэл, я не завидую твоему положению, но мне еще хуже. Да не только теперь, а вот уже целых семь лет... Перед тобою есть будущее, а моя жизнь испорчена навеки. Тебя обманула слепая страсть, а меня — светлая любовь. Впрочем, что я говорю: не любовь, а только жажда любви. Ты — жертва черного демона, я — доброго ангела.

Смбат умолк и тяжело вздохнул, потирая лоб. Чувство личного горя в нем мешалось с состраданием к брату, и он не знал, на чем остановиться.

Вдруг он заметил нечто неожиданное и непостижимое: на глазах Микаэла блеснули слезы и покатались по щекам. Что это могло значить? Слезы уязвленного самолюбия? Злоба? Или раскаяние? Что бы ни было — плакал человек, вконец испорченный, а это неплохое предзнаменование. Значит есть еще у него в душе незараженный уголок.

Смбат подошел к брату, положил ему руку на плечо и сказал взволнованно:

— Мехак, ты плохо начал, но можешь хорошо кончить. А я?.. Я, может быть, наоборот...

И, отвернувшись, медленно вышел.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вдова Воскехат считала себя самой несчастной матерью на свете. Ее старший сын загубил свою молодую жизнь женитьбой на иноплеменнице. И теперь ни его глубокая почтительность, ни искренняя сыновья любовь не могут вырвать из ее сердца тнездящуюся там печаль. Пусть Смбат умен, трудолюбив, бережлив, добр — в глазах матери его ошибка равна множеству преступлений. Сын сам расплачивается за последствия своей ошибки: он вечно угрюм и мрачен,— может ли быть счастливой его мать?

Микаэл уже не исправим. Его образ жизни приводит в отчаяние Воскехат: проматывает не зарабатывая, все дни проводит за карточным столом, в беспутствах, с недостойными товарищами. С каждым днем здоровье его расшатывается. Что осталось от здорового и красивого Микаэла? Глубоко запавшие глаза, кожа да кости — и больше ничего. Может ли Воскехат не печалиться о нем?

А дочь, Марта, счастлива ли она? Нет, и ее жизнь далеко не радует Воскехат. Одному из сыновей Марты, бледному заморышу, уже пять лет, а он еще не умеет ходить; другой тоже хворый, недолго протянет. Говорят, отец их был заражен какой-то дурной болезнью. Ах, этот человек! И богат, и смышлен, и ловок, а все хнычет, жалуется на бедность, да и жену заставляет роптать. Каждый божий день Марта приходит вся в слезах и умоляет выделить ей долю из отцовского наследства. Она ссорится с матерью, отравляет ей и без того тяжелую жизнь, грозит начать какое-то судебное дело против братьев. Хороша дочь!..

Воскхат надеялась найти утешение хотя бы в младшем сыне, Аршаке. Но и эта надежда не оправдалась. Аршак, едва выйдя из отрочества, стал разговаривать с матерью тоном, какого не позволял себе даже Микаэл. На упреки отвечает упреками, на угрозу — угрозой, наставления и мольбы встречает насмешкой и пренебрежением. Едва придет из школы, требует завтрака. И упаси боже хоть на минуту запоздать: выходит из себя, бесится, поносит всех и чуть не швыряет тарелками в лицо матери; потом исчезает на целый день и раньше двух не возвращается, а бывает, что и вовсе не придет до утра. Сколько, сколько раз Срафион Гаспарыч и Микаэл встречали его в обществе распутной молодежи то на лодке, то в садах с подозрительными дамами, порою пьяного, а иногда и побитого!

Что за кара господня и за какие грехи? Еще есть такие неразумные женщины, что завидуют ей. Ах, не нужно ей богатства — отнимите у нее все эти дома, караван-сарай, промысла, заводы, дайте взамен только материнское счастье!..

Срафион Гаспарыч твердил, что не надо давать денег Аршаку, что деньги-то как раз и портят его.

Деньги для парня его лет — сущий яд. Не балуй, а лучше посади на хлеб и на воду — вот и будет из него прок.

Вдова не слушала его советов: как же — сыну да вдруг не давать денег? Для кого же отец копил такое богатство? Наконец, мальчику неловко не иметь карманных денег, когда все товарищи их имеют.

Впрочем, она попыталась однажды исполнить совет брата. И горькое же это было испытание! Накануне Аршак проигрался и остался должен. Он пришел утром к матери, когда вдова еще одевалась.

— Есть у тебя деньги? — спросил Аршак, заложив руки в карманы.

— На что тебе? Я тебе еще вчера дала.

— Говори, есть или нет?

— Нет.

Аршак без шапки сбежал вниз, влетел в контору, остановился перед железной решеткой, за которой сидел Срафион Гаспарыч с орденом в петлице, с закрученными

усаами и с таким мрачным лицом, словно он готовился наброситься на всякого.

— Дядя, открой кассу!

Старик иронически улыбнулся. Он давно ждал дня, когда откажет юноше в деньгах.

— Не слышишь? Говорят тебе — открой сундук! — повторил Аршак, задевший улыбкой дяди.

— Не могу.

— Тогда дай ключ, я открою сам.

— В сундуке нет денег.

— Выпиши из банка.

— Поди сперва скажи Смбату. Без его приказанья я денег расходовать не могу.

— При чем тут Смбат?

— Он глава фирмы и твой опекун.

— Вот еще новости! — крикнул Аршак, горячась. — Мне идти к Смбату за разрешением на мои же деньги? Микаэл может тратить сколько хочет, а я должен из-за ста рублей идти и молить Смбата? Открой сундук, говорят!

Старик заупрямился. Тогда Аршак закричал, затопал, выругал и Смбата, и Микаэла, и старика и опять побежал наверх. Чтобы сию же минуту, немедленно дали ему сто рублей... Нет, ста мало, двести, триста рублей!..

— Нет денег, сынок, нет, — повторяла вдова, с торчьюю отставляя стакан чаю.

Но сильно раскаялась. Юноша расстегнул пуговицы мундира, достал из кармана револьвер и приставил к сердцу. Деньги или смерть! — вот каков Аршак Алимян.

— Честь моя на волоске. Карточный долг пужно платить в двадцать четыре часа. Я не хочу позорить имя Алимянов, понимаешь?

Вдова ничего не понимала, но, увидя блестящее оружие в руках сына, громко вскрикнула и без чувств опустилась на тахту.

Позвали Смбата, ему удалось вырвать револьвер из рук Аршака.

Когда вдова пришла в себя, ее первыми словами были:

— Дайте ему денег, ради бога, дайте, сколько хочет!

Но Аршак уже исчез. Три дня искали его, не могли найти. Вдова рвала на себе волосы, била себя в грудь, проклинала и брата и старшего сына. Из-за каких-то

двухсот рублей погубили ее сына! Аршак бросился в море и утонул. Ищите его труп!..

На четвертый день юношу нашли у одного из школьных товарищей. Аршак спал ничком, одетый. Он явился туда в полночь пьяный и избитый, прося ночлега.

Беспорядочная жизнь и бессонные ночи уже наложили отпечаток на лицо шестнадцатилетнего юноши. Напрасно было бы искать в его глазах отражение чистой отроческой души. Он казался лет на десять старше. С каждым днем лицо его бледнело и худело, синие круги под глазами ширились и все резче проступали жилы на лбу.

Смбату сообщили неприятные новости: утром Антонина Ивановна в конце длинного коридора наткнулась на омерзительное зрелище: Аршак, обняв молоденькую горничную, пылко целовал ее, совсем забыв, что страстные слова его могут быть услышаны.

Рассказав об этом Смбату, Антонина Ивановна обратила его внимание и на другие подобные выходки Аршака, очевидицей которых ей случайно пришлось быть. Она осуждала всю семью Алимянов как нравственно падшую, где все разлагается и гниет и где невозможно жить здравомыслящему человеку.

Смбата оскорбило такое резкое суждение жены. В глубине души он отчасти был согласен с нею, но почему она не скорбит, а только бичует?

— Чего же мне скорбеть? — воскликнула Антонина Ивановна. — Разве в этом доме кто-нибудь скорбит обо мне? Я здесь чужая, незваная гостья. Между мной и вашей семьей нет никакой связи. Каждый здесь может меня оскорбить.

— Это вам все кажется. В отношении моей семьи вы страдаете нравственным дальтонизмом. Вы возмущаетесь моим братом, но почему не возмущаетесь своей горничной? Может быть, она-то и дала повод?..

Супруги, все более и более горячась, наговорили друг другу массу колкостей.

Никогда семейная ссора так не действовала на Смбату. От волнения у него даже слезы выступили на глазах.

Полчаса спустя с душой, полной горечи, он стоял у входа в контору и задумчиво глядел на прохожих. Неподалеку все время вертелся какой-то юноша, то и дело поглядывая на него. Иногда он останавливался, как бы

собираясь подойти, но, видимо, не решался. Наконец он обратил на себя внимание Смба́та.

— У вас ко мне дело? — спросил он.

— Я хотел бы вам сказать несколько слов.

— Пожалуйста.

Незнакомец не был похож на просителя или подозрительного человека. Он попросил у Смба́та минутного разговора без свидетелей.

— Господин Алимян, — начал он почти шепотом, — я считаю своим нравственным долгом обратить ваше внимание на младшего брата...

— На Аршака?

— Да.

— А что случилось?

— Он болен.

— Болен? — повторил Смба́т, по таинственной манере незнакомца догадываясь, о какой болезни идет речь.

— Да, Аршак болен и не хочет лечиться, конечно, от стыда. Надеюсь, вы меня поняли, больше мне нечего сказать. Простите, я исполнил свой долг...

Сказал, поклонился и вышел.

На свете много людей, считающих необходимым «исполнять нравственный долг» ради нарушения душевного покоя ближних. Сами неудачники в личной жизни, они с особенным удовольствием сообщают другим дурные вести.

Смба́т терялся в догадках: чего, собственно, хотелось незнакомцу? Уж не помешанный ли он, или любитель шуток? Так или иначе — надо проверить.

Смба́т поднялся наверх. Аршак только что вернулся из школы и завтракал так быстро, точно над ним стоял, подгоняя, полицейский.

— Пойдем ко мне, дело есть, — сказал Смба́т.

Аршак, решив, что брат собирается говорить с ним об утреннем случае, отказался: ему пора на пятый урок.

— Э-э, дружище, какие тут уроки! — горько усмехнулся Смба́т. — Тебе надо думать о том, чтобы сохранить жизнь, а не об учении. Встань, закрой двери, не зашла бы мама.

Аршак молча исполнил приказание.

— Когда ты заболел? — спросил старший брат таким тоном, словно болезнь Аршака была ему давно известна.

Юноша побледнел. Этого было достаточно. Смбат понял, что незнакомец неспроста исполнил «свой нравственный долг».

— Почему ты не лечишься?

— Незачем, я не болен,— ответил Аршак, крутя пуговицу мундира.

— Да это видно хотя бы по твоим бровям и ресницам. Удивительно, что я только сейчас обратил на это внимание. Сию же минуту идем к врачу!

Как ни старался Аршак уклониться, это ему не удалось. Смбат почти насильно вытащил его из дому и усадил в экипаж.

Подробный осмотр врача подтвердил наличие опасного недуга. Болезнь хоть и перешла во вторую стадию, но оставалась надежда на излечение. Ужасное зрелище! Еще не успев расцвести, уже увядал юноша, как придорожный цветок, преждевременно поблекший от разъедающей пыли, поднимаемой прохожими...

— Не подумайте, что это единственный случай,— заметил врач,— сейчас у меня еще два пациента в возрасте вашего брата.

Только этого не хватало, чтобы переполнить чашу горечи в сердце Смбата. Он весь был погружен в заботы о Микаэле, а тут и другой брат погряз в еще большей мерзости, да в таком юном возрасте.

О болезни Аршака Смбат сообщил только Срафиону Гаспарычу. Они решили приставить к Аршаку особого надзирателя, чтобы тот удерживал юношу от распутства. Отныне Аршак не должен отлучаться из дому без него. Решили также взять его из школы: пусть уж лучше остается недоучкой — жизнь дороже ученья. Аршак противился, возражал против назначенной ему опеки, но в конце концов покорился. В его комнате поставили вторую кровать для надзирателя, и юноша превратился как бы в арестанта.

Вдове не сказали о страшной болезни сына, но убедили ее, что надзор над ним необходим: это уберезет его от дурного влияния товарищей.

— Ох, уж эти товарищи! Они и сбили с пути моих сыновей,— простонала Воскехат и, глядя в глаза Смбату, добавила: — И тебя тоже они с ума свели, иначе ты не решился бы на такое дело.

Жизнь Смбата была вконец отравлена. Отношения с женой все более и более обострились. Супруги почти не сдерживали себя, не скрывали взаимной ненависти.

Антонина Ивановна буквально проклинала тот день, когда встретила Смбата. Это была горькая ирония судьбы, а не взаимная любовь. Она считала Смбата человеком благородным и умным, но между ним и собою чувствовала глубокую пропасть; видела бездну и сознавала, что бессильна перешагнуть ее. Давнишняя глухая неприязнь к родне мужа становилась все непереносимее для нее, особенно ввиду острой ненависти вдовы Воскехат и жены Марутханяна.

Смбату было двадцать три года, когда он встретился с двадцатилетней Антониной Ивановной. Невозвратимое время! Мимолетные порывы юности, так дорого стоившие ему! Пылкое воображение, под влиянием романов Тургенева и Толстого, идеализировало заурядную курсистку. Он увлекся ее смелыми чувствами и свободными взглядами на жизнь. Однако вскоре Антонина Ивановна потеряла обаяние и как спутница жизни и как женщина. Между ними открылась пропасть, как только супруги поняли, что во многих отношениях, при всей их уступчивости и снисходительности друг к другу, их взгляды на жизнь противоположны. Были вопросы, захватывавшие Смбата, но казавшиеся непонятными, а подчас даже смешными Антонине Ивановне. Она не сознавала, что отталкивает мужа, оставаясь безучастной к этим вопросам.

Холодность Смбата сменилась ненавистью, особенно когда настало время подумать об обучении детей. Единства у супругов и тут не было. Между ними возникали такие схватки, что они подчас не щадили самых заветных чувств друг друга.

Так текла их совместная жизнь в течение шести-семи лет. Полученная от отца телеграмма: «Умираю, приезжай, хочу видеть тебя в последний раз» — усилила ненависть Смбата к жене. Ему казалось, что отец умирает преждевременно и причина этой смерти — несчастный брак сына.

— Я уезжаю на родину, — сказал он Антонине Ивановне. — Не знаю, вернусь ли...

Это была неосторожная фраза, вырвавшаяся в минуту раздражения. Разве мог он разлучиться с детьми, которых так любил?

Антонина Ивановна отнеслась безразлично к печальной весте. Зловещая телеграмма не произвела на нее ровно никакого впечатления. Там, на далеком Кавказе, умирает какой-то купец, которого она никогда не видала, стоит ли печалиться о нем, хотя он и свекор ей?

— Я чувствую, что с сегодняшнего дня пути наши расходятся, но не забудьте детей, — сказала она мужу на прощание.

И вот не прошло и трех месяцев, неразрывная цепь опять сковала их, но для того, чтобы окончательно разделить. Вдали от родных Смба́ту еще удавалось кое-как мириться с семейными невзгодами. Теперь он понял, как велика и неисправима его ошибка. Родной кров пробудил в нем задремавшие было чувства. Смба́т увидел, что, как ни далеко он отстоял духовно от своей родни, все же кровью и сердцем связан с ней навеки.

— Позвольте мне вернуться туда, откуда я приехала, — сказала однажды Антонина Ивановна. — Теперь вы богаты и можете обеспечить наших детей. Вы меня не любите, и я вас тоже не люблю. Вы ошиблись, ошиблась и я... Отдайте мне детей, и я вам возвращу свободу.

— Вот как? — воскликнул Смба́т возмущенно. — Я пренебрегаю обещанной вами свободой, мне дороги только мои дети.

Разговор оборвался: вошел Алексей Иванович. Он был одет по последней моде: широкие брюки, короткий пиджак с закругленными лапами, жилет с открытой грудью и вышитая рубашка с высоким отложным воротником.

— Смба́т Маркович, — обратился он к зятю, поправляя пенсне, — когда вы нас отвезете поглядеть на «вечные огни»? Говорят, чрезвычайно любопытно. Не мешало бы побывать в храме огнепоклонников, а?

Смба́т, не отвечая, вышел.

Алексей Иванович, приподняв брови, проводил его удивленным взглядом и, повернувшись к сестре, сказал:

— Удивительно бестактный народ эти азиаты, совсем не умеют обращаться с гостями.

— А гостю следовало бы держаться тактичнее, — укоризненно заметила сестра.

— Глупости говоришь, Антонина.

— Я серьезно говорю. Скажи, пожалуйста, когда ты думаешь вернуться в Москву?

— В Москву? — переспросил Алексей Иванович. — Погоди, ведь я только приехал, что же, ты, так сказать, выгоняешь меня?

— Ты можешь запоздать и потерять место.

— Беда не велика. Уж не думаешь ли ты, что я очень дорожу должностью делопроизводителя? Знаешь ли, голубушка моя, я хочу попросить Смбата Марковича устроить меня здесь, так сказать, на какое-нибудь приличное место, а?..

— Приказчика?

— Почему приказчика, а не управляющего, кассира или же, так сказать, личного секретаря? Я бы мог здесь жить, ей-богу, мог бы, несмотря на то, что тут, так сказать, глухая Азия. Попроси, милая, об этом своего благодетельного, а?

— Я ничего у него не буду просить, да еще для тебя.

— Почему же, а?

— Всякая просьба до известной степени обязывает, а я не хочу быть обязанной Алимяну.

— Вот еще новости! Чтобы жена да была обязана мужу?

— Я ему не жена, а только мать его детей.

Алексей Иванович высоко поднял брови — это значило, что он чрезвычайно изумлен.

— А он? Он тоже всего лишь отец твоих детей, а? Оригинально, очень оригинально. Только, знаешь ли что, милая моя, надо признаться — ты совсем не вовремя перестала быть женой своего мужа. Пока он был, так сказать, гол, ты была ему женой, теперь же, когда он получил миллионы, ты становишься лишь матерью детей. Это уж совсем невыгодно, а?

— Алексей!

— Знаю, милая моя, знаю, что вы, так сказать, грызетесь. Но ты, сестричка, не должна показывать зубы, ведь между вами железный сундук, а его прогрызть трудно, а?.. По правде говоря, я тоже недолюбиваю этого азиата, но, черт побери, у него — деньги, а деньги, так сказать, ключ ко всему, а?

— Что нам до того, что у него деньги? Мы чужие.

— Чужие? Но, но, но... брось чепуху пороть, ради бога. Допустим, ты развитее, умнее меня и, так сказать, женщина современная, с собственными убеждениями и твердой волей. Но, дорогая, в житейских вопросах ты меня не переспоришь, тут я тебе, так сказать, пятьдесят очков вперед дам... В людях-то я очень хорошо разбираюсь... Видишь ли, душечка, идеалы, взгляды, национальность — все это суший вздор. Не в этом причина вашей, так сказать, обоюдной антипатии. Причина житейская и, так сказать, психофизическая. Дело в том, что ты малость, так сказать, слиняла, понимаешь? Ну, разумеется, слиняла как женщина, а-а? Черт побери, посмотрела бы ты в зеркало, что у тебя под глазами...

— Алексей!

— Заладила: Алексей да Алексей. Алексей говорит правду, и нечего ее скрывать. Но вот что меня больше всего удивляет — почему ты его разлюбила? Это для меня, так сказать, загадка. Парень молодой, здоровый, кровь так и кипит, а?

— А все же я его ненавижу.

— Не понимаю, ей-ей, не понимаю.

— И никогда не сможешь понять. Ненавистны мне его лицо и цвет волос, его нос, его интонации, его привычки; ненавистна мне его любовь к родне; ненавистны мне его язык, его традиции — все, все, что имеет связь с его происхождением. Эту ненависть невозможно понять, ее можно лишь чувствовать, только чувствовать...

— Все это, пожалуй, и можно ненавидеть, да я тоже, так сказать, не испытываю особого расположения к этим азиатам. Но, извини, ты должна любить цвет его волос: как-никак он брюнет, а брюнеты у нас в фаворе, особенно эти грубые кавказцы, а?

— Ладно, довольно,— прервала Антонина Ивановна болтовню брата.— Дай кончить письмо.

Она, взволнованная, села к столу и принялась дописывать.

— Все же ты должна помириться с Смбагом Марковичем. Миллионы, голубушка, ты понимаешь, что такое миллионы, особенно в наш железный век, а?

И, видимо, уверенный, что его последние слова повлияют на упрямую сестру, Алексей Иванович поправил пенсне и вышел.

Для Микаэла наступили суровые и тяжелые дни — дни горьких мук и непривычных размышлений. Его угнетали, с одной стороны, чувство оскорбленной чести, общественное презрение, а с другой — укоры совести. Мысль, что он все еще не отомстил Грише, приводила его в отчаяние; он рвал на себе волосы, кусал пальцы, неустанно шагая по комнате, как тигр в клетке. Размышляя о своем бессилии, он проклинал собственную слабость, поносил самого себя.

Микаэл не был трусом и мог отстоять свою честь хотя бы ценою жизни. Но слова брата произвели на него очень сильное впечатление. Под влиянием этих слов зародилось иное чувство, более тяжелое, чем виновность перед мадам Гуламян. Это была вина перед Шушаник. Пощечину он считал достойным возмездием за свои грехи, но обида, нанесенная чистой, невинной девушке, все еще оставалась неотомщенной. В другое время подобную выходку он считал бы за юношескую шалость, за мимолетную шутку. Эка важность — хотел соблазнить невинную девушку, да не вышло. Разве другие не пускаются на подобные попытки, и кто из них потом кается в детских забавах? Наконец, ведь честь Шушаник не пострадала. Но нет! Образ взволнованной и возмущенной девушки преследовал еще сильнее и беспощаднее, чем дебелая фигура скомпрометированной Ануш. В ушах все время звучали презрительные слова девушки: «Какая разница между вами и нашим братом!»

В чем же разница? Уж не в том ли, что Смбат образованнее, развитее и, быть может, умнее Микаэла? Нет. Несомненно девушка намекает на различие в поведении того и другого. И на самом деле, разве Смбат позволил бы себе так оскорбить беззащитную девушку?

Ах, как он сглупил, и зачем? Неужели низменная животная похоть так осквернила его душу, что для него не остается ничего святого? После стольких беззастенчивых, чувственных женщин чистый голос скромной девушки, ее ясные глаза увлекли его неизведанной им свежестью.

После изысканных блюд иной раз тянет к простой растительной пище. Каприз, мимолетный порыв пресыщен-

ного сердца понудили его унизиться перед бедной, незаметной девушкой. Но почему же голос Шушаник так прозвучал в его ушах? Почему этот голос преследует его и в те минуты, когда, казалось бы, он обязан думать только о восстановлении чести?

«Как бы я хотел, чтобы когда-нибудь пробудилось в тебе чувство подлинной любви!» — вспомнились Микаэлу слова Смба. Под влиянием этих слов он разбирал свое отношение к женщинам, сидя одиноко у себя в спальне в вечернем полумраке. Развращенность — и ничего больше. Мало того, что не любил, — но еще осквернил любовь, выдавая животную страсть за чистое влечение. Жажду страсти он утолял всегда из грязных источников. Никогда он не уважал существа, именуемого женщиной, — и ту же самую Ануш. Естественно, эта девушка, Шушаник, вправе презирать его.

Как ни старался Микаэл забыть невинный образ, он все неотступнее преследовал его. Слух о пощечине разнесся по городу: не сегодня-завтра, конечно, выяснится и ее позорная причина, но ничье мнение его так не пугало, как мнение Шушаник. В полутьме возникал образ строгого судьи, не сводившего с Микаэла упорного взгляда, полного отвращения. И слышался ему ужасный шепот: «Не говорила ли я, какая разница между вами и вашим братом...» Казалось, в этой девушке воплотилось все общественное мнение, как будто человечество сосредоточилось в ней; и чудилось ему: прощение одной Шушаник искупило бы невыносимое оскорбление. Но Микаэл в то же время чувствовал, что даже если все простят, одна лишь эта девушка постоянно будет презирать его и с отвращением отворачиваться.

Он зажег свет, приподнял голову и посмотрелся в зеркало: веки воспалены, на щеках нездоровый румянец; ему даже показалось, будто пощечина оставила на щеке синий след четырех пальцев. Микаэл вздрогнул. Ах, если бы можно было хоть одну эту страницу вырвать из книги жизни и сжечь! Нет, это невозможно. Именно эта единственная страница должна громко кричать о его нравственном падении.

Он взглянул на мягкую, пышную постель, потом на туалетный столик, уставленный косметическими принадлежностями.

И внезапно почувствовал отвращение ко всей этой кокоточной обстановке.

«Неужели в твоём сердце не осталось здорового уголка?» — вспомнил Микаэл слова Смбата. Вот до чего он пал, что на такой вопрос отвечает молчанием!

Нет, Микаэл не хочет быть падшим существом. Он может исправиться. Долой развратную компанию, бессонные ночи, гнусные развлечения с распущенными друзьями!

Туалетный стол вызвал в нём дикую злобу. Ещё мгновение — флаконы и баночки полетели в окно, разбиваясь вдребезги. Эх, если бы можно было и прошлое так же разбить и начать новую жизнь! Тогда он сказал бы этой нищей, но гордой девушке: «Смотрите, я ни во что не ставлю ваше мнение, будто брат выше меня!»

Микаэл посмотрел на часы. Ещё не было семи. Никогда в этот час он не бывал дома. Куда бы теперь пойти? Как показаться товарищам? Микаэл подумал, что Гриша теперь дома, раньше десяти он в клуб не приходит. Один ли он? О чём он думает? Доволен ли своим поступком? Хвастается перед товарищами или раскаивается? Микаэл почувствовал непривычную жалость к Грише, и в нём вдруг появилось желание повидаться с ним.

— Ага, тут человек один хочет видеть тебя, — раздался голос Багдасара, Микаэлова слуги, уроженца Зангезура.

Это был дубоватый крестьянин, по распоряжению Микаэла носивший чёрный сюртук с белым галстуком.

— Ты сказал, что я дома? — кисло спросил Микаэл, глядя на визитную карточку, поданную слугой.

— Сказал.

— Глупо сделал, что сказал. Приси.

Вошел журналист Марзпетуни. Он высказал сожаление, что запоздал выразить Микаэлу сочувствие «по поводу имевшего место в клубе акта дикого произвола». Он был возмущен и пустился ругать упадок «современных общественных нравов». Намекнул, что описание происшествия уже приготовлено для печати. Абетян выведен в нём, как монстр, как безнравственное чудовище. Пускай же прочтет и узнает цену своему поступку!

— Недостает лишь кое-каких дополнительных сведений, — прибавил журналист, вытаскивая записную книжку.

ку.— Правда ли, что вы вызывали Абетяна на дуэль, а он трусливо уклонился?

— Нет, неправда.

— Правда ли, что...— хотел продолжить Марзпетуни и вдруг удивленно остановился.

Микаэл безмолвно дал ему понять о полном нежелании отвечать на вопросы. Он взялся за перо и сделал вид, что углубился в работу.

— Простите, я, кажется, помешал вам,— спохватился журналист, осторожно пряча в карман книжку.

— Да, я занят,— ответил Микаэл, не скрывая раздражения.

— Извините, я хотел защитить вас в печати.

— Разве необходимо о каждом частном случае писать в газете?

— Нет, это не частный случай, а общественное явление. Я, как журналист, как изучающий нравы общества, обязан откликнуться...

— Тогда пишите что хотите, у меня нет времени подвергаться допросам.

— Отлично, прекрасно, господин Алимян. Значит, мне остается обратиться за содействием к господину Абетяну. Он мне и расскажет все, как было. А я... обязан написать... Это — общественное явление...

— Так отправляйтесь к нему, и чем скорее, тем лучше! — воскликнул Микаэл, поняв подлый намек журналиста.

Марзпетуни, считая, что в его лице задета честь всей печати, вышел, готовя в уме зубодробительную статью против буржуазии. Ах, эти буржуа! Никогда не следует им угождать... Не понимают, не ценят...

В ту же минуту, съездившись, точно пришибленный, к Микаэлу проскользнул серебряник-ювелир Барсег. Какая наглость, какая подлость! Ежели задевают честь таких господ, как Алимян, что же остается делать «людишкам», подобным Барсегу? Весь мир перевернулся, не разбирают ни больших, ни малых. Слыханное ли дело, чтобы сын Маркоса-аги получил в клубе оплеуху и город не провалился сквозь землю? Вот уже три дня Барсег ссорится со всеми. Злые языки говорят, будто Микаэл-ага отступился от дуэли. Оно, конечно,— разрази меня бог ради Микаэла-аги,— Барсег воюет за него. Кто такой

Абетян, чтобы Алимян подставил ему лоб? Физ, как будто не стало людей, готовых постоять за Микаэла-агу! Их у него, у Барсега, так много, что стоит только мигнуть — и голова Абетяна слетит, как «головка чеснока».

— Я сам, милый ты мой, из его мяса настряпаю битков да брошу собакам! У меня под рукой такие сорванцы, что довольно тебе шевельнуть пальцем — ночью жену у мужа вытащат.

Глядя на заплывшие глазки и медно-бурые щеки ювелира, Микаэл почувствовал невыразимое отвращение.

— Я не нуждаюсь ни в чьей помощи,— сказал Микаэл, давая понять, что не намерен больше тратить времени.

— Конечно, конечно...

— Ну, ступай! — строго приказал Микаэл.

Ювелир вышел раздосадованный, скрежеща зубами.

Микаэл позвал Багдасара и велел никого больше не пускать, но как раз в эту минуту вошел Сулян, у которого, казалось, глаза готовы были выскочить от чрезмерного возмущения. Что за дикость, что за дерзость, и кто на кого поднимает руку?! Мало убить — нет, надо вздернуть нечестивца на виселицу, бросить в нефтяную скважину!

— Человек я миролюбивый, ведь что ни говорите, а наука убивает в нас дикие инстинкты. Но, если вы позволите, я готов дать пять оплеух этому дикарю. Надо же по крайней мере внушить всем, что есть люди, на которых не должна быть занесена ничья рука. Алимяны — это не какие-нибудь Абетяны...

Патетическое излияние Суляна было прервано появлением супругов Марутханянов. Три дня подряд они пытались навестить Микаэла в этот именно час, но им не удавалось. Запершись у себя, он никого не принимал.

Мадам Марта стала бранить мать, сестер и всю женскую родню Абетяна, почему-то совсем не касаясь мужчин. Красные пятна на ее щеках посинели, ноздри продолговатого носа дрожали, тонкие губы пожелтели. Эта дама, только что снявшая траур, была одета по последней моде, напоминая первоклассную кокотку; огромная шляпа, разукрашенная перьями и цветами всех оттенков, шелковые розовые рукава «кираси», неестественно широкие в плечах и узкие в локтях, придавали ей сходство с китайской вазой.

Марутханян был одного мнения с адвокатом Пайк-аном: нужно обратиться в суд.

— Все через суд, все,— повторил он многозначительно.— Уж такие времена, ничего не поделаешь.

— Нет, Исаак, нет, этого слишком мало! — воскликнула Марта, беспокойно ерзая в кресле и, как заводная кукла, поворачиваясь то к брату, то к мужу, то к Суляну.— Этого хама следует хорошенько вздуть. И знаешь, как? Повалить при всех в клубе и бить, бить, бить! Не так ли, господин Сулян?

Сулян сделал неопределенное движение головой. Почему знать, что за человек этот Исаак Марутханян,— вдруг проговорится где-нибудь, дойдет до Абетяна, а тот и Суляна сочтет своим врагом. Он был занят Мартой, время от времени украдкой бросая на нее многозначительные взгляды. Ему не нравилось, когда Марта сердилась,— это портило ее. Но вот Марта успокоилась и стала мило улыбаться инженеру, стараясь делать это незаметно для мужа и брата. А хитроумный супруг, от проницательного ока которого в торговом мире ничего не могло ускользнуть, по отношению к собственной жене был довольно близорук...

Как человек осторожный и догадливый, Сулян понял, что теперь его присутствие в семейном кругу излишне. Прощаясь, он на мгновение впился глазами в глаза Марты; ее сухие пальцы дрогнули в его руке.

— Теперь мы можем говорить по душам о наших семейных язвах,— проговорила Марта по уходе Суляна.— Согласись, Микаэл, что наш брат человек никудышный. Будь он настоящим человеком, нынче же разбил бы голову твоему врагу. Ах, Микаэл, есть братья и братья... Мало того, что он нас обездолил, он не хочет защитить наше доброе имя! Ну да бог с ним, пусть защищает свою собственную честь, если сумеет,— продолжала она, меняя разговор,— только бы оставил нас в покое. Но в том-то и дело, что он нас в покое не оставляет: выписал на нашу голову эту женщину с ее щенками, точно нам мало своего горя. Для того ли наш бедный отец горбом сколачивал капитал, чтобы деньгами завладела иноплеменница? Микаэл, мыслимо ли это?

Исаак Марутханян молча слушал, предоставляя жене продолжать в том же духе. Он знал свойства им же заве-

денной машины: знал, что Марта не замолчит, пока снова не восстановит Микаэла против Смбата.

— Спрашивается, почему она до сих пор не сделала нам визита? — продолжала, все более и более горячась, Марта. — Кто она такая? Чья дочь? С ее приездом жизнь нашей матери омрачилась. Каждый божий день бедная мама проливает горькие слезы. Микаэл, милый, пора образумить Смбата, он позорит наше имя среди армян. Для чего посадил он себе на шею эту бабу?

Марта была удивлена: Микаэл на этот раз никак не отозвался на ее слова. В бешенстве она еще сильнее накинулась на Антонину Ивановну. Дошло до того, что золовка не пощадила даже репутации невестки и усомнилась в ее прошлом.

— Марта, — крикнул наконец Микаэл, — осторожней в выражениях. Эта женщина — жена нашего брата, мать его детей!

— О-го-го-го, вот новости какие! — воскликнула она, подпрыгнув в кресле. — Ты перешел на их сторону? Эта женщина и тебя приворожила...

Исаак тут только начал медленно снимать перчатку с левой руки. Это означало, что он собирается прийти на помощь жене.

— Сегодня, — начал он спокойно, подмигнув Марте, чтобы та замолчала, — сегодня я поручил адвокату подать в суд.

— Что? — спросил Микаэл, угадывая, о чем говорит зять.

— Наше дело. Думаю, что пора.

— Нельзя ли еще немного отсрочить?

— Отчего же нельзя, — ответил Марутханян, бережно обмахивая колени, хотя они вовсе не были запылены. — Значит, он намерен добровольно выделить нашу долю — так, что ли?

Микаэл, ходивший по комнате, смерил зятя глазами, уселся против него и, заложив ногу на ногу, спросил:

— Не мешало бы знать, о какой доле ты говоришь?

Супруги переглянулись: несомненно, что-то случилось с Микаэлом.

— О нашей законной наследственной доле, — ответил Исаак, пожав плечами.

— Знаешь ли, я не хочу судиться со Смбатом, не пытайтесь сбить меня с толку!

— Что? Что?! — вскричала Марта. — Ты не хочешь, так я хочу! Мои дети хотят!

— Ты не наследница и не имеешь права на долю.

— Эге, этого еще недоставало! Нет, Исаак, моего брата совсем, должно быть, сбили с панталыку.

— Может быть, тебе вовсе не хочется начинать дело? — спросил Марутханян.

— Если хочешь знать правду, да, совсем не хочется, — ответил Микаэл.

— Интересно знать — почему?

— Так просто, не хочется.

Марутханян бросил на Микаэла долгий испытующий взгляд.

— Чего ты глаза тарачишь? — возмутился Микаэл, ощущая взгляд его зелено-желтых глаз. — Неужели ты думаешь, что я так низко пал, что прибегну к мошенничеству против родного брата, чтобы набить тебе карман? Ты ошибаешься — я не подлец!

Марутханян беспокойно заерзал: он уверил жену, что контрзавещание подлинно.

— Не хочет начать дело, к чему лишние разговоры? Вставай, Марта, пойдем... Микаэл Маркович сегодня не в духе.

Микаэл прочел в глазах зятя вместе с едкой иронией какой-то злой умысел. Ему показалось: пара отвратительных змей, гнездящихся в этих зрачках, строит ему какие-то козни.

— А знаешь ли, — произнес он, с трудом подавляя отвращение, — ты... ты человек дурной, прости меня...

Марутханян неестественно громко захохотал, и его сухой голос прозвучал, как свист холодного ветра. Свет от лампы падал прямо на его лицо и освещал продолговатую голову, похожую на тыкву.

— Это я дурной человек? Ха-ха-ха! — снова засмеялся он и поднялся. — Марта, пошли... Обязанности свои я знаю; я дурной человек, но знаю, как мне поступить...

— Мехак! — вскричала Марта, удивленно глядя то на мужа, то на брата и не понимая подлинного смысла их спора. — Ты оскорбляешь моего мужа, в уме ли ты?..

— Прежде не был, а теперь, слава богу, да. Боюсь,

как бы этот человек не съел твоего ума. Знаешь, он слишком жаден, о-о, чересчур жаден, он все готов сожрать!..

— Посмотрим! — сказал Исаак, взяв шляпу с кресла. — Не пришлось бы тебе, Микаэл Маркович, раскаться в своих словах.

— Ну ладно, оставь меня в покое, ступай!..

— Что? Ты выгоняешь Марутханяна из дому? — произнес гость, ударяя шляпой по левой ладони. — Ну что ж, я дурной человек, так и не жди хорошего от меня. Марта, пойдем, я не скандалист!..

Микаэл с молчаливым негодованием проводил сестру и зятя.

— Змея! — невольно вырвалось у Микаэла.

Он сразу почувствовал облегчение. Подложное завещание сильно мучило его, и в глубине души Микаэл давно уже хотел избавиться от этой обузы. Теперь он был рад — разом сбросил ее с плеч. Это был смелый шаг — шаг, давший ему силу совершить другой, еще более смелый. Он посмотрел на часы — было восемь. В раздумье Микаэл приложил палец к губам и потупился, подбоченясь левой рукой.

Он подошел к столу и решительно нажал кнопку.

— Дома Сambat? — спросил он вошедшего Багдасара.

— Только что вышел.

— Подай пальто.

Микаэл наскоро оделся и твердыми шагами вышел из дому. Целых три дня он размышлял и колебался. Теперь он решил одним ударом разрубить узел. Будь что будет. Микаэл ставил на карту свою честь, и было бы ребячеством остановиться. Пусть думают о нем что хотят — он сделает то, чего требует совесть. Им овладела необычайная смелость. То, что он собирался сделать, перестало казаться тяжелым, неприятным, как третьего дня, вчера и даже час назад. Когда он выгнал Марутханяна, ему показалось, что сердце его теперь свободно от всякой робости.

Погода была холодная, вечер темный. В густом тумане уличные фонари казались серыми пятнами. От мелкого дождя тротуары стали скользкими. Он часто спотыкался, но взять извозчика не хотел. Ему было приятно мокнуть под дождем, дышать сырым воздухом и дрожать от холода.

Через четверть часа Микаэл остановился перед новым домом и, на мгновение задумавшись, нажал кнопку звонка. Дверь открылась как раз в ту минуту, когда он, повинувшись внезапно мелькнувшей мысли, уже собирался уходить.

— Барин дома? — спросил он у русской горничной, показавшейся на пороге.

— Дома.

Микаэл вошел, поднялся по маленькой лестнице, прошел в переднюю, освещенную электрической лампочкой. Его бросило в жар, кровь стучала в голове, сердце учащенно колотилось.

Однако он не отступил, постучался в дверь; в ответ раздался знакомый голос:

— Войдите!

3

Два приятеля, пятнадцать лет делившие хлеб-соль, любившие и защищавшие друг друга, встретились теперь как враги. Мысль эта с быстротой молнии мелькнула в голове Григора Абетяна, когда он в дверях увидел Микаэла. Гриша растерялся, не зная, разрешить ли войти бывшему другу или приказать прислуге вывести его. Но он подумал: должно быть, оскорбленный явился потребовать объяснений. Давно пора: ведь Гриша нарочно дал ему пощечину в общественном месте, чтобы сильнее оскорбить Микаэла и заставить непременно потребовать объяснений.

Гриша, сидя на небольшой восточной тахте в халате и турецкой феске, курил «наргиле». Обмотав длинной кишкой шейку высокого сосуда, он спокойно встал и подошел к письменному столу.

Микаэл молча сделал несколько шагов. Положив шляпу на стул, он потер лоб. Сознывая, к кому явился и зачем, Микаэл, однако, не знал, с чего начать. Он все еще боролся с собой, стараясь подавить чувство оскорбленного достоинства и выполнить долг, который подсказывала ему совесть и который томил его целые трое суток.

— Будешь говорить или нет? — обратился к Микаэлу Гриша, не глядя на него.

Он грузно опустился в кресло и, облокотясь на стул, устремил на гостя взгляд, полный отвращения. Микаэл

весь дергался от внутреннего волнения. Он сознавал, что унижается перед врагом, но какой-то голос шептал ему: «Иначе поступить невозможно».

— Гриша,— начал он, кладя руку на спинку стула,— я явился дать объяснения.

— То есть — потребовать объяснений?

— Нет, дать,— повторил он тверже.— Считаю меня дураком или трусом, как хочешь, но я пришел... Я вынужден был прийти. Ты всего не знаешь, ты меня оскорбил, но всего не знаешь. Мы — враги, врагами и останемся, только выслушай меня.

И он рассказал обо всем, начиная с того дня, когда увлекся Ануш, и до последней встречи с нею. Его рассказ уже не имел романтического оттенка. Он сознавался в своей тяжелой вине, но вместе с тем объяснял, что виновен не он один. В сущности он ничего не позволил бы себе, если бы Ануш оттолкнула его. Между тем, она не только не оттолкнула, напротив — еще поощряла его, а он опрометчиво увлекся, потерял голову, забыл стыд и честь и уважение к другу. Рассказывает же он все это не для оправдания, а для облегчения сердца и успокоения совести. Да, дорого заплатил бы Микаэл, чтобы исправить ошибку, но что можно сейчас сделать? Он готов дать Грише удовлетворение в любой форме, лишь бы оправдаться перед собственной совестью.

Вот смысл его многоречивой и бессвязной исповеди.

Гриша слушал молча и удивлялся. Что все это значит? Издевается, что ли, над ним Алимян, уж не струсил ли он, а может, сошел с ума? Так или иначе, этого шага он никак не ждал от Алимяна и сам никогда не поступил бы так.

— Ты удивляешься, видя меня таким жалким? — продолжал Микаэл дрожащим голосом.— Я бы расвирипел, если бы мне еще вчера сказали, что я приду просить у тебя прощения. Гриша, ты не можешь представить, что происходит во мне. За эти три дня я пережил больше, чем за всю свою жизнь. Совесть терзает меня, что я так оскорбил тебя. Покаявшись в грехе, думаю, что сумею хоть немного облегчить сердце...

— И переварить пощечину? — прибавил Гриша с глубоким презрением.

Кровь ударила Микаэлу в голову. На миг он потерял душевное равновесие.

— Пощечину?! — повторил он, отступая на шаг.

Минута была критическая. Гриша уже думал, что противник вот-вот бросится на него, и приготовился к защите. Но Микаэл вздрогнул и взял себя в руки: ведь поклялся же он быть сдержанным. Снова предстал перед ним светлый образ. И в эту минуту в его сердце пробудилась такая любовь к жизни, какой не испытывал он никогда. Руки его ослабели. Опустив голову, он произнес:

— Ты имел право даже убить меня...

Гриша не сводил с Микаэла глаз, зорко следил за каждым его движением. Он почувствовал к бывшему другу что-то похожее на сострадание и подумал: «Не слишком ли я суров?.. А его поступок? Неужели он не достоин суровой кары? И стоит ли продолжать разговор с этим низким бессовестным человеком, да еще у себя в доме?»

— Ты самым бесстыдным образом осквернил хлеб-соль; которую мы делили пятнадцать лет. Чего же ты хочешь теперь от меня, наглец, говори!..

— Ничего. Я пришел просить прощения. А там поступай, как тебе угодно. Тогда я ничего не буду бояться.

— Вон, вон из моего дома, голоса твоего слышать не могу! — закричал Гриша, яростно ударяя кулаком по столу.

Микаэл не шелохнулся: выгонят его или избыют — теперь ему все равно. Он выполнил свой долг: этого властно требовало сердце.

Гриша, облокотившись на стол, закрыл руками лицо. Было совестно за сестру. Уж не так он легкомыслен, чтоб не разобраться. Обвиняя Микаэла, Гриша вдвойне осуждал сестру. Микаэл по-прежнему стоял неподвижно. Он смотрел на толстую шею бывшего друга: жилы на ней вздулись и дрожали. Когда-то этот жизнерадостный здоровяк неизменно заражал его своим неистощимым весельем. Он любил Гришу больше всех друзей, считал его добрым и даже великодушным. Да, они дружили целых пятнадцать лет, вместе провели очень много веселых дней и ночей, ни разу не сказали друг другу обидного слова. И вдруг один отнял честь у другого. И точно: такой бесчестный, бессовестный человек не должен осквернять своим присутствием его дом. Пусть пощечина отныне жжет

ему лицо — это ничтожная кара за такое тяжкое преступление.

— Если бы в тебе было хоть немного порядочности,— заговорил Гриша, поднимая голову,— ты бы иначе искупил свою вину. Но я знаю — от тебя нечего ожидать мужества... Ты понимаешь, к чему я веду речь: моя сестра больше не может оставаться со своим мужем, она должна развестись...

Микаэл вздрогнул. Он понял смысл этих слов, их глубокую правду. Мысль о том, что жизнь его может быть связана с женщиной, ставшей ему ненавистной, привела его в ужас. Тем не менее Микаэл заявил без колебания:

— У меня хватит на это мужества, если тебе угодно.

Микаэл самоотверженно решил пойти и на эту жертву. Но Гриша хотел лишь испытать его. Признания сестры и Микаэла привели его к заключению, что они никогда не любили друг друга, а были только ослеплены безудержной страстью. Гриша знал, что, если бы даже Микаэл принес эту жертву, все равно честь Ануш будет запятнана: Микаэл долго с ней не уживется и бросит ее.

— Уходи, бога ради, уходи отсюда, не могу я спокойно тебя видеть в моем доме,— задышался Гриша.— Я бы своими руками задушил вас обоих, да что толку... Убийайтесь, делайте что хотите... Вы стоите друг друга!..

И, багровый от стыда, уронив голову на руку, Гриша другой рукой вцепился себе в волосы. В эту минуту он больше ненавидел сестру, чем Микаэла.

Микаэл безмолвно, приложив руку ко лбу и придерживаясь за стулья, направился к выходу. Он не знал, что еще сказать, оставаться было бесполезно.

Микаэл взял извозчика и целый час разъезжал по набережной. Он все еще не мог дать себе ясного отчета в своем поведении. То ему казалось, что он хорошо поступил, то представлялось, что унизился, и унизился самым ребяческим образом. Слыханное ли дело: человек, получивший оплеуху, вместо того чтобы потребовать удовлетворения, вдруг является давать объяснения обидчику. И как это он отважился, забыв стыд и самолюбие, предстать перед человеком, чью честь поправил? Уж не вернуться ли к Грише, но на этот раз уже в качестве врага, жаждущего мести? Нет, нет, он сделал то, что обязан был

сделать всякий, в ком теплится хоть искра порядочности. Он исполнил веление собственного сердца.

Терзаемый укорами оскорбленного самолюбия, Микаэл в то же время испытал какое-то душевное облегчение, которого не было у него еще часа два назад. Браня себя, он в то же время сознавал, что поступить иначе было нельзя, что он обязан был так поступить с товарищем, безжалостно им оскорбленным.

— Домой! — сказал он извозчику.

Горькое чувство значительно ослабело, оставалось сознание виновности. Вместе с горечью он ощущал какое-то непостижимое душевное удовлетворение. Микаэл был даже рад, что Гриша вторично оскорбил его, выгнав из дому. На месте Гриши разве он поступил бы иначе? Теперь Микаэл испытывал странное чувство: ему казалось, что легче перенести обиду, чем оказаться в положении обидчика. Пока Микаэл считал себя безусловно виновным, он переживал невыносимые душевные муки, теперь же, когда Гриша выместил на нем злобу, а он вместо мщения смирился и не последовал совету друзей, поборол ложное самолюбие и поступил так, как подсказывала совесть: подчинился решению того внутреннего судьи, о котором говорил Смбат. Теперь пускай смеются над ним — ему безразлично.

— Не спит? — спросил он горничную о Смбате.

— Только что вернулся.

Микаэл прошел к брату и рассказал ему все. На обычно хмуром лице Смбата появилась радостная улыбка — улыбка, выражавшая не только любовь к брату, но и надежду, что еще не все потеряно, что Микаэл может стать на правильный путь.

— В твоём сердце еще есть светлый уголок, — сказал Смбат. — А вот скажи, не чувствуешь ли ты, что укоры совести в тебе хоть немного стихли?

— Да, немного...

— Это лишь первый шаг. Приготовься идти дальше. Понятно, прося прощения, ты еще не заглянул своего проступка, но лучше покаяться, чем усугублять свои преступления.

— За мною больше грехов, чем ты думаешь...

— Тем лучше, покаешься сразу.

— Мне хочется признаться тебе сейчас же в одном из них, потому что это касается тебя.

— Меня?

— Да.

И Микаэл рассказал о столкновении с Марутханяном, признавшись, что контрзавещание — подложно. Ему казалось, что теперь уже совсем не трудно открыть брату все тайники души. Он походил на обвиняемого, который, обмолвившись, уже не может скрыть остальные преступления и летит в пропасть. Все равно Микаэл должен нести наказание, так уж лучше совсем облегчить сердце.

— Я прекрасно знал, что контрзавещание — подлог, — заметил Смбат, снисходительно улыбаясь, — и очень рад, что дело приняло такой оборот. Ты сам избавил себя от беды.

На другой день рано утром Микаэл опять зашел к Смбату и попросил поручить ему какое-нибудь дело. Праздность угнетала его и казалась постыдной. Смбат ответил, что все предприятия в разной мере принадлежат трем братьям и что Микаэл волен выбрать себе любое дело. Микаэл пожелал заменить Смбата на промыслах.

— Прекрасно, — ответил Смбат, пристально глядя брату в глаза, — как тебе угодно. Я отныне перестану ездить на промысла, ты же будешь держать меня в курсе дела.

Микаэлу показалось, что слова брата: «Ты будешь держать меня в курсе дела» — были произнесены загадочно, двусмысленно.

С этого дня на промысла стал ездить Микаэл.

Пока он старался забыться в труде, общественное мнение продолжало трепать его имя.

Оскорбительный прием пробудил в сердце Исаака Марутханяна свойственную ему злобу. Он хотел помочь Микаэлу избавиться от невыносимой опеки брата, сделать его независимым — и вдруг этот человек вместо благодарности выгоняет его из дома, да еще вместе с сестрой. Значит, раз и навсегда расстаться с надеждой на миллионы? Нет, это не так-то легко. Марутханян не допустит, чтобы богатством Маркоса-аги полностью завладели Алимяны!..

На другой день Исаак позвал Барсега и сказал, что труды его пропали даром. Показав контрзавещание, он

на глазах ювелира порвал его и бросил в печь. Барсег насунился. Он решил, что Марутханян кончил дело миром, получил свою долю и больше не нуждается в его услугах. Барсег потребовал вознаграждения за труды.

— Что? — воскликнул Марутханян насмешливо. — Труды? Какие такие труды — подлог? А тюрьмы отведать не хочешь, а?.. Ты вообразил, что Исаак Марутханян до того глуп, что подставит свою шкуру под судейские розги? Не тут-то было! Я тебя испытывал — ведь все равно подложным завещанием я ничего не добился бы... Слушай, если ты кому-нибудь пикнешь об этом, я покажу тебе когти. Ты знаешь меня!..

— Знаю, — произнес Барсег загадочно, — милый мой, не сердись. Слову твоему мы верим, ты наш благородный господин... Но только надобно заткнуть рот проклятому Мухану...

— Ты прав.

Марутханян достал несколько сотенных и передал Барсегу.

— Смотри не зажуль, ты получишь особо. Ты хоть и подлец, но все же наш Барсег...

Глаза ювелира засверкали от радости. Он замолк.

Марутханян велел подать чаю и повел с гостем дружескую беседу. Сначала расспросил о городских новостях, а потом, скорчив грустную мину, намекнул на пощечину, полученную Микаэлом, и тут же, коснувшись причины ссоры, рассказал обо всем.

— Ну, конечно, это останется между нами, — добавил Марутханян, помешивая ложечкой чай и глядя на дно стакана.

Он отлично знал Барсега. И Барсег прекрасно понял его.

В тот же день ювелир поведал тайну Мелкону Аврумяну. Его забытая лавка стала теперь для всех привлекательным уголком, а сам он — персоной незаурядной. Он рассказал все, что знал, а чего не знал, разумеется, дополнял собственной фантазией. Самолюбию его льстило уже одно то, что такой почтенный человек, как Папаша, в беседе с ним прохаживался насчет усиков мадам Гулямян. У Барсега тоже был зуб против Микаэла, прогнавшего его.

Вскоре сметения стала достоянием обывателей. А так

как Микаэл не совсем любезно припаял и Марзпетуни, то журналист в своей статье допустил несколько колкостей по его адресу.

Петрос Гуламян стал мишенью для явных насмешек и недвусмысленных намеков. Только теперь почувствовал он всю тяжесть своих рогов. Ему было стыдно смотреть на улице в глаза Папаше. А тот, знавший психологию обманутых мужей не хуже, чем национальные дела, из жалости к Гуламяну старался не разговаривать с ним.

Порою насмешка становилась до того явной, что Петрос Гуламян, как раненый кабан, готов был броситься на первого встречного. Как-то вечером, принимая кассу, он заметил у входа в магазин две знакомые фигуры — Мосико и Кязим-бека. Первый, подняв над головой два пальца, изображал рога, а второй, покручивая усы, хохотал во все горло. Оба были навеселе — возвращались с обеда, данного Папашей в честь недавно прибывшего английского журналиста.

Петрос, поняв оскорбительный намек, выскочил из-за кассы и стал в дверях магазина.

— Мы ищем Микаэла Алимяна, не здесь ли он случайно? — спросил Мосико ехидно.

— Честь имею кланяться, — добавил Кязим-бек, приподымая тибетейку.

— Шарлатаны! — заревел Петрос, готовый задушить Мосико.

Но тот успел вовремя улизнуть, схватив под руку Кязим-бека.

Невозможно было жить под одной кровлей с изменницей-женой. Петрос выгнал Ануш из дому, предварительно отшлепав ее по пышным плечам. Но этого мало. Он знал, что общество требует наказания и для соблазнителя; если Гуламян не накажет его, то все сочтут его трусом и человеком без чести. Оплеуху Петрос считал пустяком. Что такое пощечина для мужчины? Если карать, так беспощадно. Но как? С детства привык он склоняться, льстить, пресмыкаться перед людьми побогаче и носильнее. В нем укоренился страх перед Алимяном. Как же поднять руку на Микаэла, которого он считал настолько выше себя, насколько рубль больше копейки?

Однако Петрос не был лишен изобретательности. Как-то в сумерках, возвращаясь из магазина, он встретил зна-

когого бандита. Заложив под мышку правую полу чухи¹, бандит подкрался к нему, поздоровался и расспросил о «здоровье аги». Петрос сообразил, куда он клонит, и, достав из кармана трешку — обычную дань, — протянул бандиту. Но в ту же минуту его озарила блестящая мысль.

— Хочешь подзаработать? — спросил он шепотом.

— Я твой слуга.

— Пойдем!..

— Прикажи!..

Петрос пошел вперед. Бандит задержался, чтобы «ага» немного отошел, и пустился за ним, опасливо озираясь...

Опозоренная Ануш в слезах кинулась к матери. Куда еще она могла пойти? Сплетни и пересуды, проникая, как воздух, везде и всюду, дошли наконец и до старухи. Мать прокляла дочь, но у нее не хватило жестокости выгнать ее. Хоть она и была женщина патриархальная, но на склоне своих лет достаточно наслышалась про измены нынешних жен. Проступок родной дочери оскорбил в ней лишь материнское чувство, не отразившись на ее женской стыдливости. Какая женщина нынче не изменяет? Но почему именно ее дочь сбилась с пути?

В пылу гнева Гриша наговорил сестре много грубых слов. Ануш до того присмирела, что со слезами стала молить брата о пощаде.

— Как пощадить тебя, когда лишь самоубийство может избавить тебя от моего презрения?

«Самоубийство»? Нет, Ануш не может уйти из жизни и не имеет права — она мать. И, наконец, почему ей решиться на самоубийство? Потому что она изменила мужу? Господи, да какая женщина по нынешним временам не оскверняла супружеского ложа?

Тайком она послала Микаэлу пространное письмо. Описав свое безвыходное положение, она то порицала его, то молила о помощи. Заговорить о сожительстве она не решилась, твердо уверенная в том, что Микаэл не согласится на такой шаг после пережитого позора.

¹ Чуха — род верхней одежды.

Письмо тронуло Микаэла, но осталось без ответа. Да и что мог он сделать и чем помочь, когда, кроме угрызений совести, он ничего не чувствовал?

Микаэл избегал друзей и искал уединения. Городской обстановки он больше не выносил. Он проклинал свое распутное прошлое, чувствуя себя погрязшим по горло в болоте безнравственности.

Время постепенно ослабляло едкость сплетен и пересудов, и фамилии Алимян — Гуламян уже не так часто переходили из уст в уста. В деловом городе слишком дорожили временем, чтобы подолгу заниматься семейными драмами. Кроме того, произошли более интересные события: шли толки о самоубийстве видного коммерсанта. Упоминались имена жены самоубийцы и его молодого приказчика.

4

Смбат чувствовал потребность как-нибудь облегчить сердце. Ему недоставало общества, а среда, в которой он вращался, не удовлетворяла его.

До сих пор Смбат жил, замкнувшись в своем внутреннем мире. Никто не тревожил его, не бередил тайных сердечных ран. Вернувшись из России, он попал в среду, где его не щадили и не прощали непоправимой ошибки. Мать и сестра непрерывным ропотом надрывали ему сердце, пробуждая чувства, которые он искусственно заглушал шесть-семь лет подряд.

У него не было друга, с которым он мог бы поделиться переживаниями и облегчить душу. Он ясно видел, что внимание окружающих привлекает не он, а главным образом его капитал. Уж таков мир. Он видел, что даже те, которые громко кричат о морали, раболепно склоняются перед безнравственностью, если только под ней скрывается богатство. Все это побуждало его избегать окружающих и искать близкого человека.

Он было попытался хоть временно забыться в делах, но работа не давала ему успокоения. Лишь в одном деле он испытывал душевное удовлетворение и лишь в одном тесном кругу находил отраду. Это — постройка новых жилищ для рабочих и семья Заргарянов, где он бывал неиз-

менно всякий раз, когда ездил на промысла. Смбат радовался своему начинанию, и теперь ему казалось, что, не позаботясь он о рабочих, на совесть его легла бы новая тяжесть. Хотя управление промыслами он и передал Микаэлу, все же два-три раза в неделю ему приходилось туда наезжать.

Смбат не решался признаться, какая именно магическая сила влекла его так часто на промысла. Он обманывал себя, делая вид, будто его занимают только бытовые условия рабочих. Пробыв час-другой на стройке казарм, он спешил к Заргарянам и просиживал у них целыми часами.

Скромная по достатку семья принимала его не как хозяина или богатого нефтепромышленника, а как доброго друга. Здесь никого не стесняло его присутствие, он никого не утомлял своими приездами, даже паралитика. А сам он?.. Он любил беседовать с Давидом Заргаряном не только о своих, но и об общественных проблемах. Во время этих бесед его взгляд невольно останавливался на Шушаник. Девушка, с неизменной шалью на плечах, слегка склонив голову, внимательно вслушивалась в оживленную беседу дяди с гостем. Порою гость, увлеченный разговором, просиживал дольше, чем допускал простой такт. Случалось, что и Шушаник вступала со Смбатом в спор, особенно если разговор касался вопросов, доступных ее пониманию. В такие минуты морщины на лбу Смбата разглаживались, лицо светлело и в глазах появлялась радостная искорка.

Покидая скромную квартиру, по дороге в город Смбат часто погружался в вечно тревожный океан мыслей — то грустил, то радовался, вспоминая Шушаник, которая день ото дня делалась все молчаливее и печальнее. Грустил Смбат, вспоминая свою непоправимую ошибку, вспоминая милых детей; радовался, сознавая, какое впечатление производит он на девушку. Но в то же время Смбат понимал, что у него нет прав на симпатию, сквозившую в поступках и словах этого хрупкого создания. Он знал, что его частые посещения с каждым днем усиливают эту симпатию; он читал все душевные движения Шушаник в чертах ее ясного лица и в глазах, казавшихся все грустнее и грустнее. Вот почему Смбат счел наконец долгом прекратить визиты к Заргарянам. Напрасно! В каждый при-

езд на промысла точно какая-то непреодолимая сила влекла его в неприхотливую квартиру конторщика.

Как-то он отправился на промысла вместе с Микаэлом. По дороге они говорили о делах. Смбат жаловался на управляющего Суляна, чрезмерно занятого личными делами в ущерб своим прямым обязанностям.

— Раз ты недоволен, отчего же не уволишь? — спросил Микаэл.

— Легче терпеть убытки, которые причиняет служащий, чем лишить его места.

Заговорили о Давиде Заргаряне. Смбат с похвалой отзывался об его преданности, любви к делу, бескорыстии и познаниях.

— А что ты скажешь о его племяннице? — вдруг спросил Микаэл.

Смбат растерялся: какая связь между деловым разговором и Шушаник и почему Микаэл так пристально смотрит на него?

— Я интересуюсь твоим мнением, потому что она... равнодушна к тебе, — проговорил Микаэл, и какая-то тоскливая нотка прозвучала в его голосе.

Сконфуженный Смбат отвернулся от брата и устремил взгляд вдаль.

— Ты смутился... Должно быть, и сам чувствуешь, что она равнодушна к тебе. Да и как знать, быть может, ты сам тоже небезразличен к ней.

— Микаэл, ты знаешь, я не люблю глупых шуток...

— Но ведь ты любишь правду, не так ли? Думаешь, я буду против, если ты полюбишь эту девушку? Нисколько. Впрочем, я не могу одобрить твой вкус, вот и все...

— Неужели? — произнес Смбат неопределенно.

— Она самодовольна и с гонором.

— Может быть, — произнес Смбат тем же тоном.

— Она некрасива и несимпатична.

— Кажется, я никогда не расхваливал ее красоту.

Микаэл принялся насвистывать веселый мотив, совсем не отвечавший его взволнованному настроению. В Смбате зародилось нехорошее чувство: он позавидовал брату, его холостой свободной жизни. Однако, вспомнив детей, он поспешил заглушить чувство неприязни.

— Смбат, — прервал молчание Микаэл, опираясь руками на трость, — я сознаю, что ты нравственно выше

меня, что я в твоих глазах опустившийся, испорченный человек, но скажи, пожалуйста, когда же я удостоюсь твоего доверия хотя бы в хозяйственных делах?

Вопрос был неожиданный для Смбата. Он не догадывался, что бессвязные на первый взгляд слова Микаэла — отзвук его тревожных дум.

— Что ты хочешь сказать?

— А то, что у тебя ко мне нет доверия. Ты передал мне промысловые дела, а сам все-таки едешь сюда два-три раза в неделю. Выходит, что я не справляюсь со своей задачей или не умею проверять работу Суляна. Зачем ты делаешь меня смешным в его глазах?

— Хочешь, я совсем перестану ездить на промысла?

— Одно из двух: либо я, либо ты,— проговорил Микаэл, странно посмотрев на брата.

Через час, после осмотра промыслов, Смбат обратился к Заргаряну:

— Давид, угости меня сегодня в последний раз чаем...

На столе, покрытом белой скатертью, кипел блестящий самовар, когда вошли братья Алимяны.

Приглашая Смбата, Давид, разумеется, не мог не пригласить и Микаэла, хотя всей душой был против того, чтобы этот человек переступил его порог. После события в клубе Давид не мог побороть непреодолимого отвращения к Микаэлу. Пригласил он и Суляна, также вопреки своему желанию: отношения его с управляющим были натянутые. Для Суляна пребывание Заргаряна на промыслах было в высшей степени нежелательным. До этого Сулян действовал самостоятельно, расходовал сколько угодно, составлял счета как хотел. Теперь же он чувствовал над собою неподкупного контролера, грубая правдивость которого нередко его смущала.

Шушаник, стоя у стола, перетирала чайные стаканы. При виде Микаэла она вздрогнула и чуть не выронила стакан. Стиснув зубы, девушка сделала усилие, чтобы скрыть неудовольствие.

Сегодня Микаэл впервые видел ее в новеньком платье. Густые волосы, тщательно зачесанные, уложены на затылке; шпильки с трудом сдерживали их пышные волны. Сегодня она показалась Микаэлу и выше и стройней. Обаятельная женственность исходила от нее, словно ласковый майский ветерок. Даже движения ее изменились,

став более гибкими и мягкими. Казалось, в этой скромной, стыдливой девушке проснулась новая душа, окружавшая ее светлым ореолом.

Никогда бы Микаэлу и в голову не пришло, что когда-нибудь он мог так смутиться, как смутился сегодня в присутствии этой бедной девушки. И было отчего: во-первых, он провинился перед нею; во-вторых, опозорился на весь город. А главное, Микаэл боялся презрения Шушаник. Он испытывал даже какой-то страх, когда на мгновение его глаза встретились с умными, прекрасными глазами, в которых уже не замечалось прежней безмятежности.

Разговор носил чисто деловой характер. В новых постройках Смбаг усмотрел недостатки — результат неуместной экономии Суляна.

Он мягко делал выговор управляющему, но, видимо, был взволнован — временами в голосе его звучали гневные нотки. Ясно, что не Сулян был причиной его волнения. Инженер оправдывался, говоря, что он привык экономно обращаться со средствами Алимянов, избегать ненужных расходов, за что и пользовался доверием покойного Маркоса-аги.

Эта ложь вывела из терпения Микаэла, прекрасно знавшего, как на самом деле печется Сулян об интересах фирмы.

— Ради бога, не экономьте наших средств, когда этого не требует дело. Я знаю, например, что вы часто в погоне за копейками теряете рубли.

Беглое замечание Микаэла сильно задело Суляна, не отличавшегося особенной щепетильностью. Ему показалось, что тут не обошлось без Давида Заргаряна.

— Никто не может в моем присутствии сказать, будто я растрачивал когда-нибудь алимяновские рубли, — произнес Сулян в сердцах, бросая злобный взгляд на Заргаряна.

— Неужели? — вставил неопределенно Микаэл. — Оставим это. Лучше скажите, господин Сулян, сколько вы нажили на последней спекуляции?

Сулян опомнился и попытался улыбнуться.

— Я спекуляциями не занимаюсь.

— Напрасно вы скрываете, — подчеркнул Микаэл ехидно, — никто не посягает на вашу наживу, не бойтесь. Купили вы за шесть с четвертью, а продали за семь с чет-

вертью. Посчитайте-ка, Заргарян, сколько это выйдет на сто тысяч пудов?

— Ровно пять тысяч рублей,— ответил Заргарян тотчас и не без злорадства.

— Рад, очень рад,— обратился Микаэл к инженеру,— по крайней мере отныне меньше будете ругать буржуа при друзьях-идеалистах.

— Я не ругаю буржуа, а друзей-идеалистов у меня нет.

— Странно, очень странно,— продолжал Микаэл возбужденно,— выходит, что все мы идеалисты, покуда голодны. А стоит нам отведать вкус денег, мы любого буржуа оставим позади, да еще насмеемся над ним.

— Не понимаю, Микаэл Маркович, к чему вы все это говорите? — спросил Сулян, по-прежнему с улыбкой.

— К чему? Да так... А разве не правда, что вы, человек с высшим образованием, втихомолку делаете то же самое, что мы, неучи, делаем открыто?

Все с удивлением смотрели на Микаэла. Никто не мог понять причины его неожиданных и неуместных нападок на инженера. Между тем, причина была, хотя и очень деликатная: нападая на него, он в присутствии девушки косвенно выражал свое пренебрежение к людям с высшим образованием. Таилась в этих нападках и шпилька против родного брата, в эту минуту, как казалось Микаэлу, овладевшего вниманием Шушаник.

Микаэл был настроен не только против Суляна, но решительно против всех присутствовавших. Его раздражал даже ропот паралитика, время от времени доносившийся из соседней комнаты. Однако молчание Сибата начинало его смущать, он решил взять себя в руки. Заргарян поспешил переменить разговор. Ходили слухи, что один из местных крупных нефтепромышленников собирается продать свои промысла английскому акционерному обществу.

Сулян, предав забвению язвительные выпады Микаэла, стал доказывать, что с практической точки зрения, при нынешней выгодной конъюнктуре, было бы большой ошибкой продавать богатства страны иностранцам, хотя бы и за большие деньги. Тут Сулян был на высоте своего призвания; обнаруживая весь свой хозяйственный нюх, он с воодушевлением обрисовывал блестящую будущность

нефтяной промышленности. Никто не мог опровергнуть его доводы, даже Смбат, который возражал ему.

Воспользовавшись горячим спором, Микаэл, уже значительно успокоившись, обратился к Шушаник:

— Вы сердитесь на меня?

Девушка неопределенно кивнула.

— Я готов просить извинения, — прошептал он.

— Налить вам еще чаю? — громко спросила Шушаник, давая понять, что разговор вполголоса неуместен.

Это явное пренебрежение взбесило Микаэла. Он встал, подошел к окну и устремил взгляд на далекие вышки, нервно теребя часовую цепочку.

Несколько минут он смотрел в раздумье. А когда обернулся, Суляна уже не было, а Заргарян разговаривал на балконе с рабочими, держа какие-то перепачканные нефтью тетрадки.

Какая перемена! Лицо Шушаник уже не выражало прежней холодности. Девушка была поглощена беседой. Глаза ее восторженно сверкали; время от времени она нежно склоняла голову и, слегка краснея, перебирала бахрому скатерти. В невзрачной прозаической обстановке она и Смбат беседовали о вещах, чуждых этому воздуху, насыщенному неприятным запахом нефти. Смбат говорил о любви к природе там, где у природы не было ни единой привлекательной черточки.

Микаэл, настроенный против брата, попытался было вмешаться в разговор, но заметил, что лицо Шушаник разом изменилось. Она не могла скрыть, что ее занимает беседа только с одним Смбатом.

Вошел Заргарян и положил перед хозяином кусок известняка, пропитанного нефтью. Его только что добыли из новой скважины, и Сулян поспешил показать Смбату находку. Микаэл небрежно взял известняк и, понюхав, вскользь заметил:

— Мне кажется, что забьет фонтан.

— Видно, на твое счастье, — добавил Смбат, — пообещай что-нибудь Давиду, если забьет.

— Обещай ты сколько хочешь, мне все равно, — ответил Микаэл не без иронии.

Он подошел к Шушаник проститься.

— Погоди, нам вместе ехать, — обратился к нему Смбат.

— Я не в город, — бросил ему Микаэл и быстро вышел, не объясняя, куда.

Было время — если какая-нибудь женщина относилась к нему холодно или невнимательно, Микаэл с пренебрежением отворачивался от нее, как от дешевой игрушки. К женщинам он относился, как к одежде: не понравится или не подойдет — бросает и заводит новую. Сегодня впервые он почувствовал себя униженным пренебрежительным отношением женщины. Микаэл злился на Шушаник и проклинал себя — зачем он так чувствителен к ее холодности.

Выйдя от Заргарянов и миновав черные ряды вышек, Микаэл очутился на большой дороге. Полчаса спустя он остановился перед длинным придорожным строением. Оно принадлежало одному из дальних родственников Алимянов, незначительному нефтепромышленнику, лично управлявшему своими промыслами. Из-за густого пара вышел тощий человек с седеющей бородой, с закоптелым лицом, в кожаной куртке и широкополой шляпе.

— О-о, здорово, Микаэл, — встретил он гостя, — как это бог помог тебе вспомнить о нас?

— Дядя Осеп, сегодня я твой гость.

— Милости просим, честь и место!

Осеп проводил гостя к себе, в сырые комнатухи с низким потолком.

— Не обессудь, дружок, дворец мой не из роскошных, — сказал он шутливо. — Ничего не поделаешь, утробы моих проклятых колодцев оскудели, нефть приходится выжимать по капельке. Полчаса назад опять искривилась труба в новой скважине — беда да и только. Не взыщи, я отлучусь минут на десять. Позови слугу, вели подать, что тебе угодно. Свернуть бы шею этим бурильщикам!..

Дядя Осеп, оставив гостя, исчез.

Микаэл, не раздеваясь, лег на кровать и, опершись головой на руку, стал пристально рассматривать почерневшие стены. Только теперь вполне открылись неприглядные стороны его поведения, только теперь начали доносить невыносимые укоры совести. С одной стороны — жертва его прихоти Ануш, с другой — образ строгой Немезиды, исполненный беспредельного презрения. С одной стороны — безграничное отвращение, с другой — невольная робость перед незаметной девушкой. Там — близкое

прошлое в его сумрачных тенях, здесь — настоящее, неопределенное, мрачное, беспросветное. Испытывая отвращение к Ануш, он тянулся к Шушаник. Ненавидя одну, был отвергнут другой — какой-то заколдованный круг. Подобно скорпиону, оказавшемуся в огненном кольце, ему оставалось вонзить в темя собственное ядовитое жало — покончить самоубийством. Но его удерживала незримая рука, и внутренний голос неустанно шептал: «Ты испорчен, очистишь. Очистишь, заслужи уважение чистого существа». Ах, это существо! В чем ее нравственная сила, так властно царящая над ним и заставляющая его постоянно думать о ней? Вот она в светлом уюте вечернего стола разливает чай гостям и не сводит глаз со Смбага, слушая неизменно его одного, беседуя только с ним одним. Неужели она любит его? Разве ей не ясен несчастный исход такой любви? А Смбаг? Отвечает ли он тем же чувством? Если да, то почему же он скрывает? Как знать, может быть, и отвечает, а Микаэл, сам того не зная, играет смешную роль.

В Микаэле снова заговорило оскорбленное самолюбие. Он восставал не столько против Смбага, сколько против Шушаник. Поведение ее было бы понятно, будь она дочерью знатных, богатых родителей или красавицей. Но она ни то, ни другое. Какая же сила таится в ней и увлекает обоих братьев, рождая в них глухую вражду? Нет, не стоит думать об этом «ничтожестве», надо выкинуть ее из головы. Город полон такими, как она, и первая встречная может заменить ее. Микаэл идеализирует это ничтожное существо и ставит его на недосыгаемый пьедестал.

— Проклятье таким нефтепромышленникам, как я! — раздался голос дяди Осега. — Как ни бьюсь — ничего не выходит.

Он швырнул шляпу и подошел к умывальнику.

— Ну, что же ты заказал на ужин? — спросил старик, намыливая лицо.

— Ничего. Да и не надо. Не беспокойся, пожалуйста. Зашел к тебе немного отдохнуть.

Вскоре комната показалась Микаэлу душной, несносной. Ему пришло в голову, что как раз теперь, в эту самую минуту, когда он лежит в тоскливой комнате старика, там, за чистым столом, Шушаник в душе смеется над ним. Микаэл поднялся, и тотчас же за окном мелькнула

чья-то тень и исчезла. Осеп подошел к окну, но никого не заметил.

— Ты уходишь? — спросил он.

— Да, извини, у меня голова болит.

— Что с тобой, на тебе лица нет. Ты не в себе и дрожишь. Уж не захворал ли? Нет, я тебя не отпущу.

— Хотел у тебя переночевать, да вспомнил, что сегодня у меня в городе важное дело. До свидания.

Микаэл поспешно вышел. Он был убежден, что Смбат все еще сидит за столом, накрытым белоснежной скатертью, и беседует с Шушаник. Мысль эта не давала ему покоя. Ему захотелось непременно вернуться к Заргарянам, и если не войти к ним, то хоть посмотреть в окошко.

Во тьме нельзя было разглядеть черные вышки. Густой пар насыщал воздух сыростью, распространяя удушливый запах. Микаэл вышел на тропинку, пропитанную черной влагой. Он спотыкался, едва сохраняя равновесие. Микаэл невольно сравнивал свое прошлое с этой тропинкой. Вся его жизнь тянулась такой же черной, грязной и скользкой тропой, и грязь эта вьелась ему в кости. Перед ним в темноте проходили вереницей друзья, бессонные ночи, бесслабая жизнь. В нем вновь пробудилось невыразимое отвращение к прошлому.

Впереди открывался пустырь. Микаэл инстинктивно осмотрелся кругом. Промысла освещались электричеством, но от густого машинного пара свет тускнел, как в тумане. Ночью проходить по этим местам было небезопасно: в темных закоулках рыскали бандиты, всегда готовые обокрасть, а подчас и прикончить запоздалого прохожего.

Издали сверкнули красно-желтые окна Заргарянов. Опять Микаэл вознегодовал на самого себя: боже мой, мыслимо ли дойти до такой глупости, чтобы рабски подчиняться какой-то неизъяснимой силе! Он бежит сюда от грязного прошлого, чтобы омыться и очиститься в лучах сияющего света. Не вернуться ли ему и, положив конец ребяческим колебаниям и мукам, снова отдаться былой жизни? В самом деле, смешно. Даже оскорбительно поддаваться обаянию какой-то бедной, незаметной девушки — ему, человеку, для которого жизнь давным-давно потеряла все свое поэтическое очарование. Решено:

завтра же он рассчитает Заргаряна и выгонит вон с промыслов со всеми его домочадцами. Пусть проваливается она со своими чарам и презрением!..

Микаэл продолжал шагать, не отрывая глаз от окон скромной квартиры. Он уже приблизился к каким-то развалинам шагах в двухстах от квартиры Заргарянов. Ему почудилось, будто две тени перебежали дорогу и скрылись в развалинах. В душу закрался страх. Ощупав карманы, он убедился, что револьвер при нем, и слегка ускорил шаги, беспокояно озираясь.

В круговороте путаных мыслей мелькнула одна: «Неужели Петрос Гуламян лишен чувства чести? И впрямь, семейная честь его поругана, а он до сих пор и не думает о мести». Микаэл пренебрежительно пожал плечами. В ту же минуту он снова заметил те же две тени, скрывшиеся в камнях. На всякий случай достал револьвер и держал наготове. Но через минуту опять спрятал, смеясь в душе над своей трусостью. Снова вспомнился ему Петрос Гуламян.

— Презренный, — процедил он шепотом.

В тот же миг Микаэл почувствовал какой-то холодок на затылке и содрогнулся, словно от прикосновения отвратительного пресмыкающегося. Микаэл хотел обернуться, выхватив револьвер, но не тут-то было: четыре сильные руки крепко держали его за локти.

Удар по правой руке ослабил ее. Он спустил курок, и на мгновение темень прорезал блеск от выстрела — пуля прожужжала, как ядовитая муха. Микаэл попытался выстрелить еще раз, но второй удар окончательно обессилил руку. Оружие выпало. Один из нападающих быстро поднял револьвер со словами:

— Он тебе не к лицу!

— Не шевелись, а то уложим на месте! — раздался второй голос.

Ему зажали рот, не дав крикнуть о помощи. Лица бандитов были прикрыты башлыками. Говорили они с деланной хрипотой.

Микаэл попытался вырвать шею из чьих-то цепких пальцев, вцепившихся ему в горло. На минуту это удалось, и он успел спросить:

— Ограбить или убить?

— Ни то, ни другое... — послышалось в ответ.

— Бей полегче, чтоб не сдох! — раздался другой голос.

Бандитов было трое.

Удары сыпались по голове, по плечам, по груди, по спине. Завязалась неравная борьба: обезоруженный Микаэл и трое верзил.

Микаэл защищался зубами, головой, ногами...

Один из бандитов заорал и скорчился, схватившись за живот. Остальные пришли в иступление.

— Ах, вот ты как! — вскричал другой и сбил с ног Микаэла.

Принялись топтать его.

Схватив одного за ногу, Микаэл опрокинул его навзничь, навалился и стал душить. Отчаяние удесяттерило его силы. Бандит мычал под ним, как раненый бык, и Микаэл, конечно, задушил бы его, если б вслед за острым холодком не почувствовал теплоты собственной крови. Рука его ослабела, и он выпустил бандита.

— Наложили метку, и будет с него — отпустите! — приказал главарь бандитов.

Микаэл задыхался. Он застонал от боли. В темноте вся жизнь представилась ему непроницаемым мраком, хаосом беспутства. Неужели Микаэлу суждено так позорно умереть?.. Почему?.. Кто мстит ему?..

— Петроса-агу знаешь? Мы его слуги, — услышал он вдруг.

«Ах, вот как! Вот откуда удар! Человек, казалось, совсем чуждый чести — и тот нашел средство отомстить. Эти бандиты наняты Гуламяном — бесчестная, но страшная месть!..»

— Хватит! — послышался голос главаря. — Не то помрет... по дешевке... Петрос скуп...

Они исчезли в темноте, как ее же собственное исчадие.

Беспомощное тело Микаэла распласталось на песке.

А там, вдали, все еще сияли красно-желтые окна Заргарянов.

5

Пока совершалась эта дикая расправа, над семьей Алимянов стряслась другая беда.

Вернувшись в город, Смбат узнал, что Аршак с утра исчез неизвестно куда. Приставленный к нему надзира-

тель, или, как его называл Срафион Гаспарыч, «ляля», весь день провел в тщетных поисках. Дело было так: утром Аршак попросил у Срафиона Гаспарыча денег. Старик, вместо того чтобы дать ему деньги на руки, передал их надзирателю. Аршак взбунтовался, стал браниться площадными словами и, убежав, заперся в кабинете Смбата. Надзиратель не осмелился последовать за ним. Вскоре юноша незаметно выбрался оттуда. Никто не видел его, кроме горничной Антонины Ивановны. Бледный и взволнованный Аршак крикнул ей:

— Скажешь, что они меня больше не увидят!

Горничная кинулась к вдове Воскехат и передала слова Аршака. Вдова немедленно послала надзирателя вдогонку за сыном, но все поиски оказались тщетными.

Выслушав неприятную весть, Смбат хлопнул себя по лбу и поспешил в кабинет. Подойдя к письменному столу, он выдвинул ящик, оказавшийся незапертым. Ошеломленный, он отступил: средний ящик взломан, бумаги перерывы. Осмотрев в ящике все углы, перебрав бумаги, открыв другие ящики, пошарив под столом, на столе, в папках и не найдя того, что искал, Смбат бессильно рухнул в кресло.

Утром он получил из банка довольно крупную сумму, которую должен был вечером же, по возвращении с промыслов, выплатить подрядчикам и мастеровым, занятым на стройке нового дома.

Деньги исчезли. Не было сомнения, что их похитил Аршак. Теперь ясна и причина побега. Только воровства не доставало — он пошел и на это.

Смбат убрал бумаги, спустился в контору и попросил явившихся за получкой прийти завтра. Затем, вызвав служащих, он поручил им искать Аршака повсюду, искать даже в домах терпимости. Зная брата, он легко допускал мысль, что украденные деньги Аршак растратит в разных притонах. Но о краже Смбат никому ничего не сказал, скрыл даже от Срафиона Гаспарыча.

Когда он поднялся наверх, мать обрушила на него град упреков. Вдова твердила, что Аршак ни в чем не виноват. За последнее время его вконец измучили, отдав под надзор какой-то «ляли». Не давали «бедному детке» даже на карманные расходы. Ведь Аршак рвал на себе волосы, плакал, грозился покончить с собой. И, конечно,

он исполнил свою угрозу: либо бросился в море, либо повесился, либо пустил себе пулю в лоб... Мальчик он горячий, с него станет...

— Ничего подобного Аршак не сделает! — вскричал Смбат, возмущенный упреками матери. — Он не из тех, что способны наложить на себя руки. Могу поклясться, что он сейчас где-нибудь кутит с кокотками.

— Нет, сынок мой хоть и не больно умен, но и не глуп, — проговорила старуха, утирая слезы. — Один сбился с пути, другой идет по его следам. А ты-то, ты похуже их обоих, ты еще больше уязвил мое сердце!..

Избавившись от матери, Смбат попал в руки сестры. Едва успела Марта войти, как набросилась на брата:

— Ты не даешь житья сыну моего отца. Попал к жене под башмак и делаешь все, что она велит. Эта женщина развалила наш отчий дом.

— Марта, оставь ее в покое. Говори мне, если есть что сказать.

— Мне нечего тебе сказать, а ее пора бы проучить — это она разоряет наш дом. Чтобы у любимого сына Маркоса-аги не было денег на карманные расходы, чтобы он бросился в море, — простит ли это господь?

— Да, у него нет денег, — горько усмехнулся Смбат. — А вот любовниц он содержит на деньги, что тайком берет у матери.

— Во-первых, это ложь: у Аршака нет любовниц. Во-вторых, если даже он их содержит, то отлично делает, — пусть недруги перелопаются от зависти. У кого в наше время нет любовниц? Если мой муж, имея такую жену, как я, — и тот содержит любовниц, то отчего бы не иметь их такому парню, как Аршак? Теперь это принято...

Смбат посмотрел на сестру изумленно и возмущенно. Ее дерзкая откровенность оскорбила его до глубины души, задев чувство кровного родства. Ему стало стыдно.

— Замолчи, замолчи, Марта!

Но Марта уже потеряла чувство меры.

— Подумаешь, святоша нашелся тоже, — «замолчи!» И не подумаю! Кого мне стыдиться — уж не тебя ли? Сам хорош. Ты б почаще ездил на промысла.

Намек был до того бесстыден, что Смбат не сдержался:

— Замолчишь ли ты, глупая женщина?

— Что, за живое задела? Не бойся, я тебя вовсе не корю. Имея такую жену, можно делать все что угодно.

Вмешалась вдова Воскехат и принялась умолять их прекратить ссору.

Смбат вышел, но его ждала новая сцена. Антонина Ивановна была сильно взволнована. Незадолго перед тем ее обидела свекровь. Истерзанная горем вдова изливала скопившийся в ее сердце яд на кого попало. Встретившись с невесткой в коридоре, она нескромно сказала ей несколько обидных русских слов, подлинного значения которых и сама не понимала. Невестка не могла объяснить себе причину этой грубой брани. А причина была все та же: с того дня, как невестка переступила их порог, на семью Алимянов не перестают сыпаться несчастья.

Антонина Ивановна хоть и не была нервной женщиной, но на этот раз оскорбление ее так задело, что при виде Смбата она разрыдалась.

— Это не жизнь, а сущий ад! — твердила она.

— Нет, не ад, а хаос, — произнес Смбат.

Нервы его уже не выдерживали семейных неурядиц. Голова кружилась, в глазах темнело. Он боялся, что столкновение примет крутой оборот и усилит обиду, нанесенную жене, которая на этот раз казалась Смбату виновной жертвой.

Он поспешно вышел, спасаясь и от жены, и от матери, и от братьев, и от сестры. Что за ничтожная и смешная участь — находиться между двумя враждебными станами и быть своего рода мишенью для огня с обеих сторон! Вот из каких в сущности незначительных мелочей иной раз возникает драма жизни. Как быть? Расстаться с матерью или порвать с женой? Он не может решиться ни на то, ни на другое. С одной связан отцовским завещанием и сыновней любовью, с другой — детьми. Пусть философы теоретически разрешают подобную дилемму — Смбат бессилен ее решить...

Он взял извозчика и отправился на взморье. Стоял холодный лунный вечер. Море было спокойно. Легкие волны плескивали о песчаный берег с тихим, как шуршание шелка, шорохом. В воздухе, пропитанном молочным туманом, было сыро. Яркие лунные лучи, пронизывая мглу, не освещали поверхности моря, а задегивали ее нежным покровом, из-под которого неисчислимыя мачты кораблей

сквозили каким-то фантастическим лесом. Время от времени раздавались пароходные свистки, точно стрелы, пронзавшие воздух и исчезающие в туманной дали.

Деловой город все еще бодрствовал. Оттуда доносился невнятный гул. Иногда выделялся пронзительно переливчатый голос, постепенно усиливавшийся и постепенно же замиравший. Это распевал перс, громко возвещавший радость и горе своего сердца необъятному простору.

Экипаж Смбата поднимался по косогору; все шире и шире открывалась гладь моря. Его обогнали два экипажа. Компания кутил после пирушки выехала подышать чистым воздухом. Кто-то из них с большим воодушевлением наигрывал на простой дудке грустную арию из «Cavaliera rusticana». Казалось, тихие, ласкающие звуки, проникавшие прямо в сердце, исходят от луны, гармонируя с меланхоличным небом.

Все это растревляло сердечную рану Смбата, и ему казалось, что в эту минуту все счастливы, кроме него.

Не доезжая до мыса, возница, не спрашивая, повернул лошадей.

Смбат возвратился домой. От служащих, искавших Аршака, все еще не было никаких вестей. Воскехат рыдала, проклиная судьбу. Марта ушла, еще раз восстановив мать против Антонины Ивановны. А Антонина Ивановна, уединившись у себя, совещалась с братом, как ей быть.

Неприветливый холод в доме угнетал Смбата. Он поспешил снова выйти. На этот раз Смбат, пешком пройдя несколько улиц, зашел в один из лучших ресторанов города. Заняв место в укромном уголке зала, он спросил бутылку пива. Из смежной комнаты доносился стук бильярдных шаров. За соседними столиками человек двадцать иностранцев — большей частью шведов и немцев — весело ужинали, попыхивая коротенькими трубками.

От пива горечь на душе Смбата постепенно начинала стихать. На миг его покинул черный призрак неудачно начатой и печально продолжающейся супружеской жизни. Забыл Смбат и об Аршаке — стоит ли думать о нем? Промотает деньги и рано или поздно вернется. Что такое братская любовь, как не ветхий предрассудок? То же самое и сыновья. Все пустяки, бессмысленные чувства, искусственно привитые человечеству еще в первобытные вре-

мена. Да, непрочны все родственные связи, как и вообще девяносто процентов всех людских чувств. Лишь одно чувство устойчиво, искренне, врожденно и неискоренимо — это эгоизм. Долой предрассудки — надо быть эгоистом!

— Человек, пива! Это не годится, подай другого. Рюмку коньяку, еще, еще!..

Он опорожнял бокал за бокалом. Здесь он не слышал ни неприятного голоса жены, ни непрерывных жалоб матери, ни детского крика. Счастливы холостяки! Как привлекательна атмосфера ресторана, как приятны веселые лица незнакомых посетителей! Тут все ясно и понятно, а дома так сложно и нелепо.

Он уронил голову на руки. Сознание мутилось — не о ком больше думать. Все смешалось в какой-то непроницаемый хаос...

В густом тумане табачного дыма к нему подошел кто-то с шапкой в руке и тихонько окликнул. Смбат поднял голову и узнал одного из служащих, посланных на розыски Аршака.

— Нашли наконец этого негодяя? — спросил он, подымая бутылку, чтобы налить.

— Сегодня в двенадцать часов, перед отходом поезда, его видели на вокзале с какой-то женщиной.

— С женщиной? — повторил Смбат, — Ах негодяй, мерзавец! Надо разыскать его, непременно разыскать. А вы почему пришли? Как вы решились явиться, не найдя его?

— Я пришел доложить, что вас просят на промысла.

— Пожар? — воскликнул Смбат. — А мне что, пускай все сгорит, сгинет...

— Не пожар, а по другому делу вас зовут.

— Оглично, отлично. Так вы говорите, что Аршака видели на станции. Значит, он бежал с этой женщиной? Надо сообщить полиции, телеграфировать, разослать людей. Ах, распутный, испорченный мальчишка! Чловск, получи... Сейчас же отправлюсь в полицию. В полицию? — повторил он вдруг, меняя тон. — Чушь я говорю. Не к чему мне туда таскаться, я не обязан. Пусть пропадает, проклятый, он мне не брат, нет у меня братьев! Убирайтесь вы тоже, слышите, убирайтесь! Оставьте меня в покое. Человек, коньяку!..

Приказчик изумленно смотрел на него. Он впервые видел хозяина пьяным.

— Если прикажете, я схожу в полицию,— проговорил приказчик, теребя шапку,— а вас просят непременно и сейчас же выехать на промысла...

— Промысла? Да, промысла, надоели мне эти промысла! Человек, есть тут телефон?

— Есть.

Приказчик соединился с промыслами Алимянов и вызвал Суляна. Смбат переговорил с управляющим и узнал о случившемся с Микаэлом.

— Избили? Ранили? Но кто же? — воскликнул Смбат и, шатаясь, отошел от телефона.

Эта весть сразу отрезвила его... Он потер лоб, как бы просыпаясь, велел приказчику сообщить в полицию об Аршаке, а сам вышел, сел в экипаж и помчался на промысла.

Холодный воздух разбудил его усыпленный мозг. Случай с братом только теперь начал волновать его. Как знать, быть может, он и убит, а Сулян скрыл. Он мог и покончить с собой — в последние дни Микаэл слишком ушел в себя. Понятно, его угнетало сознание оскорбленной чести. Господи, что за ужасное положение! Один брат избит и опозорен на весь город; другой разлагается живо, вдобавок вор и отщепенец; сестра — сварливая злючка; мать во всем потакает детям. А сам-то, сам-то он что сейчас делал в ресторане! Пил и заливал вином горе. Какой это злой дух проник в дом Алимянов и разрушает его? Кто проклял эту несчастную семью? Почему богатство, вместо того чтобы осчастливить, приносит несчастье? Что за семейство? Забыты традиции, нравственные скрепы расшатаны. К чему поведет этот хаос?..

Подавленный этими мыслями, Смбат приехал на промысла.

Побой оказались настолько жестокими, что жизнь Микаэла была в опасности. Он долго пролежал в беспамятстве под открытым небом. Очнулся Микаэл на руках рабочих. Снова потеряв сознание и снова придя в себя, он увидел встревоженные лица Суляна и Заргаряна, а за ними — пару прекрасных глаз, полных неподдельного сочувствия.

О происшествии тотчас сообщили полиции и вызвали врача. Микаэл просил, чтобы полицмейстер избавил его от допроса: нападение совершено неизвестными с целью грабежа. Никого из них он не знает.

Увидя Смбата, Микаэл заплакал, как ребенок.

— Трое на одного, трое на одного! — повторял он с трудом, опасаясь, что брат осудит его за недостаток отваги.

Все его тело было в синяках, рука изранена, лицо безжалостно исцарапано. Всего опасней оказалась рана на голове. Врач боялся заражения крови и предписал полный покой.

Семья Заргарянов окружила Микаэла заботами и вниманием: каждый старался быть чем-нибудь полезным.

Следуя великодушному порыву, Шушаник, забыв обиду, ухаживала за больным, как родная сестра. Случай был исключительным, и не было ничего предосудительного в том, что она сочувствовала избитому, тяжело раненному, дошедшему до отчаяния молодому человеку, лежавшему в соседней комнате.

На другой день рана на лбу стала сильнее беспокоить Микаэла. Пришлось вызвать из города хирурга. Осмотрев больного, он хмуро покачал головой: глубокая и большая рана была опасна для мозга. Больной то и дело впадал в беспамятство.

Смбат вернулся в город, чтобы осторожно сообщить матери о несчастье с Микаэлом. Вдова все еще была в отчаянии. Она не хотела верить, что Аршака видели живым, и неустанно твердила:

— Переверните все на свете, только разыщите тело моего бедного сыночка!

То же повторяла и дочь. Обе срывали гнев на Антонине Ивановне, при всяком удобном и неудобном случае попрекая ее, точно она была причиной всех бед, постигших семью.

Новая беда потрясла вдову: она лишилась чувств. Марта привела ее в сознание, и тотчас обе они, в сопровождении Исаака Марутханяна, выехали на промысла. Они прибыли туда как раз в то время, когда врачи ожидали разрешения кризиса...

Исаак Марутханян, сильно заинтересованный, украдкой допытывался у врачей — выживет ли Микаэл? Один

из них безнадежно покачал головой; никто не заметил радостного блеска, мелькнувшего в зелено-желтых глазах Марутханяна.

К вечеру Микаэл потерял сознание, в жару начал бредить и беспокойно метаться: то садился, то ложился, сбрасывая одеяло. Из его бессвязных слов вдова угадала тайну, усиленно от нее скрывавшуюся. Марта уже не раз намекала матери на преступную связь брата с мадам Гуламян. Вдова не придавала этому особенного значения: времена настали другие, давно прошла та пора, когда жена бывала верна мужу. Теперь все жены изменяют. Ничего особенного нет, что сын воспользовался слабостью Ануш Гуламян. Микаэл молод, холост и «горяч»... Старуха даже несколько гордилась в душе ловкостью сына: знать, парень не промах, коли из объятий мужа сумел вытащить жену, только надо было вести дело «потихоньку», чтоб никто не знал...

Микаэл в бреду повторял: «Убирайся, мерзкая бесстыдница, ты меня обесчестила, опозорила, убила во мне душу, вон, вон!..» Из дальнейших слов больного выяснилось, что избиение было подстроено Петросом Гуламяном.

После полуночи бред прошел, больной утих и задремал. Утром, очнувшись, он уставился мутными глазами на мать. Хотя кризис еще не разрешился, Микаэл чувствовал облегчение. Рана на голове мучила уже не так, как вчера. Никогда еще материнское лицо не казалось ему таким милым, никогда еще ему так не хотелось ласки, как в этот день. Он растрогался, взял руку матери и прижал к груди.

Вошла Шушаник с чайным подносом, с серой шалью на плечах. Ее задумчивые глаза с состраданием обратились к несчастной матери, словно спрашивая: каково сегодня больному? Вдова украдкой вытирала влажные глаза черным шелковым платком. На лице Микаэла промелькнула улыбка глубокой признательности. Из-под белой повязки больной устремил воспаленные глаза на девушку, он вспомнил тот день, когда подошел к ней с грязными помыслами. Он негодовал на себя — почему еще вчера ему казалось странным, что эта девушка, при всей своей бедности, могла высказать столько гордости и самолюбия? Ах, как бы дать ей понять, что он

готов упасть на колени, просить без конца прощения и целовать край ее платья.

Когда Шушаник, поздоровавшись, поставила поднос и осторожно вышла, Микаэл обратился к матери:

— Нравится тебе эта девушка?

— Очень.

В его мутных глазах сверкнула радость, мгновенно сменившаяся печалью. Он ничего больше не сказал, повернулся к стене и, глухо простонав, закутался в одеяло с головой. Вскоре мать услышала сдержанные рыдания.

К вечеру у больного опять начался бред. Хирург сменил повязку и уехал в город. Больной слегка забылся. Вдова Воскехат, чтобы рассеяться, попросила к себе мать и тетку Шушаник и беседовала с ними шепотом.

Больной снова застонал, потом, сбросив одеяло, здоровой рукой ударил в стену. Теперь другие мысли тревожили его. Мать Шушаник, услышав имя дочери, удивилась, услышав еще раз, вздрогнула. «Чтобы я да стал просить прощения, я, я, Микаэл Алимян! Шушаник, Шушаник, фи, что за банальное имя!» Немного спустя: «Тише... она идет... шаль на плечах... открытый лоб... бедная... гордая... Нет, не отдам ее я тебе... Смбат, не отдам!» И опять, после паузы: «Вы лжете... вы лжете, между нами никакой разницы... Смбат не лучше меня... я не подлец!..»

Как раз в эту минуту вошел Смбат. Он подсел к больному, прислушался. Из обрывков несвязных фраз он понял тайные чувства брата, угадал, что он влюблен в Шушаник. Смбат и пожалел и позавидовал. Впрочем, можно ли было завидовать этому падшему, опозоренному, избитому и полуживому человеку?

Ночь напролет Смбат провел с матерью у постели больного. Были минуты, когда ему казалось, что больной не выживет. Сердце у него сжималось при мысли, что брат может так бесславно кончить жизнь.

На другой день консилиум установил, что кризис разрешился, однако необходим полный покой. Смбат поехал в город узнать об Аршаке.

Весь день Микаэл чувствовал себя удовлетворительно. Ночь провел спокойно, а на следующее утро значительно окреп. К полудню им овладело какое-то лихорадочное возбуждение: он неустанно разговаривал с матерью, про-

сил у нее прощения за причиненные страдания. Уверяя мать, что отныне начнется новую жизнь, что все ему опротивело, лишь бы выздороветь... О, как он не хочет умереть!..

Прибывшие после обеда врачи нашли, что опасность миновала. Вдова немного успокоилась и поспешила со Смбагом в город. Ей казалось, что там уже получены дурные вести об Аршаке, но от нее скрывают.

Больного оставили на попечении Давида Заргаряна, вопреки желанию Суляна, всячески старавшегося своей заботливостью отличиться перед хозяином. В глубине души он обрадовался, услышав об опасениях врачей. А теперь, когда Микаэлу стало лучше, он счел благоразумным проявить максимум внимания.

Через день, после глубокого сна, больной проснулся настолько окрепшим, что собирался встать, однако врач предписал пролежать еще сутки.

К вечеру Микаэла навестила компания бывших друзей. Все, кроме Папаши, были навеселе. В тот день Папаша на своих промыслах закатил обед в честь приезжего редактора, часто называвшего его в своей газете «известным благотворителем».

Кязим-бек выразил возмущение по поводу нападения. О, он обязательно узнает, чьих рук это дело, и прочит злодеев как следует. Ниасамидзе, ухватясь за рукоять кинжала, клялся всех перебить. Мелкон и Мосико перемигнулись, ехидно улыбаясь, — они уже догадывались, кто устроил избиение,

Присяжный поверенный Пейкарян считал, что если злодеев разыщут, то, безусловно, сошлют «за покушение на убийство».

— Разыскать не трудно, но как доказать? — двусмысленно заметил Мосико, незаметно для Микаэла подняв два пальца над головой.

— Я все-таки.. гм... опять скажу.. гм... лучше мирно, — вставил Папаша.

Несмотря на соблезнующий характер визита, почтенный холостяк был очень весело настроен. Компания острела и отпускала шутки на его счет. Его обнимали, тискали, целовали. А он с улыбкой повторял:

— Миндаль, миндаль...

Это должно было означать, что шутки друзей ему приятны, как миндаль.

— Микаэл, скорей выздоравливай, — сказал Мосико. — Папаша на днях закатит большой обед. Из Ирландии ожидают двух ученых путешественников. В их честь он хочет устроить банкет, авось удастся спустить им сомнительные нефтяные участки... Будет держать речь о мировом значении Баку. Ныне Папаша стал космополитом. От патриотизма мало пользы.

Микаэл из вежливости принужденно улыбался, но вскоре многословие посетителей ему наскучило: ясно, что иные явились поиздеваться над ним, в особенности Мосико, которого он не переносил. Микаэлу стало не по себе, когда апатичный картежник преднамеренно упомянул о Грише и намекнул на примирение.

— Должно быть, у тебя иссякли темы для остроумия, — сказал Микаэл сердито.

— Отчего же? Сколько угодно!

— Так оставь меня в покое.

— Ваше сиятельство, поехали, — обратился Мосико к князю Ниасамидзе, — наш приятель в плохом настроении.

Микаэлу показалось, что Мосико сделал насмешливый жест. Нервы его не могли перенести даже самой невинной насмешки. Не выдержав, он презрительно бросил:

— Да, я в плохом настроении, но это не имеет отношения к порядочным людям.

— Что ты этим хочешь сказать? — спросил Мосико.

— А то, что за глаза ты про меня всякие гадости говоришь, издеваешься надо мной, как над трусом, и без зазрения совести являешься со своим сочувствием. Это не порядочно, дружок...

Замечание было справедливо. Мосико почувствовал вину: ведь сострил же он однажды насчет приятеля, да еще при Суляне, имевшем неосторожность сообщить об этом Микаэлу. Тем не менее он попытался отразить удар:

— Не будем лучше говорить о порядочности, это завело бы нас далеко, и почему знать, какие дела там обнаружатся. Я предпочитаю молчать.

— Нет, уж лучше говори, — подчеркнул Микаэл с раздражением. — Хоть раз поговорим искренне.

— Искренне? Нет, друг мой, искренность — вещь залежалая, а я гнилого товара не покупаю. Не хочется про-

сто мараться. Попробуй хоть на минуту быть искренним — и увидишь, какие гнилые рыбы всплывут.

Папек был ясен. Микаэлу стало не по себе.

— Ваше сиятельство, — с едкой иронией обратился он к князю Ниасамидзе, — чтобы положить конец разговору, не могли бы вы рассказать что-нибудь из жизни тифлисского английского клуба?

Мосико вздрогнул. Рассказывали, будто в английском клубе за картами он был уличен когда-то в легком шулерстве и вежливо выведен.

— Тем для разговоров у нас и в Баку хоть отбавляй, — заметил Мосико, сильно задетый. — Думаю, что не зачем за ними ездить в Тифлис.

— Например? — спросил Микаэл, покусывая губы.

— Например, разве не могут служить предметом разговора хотя бы женщины с усиками или же грубые лавочники, при помощи бандитов разыгрывающие роль Отелло?

Все молча переглянулись, потом посмотрели на Микаэла. Замечание было в высшей степени дерзким и язвительным. Ждали еще более оскорбительного ответа Микаэла. Кязим-бек от удовольствия покручивал усы, рассчитывая, что разгорится ссора и потребуются его вмешательства. Князь Ниасамидзе делал знаки Мосико, чтобы тот замолчал. А Папаша, точно баран, изнуренный жарой, то и дело помахивал головой. Он был бы рад улизнуть, не желая присутствовать при неприятной ссоре: ну и народ же эта «молодежь» — обижается на всякий пустяк!..

Микаэл, дрожа, с минуту смотрел в лицо противнику, потом его гнев распространился на всех.

— Чего вы от меня хотите? — крикнул он не помня себя. — Зачем вы пришли? Кто вас просил? Ступайте, надоела мне ваша дружба, уходите!.. Вы мне больше не товарищи!..

Этот неожиданный взрыв изумил всех: обидел один, а досталось всем.

— Легче, легче, мы-то чем виноваты? — заметил Кязим-бек с иронией.

— Все вы стоите друг друга, все!..

— Молодец, нравится мне твоя откровенность, клянись жизнью, — ты прав!

— Конечно.. гм... он прав... — Папаша пытался свети ссору к шутке. — А то мы... гм... люди... что ли...

— Господа, — вмешался Мелкон, — я понимаю, отчего наскучила наша дружба Алимяну. Я тут, кроме черной нефти, чувствую, так сказать, чудесный аромат фиалки, ее свежесть, невинность. Гм, Сулян, чего ты озираешься? Думаю, что ты раньше всех постиг суть дела. Помнишь, что ты говорил?

Инженер очутился в затруднительном положении. Дело в том, что, удовлетворяя любопытство богатых молодых людей, угождая им, а главное — чтобы насолить Давиду Заргаряну, он позволял себе кое-какие намеки относительно Шушаник.

Неосторожные слова Мелкона напугали Суляна. В смущении он посмотрел на искажившееся лицо Микаэла и, чтобы положить конец разговору, сказал:

— Чем бы вас попотчевать, господа?

— Хватит и того, чем тут нас угостили! Пошли! — обратился Кязим-бек к друзьям.

— Ну да ладно... гм... обижаться нечего... гм... Микаэл, дорогой, как встанешь... гм... зайди ко мне, гм... — произнес Папаша, все еще не придавая ссоре серьезного значения.

Все вышли. Кязим-бек затянул:

Был муж с рогами,
Побил он молодца...

Микаэл в бешенстве вскочил. Но было уже поздно. Голос Кязим-бека замирал вдали.

— Негодяи! — крикнул Микаэл так громко, что все услышали...

6

Наконец полиция известила, что Аршака отыскиали в Тифлисе и скоро передадут семье. Беглец был пойман в ту минуту, когда он под руку с какой-то женщиной входил в театр. Неизвестная успела скрыться, а Аршака на другой день отправили в Баку.

Юношу доставили домой в экипаже двое полицейских. От долгой бессонницы веки его распухли, лицо осунулось. Он походил на бездомного бродягу.

Вдова Воскехат с рыданием кинулась к нему и прижала его к груди. Укоряла она сына лишь за то, что он не предупредил ее об отъезде. В ее нескончаемых поцелуях вылилась вся материнская тоска. В ее ласках Аршак почувствовал опору против старшего брата. Потому-то он не выказал страха, когда Смбат почти насильно втолкнул его в кабинет.

Старший брат требовал от младшего полного признания, но тот упрямо отвечал, что не обязан никому отчетом: он человек правоспособный и самостоятельный.

— Отвяжись ты от меня, я тебе не раб! — крикнул Аршак, пытаясь вырваться.

— Ты отсюда не выйдешь, пока не признаешься.

Глаза Аршака засверкали, кулаки сжались.

— Пусти меня, говорю тебе, пусти! — кричал он, топая ногами.

— Если не признаешься, я заявлю в полицию о краже; тебя посадят в тюрьму и сошлют.

Угроза подействовала. Аршак струсил и признался в краже со взломом. Но это, конечно, не воровство. Нужны были деньги, и он «взял», взял не чужие, а отцовские.

От трех тысяч у него осталось около двухсот рублей. Смбата занимали не деньги, а сама кража. Ему было важно знать, кто подбил брата на воровство и куда пошли деньги. Однако юноша упрямылся.

— С тобой была женщина, — настаивал Смбат.

— Нет, нет, нет! — повторял Аршак.

— Она арестована и сидит в тюрьме.

Аршак вздрогнул. Опухшие веки приподнялись, ноздри задрожали. Он часто дышал.

— Что ты сказал? — крикнул Аршак. — Зинаида в тюрьме? Моя Зина? Это невозможно!..

— Да, твоя Зина, это нежное и прелестное создание, в тюрьме с ворами и убийцами.

— Безбожники! Она ни в чем не виновата, это я, я стащил деньги и растратил. Деньги при ней — ее собственные, она их от отца получила... Я ничего ей не давал, да, не давал! Она и сама богата...

Аршак выдал себя с головой.

— Кто же эта Зина, откуда она взялась, что за фрукт?

— Не фрукт, сударь, она моя невеста. Пойми, невеста!

Теперь уже Смбату пришлось вздрогнуть. Вот как, у этого юнца и невеста есть!

— Отчего бы не быть? Чем я хуже других, кто может мне помешать? Я должен был в Тифлисе с Зиной обвенчаться. Зачем вы помешали? Я дал честное слово и должен сдерживать его как джентльмен, хотя бы вы грозили мне тюрьмой или виселицей. Я люблю Зину. Понимаешь ли ты, что такое любовь?.. О, я покончу с собой, если нас разлучат!..

Он дал слово, этот шестнадцатилетний юноша, и выполняет его, прибегая к воровству!

— Но скажи по крайней мере, откуда эта Зина, кто она такая?

— Ее родители в Москве. Очень честная девушка. Раньше была гувернанткой в одном хорошем семействе. Я настоял, чтобы она оставила службу. Тут нет девушки, равной Зине: по-французски говорит, как парижанка, и меня учит. Разве можно такую девушку сажать в тюрьму? Я хочу жениться на ней и непременно женюсь. Ты смеешься? Ты сам женился против воли родителей и не по нашей вере. Моя Зина такая же образованная, как и твоя жена. А ты думал, что я возьму да женюсь на какой-нибудь кикиморе, чтобы от моей жены чесноком из рта воняло? *Fi donc, quel mauvais ton!*¹

Смбат не знал — смеяться ли ему, сердиться или отправить его в дом умалишенных. Между тем Аршак все более и более нагнул. Он требовал, чтобы его невесту немедленно освободили из тюрьмы. Зинаида там с ума сойдет. Она такая нежная, такое доброе сердце у нее. Ах, Зина, Зина!..

— Мерзавец! — не мог сдержаться Смбат. — Вот отродье нашего времени! Ты порождение современного хаоса! Эта Зина не арестована, но ты больше ее не увидишь...

Аршак обрадовался, что его возлюбленная на свободе. Но почему же он ее не увидит? Кто может ему в этом помешать? Он ни от кого не зависит, ни от кого — вот его ответ!

— Я свободный гражданин... Прошли те времена, когда старшие и сильные поработали младших и слабых.

¹ Фи, какой плохой тон!... (франц.).

Не думай, что если мы живем в Азии, так вам все позволено. Теперь эпоха личной свободы, конец девятнадцатого века, понимаешь — *fin de siècle*.¹

— *Fin de siècle!* — повторил Смбат с горькой усмешкой. — Жаль, что этот *fin de siècle* будет и концом твоей жизни и ты не доживешь до двадцатого века. Посмотрел бы ты на себя в зеркало! Неужели ты не видишь, что буквально разлагаешься, гниешь заживо? Неужели ты не знаешь этого, несчастный?

— Ничуть не гнию. Ты думаешь, что тот и здоров, у кого толстое брюхо и красные щеки? Извини, в наш нервный век тонкие и развитые люди всегда кажутся бледными. А что до моей болезни, так это дело обычное. Ты лучше скажи — какой аристократ в наше время свободен от нее?

Аршак говорил с таким увлечением и так серьезно, что вызвал у брата невольную улыбку. Но кровь снова ударила Смбату в голову, и он крикнул:

— Замолчи, бесстыдник! Замолчи, пока я не вышел из себя!

Прибежала вдова Воскехат и, став между сыновьями, вступилась за Аршака. Ей показалось, что Смбат собирается бить брата.

— Нашел тоже время для наставлений! — голосила она, обнимая одной рукой Аршака. — Дитя мое не успело даже отдохнуть, оно, наверное, голодно.

— Ах, мама! — воскликнул Смбат с глубокой укоризной. — Вот ты-то и портишь его! Нельзя так баловать. Не понимаю, что это за материнская любовь!..

— Я и тебя так же любила, сынок, — вздохнула вдова, — но уже двенадцати лет тебя оторвали от меня, отослали на чужбину. Пусть, говорили, растет вдали от испорченных товарищей, пусть поживет среди порядочных людей... Отдал отец тебя в Москве к Багатуровым. Только на два месяца в году показывался ты у нас, а там опять уезжал, оставляя меня в слезах. Берегла я тебя как зеницу ока, но как ты уехал, стала искать утешения в Микаэле, а потом в Аршаке. Хорошо воспитали тебя, нечего сказать, среди хороших людей ты жил. Отняли у родителей, отвратили от веры предков. Тебя потеряла, что мне

¹ Конец века (*франц.*).

оставалось, как не полюбить оставшихся детей? Аршак, дитя мое, делай что душе угодно, но опасайся примера брата. Горе мне и стыд могиле твоего отца, если и ты пойдешь братней дорожкой. Ты еще в силах исправиться, а Смбат — нет. Вижу теперь, что он не может спастись, — в этом вся беда.

И старуха расплакалась, уронив голову на плечо младшего сына.

Смбат молча вышел. Он не возражал, чувствуя долю правды в словах матери и непоправимость своей ошибки.

На другой день рано утром Смбат уехал на промысла. Микаэла он застал уже на ногах, только голова у него была забинтована.

— Поедем в город, — предложил Смбат.

Микаэл поморщился. Ему не хотелось перебираться. Но какой смысл оставаться? Шушаник больше не показывалась. Утром и вечером тщетно искал он глазами девушку; обед и чай теперь подавала мадам Анна, мать Шушаник.

Оставаться под чужим кровом было уже неудобно: хотя квартира принадлежала Суляну, но за Микаэлом ухаживала семья Заргарянов.

Перед отъездом Микаэл зашел к паралитику, осведомился об его здоровье, поблагодарил всех за заботливый уход; когда очередь дошла до Шушаник, бледное лицо Микаэла помрачнело.

— Ведь вы меня спасли от смерти, — обратился он к ней неуверенно, пожимая ее руку.

То было властное веление сердца, которому он не мог противиться.

Из города он послал поларки Заргарянам, не забыв детей и паралитика. Для Шушаник Микаэл выбрал золотое кольцо с бриллиантами. И чтобы девушка не могла отказать от подарка, послал его от имени Воскехат.

— Теперь тебе придется мне помогать и в городе, — обратился как-то Смбат к Микаэлу. — Предстоит пуск завода, а мне одному не справиться с делами.

— С удовольствием, — ответил Микаэл после некоторой паузы, — но я просил бы перевести Суляна в город, а меня назначить управляющим промыслами.

Микаэл, который прежде и двух часов не мог спокойно высидеть на промыслах, теперь собирался жить там. Причина была слишком понятна для Смбата.

— Ладно, поступаю как хочешь.

В тот же день Микаэл совсем перебрался на промысла. Неприятности продолжали сыпаться одна за другой. Смбат с женой почти ежедневно ссорился по всякому поводу.

Был канун пасхи. Воскехат, сидя у окна, смотрела на улицу. Доносился праздничный звон колоколов ближайшей церкви. Эти звуки навевали на старуху беспредельную тоску. Сегодня она в первый раз должна была сесть за праздничный стол без мужа, но не это печалило ее. Она видела, как все спешили в церковь, и горестно вздыхала, подымая глаза, покачивая головой. Родители, держа за руки детей, дедушки и бабушки с внучатами радостно шли в церковь, лишь одна Воскехат лишена такого счастья. За что, господи, за что, разве она не бабушка, разве у нее нет внучат?

Вдруг Воскехат нахмурилась и придвинулась к оконному стеклу. Мадам Марта, в пышной шляпе, два длинных пера которой тряслись, как драгунские султаны, проходила с каким-то элегантным молодым человеком, весело болтая и кокетливо щурясь.

Эта сцена не понравилась вдове. Она внимательно следила за дочерью. Марта остановилась, молодой человек крепко пожал ей руку, загадочно улыбаясь. Они расстались, и Марта, кокетливо подбирая платье, чтоб показать вышитую гладью нижнюю шелковую юбку, перешла улицу. Несколько минут спустя открылась дверь, и она появилась на пороге, расфуфыренная, яркая, как расцветшее гранатовое дерево.

— Дома? — спросила Марта, гримасой давая знать, что речь идет об Антонине Ивановне.

— Бог ее знает, — ответила мать с горечью.

— Своего Колю я отправила с бонной в церковь, зашла взять туда и детей Смбата. В такой день твои внучат должны быть там, чтобы враги не злорадствовали. Вели привести их сюда.

Вдова позвала горничную Антонины Ивановны, велела нарядить детей по-праздничному и привести. Горничная молча вышла. Очевидица непрерывных семейных сцен,

она знала, что желание старухи может не понравиться ее госпоже. Так оно и вышло: Антонина Ивановна отказалась послать детей к свекрови, узнав, что их вызывает Марта и для чего.

— Видела? Видела? — злорадствовала Марта. — Прощайся теперь с внуками!

Вдова позвала Смбата и рассказала о случившемся.

— Бедный, бедный муж! — поддразнивала Марта. — Дал ей в руки вожжи, вот она и гонит, куда хочет. Хотя бы ради такого дня пощадила...

— Дивлюсь я, зачем вы из-за пустяков делаете столько шума. Не все ли равно — пойдут дети в церковь сегодня или завтра, или вовсе не пойдут?

— Только этого не доставало! — затараторила Марта, ерзая на стуле. — Может быть, нам и от веры прикажешь отречься?

— Марта, сколько раз я просил тебя не подливать масла в огонь, нехорошо это!

— Марта жалеет твою мать, понимаешь, твою мать!..

— Замолчи, замолчи, прошу тебя, не выводи меня из терпения! Какое у тебя злое сердце!..

Марта посинела от злобы — и стала еще пестрее.

— Ах, бедняжка! — обратилась она к матери. — Под какой несчастной звездой ты родилась, что так страдаешь!

— Послушай, Марта, если ты будешь сеять раздор в этом доме, так лучше перестань ходить сюда. Муж тебя вконец одурачил. Мне отлично известно, зачем он мутит воду, но цели своей ему не добиться: Микаэл уже раскусил его, раскусишь, надеюсь, наконец и ты.

Зайдя к жене, Смбат дал волю сердцу. Долго ли будет продолжаться ее упрямство? Со дня приезда она всех восстановила против себя. Приехала она к ним уже предубежденная. Она не хочет понять, что огнем не тушат. Она забыла, что здесь все предубежденно относились к ней. Отчего бы ей не отнестись с уважением к нелепым, может быть, традициям патриархальной женщины? Что за глупые раздоры! Наконец, должен же кто-нибудь из них приспособиться, поступиться собственными капризами.

— И вы желаете, чтобы приспособлялась я? — воскликнула Антонина Ивановна с иронией. — Ни за что! Меня вечно будут оскорблять, а мне молчать? Эта старуха каждый божий день проклинает свою судьбу за то,

что вы женились вопреки ее воле. Она может осуждать ваш поступок, но почему же клеветает, будто я завлекла вас обманом? Не вы ли влюбились в меня? Не вы ли на коленях умоляли, чтобы я связала свою жизнь с вашей? Неужели вы забыли ваши клятвы? Почему вы не скажете ей всей правды? Слава богу, вы тогда были не ребенок, у вас голова была на плечах, почему вы дали себя обмануть? Смбат Маркович, меня обвиняют в том, что я вышла за вас ради денег. Это оскорбительно. Я хоть и дочь небогатых родителей, но... я горда — это вам известно. Растолкуйте матери и сестре, что я не ради вашего богатства приехала сюда, а только из-за детей. Они тосковали по отцу, им хотелось быть с отцом, и я не имела права не привезти их. Растолкуйте этим женщинам, что я презираю ваши миллионы...

Руки Антонины Ивановны дрожали, в глазах сверкали искры оскорбленного самолюбия. Говорила она искренне, взволнованная до глубины души.

— Знаете, почему я не отпустила детей в церковь? — продолжала Антонина Ивановна. — Потому что требование исходило от вашей сестры, она подзуживала вашу мать. Эта женщина рада тиранить меня. Я никогда не допущу власти невежества надо мною. Я ничего не имею ни против вашей религии, ни против ваших традиций; мною руководило самолюбие, гордость — и только. Не хотят же ваши родные быть уступчивыми, а я и подавно...

Ее увядшее лицо, резкий голос и полные ненависти глаза вконец озлобили Смбата.

— Эх, сударыня, незавидна участь мужа, чья жена упрямяство выдает за силу воли, а злобу — за нравственную борьбу. Все ваши несчастья происходят от дурных помыслов и уродливо воспитанного ума. Вы были бы гораздо счастливее и лучше, будь вы меньше образованны. Следя за вашим поведением, невольно думаешь, что голова женщины вообще не способна вместить больше того, что отпущено ей природой.

— Неужели? — иронически процедила Антонина Ивановна. — Может быть, вы ошибаетесь, может быть, только мы не способны, а ваши женщины... о-о!

— Вот видите, видите: «мы» — «вы», «наши» — «ваши». Неужели вы не можете хоть на минуту забыть это различие?

— Не могу, потому что мне ежеминутно напоминают о нем. Ведь вся неприязнь ко мне со стороны вашей родни на этом и основана. Я не слепа и не глупа, чтобы не понять, откуда дует ветер.

— Понимаете, так молчите. Не можете молчать, примиритесь с вашей участью.

— То есть?

— То, что я не раз предлагал вам: отдайте мне детей и уезжайте туда, где вы можете найти арену для вашего упрямства. Если вы упрямы, буду упрямым и я — даже по отношению к предвзвешенным моим суждениям.

В ответ Антонина Ивановна разразилась долгим и ядовитым смехом и, обессиленная, опустилась в кресло. Либо он замышляет какие-то козни, либо пьян — иначе бы не произнес таких слов. Однако она знала, что из безграничной любви к детям Сибат подчас позволял себе слова, противоречившие здравому смыслу.

Сибат в волнении охватил голову руками, словно желая умерить боль, сверлившую ему мозг.

Двери с шумом распахнулись. Вбежали Вася и Алеша, толкая друг друга и громко смеясь. При виде родителей, злобно уставившихся друг на друга, они притихли и застыли на месте, поглядывая испуганно то на мать, то на отца. Алеша тихонько подошел к матери, заплаканные глаза которой разжалобили его.

— Мама, опять обидели тебя? — спросил он, взяв ее за руку.

— Да, детка, нас хотят разлучить, — ответила Антонина Ивановна, осыпая его поцелуями. — Ну, вот видите, кого они любят? — обратилась она к Сибату.

— Это свидетельствует только о вашем эгоизме. Вы обратили бы внимание на вопрос ребенка. Вы вселяете в эти невинные существа ненависть ко мне и к моим родным. Вы... вы крадете их беззащитные сердца.

И, потеряв терпение, Сибат схватил детей за руки и привлек к себе.

Антонина Ивановна вскрикнула и цепко ухватилась за детей. Сибат отступил, поняв, что дошел до крайности. Но какое ужасное состояние видеть любимых детей связанными нерасторжимыми узами с ненавистной женой и не быть в силах ни разойтись с нею, ни побороть ненависть!

Он опустился на стул и, прижав руки ко лбу, воскликнул:

— Как я ошибся, боже ты мой, как я ошибся!..

Вся эта сцена разразилась в общей комнате, служившей гостиной. Вдова Воскехат редко в эту комнату заглядывала.

Должно быть, муж и жена спорили так громко, что привлекли внимание домашних. Один за другим вошли: вдова, Марта, Срафион Гаспарыч, Микаэл и горничная.

— Никому, никому не отдам я своих детей! Убью, а не отдам, пусть это знают все! — кричала Антонина Ивановна. — Попробуйте только отнять их у меня!..

Материнская любовь, переродившаяся в болезнь, омрачила рассудок женщины, отуманила сознание. Ей чудилось, что она среди дикарей и должна защищать детей до последней капли крови.

— Вот вам и праздник! Вот вам и радость! Сегодня во всех христианских домах смех и веселье, а в моем родительском доме — ссоры и слезы. Мама, посмотри-ка в глаза невестке — как озверела образованная женщина. Полюбуйся да порадуйся!..

У Смбата больше не хватило сил устоять перед потоком разжигающих слов сестры.

Издали доносился торжественный праздничный звон, и это еще больше взволновало его.

Вдова плакала навзрыд. Микаэл молча смотрел на нее. Было ясно — материнские слезы угнетали его.

— Почему ты не сорвал свою ветку с родного куста? — молвил Срафион Гаспарыч.

Смбат, горестно покачав головой, посмотрел на него и вышел. В эту минуту ему показалось, что весь мир ополчился против него.

Ночью он не вернулся домой.

Вдова села разговляться только с братом и Микаэлом. Антонина Ивановна заперлась у себя и не пускала никого, даже брата.

7

Душевный покой Шушаник был нарушен. И как это не приходило ей в голову, что между женатым миллионером и бедной девушкой не может быть ничего общего?

Почему же, наперекор рассудку, она дала волю чувствам? Пусть Смба́т Алимя́н был с ней ласков, не спускал с нее глаз, искал ее общества, то таинственно вздыхал, то многозначительно улыбался — неужели все это давало ей право забыть паралитика отца, приказчика дядю и свое нищенское положение?

Она виновата во всем. Почему Шушаник не заметила пропасти между бедным и богатым, между женатым и девушкой? Ей следовало быть скромней не только в поступках, но и в чувствах, в воображении, в мечтах и грезах. Не должны были ее увлечь ни этот мужественный стан, ни эти умные выразительные глаза, ни ласкающий голос. Ведь есть же вещи, думать о которых зазорно девушке, да вдобавок бедной.

Когда, охваченная этими мыслями, Шушаник пыталась убедить себя, что может забыть Смба́та Алимя́на, его образ еще ярче вставал перед нею. Тщетно старалась она вернуть давно утраченный покой, напрасно стремилась забыться в домашней работе или в чтении. Нервы ее были до крайности натянуты; ей чудилось, что вот-вот грянет какая-то буря. Порою волнение ее доходило до того, что дыхание перехватывало, сердце замирало и трепетало, как подстреленная птица. Она пыталась разобраться в своих чувствах. И голова, привыкшая к мирным думам, оказывалась бессильной — все смешалось, превратилось в непроницаемый хаос...

Посвящая все свои дни немощному отцу и семейным заботам, Шушаник вела одинокую, однообразную замкнутую жизнь вдали от городской суеты. Ничего от будущего она не ждала, не видела ни единого светлого проблеска в жизни, отравленной тысячью мелких забот и огорчений. Даже в прошлом не помнила она ни одной светлой черточки. Хотя до шестнадцати лет Шушаник не знала ни нужды, ни горестей, все же ей казалось, что они всегда были бедны, что отец всегда был пригвожден к постели, вечно роптал на судьбу и терзал ей сердце, — так угнетало ее жалкое существование последних лет.

Но вот явился человек, проник в ее внутренний мир и в короткое время вызвал в нем бурю. Человек этот перевернул ее дремлющую душу и заставил ее мучительно сожалеть о былой жизни отца. Ах, если бы она была дочерью богатых родителей, тогда ее не стесняла бы дружба

с Алимяном, она смотрела бы на него, как на равного, и тогда никто не имел бы права спросить, почему это Смбат так внимателен к ней.

Шушаник становилась все более и более безразличной к окружающему. Никто не знал ее душевных терзаний, не видел ее слез, не слышал подавленных вздохов, только зоркие глаза матери замечали, что девушка бледнеет и вянет. С чего бы это, господи боже? Ведь живется ей пынче куда лучше, чем прежде, в городе,— у них есть и сытный стол, и теплый угол, и даже прислуга.

Шушаник горько улыбалась — да, конечно, живется ей хорошо, что и говорить! Но что радостного в новой обстановке? Все те же вечные жалобы отца, еще более согнувшаяся спина дяди и это мрачное безлюдье, где блекнет ее юная жизнь. Нет, она не в силах выносить свое однообразное существование, она жаждет избавления от докучливых повседневных мелочей и рвется в неведомый мир.

— Ах, мама, отпустили бы вы меня хоть на месяц из дому...

Никогда ярмо бедности не давило Шушаник так, как в тот день, когда Микаэл пытался унижить ее. Она была убеждена, что только богач может позволить себе подобную дерзость по отношению к бедной девушке. И, возненавидев Микаэла, она прониклась ненавистью ко всем богачам, так же как к собственной бедности.

Когда в полночь принесли полуживого Микаэла, она раскаялась, что так холодно обошлась с ним недавно. Перед ней лежал безжалостно избитый молодой человек, всего две недели назад опозоренный публичной пощечиной. Чувство сострадания усилилось, когда Шушаник узнала от матери, о чем он бредил. Значит, он кается — больной, видимо, в бреду высказал то, о чем, быть может, думал не раз, будучи здоровым. И когда на бледном лице Микаэла Шушаник уловила раскаяние и в широко раскрытых глазах — глубокую благодарность, она почувствовала, что теперь может простить. И простила.

Каждый день из окна видела она нового управляющего на балконе и угадывала, что взгляд его ищет ее. На почтительные приветствия Микаэла она отвечала с холодной вежливостью и сейчас же отходила. Между тем,

Микаэл не сводил с нее глаз; эти настойчивые взгляды начинали тяготить Шушаник.

Стояла ясная и теплая погода, когда Шушаник вышла на балкон подышать воздухом. Она была свободна часа два от домашних забот. Просторным двором девушка вышла на тот пустырь, где три недели назад был избит Микаэл. Снова предстал перед нею милый образ Смбата, снова ее взор невольно упал на дорогу в город. Вот уже две недели, как Смбат не приезжал на промысла.

Перед развалинами Шушаник остановилась. Долгие, тяжкие вздохи вырвались из ее усталой груди. Она часто останавливалась, блуждая вокруг рассеянным взглядом.

— Мадемуазель,— неожиданно послышался знакомый голос.

Шушаник обернулась и увидела Микаэла. Мгновенно припомнилась неприятная сцена, так тяжело оскорбившая ее.

Вокруг никого не было. Изредка показывались одинокие прохожие. Шушаник молча протянула руку и тотчас же отняла.

Исхудалое и бледное лицо Микаэла выражало такую тоску, какой Шушаник никогда не видела даже на лице Смбата. Благоговейно взглянув на девушку, Микаэл неуверенно заговорил по-русски:

— До сих пор я не имел возможности поблагодарить вас.

— За что?

— И вы еще спрашиваете? Ваша семья почти две недели выхаживала меня, как сына.

— Вы — хозяин дяди, мы только выполняли свою обязанность. Кроме того, вы уже отблагодарили нас.

Шушаник двинулась вперед. Микаэл пошел за ней. Он искал предлога для разговора, но Шушаник с первых же слов обдала его холодной водой. Вновь было задето его самолюбие. Неужели никогда не удастся ему сломить надменность этой девушки?

— Скажите, бога ради,— проговорил он, пытаясь заглянуть ей в глаза,— почему вы избегаете меня?

— Я избегаю вас? — повторила Шушаник полуиронически.— Кто вам сказал?

— Да я не о том... Вы просто плохого мнения обо мне.

По лицу девушки пробежала тень. Ей показалось, будто Микаэл опять испытывает ее скромность. Она повернула к дому. С минуту Микаэл молча шел рядом. Вдруг он остановился, приложив руку ко лбу: высказать ли все, что на сердце, или же скрыть? Девушка оглянулась и тоже остановилась, конечно из вежливости. Равнодушное выражение ее лица и слегка пренебрежительный взгляд выводили из себя, но в то же время угнетали, покоряли Микаэла.

— Сударыня, я виноват перед вами, прошу, забудьте мою дерзость. Я ошибался, я вас не знал. Конечно, в сердце вы еще таите злобу против меня. Прежде вы смотрели на меня с отвращением, теперь — с сожалением. Меня это оскорбляет и унижает в собственных глазах. Можете ненавидеть, но не относитесь ко мне пренебрежительно. Пренебрежение — высшая мера наказания для меня.

— Не понимаю, к чему вы все это говорите. Я не могу вас ни ненавидеть, ни презирать. Что общего между нами, кроме того, что вы — хозяин, а я — племянница вашего служащего? Разве может вас унижить такое незначительное существо, как я?

— Будьте искренни, ради бога. Притворство вам не к лицу. Вы отлично понимаете, что я хочу сказать.

Шушаник серьезно посмотрела на его бледное лицо и поняла, что Микаэл охвачен сильной душевной тревогой. Большой шрам на лбу придавал его женственному облику мужественную суровость. Шушаник смушал блеск его глаз, и, склонив голову, она медленно пошла вперед.

— Одну минуту! — воскликнул Микаэл. — Вы торопитесь, а мне бы хотелось сказать вам несколько слов, только несколько слов. Не знаю, как, но должен сказать... Разрешите быть искренним — это необходимо и для меня и для вас...

— Пожалуйста, — ответила Шушаник и остановилась, беспечно сложив руки на груди, — я готова вас выслушать.

Она уже решила прямо, без обиняков, заявить ему, что между ними нет и не может быть нечего общего.

После минутного колебания Микаэл заговорил, но от сильного волнения не знал, с чего и как начать. Хотелось сразу высказать все, что он передумал и почувствовал

за последние шесть-семь недель, но он боялся, как бы де-вушка не оборвала его и не ушла. И с жаром принялся бичевать себя, и не только за ошибку по отношению к ней, а вообще. Он признался в пороках, нисколько не стараясь оправдаться в нравственном падении. С того дня как Шушаник оттолкнула его, Микаэл начал сознавать, что у него был ложный взгляд на женщин: он подходил ко всем одинаково. Теперь женщина в его глазах безмерно поднялась. Холодность и пренебрежение Шушаник укрепили в нем незнакомое ему чувство. Чем резче отворачивалась от него Шушаник, тем больше возрастало достоинство женщины в его глазах; чем независимей держалась Шушаник, тем ниже падал он в собственных глазах; Шушаник, и только она одна, дала ему почувствовать, до чего бессодержательна была его жизнь. Она, и только она, бессознательно сделала то, над чем вот уже несколько месяцев безуспешно бьется брат. Его публично оскорбили. Брат целыми часами старался заставить его забыть оскорбление, но не мог. Только ради Шушаник он, Микаэл, проглотил позорную обиду.

Неужели все это не радует ее? Неужели она не гордится своей нравственной силой и влиянием? До сего дня в его ушах звучат слова: «Какая разница между вами и вашим братом!» Он понимает эту разницу и видит, что брат нравственно выше его. И, естественно, Шушаник вправе ненавидеть его и уважать Сибата, порицать одного брата и хвалить другого. Почему же она избегает его, почему скрывает свои чувства, неужели Шушаник думает, что Микаэл ничего не видит и ничего не чувствует?

— Ведь вы же любите, да, любите его. Краснейте, сердитесь, как там хотите — но я говорю правду. Что ж, ничего не поделаешь — насильно мил не будешь. Продолжайте меня ненавидеть сколько вам будет угодно, отныне я вас оставлю в покое, но поймите одно: я уж не так испорчен, как вы думаете, в моем сердце есть еще чистый уголок. И когда-нибудь вы убедитесь, да, убедитесь, что этот уголок бережется для вас, и только для вас.

Он прошел несколько шагов и остановился, бледный, учащенно дыша.

Шушаник хранила молчание. Она то краснела, то бледнела, старалась прибавить шагу и скорее добраться до дому, как бы опасаясь еще большей откровенности,

Вместе с тем девушка невольно заинтересовалась душевным состоянием Микаэла — ей хотелось дослушать его. Колеблясь и дрожа, она силилась понять, чего же хочет от нее этот человек. Микаэл кончил, и Шушаник подумала: ведь надо же ответить ему? Ей казалось, что она обязана что-то сказать. В ней зародилось нечто вроде сострадания, однако она не хотела этого показать. Шушаник в то же время не сомневалась в искренности Микаэла. И эта искренность возвысила в глазах девушки человека, казавшегося ей падшим.

— Прощайте! — сказал Микаэл, не дождавшись от нее никакого ответа.

— Прощайте.

Микаэл удалился быстрыми шагами, с сердцем, разрывавшимся от горя. Какая гордость и сдержанность у этой простушки! И кто ее так воспитал? Какая среда выковала в ней такую твердость воли? Она оказалась настолько сильной, что ни слова не проронила о Смбае — не возражала, не спорила, а только молчала. И это упорное молчание действовало на Микаэла сильнее слов.

Глубокая ночь. Шушаник не спится. В ее ушах все еще звучат слова Микаэла. А правдивы ли они, эти слова? Но ведь он так беспощадно осуждал себя. Нет, Микаэл кается в своих поступках, кается вполне чистосердечно. Ну и бог с ним, пусть думает теперь о ней что хочет. Он сам сказал: «прощайте», значит — решил оставить Шушаник в покое. Ей только этого и хотелось.

И постепенно в ее воображении взволнованный образ Микаэла стал бледнеть, уступая место мужественному облику Смбае.

Почему он не приезжает на промысла? Неужели Смбае хочет смирить дерзкое воображение Шушаник, или, быть может, он решил уступить дорогу брату? Можно ли допустить, чтобы Смбае был способен на такую низость? Нет, никогда!.. Он благороден, он не позволит себе так думать о Шушаник.

Нужно положить этому конец. Глупо, безумно любить одного брата и быть преследуемой другим, стремиться к одному — и избегать другого. Надо все выкинуть из головы и снова отдаться былой жизни. Довольно она наделала глупостей. Но как, боже мой, выкинуть все это из головы? Она прислушивалась к шипению пара — и

слышала милый голос; всматривалась в ночную тьму — и видела благородное лицо. Всюду он, и только он. Словно это злой дух, окончательно решивший лишить ее покоя и довести до безумия.

Господи, неужели это и есть любовь, то, о чем она читала в сотнях романов? Если да, так почему же говорят, что даже горечь ее сладка?

Шушаник присела к столу. У нее мелькнула смелая мысль: отбросить предрассудки и без стеснения написать Смбуату обо всем. Пусть узнает наконец, до чего довел он бедную племянницу бедного приказчика. Чего ей робеть? Почему не быть отважной?

Она написала страницу, прочитала, застыдилась и разорвала. Написала снова и снова разорвала. Перо бессильно было выразить ее настоящие чувства. Откинувшись на спинку стула, уронив ослабевшие руки на колени. Нет, стыдно; о чем писать, зачем, по какому праву? Он может ее осмеять и с пренебрежением швырнуть глупое письмо.

Рассветало. Восток побледнел, потом заалел и, наконец, стал желтым. За отдаленными холмами медленно поднималось робкое, неуверенное февральское солнце; лучи его стыли, еще не успев достигнуть земли.

Раздались голоса детей, потом удушливый утренний кашель паралитика и его сетования на детей, не дававших ему «всю ночь спать».

Шушаник так и не сомкнула глаз. Одетая, она сидела у стола, бессильно опустив голову на руки. Густые волосы рассыпались по плечам и покрыли ее обнаженные локти. Солнечные лучи неуверенно скользили по ней, словно боясь нарушить дремоту исстрадавшейся девушки. Она слегка приподняла голову. Глаза от бессонницы покраснели, веки припухли, на щеках проступал нездоровый румянец.

— Опять ночь не спала? — услышала она голос матери и вздрогнула.

Лгать она не умела и промолчала.

— Что с тобой, дитя мое, что за горе томит твое бедное сердечко?

Надо было либо солгать, либо уклониться от расспросов. Шушаник встала и направилась к двери.

Мать загородила ей дорогу. На этот раз она непременно должна узнать горе дочери. Ночи без сна, дни без

дела, почти не ест, не говорит и не читает, как прежде. Дети — и те жалуются, что она больше ими не занимается. Ходит точно во сне, день ото дня худеет, чахнет...

— Скажи, детка, какой злой дух терзает тебя, чье проклятие карает твою мать? Может, отец своими капризами измучил тебя? Ведь ты уже стала жаловаться на него. Но можно ли сердиться на больного, богом наказанного? Не сегодня-завтра оборвется его несчастная жизнь... А было время, когда он души не чаял в тебе: берег как зеницу ока. Ведь он дал тебе хорошее образование, наравне с дочерьми знатных людей, обучал музыке и пению. Радовался, как ребенок, когда ты пела и играла на рояле. Ах, Шушаник, Шушаник, прошли те хорошие дни и оставили в сердце твоей матери горе горькое... Перестала ты теперь петь, пальцы твои огрубели от домашней работы, да и инструмента нет. Не мучай себя, детка, потерпи. Ах, будь проклят тот день, когда обанкротился твой отец и перебрался в этот черный край!.. Ну, скажи же, доченька, что у тебя на душе?

Шушаник сидела у окна, уронив руки на колени и склонив голову. На настойчивые вопросы и мольбы матери она лишь качала головой и просила оставить ее в покое. Что было ей сказать? Признаться во всем? О нет! Мать лишится рассудка, если узнает, что дочь влюблена в женатого. Пусть мама оставит ее в покое. Нет у Шушаник ни горя, ни забот. Сейчас она идет заниматься с детьми, помогать прислуге, ухаживать за отцом.

И не в силах сдержаться, девушка разрыдалась и убежала.

Мать, тяжело вздыхая, растерянно смотрела ей вслед.

8

Иногда Антонина Ивановна спрашивала себя: не превеличивает ли она значения мелких житейских невзгод, не создает ли из пустяка трагедию? И в самом деле: если не удастся приспособить к себе среду, почему бы самой не приспособиться к ней? Если она не может любить мужа, почему ей не уважать его, как и всякого другого человека?

Но все эти мысли разлетались, как только ей приходило в голову, что она является тяжелым бременем для Алимьянов, и в особенности когда в глазах Смбата она улавливала едва сдерживаемую ненависть.

Антонина Ивановна часто задавала себе вопрос: как это случилось, что она связала свою судьбу с ним? И всегда приходила к одному и тому же выводу: случайность, игра судьбы. Какой-то злой дух на мгновение омрачил ее рассудок и толкнул в объятия человека, которого она как следует еще не знала. Ей казалось тогда, что любовь Смбата может длиться вечно. Ей думалось: вот кого я давно искала, вот кому можно придать, как воску, любую форму. Но нашла коса на камень. Она встретила натуру такую же неподатливую, столь же несогласную поступиться многими предрассудками. Оба образованные и развитые, они шли под разными знаменами — не в этом ли была главная причина их все учащавшихся столкновений? Когда супруги узнали друг друга, вскрылось множество противоречий. Мелкие ссоры учащались, открылась бездна, окончательно разобщившая двух по характеру совершенно противоположных людей.

Почем знать: быть может, Антонина Ивановна и продолжала бы любить Смбата, если б была любима. Но как только она почувствовала холодность мужа, заговорила в ней гордость. Позже, когда Смбат уже без стеснения напомнил ей о ее возрасте, уязвленное самолюбие пробудило в ней вражду. Что же, она только на два-три года старше мужа и уже стара для него?

— Раз я стара, так найди себе женщину помоложе, — бросила она ему еще пять лет назад.

Смбат раскаялся в необдуманном слове. Гоняться за женщинами было не в его характере. Он сознался, что обманулся и готов нести последствия своей ошибки.

«Обманулся» — эти слова, как острые шипы, вонзились в сердце Антонины Ивановны. Нет, она сама обманулась, и только она!

В Москве, в ее родной среде, они кое-как тянули совместную жизнь ради детей. Там Смбат был гораздо уступчивее, мягче. Там по крайней мере он был единственным судьей Антонины Ивановны. А тут она окружена людьми, совершенно чуждыми ей по духу и культуре. Легко ли ей, иноплеменнице, переносить их нападки?

— Мне кажется, образование в очень слабой степени повлияло на вас. Ваши взгляды как будто ничем не отличаются от взглядов вашей среды. Вместо того чтобы бороться с ветхой стариной и предрассудками, вы выступаете в роли их защитника. Вместо того, чтобы распространять вокруг себя свет, вы сами погружаетесь во мрак. Меня преследует старая фанатичка, а вы косвенно поощряете ее. Где же ваше образование и развитие?.. Простительно ли быть таким фанатиком?..

Так говорила Антонина Ивановна в первую субботу великого поста, когда детей отвели в русскую церковь причащаться. Это был один из горчайших дней для вдовы Воскехат. Она проливала слезы, что дети ее сына оторваны от родной церкви, и сцепилась со Смбатом в присутствии невестки. Антонина Ивановна дала ей отпор. Невестка и свекровь наговорили друг другу массу обидных слов. Смбат ни на чью сторону не встал. Лишь потом, наедине с Антониной Ивановной, он сказал ей, что старуха по-своему совершенно права, что иначе мыслить она не может. Вот это и обидело Антонину Ивановну и заставило ее заговорить о «фанатичных взглядах» мужа.

— Удивительные требования вы предъявляете мне, — заметил Смбат с едкой усмешкой. — Вам угодно, чтобы только я был уступчив, великодушен и забывчив. Если образование и развитие могут вытравить следы вековых традиций, почему они не уничтожили их в вас? Почему вы боретесь с фанатичной старой женщиной ее же оружием, от меня же требуете безусловного подчинения вашим собственным традициям? Сложите ваше оружие, сложу и я свое. Я пожертвовал сущностью, пожертвуйте вы формой. Не будьте упрямы, перестану быть упрямым и я. Обоюдная уступчивость — вот чего я хочу. Вы настаиваете на своем, почему бы и мне не следовать вашему примеру? Почему вы злоупотребляете вашим оружием?

— Сила применяется против упрямства. Я не фанатичка, но, сталкиваясь с фанатизмом, прибегаю к своему оружию. Я бы не стала перечить, сочла бы даже глупостью подобное препирательство, если бы ваша мать, ваша сестра и вся родня относились ко мне не как к чужой. Между тем, не только они, но и все ваше общество втайне презирает меня, считая недостойной вас. Я мало бывала в этом обществе, но перечувствовала многое. Под его

внешним, показным уважением я замечала глубокую ненависть.

— Потому что вы мнительны и у вас отравленное воображение...

— Нет, в данном случае сердце не обманывает меня. Надо быть глупым, чтобы не понять того, что я чувствую. Можете вы поклясться детьми, что я ошибаюсь?

Смбат промолчал. В словах жены он почувствовал долю правды.

Полчаса спустя Антонина Ивановна изливалась перед братом. Собственно, Алексея Ивановича она считала неспособным помочь ей разумным советом, тем не менее частенько обращалась к нему — другого близкого человека, с кем можно поделиться, у нее не было.

— А знаешь что,— начал Алексей Иванович, придавая лицу философическое выражение.— хочешь — сердись, хочешь — ругай меня, все же я скажу: ты в людях на разбираешься, ты, так сказать, не психолог. Эти азиаты — народ чрезвычайно упрямый, а с упрямыми упрямством не возьмешь. Повлиять на них можно лишь, так сказать, любовью да лаской. Ни ты, ни Смбат Маркович с детьми не расстанетесь. Советую выслушать и выполнить мой проект.

— Твой проект? — повторила Антонина Ивановна, оживляясь.

— Да, мой проект, дорогая сестрица. Составил я его для тебя.

Алексей Иванович поправил пенсне, уселся против сестры, закинув ногу на ногу, и продолжал:

— В наш железный век борьба за существование находится, так сказать, в зените. Нынче может жить только тот, у кого есть одно из современных трех оружий — деньги, талант и изобретательность. Денег у тебя нет, то есть своих собственных, — это во-первых, таланта ты лишена, — во-вторых. Остается изобретательность. Изобретательность бывает, дорогая моя, разная; среди различных родов ее, по моему мнению, первейшее место занимает изобретательность, так сказать, житейская. Этого замечательного дара ты тоже лишена. Вот почему я хочу прийти тебе на помощь со своим планом. Выслушай, дорогая; понравится — прими, нет — оставайся при своем мнении.

Он обрезал конец сигары маленькими ножницами, висевшими на часовой цепочке, закурил и выпустил клуб дыма.

— Ты должна помириться с Алимяном. Да, должна помириться. Не кипятись, а выслушай сперва. Ты прежде всего должна оказать почтение своей свекрови, этой, так сказать, доисторической ведьме,— то есть почтение притворное. Ну-ну, понимаю, фальшивить ты не можешь, знаю, но слушай дальше. Выказывая притворную почтительность, ты постепенно, постепенно, так сказать, притупишь шипы ее сердца. Потом превратишь старуху, так сказать, в своего рода мостик к сердцу благоверного. Взобравшись на этот мостик, ты исподтишка выкинешь собственное знамя и, так сказать, завоюешь доверие Смбата Марковича. А там постепенно убедишь его в том, что дети не переносят здешнего климата. И в самом деле, что за адский климат тут — ветры, пыль да нефть. Кстати, скажешь, что они прихварывают и надо их взять отсюда. Скажешь, что пора им учиться, а тут нет приличных школ, *et cetega, et cetega...*¹ И каждый день, каждый час, каждую минуту повторяя одно и то же, ты в конце концов убедишь, что детей тебе придется взять в Петербург. Понятно? В Петербург, а не в Москву, потому что Москва — твоя родина; ежели ты заикнешься о ней, твой благоверный заартачится...

— Дальше, дальше! — повторяла Аптонина Ивановна с нетерпением.

— Эге, тебя, я вижу, захватило, — продолжал Алексей Иванович, поднося сигару ко рту осторожно, чтоб не уронить пепел, — это признак хороший. Далее ты, конечно, убедишь его, чтобы он внес в один из петербургских банков на имя детей значительную сумму, так, примерно, тысяч двести-триста, ну, и какую-нибудь кругленькую сумму на имя, так сказать, своей дражайшей половины, то есть на твое имя. Ну, погоди же, что ты, как волчок, юлишь в кресле? Да-с, потом ты, так сказать, твою тактику постепенно разовьешь и... отберешь у него, так сказать, благороднейшим образом обязательства... дай же кончить!.. И тогда твой покорнейший слуга весь к твоим услугам. На крыльях ветра, так сказать, умчу я тебя вме-

¹ И так далее (*лат.*).

сте с детьми в Питер. Ты начнешь спускать сумму, тебе назначенную. Алимьян мало-помалу забудет о детях. Время и пространство — это, если можно так выразиться, пилы, что подпилят всякую любовь. А ты и подавно забудешь Алимьяна. Тогда, сестрица моя, ты вспомнишь, что в жизни человека бывает, так сказать, и вторая молодость, а Петербург, сама знаешь, не Азия...

— Довольно! — прервала Антонина Ивановна с глубоким отвращением.— Знала я, что человек ты испорченный, но не думала, что так мало знаешь меня. Прибегнуть к лжи, к обману, унизиться, выманивать у мужа деньги и на эти деньги... Замолчи! Ты худшего мнения обо мне, чем мои враги...

— Уверяю тебя, более гениального проекта не мог бы придумать сам Талейран.

— Вот что, Алексей, не пора ли тебе в Москву? — спросила сестра, меняя разговор, чтобы прекратить болтовню.

— А что случилось?

— А то, дорогой мой, что ты, живя здесь на чужой счет, еще больше отягощаешь мое положение.

— На чужой счет? — засмеялся Алексей Иванович. — Милый друг, с тех пор как мы приехали сюда, я всего два раза обедал в этом доме, и то визави с твоей свекровью... Чудесный десерт!..

— А сколько раз ты занимал у Алимьянов?

— У твоего прелестного благоверного — ни разу.

— А у Михаила Марковича?

— Михаил Маркович, так сказать, мой личный, близкий приятель. Он любит меня как родного брата, и я ему отвечаю взаимностью. Это настоящий джентльмен — собственно говоря, был таковым; за последнее время он несколько изменился. Оплеуха гнусного Гриши прямо пришла, так сказать, по моим интересам. Уж не приходится больше налегать на шато-лафит, манахор и шампанское. Но не беда, я не теряю надежды, что, так сказать, заблудшая овца еще вернется в свое стадо. Значит, ты решительно не одобряешь моего проекта? Обмозгуй хорошенько, мы еще потолкуем. До свидания, Арзас Маркович меня ждет.

Однажды Антонина Ивановна узнала от брата новость о муже, которая ее поразила и огорчила.

— Ты лжешь! — воскликнула она с возмущением.

— Нет, сушую правду говорю. Вчера вечером я в третий раз встретил его в ресторане «Англия», так сказать, на третьем взводе. Глаза покраснели, как бараньи почки, ноги выписывали зигзаги, голова еле держалась на плечах и спорила с туловищем.

— Если это правда, мне его жаль.

— Если жалеешь, то можешь и полюбить. Женщины часто сперва жалеют, а потом начинают любить. Помиришь, а?

— Послушай, Алексей, — воскликнула сестра, кусая губы, — если на этой же неделе ты не уедешь, то во всяком случае перемени квартиру!

— Другими словами, разлюбезная сестрица, ты закрываешь передо мной свою дверь, так, что ли?

— Если хочешь знать правду — да, только не мою, а чужую.

— У тебя драгунские ухватки, милая... Но они тебе не к лицу.

— Микаэл Маркович отвернулся от тебя, так ты за младшего брата принялся. Стыдись, наконец!

— Нечего мне стыдиться. Теперь я, так сказать, надзиратель и воспитатель Арзаса Марковича. Полагаю, за такую двойную должность я имею право быть вознагражденным.

И действительно, теперь Алексей Иванович исполнял обязанности надзирателя и воспитателя при Аршаке, но по собственной инициативе и притом весьма либерально. Юноша разыскивал свою Зину, а Алексей Иванович помогал ему... в театрах, в цирке, гостиницах. В качестве воспитателя он обучал своего ученика «столичным манерам».

Как-то вечером, выйдя из театра, воспитанник и воспитатель зашли в ближайший ресторан поужинать. Там они встретили Смбата в кругу приятелей. Аршак хотел скрыться, но Алексей Иванович не допустил: бояться нечего, Смбат Маркович не станет возражать, видя младшего брата в обществе «почтенного» родственника. И он почти насильно усадил юношу за столик в углу.

— Ну-с, как мы сегодня поужинаем: азиатик или европиен? — спросил он тоном истого гурмана.

— Как хочешь.

— Гарсон, меню! — и Алексей Иванович обратился к Аршаку, предлагая ему карточку: — Выбирай.

— Закажи себе и мне.

Юноша ел и пил по вкусу «воспитателя». Алексей Иванович сделал замечание официанту за то, что тот вовремя не переменял скатерть, несколько раз произнес: «фи дон!», затем приступил к выбору блюд. С четверть часа он объяснял, как приготовить то или иное блюдо, и столько же времени потратил на выбор вин.

— На кого ты так смотришь? — спросил Алексей Иванович Аршака, заметив, что тот не сводит глаз со стола Сибата.

— Смотрю на брата и удивляюсь, с какими людьми он теперь водится. Позор престижу Алимянов!

— А-а, значит, эти люди достойны презрения? Но, друг мой, так не годится смотреть. Подними голову, повернись чуть-чуть вбок и гляди, так сказать, прямо на их ноги. Это будет означать, что ты их презираешь. Вот, вот, прекрасно, ей-богу, тебе надо было родиться в Питере. Гарсон, икры, живо!..

И, сняв пенсне, Алексей Иванович принялся пока уничтожать свежую икру с зеленым луком.

— Арзас,— продолжал он наставляя воспитанника,— когда едят, нельзя всем туловищем наваливаться на стол, это — ориенталь. Голову выше, а грудь подальше от стола. Кушай, так сказать, беспечно: улыбайся, смейся, остри, как будто совсем и есть не хочешь. Да, вот, вот, прелесть! Давеча в театре я хотел тебе сделать замечание насчет твоей манеры кланяться, но счел неудобным. Ну вот послушай: когда кланяешься даме, постарайся, так сказать, смотреть ей прямо в лицо и любезно улыбаться. Затем, не срывай с головы шляпу, а отведи ее вбок и внезапно, так сказать, нервным жестом опиши полукруг и сейчас же надень. Надо сказать, что в этом городе никто не знаком с новейшей модой так приветствовать дам, ты подашь первый пример. Вот летом поедem во Францию, и в Париже ты научишься всему. Ну, что ж, махнем ведь, а?..

— Конечно, конечно, я же пригласил тебя, непременно поедem.

— Положим, дружок, тебе не дадут столько денег, чтобы хватило и на меня, а?

— Кто посмеет не дать?

— Кто? Разумеется, мой драгоценный зять. Ну, братец, он вас всех, так сказать, держит в ежовых рукавицах. А сам, полюбуйся-ка, разошелся, будучи, так сказать, человеком семейным.

— Я ему не спущу. Он не может мне запретить. Я свои деньги трачу.

— По-моему, тоже. Но ты недостаточно, так сказать, энергичен. Требуй, братец, требуй, и он даст. Ты равный наследник. Гарсон, это вино не из важных. Нет ли чего-нибудь постарее? Ну, подай хоть это, попробуем.

Смбат спорил со своими сотрапезниками и, видимо, не замечал брата и шурина. К его столу подошел пьяный молодой человек, рослый, румяный, богатырского сложения. Заложив руки в карманы брюк и покачиваясь, он устоялся на Смбата.

— Смотри, Алексей Иванович, сейчас разыграется скандал,— прошептал Аршак.

— Кто этот дикарь? У него очень тупая физиономия,— отозвался Алексей Иванович, всматриваясь в незнакомца.

— Племянник Петроса Гуламяна, первый скандалист в городе.

— А-а,— пробурчал Алексей Иванович, отводя взгляд от незнакомца.

Пьяный вдруг заорал:

— Чего вы там философствуете о благородстве? Алимяны не имеют права рассуждать об этом товаре!

Слова были адресованы Смбату, занятому совсем другим разговором. Он удивленно взглянул на незнакомца снизу вверх.

— Пожалуйста, вот, готово! — воскликнул племянник Гуламяна, кладя руки на стол.

— Сударь, я вас не знаю, кто вам дал право подойти к нашему столу?

— Кто? Кто? Ха-ха-ха! Наплевать мне на ваши миллионы. Скажи на милость, кто был твой отец, что ты так важничаешь?

— Прошу удалиться!

— Спрашиваю, кто был твой отец? Дворник, водовоз, ха-ха-ха!..

— Убирайтесь, не то!.. — крикнул Смбат, бессознательно хватая пустую бутылку.

Поднялась суматоха. Все вскочили, кроме Смбата: он не понимал, чего хотел незнакомец. Пьяного схватили, попытались оттащить, но он с силой растолкал всех и опять подступил к Смбату.

— Всех троих измолочу! — заревел он, указывая на Аршака и Алексея Ивановича. — Эй, вы, ежели хотите, идите на помощь этому негодяю!

— Слышишь, Арзас? Этот дикарь и на наш счет, так сказать, прохаживается. Осторожнее! Надо полицию вызвать и вывести скандалиста. Гарсон!

Смбат, весь бледный, поднялся, готовый защищаться. Пьяный верзила размахнулся, но в ту же минуту брошенная бутылка, описав круг, ударила ему в грудь. Он отступил на шаг и посмотрел туда, откуда получил внезапный удар. Ему предстал шестнадцатилетний юноша с глазами безумца.

— Арзас, Арзас! — кричал Алексей Иванович, еле удерживая разъяренного Аршака, уже готового пустить тарелкой в скандалиста. — Арзас, ты залил вином сорочку. Этот дикарь силен, так сказать...

Суматоха возрастала. На здоровяка набросились официанты и поволокли его к выходу, но в дверях он неожиданно вырвался и устремился к юноше. Кто знает, каково пришлось бы Аршаку, не ускользни он вовремя от удара здоровяка, но тот, чересчур размахнувшись, перевернулся и рухнул на пол. Человек десять с трудом вывели его и передали полиции.

Содержатель ресторана выразил сочувствие Алимянам.

Смбат прошел в смежную комнату и, опустившись в кресло, произнес:

— Что бы это значило?

— Это значит, что теперь надо наставлять не меня, а тебя, — ответил Аршак, сейчас же вошедший за ним в комнату и притворивший за собою дверь.

— А-а, это ты, шалопай! Убирайся прочь! Кто тебя просил защищать меня? Лезешь тоже не в свое дело, вон!..

— Я защищал честь Алимянов. Я не философ, как ты, и не трус, как Микаэл. В моих жилах течет благородная кровь, можешь у Алексея Ивановича спросить...

Смбат посмотрел на него и промолчал. Искреннее возмущение юноши тронуло его: а ведь Аршак и впрямь запустил бутылку в верзилу, защищая брата.

— Я хотел прикончить его,— продолжал Аршак без рисовки.— Он собирался нас избить. Это племянник Гуламяна. Видно, вместо Микаэла он напоролся на нас.

— Позор! Бесчестие! — воскликнул Смбат, стукнув по столу.— Как я сюда попал? Кто меня затащил? Зачем?..

— Зачем? Я тоже удивляюсь... Ты мне потации читаешь, а сам...

— Довольно! — прервал его Смбат.— Замолчи, говорят тебе! Не твоего ума дело, ты ребенок. Тебе не понять моего горя.

После минутной паузы Смбат продолжал:

— Знаешь ли что, Аршак? Я тебе разрешаю делать все, понимаешь, все, что хочешь, только не женись на Зинаиде. Не спрашивай о причине — я не могу объяснить. Но, смотри, не вздумай жениться. Кути, пьянствуй, транжирь, я тебе дам денег сколько хочешь, прожигай жизнь, истаскайся вконец, но не женись... Ну, пошел, убирайся!.. Там тебя дожидается этот фанфарон, дармоед... Сестра его стала моим несчастьем, а тебя брат обирает. Впрочем, нет, он не стоит подметки своей сестры. Он ничтожество, а сестра — цельная натура, но она отравляет мне жизнь. Вон, оставь меня с моим горем!..

Смбат почти вытолкнул брата, притворил дверь и снова спустился в кресло. Если б в эту минуту кто-нибудь наблюдал за ним, то увидел, как этот тридцатидвухлетний мужчина тихонько плакал, как женщина...

В соседней комнате Алексей Иванович возмущенно жаловался хозяину ресторана на азиатские нравы. Что за страна, где ни на волос не уважают почтенных людей и где дичают даже люди с высшим образованием!..

— Черт тебя побери! — обратился он к Аршаку.— Ты уронил и разбил мое пенсне, сейчас я точно слепой. Нет, братец мой, Смбат Маркович тебя вконец распустил, выронил, так сказать, руль... Сядем. Я в восторге от твоей отваги. Да, ты настоящий испанец, не зря я говорил...

Они опять сели за стол.

— Что это? — насупился Алексей Иванович, поднося бутылку к свету. — Шартрез или... тьфу! А я-то думал — шампанское... Затмение какое-то! Все затемнилось!..

— Человек, шампанского, Редерер! — приказал Аршак.

— Думаешь, что шампанское рассеет тьму? — улыбнулся Алексей Иванович. — Что ж, попробуем. Ну, суета сует, забудь об инциденте. Подлинный джентльмен быстро забывает, так сказать, грубые выходы дикарей.

Смбат сознавал, что сбивается с правильного пути. Сознавал — и все же не отступал. Нездоровый образ жизни постепенно притуплял нервы и затягивал непрочищаемой пеленой его душевный мир. В пьяной атмосфере ресторанов, в кругу новых веселых друзей он находил хоть временное забвение. И этого было достаточно. Что из того, что трезвый он сильнее ощущал свое горе и беспощадно осуждал свой образ жизни.

Временами Смбат вспоминал обездоленную семью, в которой провел недавно много мирных часов, где его мысли и чувства встречали уважение и сочувствие. Ему виделся стол, накрытый белой скатертью, и у кипящего самовара — милая, скромная, но гордая головка. В такие минуты в ушах Смбата звучали слова Срафиона Гаспарыча: «Почему ты не сорвал ветку со своего куста?»

Горестно вздохнув, он махнул рукой, словно отгоняя милый образ. Надо забыть и не думать об этой девушке. Поздно, теперь уже никакие перемены не помогут.

Дома он встречал вечно недовольное лицо жены, слушал бесконечные жалобы матери и злобные подстрекательства сестры, вспоминал последние слова отца и свои собственные муки — и снова искал забвения в ресторане.

Пусть будет так, пусть он кончит тем, с чего начинали братья.

Ложь окружающих не могла скрыть от Смбата их презрения к его супружеской жизни. Он старался убедить себя, что это презрение — плод предрассудков темной среды, но все-таки жестоко страдал.

Порою он думал: к чему богатство, если он так несчастен? Не лучше ли было лишиться наследства, жить вдали от угнетающей среды и молча переносить страдания, как переносил семь лет подряд, скрывая горе от всех, от

самых близких? Но вместе с тем он сознавал, что уже привык к власти денег, что ему страшно нищета, страшно вспомнить былые непритяжные дни. Пусть богатство бес- сильно излечит его раны, оно хоть иногда дает ему воз- можность забыть горе. Значит, надо развлекаться, а по- чему бы и нет?..

И Смбат мотал отцовские деньги, как некогда мотал Микаэл: играл в карты, познакомился с закулисной жизнью. Ведь он же несчастен, ему надо как-нибудь за- гушить тоску, грызущую сердце.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Постройка новых рабочих казарм закончилась к мас- ленице. Накануне новоселья Заргарян выехал в город.

Смбат дал ему пачку кредиток и распорядился устро- ить для рабочих угощение.

Сумма была значительная. Можно было устроить хо- рошую пирушку. Заргарян так и сделал.

— Как хотите,— сказал Микаэл,— но, по-моему, не стоит незначительное явление раздувать в целое событие.

— Незначительное? — удивился Заргарян.— Мне ка- жется, что для рабочих переселение в такие хоромы — не маловажно. Посмотрели бы вы, в каких свинарниках ютятся рабочие у других нефтепромышленников.

Новые казармы состояли из трех корпусов — по кор- пусу на каждую группу промыслов. Давид решил устро- ить угощение в самом поместительном корпусе, недалеко от конторы. Это было продолговатое одноэтажное здание, защищенное от сырости и газов подвалом, с высокими по- толками, широкими окнами и стенами, выкрашенными масляной краской. Каждому рабочему полагались кро- вать и табурет. Дом был опоясан широким летним бал- коном. Вокруг простирался обширный чистый двор, об- несенный каменной стеной. В одном конце двора было выстроено просторное помещение, приспособленное для

школьных занятий и для театральных представлений. В другом конце баня — новшество для промысловых рабочих.

— Один этот дом обошелся в пятьдесят тысяч,— говорил Заргарян.

С раннего утра стали складывать на балконе черные от сажи мешки, корзины и узлы с провизией. Во дворе плотники наскоро сколотили длинные столы. День выдался теплый, и рабочие захотели обедать под открытым небом.

Сутулая спина Заргаряна сегодня как будто стала прямее: на лице — довольная улыбка, худые ноги как будто готовились пуститься в пляс. Он перекидывался шутками с рабочими и предупреждал быть осторожнее с огнем.

В одиннадцать часов завыли гудки, что означало конец работы. Полчаса спустя двор наполнился черными привидениями. На перепачканных сажею лицах светилась непривычная радость; зрачки в желтых овалах глаз блестя лихорадочной радостью. Торжество это многим напоминало деревенские престольные праздники; рабочие вздыхали, вспоминая родные места, и вместе с тем шутили, смеялись, благословляя Алимьянов.

Это была не людская толпа, а само воплощение горького труда, протекающего среди тысячи жизненных забот и горестей. Все они пришли стряхнуть с души уныние и тоску и хоть ненадолго забыть грязь, копоть и лохмотья. Однако куда ни ступала их нога, всюду веяло мраком и унынием. Меркли даже яркие солнечные лучи, падая на это темное людское море. Но не беда — темное море сегодня довольно очень немногим: теплом, ясным небом и особенно крохами, упавшими со стола миллионера.

Микаэл, безмолвный, бледный, бродил, как лунатик, из комнаты в комнату, по двору, по улице — в поисках милого лица, неодолимо завладевшего всеми его помыслами. А этот милый образ уже десять дней не показывался ни на балконе, ни у окна. Микаэл стыдился признаться себе, что не противился сегодняшнему торжеству лишь потому, что надеялся встретиться с девушкой.

Из города приехали Срафион Гаспарыч с главным бухгалтером, Аршак и Сулян, а немного позднее — Антонина Ивановна с братом.

Давид распорядился сервировать для них особый стол у себя. Он поспешил позвать Шушаник, чтоб она заняла Антонину Ивановну. Несколько минут спустя толпа почтительно расступилась, давая дорогу девушке. Все знали ее: одним она писала и читала письма, другим шила и чинила одежду, иным перевязывала раны. Фуражки и папахи полетели вверх, лица озарились улыбками: так может улыбаться только нефтяное море под лучами луны.

— Добрая, славная барышня,— услышала Антонина Ивановна слова признательных русских рабочих.

Ей показалось, что даже солнце может позавидовать впечатлению, произведенному на толпу появлением этой скромной девушки.

Шушаник подошла к Антонине Ивановне и почтительно поздоровалась. Ей не хотелось сегодня выходить, но она все-таки вышла; не хотелось встречаться со Смба-том, однако ее тянуло к нему. Девушка вздрогнула, когда Антонина Ивановна искренне и сердечно пожала ей руку. Невольный стыд в ней смешался с укором совести: ведь провинилась же она перед этой женщиной своими незаконными чувствами. Она вздрогнула еще сильнее, когда Антонина Ивановна, дружески взяв ее под руку, предложила пройтись по двору.

С первого же раза Антонина Ивановна заинтересовалась этой разношерстной массой. Перед нею раскинулось целое полчище мрачных фигур — смесь племен, религий, наречий и одежд. Впервые приходилось ей наблюдать подобную картину, и ее потянуло к этому морю, захотелось взглянуться глубже, рассмотреть, что творится там, на дне.

— Черт возьми, да тут можно перепачкаться,— фыркнул Алексей Иванович.

Он подобрал полы пальто и сложил на брюшке, чтобы не коснуться рабочих.

— Да, только снаружи,— заметила Шушаник серьезно.

— Съел? — шепнула Антонина Ивановна брату.— Надо быть поосторожней с этой девушкой.

— Она довольно пикантна,— ответил Алексей Иванович.

Антонина Ивановна строго посмотрела на брата и сдвинула брови. Шушаник внушала ей симпатию и уважение. Она показала ей цветком, случайно выросшим в этом черном мире. Сегодня, пристальней всмотревшись в

девушку, Антонина Ивановна в душе укоряла себя, что при первой встрече отнеслась к ней небрежно и насмешливо. Нет, она не похожа на женщин ее домашнего круга. Впервые по приезде Антонина Ивановна заметила одухотворенное женское лицо, отмеченное печатью умственного развития.

Желая проникнуть в душевный мир Шушаник, Антонина Ивановна заговорила с нею о рабочих, об их жизни, об их запросах и нуждах. Девушка бесхитростно рассказывала ей все, что знала, нисколько не сгущая красок. Антонина Ивановна искренним обращением привлекала ее и, сама того не сознавая, подчинила девушку обаянию своего умственного превосходства. Она представлялась Шушаник редким существом, по капризу судьбы занесенным в грубый практический денежный мир и уступавшим только одному Смбути. Шушаник не ошибалась: по образованию, воспитанию, положению в семье Антонина Ивановна во всем городе была исключением. Потому-то, быть может, и стала она жертвой пересудов у всего городского общества.

По знаку Заргаряпа рабочие разместились за столами, образовав несколько темных квадратов. Антонина Ивановна, под руку с Шушаник, обходила столы, прислушиваясь к разговорам, иногда просила девушку перевести какое-нибудь слово. Присутствие «господ» не стесняло рабочих. Они, устраиваясь поудобнее, неустанно шутили, балагурили, смеялись. Всем хотелось повеселиться в полную волю, а этому лучше всего помогало вино.

Давид подходил к столу и то и дело повторял:

— Ребята, пейте сколько хотите — вина и водки вдоволь. Только, смотрите, не напиваться!..

Рабочие осушали бутылку за бутылкой и острили по поводу выпивки на жаргоне, понятном одному лишь населению нефтяных промыслов.

— Братцы,— говорил один, показывая на горло,— труба моя засорилась, а ну-ка расширитель сюда!

— Отверни-ка кран, дай наполнить чан! — подхватывал другой.

— Ребята, хорошенько нагревайте котлы, такой топки больше нам не видать...

— Полегче, как бы паром не обдало головы!..

— Поверни-ка барабан!..

Среди рабочих армян был почтенный старик по имени Гаспар. Когда-то сельский староста, богатый крестьянин, он знал, как обращаться с «благородными». Он по очереди предлагал тосты за «господ» и кричал «ура». Толпа подхватывала его возгласы, подымая полные стаканы. Когда был предложен тост за инженера Суляна, воцарилось неловкое молчание. Рабочие лицемерить не могли. Некоторые едва пригубили, а многие и совсем не стали пить.

— Низкий человек,— шептали они друг другу на ухо,— честности в нем нету.

Улыбающийся Сулян, подбоченясь одной рукой, другой крутя ус, подобострастно и неотступно следовал за Микаэлом. Инженер собирался просить Смбата через Микаэла, чтобы фирма Алимянов выделила ему акции организуемого нефтяного общества.

У ворот остановился экипаж Смбата. Черное море заволновалось. Все поднялось. Явился человек, который с того дня, как ступил на промысла, старался улучшить жизнь рабочих. Ах, до чего изменился хозяин за последнее время! Лицо покраснело, даже отекло, глаза опухли, налились кровью. Как быстро отразились на нем бессонные ночи и крепкие напитки!

— Ур-ра-а!..— закричала толпа по знаку Гаспара.

Смбат подал рукой знак, чтобы продолжали обед, но в душе был рад этим проявлениям признательности и уважения. Он подошел к Микаэлу и спросил, доволен ли тот его распоряжением.

— Нет! — отрезал Микаэл.

— Почему?

— Я не люблю фальши.

— Фальши? — удивился Смбат.

— Да, все это я считаю фальшью. На их же деньги устраиваете пиршество для несчастных и воображаете, что великое благодеяние оказали.

— Я вовсе так не думаю.

— Нет, думаешь! Все вы, «демократы», скроены по одному шаблону. А я — буржуа, я не люблю таких вещей.

Он отошел. Смбат, удивленный, посмотрел ему вслед и пожал плечами.

Антонина Ивановна все время наблюдала за толпой. Преждевременно увядшие лица, согбенные спины, впалые

груди вызывали у нее сострадание. Ее осаждали неприличные мысли и чувства. Под мрачной внешностью она видела еще более мрачный душевный мир, жаждавший искорки света. И думалось ей: почему бы не помочь этим несчастным? Для чего же люди получают образование, если не могут или не хотят внести хоть слабый луч света в это темное царство?

Она впервые упрекнула себя за то, что до сих пор придавала такое значение различию племен и религий. Ей стало стыдно при воспоминании о том, что она говорила Смбату в минуты раздражения. А наговорила она немало обидных слов. Но разве она упрекала его без причины? Нет, почему винить только себя — Смбат ведь оскорбил ее.

Ее обычно хмурое лицо постепенно прояснилось, голубые глаза светились непривычным блеском. В мыслях ее возникали героини любимых романов, прочитанных в юности, которыми она когда-то увлекалась. Вот тот самый мир, идею помощи которому вынашивали лучшие люди ее народа.

Сердце Антонины Ивановны забилось от этих высоких, гуманных чувств. Теперь она способна была простить свекрови, золовке и всем родственникам, таким чуждым ей. Она видела смесь племен и языков, пропизанных одной и той же болью и горестью. Черная пелена сажи и нефти одинаково покрывала всех, создавая грустное единообразие. Только мелкое сердце может под этой мрачной гладью находить какие-то различия: одних любить, других ненавидеть, помогать одним, отворачиваться от других.

— Часто ли бывают несчастные случаи на промыслах? — обратилась Антонина Ивановна к Шушаник.

— Часто.

— В большинстве случаев, конечно, от пожаров?

Шушаник объяснила, что, помимо пожаров, вообще жизнь на промыслах подвержена многим случайностям. Например, вчера одному оторвало палец, позавчера приводным ремнем задушило неопытного рабочего. А уж нечего говорить про обычные заболевания, дающие чудовищный процент смертности.

— Я слышала, вы постоянно оказываете помощь рабочим, а они обожают вас, как доброго гения, — проговорила Антонина Ивановна полуиронически, полусерьезно.

Шушаник в невольном смущении отвернулась. Никогда не думала она придавать значение тем случайным услугам, которые сѣ приходилось иногда оказывать рабочим.

— А знаете,— продолжала Антонина Ивановна, глядя ей в глаза,— мне кажется, вы бы могли при желании многое сделать для рабочих. Например, вы можете убедить Микаэла Марковича в необходимости открыть больницу.

— Я не имею права вмешиваться в его дела.

— Это, конечно, так. Но неужели для того, чтобы сделать доброе дело, надо ссылаться на право? Я тоже не имею права, однако буду вмешиваться... И от вашего имени тоже. Нет уж, пожалуйста, пожалуйста... Мне кажется, что он вашу просьбу удовлетворит скорее, чем мою. Да, да, я буду просить и от своего и от вашего имени, хотя бы вы мне и не разрешили. Ага, вы покраснели — значит, я права.

Давид подозревал Шушаник: надо было готовить стол для гостей, прибывших из города.

Четверть часа спустя гости были приглашены в отдельную комнату. Срафион Гаспарыч предложил тост за процветание фирмы Алимянов.

— Дай бог, чтобы эта фирма процветала, ширилась и кормила тысячи людей,— заключил он свое слово.

— Наша фирма никого не кормит и не кормила,— вставил Микаэл с непонятным озлоблением.

— Ну, уж об этом позволь мне судить,— возразил Срафион Гаспарыч загадочным тоном.

— Нет, дядя, ты не знаешь... Да и сегодняшний обед, на мой взгляд, не что иное, как комедия...

Все с удивлением посмотрели на Микаэла. Смбат не знал, чем объяснить его странную выходку.

— Да, именно комедия! — повторил Микаэл с большим раздражением.— Я тут не вижу искренности.

— Микаэл,— сказал Срафион Гаспарыч,— ты еще молод. Так слушай, что я тебе расскажу. Когда я был уездным начальником, его превосходительство, Виссарион Прокофьевич Афанасьев, царство ему небесное... одпажды...

Единодушные крики рабочих прервали оратора. Давид передал им слова Срафиона Гаспарыча, и они ответили дружным «ура».

— Ну и радуйтесь! — вскочил Микаэл и, выбежав из комнаты, крикнул: — Замолчи, глупая чернь!..

Завтрак длился недолго. Ели стоя. Странное поведение Микаэла отбило у всех аппетит. Антонина Ивановна вышла на балкон, взяла под руку Микаэла и начала с ним беседовать.

— Ну, ребята, вставайте! — крикнул Давид. — А теперь посмотрим, кто из вас может стать на работу.

Рабочие двинулись за ним и вышли на улицу.

— Дядя Гаспар, — обратился Давид к бывшему старосте, — ты старый пастух, отдели-ка козлов от овец.

— Слушаюсь. Ребята, давайте мне пару длинных досок.

На улице стояла неглубокая, но широкая нефтяная лужа, окруженная насыпью. Гаспар велел перекинуть через лужу длинные толстые доски, вкопать концы их в землю и завалить камнями. Образовался мостик. Гаспар предложил рабочим пройти по нему. Кто свалится — пьян.

Шутка оччень поправилась рабочим, поднявшим невероятный шум.

— Ну, раз, два, три! — крикнул Гаспар тоном командира и прошел первым.

Смех, галдеж, толкотня, крики, шум. Один за другим осторожно перебирались рабочие, балансируя, пытаясь сохранить равновесие. Их черные фигуры отражались на неподвижной поверхности лужи, подобно туманным теням. Порою какой-нибудь пьяный, потеряв равновесие, качался, как канатный плясун, и падал, обдавая брызгами черной жидкости стоявших вокруг. Все смеялись, а больше всех те, кто падал. Иногда какой-нибудь шутник принимался плясать в луже, прихлопывая в ладоши.

— Оттащите его, он слишком мокрый, — командовал Гаспар.

Вдруг толпа закричала:

— Чупров! Чупров!

На мостике появился русский рабочий — рослый, широкоплечий. На правое плечо он посадил рабочего армянина, на левое — лезгина. Оба были пьяпы и сидели обнявшись. Чупров выхватил у кого-то гармошку и, подыгрывая, зашагал по доске, устремив голубые веселые

глаза на другой конец мостика. Рукава его были засучены, грудь открыта, кумачовая рубашка вздувалась от легкого ветерка. Хотя он порядком нагрузился, однако сохранял равновесие. Было ясно, что мостик не выдержит такой тяжести. Чупров прыгнул в лужу и, пройдя по ней несколько шагов, поднялся со своей ношей на другой берег.

Толпа опять заголосила:

— Расул! Расул!

Стройный лезгин, дойдя до середины мостика, выхватил кинжал из ножен и начал плясать под гармошку Чупрова, кинжал сверкал вокруг него, то под коленами, то над головой, то у самых щек. Утомившись, он остановился, покачнулся, чуть не упал. Но в это время чья-то могучая рука схватила его за ноги, другая — за спину, и он был вынесен на берег!

— Молодец, Карапет! — крикнул Чупров.

Трое рабочих разных языков и национальностей крепко дружили. Их прославленное бесстрашие вызывало всеобщее уважение и зависть. Шли на работу вместе, возвращались вместе, жили в одной комнате, спали на одних нарах. На пожарах их видели впереди всех и в самых опасных местах. Одно их появление на месте бедствия вызывало общее воодушевление и умножало мужество. Когда одному из них грозила беда, остальные, рискуя жизнью, старались выручить товарища. Один веселился — веселились и остальные, и наоборот. Они постоянно балагурили, подшучивали друг над другом. Но не дай бог, если кого-нибудь из них обидит посторонний: тотчас же сверкал кинжал Расула, сжимались кулаки Чупрова и Карапета. Однажды они сцепились с рабочими соседних промыслов и втроем оттеснили два десятка.

Все это рассказывал Давид Заргарян Антонине Ивановне, причем рассказывал не без тайного умысла. Она слушала с любопытством и — задумалась...

Толпа разошлась. На следующее утро рабочие должны были переселиться в новые казармы.

Давид предложил гостям осмотреть и другие постройки. Во дворе их ждало несколько экипажей. Предложение было принято, и вскоре двор и балкон опустели.

Целый час Микаэл пытался встретиться с Шушаник наедине. Воспользовавшись уходом гостей, он прошел в

комнату, где девушка с помощью одного из рабочих убирала со стола.

Вошел он, сильно нервничая, сделал знак рабочему удалиться и запер двери.

Шушаник вздрогнула. «Господи боже, чего он опять хочет от меня?» — мелькнуло у нее. От испуга или от стыда девушка выронила и разбила стакан. Бежать ей или оставаться? Но двери заперты. Будь что будет! Ей нечего бояться, она сумеет защитить себя.

Микаэл подошел и остановился против нее с другой стороны стола.

— Скажите, пожалуйста,— начал он с дрожью в голосе,— кто вы такая, что вмешиваетесь в наши дела, а? На каком основании вы обращаетесь ко мне через Антонину Ивановну с просьбой сделать то или другое для рабочих? Не думаете ли вы, что я вроде излюбленных вами филантропов или демократов! Нет, я всей душой ненавижу благотворителей, я ничего не желаю делать для рабочих и не сделаю. Я своевольный человек — поступаю так, как мне взбрдет в голову. Хотите — завтра же прикажу снести дома, построенные Смбатом, и оставлю рабочих под открытым небом? Хотите — прикажу сломать и ваш дом, подожгу все промысла? Людское мнение для меня не стоит ломаного гроша... По какому праву вы даете мне советы?..

— Погодите, господин Алимян, я никогда..

— Не притворяйтесь, ради бога! Вы говорили с Антониной Ивановной. Может быть, вы еще скажете, что не избегаете меня или что не любите Смбата? Что, стыдно стало?.. А вот мне все нипочем, я выскажу все... Так слушайте: вы хотели, чтобы я унизился,— и я унизился. Хотели, чтобы я добился презрения друзей,— добился; чтобы я избегал общества,— и это ваше желание исполнено. А теперь вам угодно, чтобы я стал вашим приказчиком? Извините, не могу!..

Шушаник не знала, что ответить на эту бессвязную речь; попыталась заговорить, но взволнованный Микаэл не давал ей раскрыть рот.

— Кто вы такая? Кто ваш дядя? Что значит ваша семья и даже все общество для меня? Ничто!.. То же, что ветер, газ из скважин моих промыслов... Что мне людские толки? Я — Микаэл Алимян, богач и полноправный хо-

зяин. Захочу — помогу. Не захочу — разнесу, растопчу. Я презираю всех женщин... Ха-ха-ха! «Какая разница между вами и вашим братом!» Между мною и Смбатом? Да, есть. Он — умен, я — глуп, он — образован, я — неуч, он — человек нравственный, я — беспутный. Ну, и что же? Что вы хотите этим сказать? Но... но все-таки я презираю вас... Ха-ха-ха! Дочь прогоревшего купца, современная барышня, красавица, скромница, кроткая, как ангел, интеллигентка, мечтающая об идеалах... Ха-ха-ха!..

Смех его казался неестественным и даже внушал опасение. Микаэл бредил, не сознавая своих слов, он задыхался; то садился, то вскакивал, ударяя по столу, и продолжал все ту же бессвязную и возбужденную речь.

О-о, ему известно, о чем сейчас думает Шушаник. Пусть не считает она Микаэла Алимяна пивным дурачком. Кому только не известно, что опытные девушки любят мужчин «загадочных», несчастных или прикидывающихся умными? Но все мужчины, если присмотреться, одинаковы. Сам Микаэл Алимян может быть и дурным и хорошим, добрым и злым, трусом и храбрым. Все зависит от обстоятельств. Он — человек минуты, часто думает об одном, а делает другое.

— Вот в тот день, помните? В тот день я был именно таким. Ну да, конечно, вы мне этого не забудете. Но я... я сейчас же забываю обиду. Знаете, я испорченный, падший, омерзительный — что угодно, но вот тут, в этой груди, живет чувство, понимаете ли вы? Я в один час вас и унижу и возвышу, и сокрошу и брошусь вам в ноги. Поймите вы это, поймите же вы меня наконец! Отец считал меня безумцем, но вы же видели, сколько оскорблений сыпалось на меня и как я выносил их. Что ж, я непорочный человек — ну и пусть! Но погодите, когда-нибудь и для меня... Хотите пари, что вы не одолеете меня... Вы, безусловно нравственная, меня, безнравственного?..

— Состязаться с вами у меня нет ни сил, ни желания.

— Вы не скрываете отвращения ко мне.

— Мое отвращение ничего не значит для вас: вы богаты, я бедна.

— Прошу вас не говорить о богатстве и бедности...

— Как не говорить, когда вы сами только что хвастались, что вы богаты и вам все позволено? Откройте дверь!

— Я вам это говорил?.. Неужели!.. Я ничего такого не

говорил, но, может быть... кто его знает... Я так возбужден, что сам не знаю, что говорю...

— Оно и видно. Откройте же! Дома меня ждет прогоревший купец, мой паралитик отец.

Последние слова обезоружили Микаэла.

— Я не думал, что невпопад сказанное слово может оскорбить вас,— проговорил он, как бы негодуя на себя.— Простите, я не умею подыскивать подходящие слова, это проскочило у меня... А уж если хотите знать правду, так слушайте: богатство многих портит... Думаю, теперь поверите...

— Неужели? — сказала Шушаник насмешливо.— Отчего же иных оно не портит?

— Понимаю, вы намекаете на брата. Но пока судить рано, неизвестно, что еще может быть... Он только еще начинает входить во вкус денег... А мне они уже осточертели.

Чем дальше, тем непонятнее говорил Микаэл: то вдруг впадал в ярость и повышал голос, то, неожиданно теряясь, путал слова. И Шушаник не знала, чему верить и что считать бредом. Вместе с тем девушка невольно заинтересовалась этой его противоречивостью. Неужели все, что он говорит, притворство, комедия? Что заставляло Микаэла говорить так бессвязно? Без серьезной причины испорченный человек не может дойти до такого возбуждения. Что бы это значило? Оскорбленное самолюбие, любовь, страсть, ненависть или раскаяние? Как будто все свилось в один клубок. Даже выражение лица Микаэла стало каким-то непонятным: то безобразным, отталкивающим, то привлекательным. А шрам на лбу — это неизгладимое клеймо позора,— казалось, не производил уже отвратительного впечатления.

Что с ним? Человек, исходивший яростью, вдруг стал неузнаваем. Обессиленный, разбитый, опустился он на стул, блуждающим взором взглянул на Шушаник, положил голову на стол и зарыдал. Да, он рыдал, как ребенок. Это уже не комедия, можно ли так притворяться. Но слезы и Микаэл Алимян — какой контраст!

Опираясь руками на спинку стула, широко раскрыв глаза, Шушаник удивленно смотрела. И то, что она видела, казалось ей сном, до того все это было неестественно.

Микаэл вскочил, вытер слезы и открыл дверь со словами:

— Идите, отныне я вас оставляю в покое, идите... Но забудьте мои слова... На меня нашла дурь, это от бессонницы, я болен...

И, снова подойдя к столу, он опустился на стул.

— Боже мой, сегодня вы положительно больны,— встретила Антонина Ивановна Шушаник, выходя из экипажа.— Идемте к вам, я хочу познакомиться с вашими родными. Дайте вашу руку.

— Не касайтесь моей руки, она недостойна вас,— проговорила девушка, судорожно вырывая руку.

Антопина Ивановна удивленно посмотрела на Шушаник и, закусив губу, озабоченно покачала головой.

Она совершенно превратно истолковала душевное состояние девушки — превратно и оскорбительно.

2

Прошло две-три недели. Жизнь в городе текла по-прежнему. Марта Марутханян почти ежегодно навещала мать и настраивала ее против невестки. Ссоры Воскехат с Антониной Ивановной происходили все чаще. Причин было немало, но постоянным поводом являлись дети. Мать старалась держать их подалеже от мужниной родни, а бабушка стремилась завладеть ими. На этой почве происходили нескончаемые семейные бури, против которых Смбат чувствовал себя бессильным. Он укорял то мать, то жену, и обе стороны ревниво отстаивали свои права.

— Она всех нас ненавидит, свысока, заносчиво держится с нами,— жаловалась вдова,— визитов не делает, детей прячет, ни к кому не пускает. Придут ко мне родственницы — она к ним не выйдет, стакана чаю не предложит. Родня смеется надо мною. Не стало житья, сынок, ни мне, ни тебе — порви ты с нею!

Антонина Ивановна рассуждала иначе: никого она не презирает, никем не пренебрегает, готова жить в мире со всеми, только пусть от нее не требуют невозможного. У нее есть свои взгляды, вкусы, самолюбие. Не может же она часами просиживать с той или иной невежественной родственницей Алимьянов, слушать ее сплетни и сплетничать. Она не умеет с ними обращаться и до сих пор еще не

знает, о чем ей с этими женщинами разговаривать. Ей не хочется с ними откровенничать, а они норовят залезть ей в душу, хотят знать, когда она ложится, когда встает, о чем думает, кого любит, кого презирает. От нее требуют присутствия на скучнейших пышных семейных вечеринках и обедах, хотят, чтобы она одевалась, как другие, любила те же кушанья, которые любит алимяновская родня, бранила их врагов, потакала друзьям и даже играла с ними в карты...

— Переделать я себя не могу, если бы даже желала. Между мною и этими женщинами лежит пропасть, которую я не могу и не хочу заполнять лицемерием. Не может ее заполнить и ваша мать. Зачем же тогда обманывать друг друга?..

Смбат убежал из дому, чтобы избавиться от ее бесконечных жалоб. Утром он спускался в контору, делал необходимые распоряжения и исчезал. Ни с кем не делился он своими горестями, считая это недостойным. Да и кто поймет муку чужой души со всеми ее оттенками? Разве тот, кто находится в таком же положении. Но подобного ему несчастливца не найдется во всем городе. Вообще их немало, но здесь он один. Так пусть же он один и остается со своими горестями.

Аршак расстался с надеждой найти Зину и при содействии Алексея Ивановича обрел Эльмиру. Это была кокетка, прошедшая столичную школу прожигания жизни, красавица, авантюристка, искавшая теперь счастья в «золотом городе». Коротая ночи с новой любовницей, Аршак днем бродил по ресторанам в поисках еще не изведанных развлечений. Алексей Иванович был неистощим: день ото дня он открывал своему питомцу все новые и новые светские тайны, знакомя его с самыми утонченными и волнующими удовольствиями, рассчитанными на «любителей жизни». Теперь у юноши не было недостатка в деньгах. Смбат щедро снабжал его ими, отчасти под влиянием материнских слез и молений, отчасти для того, чтобы отвя-заться.

Исаак Марутханян перестал посещать Алимянов: ведь Микаэл так бесстыдно выставил его. Отныне он не намерен поддерживать с этим домом никаких связей, но погоди же, «наглый мальчишка», Марутханян покажет тебе когда-нибудь когти!

Каждый вечер у себя в кабинете он делал на счетах какие-то выкладки, доставал из железного сундука бумаги, сличал подписи, перечитывал, ухмылялся, потом бережно складывал и прятал их, повторяя:

— Глупый мальчишка!..

Временами он осведомлялся у жены о семейных делах Алимянов (о торговых он знал больше, чем сами Алимяны), интересовался, в каких отношениях между собой братья, и особенно допытывался: что с Микаэлом, почему он не ездит в город? Неужели так сильно втянулся в промысловые дела?

— Уж непременно тут что-нибудь да кроется,— говорил он многозначительно.

С особенным удовольствием приписывал он Микаэлу самые гнусные, самые низменные намерения. Как-то Марта сообщила ему, что Антонина Ивановна переезжает на промысла. Марутханян ухмыльнулся, уставив из-под очков на жену зелено-желтые глаза:

— Видишь, тут что-то нечисто.

Он думал, что жена из ненависти к Антонине Ивановне не посовестится подхватить этот омерзительный намск. Однако Марта возмутилась до глубины души и, вспыхнув, крикнула:

— Не смей, мой брат не таков, как ты!

— Я ничего обидного не сказал... Мне только хочется, чтобы твой брат женился.

И с того дня он неустанно повторял одно и то же, побуждая Марту склонить брата к женитьбе. Наконец жена как-то удивленно спросила:

— Не понимаю, почему ты так хлопочешь о браке Микаэла?

— У меня свои соображения.

— Какие же?

— Когда-нибудь узнаешь, пока не время.

Между тем у Микаэла не только не было охоты жениться, но и сама жизнь со дня на день теряла в его глазах свою привлекательность. Дела он почти полностью передал Давиду Заргаряну и даже не хотел принимать никаких отчетов. Он не только перестал ездить в город, но и редко выходил из дому.

«Что бы такое могло с ним случиться?» — спрашивал себя Давид Заргарян, пытаясь прочесть ответ на лице

молодого хозяина. Он был не слеп и не глуп — давно заметил, что Микаэл неравнодушен к Шушаник, между тем как девушка не только не обнадеживает его, но даже избегает. Заргарян мысленно одобрял гордость племянницы, но вместе с тем и опасался: Микаэл с женщинами не знает удержу, он может решиться на жестокость, чтобы наказать бедную девушку за равнодушие. Нравственно падший человек способен на всякую низость, особенно когда в его власти такое могучее средство, как деньги. О нет, пусть только он посмеет — Давид не пожалеет жизни, чтобы отстоять честь племянницы!

Главное не в этом. Очевидно, Шушаник питает склонность к другому Алимяну. Вот где опасность, которую надо устранить. Правда, Смбат — человек благородный, а Шушаник — девушка рассудительная, но кто может поручиться за их благоразумие, если вдруг легкое взаимное влечение превратится в страсть? А ведь это возможно. То, что Смбат богат, а Шушаник бедна — не имеет значения, таких случаев немало. Надо быть настороже и зорко следить за ними...

Давид обрадовался, когда Смбат перестал ездить на промысла. Однако вскоре он убедился, что отсутствие Смбата еще сильнее действует на девушку: со дня на день она блекла, худела, делалась мрачной, раздражительной, как чахоточная.

Анна то и дело твердила:

— Дитя мое тает, как воск. Бога ради, Давид, разузнай, что с нею.

Как-то ночью, подавая воду паралитику, Анна услышала крик Шушаник из смежной комнаты. Она подошла с лампой к дочери — девушка бредила во сне. Анна была потрясена, услышав не раз имя Смбата. Утром, рассказав об этом Давиду, она снова умоляла его, чтобы он разузнал, «отчего так тоскует малютка».

— Шушаник, — обратился Давид после ужина к племяннице, — пройдем к тебе, я хочу кое о чем поговорить.

Девушка хотела было закрыть книгу и подняться, но паралитик воспротивился:

— Не смей, читай, пока я не усну!

И еще около часа эгоист-паралитик терзал самоотверженную девушку, пока не уснул, убаюканный ее мелодичным голосом.

Войдя к девушке, Давид бросил на нее долгий пронизательный взгляд и начал издалека, осторожно подходя к сути дела. На правах любящего наставника он убеждал Шушаник одуматься, стать такой, какой она была прежде. Она сильно изменилась... Конечно, в молодые годы человек не застрахован от разных «вольных и невольных» увлечений. Только Шушаник не должна допустить, чтобы родители прокляли тот день, когда было положено начало их благополучию, то есть день переезда на промысла.

— Смбаг Алимян, спору нет, очень достойный человек, его можно любить, но...

— погоди,— прервала дядю Шушаник, вздрогнув,— к чему ты это клонишь?

Давид заговорил яснее:

— Да, Смбага Алимяна можно полюбить, но всякая любовь должна иметь разумное оправдание. О, тебе нечего стыдиться, Шушаник, нечего краснеть и перебивать дядю. Он знает, что говорит. Прости дяде, если он не скрывает своих подозрений. Когда любишь, как родной отец, так обязан, если того требуют обстоятельства, поступить даже сурово. Послушай, Шушаник, подумай хорошенько, у тебя не хватит сил на борьбу с общественным мнением, а оно будет преследовать тебя. Никто не поверит, что ты, дочь бедных родителей, могла полюбить Смбага Алимяна бескорыстно. О нет, люди всегда в таких случаях склонны допустить самое худшее, самое гнусное. Уж таково их свойство.

Шушаник положительно страдала. Не нужно ей таких забот со стороны дяди. Дайте ей остаться одной с ее тайным горем, не вмешивайтесь в ее сокровенные помыслы. Господи, что за испытание такое! Почему он так уверенно говорит о ее любви? Она никогда ничем не выдавала своих чувств к Смбагу, ни разу даже не беседовала с ним интимно. С чего же дядя взял, что она влюблена в Смбага?

— Иногда молчание бывает красноречивее слов. Шушаник, не обманывай ни себя, ни меня. Ты увлечена Смбагом. Ты день и ночь только им и бредишь. Да и к чему далеко ходить? Сегодня случайно я раскрыл одну из прочитанных тобою книг... Одну минуту, кажется, тут она...

Он встал, взял со стола толстый том Диккенса и начал перелистывать.

— Ну, вот посмотри,— продолжал Давид, кладя раскрытую книгу перед девушкой.— Ты подчеркнула эти строки. Взгляни на другую страницу, чье имя написано карандашом на полях? Это уже достаточно объясняет твое настроение. Подумай, Шушаник, какие последствия может иметь любовь свободной девушки и женатого человека. Ты будешь несчастлива, а я этого не хочу. Ты умна, развита, у тебя прекрасное сердце... С гордостью я могу сказать, что ты — моя ученица...

Семь лет бился Давид, чтобы воспитать из племянницы безукоризненную девушку. Первой заботой его было — приучить ее терпеливо переносить житейские невзгоды; он старался внушать ей любовь к ближнему и кротость, научить любить жизнь даже в самых мрачных ее проявлениях. И Давид был убежден, что наконец достиг своей цели. Неужели же теперь окажется, что под этой скромной наружностью таятся дерзкие помыслы?

Давид с минуту помолчал. Его длинные сухие пальцы нервно теребили книгу. На преждевременно увядшем лице появилась новая мрачная складка, доселе не виданная Шушаник. Нервным движением он отбросил книгу, порывисто выпрямил сутулую спину и продолжал с дрожью в голосе. Пусть Шушаник не думает, что ее дядя вообще против любви. Нет, он тоже кое-что понимает и чувствует. Не так уж высохло у него сердце, как высохло тело. Когда-то это сердце сильно билось. И если теперь он подавлен — причиной тому любовь, несчастная любовь.

Давид когда-то был скромным учителем в Тифлисе, давал уроки детям богатого купца. Это был грубый деспот в семейной жизни. Спустя год после смерти первой жены купец женился на молоденькой девушке из бедной семьи. Давид с первого же взгляда увлекся ею. Дама не то была, не то притворялась равнодушной. Давид чего только не вообразил, потом в нем зародилась любовь, такая же неравная, как и любовь Шушаник, и это сделало его несчастным.

— Шушаник, любить хорошо, но нет ничего хуже, когда в любви нет взаимности. Смбат Алимьян тебя любить не может, потому что его сердце принадлежит детям. Он человек честный и не собьется с пути.

Девушка не могла больше сдерживаться. Дядя высказал ее сокровенные мысли. Возражая то слабыми жестами, то восклицаниями, она в то же время не могла отрицать, что любит Сибата Алимяна, так как не умела лгать и притворяться. Жилы на шее у нее напряглись, грудь вздымалась. Не сдержав наплыва бурных чувств, явившихся откликом на прямодушные речи дяди, Шушаник в бессилии опустилась на диван, уронив голову на вышитую подушечку, и зарыдала как никогда.

Жаль стало Давиду племянницу. Он подошел, взял ее за руки. Зачем он так неосторожно коснулся сокровенных помыслов стыдливой девушки? Рыдания Шушаник перешли в истерику. Теперь уже слезы иссыкли, первый клубок перехватил дыхание, губы посинели, щеки покраснелись, глаза налились кровью.

— Полно, полно, ведь ты не ребенок, — успокаивал ее Давид.

Вошла Анна. Она не спала, ожидая в соседней комнате, чем кончится разговор. Мать обняла голову дочери и прослезилась. Наивная женщина! Она воображала, что причиной всему — Микаэл Алимян...

С этого дня Шушаник перестала бродить, как лунатик, и грустно вздыхать. Ей стыдно было встречаться с дядей. Она снова отдалась домашним делам с прежним усердием, старалась привлечь к себе отцовское сердце, за последнее время охладевшее было к самоотверженной дочери. Однако это уже не давалось ей так легко.

Не проходило дня, чтобы паралитик не проклинал дочь. Он вообразил, будто Шушаник сговорила с матерью, дядей и теткой уморить его. Больной подозрительно относился к каждому шагу окружающих. Иногда он не дотрагивался до пищи, уверяя, что она отравлена, поносил всех самыми непристойными словами, оскорблявшими стыдливость несчастной девушки до того, что она, закрыв лицо, убегала.

Как-то рано утром паралитик проснулся с отчаянным криком. Ему приснился ужасный сон: будто во дворе между двумя резервуарами разведен большой костер. Давид, связав его при помощи домашних, несет, чтобы бросить в костер и сжечь.

— Уберите их с моих глаз, уберите! — кричал больной, указывая на резервуары, торчащие, как два утеса.

С этого дня он принялся упорно твердить одно и то же, всегда с ужасом показывая на куполообразные резервуары, преследовавшие его, как зловещий кошмар. Наконец переставили кровать больного. Теперь он уже не видел резервуаров. Однако в ясные дни, под вечер, на стене перед ним начинал рисоваться один купол, за ним второй, и оба медленно начинали сходиться.

— Опять эти проклятые! — кричал больной, с головой кутаясь в одеяло.

Тени нефтяных резервуаров — и те пугали его. Он боялся шипения пара, грохота машин, гудков, журчания нефти, лившейся в чаны.

— Ад, ад кромешный, — вопил паралитик, — тут дьявол завелся!

Глядя на вытаращенные глаза отца, Шушаник не могла не заметить, что рассудок больного помутился. В ужасе она убегала к себе и там старалась за книгой отделаться от страшных мыслей. Но нарушенный душевный покой уже не возвращался, и печаль бороздила ее ясное лицо преждевременными морщинами.

Как-то вечером Давид вызвал племянницу в контору и сообщил, что Антонина Ивановна хочет говорить с нею из города. Девушка взяла трубку телефона.

— Это вы? — узнала Шушаник голос Антонины Ивановны.

— Да.

— Прошу вас завтра приехать ко мне по важному делу.

— Вряд ли я смогу, Антонина Ивановна, боюсь оставить отца. Он только при мне успокаивается.

— Убедительно вас прошу, приезжайте хоть на час.

Ничего не поделаешь, отказаться невозможно.

На другой день Шушаник отправилась по железной дороге в город в сопровождении одного из промысловых работников. С волнением переступила она порог алимяновского дома. Она боялась встретиться со Смбагом и, к счастью, не встретилась.

— Милая, — обратилась к Шушаник Антонина Ивановна, уводя ее к себе, — я вам очень благодарна, что вы приехали. Мне хочется поговорить с вами об одном деле.

Она рассказала, что Микаэл разрешает открыть для рабочих библиотеку-читальню и учредить вечерние курсы

для неграмотных. Для открытия курсов необходимо получить разрешение властей, а о библиотеке надо позаботиться теперь же. Дело довольно большое, а она одна, поэтому и просит Шушаник помочь ей.

— Рада помочь, чем только могу.

— Я уже составила список русских книг и газет. А вы составьте список армянских. Вам, конечно, известно, какие книги нужнее для рабочих. Можете?

— Попробую, с помощью дяди.

— Отлично. Ваш дядя, несомненно, знает толк в подобных делах. Он, если не ошибаюсь, из народных учителей?

— Да.

— Прекрасно. Значит, ему хорошо известны умственные и нравственные запросы народа.

Антонина Ивановна предложила Шушаник какао, все с тем же воодушевлением продолжая развивать свои мысли. Настойчиво упрасивала отобедать. Но Шушаник тянуло на промысла, она отказалась и в сопровождении горничной Антонины Ивановны отправилась на вокзал.

Антонина Ивановна была чрезвычайно рада, что ей удалось завербовать Шушаник в помощницы, и надеялась крепко подружиться с нею. Ах, какое у нее симпатичное и умное лицо! Сразу видно, что девушка вдумчивая и развитая — прямо неожиданная находка в этой азиатской стране!

Антонина Ивановна до того воодушевилась, сердце ее до того смягчилось, что вскоре она согласилась на просьбу Смбата пойти с ним в гости к одному из его родственников, крупному коммерсанту, торговавшему с Ираном. Ежегодно в день рождения своей единственной дочери он давал пышный обед.

На следующий день в два часа Антонина Ивановна вместе со Смбатом входила в просторную, роскошно убранную гостиную. Тут было все, кроме тонкого вкуса. Собралось уже довольно много гостей, но приток новых не прекращался. Вскоре Антонину Ивановну обступили любопытные дамы и барышни; все они дружно принялись корить «невестку», что она живет отшельницей, не показывается в обществе и «ни во что ставит» родню. Антонина Ивановна оборонялась, как могла. В незнакомой среде,

где национальные восточные наряды сочетались с европейскими, шитыми по последней моде, она чувствовала себя в каком-то хаосе: не знала, о чем говорить, как держаться, чем занимать собеседниц.

Мало-помалу они покинули Антонину Ивановну, она осталась одна. Нетрудно было угадать, о чем беседовали женщины, разбившись на группы и неотступно преследуя ее взглядами. Хозяйка дома, только к тридцати годам сменившая восточный наряд на европейский, находила, что «невестка» одета слишком просто. Другие острили насчет ее возраста, роста, цвета волос и глаз. Находились и защитницы Антонины Ивановны, но голоса их терялись в общем хоре отрицательных суждений.

— Разве мало девушек в нашем городе? — говорила одна.

— Сам накликал на себя беду, — отозвалась другая.

— Во всем виноваты родители — зачем было угонять Смба́та еще ребенком на чужбину?

— Все забыл: и имя, и честь, и народ, и веру... Опозорил и себя и нас...

Антонине Ивановне было тоскливо и скучно. В толпе гостей она чувствовала себя одинокой и чужой.

— Ну вот, любуйтесь, — пожаловалась она Смба́ту шепотом, — среди них я словно дикарка. Посмотрите, как они косятся на меня. Лица у них выражают либо пренебрежение, либо снисхождение. Поверьте, я никого не виню, но почему, почему же вы требуете, чтобы я примирилась с этой враждебностью? Они никогда со мною не примирятся, как же мне примириться с ними?

— Они невежественны, будьте снисходительны.

— Знаю, но не могу, не в силах... Разрешите мне уйти... Поздравила — и довольно, остаться обедать выше моих сил.

— Принуждать вас я не имею права.

Антонина Ивановна не уступила никаким просьбам родни и простилась. На улице из ее груди вырвался долгий вздох облегчения — словно ее выпустили из душной темницы.

И действительно, эта среда угнетала ее и дома и вне дома.

На следующий день Антонина Ивановна по телефону попросила Микаэла отвести ей на промыслах квартиру

из двух-трех комнат. Она решила переехать туда с детьми. Смбат не возражал.

Микаэл уступил невестке свою квартиру, отделанную и заново обставленную, а сам перебрался в один из недавно построенных домов. Через неделю Антонина Ивановна переехала на промысла с детьми.

Шушаник была рада ее переезду. Между ними завязалась дружба. Они по целым часам рассуждали и советовались о своих начинаниях: разбирали, строили планы, обдумывали, переживали. Временами в беседе затрагивалось личное: Антонина Ивановна любила порассказать о своей студенческой жизни (она три года посещала Бестужевские курсы). Блаженные времена! Пусть они промчались, зато оставили много ярких воспоминаний. Но что об этом жалеть — Антонина Ивановна постарается наверстать потерянное.

Шушаник слушала молча и внимательно, это очень нравилось Антонине Ивановне. Она не сомневалась, что слова ее оказывают благотворное влияние на еще не сформировавшуюся девушку, давая ей надлежащее направление.

Девушка уважала в Антонине Ивановне ум, силу воли, образование, развитие, но дружить с ней — нет, она еще не могла. Да и как, по какому праву она могла бы рассчитывать на дружбу? Временами девушка сожалела, что Антонина Ивановна лишена любви мужа. Неужели Смбат Алимян сумел бы найти лучшую подругу жизни, чем эта образованная мать, добродетельная жена, внешне привлекательная, не старая? А может быть, под наружной искренностью Смбата скрыта холодная душа?

Однажды в комнату неожиданно вошел Смбат. Он приехал, чтобы отвезти детей в город. Был канун вербного воскресенья, и Воскехат потребовала, чтобы утром внучат повели к обедне. Антонина Ивановна не возражала. Пусть ведут в какую угодно церковь, ей все равно.

Заметив на столе жены учебник армянского языка, Смбат взял его, перелистал, взглянул на Шушаник и угадал, что девушка дает уроки Антонине Ивановне. Он ничего не сказал, лишь горькая ироническая улыбка промелькнула на его лице.

На следующий день, вернувшись с детьми из города, он снова застал Шушаник у жены. Девушка хотела было

уйти, но Антонина Ивановна ее не пустила. Шушаник стала играть с детьми. Смбат украдкой следил за нею. Как это скромное лицо и два детских личика дополняли друг друга! Ах, отчего не она их мать — она, такая близкая ему по крови и по духу!

Под наплывом этих мыслей Смбат не мог оторвать глаз от Шушаник и невольно вздохнул, вспомнив слова дяди: «Почему ты не сорвал ветку со своего куста?»

За последнее время в душе Смбата наметилась новая перемена. Он уж сознавал, что продолжать жить так, как он живет, — невозможно, стыдно. Неужели он позволит себе скатиться на дно? Почва под ногами колеблется, как трясина. Неужели забыть отцовское завещание, горе матери, долг по отношению к детям? И в особенности к детям! Нет! Значит, надо остановиться и трезво поразмыслить. Разве он нашел хоть какое-нибудь облегчение в пьяном ресторанном угаре? Разве эти роскошные пиры, бессонные ночи, острый запах вина, неся с собой минутное притупление чувств, вернули ему хоть крупицу покоя? Конечно нет. Скорбь его — могучая огненная лава, искусственные преграды бессильны остановить ее напор. Долой малодушие! Он не хочет, наконец, погибать из-за единственной случайной ошибки. Разве у него одного такое тяжелое положение? Почему другие могут мириться со своими ошибками, если только осознают тяжесть их, а он, пытавшийся избавить братьев от нравственной гибели, сам должен погибнуть? Счастье, что он не так юн, как Аршак, и не так несдержан, как Микаэл. О нет, пора, пора одуматься...

Смбат стал замечать, что Микаэл, казавшийся ему бесповоротно пропавшим, становится день ото дня все более серьезным. Отвернувшись от городской жизни, брат как бы ушел в себя, чтобы очиститься от былой скверны. А кто, что тому причиной? Во всяком случае, не его наставления и советы, а что-то другое, более могучее. И внутренний голос подсказывал: «Шушаник!..»

Собственно говоря, у Смбата не было достаточных оснований утверждать, что Микаэл заинтересован этой девушкой, но все же он был убежден, что предположения его правдоподобны. Ну и пусть! Значит, душа брата, оскверненная другими женщинами, очищается под влиянием духовного обаяния скромной девушки. Разумеется,

надо только радоваться, что погрязший в тине беспутства брат избавляется от нравственной смерти. Но почему же какая-то нелепая ревность не дает Смбуку покоя?

Простительно ли ревновать к родному брату? Пусть они любят друг друга, если только любят,— он будет рад, он обязан радоваться. Ведь для него все кончено, и остается только повторять многозначительные слова дяди: «Почему ты не сорвал ветку со своего куста?..»

3

Хоть и считал себя Смбуку Алимян свободным от пред-
рассудков и суеверий, тем не менее бывали у него пред-
чувствия, которым он как бы нехотя верил. Когда им вдруг
овладевала тоска, он знал, что услышит приятную весть.
И, наоборот, когда испытывал радостное томление —
понимал, что это предчувствие грядущей неприятности.

В тот день им овладело веселое настроение: он напе-
вал и насвистывал, забыв о своем постоянном горе. Вы-
пил стакан чаю, ласково пожурил мать, зачем она, вечно
грустная и мрачная, сидит со сложенными на груди рука-
ми, заражая всех своим настроением; спустился в контору.
Служащие были уже на местах, а в кабинете дождалось
несколько посетителей. Отдав необходимые распоряжения
и закончив прием, Смбуку обрадовался известию, что цена
на нефть повысилась на полкопейки за пуд. Он высчитал,
что, если дела и дальше так пойдут, можно будет удвоить
число буровых скважин — и три миллиона превратятся
в десять, пятнадцать. Он сознавал теперь значение денег
больше, чем когда-либо, и ему стало стыдно за «былые
ребяческие идеи». В приподнятом настроении Смбуку уже
собирался выйти прогуляться, как вдруг вошел Исаак
Марутханян, последние три-четыре месяца избегавший
бывать у Алимянов.

— Простите, Смбуку Маркович,— серьезно и торжест-
венно заговорил неожиданный гость,— у меня к вам очень
важное дело.

«Очень важное дело!» — иначе и быть не может. Не-
сомненно, дело «чрезвычайно важное», раз оно вынудило
его решиться на этот визит. Марутханян осмотрелся, что-

бы убедиться, нет ли третьего лица, и, подойдя к средним дверям, опасливо спросил:

— Можно запереть на ключ?

— Но зачем же?

— Необходимо.

Смбат жестом предложил ему сесть. Сел и сам.

— Знаете что, Смбат Маркович,— начал гость, снимая перчатки,— будьте хладнокровны и приготовьтесь терпеливо выслушать меня.

Но как ни старался он казаться спокойным, в его ровном голосе скрывалась тревога.

— Говорите короче, что вам угодно? — нетерпеливо выкрикнул Смбат.

— Вам известно, что у Исаака Марутханяна слово не расходится с делом. Я явился узнать, когда ваш брат, Микаэл Маркович, думает уплатить мне долг?

— Долг? Вам?

— Да, мне, мои в поте лица нажитые деньги. Довольно уж я ждал. Положим, мне нечего терять, проценты растут, но когда же, наконец, он уплатит?

— О каком долге речь, не понимаю.

— Не понимаете? — удивился Марутханян так искусно, что трудно было заметить фальшь.— Неужели он вам ничего не говорил? Удивительное дело! У него почти полмиллиона долга, и он скрывает это от родного брата, да еще старшего. Клянусь, Микаэл Маркович счастливейший человек... А вот я, несчастный, почти не сплю, когда задолжаю несколько рублей.

Полмиллиона!.. Смбат посмотрел в зелено-желтые глаза гостя, улыбавшиеся сквозь очки с безудержным злорадством. Уж не спятил ли зять? Но ни единого признака помешательства; напротив, никогда лицо Марутханяна не казалось Смбату таким коварным.

— Полмиллиона! — повторил Смбат.— Знаете, шутить нам не приходится, после того дня, как вы...

— Боже упаси,— прервал гость,— я вовсе не шучу. Микаэл Маркович Алимян по частным долговым обязательствам должен мне, Исааку Семеновичу Марутханяну, триста двадцать тысяч рублей. С начислением же процентов это составляет полмиллиона с лишним. Я так и думал: Смбат Маркович не поверит и будет удивляться, тем более что я у него не в фаворе. Но потрудитесь сегодня

вечером пожаловать ко мне на чашку чаю, и я вам покажу долговые обязательства.

— Должно быть, такие же, как и состряпанное вами контрзавещание.

— Смбат Маркович, то было делом вашего брата. Но сегодня вечером вы убедитесь воочию. Приходите с Микаэлом Марковичем: если он не признает, плюньте мне в лицо. Так ждать вас?

— Довольно, мне некогда ломать комедию!

Смбат поднялся. Марутханян не спеша бросил перчатки в шляпу, достал из бокового кармана пакет и вынул оттуда вчетверо сложенный лист. Развернув, показал его издали Смбату.

— Читайте!

Смбат прочитал, всмотрелся в подпись. По этой бумаге сумма долга составляла тридцать тысяч без процентов. Смбат, поискав, достал у себя в столе старый вексель брата, сличил подпись и невольно произнес:

— Да, как будто рука Микаэла.

— Не как будто, а на самом деле,— подтвердил Марутханян, складывая бумагу и пряча в карман.

— Все же это подделка,— уронил Смбат.— Микаэл вам ничего не должен.

— Ну, если так, тогда пусть суд убедит вас. Вы хотите знать, каким путем образовались эти долги?

— Рассказывайте,— процедил Смбат, усаживаясь и откидываясь на спинку кресла.— И небылицы иной раз занимательны.

Шесть лет назад Микаэл увлекся красавицей — женой морского офицера. Она опутала его. Микаэл начал делать долги, чтобы не выпустить ее из рук. Обратился к Марутханяну. Какой же «другой дурак» мог доверить ему такие суммы? Красавица обещает бежать с Микаэлом за границу. Марутханян одолжил шурина на дорогу и обеспечил его существование на два года при условии — уплатить долг после смерти Маркоса-аги. Какая низость со стороны сына, не правда ли? Красавица обманывает Микаэла, забирает деньги и... бежит с другим в Финляндию. Это раз... Затем через год появляется на смену другая красавица — жена какого-то комиссионера.

Эта тоже порядком вытряхивает карманы «у нашего умника». А умник снова к зятю. Господи, и теперь еще

Исаак помнит, как Микаэл молил его и упрасивал, как он плакал. Но и после смерти Маркоса-аги Микаэл не оставял в покое зятя и, вместо того чтобы уплатить старые долги, наделал новых...

— Вот и вся история трехсот двадцати тысяч рублей...

— Довольно! — вскричал Смбат, в волнении подымаясь. — Фантазия ваша необъятна. Все, что вы мне рассказывали, высосано из пальца.

— В двух словах: вы намерены вернуть мои деньги или нет?

— Нет!

Марутханян поднялся, саркастически улыбаясь. Он не сумел убедить Смбата, так убедит суд. Эксперты не посмеют не подтвердить подлинность долговых обязательств. Сам Микаэл тоже не откажется от своей подписи, в этом нет сомнений. Но все же ему не хотелось бы доводить дело до суда. Бог весть что еще может случиться...

— Потрудитесь сообщить Микаэлу Марковичу по телефону, чтобы сегодня же вечером он приехал в город. Придете ко мне — хорошо. Нет — ваше дело. До свидания.

Марутханян вышел так же спокойно, как и вошел.

Вечером он сидел у себя в кабинете в зеленом шелковом халате, что-то писал, вычеркивал, высчитывал, подводил итоги, чтобы определить свой вес в торгово-промышленном мире. Ах, как он отстал! Если даже Исаак Марутханян полностью получит от Алимянов все свои «долги», и тогда его состояние составит едва один миллион. Сумма пустяковая в сравнении с тем, что другие наживают на одном фонтане.

Дверь растворилась, и вошла Марта, неся одного ребенка, а другого ведя за руку. Дети были бледны, малокровны, болезненны. Старший, которому шел уже шестой год, все еще не умел как следует ходить и с трудом ковылял за матерью.

— Чего ты опять притащила их сюда? — встретил Исаак жену.

— Привела, чтобы ты поглядел и порадовался. Только что из носа у старшего опять пошла кровь.

— А что же я могу сделать? Вызови врача.

— Врача да врача... Сам видишь, ничего не помогает!

— Раз не помогает, что же я могу сделать?

— Советуют везти их за границу. Давай съездим в этом году, а?

— Да ты с ума сошла. Как я могу ехать за границу, когда завален делами?

— Дела да дела! Не понимаю, для кого ты копишь?

— Ха-ха-ха!.. — раздался смех Марутханяна. — Какая ты умная стала, ха-ха-ха! Для кого?.. Для славы, милая моя, для славы!.. Выживут мои дети — пусть все достанется им. Не выживут — божья воля, но деньги, деньги всегда нужны...

Раздался звонок. Вошел Сулян, улыбаясь и щуря глазки.

Марутханян вел через него переговоры с одним нефтепромышленником, собираясь купить у него нефтяные участки.

— Ну, что нового? — спросил он, жестом приглашая гостя сесть.

— Надо спешить. Нашлись еще покупатели.

— Поспешим. Сегодня решается вопрос. Как хорошо, что вы пришли, будьте свидетелем в одном деле... Марта, вот этот человек — я понимаю: истинно образованный молодой человек! Он постиг дух нашего времени. Спроси, и господин Сулян тебе скажет, почему людей тянет к богатству.

— Неужели мадам отрицает значение богатства?

Младший ребенок захныкал.

— Уведи их, ради бога, не до зурны мне сейчас, — сказал Марутханян. — Постой, дай я его поцелую. Сегодня утром не успел.

Каждое утро, уходя, он целовал детей, и этим ограничивалось проявление его родительской нежности. Но пока он обнимал младшего, стараясь его успокоить, жена улыбалась, глядя на Суяна. Ее глаза выражали явную насмешку над отцовскими ласками Исаака.

Она отняла младшего у мужа, взяла старшего за руку и увела обоих.

Немного спустя вошли Смбат и Микаэл Алимяны. Сулян, еще ничего не знавший и не ожидавший встречи с хозяевами, смутился. Марутханян, слегка кивнув, жестом предложил гостям присесть, точь-в-точь так же, как Смбат утром. Пусть намотают на ус, что и Марутханян при желании тоже может выказать презрение.

Смбат уже рассказал брату про визит Марутханяна.

Версия о женах морского офицера и комиссионера соответствовала действительности — Микаэл это подтвердил. Но он никогда не брал у зятя денег, тем более такими крупными суммами. Тут какой-то обман.

— Мартирос! — крикнул Марутханян.

Вошел человек с крашеными усами, бритый, в полу-восточной, полуевропейской одежде. Это был верный слуга Марутханяна, знавший многое о прошлом своего хозяина.

— Подай господам чая.

— Сию минуту.

— Покажи мои долговые обязательства! — крикнул нетерпеливо Микаэл.

— Не спеши, выпьем сначала по стакану чаю, потом... Присаживайтесь...

Смбат сел; Микаэл продолжал стоять.

— Мои долговые обязательства! — повторил Микаэл.

— Человек ты божий, даже в государственном банке ждут должники, а я твой родственник, зять.

Он прибавил огня в лампе, полез в карман халата и достал большой ключ. Суляп хотел было уйти, но заинтересовался и решил остаться.

— Он только что пришел, — сказал Марутханян, — я просил его не уходить. Пусть будет свидетелем, а?

— Пусть остается, — ответил Смбат.

Микаэл с трудом владел собой. В медлительности Марутханяна он видел манеру иезуита изводить человека как можно дольше.

Наконец хозяин не спеша подошел к железному сундуку, открыл его, достал большой пакет и снова уселся.

— Извольте, братец, читайте и припоминайте ваши долги.

Он вытащил из пакета четыре расписки и по одной передал Смбату. Микаэл прочитал все от начала до конца и внимательно проверил свои подписи. Чем дальше он всматривался в них, тем учащеннее становилось его дыхание и сильнее дрожали поздри. Он не замечал Мартироса, стоявшего у него за спиной и не сводившего глаз с хозяина: по одному его знаку он готов был задушить Микаэла.

— Подписи эти неподдельные,— невольно вымолвил Микаэл.

— Вот видите,— обратился Марутханян к Смбату, принимая от Микаэла последнюю расписку.

Мартирос вышел по знаку хозяина. Микаэл стал ходить по комнате, прижимая руку ко лбу. Отрицать невозможно — на четырех бумагах его подписи. Но когда, каким образом и зачем — эти вопросы мучили его. Он остановился у письменного стола, крепко стиснув зубами большой палец. Смбат и Сулян молча следили за выражением его лица. Откинувшись на спинку кресла, Марутханян перебирал кисточки халата.

— А-а! — воскликнул вдруг Микаэл.— Теперь я начинаю кое-что припоминать...

— Я думаю,— усмехнулся «заимодавец»,— триста тысяч не шутка...

Он медленно встал и спрятал бумаги в сундук, потом подошел к двери, что-то шепнул Мартиросу, стоявшему у притолоки, и снова уселся.

— Мошенник! — крикнул Микаэл.

— Потише, сестра услышит, незачем кричать.

— Мошенник! — повторил Микаэл.

— Слышите, господин Сулян? Вот что делается на свете! Деньги давал я, из беды выручал я, и я же — мошенник. Где же после этого правда?

Сулян, уже сообразивший, в чем дело, хитро прищурясь, поглядывал то на Марутханяна, то на Алимянов, не зная, к кому из них выгоднее пристать.

— Слушай, Смбат, как все это случилось,— заговорил Микаэл,— мысли мои проясняются. Я начинаю понемногу вспоминать.

И он рассказал. Понятно, какое впечатление произвело на него отцовское завещание. Оно разбило все его надежды. Микаэл потерял рассудок, точно поддавшись внушению злого духа, стал вытворять такие дела, на какие в другое время не посмел бы решиться. Повздорив со старшим братом, он обращался за советом к Марутханяну. Вдвоем они состряпали контрзавещание. Смбату он пригрозил судебным процессом. Угрозы не подействовали. Микаэл разъярился пуще. Рассудок у него помутился. А Марутханян все настраивал его против брата. Как раз в это время случилось нечто, вконец нарушившее душев-

ное равновесие Микаэла. Опыяненный страстью, он превращал ночи в дни, дни в ночи. А Марутханян все взвизгивал его, убеждая начать судебное дело против Смбата. Чтобы избавиться от его приставаний, Микаэл наконец сказал ему: «Поступай как хочешь, я уполномочиваю тебя». Вот этим-то правом и стал злоупотреблять Марутханян. Он приносил ему для подписи разные бумаги, особенно когда Микаэл был пьян, и он, Микаэл, по глупости подписывал их, даже не читая. Он, разумеется, допускал, что Марутханян воспользуется его легкомыслием, но чтобы так бесстыдно, так подло, так нагло,— никогда!

— Вот каким образом я подписывал эти долговые обязательства.

Микаэл обратился к зятю и, скрежеща зубами, прошипел:

— Подлец! И ты думаешь на эти деньги кормить мою сестру?

— И лечить ее больных детей,— прибавил Марутханян с неизменным хладнокровием.— А почему бы мне и не содержать семью на деньги, нажитые в поте лица? Милый мой, слава богу, тут не дети сидят, чтобы поверить твоим словам. Простое письмо и то прочитывают, прежде чем подписать. Ты же утверждаешь, что подписал четыре долговых обязательства, не прочитав ни одного. Ха-ха-ха! За мальчишек, что ли, ты принимаешь этих образованных людей. Своими глазами ты мог убедиться, что из четырех обязательств три были выданы задолго до смерти Маркоса-аги и лишь одно — после.

— Да, но ты подделал и числа!..

— Ха-ха-ха, подделал числа!.. Может быть, ты скажешь еще, что я — не я, что ты — не ты, что его фамилия не Сулян, что Смбат Маркович тебе не брат? Микаэл Маркович, почему бы тебе не признаться, что ты не знал цены деньгам и швырял их направо и налево?

— Швырял, но не твои. Суд установит путем химического анализа, что все бумаги подписаны недавно.

Наивные угрозы вызвали у Суляна сдержанную улыбку.

— Ну что ж,— вздохнул Марутханян,— остается обратиться в суд, нечего переливать из пустого в порожнее.

Его хладнокровие все более и более раздражало Микаэла, но он решил сдерживаться, сознавая, что горяч-

ность может повредить делу. И, подавляя самолюбие, принялся уговаривать неумолимого «заимодавца» пощадить его и сознаться в истине.

Сознаться! Ну нет, на это Марутханын никогда не пойдет. Неужели он теперь отступит?

Микаэл обещал уплатить десять, пятнадцать, двадцать процентов, лишь бы Марутханын сказал, что он пошутил, что Микаэл ему ничего не должен. Кредитор иронически улыбался, пожимая плечами.

Микаэл в отчаянии посмотрел на брата, точно спрашивая: долго ли ему еще мучиться? Смбат был мрачнее осенней ночи. Он молчал, глядя в пол.

Микаэл продолжал упрашивать зятя не доводить его до отчаяния. Всем известно, что он был расточителен, но триста двадцать тысяч — нет, таких денег у него никогда не бывало.

— Ладно, я ведь тебя не собираюсь душить, — снизошел «заимодавец», — дам тебе срок, и ты понемногу заплатишь: год, два, ну три — достаточно?

— Исаак! — вымолвил Микаэл, и голос его задрожал.

— Довольно! — крикнул Марутханын. — Родне — дружба, деньгам — счет. Господа, говорите же! Чего молчите?

Сулян все еще не знал, на чью сторону стать. Он ни на йоту не сомневался в искренности Микаэла, но отчего бы ему не помолчать, раз его вмешательство может восстановить против него ту или другую сторону. Разумнее прикинуться простачком и делать вид, будто ничего не понимаешь.

Смбат пытался убедить зятя обдумать хорошенько, что он затевает. Ведь это уголовное дело, за которое могут сослать.

— Ну и пусть ссылают, коли нет правды на земле. Поверьте, я не только не стал бы требовать, а еще кое-что добавил бы от себя, не будь Алимяны миллионерами. Есть у них — и получу свои кровные денежки, как из государственного банка.

— Уж коли на то пошло, — взбесился Микаэл, не желая больше унижаться, — иголки, и той не получишь, чтоб выколоть себе жадные глаза! Ты забываешь, что я не равноправный наследник и останусь таковым, покуда не женюсь. А я вот возьму да и не женюсь — посмотрим, с кого ты тогда получишь.

Марутханян усмехнулся, закинув ногу на ногу и покручивая пышный ус. Он не беспокоится: Смбат Маркович никогда не допустит, чтобы Микаэла объявили несостоятельным должником, он уплатит — вот что выражала его сатанинская улыбка, ужалившая Микаэла.

— Разбойник! Скольких ты обобрал, скольких лишил куска хлеба!

— О-о, очень и очень многих, даже твоего покойного отца!..

— Прошу ни слова об отце! — возмутился Смбат.

— Вор, мошенник, трус! — заревел Микаэл, топая ногами. — Хоть бы ты погорячился, вышел из себя!..

Это было уже слишком. Марутханян вломился в амбицию — ведь присутствует посторонний.

— Я — не скандалист. Я — трус. Хочешь драться, так ступай к Григору Абетяну... Он тебе ответит...

Намек был слишком ясен. Это было последней каплей в чаше. Микаэл и без того долго сдерживал себя. Кровь ударила ему в голову. Оскорбления, перепесенные им за последние месяцы, горькие страдания мгновенно, с новой силой вспыхнули в его сердце. Ожил огонь, казавшийся едва тлеющим. Это был уже не Микаэл, подавленный собственной виной, онемевший перед Григором Абетяном. Там его сковывали укоры совести и светлый образ девушки, а тут он не чувствовал за собой никакой вины, и ничто не могло сдержать его.

Мгновенно схватив со стола подсвечник, Микаэл пустил им в человека, олицетворявшего в эту минуту для него вражду всех его недругов. Марутханян не успел крикнуть Мартироса, стоявшего за дверью. Подсвечник, описав кривую, угодил подставкой в лоб хозяину. Брызнувшая кровь заструилась по лицу на дорогой халат. Раненый пытался подняться, но с глухим стоном повалился в кресло.

Вбежал Мартирос и схватил сзади Микаэла. Суляя кинулся к раненому: что за дикость, боже ты мой, вот что значит некультурность, невежество!

Рана оказалась глубокой, кровь не останавливалась.

В дверях показалась Марта. С минуту она оставалась неподвижной, как пригвожденная, но при виде окровавленного супруга вскрикнула и бросилась к нему.

Микаэл, не шевелясь, глядел на эту картину. Мартирос, выпустив его, приводил хозяина в чувство. Услышав

отчаянный крик сестры, Микаэл вздрогнул, глухо простонал и в бессилии опустился на стул.

Смбат взял его за руку и вывел.

4

Свежий уличный воздух отрезвил Микаэла. От беспредельного раскаяния он искусал себе губы до крови. Поднять руку на человека подлого и безжалостного, но все же мужа сестры... Да и что за рыцарство — поднять руку на труса!

В ушах звучали отчаянные вопли и проклятия сестры. И что же толкнуло его на этот шаг? Деньги? Какая низость! Какая глупость! Ведь у него самого нет ни копейки, что же он защищал?

Раскаиваясь, Микаэл, однако, делал вид, что продолжает злиться. Молчание Смбата удваивало его терзания. Микаэл не знал, как оправдаться, — лучше бы Смбат выбранил его, даже избил, как скверного, негодного мальчишку, только бы не молчал.

Микаэл вырвал руку, остановился, прислонив голову к фонарному столбу, и обхватил его. Послышалось глухое рыдание. Никогда не признавал он себя таким несчастным. Микаэл рад бы обнищать, лишь бы не допустить этой расправы с человеком, беззащитно, как истый разбойник, обиравшим его.

— Поди узнай, как рана, — обратился он к Смбату.

— Сперва надо тебя доставить домой. Ты обращаешь на себя внимание прохожих. Возьмем извозчика.

— Оставь меня, иди куда хочешь.

Он направился к набережной. Смбат последовал за ним, почти насильно усадил в экипаж и привез домой. До полуночи Смбат не отходил от него, храня упорное молчание и не подозревая, что оно терзает брата.

— Заговоришь ты или нет? — не вытерпел наконец Микаэл.

— О чем говорить? За короткий срок тебя два раза били и один раз ты сам чуть не убил. Неужели только кулак и действует на нас? Неужели мы еще так дики?

Приехал Сулян с известием, что вызванный врач нашел рану Марутханяна хоть и серьезной, но не опасной для жизни. Если бы удар пришелся не плоской стороной подставки, раненый вряд ли выжил бы.

Всю ночь Микаэл не мог сомкнуть глаз. Кровь Марутханяна преследовала его, распалая воображение, как недавняя пощечина Абетяна. Да и в самом деле, чем он не дикарь? А еще удивляется, что кроткое, ангельское создание презирает, ненавидит его.

Чуть свет Микаэл отправился на промысла. Спустя несколько часов приехал туда и Смбат. Рано утром Марта, вся в слезах, явилась к матери и рассказала ей обо всем. Вдова рвала на себе волосы и била себя в грудь, оплакивая нравственное падение семьи.

— Что ты думаешь делать? — спросил Смбат.

— Уплатить. Знаю, я — не наследник, но надо уплатить.

Смбат диву дался: неужели он согласится быть ограбленным среди бела дня?

— Да!

Смбат глубоко задумался. Микаэл вправе поступать со своими «долговыми» обязательствами как хочет — уплатить, отклонить или же передать дело в суд, но ни в коем случае не следует выходить из отцовской воли.

— Если хочешь платить, должен жениться.

— На это я не пойду.

— Почему?

— Просто так, не могу жениться.

— Понимаю, ты любишь девушку, которая не отвечает тебе взаимностью.

— Уж, конечно, поймешь, коли знаешь, что она любит тебя.

— Микаэл!

— Не хитри и не испытывай меня. Да, нравственно ты выше меня.

— Я не давал ей ни малейшего повода любить меня и ненавидеть тебя.

— Верю.

Микаэл подсел к столу и охватил голову.

— Хочешь, я поговорю с ней? — спросил Смбат.

— Вероятно, для поднятия моего морального престижа в ее глазах? Спасибо. Знаю, что ты великодушен, но

я в подавании не нуждаюсь. Распространяться об этом я не хочу. Люблю или нет — дело мое, а жениться не могу. Заложь меня, нарушь отцовское завещание, пусть я буду тебе слугой, но уплати эти деньги.

— Я ни на йоту не отступлю от завещания.

— Почему же только в отношении меня? А ты сам разве имеешь право не исполнять воли отца?

— Микаэл!..

— Обижаться нечего, ведь ты все еще не развелся с женой...

— У меня дети, которых я люблю.

— И которые являются твоими наследниками, опять-таки вопреки завещанию.

— Никогда!

— По закону — да, но окольным путем ты их все же сделаешь наследниками.

— Микаэл, у тебя еще нет оснований так говорить.

— Еще нет, но, вероятно, будут. Прости, я бы не сказал так, будь ты прежним Смбатом. За последнее время ты вошел во вкус денег. Я не так уж слеп. Довольно, уплати мои долги, если хочешь быть со мною в мире.

И, схватив шляпу, Микаэл поспешно вышел. Смбат погрузился в раздумье. Он не мог объяснить настойчивое желание брата уплатить по подложным обязательствам. Уж не боится ли он, что на суде может вскрыться какая-нибудь ирзная тайна?

Положение становилось критическим. Смбат не имел права изъять полмиллиона из отцовского наследства. А если бы даже и имел — легко ли лишиться такой огромной суммы? Да, Микаэл прав, он теперь знает цену деньгам. Более того, он начал любить их. Любить настолько, что сознает невозможность выбросить полмиллиона из шести-семимиллионного состояния. И зачем выбрасывать? Какая глупость!

Смбат попытался уговорить Марутханяна отказаться от несправедливых притязаний, однако «заимодавец» был неумолим: он не дурак, чтобы «дать себя ограбить среди бела дня». Марутханян наличными ссудил Микаэла Алимяна, и тот наличными же должен с ним рассчитаться. Прежде, может быть, он и согласился бы кое-что скостить с основного «долга», но теперь, после дикой выходки Микаэла, он взыщет с него даже проценты на проценты.

Смбат грозил, что приложит все старания и докажет подложность долговых обязательств: он пригласит из Петербурга лучшего адвоката, истратит полмиллиона, но докажет. Однако запугать Марутханяна подобными угрозами было нелегко. Он сам решил пригласить столичного юриста. Всем известно, что Микаэл был расточителен, бросал деньги на ветер. Известно также, что Маркос-ага был скуп — как же мог Микаэл тратить подобные суммы, если бы его не ссужал «сердобольный родственник»?

Терпение Смбата истощилось. Он заявил, что уплатит деньги, но в то же время убедит общество, что займодавец — мошенник; посмотрим, каково-то ему придется тогда. Но более ребяческой угрозы не было и быть не могло для Марутханяна. Он громко рассмеялся. Только бы стать ему обладателем кругленького миллиона, и пускай говорят о нем что хотят и сколько хотят. Общество! Ха-ха-ха!.. Интересно знать, кто из этих Сулянов, Срафион Гаспарычей, Гуламянов, Аракелянов не согнет тогда спины перед ним? Он великолепно знает людей: одной рукой набивай им карманы, другой — бей по головам, и будут улыбаться. Вот что значит для него, Исаака Марутханяна, общество! Да, наконец, разве мало в городе заведомых мошенников, контрабандистов, злостных банкротов, бывших воров-приказчиков, пользующихся почетом и уважением? Марутханян ведь не ворует, он только требует свои «кровные» деньги.

— Ошибаетесь, — возразил Смбат, — в обществе есть и честные люди.

— Ну и пусть. Подружатся потом и они со мной. Взять хотя бы вас. Человек вы честный, не правда ли? Если вы не любите деньги, так почему же вы прилипли к отцовским миллионам? Не вы ли говорили когда-то на основании каких-то экономических законов, что Маркос-ага пользуется плодами чужого труда? А вот теперь эти миллионы вам не кажутся незаконными. Вы думаете, я вас осуждаю? Боже упаси, я не дурак. Друг мой, на свете две породы воров: честная и нечестная. Вор из честной породы сам крадет, нечестный же пожирает краденое другими. Говорю я об этом между прочим — не обижайтесь. Хочу только сказать, что честный купец, в истинном значении этого слова, такая же редкость, как и незворующий повар.

Смбат видел, что Марутханян не только не умерил своих appetитов, но все более и более наглел. Остался единственный выход: предоставить дело суду. Допустим, что там решат в пользу Марутханяна. Микаэл будет объявлен «несостоятельным должником», как неправомочный наследник Маркоса Алимяна, — с кого же тогда Марутханян получит полмиллиона? Со Смбата? Не даст он — и баста! Но это вконец опорочит и без того подорванную репутацию Микаэла — можно ли так сурово обойтись с родным братом?

Смбат приказал составить подробную опись имущества Алимянов. Выяснилось, что полностью долги можно уплатить только при условии заклада недвижимостей. Но завещание Маркоса-аги запрещает продавать или закладывать недвижимость. Можно расплачиваться с «заимодавцем» по частям в течение нескольких лет. Уплатить? Ни за что! Смбат не может и не желает стать жертвой явного мошенничества. Над ним будут издеваться, если обнаружится обман...

И он стал убеждать Микаэла, что единственный выход из положения — суд.

Микаэл еще раз твердо заявил, что решил уплатить долг. Пусть его доля наследства достанется племянникам, пусть он обнищает: довольно он пользовался отцовским богатством, теперь Микаэл хочет жить собственным трудом.

— Твое упорство, — заметил Смбат, — невольно склоняет к мысли, что ты и впрямь задолжал Марутханяну.

— Думай как хочешь, пусть все так думают, но знай, Смбат, не только богатство, но и жизнь осточертела мне. Положи конец этому гнусному делу!

Микаэл не лицемерил. Жизнь поистине стала для него тяжелым бременем, которое он едва влачил. Прошлое все еще преследовало его не только печальными воспоминаниями, но и живыми связями. Микаэл не знал покоя от товарищей, не терявших надежды вернуть его в свой круг. В этом отношении усердствовали юрист Пейкарян, князь Ниасамидзе и в особенности Папаша.

— погоди, — остановил однажды Микаэла почтенный холостяк на промысловом шоссе, выходя из экипажа. — Эй, молодчик, гм... с ума, что ли, спятил?.. Гм... что за отшельничество... гм... что...

И он тут же сообщил, что собирается надолго за границу.

— К черту... гм... пошли все к черту... гм... Давай-ка вместе... гм... махнем в Париж...

— Нет, Папаша, не могу. Счастливого пути...

Теперь Микаэл с Шушаник встречался довольно часто, но всегда при Антонине Ивановне и в ее квартире. Он заглядывал сюда обычно, когда девушка бывала у Антонины Ивановны. Они здоровались холодно и учтиво, этим и ограничивались. Микаэл проходил в детскую и возился с детьми, а Шушаник продолжала заниматься с Антониной Ивановной.

Однажды Антонина Ивановна рассказала Микаэлу, что отец Шушаник стал почти невменяемым. Его терзает мания преследования, он страшится огня. Едва проснется, начинает вопить и плакать, неустанно повторяя, что Давид собирается бросить его в огонь. Антонина Ивановна советовала перевезти больного в город, но паралитик и слышать об этом не хотел.

Шушаник перестала посещать Антонину Ивановну: теперь Антонина Ивановна сама раза два в день навещала девушку, ободряя и утешая ее. Еще неделю назад у нее в сердце таилось легкое подозрение относительно Сибата и Шушаник. Сейчас об этом не могло быть и речи. Ах, эта девушка до того скромна и стыдлива, что никогда не решится питать какое-либо дерзкое чувство к женатому человеку. Отчего бы не допустить, что причина ее грусти — Микаэл? На что только не способен молодой человек с подобным прошлым, и какая скромная девушка ограждена, по нашим временам, от обольщения? Наконец, одиночество, пустынное место...

Иногда Антонина Ивановна пыталась проникнуть в тайну Шушаник, но напрасно: во всем, что касалось ее переживаний, девушка была так скрытна, что порою вызывала невольное раздражение Антонины Ивановны.

Библиотека-читальня уже открылась. Антонина Ивановна дожидалась только разрешения на открытие вечерних курсов. Осуществлению ее начинаний очень мешало отсутствие Шушаник. Одна лишь Шушаник умела обращаться с рабочими, без нее число посетителей читальни заметно сократилось. Антонине Ивановне казалось, что сама она еще не нашла верного тона в обращении с рабо-

чими, и причину этого объясняла по-своему: она-де руководствуется рассудком, а Шушаник — сердцем. Эта девушка заботилась о больных и раненых, как сестра милосердия, обшивала рабочих, писала и читала неграмотным не только из сочувствия, а как близкий, родной человек. Ей и в голову не приходило видеть в этом что-то значительное. Делает то, что подсказывает ей сердце,— просто, непринужденно, как будто для родителей, для дяди и тети. Между тем у Антонины Ивановны во всем— система, последовательность, зрелая развитая мысль. Но нет, этого мало, надо, чтобы в работе проявлялось больше чувства, чем рассудочности, больше желания, чем силы воли. Кроме того, не нужно вечно проверять себя — делаешь ли полезное дело, или толчешь воду в ступе.

В деятельности Антонины Ивановны не было и следа притворства, но эта же самая искренность и жажда самоотвержения оказывались плодом мысли, а не сердечного влечения. Она не чуралась грязной, чумазой толпы с ее грубостью и в то же время не могла сблизиться с этой толпой безотчетно. Подчас ей думалось: неужели она уже в таком возрасте, что не может свыкнуться с новой средой и делом так же быстро, как Шушаник? Она видела, как при появлении девушки лица рабочих озарялись радостной улыбкой, а ее появление вызывало лишь глубокую почтительность. И когда Антонина Ивановна, против воли, пыталась объяснить это разницей лет, она испытывала зависть — чувство, которое Антонина Ивановна ненавидела всей душой, за которое, как умная и честная женщина, осуждала себя.

Но как бы там ни было, Антонине Ивановне на нефтяных промыслах жилось неизмеримо спокойнее, чем в городе: здесь ее не преследовали вечный ропот свекрови, грубые намеки золовки и презрительные улыбки всей алимяновской родни. Однако в этом ли только была причина ее несчастья? Ведь несколько месяцев назад она находилась еще дальше от них. Но была ли Антонина Ивановна тогда счастлива? Нет. Она несчастна как женщина — вот главное. Близость весны как-то странно томит ее. Временами кровь в жилах бурлит, как бурлила в двадцать лет. Господи боже, да ведь она, в самом деле, женщина, и не старая. Случалось, ею овладевала душевная слабость, мир казался ей пустынным, неудобным, и

думалось: стоит ли жить? Материнские чувства не могли целиком заполнить этой пустоты, душа испытывала потребность в иных ощущениях. Она жаждала любви и хотела быть любимой. Однако ее мировоззрение, вся душевная сущность ее не допускали мысли о любви вне брака. Вот почему эта жажда любви не толкала ее на измену мужу. Не меньшую роль играли тут и самолюбие, чувство собственного достоинства. Пусть обвиняют ее в чем угодно и сколько хотят — она должна остаться чистой перед собственной совестью. Нравственная чистота — вот оружие, от которого не должна отказываться разумная женщина ни при каких обстоятельствах. Этим оружием, и только им, она должна бороться со своими противниками.

Однажды вечером Антонина Ивановна поджидала детей из города. Теперь их отвозила к бабушке горничная и она же доставляла обратно; Смбат не ездил на промысла. Горничная вернулась одна... Антонина Ивановна забеспокоилась. Она стала до того подозрительна к свекрови, что всегда с тревогой отпускала детей в город.

— Почему одна? — спросила она, выбежав на балкон.

— Барин приказал оставить детей в городе. Завтра привезет сам. Эх, барыня, кабы вы посмотрели, какой он стал грустный! Таким я еще его никогда не видала...

Бесхитростные слова служанки произвели на Антонину Ивановну впечатление: лицо ее омрачилось, в голубых глазах мелькнула неожиданная печаль.

Вечер она провела у Шушаник. Без детей ей было тоскливо — так уверяла она. Но не только тоска по детям томила ее. Она возбужденно и неустанно твердила о своих начинаниях, словно стараясь отогнать какую-то мысль, заглушить какое-то чувство. Под конец заговорила о своей любви к Шушаник, признаваясь без притворства, что только теперь оценила ее по-настоящему и что иногда ошибочно подозревала ее. В чем именно — она промолчала, но Шушаник догадалась и сразу изменилась в лице.

— Я убеждена, что никто и ничего не может поколебать нашей дружбы...

И голос Антонины Ивановны задрожал от глубокого волнения.

Еще одна бессонная ночь для Шушаник. В ее ушах все еще звучат слова Антонины Ивановны: «Я убеждена, что никто и ничто не может поколебать нашей дружбы». Несомненно, это колкий намек, несомненно, Антонина Ивановна почувала, что творится с ней. О, какой позор! И она, которую считают скромной девушкой, еще смеет смотреть в лицо этой несчастной женщине, она, отдавшаяся греховному чувству, пусть невольному, пусть вопреки рассудку! Господи, неужели у нее не хватит сил вырвать из сердца это чувство? Вот — едва она услышала, что завтра Смбат придет на промысла, а уж сердце ее затрепетало. Наверное, он навестит больного, он всегда заходит к отцу, он так внимателен к Заргарянам. Надо бежать из дому, чтобы не слышать его проникновенного голоса, не видеть его грустного взгляда.

Нет, почему же бежать, почему не поговорить с ним хоть раз начистоту? Неужели ей суждено всю жизнь безмолвно переносить грусть, не быть в силах справиться с нею и наконец пасть под ее тяжестью? Своих чувств она, разумеется, не откроет Смбату. О нет, это было бы неблагодарно, неужели она лишилась стыда? Но отчего не попытаться стать лицом к лицу с действительностью? Как знать, может быть, она услышит от него горькую истину, которая вернет ей разум и поставит на верный путь. Надо быть смелее хотя бы для того, чтобы убедиться, сумеет ли она поговорить со Смбатом Алимяном без робости, даже равнодушно. Ведь Шушаник ничего не ждет от своей любви; увлеклась она бескорыстно, просто, как — сама не знает. И никогда, никогда не было у нее дерзкого помысла овладеть человеком, по праву принадлежащим другой, к тому же умной, доброй, безупречной женщине — женщине, желающей стать ее искренним другом. Нет, ее скромность, ее взгляды, вся ее нравственная сущность восстают против этой преступной мысли.

Шушаник очнулась от утреннего крика отца. Неужели уже рассвело, а она так и не сомкнула глаз? Это безумие. Увы, даже страшные стоны больного не могут заглушить хоть на несколько минут муки ее сердца. Ах, в этом доме двое больных: одного преследует боязнь огня, другую — страх перед преступной любовью. Разница в том, что

один выражает боль сердца криком, другая горит внутренним огнем и вынуждена молчать, молчать всегда. Довольно! Пускай она погибнет, но хоть раз облегчит надорванную грудь безумным воплем.

— Оставь меня в покое, мама, оставь меня, я не больна.

— Ах, уж лучше бы ты была больна, дочка! Горе какое-то тебя терзает...

Шушаник распахнула окно и выглянула.

Уже с неделю как прекратились дожди и земля обсохла. Кое-где зеленели островки земли, отвоеванные у нефти. Даже эта убогая природа невольно поддавалась весенней ласке.

Шушаник подобрала рассыпавшиеся волосы и прошла в комнату отца. Больной все еще стоял, боязливо уставившись на дверь. С минуту на минуту он ожидал появления «безбожников», собиравшихся похитить его и бросить в огонь.

Охватив здоровой рукой шею дочери, он зарыдал без слез.

— Спаси меня, Шушаник, только в тебе и осталась жалость, спаси!

Теперь он здоров, но ее мать, тетя и «злой сатана Давид» хотят его изжарить живьем — лишней-де рот. Вот уже они развели костер на дворе. Напрасно—Саркис еще не выжил из ума; он шагу не сделает за порог, хотя бы целый мир обрушился на него. Больной с трудом выдавливал слова. От кашля он посинел и задыхался. В припадке гнева он принялся царапать себе щеки, рвать волосы. Шушаник опустилась на колени, сжала руку отца в своей и молила его успокоиться. Мало-помалу, под влиянием ласковых увещаний, больной утих и потребовал чаю.

В соседней квартире происходила другая сцена. Смбат с детьми присхал из города довольно рано. Антонина Ивановна выбежала навстречу и так обняла Васю и Алешу, словно целый месяц их не видела.

Смбат смотрел на трогательную встречу и сдерживал невольную горечь: а ведь мог бы и он быть счастливым семьянином, будь ему мила эта женщина, будь он любим ею и если бы не «предрассудки». На серьезном и задумчивом лице Антонины Ивановны он сегодня заметил ка-

кую-то тень. Ему показалось, что в последние дни жену томила какая-то новая печаль и что теперь она совсем не та, какой была всего месяц назад. Он почувствовал нечто похожее на сострадание: ведь одинока же она тут, вдали от родины, не варварство ли так обходиться с нею? Положим, она упряма, но почему же не пощадить ее хотя бы из простого человеколюбия?

Был момент, когда он едва не поддался слабости и не сделал шага к примирению. Но сдержался — почему он первый должен сделать этот шаг? Ведь они одинаково отравляли друг другу жизнь. Будь с ее стороны хоть намек на раскаяние — он первый попросил бы прощения.

Когда Антонина Ивановна, озадаченная словами горничной, взглянула на Смбата, она тоже заметила в нем резкую перемену. Ей показалось, что муж за последнее время как-то раздобрел, поздоровел, в глазах жизнерадостность, на лице нет прежней тоски.

Горничная внесла несколько свертков, привезенных Смбатом.

— Постой,— закричал Вася и, выхватив свертки, стал быстро их развязывать.— Не перепутайте, папа привез каждому по подарку. Алеша, это тебе. А это — мне. Это тоже тебе, возьми. Нет, нет, это мне.

Смбат вмешался и сам раздал подарки. Самый большой остался неразвернутым.

— Это тебе, мама,— сказал Алеша, отдавая сверток матери.

Антонина Ивановна удивилась.

— Накидка для вас,— объяснил Смбат и отвернулся.

— У меня есть весенняя накидка.

— Понравилась мне, я и купил. Не нравится — не берите.

Подарок! Что бы это значило?..

— Мама, бери, накидка хорошая,— вмешался Вася.

— Мама, бери, она хорошая,— повторил Алеша.

Антонина Ивановна молча сделала знак горничной отнести сверток в другую комнату.

Супругам было неловко. Обоим сегодня хотелось взглянуть друг другу в лицо, но это не удавалось. А дети, занятые игрушками, радостно шумели. В их звонких голосах родителям чуялись укоры.

Антонине Ивановне думалось: справедлива ли она к

мужу? Не в ней ли главная причина постоянных семейных неурядиц? Разве не могла бы она быть уступчивей? Чем виноваты дети, что их таскают с промыслов в город, из города на промысла, приучая к безалаберности? Чем кончится это фальшивое положение? Ну, они ошиблись, так неужели надо еще осложнять последствия роковой ошибки?

— Говорят, паралитик помешался, правда ли это? — спросил Смбат.

— Да, почти.

— Удобно ли мне навестить его?

— Не знаю, но только сейчас рано, он недавно проснулся.

Смбат вышел и направился к брату. Проходя двором, он оглянулся и в окне увидел головку Шушаник.

Девушка его не заметила — она писала за столом. Около нее стоял здоровяк Чупров, вертя фуражку: он диктовал письмо «домой». Любовь к родным местам взволновала его, он не мог говорить спокойно. Когда дошли до «поклонов», Чупров перечислил всех домашних, родственников и даже соседей.

Закопив письмо, Шушаник вложила его в конверт, надписала адрес и отдала Чупрову. Тот принял, завернул в платок, поклонился и вышел. Шушаник взяла книгу и возобновила прерванное чтение. Вскоре она устала и принялась ходить по комнате. Потом снова присела и загляделась на далекие зеленеющие поля.

Девушка старалась убедить себя, что ничего нет ужасней положения ее отца. Она, привстав, собиралась пройти к больному, как вдруг услышала голос Смбата. Руки ее опустились, голова бессильно склонилась. Нет, она не покинет комнаты, если даже отец будет звать ее. Она заткнет уши, чтобы не слышать искушающий голос Смбата, закроет глаза, чтобы не видеть его мужественного лица.

В девушке совершалась мучительная борьба. Ей не хотелось слышать голоса Смбата, но в то же время она прислушивалась к нему. Невыносимо, неспосно, надо бежать из дому. Она вышла на балкон. А не пройти ли к Антонине Ивановне? Там укоры совести отрезают ее, и кажущееся равнодушие рассеет последние подозрения

Антонины Ивановны. Пусть она подвергнет себя горькому испытанию, оно очистит ее.

Но Антонины Ивановны не оказалось дома. Она была в библиотеке, а дети во дворе под присмотром горничной играли в серсо.

— Здравствуйте, Шушаник, — услышала она голос человека, которого избегала. — Простите, кажется, я вас напугал. Но хорошо, что застал вас, — мне бы хотелось поговорить с вами.

Он быстро вынес два стула и поставил в углу балкона, вдали от посторонних взглядов. Девушка не имела силы уклониться, голос Смбата точно парализовал ее.

— Шушаник, — начал он, — вы умны и развиты и, надеюсь, разрешите мне по-братски спросить вас: скажите, пожалуйста, какого вы мнения о моем брате Микаэле?

Вопрос был совершенно неожиданный и поставил девушку в тупик. Впрочем, смущаться ей нечего — ведь Смбат считает ее «умной и развитой».

— К чему вы это спрашиваете?

— От вашего ответа зависит многое. Я бы хотел знать: находите ли вы в моем брате какие-нибудь достоинства?

— Достоинства? — повторила Шушаник. — На мой взгляд, нет человека без каких-либо достоинств.

— Совершенно верно. Но я бы хотел, чтобы вы... как бы это выразиться?.. считали Микаэла более достойным, чем кого-либо другого...

Этого было достаточно, чтобы девушка сообразила, куда клонит Смбат. Она решила говорить ясно, без обиняков и спросила, какое значение может иметь ее мнение о чужом для нее человеке.

Смбату показалось недостойным объясняться темными намеками, и он повел разговор с полной откровенностью. Полчаса назад Смбат оставил Микаэла в полном отчаянии: надо так или иначе решить вопрос. Смбату известно, что Шушаник считает Микаэла недостойным, даже безнравственным человеком. Пусть она не смущается — он говорит то, что знает давно, и это несколько не оскорбляет его братских чувств. Скромное и чистое существо и не может иметь иного мнения о человеке, прожигавшем жизнь в кутежах и распутстве.

— Когда я приехал из России, Микаэл был одним из самых испорченных молодых людей в городе. Отец завещал мне наставить на путь истинный заблудшего брата. Я был обязан исполнить волю покойного, хотя и сам не мог похвалиться покорностью. Одному богу известно, сколько раз я пытался уговорить Микаэла переменить образ жизни. Все мои усилия ни к чему не привели. Микаэл опускался все ниже. Вам известно, каким оскорблениям подвергался он, как опозорил себя. Спасти его от морального падения я не мог, это было выше моих сил. Но трудное для меня оказалось легким для другого. Человек до крайности испорченный, считавшийся вконец пропавшим, вдруг начал меняться. Порвал с беспутной компанией, ушел от всех, замкнулся в себе. Кто знал Микаэла раньше, не узнает его теперь — он стал совсем другим. Сперва это было для меня загадкой. Такой резкой перемены я ни в ком не встречал, разве только читал в романах. Теперь же эта перемена в брате понятна. Беседуя с Микаэлом, следя за ним со стороны, я угадал, кто сыграл решающую роль в его сказочном возрождении. Это — вы...

Он остановился, заметив, что его слова произвели глубокое впечатление на девушку.

— Довольно! — произнесла Шушаник дрожащим голосом.

— К чему скрывать правду, когда вы сами чувствуете ее? Вы спасли брата, и я обязан выразить вам признательность. Прошу лишь об одном: не бросайте его на полдороге, продолжайте так же благотворно влиять на него... Полюбите его!..

Шушаник вздрогнула и, приподнявшись, произнесла с возмущением:

— Господи! Алимьян, по какому праву вы оскорбляете меня?

— Ради бога, не толкуйте превратно моих слов. Это вам не к лицу. Полюбите Микаэла, он безумно любит вас.

Вот оно что! Ей предлагают любить человека, обращение к которому она еще не сумела в себе побороть. И кто же предлагает? Неужели Смбат этого только и добивался? Что ответить, когда единственный предмет ее беспредельных грез, средоточие ее мечтаний, человек, втайне ею обожаемый, теперь выступает защитником и

посредником другого? Неужели он ничего не подозревает?..

Не подозревает? Нет, Смбат не слеп. Если бы он не верил ревности Микаэла, если бы он не верил даже собственным наблюдениям и переживаниям, достаточно было бы одной невольной дрожи Шушаник, чтобы он почувствовал, для кого бьется ее сердце. Ах, Смбат мог откликнуться на ее страдания, не раз он думал об этом. Но по какому праву и с какой целью? Смбат связан навсегда, он вовремя сдержал пробуждавшееся к ней чувство, чтобы легче подавить его. Он, как честный человек, обязан вывести девушку из заблуждения.

И вот он начал мягко подходить к сущности вопроса, решив пожертвовать собою и защитить Микаэла. Единственное средство — сравнение. Хваля брата, он должен забыть о себе. Смбат так и поступил. Разумеется, он утаил причину своего отстранения, но был уверен, что слова его будут иметь желанные последствия.

Несмотря на дурное прошлое Микаэл способен пламенно любить и страдать, и даже жертвовать собою ради любви — редкое качество, которым ныне мало кто из молодежи может похвалиться. В сердце уцелел нетронутый уголок, там затаились глубокие чувства. Сравнивая себя с Микаэлом, Смбат всегда отдает предпочтение брату. Нет, пусть не думает Шушаник, что он высказывает все это из ложной скромности. Человека, обладающего бурными чувствами, всегда надо предпочесть тому, чьи чувства «давно остыли». Кто чувствует — живет и страдает, кто умствует — дремлет. Лучше иметь позорное прошлое и очиститься от него страданиями в настоящем, чем вести размеренно-ровное существование. Часто случается, что хорошо начавший плохо кончает и, наоборот, плохо начавший кончает хорошо.

Шушаник слушала молча, всматриваясь вдаль. Она угадывала мысли Смбата. Ей не верилось в искренность его самоунижения, но она догадывалась о цели, им преследуемой. Он хочет сказать, что не может любить ее, чтобы отрезвить девушку, испытавшую столько страданий. Вот до чего она несчастна. Но почему же, разве Шушаник когда-нибудь осмеливалась думать, что Смбат может ее полюбить, страдать и даже пожертвовать собою во имя любви! Она одна любила, любила тайно, со стра-

хом! А сейчас? Сейчас ей дают понять, что она обманулась.

— Скажите, чего вы требуете от меня? — проговорила Шушаник, приподнимаясь.

— Спасите моего брата... Без вашей любви он недолго проживет.

— Ах, господин Смбат, не выдумывайте легенд! — воскликнула она вдруг; трудно было разобрать, что сильнее в ней — стыд или гнев.— Для вашего брата мир не настолько опустел, чтобы он мог думать лишь обо мне одной... Он молод, богат, красив... А я?

— С вами никто не сравнится в целом городе. Вы сами, вероятно, не сознаете своих достоинств...

Шушаник дрожала, как лист.

— Простите, я слышу крик отца. Я не могу больше с вами оставаться... Увидят... Довольно вы насмеялись надо мной...

Девушка удалилась твердыми шагами, с уверенно поднятой головой.

Смбат смотрел ей вслед. Как она горда, скрытна и в то же время скромна...

«Почему лет десять назад я не встретил такую?..» — промелькнуло в его голове.

6

— Милый мой, все это — пустяки,— разглагольствовал Алексей Иванович.— Дух нашего времени заразил тебя, так сказать, до мозга костей. Но не робей, все пройдет. Кто не болел этой болезнью и не выздоравливал? Сегодня же необходимо посоветоваться с врачом насчет поездки за границу.

Однако никакой врач и никакое лекарство уже не могли спасти Аршака Алимяна от нравственного разложения, содействовавшего возникновению и усугублению его недуга. Принимая лекарства, он продолжал разгульный образ жизни и заживо гнил. Даже Алексей Иванович теперь уговаривал его серьезно приняться за лечение и строго выполнять предписания врачей, но безуспешно.

Аршак собирался обзавестись отдельной квартирой и открыто сойтись с Эльмирой. Алексей Иванович, пересесе-

лившийся теперь в гостиницу, умолял его воздержаться от этого шага. Он доказывал, что в наше время не принято жить с любовницей под одним кровом, ибо это — «мове тон».

Аршак был принят в круг Кязим-бека, Мовсеса, Ниясамидзе, несмотря на разницу лет, как равноправный товарищ. Он избегал пока Григора Абетяна, которого побаивался. Но, к его счастью, полнотелый кутила не показывался в кругу друзей.

С того дня как сестра вернулась в родительский дом, Гриша избегал общества. Оporоченная репутация Ануш причиняла ему стыд и боль.

Петрос Гуламян возбудил дело о разводе и через епархиального начальника старался добыть разрешение на брак с молоденькой и пухленькой вдовушкой.

Разумеется, он должен был публично доказать измену жены. Ануш не хотела брать на себя вину. Она мучается от стыда, пусть и муж помучается ради «своей вдовушки».

Ануш и впрямь мучилась, но не только от стыда. Главное ее горе заключалось в равнодушии Микаэла. «Бессовестный! — роптала она. — Ты не оценил моей любви. Пусть будет так. Я тоже постараюсь тебя забыть. Не думаешь ли ты, что я добровольно обреку себя на нескончаемые мучения? О нет, я не дура. Дети? Да, тоска по ним непреодолима. Но... Разве мало матерей, бросающих детей и убегающих с любовником? И я поступлю точно так же. А почему бы нет? Незачем мне омрачать молодую жизнь. Довольно, пора положить конец бесполезным стонам, вздохам и охам. Надо жить, хотя бы пазло врагам».

И Ануш решила время от времени показываться в обществе. Пусть не думают, что она считает себя настолько виновной, чтобы прятаться от всех. Вначале ей казалось, что все ею только и интересуются. Так, впрочем, оно и было. Прежние приятельницы и знакомые с презрением отворачивались от нее при встрече. Однако это вскоре начало раздражать Ануш, и она сделалась смелее. А-а, вот как? В таком случае ей на всех плевать!

Ануш завела знакомство с молодыми людьми, которых прежде сторонилась, как все добродетельные дамы ее круга. Ануш хотела таким образом подчеркнуть свое пренебрежение к общественному мнению. Новые знакомые

относились к ней даже почтительно. Они давали понять, что им известна ее печальная история, что Ануш — жертва деспотизма, более того — героиня, перед которой обязан склониться всякий сторонник «женского равноправия».

Лесть, расточавшаяся перед Ануш, подбадривала ее. Она стала осуждать добродетельных дам.

— Поверьте,— говорила она,— на свете нет нравственных и безнравственных женщин, есть лишь хитрые и простодушные. И всегда, везде расплачиваются простодушные. А хитрые — о, они-то уж мастерицы «с умом вести свое дело».

Она подружилась со своей прежней соседкой, чья смелость возбуждала в ней зависть. Мадам Вишневецкая — так звали соседку — не отличалась требовательностью и мелочностью в отношении женской добродетели. Она радушно принимала Ануш и знакомила со своими подругами. «Вот что значит не быть невежественной и грубой азиаткой,— думала Ануш.— Армянки отворачиваются от меня, а иноплеменница заводит со мною дружбу, даже защищает меня».

— Знаете что, милая? — обратилась однажды к ней мадам Вишневецкая.— Мужчин следует наказывать их же оружием, не к чему их баловать, чтобы они бог весть что о себе думали. Герен мне мужчина — и я ему верна, нет — «око за око, зуб за зуб». Эх, дорогая, второй раз на свет не родятся. Будем жить, пока живется. А как состаримся, накинем на себя черную шаль, возведем очи и запоем: «Аллилуйя, аллилуйя, господи, прости нам грехи наши!» И вы думаете, бог не помилует? Поверьте, помилует. Он добр и не так нетерпим, как люди.

Ануш задумала отомстить Микаэлу. Где он? Пусть полюбуется, сколько у нее теперь красивых молодых поклонников. Однажды, гуляя по набережной и думая как раз об этом, Ануш увидела издали Микаэла. Ее сопровождал один из горячих поклонников, одетый по последней моде. Она взяла своего кавалера под руку, стала улыбаться и шептать ему что-то, подчеркивая свою близость с ним.

Микаэл возвращался из конторы нефтепромышленной фирмы, где у него были какие-то дела. Увидев Ануш, он не знал, поклониться ей или нет. И решил поклониться. Но еще издали, заметив ее вульгарные манеры, услышав

развязное хихиканье, он отвел руку от шляпы и отвернулся с презрением.

Ануш была почти уничтожена. Вместо того чтобы выместить злобу, она сама натолкнулась на явное оскорбление. Она побледнела, растерялась и, поравнявшись с Микаэлом, процедила:

— Подлец!

Эта брань, произнесенная грубым мужским голосом, сменила в Микаэле чувство отвращения жалостью к женщине, виновником падения которой был он сам.

Приехав на промысла, он в конторе встретил Смбата. Микаэл узнал, что Марутханян уже обратился в суд и вскоре будет получена повестка. Как, разве Микаэл не умолял Смбата кончить дело без суда? Смбат утверждал, что не мог этого сделать: выбросить полмиллиона — не шутка.

— В таком случае я не явлюсь в суд,— возразил Микаэл раздраженно.

— Ну что же, тогда я явлюсь вместо тебя.

— Но я тебе не дам полномочий.

— Микаэл, ты совсем с ума спятил!

— А ты чересчур поумнел. Оставь меня в покое!

— Это твое последнее слово?

— Последнее и решительное.

Смбат с минуту подумал и категорически заявил, что не даст Марутханяну и ломаного гроша.

— Пусть меня тогда сажают в тюрьму, я согласен и на это,— ответил Микаэл и ушел в свою комнату.

После встречи с жертвой своей необузданности Микаэл невыносимо страдал. Если он так низко пал, что на улице женщина бросает ему в лицо «подлец», а он молчит, не все ли равно, что будет дальше? После морального банкротства материальное его не страшит. Да, пусть посадят в тюрьму, безразлично.

— Позови сюда Давида,— приказал он слуге.

Вошел бухгалтер с пером в руке.

— Брат уехал?

— Да.

— Чем вы заняты?

— Готовлю месячный отчет.

— Спешите?

— Отчет запоздал, к вечеру надо непременно сдать.

— Можно отправить завтра. Посидите, немного поговорим.

Он настоял, чтобы бухгалтер отобедал с ним. За столом Микаэл беспрерывно говорил. Этот человек, ничем не интересовавшийся, кроме собственных переживаний, находился в каком-то философическом настроении. Давид удивлялся, и удивление его возросло, когда Микаэл стал порицать общественный строй. Особенно он нападал на несправедливость современной экономической системы. Сотни людей работают, чтобы насытить одного или двоих; почему дары природы не принадлежат всем поровну? Почему, например, он спокойно обедает здесь, а там, в чаду, в огне, сотни людей день и ночь подвергают опасности свою жизнь ради него?

— Впрочем, нет, не на меня они работают. Теперь я такой же простой труженик, как и вы. У меня нет ничего, знаете, совсем ничего...

И Микаэл рассказал, что отныне он — банкрот, остался без копейки.

— Так вот почему вы заинтересовались судьбой бедняков,— не выдержал Заргарян.

— Вы правы. Но не в этом дело. Если захочу, я еще могу остаться богачом, но нет. Мне все осточертело, буквально все...

После обеда Микаэл вышел немного прогуляться. Теперь все ему представлялось пустым, суетным и бессмысленным. Он удивлялся Сибату, так крепко цеплявшемуся за отцовское наследство, вспоминал его письма из Москвы, былые идеи и усмехался. Вот каково обаяние денег! Человек, считавший отцовские капиталы чуть ли не плодом грабежа, нынче стал их рьяным защитником. Как знать, может быть, он хочет выполнить волю отца.

Вернувшись к себе, Микаэл снова вызвал Давида, задержал его и поужинал вместе с ним.

Ночью он долго ворочался в постели и не мог уснуть. Шипенье пара напоминало ему об адском труде рабочих. Перед ним возникли пропитанные копотью и нефтью худые лица, темные и мрачные, как нефтяные скважины. Даже здоровяки рабочие, вроде Чупрова, Расула и Карапета, казались ему болезненными. Разве эти рабочие лишены сердца, души, способности мыслить? Разве они не любят, не презирают, не завидуют? Неужели забота о ку-

ске хлеба убила в них всякое человеческое подобие, превратив их в бездушные машины? Как не задумываться надо всем этим? Вокруг него сотни людей работают до изнурения, а он целиком ушел в свой мирок. Но что это за звуки? Ах да, Заргарян щелкает на счетах. Бедный бухгалтер! Забыв сон, в полночь, сгибая над столом сутулую спину, он пишет, считает, подводит итоги с единственной целью, чтобы Алимяны жили в довольстве и без забот. И Алимяны еще воображают, что оказывают ему огромное благодеяние, платя в месяц несколько десятков рублей. А эта девушка, некогда жившая беспечно и беззаботно? Теперь она добровольная служанка, день и ночь прикованная к кровати паралитика отца. Чем виновато это кроткое и гордое существо, на скромность которого посягнул человек, пресыщенный благами жизни?

Ах, Микаэл никогда не простит себе своего недостойного поступка! Да, Шушаник была вправе бросить ему в лицо, что только богатство внушило ему смелость оскорбить ее. Но пусть. Ныне Микаэл почти так же беден, как и Давид. Беден? Да, конечно беден. Решено, ни одной копейки из отцовского наследства, ни одной! Вместо богатства Микаэл желает только освободиться от угнетающего презрения Шушаник и убедить ее, что теперь и он с омерзением смотрит на свое прошлое.

Голова его устала от тяжелых мыслей, нервы ослабели и глаза сомкнулись. Сон и явь слились, нежный образ Шушаник предстал в полусне. Теперь он в каком-то темном пространстве. Кругом поднимаются до самого неба островерхие черные деревья с толстыми стволами. А там, далеко, далеко в темноте, мерцает светлый луч. Микаэл силится выбраться из мрака, рвется к свету, но ноги его точно скованы. На каждом шагу он увязает в тине, с трудом сохраняя равновесие. А в отблеске далекого луча рисуется кроткий и гордый образ — да, образ, кроткий и гордый, кроткий — для бедных, гордый — для богатых. Гордый? А кто это? Смбат? Так ведь он богат, почему же Шушаник склоняется перед ним? Боже мой, что это такое? Они обнимаются, целуются... Нет, это невозможно! Свет растет, ширится, меняясь и распространяя багряные лучи, точно потоки крови. Что за странный крик? А-а, это кричит отец Шушаник. Нет, это не человеческий голос, а какой-то звериный рев, которому из недр леса отвечает

другой, третий, четвертый, и весь лес сотрясается от дикого хора...

Микаэл проснулся, сел на постели и протер глаза. Неужели уже рассветает? Что за багряный свет врывается в комнату? Рев продолжается. Да ведь это же промышленные гудки, беспорядочные и тревожные, как во время пожара.

Микаэл стремительно сорвался с постели и подскочил к окну. Сначала ему показалось, что горит его дом. Он растерялся, не мог решить — одеться или выбежать не одетым. Пожар или только сон? Распахнув ставни, он вздрогнул на миг и оцепенел. Пожар вспыхнул недалеко от Антонины Ивановны и Заргарянов.

Рассудок Микаэла помутился, хотя он и сознавал, что главное теперь — сохранить хладнокровие. Наскоро одевшись, он выбежал из дому. Гудки росли, усиливались, как человеческая мольба, полная отчаяния и трепета. Это был адский хор, могучий и несвязный, хаотичностью своей наводивший ужас в ночной тьме.

В конторе еще горела лампа, но Заргаряна там не было. Несомненно, пожар возник на промыслах Алимянов. Рабочие уже проснулись и растерянно, беспорядочно бежали на огонь, словно муравьи в разоренном муравейнике.

— Это у нас? — крикнул Микаэл.

— Горит пятый номер, — ответили из темноты чьи-то заспанные голоса.

Вышка номер пятый всего в нескольких шагах от квартиры Антонины Ивановны!

Огромный двор наполнили черные привидения. Из подвалов вытаскивали заступы, лопаты, ведра, ломы, шесты, насосы...

Не успев еще сообразить, куда тянет огонь, Микаэл отдавал противоречивые распоряжения. Когда же он очутился на месте пожара, гудки ревели на всех промыслах, раскинутых на двадцати квадратных километрах.казалось, этот неистовый вой летел откуда-то с темного неба, будто двигалась рать ошалевших от голода хищников. Издавна было заведено: как только на одном из промыслов гудок возвестит о пожаре, гудки всех остальных промыслов вторят ему, предупреждая население об опасности.

Пожар разрастался. Горела вышка одной из доходнейших нефтяных скважин. Огонь, стремительно взвиваясь по гигантской вышке, пытался охватить ее всю. С неба нависла широкая пелена черного дыма, тянувшаяся по ветру все дальше и дальше.

Рабочие с перепуганными лицами, с обезумевшими от ужаса глазами окружили гигантский костер, образовав живую цепь. Работала пока одна группа, изо всех сил пытавшаяся вырвать из-под пылавшей вышки машину — единственное, что можно было спасти.

Первая мысль Микаэла была — отыскать детей и жену брата. Правда, им овладевала и другая, более властная мысль, но он мгновенно решил, что обязан в первую очередь броситься на помощь близким по крови, а уж потом... Микаэл кинулся на балкон, где он так часто вздыхал, глядя на противоположные окна. Огонь еще не достиг квартиры, но языки пламени уже рвались к ней. Рабочие старались отстоять от огня нефтяное озеро между домом и вышкой. Загорись оно — погибли бы все постройки.

— Ребята, за мной! — крикнул Микаэл, бросившись вперед, разрывая цепь рабочих.

Из цепи отделились Чупров, Расул и Карапет, еще не знавшие, где нужна их немедленная помощь, чтобы вырвать людей из объятий огня. Впереди бежал Чупров, могучими плечами расталкивая товарищей. Толпа воодушевилась, увидев великана на лестнице. В поступи и осанке отважного труженика сквозила своеобразная мужественная красота, достойная резца Фидия. Несколько мгновений его красная рубаха, словно сотканная из пламени, мелькала в багровом свете и исчезла, как метеор.

Уже весь дом был охвачен дымом. Еще несколько минут — и всякая помощь была бы излишней. Если бы огонь даже не ворвался в комнаты, люди бы в них задохнулись от дыма.

Страшен нефтяной пожар, совершенно непохожий на обычный. На промыслах и заводах огонь распространяется с быстротою бури, пожирая все на своем пути: нефть и газы проникают всюду. Иногда не успеют призывы тревожных гудков дойти до людей, как уже жизнь их в опасности. Хорошо еще, если огонь начнется с вышки или с какого-нибудь помещения, если же загораются нефтехранилища — всеобщая гибель неминуема. Газ, пере-

полняющий пустоты в резервуарах, взрывается с грохотом от малейшей искры, похожим на залп сотен пушек, мгновенно разливая потоки огня, подобно морю, прорвавшему плотины.

На балконе Чупров оттолкнул Микаэла.

— Не место вам тут!

И вбежал в комнаты, сообразив, что там должны находиться люди. Кто они — безразлично, надо спасать. Спасать их, презирая всякую опасность, — так всегда поступал этот простой труженик, попавший сюда с далекого севера.

От искр, сыпавшихся с вышки, вспыхнуло нефтяное озеро. Огонь мгновенно охватил его, вздымая черные густые клубы дыма.

Чупров услышал крики толпы и сообразил, что опасность подступает. Не найдя никого в первой комнате, он перекрестился и бросился дальше...

Антонина Ивановна впервые видела нефтяной пожар. Проснувшись среди ночи от гудков, она не сразу поняла их значение. Ведь каждую ночь в двенадцать часов, при смене рабочих, раздавались гудки. Опомнилась она, лишь увидя в окнах багряные отблески пожара. Быстро одевшись, она бросилась будить слугу, горничную и, возвратившись, увидела опасность во всем ее грозном величии. Она не рискнула вынести детей раздетыми, не понимая, что при нефтяном пожаре малейшее промедление грозит гибелью, и принялась их одевать, вопреки мольбам слуги и горничной. Слуга не выдержал и выскочил, спасая свою жизнь...

В дверях между первой и второй комнатой Чупров наткнулся на Давида Заргаряна, одной рукой державшего Васю, другой — Алешу. Дым выедал Давиду глаза. Он ничего не видел и шагал наугад. Еще секунда — и он потерял бы дорогу. Чупров одной рукой выхватил у Заргаряна Алешу, другой, как перышко, поднял Васю. Дети не понимали, что творится кругом, они даже не плакали, охваченные ужасом.

— Мама! — крикнул Вася, крепко обняв шею Чупрова.

Давид, передохнув, повернул обратно. Кто-то ухватил его за локоть и толкнул назад, кто именно — не разобрать. Еще несколько мгновений — в дыму показался Карапет,

тащивший на плечах Антонину Ивановну. За ним — Расул с горничной на спине.

Убедившись, что в комнатах не осталось никого, Микаэл сбежал с балкона.

Во дворе царила невероятная суматоха. Рабочие больше шумели и галдели, чем помогали. Понукая друг друга, бегали, падали, подымались, мокрые и перепачканные. Их черные от нефти лица в зареве отсвечивали, как полированная бронза.

Радостные крики встретили Чупрова, прижимавшего к груди обоих детей, Расула с горничной и Карапета, державшего Антонину Ивановну, — трех богатырей, самоотверженных героев дня, спасших семью «старшего хозяина».

Никто не подозревал, что другая семья в несравненно худшем положении.

7

Деревянная вышка, пропитанная горючей жидкостью, пылала сверху донизу, как гигантский факел, олицетворяющий мощь слепой стихии. Огонь жадно пожирал доски, с треском взметавшие к небу мириады искр. Взлетая пулями, искры яростно кружились и сыпались в облака дыма огненным ливнем. Ветер разносил искры и, сметая в кучи, собирал под стенами домов, в уголках и щелях, как метель — сугробы снега.

Простаки силились погасить огонь на вышке насосами, что было бессмысленно. Пламя словно издевалось над мощными струйками, журча вылетающими из резиновых кишок. Чудовищные языки пламени, сталкиваясь с враждебной стихией, казалось, раздражались дьявольским хохотом. Мгновенно превращаясь в пар, вода скорее усиливала огонь, чем боролась с ним.

Искушенные в борьбе с пожарами, рабочие пытались спасти от огненного ливня нефтехранилища, в особенности резервуар, врытый в землю неподалеку от пылавшей вышки. Пренебрегая опасностью, они теснились на глиняной крыше резервуара и затыкали мокрым войлоком щели, пропускавшие нефтяной газ. Малейшее прикосновение пламени — и рабочие взлетели бы на воздух. Вторая

группа возилась у резервуаров, пугавших больного отца Шушаник.

Гидя, что семья Смбата спасена, Давид бросился на другую половину дома, находившуюся несколько дальше от места бедствия. Ее удаленность позволила Давиду прежде всего прийти на помощь чужим, а уж потом близким.

На балконе он столкнулся с сестрой. Она вывела сюда детей и спасала домашний скарб. Давид прикрикнул на оторопевшую вдову, схватил за руку и столкнул на лестницу. Потом, обняв одного малыша, а другого схватив за руку, поспешил во двор. Снова взбежав на балкон, он наткнулся на старушку прислугу, пытавшуюся вытащить из кухни свой сундук.

— Брось, дура, спасайся сама! — крикнул Давид. — Есть там еще кто-нибудь?

— Есть, есть! — отвечала запыхавшаяся старуха, еще крепче цепляясь за сундук, набитый ее добром.

Когда начался пожар, семья Заргаряна спала. От тревожных гудков первая проснулась Шушаник и разбудила мать и тетку. Она могла бы тотчас же вывести детей, но мать воспротивилась, не надеясь на нее. Анне стоило больших трудов разбудить паралитика мужа и с помощью Шушаник кое-как одеть его. Пока они возились с больным Саркисом, огонь быстро приближался.

Давид бросился в комнату брата, надеясь застать там Шушаник и сестру. Дым тут стоял не такой густой, как в квартире Антонины Ивановны. При слабом свете лампы ему предстала неожиданная картина: Анна, охватив Шушаник, силилась оторвать ее от отца, а тот, уцепившись здоровой рукой за ножки тахты, вопил:

— Оставь меня, оставь!..

С четверть часа они выбивались из сил, но тщетно. Полупомешанный был убежден, что настала роковая минута и его хотят бросить в огонь.

Давид отстранил Анну, схватил за локоть Шушаник и с силой оторвал ее от отца. Сначала надо спасти здоровых, потом больного, жизнь которого уже не имела ценности. Не обращая внимания на отчаянные крики Шушаник, он вытащил ее за дверь, но тут девушка вырвалась, побежала назад и снова обняла отца. Теперь Саркис распластался на полу. Лицо его потеряло свой естественный,

человеческий облик. Он казался воплощением ужаса, обреченным на заклятие животным, чьи тупые глаза, устремленные на палача, ждут рокового удара.

— Бегите, я вынесу его! — крикнул Давид и с новой силой вытолкнул Анну и Шушаник.

В эту минуту стекла окон, обращенных на улицу, с треском лопнули от силы огня, и дым густыми клубами повалил внутрь. Анна в ужасе выбежала. Шушаник не двинулась.

Началась дикая борьба между Давидом, Саркисом и Шушаник: девушка силилась поднять отца, тот цепко держался за ножку тахты, а Давид старался их разнять. Подступавшие волны пламени уже лизали своды окон, дым сгущался и становился все удушливей. Силы покидали Давида. Теперь Саркис сам обнял дочь здоровой рукой, и так крепко, словно железным обручем. В этой единственной руке сосредоточилась вся его сила, могучая и страшная сила угасающей жизни. Ничего другого не оставалось, как тащить обоих вместе. Паралитик в иступлении кусал руку Давида, бился головой об пол и вопил:

— Безбожник, разбойник, убийца, палач!

Давиду удалось вытащить обоих в соседнюю комнату, когда уже загорелся потолок в спальне больного. Первая опасность миновала. Дым заволакивал им глаза. Вырвавшись из цепких объятий отца, Шушаник крикнула:

— Держи его за голову, я — за ноги! Так... скорее... скорее!.. Ничего не вижу!..

Не сделали они и двух шагов, как Саркис из последних сил вырвался и распростерся на полу. Воспользовавшись этим, Давид обнял Шушаник и поднял, но из-за пелены густого дыма не знал, как выбраться из комнаты.

В это самое мгновение чужие руки вырвали у него племянницу. Микаэл не выдержал отчаянных воплей Анны, плача детей и бросился на место бедствия, опередив Чупрова и его товарищей. Этот эгоист, пользовавшийся репутацией испорченного до мозга костей человека, ринулся навстречу смерти, чтобы вырвать из ее когтей бедную беззащитную девушку...

Толпа, увидев на лестнице хозяина, загудела от радости. Десятки рук потянулись к нему принять живую ношу.

Шушаник была в беспамятстве — она не сознавала, в чьих руках ее жизнь. Густые волосы девушки рассыпались по плечам Микаэла, легкое белое платье изорвалось и почернело от копоти; голые руки бессильно свесились с его плеч.

Не выпуская из рук безжизненной девушки, Микаэл приблизился к Анне и положил перед нею дочь.

Вышка уже совсем обгорела. Железное колесо упало с ее верхушки, посыпались истлевшие боковые доски, и в воздухе продолжали торчать только четыре гигантских столба, охваченных пламенем. Толпа, затаив дыхание, следила, куда они свалятся.

Один из столбов накренился в сторону подземного нефтехранилища. В таких случаях горящие столбы подпиливают, чтобы дать безопасное направление их падению. Группа рабочих с пилами пыталась подойти к охваченной пламенем вышке, но отскочила от нестерпимого жара.

Микаэл не обращал внимания на огонь, разраставшийся все яростней. Пусть сгорит все, все, что только может гореть, — лишь бы спасти человеческие жизни!

В потоках багряного света он узнал Антонину Ивановну и бросился к ней:

— Где дети?

— В безопасности.

— Но вы стоите в опасном месте, бегите!

— Все ли спасены?

— Давид остался с паралитиком.

Микаэл обливался потом. Одежда промокла, с ног до головы он был выпачкан нефтью и грязью и ничем не отличался от любого рабочего. Усталости он не чувствовал. Беспокойно бегая повсюду, Микаэл ждал, откуда появится Давид с больным братом. Спасши Шушаник, он ощущал новый, еще более сильный прилив самоотверженной отваги.

Протиснувшись сквозь толпу, к нему поспешно подошел Смбат, бледный, задыхающийся.

— Не бойся, твои дети и жена в безопасности. Вот она, Антонина Ивановна.

Смбат подбежал к жене. Давид успел уведомить его по телефону о пожаре, и Смбат из клуба примчался на промысла.

Антонина Ивановна в страхе дрожала, стуча зубами, но ей не хотелось уходить отсюда — ведь человек, спасший жизнь ее детей, сам очутился в беде. Не жестоко ли оставить его без помощи? Треск огня, грохот горящих построек, потоки искр, крики толпы, дым, чад, копоть, кровавые отблески на черном небе, суета сливались в картину невероятного хаоса. В этом хаосе одно было ясно: немощь человека перед слепой стихией. Теперь нефтяное озеро представляло собою огромную, врытую в землю печь, с глухим гулом изрыгавшую пламя, исчезающее в черных небесах.

По мере того как разрастался пожар, движущаяся цепь толпы становилась все шире. Пространство, отделявшее людей от огня, покрылось илом, копотью и нефтью. Люди спотыкались, падали, то беснуясь, как одержимые, то неистово крича от страха быть раздавленными тысячами ног.

Анна, не переставая, вопила, призывая на помощь. Сестра Давида, колотя себя в грудь, металась и умоляла толпу спасти брата, единственного кормильца сирот.

Первой мыслью Шушаник, едва она очнулась, было вернуться туда, где дядя боролся с огнем, спасая отца. Но мать, схватив дочь за руку, не пускала ее. Густые волосы Шушаник рассыпались по плечам, лицо почернело от копоти, глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Она колотила ногами и разъяренно кусала руки тем, кто не давал ей рвануться вперед и броситься в огонь. Это была уже не прежняя стыдливая и молчаливая девушка — опасность, грозившая близким, придала ей мужество и силу. Она бесновалась, проклинала, молила. И казалось ей, что ни у кого нет сердца и совести, что никто не жалеет ее. Люди, так любившие ее и так любимые ею, безмолвно глядели на отчаявшуюся девушку и не шевелились. Между тем, огонь все яростнее охватывал дом. Жар до того усилился, что нельзя было подойти к балкону. Даже Чупров и Расул с Карапетом колебались, хотя от воплей доброй и милой девушки у них щемило сердце.

Антонина Ивановна крепко обняла Шушаник, но могла ли она успокоить это чуткое существо, когда жизни близких людей угрожала такая опасность.

Она взглянула на мужа: неужели нельзя придумать какой-нибудь разумный выход? Смбат не решался при-

казать рабочим, пренебрегая опасностью, броситься в огонь — знал, что никто его не послушает: каждому дорога своя жизнь. На минуту молящий голос девушки так потряс его, что он подумал: «Стоит ли так цепляться за жизнь?» Но едва сделал шаг, как перед умственным взором его предстали осиротевшие Вася и Алеша, старуха мать в слезах, сестра, братья. Эгоизм удержал его. Нет, нет, он не властен над собой!

— Ребята! — крикнул Смбат. — Тысячу рублей тому, кто их спасет!

Слова его, подхваченные толпой, передавались из уст в уста. Соблазн был велик для полуголох и полуголодных, но никто не поддался ему.

— Две! Три тысячи!

Снова шум смятения, но помощи ниоткуда.

Теперь Смбат мог подымать цену сколько угодно. Уже самая щедрость награды показывала, как велика опасность. Чупров — и тот усмехнулся, кивнув на чудовищные волны пламени.

Вдруг из толпы выскочил человек, весь пропитанный нефтью и копотью. Он ринулся вперед, но, столкнувшись с напором пламени, отскочил, вырвал у одного из рабочих мокрый войлок, обернулся им и, обежав дом, исчез в клубах дыма.

Первая узнала его Антонина Ивановна и с криком прижалась к Шушаник. Через мгновение мелькнула красная рубаха Чупрова, за ним — Расул и Карапет.

Что же творилось в доме?..

Передав Шушаник Микаэлу, Давид вернулся, обнял паралитика и пытался поднять его. Теперь Саркис уцепился за ножку письменного стола. От зарева пожара мгла уже рассеялась. Стол опрокинулся, но оторвать от него большого не удалось. Давид дотащил брата вместе со столом до самых дверей, но дальше уже не было пути: за дверями бушевало пламя. Оставался один исход — оттащить паралитика в крайнюю комнату, служившую Давиду спальней. Здесь было окно, обращенное в сторону, противоположную пожару, — единственный путь к спасению. Надо было только не отчаиваться и не теряться. Давид не был лишен хладнокровия, но силы уже изменяли ему.

Кое-как удалось оторвать Саркиса от стола и под градом проклятий перетащить в спальню. Здесь дыма было меньше. Давиду удалось поднять брата к окну, створки которого, к счастью, были открыты. Но в ту минуту, когда он уже собирался опустить парализованного на подоконник и подняться туда же, Саркис, пытаясь вырваться, рухнул на пол и увлек за собою Давида. Если бы он потерял сознание! Но животный страх придал парализованному сверхъестественную силу. Казалось, теперь у него действует и больная рука. Никогда Давид не представлял себе, сколько силы в этом живом трупе. Наконец руки его ослабели, и он выпустил Саркиса. Как быть? Оставить его и спастись самому? Нет, это невозможно — как он взглянет в глаза Шушаник? Вынести этого живого покойника было уже невозможно. Из соседней комнаты то высовывались багряные языки, то уползали, как змеи.

Раздался сильный треск. Давид посмотрел вверх. Потолок еще не был охвачен пламенем, но средние двери уже загорелись. Минута была роковая. Напрягая последние силы, Давид схватил брата, поднял и положил на подоконник. Это было уже большим шагом к спасению. Давид ободрился, между тем огненные волны, подгоняемые ветром, уже лизали пол и потолок.

Обливаясь потом, Давид взгромоздился на подоконник, не выпуская брата. В эту минуту раздался страшный взрыв, за ним — крики толпы. На миг все было охвачено мраком, затем небо озарилось еще ярче. Было ясно — загорелось и взорвалось одно из нефтехранилищ.

Необходимо спустить Саркиса, но как? Сбросить — опасно: окно довольно высоко, парализованный мог удариться о камни и разбиться. Спрыгнуть самому и потом спустить его? Но Саркис опять скатился бы на пол — и тогда уже никакой надежды.

— Кто тут? Помогите! — закричал Давид.

Но кто услышит его в оглушительном грохоте и бушующем море огня? Все же Давид не терял надежды и кричал до тех пор, пока не охрип; руки у него опустились, голова поникла. Уже у порога спасения он мысленно увидел себя и брата, превращенными в пепел.

Последнее усилие, последний крик, и — о чудо! — из бушующего огня как будто слышится отклик на его зов. Да, это явь: перед окном обрисовалась чья-то фигура.

То был Микаэл, закутанный в войлок, с ног до головы пропитанный копотью. Он ухватил паралитика за ноги, и спасаемый всей тяжестью навалился на спасителя. Давид тотчас спрыгнул, упал, но кое-как поднявшись, с изумлением узнал Микаэла. Сердце его переполнилось глубокой благодарностью. Как? Среди такого множества лишь он один рискнул броситься в ад для спасения двух полуживых существ.

Паралитик был в беспамятстве. Микаэл взял его за ноги, Давид за плечи, и они поспешили выбраться из дыма. Они были до крайности изнурены, спотыкались на каждом шагу, и надо было много усилий, чтобы не поскользнуться. Они спасали жизнь человека, для которого она была уже лишняя и только отравляла существование близких.

Но там, неподалеку от них, паралитика оплакивало существо, одинаково дорогое и Давиду и Микаэлу.

Внезапно дым сгустился. Неужели им суждено задохнуться на пороге спасения? Куда же держать путь — налево, направо, вперед, назад? Кругом кромешная тьма.

Микаэл крикнул, и тотчас перед ним выросли три могучие фигуры: Чупров, Расул и Карапет.

Главная опасность уже миновала. Карапет поднял бесчувственного Саркиса, Расул помог Давиду. Чупров собирался взвалить Микаэла себе на плечи, заметив, что молодой хозяин лежит ничком на земле, не в силах подняться.

— Осторожно с рукой! — предупредил Микаэл, опираясь о плечо великана.

Минуту спустя все они выбрались из полосы огня.

8

Столбы вышки номер пять повалились один за другим с треском и шумом, разбрасывая огромные снопы искр. Темно-коричневый дым горящей нефти сменился сизым дымом пылающих столбов. Разнесся слух, что пять молодых рабочих задавлены рухнувшими столбами. Всех охватил ужас, но ненадолго: адский труд среди бушующего пламени слишком притупил нервы рабочих.

Что такое смерть пятерых для этого мира заживо погребенных? Такова, видно, участь тружеников, преследуемых не только людской жадностью, но и слепой стихией.

— Дешево отделались,— заметил со вздохом старик рабочий, свидетель гибели многих собратьев.

Между тем, в двадцати-тридцати шагах вспыхнула новая вышка, за ней другая, третья, четвертая, пятая — образовался целый лес пылающих факелов. Железные нефтехранилища взрывались одно за другим, распространяя океаны пламени. Бушевала огненная река, остановить которую была бессильна человеческая воля. Оставалось одно: предоставить все судьбе. Поток огня стремился к широкому болоту, образовавшемуся от проливных дождей и подземных вод. Тут завязалась бешеная борьба между двумя враждебными стихиями: болото поглощало огненные волны и само тотчас же превращалось в пар — в пар, источающий клокотанье и шипенье, схожие с отчаянным воплем.

Прошла ночь. Осеннее солнце осенило землю первыми лучами. Зарево пожара стало тускнеть. Толпа — замызганная, перепачканная, пропитанная нефтью армия каторжников — все еще продолжала галдеть, бегать, ломать, крушить, таскать части разрушенных машин, трубы и разные обломки. В воздухе сверкали тысячи заступов, ломов, шестов — огонь презирал все усилия людей и продолжал свирепствовать с еще большей силой. Насосы били все ленивей, словно чувствуя свое бессилие. Рабочие от усталости больше не заботились, куда направлять воду. В водяных струях солнце отражалось всеми цветами радуги, и эти струи скорее дополняли картину пожара, чем боролись с ним.

Приехавшая из города группа англичан и шведов, заложив руки в карманы, дымя сигарами и трубками, равнодушно глазела на невиданное зрелище. За последние пять лет не было таких больших пожаров. Из города все продолжали прибывать хозяева промыслов, заводчики, управляющие — кто прямо с постели, кто от карточного стола, иные с кутежа, из объятий любовницы или из публичного дома.

Смбат, бледный, отдавал нелепые, бесцельные распоряжения. Устав от собственных криков, угроз и уве-

щеваний, он приказал убрать трупы погибших. Случай, конечно, трагический, но об этом он подумает потом, а пока что необходимо спасти от огня что можно. Но было уже поздно — ни одну вышку, ни одно здание не удалось уберечь, кроме недавно построенных казарм.

Антонина Ивановна с помощью рабочих выносила книги из библиотеки.

— Отправили детей в город? — спросила она мужа.

— Да.

— Ваш брат сломал руку, спасая Заргарянов.

— Знаю, — ответил Смбат и исчез в толпе.

Микаэл лежал на голой кровати в грязной комнатке. Он был окружен Заргарянами. Положив одну руку под голову и бессильно опустив другую, Микаэл кусал губы, чтобы заглушить невыносимую боль. Шушаник у окна помогала врачу, возившемуся с бинтами. Она была донельзя изнурена и еле держалась на ногах. Ах, как много она пережила и перечувствовала за эти несколько часов и какой переворот совершился в ее душе!

Удивительное дело! Человек, от которого Шушаник ничего не ждала, которого почти презирала, от которого бежала, как от чумы, — этот человек вдруг проявил столько героизма. Значит, это ему, такому беспутному, испорченному, обязана она жизнью отца, дяди и даже своею? Что бы могла означать такая самоотверженность? Кто или что внушает ему такую неустрашимость и пренебрежение к собственной жизни? Это не сон, а явь — явь неожиданная, невообразимая и опасная, но вместе с тем и радостная. Как прекрасен он был, когда показался из густого дыма, опираясь на руку Чупрова, — прекрасен какой-то рыцарской красотой. О нет, никогда, никогда Шушаник не забудет минуты, волшебным светом озарившей чудесный образ среди глубокой тьмы. Стоило ли нанесенное ей оскорбление проявленного им рыцарского поступка? Нет, нет, нет! Пройдя сквозь огонь и дым, он без остатка сжег все прошлое и вышел чистым и обновленным.

А тот, другой, причинивший ей столько душевных мук, которого ее расстроенное воображение так превозносило? Да, он тоже хотел совершить подвиг, но... чужими руками и при помощи золота. «Ребята, три, четыре, пять тысяч тому, кто спасет!» — какой горькой иронией звучат теперь

для нее эти слова! Какая чудовищная пропасть легла между ними! И кто из них выше — разве не тот, кто вот тут, на голой кровати, корчится от боли? Один рисковал деньгами, другой жизнью — но может ли золото заменить жизнь? Кто для Микаэла Заргаряны — жалкий паралитик и незаметный приказчик, да и сама Шушаник? Ничто. Одна из тех, которые по иронии судьбы рождаются для того, чтобы всю жизнь работать и страдать. Между тем, он, выросший в богатстве и роскоши, разве он был обязан спасать ее, ничем не заметную бедную девушку?

Старший брат думал при помощи денег спасти человека, вынесшего из пожара его детей. Горькая насмешка, брошенная в лицо бедности, как ядовитый плевок. Какое малодушие. Страшиться смерти, когда другие не боялись броситься в огонь ради его детей.

С облика Сибата спала романтическая шелуха: незаурядный человек становился заурядным, обыкновенным существом — купцом. Презрение — вот оплата, достойная такого человека. Тяжело расставаться с мечтой, но иначе нельзя. Ведь тот, кого создала ее мечта, никогда, никогда не принадлежал бы ей. Пора очнуться и посмотреть прозревшими глазами на трезвую действительность. Теперь Шушаник не только обязана, но и сумеет забыть этого человека. Вот он сует в толпе, то приказывая, то умоляя спасти обломки оборудования. На лице уже нет прежнего мужества и привлекательности, голос потерял обаяние с той минуты, как он прокричал: «Ребята, пять тысяч тому, кто спасет!..»

Микаэл, кроткий и послушный, как ребенок, дал обнажить руку и сменить повязку. Взглянув на девушку, он прочел в глазах ее глубокое сострадание и нечто другое и в эту минуту забыл боль, терзавшую его. Но, кончив перевязку, девушка удалилась едва слышными шагами.

Там, в смежной комнате, лежал спасенный паралитик. Он спал безмятежным сном. Шушаник подошла и села на табуретку у его изголовья. Неясные чувства овладели ее сердцем, мысли путались, утомленная голова все еще не могла разобраться в недавнем прошлом.

Она теперь далеко от толпы, но крики звучат в ушах; пожара она не видит, но перед глазами непроницаемый хаос стихии. Там, в густом дыму, беспомощные родные, а тут отчаявшиеся мать и тетка. Там багряный огонь с

его несметными страшными языками, тут черные призраки, дикие крики, неистовый визг, пять обгорелых трупов, копать, грязь, нефть. И в этом хаосе образы двух мужчин: один — высокий, мужественный, в безукоризненном костюме; другой — среднего роста, с ног до головы в саже, пропитанный нефтью; один — чистый внешне и морально, другой — с грязным прошлым и неопределенным настоящим. И вдруг нравственно безупречный, чистый образ бледнеет, исчезает, как мираж, а грязный быстро вырастает, очищается от прошлого, и вот он уже окружен лучистым ореолом.

Утомленная голова девушки склонилась на грудь, руки ослабели, опустились. Но в ушах еще звучат крики толпы.

Явь медленно начинала меркнуть и сменилась кошмаром. Шушаник опять в черте огня, окруженная со всех сторон опасностью. С неба сыплются с диким шипеньем искры, а у ног раскрываются темные могилы, полные человеческих скелетов, хохочущих ей в лицо и хватающих ее костлявыми руками. Шушаник, простирая руки, молит о помощи, но никто не откликается — даже дядя, даже мать. Она обращается к кому-то, стоящему далеко-далеко и с улыбкой обнимающему женщину, что стоит подле него в эту страшную минуту. Но вот из хаоса мрака, дыма и копоти восстает черный образ и приближается к ней. И чем ближе, тем светлей и лучезарней он. На лбу его большой шрам. Смело, одним прыжком перескакивает он через могилы, полные скелетов, и, подойдя к Шушаник, берет ее за руку в тот самый миг, когда она считает себя во власти смерти...

От ужаса Шушаник проснулась и вскочила, протирая глаза. Осмотрелась: где она, наяву ли это? Неужели она спасена?

Вошла мать, все еще дрожавшая от страха.

— Проснулась? Почему так скоро?

— Неужели я спала?

— Да, и очень крепко. Усни, посни, еще, родненькая...

— Мама, мама, неужели папа жив, дядя спасен? — воскликнула вдруг Шушаник и с рыданиями обвила шею матери.

— Успокойся, милая, все спасены.

— Нет, нет, пять обуглившихся...

— Воля божья...

Из города приехали Аршак, Алексей Иванович, Кязим-бек, Мовсес, Ниасамидзе и еще несколько кутил. Они возвращались с попойки. Крохотная невзрачная комнатка набилась посетителями. Все уже слышали о подвигах Микаэла, передававшихся из уст в уста. Кязим-бек обнял и расцеловал старого приятеля — мужская храбрость всегда восхищала его. Примеру Кязим-бека последовал Ниасамидзе, также считавшийся поклонником героизма.

— Я даже из-за родного брата не бросился бы в огонь, — заметил Мовсес.

— Эгоист! — возмутился Кязим-бек и снова расцеловал Микаэла.

Вошли Смбат с врачом. Выяснилось, что рука у Микаэла не сломана, а только вывихнута и что врач уже вправил ее. Несчастье случилось в ту минуту, когда Микаэл, передав паралитика Чупрову, поскользнулся и упал.

— Сильно болит? — спросил Аршак.

— Нет, пустяки, — ответил Микаэл, изнемогавший от боли.

— Bravo! — воскликнул Кязим-бек. — Раз я вывихнул ногу — три дня ревел белугой.

Приехали Срафион Гаспарыч и Сулян. Инженер в глубине души был рад пожару. За время его службы на алимяновских промыслах, правда, случались пожары, но не такие крупные. Пусть теперь Смбат почувствует, у кого он отнял должность управляющего и кому ее передал.

В дверях показались ювелир Барсег и журналист Марзпетуни. Оба они сознавали свою вину перед Микаэлом и стеснялись войти. Марзпетуни вытащил блокнот и принялся что-то записывать. Вероятно, набрасывал описание пожара. Если бы Микаэл обратил на него внимание, дня через два он прочитал бы в газете о своем геройском поступке.

Между тем Микаэл решительно не занимался посетителями. Боль в руке утихала, его клонило ко сну. Все происшедшее казалось ему сном. Он ясно помнил лишь душераздирающие крики Шушаник и полный печали и отчаяния взгляд миндалевидных глаз. Господи, как она молила, как она силилась вырваться из рук, удерживав-

ших ее. И как прекрасна была она в бесстрашии и отчаянии! Ее глаза, метавшие искры, вздымавшаяся грудь, напрягшиеся на шее жилы, в беспорядке рассыпавшиеся по плечам волосы — это само по себе уже являлось пожаром. Не был Микаэлу страшен исполинский костер — в его груди пылал огонь еще сильнее. И Шуманик, это изумительное существо, могла согнеть из-за какого-то паралитика, обреченного на смерть! О нет, Микаэл никогда бы не допустил этого, как бы ни был он ею презираем! И как хорошо он поступил, что ринулся в огонь. — Отрадно наказать противника великодушием.

Веки Микаэла сомкнулись, и он уснул безмятежным сном.

Былые друзья ушли: это было их последнее посещение, последний знак дружбы.

Минуту спустя осторожно вошла Шуманик, приблизилась к Микаэлу, взглянула на его закрытые глаза и присела у изголовья.

Пожар подходил к концу. Уничтожив еще несколько соседних вышек, взорвав еще два-три резервуара, он, казалось, пресытился и спрятал свои когти.

К вечеру Смбат распорядился перевезти Микаэла на его квартиру. Недавно выстроенное здание уцелело и было теперь вне опасности. Микаэл отправился без посторонней помощи с забинтованной и подвязанной рукой, весь перепачканный нефтью. Смбат помог брату умыться и переодеться. Рука почти перестала болеть: врач искусно вправил вывих. Выспавшийся и посвежевший Микаэл вышел на балкон. Он предложил свою квартиру Антонине Ивановне, а Давиду приказал тотчас же перевезти паралитика в контору, на время, пока будет наведен порядок.

Весь день ни у кого во рту не было ни крошки. Микаэл попросил накрыть обеденный стол для всех на балконе.

Солнце склонялось к закату, играя последними лучами на стеклах просторного балкона. Вдалеке дымились развалины сгоревших домов.

Смбат приказал Заргаряну собрать и сообщить ему подробные сведения о семьях погибших и раненых рабочих.

— Постараюсь вознаградить их.

— Постараешься? — сказал, усмехнувшись, Микаэл.— Нет, необходимо всех сирот обеспечить пенсией.

— Легко сказать! Убытки от пожара достигают трехсот тысяч.

— Скоро же ты высчитал! — воскликнул Микаэл с той же усмешкой.— Да, потери большие, но человеческие жизни дороже.

— Конечно, что и говорить.

Шушаник искоса посмотрела на Смбата. Какая перемена! Ей показалось, что его не столько занимает людское горе, сколько причиненный пожаром убыток.

Заговорили о Чупрове, Расуле и Карапете. Смбат сказал, что решил каждого наградить двумястами рублями.

— И только? — изумился Микаэл.— Ну, брат, дешево же ты ценишь жизнь своей семьи.

— Детей моих спасли не они, а другой...

— Знаю. Но о нем речь впереди.

— Вашу семью спасли эти трое,— заметил Давид, поняв намек.— Ни о ком другом не может быть и речи.

— Не скромничайте,— возразил Смбат с ласковой иронией.

— Осмелюсь заметить, что я всегда был против ложной скромности. Она то же самое, что и подлинная нескромность. Правда, первым на помощь бросился я, но спасли вашу семью эти трое молодцов. Что до меня, так я уже с избытком вознагражден...

— Оставим пока этот разговор,— прервал Микаэл.

— Нет, уж извините, человек я прямой и даже при желании не могу сфальшивить. Господин Микаэл, вы сегодня проявили беспримерное геройство — спасли троих. Ах, простите, я взволнован и не нахожу слов... Вот разве у Шушаник найдутся нужные слова...

И от глубокого волнения голос его прервался, худые руки задрожали.

Шушаник не проронила ни слова. Она лишь бросила на Микаэла пристальный взгляд и смущенно потупилась.

Смбат молчал в раздумье. Другая мысль занимала его. Порою на губах его играла странная улыбка. Вдруг он повернулся к Антонине Ивановне:

— Кто такие эти Чупровы, Расулы, Карапеты и хотя бы Давид? Что связывает их друг с другом?

Жена угадала смысл вопроса.

О том же думала и она.

— Да,— проговорила она со вздохом, задумчиво кивнув,— вы правы.

И лицо ее озарилось мягкой улыбкой, не виданной Смбатом вот уже семь лет.

Солнце зашло; последние лучи его покидали верхушки вышек. А там, на просторном дворе, теснилась разноязычная, разноплеменная и охваченная скорбью толпа, оплакивая погибших товарищей. В гибели их толпа видела неумолимость судьбы.

После обеда Смбат обратился к жене:

— Вы поедете сегодня со мной в город?

Антонина Ивановна помедлила с ответом. Она была не прочь поехать, но при мысли о свекрови и золовке начала колебаться.

— Пока еще нет,— ответила она.

— Так знайте, я детей сюда не привезу. Отныне моя мать с ними не расстанется.

— Хорошо,— произнесла Антонина Ивановна с горькой улыбкой,— пусть не растается...

И она отвернулась от мужа, скрывая слезы; но Смбат заметил и понял причину их.

— Знаете что,— сказал он, потирая лоб,— мы одинаково любим детей. Забудем же о самолюбии во имя этой любви. Нет у нас иного выхода, как следовать чудесному примеру вот этих простых людей...

— Да, я согласна, но не будем торопиться... Дайте мне прийти в себя...

— Прекрасно, подумайте... Сойтись вновь мы не можем, но уважать друг друга, забыть о собственном «я» мы обязаны ради детей.

Смбат поспешно удалился.

«Уважать! — подумала Антонина Ивановна.— Да, уважать друг друга мы можем, но этого недостаточно для прочной семейной жизни».

Саркис Заргарян, спасшись от огня, не спасся от смерти. Его полумертвое тело сводило последние счета с жизнью. С часу на час ждали смерти паралитика. Он

уже совсем лишился способности говорить и дико вращал глазами.

Шушаник не отходила от отца. Дорого купленный остаток его жизни в глазах ее приобрел новую ценность. Это она считала каким-то небесным даром, даром, в котором ей чудилось знамение судьбы. Глядя на землисто-лицо умирающего, она погружалась в непривычное раздумье. Приближение конца бросало на нее таинственный отблеск. Будучи на пороге между жизнью и небытием, она почувствовала неумолимое дыхание смерти, притягательную силу ее холодных глаз. Но в те минуты смерть была не так страшна, как сейчас, у смертного одра близкого существа. Время от времени Шушаник пронизывала дрожь. Она казалась птичкой в вихре бури. Ее спасли насильно, против воли, как и паралитика, потому что ей не хотелось быть спасенной без него. Не поступи Шушаник так, она страдала бы от острых укоров совести и, как знать, быть может, умерла бы бесславной смертью отвратительного червя. А теперь она в собственных глазах существо, достойное называться дочерью. Теперь она яснее понимает таинство жизни, глубже постигает ее суть, полнее мыслит и чувствует. Перед ее духовным взором возникают картины, которые для нее прежде не существовали или пребывали в глубокой тьме. Мысли и чувства прошлого казались ей смешными — не то опасными, не то постыдными, но всегда одинаково неясными.

Любила ли она Сибата Алимьяна, или же это было игрой помутневшего воображения, грезой? Если она и впрямь любила Сибата — куда девался его волшебный образ? Нет его, рассеялся мираж, исчезли иллюзии, остался лишь самый обыкновенный смертный, ничем не отличающийся от других. Нет на лице его и следа бывшего мужества, в голосе — мелодичности. «Три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч тому, кто спасет» — постыдный торг человеческой жизнью. О, ребяческая наивность девушки, начитавшейся романов!

Другой образ предстал теперь Шушаник, очнувшейся от грез: на бледном лбу — печать геройства, в грустных глазах — орлиная мощь. А тот, первый, был только обманчивым призраком: на миг мелькнув, он исчез, не оставив в ее сердце никакой тяжести, на совести — ни единого следа...

Шушаник наклонилась, прислушалась к дыханию отца, пощупала его лоб — в истощенном теле все еще теплилась жизнь. И Шушаник вновь глубоко задумалась.

Уж не ошибается ли она? Любовь ли толкнула Микаэла на геройство и самопожертвование? Безнадежная любовь к незаметной девушке? Если это верно, значит, оно счастливо, это незаметное существо: значит, Микаэл был прав, когда говорил ей: «Могу быть и очень добрым и очень злым, и хорошим и дурным, и трусом и отважным». Можно ли сомневаться в его словах после того, что было? Разве Микаэл не подтвердил их своим рыцарским поступком? И вот еще: должна ли Шушаник каяться в том, что так жестоко обошлась с Микаэлом, не скрывая от него своей ненависти и презрения? В чем же его вина перед нею в конце-то концов? Почти ни в чем — он подошел к ней с дурными намерениями и ошибся. Но ведь от заблуждений никто не застрахован, тем более человек молодой, избалованный женщинами. Он наткнулся, быть может, впервые, на сопротивление и очнулся от угара своей порочной жизни. Он покаялся, смирился, просил прощения. Он поступил искренне, смело, а Шушаник? Притворяясь внешне снисходительной, она не сумела проявить великодушия и простить Микаэлу его ошибку. Она не замечала, что сама бессознательно ведет на правильный путь человека, погрязшего в распутстве. Да, она не только ошибалась, но и кичилась своей чистотой...

Было уже за полночь. Шушаник все еще сидела у изголовья отца. В углу комнаты, на голом полу, не раздеваясь, заснули мать и тетка. Давид с детьми спал в соседней комнате. Умиравший раскрыл глаза и осмотрелся он искал Шушаник.

— Чего ты хочешь, папа? — спросила дочь еле слышно.

Паралитик взглянул. На этот раз глаза его были поразительно осмысленны. словно душа умирающего вся перешла в глаза, как в последнее пристанище. Он повернул голову к Шушаник и вытянул бледные губы.

Девушка догадалась, что отец хочет поцеловать ее, и, нагнувшись, сама припала к нему губами. Коснувшись иссохшей руки больного, она в ужасе вскочила и разбудила домашних: паралитик доживал последние секунды.

На миг он раскрыл глаза, посмотрел на сестру, на жену, на брата и, наконец, устремил прояснившийся взгляд в лицо дочери. Несчастный не мог выразить своей последней воли — попросить прощения у близких за причиненные им страдания. Умер он настолько же спокойно, насколько беспокойно прожил последние семь с половиной лет. И когда вдова накрыла платком его окаменевшее лицо, в комнате раздались рыдания Шушаник.

На другой день тело Саркиса перевезли в город. Мадам Анна не хотела, чтобы похороны прошли без заупокойной обедни. Микаэл просил Давида ничего не жалеть для пышных похорон, но вдова от этого отказалась:

— Не надо, Саркис давно уже умер.

Шушаник поехала в город с Антониной Ивановной.

— Не плачьте так,— уговаривала она девушку,— неужели мало вы перестрадали за эти семь лет? Не мог же он поправиться, хорошо, что умер естественной смертью.

— Да, папа умер своей смертью, меня только это и утешает.

После похорон Заргаряны были приглашены к Алимянам. Вдова Воскехат распорядилась устроить у себя поминальный обед.

Тихие слезы Шушаник тронули сердце старухи. Она полюбила эту прекрасную девушку еще с той поры, когда Шушаник ухаживала за Микаэлом. Утешая Шушаник, старуха смотрела на нее с материнской нежностью, гладила пышные волосы, целовала щеки. Будут ли так горячо оплакивать смерть Воскехат ее близкие? Ах, какая любящая дочь, какое чуткое сердце! Почему не она ее невестка, жена Смбата,— вот эта бедная девушка, в скромном траурном платье, столь же кроткая, сколь и прекрасная. Почему мать внуков Воскехат — иноплеменница, которую она не любит и не полюбит никогда? Они не понимают друг друга и никогда не поймут...

После обеда явился Аршак вместе с Алексеем Ивановичем и сообщил, что вечером уезжает за границу. Воскехат была осведомлена о страшной болезни младшего сына и теперь сама торопила его ехать лечиться.

Алексей Иванович отозвал сестру.

— Ну, теперь ты можешь быть спокойна, я уезжаю.

— Куда?

— За границу.

— Зачем?

— Уезжаю с Аршаком.

— В качестве кого?

— В качестве попутчика и наблюдателя.

— Алексей, имей же самолюбие, умоляю тебя! — воскликнула Антонина Ивановна.

— Удивительное ты существо, сестричка. Точно я навязываюсь кому-нибудь. Сам же твой достопочтимый супруг просит меня сопровождать Аршака. Парень языков не знает, не путешествовал никогда, болен и неопытен, нужно же приставить к нему, так сказать, какого-нибудь почетного гида? Можешь вообразить: теперь Смбат Маркович не только примирился со мною, но и начинает любить меня. А мне жаль Аршака. Я должен всячески стараться спасти его, пока не поздно...

— А твоя служба в Москве?

— Я уже послал прошение об отставке.

— Дальше?! — воскликнула Антонина Ивановна возмущенно.

— А что же дальше? Останусь в распоряжении Смбата Марковича.

Антонина Ивановна прошла к Смбату, отвела его в сторону и спросила:

— Мой брат по вашему желанию сопровождает Аршака за границу?

— Да.

— И вы думаете, что он человек надежный?

— Вполне. Более подходящего человека я не знаю.

— Объявляю вам, что снимаю с себя всякую ответственность за своего брата.

— Антонина Ивановна, я вас прекрасно понимаю и хвалю вашу гордость; но люди живут не как хотят, а как могут.

В словах Смбата жена уловила заднюю мысль. Они звучали как бы намеком на примирение — примирение вынужденное и необходимое. Ясно одно: они должны жить не разлучаясь, они обязаны нести свой крест и не могут отказаться нести это бремя, поскольку оба любят своих детей.

Час спустя Антонина Ивановна с Заргарянами отправилась на промысла, оставив детей у свекрови. Доро-

гою она беседовала с Шушаник о положении рабочих. Ее известили, что вечерние курсы разрешены.

— Будем и впредь вместе работать, не правда ли? — спросила Антонина Ивановна.

— Как вам угодно.

— Не только угодно, но я даже прошу вас, Шушаник. Ах, хорошо бы иметь благородного и искреннего друга! Не так ли?

И она еще раз обняла и поцеловала девушку с материнской нежностью. Шушаник была тронута этой искренней лаской: отныне совесть ее чиста.

Смбат и Микаэл отправились на вокзал провожать Аршака. Они просили Алексея Ивановича всеми силами воздействовать на брата, чтобы он раз и навсегда бросил позорные привычки.

— Даю вам честное слово, что приложу все усилия. — ответил Алексей Иванович на этот раз вполне искренне.

Однако Смбат и Микаэл в глубине души плохо верили в выздоровление Аршака — уж слишком запущена болезнь.

Микаэл представлял полуживое тело брата, покрытое язвами. Подобных случаев ему приходилось видеть немало среди друзей, и он удивлялся, что ему удалось избежать этой ужасной болезни. Микаэл вспоминал недавнее прошлое и содрогался. Как ему ненавистна теперь эта бесцельная, бессмысленная жизнь!

— Больше ста тысяч придется выкинуть на постройку новых вышек и резервуаров.

Эти слова Смбата при возвращении с промыслов больно укололи Микаэла.

Он окинул брата неопределенным взглядом и не проронил ни слова.

— Да я еще не считаю каменных зданий, машин и котлов, — продолжал Смбат. — Нет, что я говорю, этот проклятый пожар причинил нам убытку на полмиллиона.

— И тебя сильно огорчает этот убыток? — спросил Микаэл.

— А тебя нет?

— Вознаградил ли ты Давида Заргаряна? — проговорил Микаэл, как бы не слыша вопроса.

— Ведь он же сам в твоём присутствии говорил, что вознагражден с избытком.

— Мало ли что он говорил! Заргарян человек бескорыстный. Но неужели ты не чувствуешь, что обязан отчислить ему какую-нибудь сумму?

— А сколько бы, по-твоему?

— По крайней мере столько, чтобы он полностью мог обеспечить свою семью.

— Вот как! — воскликнул Смбат удивленно. — Уж больно ты щедр.

Микаэл промолчал. Приехав домой, он зашел к Смбату, сел за письменный стол и набросал несколько строк на листке бумаги.

— Возьми, — небрежно бросил он Смбату бумагу и встал.

— Что это? Ты отказываешься от своей доли в наследстве?

— Как видишь — да.

— Ты еще ребенок, настоящий ребенок, — молвил Смбат, отбрасывая бумагу.

— Думай там как хочешь, а пока что бери эту бумагу и уплати Марутханяну мои долги — вот и все, что мне нужно от тебя.

— Не дури! Если ты обижаешься за Давида Заргаряна, можешь выписать ему сколько хочешь, на это я тебе даю полное право. Вот чековая книжка, — сказал Смбат, отбрасывая бумагу.

— Ладно, — ответил Микаэл, — об этом поговорим завтра, а моя бумага пусть на всякий случай лежит у тебя.

И Микаэл прошел в свои комнаты, куда не заглядывал вот уже пять месяцев. Здесь все было на месте. Он оглядел роскошную мебель, убранство и горько улыбнулся. Все, связанное с прошлым, казалось ему теперь нелепостью. Он запер двери и вернулся к брату.

— Пусть и этот ключ останется у тебя.

— Да ты смеешься, что ли?

— Я делаю то, что подсказывает мне сердце. Сказал же я, что отныне я твой приказчик, — вот и все. К этому дому у меня больше нет никаких претензий — все твое...

Микаэл быстро вышел, оставив ключ на столе.

Смбат удивленно посмотрел ему вслед и после минутного раздумья решительным движением спрятал в стол ключ и бумагу. На следующий день он отправил Срафимона Гаспарыча к Марутханяну, чтобы покончить дело миром. Смбат брал на себя обязательство уплатить половину долгов Микаэла при условии уничтожения всех подписанных братом долговых обязательств.

— Согласен! — заявил Марутханян. — Не случись пожара, — копейки бы не уступил.

В тот же день Марутханян вызвал Суляна.

— Друг мой, — обратился он к нему, — теперь мы можем купить нефтяные участки. Тебе отойдет пятая доля всей прибыли. Ну-с, посмотрим, как пойдет дело при твоём образовании и при моих деньгах и моём уме!

Через неделю Сулян оставил службу у Алимянов и сделался компаньоном Марутханяна.

Прошли первые дни траура.

Шушаник свыклась с горем и успокоилась. Теперь она все время проводила у Антонины Ивановны, целиком отдавшись работе. Приближались жаркие летние дни, открытие вечерних курсов откладывалось на осень. Антонина Ивановна собиралась отвезти детей на дачу.

Глаза Шушаник всюду искали Микаэла. Часто она навещала приятельницу в тайной надежде встретить его. Между тем, Микаэл почему-то перестал бывать у невестки и вообще не показывался нигде. Оказалось, что он переехал на отдаленные промысла. Что бы это могло значить? Неужели теперь он начинает ее избегать? Неужели право на пренебрежение перешло к нему? Уж не обиделся ли он, что Шушаник до сих пор ни единым словом не поблагодарила его? Но разве беспредельная благодарность выражается словами? Разве Микаэл не чувствует переворота в ее душе?

Как-то под вечер Шушаник сидела на балконе. Подбежали племянники и, положив ей на колени детскую книжку, недавно подаренную Антониной Ивановной, просили объяснить картинки. Девушка принялась перелистывать книгу, прижимая к себе головки малышей. Случайно подняв глаза, Шушаник вздрогнула и выронила

книгу: в конце двора она заметила Микаэла в группе мастеровых. Левая рука его все еще была подвязана.

Отослав детей, она все внимание сосредоточила на нем. Несколько минут спустя Микаэл остался один. Он медленно поднялся на земляную насыпь и присел на большой камень. Освещенный багряными лучами заходящего майского солнца, Микаэл показался Шушаник таким же мужественным и прекрасным, как и в тот миг, когда шел, опираясь на руку Чупрова, в облаках густого дыма, озаренный кровавым заревом пожара. Микаэл долго глядел на запад, пока огненный шар не скрылся за отдаленными холмами. Потом он поднялся и направился к квартире Антонины Ивановны. Чем ближе он подходил, тем неодоливей какая-то властная сила тянула к нему Шушаник.

Заметив девушку, Микаэл подошел к ней. Шушаник охватила радостная дрожь, когда она пожала руку своего спасителя. На лице Микаэла теперь уже не было и следа печали, в его глазах не было прежней мрачности, в которой девушке мерещилась скрытая злоба.

— Простите, что до сих пор я не поблагодарила вас, — произнесла она с дрожью в голосе.

— За что?

— И вы еще спрашиваете?..

Это было точным повторением слов, сказанных Микаэлом Шушаник несколько месяцев тому назад, когда он благодарил ее за то, что она ухаживала за ним во время болезни. Тогда Микаэл искал предлога разговора, теперь — Шушаник.

— Вы спасли отца и дали ему умереть естественной смертью. Вы спасли дядю... Вы...

Шушаник запуталась и не сумела продолжать.

По бледному лицу Микаэла пробежала еле заметная ироническая улыбка.

— Я никого не спасал, сударыня, кроме, быть может, одного.

— Кого же?

— Самого себя.

Девушка удивленно взглянула на него.

— Не понимаю, что вы хотите сказать, но я... я обязана вам своей жизнью.

— Нет, сударыня, вы не правы,— воскликнул Микаэл,— спасением вашей жизни вы обязаны себе, и только себе! Я же был всего лишь слепым орудием судьбы. Вы позволите? — добавил он, неуверенно взяв ее за локоть.

Шушаник сама хотела было взять его под руку, но не решилась, поэтому не без удовольствия приняла его руку. Молча шли они, некоторое время оба занятые своими мыслями.

— Я бы хотел,— заговорил наконец Микаэл,— рассказать вам о том, что случилось всего несколько минут назад. Сидел я на камне и любовался закатом. Передумал я много такого, что меня раньше никогда не занимало. Видите эти темные вышки с их острыми треугольными верхушками, эту смесь пара, дыма и копоти, мрачный колорит всех предметов, людей, животных и птиц, эту грязь и тину — весь страшный адский хаос? Я сравнивал этот хаос с нашей жизнью, с нашей средой, и особенно с моей средой: то же самое, мне думалось, и здесь. Между этими двумя хаосами одна лишь разница: наши промысла, наши заводы сперва рождают дым и копоть, а потом свет; наша же среда пока дает только грязь, полным воплощением которой являюсь я и мне подобные. Вспомнил свою грустную, бессмысленную, пошлую жизнь и чувствовал, что я по горло погряз в ее тине. Помните вы оскорбления и унижения, что я переносил, и все те нравственные раны, что я причинял другим?.. Потом вспомнились мне все переживания и мысли за последние месяцы. И, охваченный этими путаными мыслями, я не отрываясь глядел на закат: отсюда ли ждать нам морального спасения, или свет загорится в глубинах нашего непроницаемого мрака?

Микаэл остановился, с минуту помолчал и глубоко вздохнул.

— Заходящее солнце напоминало мне ужасный пожар, и передо мною ярко предстало зрелище, которое никогда, никогда не изгладится из памяти. Я слышал отчаянные вопли, шемившие сердце, я видел дитя, рвавшееся, не помня себя, в огонь, чтобы спасти погибавшего отца. Припомните ли вы то мгновение, когда мой взгляд встретился с глазами, призывавшими на помощь? Ах, эти глаза, этот молящий взгляд! Они мгновенно потрясли меня. Я забыл обо всем и только чувствовал, что пробуждаюсь от долго-

го тяжелого кошмара. Когда я бежал навстречу огню, мне чудилось, что я из мрака бегу к свету. Когда же я увидел себя в опасности, мне казалось, что эта опасность меня спасает от другой, грозной, еще более неотвратимой. Вырвавшись из огня, я ощутил такую душевную легкость, какой никогда, никогда не испытывал за двадцать восемь лет своей жизни. Мне показалось, что с сердца свалилась свинцовая тяжесть и рассыпалась пеплом... Повторяю, я спас не вас, а себя. Я уже бессилён скрывать от вас то, что я испытываю и думаю. Быть может, я заблуждаюсь, но для меня неоспоримо одно: пожар рассеял мрак моей жизни, и я очистился в собственных глазах — этот пожар спас меня от неминуемой гибели.

Никто не мог сделать того, что вы сделали для меня скрытой в вас таинственной властью, которой я не в силах уразуметь. Вы разогнали мрак моей жизни, проложив мне через огонь путь туда, где ждет меня заря нового счастья. Я еще не вполне очистился, но твердо убежден, что очищусь, обновлюсь, хотя бы для этого пришлось пройти сквозь новый огонь и новые испытания...

Он смолк, проводя по лбу здоровой рукой. Они уже дошли до укромного уголка. Все, что слышала и переживала Шушаник, казалось ей сном. Она не решалась прямо взглянуть в глаза Микаэлу, но чувствовала, что выражение этих глаз теперь иное и по-иному звучит его голос. Нет, это уже не прежний Микаэл Алимян, которого она избегала. Того Микаэла нет, он исчез, теперь перед нею совсем другой человек...

А что же избранник, еще так недавно владевший ее воображением и пленявший ее сердце? То был сон, то был обман, а это — явь, подлинная действительность...

И с безмолвной покорностью она склонилась на плечо к Микаэлу, отдавая свой первый поцелуй.

Небо побледнело, на горизонте выступил месяц. Прекрасный вечер для счастливой четы!

Через несколько минут Микаэл шел к себе, сияющий, радостный, с сердцем, переполненным счастьем. Чувства его находили теперь отклик в сердце той, ради которой он столько перестрадал и благодаря которой осознал себя очищенным.

А там, на балконе, Шушаник, припав к груди матери, обливалась радостными слезами.

— Мама, я счастлива!.. Мама, я была прежде несчастна, теперь я счастлива!..

На другое утро Микаэл говорил Смбату по телефону:

— Я выполняю последнюю волю отца. Уплати Марутханяну долг из моей доли наследства...

«Выполняю последнюю волю отца» — значило: Микаэл женится, и ясно — на ком.

«Он добился счастья,— подумал Смбат,— а я так и останусь несчастным!..»

1898 г.



ВАРДАН АЙРУМЯН



1



дна старуха, дожившая до последнего года девятнадцатого века, рассказывала, как ужасен был день, когда явился на свет Вардан Айрумян. Небо беспрерывно грохотало, а порою рычало, как неукротимый зверь; темные тучи, точно корабли без руля, неслись неведь куда. Однако дождя не было. Над землею нависла непроглядная тьма; пыль, вздымаемая бешеным ветром, заволокла все улицы, и город стал похож на гигантскую мельницу.

На больших географических картах этот город, разумеется, имеет свое место и название. Крошечная точка, гораздо меньше булавочной головки, указывает, что он расположен между Черным и Каспийским морями, у подножия Кавказских гор. Своим видом и нравами, прошлым и настоящим, мудрыми и наивными преданиями и обычаями он до того похож на другие кавказские города, что незачем упоминать его имя. Так пусть же он носит шуточное название Зилзил, придуманное одним бездельником. Я очень признателен этому шутнику: он избавляет меня от любопытства читателя, подвергающего подчас несчастных романистов инквизиторским пыткам.

Рождение Вардана Айрумяна справляли в одноэтажном каменном доме с плеской крышей, расположенном в

серединной части города Зилзила, отделявшей христианский квартал от мусульманского. Снаружи дом этот имел только одно окно с прочной железной решеткой, два глухих оконца и массивные ворота с вечно задвинутыми двумя засовами. Ржавые гвозди в четыре ряда с головками, напоминавшими шляпки грибов, придавали этим воротам средневековый облик. Густой слой пыли и свисавшая с окон паутина с несметным числом издыхавших в ней мух делали дом еще более мрачным. Прохожему невольно казалось, что вот-вот из-за угла выглянет часовой с ружьем или из-за оконной решетки покажется желто-зеленое, изможденное лицо узника.

Очень немногие проходили сводчатую дверцу, проделанную в воротах, предварительно постучав висевшим на ней молоточком,— он так же успел заржаветь от долгого бездействия. И те, кто входил в дом, выходили оттуда с хмурыми лицами.

Здесь жил известный в городе купец — Багдасар, внук Айрума, начальника конюшни последнего персидского хана. Славился он не столько своим богатством или происхождением, сколько невыносимо свирепым, человеконенавистническим нравом. Он избегал соседей, ненавидел родственников (и поделом: почти все они были дармоеды), а друзей почти не имел и не хотел иметь. Цирюльник Погос, который по воскресеньям утром приходил к Багдасару брить его, уверял, что этот негостеприимный человек даже своего «мастера» брадобреля встречал с неохотой. Приходский священник, отец Саркис, посещавший мрачный дом только на пасху и на рождество, рассказывал, что даже в эти радостные дни Багдасар не принимал никого, кроме первого купца в городе, Абраама-аги.

Вот каков был Багдасар, и вот почему в те роковые часы, когда жена его рожала в страшных муках, хозяин в одиночестве ходил из комнаты в комнату, вздыхал, ворчал про себя и время от времени прислушивался к воплям, доносившимся из спальни. Третьего по счету ребенка Гюльюм родила на восьмом году брака. Первый умер годовалым. В городе ходили зловещие слухи об отцовских чувствах Багдасара. Передавали, будто он в припадке гнева дошел до того, что, схватив годовалую дочку, ударил ею жену по голове. Несчастный ребенок тотчас умер. Сплетники объясняли варварский поступок Багдасара

тем, что это была девочка. Однако многие возражали: если Багдасару так ненавистны девочки, почему он не прикончит и другую дочь, Мариам, которой уже минуло пять лет?

Трудно сказать, кто знал истину. Одно было несомненно: горячее желание Багдасара иметь сына. Если на этот раз явится на свет мальчик — свидетель бог! — Багдасар купит для Гюльюм кусок дорогого бархата. Если же, боже упаси, родится дочь, он плюнет в лицо бессовестной жене и даже перестанет кормить ее — будь проклято ее чрево!

Пронзительный крик оборвал размышления Багдасара. Потом послышался другой, совсем не похожий на первый, — точь-в-точь визг поросенка, засунутого в мешок. Багдасар понял, в чем дело, и осенил себя крестным знаменем. Тут как раз вошла его теща. Как у многих старух города Зилзила, ее спина преждевременно согнулась под тяжестью женской доли.

— Свет очам твоим, милый зять, жена твоя разрешилась!

— А ну тебя к шуту, говори прямо — мальчик или девочка?

— Мальчик...

— Ладно, ступай!

Старуха скрылась. Багдасар продолжал мерить устланный персидскими коврами пол такими неровными шагами, что острый верх его папахи описывал самые причудливые зигзаги. Наконец-то господь внял его безмолвным мольбам и тайным вздохам, подарил ему наследника. Да ослепнут отныне его враги! (Багдасар весь человеческий род считал своим врагом). Эх, проклятые душонки, конечно, вы воображали, что Багдасар останется без наследника и его дом и добро пойдут прахом!..

Через четверть часа Багдасару доложили, что он может, если угодно, лицезреть своего наследника. Багдасар тотчас же прошел в спальню. В углу лежала Гюльюм — слабая, изнеможенная, бледная, как мертвец, однако на ее губах играла счастливая улыбка. У изголовья справа и слева сидели ее сестры — Джавахир и Заррик — и плакали... от радости. Они радовались тому, что сестра родила мальчика и раз навсегда избавилась от жестоких попреков Багдасара. В другом углу, подле круглой ямы, стояло

медное корыто с горячей водой, и пар от него обволакивал положенного неподалеку ребенка — так прозрачное облако заслоняет молодую луну. Повитухой была Эрикназ. Засучив рукава до локтей, она готовилась купать новорожденного. А новорожденный заливался таким плачем, будто его собирались варить и он понимал это.

И впрямь то, что проделала Эрикназ, было похоже на варку. Она окунула младенца в горячую воду и принялась обмывать его нежное тельце с таким усердием, словно стирала грязную тряпку. Потом, вынув ребенка из корыта, она начала посыпать его солью. Разумеется, новорожденный отвечал на это дикими воплями.

— Заткни глотку, горластый! — ласково промолвила бабушка. — Тебя посыпают солью, чтобы ты не сгнил.

— И чтобы кожа твоя окрепла и не потела, — прибавила Джавахир.

— И чтобы из тебя не вышел пресный человек, — сказала Заррик.

Усердно посолив младенца, Эрикназ спеленала его и начала перевязывать ему ручки и ножки шелковыми лентами. Можно было подумать, что она пакует почтовую посылку. Много лет спустя, когда мальчик показал свои необыкновенные способности, старухи говорили: «Та, что плеленала, знала свое дело». Те же старухи уверяли, будто ребенок, едва появившись на свет, завопил: «Хочу, хочу!» А те, кто присутствовали при первом купании новорожденного, заметили, что у него на груди крупное желтое пятно, очень похожее на золотой империал. Уверяли, что это пятно, которое так и осталось у него навсегда, — знак необычайного счастья.

Багдасар подошел к наследнику, взглянул на его красно-синее личико, улыбнулся, если только эту гримасу на его лице можно было назвать улыбкой, и произнес такие «ласковые» слова:

— Вот, собачье отродье, на вареного поросенка похож!

Потом он достал пару серебряных монет и положил их на животик новорожденного. Его примеру последовали теща и свояченицы. Затем приблизилась Эрикназ, собрала эти монеты и спрятала в карман, как награду за труды.

— Ну-с, а теперь айда по домам! — обратился Багдасар к теще и свояченицам. — Роженица уже разрешилась,

оставьте меня в покое. Путь добрый! Впрочем, погодите, чаю попьем, только жаль — чаю нет. Сахар дорогой подмок, сбор чая в Китае еще не начат, самовар у меня украли, воды нет, угля нет. Ну, прощайте, а то выискались еще хозяйки у меня в доме, собирайтесь, да поживей! За помощь моей жене спасибо, своими глазами видел... А теперь айда! Айрумян Багдасар не любит женщин! Кто вас за людей считает, я их бы...

Гости, отлично зная грубый нрав хозяина, поспешили покинуть его дом.

Так вступил в мир Вардан Айрумян — тот, кто впоследствии прославил свое имя и возбудил зависть у многих армян.

2

Ровно семь дней спустя Багдасар пригласил отца Амбарцума для свершения обряда «очищения» новорожденного, то есть для крещения. Крестным отцом был Абраам-ага Далбашян — всеми в городе уважаемый купец и, кажется, единственный человек в Зилзиле, с которым Багдасар был в дружбе, которому безусловно доверял и перед которым даже благоговел.

Утром Абраам-ага послал родным своего крестника головку сахару, фунт чаю и полпуда сушеных фруктов. Сам же он отправился прямо в церковь, где его уже ждала Эрикназ с новорожденным на руках.

Отец Амбарцум нарек младенца Варданом, глубоко убежденный, что не сыскать более подходящего и прославленного имени¹ для крестника Абраама-аги и для сына вечно недовольного Багдасара.

Вардана торжественно вынесли из церкви: впереди шел дьякон, высоко воздевая хоругвь, за ним — отец Амбарцум с епитрахилью на плечах и с крестом в руке, возглашая приличествующую случаю молитву; далее шествовал Абраам-ага, держа в руках крестника и две зажженные свечи по сорок копеек каждая. За ними следовали: Эрикназ с узелком под мышкой и пономарь —

¹ Имеется в виду Вардан Мамиконян — выдающийся армянский военачальник V века.

с потухшим кадиллом в одной руке, с посохом отца Амбарцума и папашой Абраама-аги — в другой. Справа и слева валила толпа полуголых, босоногих ребятишек, старавшихся ни на шаг не отставать от Абраама-аги и во все глаза глядевших ему в лицо, как будто это было необыкновенное существо, вроде выходца из иного мира. Между тем руки Абраама-аги отяжелели до того, что ему подчас хотелось бросить крестника. Злобу свою Абраам-ага срывал на непрошенных телохранителях, он кричал на них, топал ногами и ругался непристойными словами. Голос его был внушительен, поступь грозная, полное лицо выглядело устрашающе. Детвора отшатывалась, а минуту спустя снова окружала его.

Наконец процессия вошла в дом и мрачные ворота закрылись за ней. Для гостей были приготовлены: яйца всмятку, сливочное масло, мед, халва, сливки и смесь сладкого чая с ромом — напиток, именуемый на местном наречии «пунджем». Багдасар облачился в шелковый архалук, подпоясался синим шелковым широким кушаком. Чего только не приходило ему в голову при мысли о наследнике! Вардан вырастет, сделается правой рукой отца в торговле; вместо отца он ежегодно будет отправляться в Нижний за товаром, заработает много тысяч, построит дома и караван-сарай и будет всем на зависть первым человеком в Зилзиле. Вот когда Багдасар отомстит своим врагам!..

— Ты чего бурчишь себе под нос,— обратилась к мужу принаряженная Гюльюм, восседавшая на постели в ожидании младенца.— Остановись, полно тебе мерить комнату. Кого ты поносишь? На кого поднимаешь руку? А теперь рассмеялся. Что случилось?

— Он должен быть большим человеком, очень большим, понимаешь?

— Кто?..

— Если он не станет большим человеком, я первый плюну ему в лицо.

— Кому, о ком ты говоришь?

— Да помалкивай ты, собачье отродье!..

Раздался зычный голос отца Амбарцума. Багдасар бросился к двери. На соседних крышах появились любопытные женщины и дети. Однако развесистые ветви гигантского тутового дерева, росшего во дворе,

мешали им наблюдать, что творится в доме «свиньи» Багдасара.

Гости уселись завтракать. Отец Амбарцум скушал шесть яиц всмятку, заметив, что это очень полезно для голоса. А какова была польза от двух стопок водки и трех стаканов «пунджа» — об этом он умолчал и принял-ся за мед и масло.

Абраам-ага после двух стаканов «пунджа» заметно оживился и, заговорив о падении торговли, перешел к политическим новостям. Авторитетным тоном он сообщил, что русский царь намерен разом покончить с горцами, что все готово — и не сегодня-завтра они захватят Шамиля и в Дагестан назначат Аргутова. Постепенно переходя к другим вопросам, он добрался наконец и до будущности своего крестника.

— А знаешь, Багдасар,— молвил он, осушая третий стакан «пунджа»,— с того дня, как русские ступили на нашу землю, все изменилось. Старые порядки полетели вверх тормашками. Теперь необходимо ученье. Смотри же, сынка не оставь неучем, не то будешь очень жалеть. В наше время неграмотный — это полчеловека, да что я говорю — четверть человека.

— Эх, мы еще посмотрим, что из него получится! — процедил Багдасар.

Ему сильно хотелось прибавить словцо покрепче, но, вспомнив, что тут сидит Абраам-ага, он прикусил кончик уса.

— Каков бы там ни был Вардан, он прежде всего должен знать закон. Ежели не будет знать закона — цена ему грош...

— Конечно,— вмешался отец Амбарцум,— как можно без закона... Ага-Абраам,— переменял он разговор, бросив лукавый взгляд на присланную крестным отцом сахарную голову,— какова цена на сахар в этом году?

— Очень дорогая!

— Вот те раз! Выходит, что таким беднякам, как я, не придется отведать чаю?

Багдасар понял намек батюшки и пробурчал про себя: «Взять бы да выдрать тебе бороду, бесстыдник!»

Отец Амбарцум пожелал новокрещеному долгой, долгой жизни, здоровья, славы и чести, горы золота-серебра

и всяких иных богатств. Спрятав в карман «плату за рукоцелование», он ушел. За ним поднялся Абраам-ага, повторяя:

— Смотри, не оставь дитя неученым, послушай меня.

По словам знатоков, Вардан не был похож ни на мать, худую с добрыми глазами женщину, ни на отца, плотно-го, угрюмого, носатого человека с толстой красной шеей. А будто походил он на дядюшку по материнской линии, Мартироса Ахвердяна, три года назад покинувшего Зилзил. Насколько это верно — трудно сказать, но одно в мальчике поражало всех: цвет его глаз. И точно, это был не какой-то определенный цвет, а невиданная, странная смесь желтого и зеленого. Эти глаза порою глядели так остро и властно, что чудилось: ребенок вот-вот бросится на тебя, как разъяренная кошка.

Гюльюм с довольной улыбкой говорила, что вряд ли когда-нибудь ребенок сосал так жадно материнское молоко, как Вардан. И в самом деле, когда Вардан припадал к материнской груди, он уподоблялся пиявке — ненасытной, жадной, раздувшейся. Вардан высасывал молоко до последней капли. И потом начинал мять деснами материнскую грудь с такой силой, что от боли несчастная подымала крик и торопилась высвободить грудь из его маленьких, но цепких коготков. Нередко эти коготки вонзались в материнскую грудь, оставляя на ней кровавые следы. А между тем глаза его, желтые, как у тигра, приникали к материнским глазам неподвижным, стеклянным взглядом.

На одиннадцатом месяце Вардана отняли от груди.

— Слава богу, теперь я хоть немного наберусь сил: этот мальчик вместе с молоком высосал из меня кровь,— облегченно вздохнула мать.

— Дай бог, чтобы из него вырос парень, способный сосать кровь из любого, кто встретится ему на пути, тогда я скажу: молодец! — брякнул Багдасар.

— Не говори так, не говори, ведь все люди будут тогда шараться от него!

— Плевать мне на людей! Кто они такие, отвечай? Ящерицы, да, да, именно ящерицы. Кто половчее, тот должен давить их!

— Вот за это тебя все свиньей и прозвали,— осмелилась возразить, быть может, впервые в жизни Гюльюм.

— Помалкивай, негодница! — взбесился Багдасар. — С того дня, как оценилась мальчишкой, ты много воли дашь языку. Ну да, я им не люб, я не баран, чтобы меня стригли. Пусть они и сына моего не любят, лишь бы боялись его и в ножки ему кланялись...

Трехлетний Вардан был живым, румяным ребенком с толстыми, сочными губами и белыми, едва прорезавшимися зубками. Ему позволяли выходить на улицу с сестрой Мариам, которая была пятью годами старше и могла присмотреть за маленьким братом. По наказу отца она сажала Вардана на плечи, выносила на улицу, играла с ним, не подпуская к нему уличных ребят. Однако Вардан как будто не унаследовал нрава отца. Он норовил подружиться с однолетками и очень любил игрушки; увидит у кого-нибудь заманчивую безделушку, сейчас же кинется вырывать. А сам он никогда ничего не давал другим, даже на минуту.

Однажды Багдасар принес ему с рынка плоский ящичек с узким длинным отверстием на крышке. Отдавая его сыну, он молвил:

— Вот, бери, сколько ни попадет тебе в руки денег, опускай в эту щелку.

Багдасар почти каждый вечер опускал в ящичек медную или серебряную монету, накапливая для сына «капитал».

— Слушай, сынок! — твердил он при этом каждый раз. — Главное на свете — деньги. Не нужно ни друзей, ни родни, ни братьев, ни сестер, ни людской чести, ни любви — только деньги! В деньгах вся сила — да будет благословен тот, кто их чеканит!

Вардан, постоянно слушая такие наставления, постепенно постигал их смысл.

Прошло немного времени, и мальчик полюбил копилку больше всех игрушек, даже больше родичей. Он ласково прижимал свое сокровище к груди, как любящая мать

дитя. Затем Вардан подносил ящичек к уху, тряс его, прислушиваясь к приятному звону металла.

В такие минуты его детское личико уже не казалось невинным, в глазах вспыхивал алчный огонек. Горе тому, кто коснулся бы его сокровища — взвизгнув, как крыса, он бросился бы на него, норовя выцарапать глаза.

Глядя на этого едва начинавшего лепетать ребенка с прижатым к груди ящичком, можно было подумать, что он уже с пеленок усвоил злую мысль, что деньги — стержень мира, что их и только их надо цепко хватать руками.

Багдасар в глубине души радовался, подмечая в сыне эту врожденную тягу к деньгам, — так радуется посредственный артист, увидевший в своем наследнике проблески гения. Он поощрял в сыне эту страсть, старался развивать и укреплять ее. Порою Багдасар давал деньги сыну, чтобы тот сам клал в ящичек. И ребенок, прежде чем опустить монету, долго забавлялся ею, перебрасывая из одной руки в другую, катая по полу, точно кошка, играющая с мышонком перед тем, как задушить его.

— Нет, из этого малыша выйдет дельный паренё, — говаривал Багдасар Гюльюм в присутствии сынка.

Когда мальчику минуло шесть лет, отец как-то вечером решил вскрыть ящичек. Лезвием ножа он осторожно снял крышку. На пол посыпались серебряные и медные монеты. Глаза Вардана зажглись беспредельной радостью, словно при виде яркой иллюминации. Он невольно вскрикнул:

— Они мои! Они мои!

И обеими руками вцепился в монеты, как хищник в добычу. Несколько монет откатилось в угол, Мариам поспешила их поднять и хотела сунуть в карман, но Вардан схватил ее за руку и так укусил, что бедняжка от боли закричала, расплакалась и выронила деньги.

Багдасар пересчитал содержимое копилки — получилось тридцать девять рублей.

— А теперь подумаем, как нам поступить с этими деньгами, — сказал он. — Уступи, Вардан, их мне под проценты — десять копеек в год за рубль. Ах, да ведь ты еще не знаешь, что такое проценты! Вот послушай: в этом году ты, скажем, даешь мне десять рублей...

И Багдасар, обстоятельно растолковав сыну, что такое проценты, добавил:

— Понял?

— Понял,— ответил Вардан,— но своих денег я под проценты не дам. Положи их обратно в копилку и отдай ее мне.

Багдасар закрепил крышку и посоветовал Вардану продолжать копить деньги.

Теперь мальчик свободно бегал по улицам, дворам и крышам. Мариам уже не следила за ним, да и не могла уследить: ей шел одиннадцатый год, и по местному обычаю она должна была затвориться дома.

Багдасар нанял для присмотра за Варданом слугу-лезгина. Большую часть дня ребенок проводил с ним — на кухне, во дворе, на улице.

Осман — так звали лезгина — из дощечек мастерил ему игрушки, а порою рассказывал всякие были и небывлицы. Вардан усаживался Осману на плечи и требовал, чтобы тот катал его. Он безжалостно колотил несчастного Османа ножками по животу и бокам, стегал его хлыстом, воображая, что сидит на коне. Гордый горец, в душе негодуя, с молчаливой улыбкой должен был сносить оскорбления несносного мальчика, иначе он лишился бы трехрублевого жалованья в месяц и куска хлеба. Осман тоже имел сына — ровесника Вардана — и двух дочек, оставшихся в Дагестане с женой. Вспоминая детей, Осман со вздохом потирал лоб, уже изборожденный морщинами. Иногда, устав от игры с маленьким деспотом, он отпускал его к соседским ребятам, издали зорко наблюдая за ним. Вардан дружил главным образом с теми, кто отличался тихим нравом и послушно исполнял его волю. Золотистый пояс, сатиновый архалук, ярко блестящие сапожки Вардана вызывали у товарищей невольное уважение, смешанное с завистью. Нередко он бесцеремонно вырывал у того или другого мячик, воздушного змея или бабку, ругался и дрался. А когда на него осмеливались поднять руку, с визгом бежал к Осману. Случалось, что и Вардан иногда бывал не чужд великодушия. В эти редкие минуты он раздавал товарищам кусочки халвы с воробьиный клюв или яблоко, разрезанное на десять долек.

Вардан всегда носил при себе деньги и хвастал ими перед соседскими ребятами.

В начале лета Осман, не выносивший жары, уехал на родину, пообещав вернуться осенью. Вардан остался без

защитника и стал держаться в стороне от сверстников, ушел в себя и еще больше пристрастился к своей копилке. Теперь он думал только о своем сокровище. Правда, отец почти каждый вечер опускал в копилку монету, но ведь пройдет много времени, пока она наполнится. И вот Вардан нашел способ зарабатывать деньги.

Однажды вечером, когда Багдасар был занят какими-то счетами, а Гюльюм шила для Вардана белую шелковую рубашку, из другой комнаты выбежала Мариам, крича:

— Посмотрите-ка, что делает Вардан!..

Супруги подошли к двери и увидели, что Вардан стоит в углу перед зажженной свечкой и пересчитывает горсть серебряных и медных монет. Он до того ушел в это занятие, что даже не заметил появления родителей. Его детский лоб наморщился, губы сжались, руки тряслись от волнения. Пересчитав деньги, он приложил руку ко лбу и уставился в потолок — чудесный сюжет для художника! Потом начал снова считать и вновь приложил руку ко лбу: было ясно, что он не тверд в счете и сбивается. Чем прилежнее Вардан считал, тем сильнее тряслись у него руки. Уши и щеки его багровели, дыхание участилось. Этот восьмилетний мальчишка в тишине, перед тусклым огоньком свечки, был похож на легендарного скупца, который в удивлении глухими почками считает свои сокровища, восторгается звоном золотых монет и безмолвно беседует с ними.

— Чудо, а не мальчик! — шепнул Багдасар, ухватив жену за локоть.

Он осторожно подошел к сыну. Вардан поднял голову и тотчас, обеими руками прикрыв деньги, завопил:

— Не дам, не дам, никому не дам!..

— Откуда эти деньги? — спросил отец.

— Не скажу, ты побьешь меня.

— Из копилки вынул?

— Нет, ей-богу, нет, это заработанные деньги.

— Заработанные? Как же это ты зарабатываешь деньги? Отвечай — не то избыю!

Вардан был вынужден открыть тайну. Мать почти каждый день посылает его в ближние лавки покупать разную мелочь: мыло, свечи, синьку, спички, мадзун. Вардан каждый раз ухитрялся утаивать копейку-другую — и вот сколько набралось!

— Умница, умница! — повторял восхищенно Багдасар.

— Выходит, ты воришка? — сказала Гюльюм. Она решительно не соглашалась с мнением супруга.

— Ничуть я не воришка. Это торговля, — ответил Вардан совсем серьезно. — У лавочника я покупал подешевле, а тебе отдавал подороже. Так делают все торговцы.

— Съела?! — воскликнул Багдасар, совершенно очарованный ответом сына.

И, поцеловав его в лоб, снова повторил:

— Умница! Умница!

4

Осенью Багдасар решил определить Вардана в школу. Однажды утром мальчика разбудили пораньше. Мать накормила его сытным завтраком — яйцами, маслом, медом — и, благословив, отправила с отцом.

Всю дорогу Багдасар наставлял Вардана, толкуя ему о пользе ученья.

— Еидишь ли, сынок, — внушал он, — мир наш, как эта чинара. Люди — черви на ней, сидят себе и питаются листвою. Бывают черви похрабрее — они едят больше и чаще. А есть и такие, что с места не двинутся: такие с голода дохнут. Чтобы жрать — нужны зубы. Ум человека — его зубы. Ученье — точило, — запомни ты это хорошенько! — точило для зубов. Ежели неученый умник стоит пятерых глупцов, то грамотный умник стоит десяти неученых умников. Обмануть грамотея очень трудно, а он легко может обманывать неграмотных. Вот теперь я отдаю тебя в школу. Знай, сынок, придется мне раскошелиться, а это дело нелегкое. Зато и похвалю же я тебя, ежели ты за два-три года научишься жарить порусски и строчить прошения, как наш консистерский секретарь Каграман-бек. Ох, перевернуться бы его отцу в могиле — третьего дня, покупая у меня ситец, он стибрил тринадцать копеек!

Так вот, заруби себе на носу: хорошо, когда человек грамотен. Окончишь ученье, я тебя с братом Абрамааги, Исраелом, отправлю в Нижний закупать товары. Тогда-то уж я обеими руками вцеплюсь в глаза нашим недругам. Чтоб их!..

Вардан внимательно слушал отца и, крепко держа его за руку, еле поспевал за ним. Время от времени Багдасар, чтобы сын лучше запомнил то или иное наставление, так сжимал ему руку, что малыш готов был вскрикнуть от боли.

— В школе,— продолжал отец,— ты ни с кем не ссорься, но и ни с кем не дружи. Занимайся прилежно своим делом. От товарищей пользы никакой, а вред может быть, особенно от детей бедняков: один попросит перо, другой — бумаги и чернил. А ты им, сукиным детям, ни-ни, понимаешь?! Ну вот и дошли, поглядим, что ждет тебя...

Как раз в эту минуту Вардан дважды чихнул. Он уже знал, что чихнуть два раза подряд — к добру, и он пальцами заткнул себе ноздри, чтоб удержаться от третьего чиханья.

— Слава богу! — довольно вздохнул Багдасар.

Школа находилась в верхней части города, в русском квартале. Это было незатейливое здание в полтора этажа, выбеленное снаружи. От соседних домов оно отличалось только отсутствием железных решеток на окнах, вероятно потому, что внутри не было ничего заманчивого для воров.

Перед тем как войти, Багдасар своим пестрым платком утер Вардану нос. Отец и сын вошли в просторный двор, обнесенный деревянным забором. Уроки еще не начались, ученики резвились на дворе. Возле кухни инспектора разгуливала стайка гусей и пара индюков, которые важно вытягивали шеи на манер уездных чиновников. Двe-три утки в водоеме ловили огуречные и дынные корки. Завидя незнакомцев, индюк подбежал к ним, вытягивая шею, точно требуя отчета. Багдасар длинными рукавами чухи отогнал негостеприимную птицу, крепко выругавшись.

Ученики сейчас же обступили повичка.

— Мартын Багданыч чай кушает,— сказал один из них.

— Тебя не спрашивают! — рассердился Багдасар и, закинув за шею рукава чухи, уселся на скамейке перед школой.

Ученики обступили их полукругом и принялись разглядывать Вардана с ног до головы. Вдруг Багдасар поманил рукой ученика, стоявшего в отдалении.

— Малыш, малыш, а ну подойди, я погляжу на тебя. Мальчик подошел, покусывая рукава архалука.

— Не внук ли ты носильщика Огана и сын Асатура, что торгует железом?

— Да,— ответил мальчик застенчиво.

— Ого, у тебя серебряный пояс! Ай-яй-яй! Ну да, ведь твой отец купец, перевернуться бы костям его отца в могиле!.. И ты ученым заделался?.. Ой-ой, ты озаришь светом весь мир! Как тебя зовут?

— Левон.

— Ого, да, видно, ты из ноздри царя Левона выскочил!..

Раздался взрыв смеха.

Наконец школьный сторож Андреас возвестил, что Мартын Багданыч идет. Мгновенно двор опустел — ученики разбежались по классам. Багдасар поднялся, спустив рукава чухи в знак уважения.

Мартын Багданыч был выше среднего роста, рябой, с подстриженными усами и бородой. На правой щеке у него виднелся след зажившей раны, величиной с пятак, придававший его лицу суровость. Трудно было определить возраст этого человека: борода с проседью, зубы подгнили, но волосы на голове совсем черные, в походке и в голосе юношеская бодрость. Общипанные усы инспектора отливали желтизной, вероятно потому, что он курил самокрутки без мундштука,— на это указывали желтые пятна на указательном и среднем пальцах.

Вошел он в класс с опущенной головой — можно было подумать, что невидимая рука щекочет ему шею.

— У него на затылке шишка,— шепнул Вардан отцу.

— Молчи! — буркнул Багдасар.— Поклонись, паршивец!

Отец и сын тотчас же последовали за инспектором.

Сперва Багдасара немного смутили его желтые пуговицы, но, вспомнив, что два года назад он продал ему три аршина синего сукна на мундир, купец кашлянул и пробормотал: «Прохвост!»

— Добро пожаловать,— приветствовал его инспектор.— Что скажешь? Сына привел? Отлично! Обучим его. Мальчик, кажется, смирный. Писать-читать не умеет? Ничего, скоро научится...

Пока шел этот разговор, ученики исподтишка шалили: корчили смешные гримасы, толкались, щекотали друг друга, запускали бумажные шарики. Особенно проказничал ловкий, смуглый кривоносый мальчик. Стоило инспектору отвернуться, как он уже вскакивал на плечи кому попало или же, уткнувшись головой в парту, неистово дрыгал ногами.

Переговоры о Вардане давно бы кончились, если бы Мартын Багданыч не поинтересовался по дружбе частными делами Багдасара. Покончив и с этим, он пожаловался на чирей.

— Брагец, вот уже неделю я не сплю. Колет, как иглой. Цыц, вы, мерзавцы! Голову не могу поднять.

— Я знаю хорошее средство,— ответил Багдасар.— Возьми луковицу, разрежь пополам, намажь козьим салом, хорошенько поджарь на огне, когда все это разогрется, положи на шишку и крепко-накрепко завяжи. Тогда и боль кончится и опухоль спадет.

В эту минуту кривоносый ученик, делавший на парте стойку, потерял равновесие и с шумом опрокинулся навзничь.

Раздался громкий хохот.

— Кто это?—воскликнул Мартын Багданыч.—Опять он, этот мерзавец из мерзавцев, Мкич Чахмахчян. А ну-ка, поди сюда, гадюка, змеиное отродье!..

Кривоносый Мкич, впившись горящими глазами в инспектора, не двигался с места. Он хорошо знал, зачем его зовут. Мартын Багданыч, одной рукой держась за шею, а в другой сжимая линейку, пошел к нему. Мкич пустился наутек. Инспектор погнался за ним, нагибая шею. Ученик вскочил на парту. Мартыну Багданычу удалось ухватить его за полу архалука. Однако Мкич и тут нашелся: оставив архалук в руках инспектора, он выскочил через окно на улицу.

— Сейчас же поймать этого негодяя! — приказал Мартын Багданыч.

Несколько учеников бросились исполнять приказание.

— Ну вот, посмотрите, господин Багдасар, на этих чертей,— пожаловался Мартын Багданыч, которого корчило от боли.— Проклятые! Этот Мкич — сын нашего сторожа Андреаса. Не раз уже я его выгонял и принимал обратно. Что делать, несчастный отец в ноги кланялся, умолял,

просил. Нет уж, зверя как ни учи, а человека из него не выйдет. Ах да, как бишь вы изволили сказать? Луковицу зажарить на огне, козье сало, крепко завязать. Спасибо. Молчать, проклятые ослы!..

Тут ввели Мкича: за одну руку его держали ученики, за другую отец.

— Мартын Багданыч,— сказал Андреас,— для него одна острастка — розги, отлупи его как следует по мягкому месту; он мне всю душу вымотал.

В то время телесное наказание в казенных школах еще не было запрещено, и Мартын Багданыч с великим удовольствием пользовался своим правом, вполне уверенный, что в деле воспитания порка самое надежное средство. Он отсчитал на ладонях Мкича двенадцать ударов линейкой, приговаривая: «Мразь — раз, мразь — два, мразь — три, осел — четыре, щенок — пять и т. д.»

Мальчик с ревом, пряча руки под мышки, ползл на свое место. Однако не прошло и двух минут, слезы еще не высохли у него на глазах, а он уже, накинув архалук, по-прежнему гримасничал за спиною Мартына Багданыча.

На Вардана порка произвела сильное впечатление. Про себя он решил: никогда не попадаться инспектору под руку.

5

В первом классе Вардан проявил редкие способности. Научился читать по-русски и по-армянски и немного писать. Каждый вечер он при отце повторял уроки, и тот хвалил сына. И вдруг неожиданно мозг мальчика заупрямился, как своевольный осел на середине реки. Но так как Вардан от природы был настойчив, он вооружился бичом всемогущего терпения и принялся понукать мозг, безжалостно стегая его. То, что способным ученикам давалось без труда, Вардану стоило невероятных усилий. Лишь один предмет давался ему легко — арифметика. Еще дома, то и дело считая свои деньги, Вардан недурно усвоил четыре правила арифметики.

Соседом Вардана по парте слева был Минас, сын оружейника Карапета, светловолосый, безобидный, добрый и способный мальчик с болезненным лицом. Одевался он

очень бедно: архалук из синего полотна на груди весь в заплатках; штаны того же цвета были так коротки, что поверх грубых шерстяных чулок выглядывали голые худые колени. Подпоясывался Минас плотным шерстяным кушаком — единственной вещью, защищавшей его от холода. Однако даже в лохмотьях он казался опрятнее других учеников. Одноклассники его любили, потому что он ни перед кем не лебезил, ни перед кем не заискивал и никому не отказывал в помощи, если мог чем-нибудь помочь. Свой скромный завтрак—хлеб с сыром—он никогда не съедал, не поделившись с кем-нибудь из соседей. С первого же дня Минас помогал Вардану готовить уроки. Поэтому Вардан подружился с ним и, казалось, полюбил его, разумеется в той мере, в какой он был способен на подобное чувство.

Полной противоположностью Минасу был сосед Вардана справа, Мартирос, сын шапочника Атанаса. Плутватые глаза под низким лбом, нос, похожий на вороний клюв, неприятный рот изобличали его лицемерную, завистливую и ехидную душонку. Любимейшими развлечениями Мартироса было щипать товарищей, изводить их, ябедничать начальству об их невинных проказах. В первый же день он два раза ущипнул Вардана, как бы испытывая — выдержит ли новичок соседство с ним? Вардан промолчал, но решил держаться начеку.

Теперь Багдасар велел сыну ежедневно после обеда приходить в лавку. Ему хотелось постепенно приучить Вардана к торговле.

Лавка помещалась в нижней части города, в крытом караван-сараяе, сравнительно небольшом помещении, разделенном надвое. В задней половине хранился товар в тюках, в передней помещалась сама лавка. Здесь товар лежал на полу, у стен: в те блаженные времена в Зилзиле не имели представления о современных полках. Обычно Багдасар усаживался посредине лавки на тюфячке или на корточках по-персидски, с аршином в руке, склонившись над поломанными счетами, напоминавшими зубы старика: многих костяшек не хватало. Вардан сидел у дверей на камне. При появлении покупателя он мигом вскакивал и, скрестив руки, ждал приказания отца. Вардан помогал Багдасару вскрывать тюки и завертывать проданный товар, подметал лавку, приносил покупателям во-

ду, подавал огонь для трубок и вообще оказывал всякие мелкие услуги.

Вскоре Багдасар поручил сыну продать рогожу и веревки от недавно вскрытых тюков. Часть выручки Вардан должен был отдать отцу, другую опустить в свой ящик. В этом деле Вардан выказал удивительные торговые способности. Завидя издалека покупателя, он со всех ног бросался к нему, по лицу угадывая, какой товар ему нужен. Свои рогожи, веревки и ящики Вардан расхваливал с редким жаром и усердием.

По вечерам Вардан закрывал лавку и, захватив ключи, возвращался домой с отцом. В эти минуты на лице мальчика появлялась озабоченность и серьезность, отличавшая его от беспечно сновавших по улицам ребятишек. Вардан сознавал свое превосходство: завидя сверстников, он начинал неистово звенеть ключами. Дома он часто расспрашивал отца о качествах того или иного товара, и купец восторгался, видя в сыне такую пытливость и любознательность.

Вскоре Вардан до того полюбил коммерцию, что начал в школе продавать ученикам все, что мог: орехи, каштаны, вареный горох, халву и т. д. Иногда Вардан, искрошив сухари, смешивал их с сахаром и продавал по копейке за щепотку. Торговля его занимала гораздо больше, чем школьные игры. Кривоносый Мкич издевался за это над ним. Неутомимый проказник сделался для Вардана «божьей карой». И чего только он не придумывал, чтобы подразнить купчика! Мкич вырывал у него из рук товар, убегал, забирался на школьную крышу, усаживался с краю, свесив ноги, и на глазах у Вардана уплетал его же «добро». Порой он собирал других учеников и делил с ними добычу. Потом каждому выдавал по бумажке с надписью «копейка» для расплаты с Варданом. Ученики смеялись и, прыгая вокруг Вардана, дразнили его:

— Купец, бери деньги за свой товар!

Но и это не обескураживало Вардана. Вопреки родительскому внушению, он чувал, что вражда к людям не приносит пользы и гораздо выгоднее дружить с ними. Поэтому Вардан старался ни с кем не порывать добрых отношений. В то же время он не забывал нанесенных ему обид и при первом же удобном случае по-своему мстил за них. Однажды внук седельника, лохматый Левон, за-

был взять с собой завтрак и, мучимый голодом, попросил у Вардана кусок хлеба и сыра. Когда-то Левон поднял Вардана на смех, и с тех пор тот затаил против него злобу. Вардан разломал свой хлеб на две части, положил на каждую по ломтю вкусного сыра и сказал: «На, бери». Не успел Левон протянуть руку, как Вардан швырнул хлеб в лужу: «Теперь бери и ешь!» — усмехнулся он и хладнокровно принялся уплетать свою порцию на глазах у голодного товарища.

Однажды Вардан принес в школу на продажу десять деревянных ложек. Смастерил их Осман, мастер на все руки. Чтобы расположить к себе кривоносого Мкича, Вардан подарил ему одну ложку: первый подарок, сделанный им в жизни! За это Мкич согласился продать остальные ложки.

— Кому ложку для мадзуна? Кому ложку для мадзуна? — орал он, бегая по двору. — Кому нужна ложка — две копейки штука!

За полчаса он продал все ложки, а выручку отдал Вардану.

В день пасхи Багдасар послал Мартыну Багданычу обещанную голову сахару и фунт чаю, прибавив полдюжины коленкоровых носовых платков. Потом он соблаговолил лично посетить инспектора и поздравить его с праздником — это был единственный визит, сделанный им в тот день, не считая, разумеется, посещения Абрама-аги. Мартын Багданыч встретил гостя с глубочайшим почтением, но по-дружески упрекнул: свидетель бог, он бы не принял этих подарков, если бы не боялся обидеть Багдасара-агу.

Они заговорили о Вардане:

— Люблю я его, как свет очей моих. Мальчик очень покорный, сразу видно, что из хорошей семьи. До сих пор я ни разу на него руки не поднял. Не утаю, мне иной раз хочется заставить малышей попищать, а старших упрятать в карцер. Но ваш очень трудолюбив, клянусь Петром и Павлом. Курите, пожалуйста, табак отменный, настоящий дюбек из Самсуна. Мне присылает его отец одного из учеников. Сын у вас прекрасный, да хранит его господь. Никогда не поссорится с товарищами. Если драка — отойдет в сторону и смотрит. Пусть даже режут друг друга — он ни-ни. Ну, а ежели его тронут, сразу ко мне с

жалобой. Нравится вам табак? Отличный! Да, чуть не забыл, ведь я избавился от чирея. Вардан, вероятно, говорил вам — средство ваше исцелило меня за три дня. Нет, Вардан мальчик отличный. Знаете, он уже торговать начал. Ну да! Продает ученикам лакомства, зарабатывает себе денежки. Клянусь, такого малыша мне в жизни не приходилось видеть.

Провожая гостя до дверей, инспектор как бы невзначай спросил:

— Не найдется ли у вас синего кастора?

— Найдется.

— Пожалуйста, отрежьте мне кусок для брюк и пришлите с Варданом. Я, конечно, уплачу наличными. А то брюки у меня сзади совсем протерлись. Хотя это и неудобно, посмотрите сами!..

Мартын Багданыч, повернувшись, приподнял фалды муцира и показал изношенные места.

— Пришлю непременно, — ответил Багдасар, шепнув про себя:

«Чтоб тебе пусто было!»

6

Однажды добрый Минас на перемене спросил Вардана:

— Почему ты не приходишь ко мне?

Вардан помедлил с ответом. Было стыдно сознаться, что отец запретил ему дружить со сверстниками, тем более с сыном какого-то оружейника.

— Приходи завтра, — пригласил Минас. — Придешь?

— А что дашь, если приду?

— Что дам? — смутился Минас, не зная, чем можно привлечь Вардана. — Ты мадзун любишь? У нас хорошая корова, се доит мама. Каждый день мы кушаем мадзун, молочный суп, молочную кашу. Ты любишь это?

— Я люблю сливки.

— Сливки? Мать не дает нам сливок. Из них она делает масло и продает его. Но я попрошу, чтобы она оставила тебе сливок. Придешь?

Вардан не удержался:

— Но ведь я тебе не ровня.

— Почему?

— Ну, кто ты и кто я? Мой папа говорит, что сын купца не должен дружить с сыном ремесленника.

— Да? — произнес Минас простодушно и, рассматривая золоченый пояс и блестящие сапожки товарища, покраснел. — А я не знал. Разве об этом написано в евангелии?

— При чем тут евангелие?

— Как же, отец каждый вечер читает его и говорит, что все на свете происходит по евангелию или библии. Значит, ты к нам не можешь прийти? Жаль!

Гардану не хотелось обижать своего добродушного соседа по парте, каждый день помогавшего ему готовить уроки, и он как бы невзначай спросил:

— А у вас и теленок есть?

— Конечно. Очень красивый и откормленный теленок. Я каждый день после обеда выгоняю его за город пастись. Там он жует так много всяких трав, что живот у него вздувается, точно два бурдюка.

— Завтра воскресенье — лавка закрыта, я подумаю, может быть и приду.

— Значит, я скажу маме, чтобы она оставила тебе сливки.

— А меня не позовешь? — вмешался завистливый Мартирос, слышавший этот разговор.

— Ты и без приглашения придешь, — усмехнулся Минас.

— Пускай завтра он не приходит, — шепнул Минасу Вардан, всей душой ненавидевший Мартироса.

— Чего бормочешь! — вскипел завистливый мальчик, ткнув его в бок согнутым большим пальцем. — А-а, понимаю! Я неугоден, потому что не купеческий сынок, да? Мой отец хоть и шапочник, но он выше, чем твой пра-пра-пра-дедушка. А знаешь ли ты, какие важные люди бывают у нас в мастерской? Вчера сам околоточный заходил, понимаешь?

Вардан громко рассмеялся.

Домик оружейника Карапета стоял на окраине города, за ним виднелось лишь несколько изб. В домике две комнаты, тут же, неподалеку, хлев и пекарня, служившая в то же время и кухней.

Вардана встретили с большим почетом.

Карапет, чистивший наждаком длинный ружейный ствол, отложил в сторону смертоносное оружие и встал, протягивая гостю загорелые руки. Его жена Тагуи обняла и поцеловала Вардана: «Да хранит господь тебя, сынок, ради твоей матери». Это была женщина лет под тридцать, светловолосая, чернобровая, с красивыми глазами. Соседки вечно укоряли ее за то, что она не красится хной, как они: как знать, может быть, природный вкус подсказал ей, что светлые волосы резче оттеняют выразительность темных глаз и бровей.

Карапет взял длинный кинжал и принялся чистить его так усердно, как в опере «Риголетто» разбойник Спарафучиле чистит свой нож.

— Багдасар-ага — один из столпов нашего города, — сказал он, — наш долг почтительно относиться к нему. Жена, дай мальчику чего-нибудь покушать.

Карапет любил угощать ровесников сына. Почти каждый вечер, возвращаясь из мастерской, он раздавал уличным ребятишкам разные лакомства. И ребяга любили этого круглолицего, щекастого и большеротого человека, который в сорок лет сохранил детское простодушие. Он был не только добр, но и терпелив, ласково обращался с женой, обожал детей. В грамоте он смыслил, потому что был из поповичей. Вечерами в свободные часы он громко читал по складам евангелие или библию, выделяя каждое слово.

Пришел Мартирос и, увидя, что Вардан стоит подле Карапета, тотчас же стал соображать, как бы подкрасться и ущипнуть своего недруга. Тагуи подала сливки и свежий чурек, наломанный руками на куски (ножом резать хлеб считалось грехом).

— Я тоже хочу сливок! — запищала в углу ее дочка, трехлетняя Эрикназ.

Вардан посмотрел в ее сторону и громко засмеялся. Сестра Минаса с годовалым братом Самсоном уписывали мадзун из одной тарелки. Руки Самсона, еще не изучившие самого короткого пути к желудку, прежде чем донести мадзун до рта, оставляли жирные следы на носу, на щеках, на лбу и на ушах. Ребенок до того измазался, что на лице остались не запачканными только блиставшие, как черный янтарь, глаза.

— Женушка, да ты полюбуйся на свою обезьяну,— сказал Карапет, улыбаясь.

— Ах, чтобы тебя черти забрали! — воскликнула Тагуи и, подойдя, слегка шлепнула малыша по мягкому месту.

Она убрала тарелку. Самсон, растянувшись на полу, поднял невероятный вой. Можно было подумать, что он угодил в кипяток. Вдоволь накричавшись, он встал, бросился на сестру и начал кусать ей шею, лицо и плечи. Покончив и с этим, он опустился на четвереньки и заголосил вовсю. Бог весть, чего бы натворил этот озорник, если бы мать не вытолкнула его в соседнюю комнату, изрядно при этом отшлепав.

Мячиком вкатился Мкич.

— Добрый день, мастер Карапет, отец тебе шлет целый мешок приветствий! — крикнул он задорно. — Как поживаешь? А для меня ты приберег мадзун, Минас? Ого, да тут и купец Вардан! Здравствуй, ага, ты что же, товар принес или деньги в рост отдавать? Эй, никудышный, и ты здесь? — обратился он к Мартиросу, уже успевшему раз одиннадцать ущипнуть и раз девять пихнуть Вардана.

— Не твое дело! — буркнул Мартирос.

— Что ты сказал? Не мое дело? — крикнул Мкич и в тот же миг вскочил. — И чего ты, пустомеля, лезешь туда, где на твою харю и смотреть никто не хочет? Ого, посмотрите, сливки кушает! Тетя Тагуи, а ну, отойди, — воскликнул шалун и, схватив ружье, приставил дуло к груди Мартироса.

Мартирос закричал, побледнел и спрятался за спиною Карапета.

— Не бойся, детка, ружье не заряжено, — успокоил его оружейник и поспешил отнять у Мкича страшное оружие. — Ну и ну, Мкич! Да ты не ребенок, а огонь!

Мкич занял место Мартироса и принялся быстро уплетать сливки. Покончив с едой, он стал упрашивать Карапета рассказать им про атамана разбойников Муллу-Гани, который в ту пору держал в страхе весь Зилзильский уезд. Карапет рассказывал про подвиги этого атамана так ярко и красочно, что слушатели замирали от страха.

Мгновенно Карапета окружили любопытные мальчики, готовые глотать каждое слово с такой же жадностью, с какой глотали сливки.

7

— Мулла-Гани — да обрушит господь его кров! — это, дети мои, не человек, а душегуб,— начал оружейник Карапет, проводя рукой по усам.— Не так давно он опять отрубил семьдесят голов, точно головки лука.

После такого вступления у ребят мурашки пробежали по коже. Дети наострили уши, а больше всех Мкич.

— С наступлением сумерек караван купца Абдурахмана остановился у горы Қзыл-даг, неподалеку от родника,— продолжал Карапет, теребя ус.— Сняли груз с двадцати пяти верблюдов, тридцати лошадей и с девяноста ослов. Сняли и пустили скотину пастись. Абдурахман приказал слугам сварить пилав. Не успели промыть рис, издалека показался верховой. Абдурахман, прикусив язык, хватается за ружье, делает шаг вперед и кричит: «Эй, кто едет?» — «Гость божий»,— раздается в ответ. «Божьему гостю уготовано место в моем сердце. Салам алейкум!» — «Алейкум салам! Абдурахман,— говорит гость,— я голоден, дай чего-нибудь перекусить...» Абдурахман, голубчики мои, тотчас велит подать пилав. Верховой сходит с коня. Дальше — больше, и выясняется, что он купец, едет в Габристан закупать овец. Поели, ложатся спать. В караване было тридцать пять человек. Не успел Абдурахман сомкнуть глаза, раздается топот. Он вскакивает и будит слуг. Туда-сюда, а верхового и след простыл. Вот ежели вы молодцы, угадайте — кто это был?

— Дьявол,— ответил Мартирос.

— Нет.

— Святой Саркис,— сказал Минас.

— Дуралей,— заметил Карапет.

— А я скажу кто — Мулла-Гани,— крикнул Мкич.

— Молодец, угадал! Он самый.

Мальчики в один голос ахнули.

— Теперь слушайте дальше,— продолжал Карапет, кроша сухие листья табака для трубки.— Это и был Мул-

ла-Гани. Оказывается, он примчался, чтобы выведать, сколько в караване народу с ружьями и много ли добра.

— Ну и храбрец же он! — крикнули дети в один голос, только Мкич промолчал.

— Да, это лев, а не человек. Так вот, как только Мулла-Гани пронюхал, что в караване товару на несколько тысяч золотом, он в самую полночь вскочил на коня, отправился в лес, собрал товарищей и назад...

— А дальше, а дальше!..

— Первым делом привязал он Абдурахмана к дереву, потом поотрубал слугам головы, а там набросился на остальных: в один час пятнадцать голов долой, у одиннадцати распорол животы и выпустил кишки, тридцать шесть человек пристрелил, троих разрубил пополам и бросил собакам, двоих на куски искромсал, а десятка два-три замучил до полусмерти — кому ухо прочь, кому нос, кому язык.

— Чем, мечом или кинжалом? — поинтересовался Мкич.

— Саблей.

— Пятнадцать, одиннадцать, тридцать шесть, двадцать и тридцать,— повторял про себя Вардан.— Дядя Карапет, получится больше ста человек, а ты говорил, что в караване было тридцать пять.

— Ошибаешься, сынок!— с жаром отозвался Карапет; он и глазом не моргнул, уверовав в свою выдумку.

— Дальше, дальше,— повторял Мкич нетерпеливо.

— А дальше он всех обобрал и пустил нагишом. Товарами навьючил коней — и айда...

— Неужели в караване ни одного смельчака не оказалось? — воскликнул Мкич возмущенно.— Ну и трусы!.. Глаза его сверкали, щеки покраснелись под влиянием страшного рассказа.

— На месте Абдурахмана,— сказал Мартирос,— я подсыпал бы в пилав мышинного яду, подал бы Мулле-Гани, он бы съел и тут же околел.

— А на сколько тысяч туманов товару похитил Мулла-Гани? — поинтересовался Вардан.

— Много, очень много, сынок. Говорят, одного золота было семь мешков.

— Вот жаль! — вздохнул Вардан. — Хоть бы один мешок попал мне в руки.

— Бедные, бедные люди! — отозвался Минас с дрожью в голосе.— Запели бы они «да воскреснет бог», сразу вокруг каравана выросло бы семь железных стен, и разбойникам не добраться до каравана.

Немного погодя дети вышли на улицу поиграть. Минас предложил подняться на ближайший холм. Захватили с собой теленка. Выходя со двора, Мкич вытащил из изгороди четыре хворостины для себя и товарищей.

— Понадобятся.

И впрямь вскоре они пригодились. Едва дети поднялись на вершину ближнего холма, им повстречалась толпа уличных мальчишек. И как назло в этот миг теленка потянуло на волю. Он вырвался вместе с веревкой из рук Минаса и убежал, легкомысленно задрвав хвост. Бежал он к желтой корове, видимо, приняв ее за мать. Уличные мальчишки сейчас же изловили теленка.

— Отпустите! — кричал Минас им издали.

— Если можешь — приходи и забирай,— раздалось в ответ.

Мальчишки стали мучить теленка. Один уселся ему на спину, другой тянул за уши, а остальные тыкали палками в брюхо. Положение становилось трудным: нужно было силой вырвать у них теленка, иначе озорники его замучают. Мартирос издали выкрикивал бранные слова. В ответ какой-то паренек швырнул камнем и попал Минасу в ногу.

Бедняжка вскрикнул от боли.

— Ребята, не трусьте! — воскликнул кривоносый Мкич. — Задержите-ка их, я сию минуту вернусь. И, припустившись со всех ног, он скрылся за холмом.

Вардан, дрожа от испуга, уже подумывал о бегстве. Мартирос продолжал ругаться.

Поручив теленка одному из товарищей, уличные мальчишки во весь дух помчались к Минасу и мгновенно окружили его. Все они были вооружены палками, выскобленными стеклом и натертыми маслом. Некоторые сняли чухи и обмотали ими в виде щита левые руки. Несмотря на опасность, Минас не отступил. Он так любил своего теленка, что готов был насмерть биться за него. Минас весь побледнел, глаза искрились, тощая грудь вздымалась.

На спину и плечи ему посыпались палочные удары, но мальчику удалось выбить из строя одного из врагов.

Их выводило из себя его бесстрашие. Между тем Вардан и Мартирос отошли подальше, чтобы при первой опасности бессовестно дать тягу. Минас был один, окруженный врагами, как олень сворой собак. Не представляя себе, как можно вернуться домой без своего любимца, Минас позвал товарищей на помощь, но тщетно. В драке рука его ослабела, но он не выпускал палки. Выбрав удобную минуту, он так хватил одного из наседавших мальчишек по голове, что палка переломилась. Тогда остальные набросились на Минаса, схватили его за горло, повалили и принялись топтать. Несчастный неистово закричал.

Едруг из-за холма показался Мкич с двумя ровесниками.

— Урра, Мулла-Гани несется!— кричал он, устремляясь на врагов.

Уличные мальчишки пришли в замешательство и оставили распростертого на земле Минаса. Мкич сыпал удар за ударом. Нападение было неожиданным — враги начали отступать. Однако, куда бы они ни повернули, везде их настигали быстроногий Мкич и его сверстники. Тут Вардан и Мартирос тоже осмелели и приняли участие в свалке. Поднялся с земли и Минас. Уличные мальчишки удрали, но успели увести теленка.

— Не бойся, Минас, спасем твоего дружка! — крикнул Мкич и пустился за врагами в погоню.

К счастью, теленок, сильно брыкаясь, вырвался из вражеских рук и побежал снова, победно задрав хвост. Мкич ухватил веревку на шее теленка и заорал:

— Ребята, урра!..

Разогнав врагов и освободив теленка, маленький «Суворов», усталый, запыхавшийся, растянулся на зеленой траве. Только теперь Вардан рассмотрел как следует двух его помощников: это были — пышноволосый Левон, тот самый, над которым подтрунивал Багдасар в школе, и бо-соногий, полуголый мальчик по имени Саак,— один из уличных бродяг, с которыми Вардану строго-настрого было запрещено иметь дело.

— Я пойду домой,— буркнул Вардан.

— погоди, еще немного поиграем и пойдем все вместе,— сказал Мкич.

Однако Вардан не уступал. Наконец мальчишки поняли, что он не хочет оставаться с Сааком. Мкича это вывело

из терпения. Он в душе давно уже возмущался чванством Вардана.

— Так тебе он не нравится, да? — молвил Мкич, привстав и сжимая в руке палку. — Заруби ты себе на носу, купеческое отродье: Саак десятерых стоит таких, как ты! Видел, как наши враги от него бежали? Другого такого храбреца не сыщешь. И к тому же он так умеет петь, что поп Саак рядом с ним ничего не стоит. А ну, Саак, затяни, пусть этот нечестивец послушает.

Не заставляя себя долго ждать, Саак оперся по-па-стущечьи на палку и запел нежным, полудетским голосом.

— А ну-ка другую! — командовал Мкич.

Саак затянул на иной лад.

— Что ты на это скажешь? В тысячу раз лучше быть хорошим певцом, чем жадным купцом. Ну, протяни руку Сааку, а не то тресну тебя палкой по голове, — недаром меня зовут кривоносым Мкичем. Был бы ты настоящим товарищем, на кой прах мне твои деньги! Саак бедный! Ну что ж — его отец водовоз, денег у него, конечно, меньше, чем у твоего отца. Но Саак ради друга жизни не пожалеет. Ребята, урра, Мулла-Гапи несется!

И, подняв палку, Мкич сбежал с холма. Все пустились за ним.

8

Голова сахару, фунт чаю и полдюжины коленкорových платков сделали свое дело: Мартын Багдапыч перевел Вардана в следующий класс без экзамена.

На следующий год Багдасар, отчаянно проклиная учителя в душе, опять внес положенную дань, зато Вардан на переводных экзаменах был объявлен не только прилежным, но и образцовым учеником. В тот день Вардан не помнил себя от счастья. Из школы он прямо побежал в лавку сообщить отцу радостную весть. Багдасар шутя шлепнул его по щеке: так выражал он свои отцовские чувства.

— А что ты мне подаришь? — спросил Вардан. Обычно, обласкав сына подобным образом, отец что-либо ему дарил.

— Узнаешь вечером.

Время с полудня до вечера нашему герою показалось вечностью. Наконец Багдасар вернулся, напился чаю, позвал жену и сына и, достав из кармана кожаный кошелек, протянул Вардану:

— Вот тебе мой подарок.

Какое разочарование! Всего только кошелек? Вардан чуть не заплакал от обиды.

— Не нравится тебе? Открой и посмотри.

То, что увидел Вардан в кошельке, чуть не свело его с ума: новая сторублевка.

— Это мне? — крикнул Вардан, как обезумевший.

— Тебе. Принеси теперь свою копилку, посмотрим, что она скажет.

На этот раз в ящике оказалось восемьдесят рублей.

— Все твое, — сказал Багдасар. — Итого сто восемьдесят рублей.

Такой капитал вряд ли имел в городе Зилзиле кто-нибудь из ровесников Вардана. Неудивительно, что мальчик шесть раз подпрыгнул и забегал из угла в угол, хлопая в ладоши.

— На эти деньги мы обвенчаем Мариам, — сказал Багдасар.

Вардан застыл на месте. Из его груди вырвался стоп. Мариам уже была обручена, и через месяц ее собирались обвенчать с молодым купцом.

— Да, сынок, внеси свою долю и ты, — сказала Гюльюм, — пусть соседи диву даются, что ты не пожалел своих денег на свадьбу сестры. Все тебя будут хвалить.

Вардан не возразил отцу, но это не значило, что он молча согласился с замечанием матери.

— Пусть хоть тысячи сестер подохнут, как собаки, — ни копейки не дам! — заорал он иступленно.

— Сынок, бойся бога, что ты говоришь? — ужаснулась Гюльназ бессердечности Вардана.

— Да, пускай Мариам издохнет, как собака, я не хочу лишаться своих денег.

Багдасар в глубине души восторгался сыном. Мальчик, так крепко цепляющийся за деньги, не будет знать нужды; деньги катятся к тому, кто их любит и бережет как зеницу ока.

— Не бойся, — поспешил он успокоить сына, — я по-

шутил. Никто твоих денег не тронет. Я в этом году выпишу на них из Нижнего мешок товара для тебя.

Вардан не только ни копейки не истратил на свадьбу Мариам, но изловчился даже получить барыш. Когда «дружки» явились за невестой, он протанцевал перед ними. Гости дарили ему деньги, иные слюной прикрепляли кредитки ему на лоб. Эти дары, по местному обычаю, после танца Вардан должен был отдать сазандарам, однако мальчик без малейшего угрызения совести опустил их себе в карман.

Спустя два месяца скончалась его бабушка — мать Гюльюм. Изобретательный Вардан даже и это печальное событие умудрился превратить в повод для наживы. В день похорои Гюльюм, тайком от мужа, дала сыну два рубля, чтобы он на рубль поставил свечей в церкви, а оставшийся роздал нищим в память усопшей. Вардан не сделал ни того, ни другого: два рубля он опустил в копилку, а в церкви только произнес молитву за упокой бабушки.

Изо дня в день увеличивая свой капитал, Вардан становился все предприимчивей и уверенней в поисках наживы. Его маленькая голова все время была занята мыслью о новых источниках дохода. Вместе с тем Вардан никогда не довольствовался тем, что имел. Теперь, когда у него был мешок собственных товаров, он производил бесконечные выкладки и подсчеты. Но какой бы удачной ни представлял он торговую сделку, выручка казалось ему недостаточной. Со временем все отцовское состояние стало казаться ему ничтожным. Иногда Вардан заглядывал в магазин Абраама-аги и воочию видел, до чего отстал в торговле отец: в то время как Багдасар продавал мануфактуру аршинами, Абраам-ага сбывал ее мешками.

— Папа, кто на свете самый богатый купец? — спросил он однажды.

— Морозов.

— А богаче его никто нет?

— Есть.

— Кто такой?

— Один еврей. Он до того богат, что дает в долг даже царям.

— Да ну! А сколько у него мешков золота?

— Эка штука мешок — у него целое море золота.

— Папа, а как его зовут?

— Урршид.

Вардан умолк и углубился в размышления. Минут через десять он очнулся.

— Папа, на чем этот Урршид умудрился нажить такие деньги?

— На красном туте и дрожжевой воде.

— Да неужели?

— Дед Урршида был кабатчиком при царе Наполеоне. В самый разгар битвы, когда уже некогда разбирать, что пьешь, он раздавал солдатам вместо водки безобидное дрожжевое питье. Была же, значит, смекалка у человека: и деньги зарабатывал и солдатам не давал пьянствовать, чтобы они лучше воевали.

— А где живет Урршид, папа?

— Во Франгистане¹.

— Интересно знать, чем он питается?

— Жареными лягушками.

— Лягушками? — вскрикнул Вардан. Он не верил своим ушам. — Тьфу!

— Во Франгистане все знатные люди едят жареных лягушек. Потому-то там цена лягушке — десять золотых за штуку.

— Десять золотых? Ой-ой!..

Вардан опять погрузился в размышления.

— Папа, — очнулся он вдруг, — сколько дней надо ехать отсюда до Франгистана?

— А кто его знает, — сорок, семьдесят, а может быть, сто пятьдесят дней. Зачем ты спрашиваешь?

— Да так. Можно ли отсюда повезти туда товар?

— Смотря по тому какой.

— Лягушек.

— Ну и скажет же!..

— У нас тут лягушек тьма-тьмушая, только собирай. Можно несколько верблюжьих караванов отправить во Франгистан на продажу?

— Они у тебя сгниют по дороге.

— Вот этого-то я и боюсь. Но можно заказать большие бочки и везти лягушек в воде?

— Брось ты, бога ради, — этак посмешищем станешь...

¹ Франгистан — Франция.

Богатство Уррида не давало Вардану покоя. Присоцинив к отцовским легендам еще и свои, он стал рассказывать их в школе, выдавая все это за чистую правду. Однажды, когда он описывал усыпанные алмазами одежды Уррида и его золотостенные дворцы, его случайно услышал ученик второго класса Даниел Далбашян, сын Абраама-аги, — широколицый, большеротый юноша, добросердечный и не лишенный юмора.

— Что ты путаешь, Вардан, — заметил он со смехом, — его зовут не Уррид, а Ротшильд.

В другой раз, когда Вардан опять заговорил о знаменитом богаче, Мкич спросил:

— Кто важнее — твой Уррид или полковник?

— Конечно, Уррид.

— Вот так ляпнул! Ежели полковник прикажет своим солдатам, они выпустят кишки твоему Урриду.

— Важнее Уррида и полковника — епископ, — вмешался Минас.

— Тоже сказал! — засмеялся Вардан. — Да мы продаем епископу на рясу материю всего по три рубля аршин.

— Ты про епископа так не смей говорить, не то я расскажу Мартыну Багданычу! — вмешался подлиза Мартирос.

Возможно, спор обострился бы и вынудил Мкича попытаться кулаками убедить товарищей в том, что важнее полковника никого нет на свете, но всех отвлекли звуки музыки. Пышноволосый Левон на самодельном инструменте играл какую-то забавную песенку. Интереснее всего был самый инструмент — высушенная корка тыквы с натянутыми вместо струн конскими волосами. Играл Левон до того здорово, что товарищам показалось, будто он играет на сазе. Все обступили «артиста». Мкич сейчас же достал из кармана деревянный гребешок, обернул его клочком бумаги и, водя по губам, стал вторить Левону. Потом он попросил его сыграть плясовую и пустился откалывать танец «трапги». Кто-то выбивал такт на парте, остальные хлопали в ладоши. Вскоре танец сменился неистовыми прыжками, и в классе поднялся невероятный шум и гам.

В разгар веселья в класс вошел человек с выбритой шеей и красной бородой. Это был Мулла-Нурулла, уроки которого почти никто не посещал.

— Ну и ну! — пробормотал учитель подбоченясь. — Чью это свадьбу вы справляете?

Мкич продолжал подпрыгивать на месте. Глаза муллы налились яростью. Мальчишки совсем не боялись его.

Учитель хотел было поймать Мкича, но тот ловко ускользнул и выбежал из класса. За ним побежали остальные. В руки Муллы-Нуруллы попался неповоротливый молоканин, и учитель стал срывать на нем злобу. Держа ученика за шиворот, он беспощадно колотил несчастного.

— Ребята, давайте освободим Митюшку! — крикнул Мкич и бросился в класс на выручку товарища.

Митюшка вырвался, зато в руках муллы очутился Мкич. К его счастью, в эту минуту вошел привлеченный шумом инспектор. Он даже не удивился. Почти ежедневно у муллы бывали подобные стычки, и, видимо, за это он получал из государственной казны по триста рублей в год.

— Мулла, опомнись, довольно, мулла! — крикнул инспектор, не без труда вырывая Мкича из рук учителя.

Выпустив жертву, Мулла-Нурулла едва отдышался:

— Мартын Багданых, свидетель аллах, напрасно у нас в городе открыли школу. Тут все ослы и дети ослов. О каком учении, о какой грамоте может быть речь — хлев им нужен, а не школа.

Ученики поодиночке возвращались в класс как ни в чем не бывало.

Сядясь на свое место, Вардан заметил на полу что-то блестящее, поднял и спрятал в карман.

Во время перемены Митюшка плакал навзрыд: когда его пороли, с пояса у него сорвалась и пропала серебряная пуговка. Все ученики клялись, что не видели пуговки.

Поклялся и Вардан.

Спустя год, в конце лета, на Багдасара неожиданно нашла странная меланхолия. Впрочем, он никогда не отличался особенной жизнерадостностью, но теперь стал

положительно невыносим. По вечерам, возвращаясь домой, едва успев переступить порог, он призывал Османа и начинал грубо его отчитывать без всякой видимой причины.

Входя в комнату, Багдасар набрасывался на жену, укорял ее за какие-то воображаемые упущения. Он поносил жену и родню ее, порой добираясь до седьмого колена. Торопясь, обжигая губы и пальцы, выхлебывал он с блюдца свой чай и тотчас же спешил уединиться в одной из четырех комнат, где при тусклом свете единственной свечи долго шелкал на счетах, раздумывал, крихтел, вздыхал, стучал пальцем по лбу и кусал усы. Порою он внезапно вскакивал и быстрыми шагами начинал ходить взад и вперед, жестикулируя, как провинциальный трагик. В эти минуты с уст его срывалась такая брань, какую жители Зилзила вряд ли слышали когда-нибудь. Кого он так честил — и за что — знал только он один. Огненный взор Багдасара блуждал по комнате, словно настигая человека, вызвавшего его ярость.

Гюльюм ломала голову, но никак не могла объяснить себе этой перемены в супруге. Спрашивала она Вардана, но и тот ничего не знал. Гюльюм как-то попыталась расспросить Багдасара, но не успела она раскрыть рот, как осеклась: Багдасар топнул ногой и приказал ей замолчать. Тогда Гюльюм отправилась к дочери и попросила ее через мужа навести какие-нибудь справки о делах Багдасара. Но и тут Гюльюм ничего определенного не добилась. Между тем Багдасар становился все более несносным. Теперь уже с ним ни о чем нельзя было говорить. Он выходил из себя даже по утрам, когда жена спрашивала его, что готовить на обед. Даже походка, вздохи и шепот несчастной раздражали его.

Однажды вечером, едва Багдасар вернулся из лавки, пришел Абраам-ага. Он никогда без серьезной причины не переступал порога этого дома. Но теперь (и это не ускользнуло от глаз Гюльюм) он был чем-то сильно взволнован. Абраам-ага сейчас же прошел с Багдасаром в соседнюю комнату и закрыл за собой дверь.

Гюльюм не решилась подслушать их разговор, но Вардан не сумел сдержать любопытства.

Вначале Багдасар и Абраам-ага беседовали спокойно, и Вардан потерял надежду что-нибудь разобрать. Но

постепенно разговор становился все громче, и маленький шпион услышал:

— Так вот, я тебе говорю: пара двугривенных за рубль — деньги не плохие, получай и уймись,— убеждал Абраам-ага.

— Четыре двугривенных за рубль, и ни копейки меньше! Понял?

— Да нет у меня их, нет, слышишь?

— У вас есть деньги, много денег!

— Ладно, получай сорок пять копеек за рубль. Богом клянусь, больше не могу!

— Четыре двугривенных за рубль, четыре двугривенных, не меньше! — настаивал Багдасар.

— А ежели я ни копейки не дам, что ты со мною сделаешь? — вскричал Абраам-ага таким дьявольским голосом, что даже у Вардана по спине пробежала дрожь.

— Что я тебе сделаю? — процедил сквозь зубы Багдасар.— Этими руками сперва тебя задушу, потом себя...

— Коли так, ни копейки не дам!

На минуту все смолкло, и Вардану показалось, что отец в самом деле набросился на Абраама-агу и душил его. Мальчик весь затрясся.

— Абраам,— раздалась наконец мольба Багдасара,— не разрушай моего очага!

— Разрушится мой дом — развалится и твой.

— Если уж на то пошло, не будет грехом засадить тебя в тюрьму.

— Сажай, что поделаешь,— посижу..

— Абраам, не делай этого, есть бог, и он поразит тебя небесным огнем.

— Я не первый и не последний, таких, как я,— немало.

— Нет, нет, напрасно ты все это затеял!

— Не тяни! Хочешь сорок пять копеек за рубль?

— Ни за что!

— Прощай!

— Абраам!

— Потом будешь рвать на себе волосы и вопить на весь Зилзил.

— Абраам!

— Я не могу больше ждать!

— Так вон, вон отсюда, бесстыдник, выродок, собачьей кровью вспоенный! Убирайся, и пусть твои предки до седьмого колена перевернутся в могиле!..

Вардан мигом отскочил от дверей и сжался в углу.

Двери распахнулись, и Абраам-ага вышел. Если бы комната была хорошо освещена, Вардан увидел бы, что в лице его почтенного крестного нет ни кровинки, ноздри дрожат, а в глазах — отчаяние.

Страшный вечер сменила бессонная ночь. Вардан все ворочался в постели, вздыхал, прислушивался к каждому звуку за дверью отцовской спальни, но там все было тихо. Кое-что Вардан понял из слов Абраама-аги, остальное рассказала ему мать. Отец теряет весь основной капитал, значит и Вардан лишится своих денег. Между тем еще вчера он считал себя богатым. Теперь все поднимут его насмех. А как обрадуется прохвост Мартирос!

Он уснул лишь на рассвете. Открыв глаза, Вардан увидел у постели отца и сразу же спросил:

— Отдаст Абраам-ага наши деньги?

Багдасар был бледен, веки опухли от бессонницы, лицо выражало страдание. Он странным взглядом посмотрел на сына и не своим голосом произнес:

— Стань волком, волком стань, чтобы тебя не съели!

Потом присел на постель сына и добавил:

— У Абраама нет ни бога, ни закона, ни стыда, ни чести. Он собака. Брат брату так не доверял, как я ему.

Багдасар замолк, опустил голову, потом продолжал, как бы рассуждая сам с собой:

— Вместо шести тысяч пятисот рублей — две тысячи восемьсот! Почему? На каком основании?

— Мои деньги тоже пропадают? — спросил Вардан.

— И твои, и мои, и все наше добро. Бог отнял у меня разум. Только бы не остаться совсем голым. Ведь он мне за рубль и сорока копеек не даст, знаю, не даст...

Багдасар внезапно вскипел. Рассудительность сменилась яростью. Сорвав с головы папаху, он ударил ею об пол и заорал:

— Вардан, растопчи, растопчи мою папаху! Я не человек, коли не могу задушить этого беспутника, втоптать его в землю!..

Прошло немного времени, Багдасар чуть успокоился, отправился на базар и вернулся только под вечер. Абра-

ам-ага, выведенный из себя вчерашними оскорблениями, наотрез отказался дать и по сорок копеек за рубль. Теперь он уже не давал ни копейки.

— Вардан,— сказал отец,— послушай меня. Одному господу известно, перенесу ли я эту боль, но, ежели ты мне сын, крепко сохрани в памяти то, что услышал вчера. Не верь никому на свете, гроша никому не давай без залога. А вырастешь, собери все наше добро и начинай свое дело. Ты должен разбогатеть! Знаешь зачем? Чтобы отомстить за мою гибель хоть детям Абраама. Пускай он прикарманит мои деньги, но пусть и его дети станут нищими. Слышишь? А встретив их на улице, плюй им в лицо... Слышишь? Дай слово, что исполнишь мой завет, иначе я прокляну тебя из гроба!..

Гюльюм вздрогнула от ужаса. Слова мужа пророчили Вардану мрачную судьбу. Ее миролюбивая, всепрощающая душа восставала против этого жестокого родительского завета. Гюльюм глядела на сына: какое впечатление произвели на него отцовские слова? В лице тринадцатилетнего подростка не было в эту минуту ничего детского, свойственного его возрасту. Вардан слушал молча, внимательно, не сводя глаз с отца. Каждое слово, казалось, навсегда запечатлелось в его памяти.

Никогда еще со дня рождения мысль его не работала так напряженно, как теперь. Сердце Вардана было переполнено злобой, и слова отца лишь раздували тлеющий огонь. Он опустился на колени перед отцом, взял его руку, поцеловал ее и приложил ко лбу. Смысл этой сыновней почтительности мог быть выражен словами: «Я исполню твой завет».

11

Цирюльня мастера Погоса находилась в центре города, в одном из полуразвалившихся домишек. Это была небольшая комната без обоев, с почерневшим от копоти потолком и кирпичным полом, покрытым несмываемой грязью и волосами. В единственном окне давно не было стекол, и их заменяла промасленная бумага. Разбитая и кое-как починенная дверь напоминала залатанную одежду нищего.

Вдоль трех стен тянулась деревянная скамья: она заменяла всю мебель, если не считать старинного кресла пуда в три весом. На скамье рассаживались всегда — кто поджав ноги, кто опустив их на пол. Они обсуждали новости дня под шелканье ножниц мастера Погоса. Это был своего рода парламент, где подчас затрагивали крупные вопросы — политического, военного, а чаще религиозного характера. Когда темы бесед иссякали, члены парламента развлекались шутками, колкостями, остротами и, подобно разыгравшимся детям, брызгали друг на друга водой, толкались и громко хохотали.

В воскресный день погода стояла холодная и мокрая. Посредине цирюльни дымился мангал. Все были необычайно оживлены и взволнованы. Мастер Погос только что сообщил весьма любопытную и неожиданную новость.

Абраам-ага Далбашян, первейший купец, предмет всеобщей зависти, один из столпов города, обанкротился. И как этот умный осторожный человек не сумел справиться со своими делами — уму непостижимо!.. Тут безусловно что-то кроется.

По поводу этого первым высказался бывший бакалейщик, а теперь просто бездельник Сагател.

— Мастер Погос, выкладывай, что знаешь, а уж мы там разберемся, — обратился он к цирюльнику.

Хитрец догадывался, что мастер Погос знает больше, чем рассказал, только не хочет говорить все сразу. Весь «парламент» впился глазами в цирюльника. А он, чтобы разжечь любопытство, сперва долго откашливался, потом вытер глаза, слезившиеся от дыма, и, наконец, достав из мешочка на поясе бритву, принялся править ее, вода по ремню.

— Абраам-ага, — начал он наконец, стараясь насколько возможно придать своему тупому лицу таинственность и сосредоточенность, — не сразу обанкротился. Уже месяцев шесть как хребет у него ослаб, хоть он это и скрывал...

— А причина-то какая?

— Причина? Гм, причина? Ведь человек же он, и человек большой, а у каждого большого человека своя прихоть.

— Как так?

Погос лукаво поглядел на Сагатела.

— Говорят, теперь банкротство входит в моду. Началось это в Карабахе. Слава тебе господи, есть еще на свете люди, которые добродетель ставят превыше денег, но есть и педовольные тем, что послал им бог.

Высказав эту глубокую мысль, мастер Погос спрятал бритву в мешочек, вытащил другую и стал точить ее с еще большим усердием.

— Мастер Погос,— отозвался Сагател,— мы тоже занимались торговлей и кое-что смекаем. Ты рассказывай, а мы послушаем.

Цирюльник помешал кочергой угли в мангале. Дым немного улегся, а веселый треск огня настроил всех на бодрый лад. Шелковод Антон раньше всех уразумел затаенную мысль Погоса и Сагатела.

— А разве не могло случиться,— протянул он, обсыхая чубук и вытирая мокрые усы,— что Абраам-ага присвоил чужое добро? — И, сплюнув сквозь зубы в мангал, он вновь набил трубку.

Мастер Погос ничего не ответил. Остальные, кроме Сагатела, запротестовали, особенно дьякон Николай.

— Ложный банкрот! Абраам-ага ложный банкрот? Нет, это совсем не умно. Абраам-ага самый благородный человек в городе. Вот уже двенадцать лет он церковный ктитор и девять лет гласный. И как это люди смеют бросать тень на его доброе имя?

— Дьякон,— заметил Антон, от души ненавидевший Николая,— я вижу, чай внакладку у Абраама-аги пришелся тебе по вкусу. Но хватит, полно тебе ершиться.

— И кто не собьется с пути, если в доме у него орудует сатана,— вставил цирюльник Погос, продолжая возиться с бритвой.— Нашептывал бы он тебе день и ночь на ухо: «А ну, не прозевай»,— может, и ты бы сбился с толку.

Айрапет Арапетян, летом каменщик, а зимой безработный, тоном мудреца поучительно заметил, что благочестивого христианина, если в нем нет греховных задатков, никакой сатана не одолеет.

— Сатана сатане рознь,— не соглашался Сагател.— Вот не успел мастер Погос рта раскрыть, а я уже понял, откуда ветер дует.

— Молодец!— похвалил цирюльник.— Ты, видать, отлично знаешь брата Абраама-аги Исраела.

Имя Исраела вызвало общий взрыв негодования. Этот еще молодой купец в глазах городских старожиллов был человеком подозрительным. Смушала его необычайная тяга к новой моде. Он не только носил крахмальную сорочку и скрипучую обувь, но даже жену заставлял вместо архалука и широких шаровар надевать какой-то дырявый мешок и показываться на улице с открытым лицом. Каждый год Исраел привозил из Москвы какую-нибудь новинку и осквернял ею город. В этом году он вернулся с подбритыми усами и клочком волос на подбородке, точь-в-точь как фокусник, который на бульваре заставлял плясать собак.

— Вот именно, дружище, этот собачий танцмейстер Исраел и подстраивает все,— осмелился наконец подтвердить мастер Погос.— А что до Абраама-аги, он человек безупречный.

— Да осенит господь твои уста, так бы ты и сказал сразу!— воскликнул Антон.— И чьи же это деньги он того?..

— Морозова. Не меньше тридцати тысяч.

Весь «парламент» ахнул от удивления, до того огромной показалась всем эта сумма.

— Однако ловкач он! — пробормотал Сагател как бы с иронией, в глубине души завидуя Абрааму-аге.

— А ты вот что Расскажи, из-под кого в нашем городе он вытаскивает тюфячок? — спросил Антон.

— Из-под одного купца,— ответил мастер Погос,— ловко, по всем правилам.

— Кто же он?

— Багдасар.

— Это свинья-то?

Во всем «парламенте» не нашлось никого, кто бы посочувствовал Багдасару. От Багдасара пользы никакой. Разделил он с кем-нибудь кусок хлеба? Кому-нибудь в жизни своей помог на копейку? Из дому в лавку — из лавки домой: нигде его больше не видно, даже в церкви. Только и знает — всех ругать. Жалеть его не стоит, а обчистить — не грех. Молодец Абраам-ага.

«Парламент» еще долго продолжал бы костить Багдасара, но вдруг в цирюльню ворвался запыхавшийся Вардан.

— Мастер Погос, папа зовет тебя!

— А что случилось, сынок?

— Он заболел, надо поставить ему пиявки.

— Ой, ой, бедняга, — раздался хор льстивых голосов.

Цирюльник поспешно захватил банку с пиявками, медный тазик и вышел вместе с Варданом.

— Дьякон Николай, — молвил Антон, — выпей уксусу для аппетита, скоро поминальный обед будет.

12

Цирюльник Погос застал Багдасара в постели. Час назад несчастный отправился к Абрааму-аге окончательно выяснить положение дел. Получаса не прошло, как он вернулся, схватил заржавленный кинжал и собрался было бежать назад к Абрааму, чтобы убить его. Гюльюм силилась удержать мужа, но Багдасар, оттолкнув ее, бросился к дверям. Внезапно руки его ослабели, голова поникла, кинжал выпал, и Багдасар грохнулся без чувств. Гюльюм поспешила расстегнуть ему ворот архалука и окатить водой. Но это не помогло. Мать и сын кое-как перенесли его на постель.

Погос сейчас же приступил к делу. Прежде всего с помощью Османа он перевернул больного лицом вниз и начал «отворять кровь». Намочив вату в спирте, он зажег ее и, положив больному на спину, быстро прикрыл стаканом. Повторив это несколько раз, он взял бритву и принялся делать надрезы на обожженных местах. Потом, повернув больного на бок, приставил к шее пятнадцать крупных пиявок. За полчаса пиявки насытились до того, что, раздувшись, одна за другой отпали и свалились, точно спелые плоды, на волосатую грудь Багдасара.

Больной перевел взгляд на жену. В глазах его было столько глубокого страдания, что у Гюльюм сердце защемило. Стало ясно, что несчастный сознает всю опасность своего положения. Потом жена узнала, что в тот день Абраам-ага принял Багдасара очень грубо и даже говорить с ним не захотел. В ответ Багдасар начал корить его при жене и детях и наконец плюнул ему в лицо. Тут

Абраам-ага крикнул сыновьям, чтобы они гнали Багдасара в шею, а Израел начал насмехаться над ним.

Гюльюм сокрушенно смотрела на мужа и качала головой. Двадцать лет прожила она с этим человеком, двадцать лет находилась под его железной пятой. Как рабыня, она во всем ему подчинялась, заглушая в себе все желания и чувства. И вот теперь, когда надо было проявить самостоятельность, бедняжка растерялась и глядела на своего деспота, по-прежнему ожидая приказаний. Никогда Гюльюм не была счастлива с Багдасаром, но и не могла представить себе, что может быть счастлива без него. Долголетняя привычка повиноваться заменила ей чувство любви, и как она ни страдала под властью мужа, однако сознавала, что всем своим существом слилась с ним.

— Чего ты хочешь, скажи? — повторила Гюльюм с горечью.

Никакого ответа. Губы деспота посинели, сжались, замкнулись, как железные дверцы, и никто не знал, что происходит с ним. Багдасар не сводил глаз с жены и сына. Этот упорный застывший взгляд таил нечто страшное. От него стыла кровь в жилах Гюльюм.

Мастер Пюгос применил последнее средство: он велел Осману зарезать черную курицу, внутренность зарыть, а тушку принести. Цирюльник разрезал курицу и внутренней стороной приложил к груди больного. Черная курица должна была впитать неизвестную болезнь...

Пришла Мариам с мужем и, швырнув шаль на пол, бросилась к отцу. Она неистово завывала, колотя себя в грудь. Багдасар глубоко и тяжело вздохнул. Значит, он умирает? Неужели? Умирает, не вымолвив ни слова?

Больной глухо, прерывисто зарыдал.

Муж Мариам, Стефан Порсохян, осуждал средства цирюльника. С того дня как Стефан Порсохян расстался с азиатскими шлепанцами и сменил их на европейскую обувь, он усвоил манеры полупросвещенного горожанина, еще более отвратительные, чем полное невежество.

— Изрезал ты человека, как скотину, и, думаешь, он поправится? Пора вышвырнуть все эти бритвы и пиявки. Откройте глаза, несчастные, и оглянитесь на мир! Теперь есть врачи, которые даже покойников ставят на ноги. Нам нужна наука, а не... цирюльники. Ну, чего ты уста-

вился на меня, мастер Погос? Выпустил из человека ведро крови, а теперь не знаешь, подымет ли он на ноги? Я сейчас же схожу за врачом.

Весь день Багдасар лежал в том же положении, неподвижно растянувшись, словно дерево, вырванное с корнем. Никакой перемены ни к лучшему, ни к худшему: те же сжатые губы, те же налитые кровью глаза и беспредельное страдание на осунувшемся лице.

Под вечер Стефан вернулся с единственным городским врачом, глухим стариком. Скучный запас давних знаний успел выветриться из его седой головы. Понадобились значительные усилия для того, чтобы рассказать ему о внезапном недуге больного и о примененных лечебных средствах. Это особенно туго давалось Стефану, употреблявшему выражения, которых тщетно было бы искать в русском словаре. Врач, почти ничего не разобрав, молча написал рецепт и ушел.

По сторонам изголовья больного сидели Гюльюм и Мариам со скрещенными руками. Время от времени Гюльюм тяжело вздыхала и утирала слезы концом шали. Вообще она ничего не решалась предпринять, а только плакала и страдала: это не требовало воли. Гораздо больше усердия проявляла Мариам: она меняла больному компрессы на груди, в положенное время вливала ему в рот лекарство. Иногда без нужды поправляла подушку или одеяло, надеясь хоть этим облегчить страдания отца. Но тщетно старалась она прочесть в глазах несчастного, чего ему хочется. Мариам успокаивала мать: «Ничего, все пройдет, человек он вспыльчивый, от гнева кровь ударила в голову, вот успокоится и поправится». Гюльюм в отчаянии качала головой: разве дочери не известно, что терзает Багдасара, ребенок она, что ли?

Вечером, наконец, рискнули прийти сестры Гюльюм со своими супругами и даже кое-кто из соседей. Своими никчемными расспросами и полуфальшивым сочувствием они только усугубили муки Гюльюм. У иных даже хватило бесстыдства спросить, какое наследство оставит Багдасар сироте. О боже, Гюльюм ничего не знает, оставьте ее в покое!

Одна из соседок говорила: Багдасара, наверное, околдовали черти, и нужно позвать колдунью, пусть она разворожит больного и выгонит бесов.

Это предложение вызвало смех только у мужа младшей сестры Гюльюм — Давида Даниеляна, ревностного лютеранина.

— Сестра Шушан, — обратился он к женщине, — в большой грех ты впадешь, в большой грех! Наша судьба и наше спасение в руках Иисуса. Молись, сестра Гюльюм, молись, все мы можем спастись только молитвой. Господи, помоги нам! — он тут же сложил ладони, склонил голову набок и с усердием новообращенного, возведя глаза к небу, начал молитву: — Господи, прости прегрешения раба твоего брата Багдасара! Молись про себя, брат Багдасар, Иегова, испытывая веру праотца Авраама, не принял жертвы... Брат Багдасар, бог Авраама, Исаака и Иакова поможет тебе, молись...

Удивительное дело! Больной, до того времени хранивший молчание, вдруг вздрогнул и прохрипел, впиваясь долгим, острым взглядом в лютеранина:

— Молчи, фариссий!..

Никого из родных Багдасар так не ненавидел, как Давида Даниеляна. Багдасар постоянно повторял: раз человек изменил вере предков, он и родного брата продаст. Вообще Багдасар считал лютеранство неверием и не стеснялся даже на рынке поносить вероотступников.

Неожиданно вернувшаяся к больному способность речи вызвала общее замешательство. Мариам от радости вскрикнула, Гюльюм и Вардан бросились к больному и впились в него глазами. Гости изумленно переглянулись. Только один Давид Даниелян не растерялся. Он то и дело повторял: «Иисусе, да будет благословенно имя твое».

— Вон, вон этого неверного! — заревел больной.

— Брат Багдасар, ты грешишь... — ответил ревностный лютеранин, — лучше помолись и вспомни Иова многострадального. Его лицо и тело загнивали, рот был полон червей, однако он продолжал молиться. Молись, страдая, и душа твоя попадет в рай, молись...

И тут будто вновь произошло чудо! Больной порывисто поднял голову и присел. Теперь щеки его посинели, жилы на шее необычайно вздулись. Путы, сковывавшие его язык, окончательно разорвались, и из уст больного вырвался неудержимый поток проклятий. Отчитав как следует ненавистного вероотступника, Багдасар обру-

шился на прочих гостей и каждому воздал по заслугам: помянул их родителей и предков, не пропустив даже дальней родни. Помолчав с минуту, он излил запас желчи на семью Абраама-аги и на весь его род. Исступление Багдасара дошло до апогея: он стал задыхаться, на губах выступила пена, лицо страшно посинело, и он, как подстреленный, свалился на подушку.

— Господи, помилуй этого человека! — произнес Давид Даниелян.

— Гюльюм, ведь твой муж умирает, — встревожились соседки, — пошли скорее за священником.

Схватив шапку, Вардан выскочил на улицу.

13

Ночь была холодная и темная. В другое время Вардан в такую погоду ни за что не пошел бы один, но на этот раз ему было все равно. С самого утра сердце его изнывало под тяжестью внезапного удара.

Итак, отец умирает, и он останется беззащитным сиротой. Абраам-ага втерся в доверие, обманул несчастного старика и присвоил его деньги и деньги Вардана. Те самые вождеденные, заветные деньги, на которые он возлагал столько надежд. Ах, с каким усердием и любовью Вардан копил их! Как он умолял отца каждый вечер хоть несколько копеек опустить в копилку! Как он день и ночь заставлял Османа обтачивать ему ложки для продажи, обманывал товарищей и отказывал себе во всем, как он, не останавливаясь перед ложными клятвами, старался сбыть свои негодные рогожи, всревки и разбитые ящики!

Еще несколько дней назад в голове его родились всевозможные планы, как удвоить, утроить, удесятерить свой капитал. Он даже ощущал незримую связь между собою и предметом своих грез — Ротшильдом. Конечно, он не говорил об этом никому. И вдруг все надежды рушатся. Он сирота, а мать, забитое, бессловесное существо, своими горькими воплями только растравляет его рану. Овдовев, эта женщина повиснет у него на шее тяжким бременем. Изволь-ка ее прокормить. И какая нужда де-

тям в таких матерях? Родили их, вырастили — и довольно, а сами пусть умирают!

«Стань волком, волком стань, чтобы тебя самого не съели!» — слова отца гудели в ушах Вардана, как утренний звон колоколов в ушах богомольцев. Быть волком! Нет, этого мало, надо стать змеей, тигром, скорпионом, лишь бы отомстить бессовестному, противному, мерзопакостному Абрааму. И не только ему, а и его брату, и детям, и внукам, всему их роду. Ах, дождется ли он тех счастливых дней, когда сумеет исполнить завет отца и при помощи денег получит власть? Наступят ли эти дни? Обязательно наступят! Тогда он никого не пожалеет, ни друзей, ни родных...

Жажда мести бушевала в юном сердце Вардана, не давая ему покоя.

Не успел Вардан очутиться на улице, как услышал свое имя. В густой зимней мгле из-за ворот вынырнула тощая фигура.

— Не бойся, это я,— раздался тихий юношеский голос.

Пряча от холода руки за пазуху и дрожа всем телом, Минас подошел к Вардану.

— Как отец? — спросил он.

— Умирает.

Минас охнул и отступил на шаг: призрак смерти вызвал в нем ужас.

— О-о, одному тебе будет страшно, пойдем вместе к священнику. Знаешь, я уже час стою у калитки: поджигаю кого-нибудь, чтобы спросить о твоём отце. Меня послал папа, но я побоялся войти. Отчего умирает твой бедный отец?

— Его убили! — прошептал Вардан, заскрежетав зубами.

Минас вздрогнул.

— Кто?

— Абраам-ага.

И Вардан рассказал все. Он клял бессовестного обманщика страшными словами, только что услышанными от отца.

— Ну-ну-ну! — остановил его Минас, никогда никого не осуждавший. — Поносить человека — грех. Ты молчи, а уж господь сам накажет Абраама-агу.

— Брось! Все господь да господь! Если бог наказывает негодяев, пускай он сейчас, сию же минуту покарает Абраама, чтобы сердце мое успокоилось.

— Воры, убийцы и разбойники на том свете понесут кару в геенне огненной.

— Ты говоришь, словно поп. Что значит на том свете? Не надо мне того света. Лучше на этом свете пожить хорошо, а уж потом пусть берут мою душу куда хотят. Дурак ты этакий, если на то пошло,— никакой другой жизни нет.

— Что ты говоришь? — испугался Минас.

— Ну да. Рай и ад — все это сочинили для бедняков, чтобы утешить их, понял?

— Вардан! Вардан! — воскликнул Минас, ужасаясь нечестивыми речами товарища. — Тебя бог накажет, покайся!..

— Дурак! — повторил Вардан с презрением.

В это время они проходили мимо дома Абраама-аги. Вардан на минуту остановился, посмотрел в окно, откуда лился на улицу желтоватый свет лампы. Это было двухэтажное здание почти в европейском стиле. Узкие окна нижнего этажа были защищены железными решетками, окна наверху большие и без решеток.

Абраам-ага с семьей занимал верх, а в нижнем этаже находился склад различных товаров: преобладали сукна — от Морозова.

У Абраама-аги было трое сыновей и две дочери. Старшая дочь вышла замуж год назад. Старший сын, Аршак, уже кончил городское училище и работал в лавке отца. Второй, большеротый Даниел, был тот самый, который в школе замстил Вардану, что счастливого еврея зовут не Урришдом, а Ротшильдом. Третьему было шесть лет, звали его Самвелом.

Заглянув в окно, Вардан представил себе, как вся семья сидит безмятежно за столом и спокойно ужинает. В нем вспыхнула жажда мести. Родилась злобная мысль: в полночь разбить окна нижнего этажа, облить товары керосином и поджечь. Огонь сразу охватит склад, потом перебросится в верхний этаж, где уже будут спать. И Абраам-ага сгорит с семьей и со всем своим богатством. Да и не он один, но и Израел со своим семейством в соседней половине дома. Что за чудесный план! Но кто же

его осуществит? Сам Вардан? О нет, это слишком опасно! Быть может, Осман? Он за такое дело не возьмется: для него единственное оружие мести — кинжал.

— Ах, где сейчас Мкич? — со вздохом произнес Вардан. — Паренек он бесстрашный, он бы это сделал.

— Что сделал? О чем ты говоришь? — удивился Минас. — Пойдем, чего мы стоим перед этим домом? Твой отец умирает без священника.

— Отвяжись, какой ты товарищ, ты трус!

Они продолжали путь. Пройдя несколько шагов, Вардан остановился. Жажда мести уже до того овладела им, что спокойно миновать ненавистный дом ему было невмogu.

— Минас, найди мне камень.

Минас поднял камень величиной с кулак и дал ему.

— Минас, ты лучше меня мечешь, а ну-ка, попытайся. Можешь запустить этим камнем в среднее окно?

— Зачем?

— Да просто так, ради меня.

— Нет, это нехорошо, там люди, камень может попасть в них.

— Что ты за человек! — проворчал Вардан.

И он изо всей силы швырнул камень в одно из верхних окон. В темноте безлюдной улицы раздался грохот разбитых стекол. Вардан пустился бежать без оглядки.

— Что ты наделал? — повторял Минас, еле поспевая за ним. — Не беги, за тобой никто не гонится...

Священнику Амбарцуму пришлось силой вложить причастие в рот Багдасару. Извергнув новый поток ругательств, больной снова потерял дар речи. Это был второй удар, за которым дня через два последовал третий. Тем не менее Багдасар прожил еще целую неделю, но уже до последнего вздоха не выговорил ни слова.

Гюльюм овдовела, Вардан остался сиротой, лавка потеряла хозяина. Теперь, когда Багдасар покончил счеты с жизнью и кости его отдыхали в могиле, все выражали сочувствие вдове и сыну. Багдасар уже не казался дурным

человеком. Правда, пользы от него не было никакой, но ведь он и не вредил никому. Покойный был пезоздержан на язык, ну и что ж? Попусту он ведь людей не поносил...

Таково было мнение города Зилзила, выраженное устами посетителей цирюльни мастера Погоса. Зато теперь здесь безжалостно осуждали Абраама-агу и его «наглого» брата. Бессовестные они, прикарманили потом и кровью добытые деньги несчастного, самого его загнали в могилу, а теперь живут себе припеваючи!

Однако последнее не вполне соответствовало истине: жизнь Абраама-аги не стала более спокойной и счастливой. Он еще не покончил своих счетов с Морозовым и опасался, как бы кредитор не начал судиться. Горько упрскал Абраам-ага Исраела, втянувшего его в беду. Он думал: зачем алчность помутила его рассудок? Сидели бы мирно, зарабатывая по двадцать копеек на рубль. Сейчас их доброе имя опорочено в городе. Ежели Морозов начнет тягбу, то, пожалуй, сумсет упрятать их в тюрьму.

— Пустяки, Морозова ты вообще не опасайся, — успокаивал Исраел брата. — Москва слишком далеко. Никто не рискнет приехать сюда судиться с нами... Да и что такое для Морозова тридцать тысяч?

Абраама-агу угнетала смерть Багдасара, тяжелым камнем лежала она на его душе. Теперь он охотно уплатил бы весь долг семье покойного, только бы заглушить голос совести. Однако Исраел был против уплаты.

— Сесть на осла — стыдно, сойти с него — вдвойне стыдно, — повторял модник-купец местную поговорку. — Ежели мы теперь отдадим свой долг семье Багдасара полностью, те, кто не верил, поверят, что банкротство наше мнимое, и Морозов потребует рубль за рубль. Багдасара не воскресить никакими деньгами. Вдруг ни с того ни с сего взял да ноги протянул, упокой, господь, его душу. Уж, видно, так построен мир — покуда один не свалится, другой не поднимется. И на кой черт Багдасару пужны были деньги? Он не умел вовсе ими пользоваться. Жене да сыну хватит того, что им осталось. Деньги нужны тебе и мне, понимаешь? Мы поступились добрым именем, чтобы кое-что оставить нашим детям. Прикажешь на попятный? Двадцать копеек за рубль — ни копейки больше!..

Не менее ретиво сопротивлялся и старший сын Абрама-аги — Аршак. Этот двадцатитрехлетний юноша, с худощавым лицом, впалой грудью и кадыком на шее, во взглядах сходился с Израефом, но был еще более жаден и цепок. Израеф любил его, как родного сына, не скрывал от племянника ни одной торговой тайны и всегда повторял: «У Аршака будущность!» Зато младшего племянника, Даниела, он не любил. Добродушный, по-видимому, ко всему безразличный, Даниел отлично понимал, что поступок отца и дяди заслуживает осуждения.

— Я краснею от стыда при встрече с Варданом,— сказал как-то он Аршаку.

— Почему?

— Мне кажется, что это мы убили его отца.

— Ты глуп и ничего не понимаешь.

— Уверю тебя, я все понимаю, хотя вы и скрываете от меня ваши дела.

— Скрывать тут нечего. Мы купцы, товары наши гниют в подвале, вот и обанкротились.

— Ты врешь, Аршак! Наш отец и дядя очень подло поступили.

— Лучше помалкивай!

— Папа человек неплохой, а вот дядя его сбивает с толку. Я повторял и повторяю: на свете только честные добьются счастья.

— Ого! Какой это учитель вбил тебе в голову такие мысли?

— Для этого не нужно учителя, достаточно иметь совесть.

— Еще ты меня будешь попрекать?

— Буду, если польстишься на чужие деньги.

— Ну что ж, тогда нам придется голодать! Ты о торговле понятия не имеешь. Хоть ты и не ребенок, но глуп и глупцом останешься. Человек должен родиться разумным, иначе и ученье не поможет. Даже шестилетний ребенок сметливее тебя. Вот смотри, Самвел! — крикнул Аршак младшему брату.

Спор происходил в большом саду перед домом Далбашянов. Самвел играл в снежки с сестренкой Мартой, и, услышав свое имя, сейчас же подбсжал к братьям, румяный, с посиневшими руками.

— Кого ты больше любишь, Самвел, сокола или курицу? — спросил Аршак.

— Сокола.

— Почему?

— Курица не может летать. А сокол ловит воробьев.

Аршак достал из кармана две кредитки: грязную, потертую трехрублевку и новую, чистую рублевку.

— Самвел, какую хочешь? — спросил он, показывая кредитки.

— Вот эту! — выхватил Самвел потертую кредитку.

— А когда ты вырастешь, что будешь делать?

— Поеду на Макарьевскую, в Нижний.

— Зачем?

— За товаром, чтобы продавать и денежки наживать.

— Видишь, — обратился Аршак к Даниелу, — ему всего шесть лет, а он уже все понимает.

— Ну еще бы, твой ученик.

— Тебя я тоже старался наставить на путь истинный, да бог обидел тебя умом. Скажешь тоже: «Я краснею, встречая Вардана на улице». Уж если на то пошло — Вардан должен был бы краснеть, встречаясь с тобой, будь ты на его месте, а он на твоём. Смотри, не клади ему пальца в рот — откусит. Несколько раз он заглядывал к нам в магазин, и я знаю, что он за птица. Подрастет — чего-чего только не наделает, сколько народу оставит без крова и хлеба. Торговое дело Вардан еще с колыбели постиг, жалеть его нечего, лучше позаботься о себе, несчастный ты глупец!

15

Стефан Порсохян советовал своей теще, Гюльюм, взять с Далбашьянов двадцать копеек за рубль. «Обанкротившегося купца, — твердил он, — не следует особенно прижимать: раз у людей пошатнулось положение, как ни настаивай, больше не получишь».

Несчастье до того подорвало доверие Гюльюм к людям, что она сомневалась даже в искренности зятя. Единственный человек, которому Гюльюм безусловно доверяла, ее брат, Мартирос Ахвердян, уже больше шестнадцати

лет не был в Зилзиле, он разъезжал по торговым делам. В последнее время его письма приходили из Закаспия.

Гюльюм послала брату письмо, прося поскорее приехать и привести в порядок дела покойного. Через месяц Ахвердян приехал, и сестра едва узнала его. Когда они расстались, Мартиросу едва минуло двадцать лет — это был юноша с едва пробившимися усиками, худощавый, слабого сложения. Теперь перед Гюльюм стоял широкоплечий, здоровый и бодрый мужчина с побелевшими висками и обширной лысиной. Весь он полон был энергии практичного, самоуверенного человека, вызывающего зависть у людей ленивых и неуверенных в себе. Странствуя в чужих краях, занимаясь всевозможными торговыми сделками, встречаясь с разными людьми, он стал к тридцати семи годам сухим и прижимистым человеком.

Не теряя времени, Ахвердян принялся за дела сестры, вступил в переговоры с Далбашьянами и, сейчас же смекнув, с какого сорта людьми имеет дело, поспешил ликвидировать долг из расчета двадцать копеек за рубль. Успешно распродав остатки товаров, он честно представил сестре отчет.

Во всем этом ему помогал Вардан, обнаруживший необычайную сообразительность, которая буквально поразила искушенного в коммерции дядю. Ну и ну! Мальчик сам по себе — целое сокровище! За короткое время с помощью опытного дельца он может сделаться отменным купцом — жалко бросить его без поддержки.

— Отдай мне Вардана, я возьму его к себе в Баку, — предложил Ахвердян своей сестре.

— Что ты, что ты, да разве я могу без него жить? Ведь это свет очей моих, мой единственный сын. Как я пошлю его на чужбину? Вспомни, как ты сам уезжал в чужие края, оставив мать в слезах. Несчастливая с тоски по тебе отдала богу душу.

— Скажешь тоже! Просто она состарилась и умерла. Удивительные существа эти матери: так и цепляются за детей, не дают им сделать шагу.

— Дядя, это ты здорово сказал, — поддержал Вардан, которому мать уже начала порядком надоедать.

— Ладно, Гюльюм, оставим прошлое. Я тебя вместе с Варданом заберу в Баку. Вардан, слава богу, парень не глухой, ему нечего делать в таком убогом городке.

В Зилзиле нет ни подрядов, ни крупной торговли, ни рудников или больших заводов. Город прескверный во всех отношениях, даже не встретишь человека, с которым можно было бы слово перемолвить. Вот Баку — совсем другое! Город, говоря по-русски, что надо. Те, у кого есть голова на плечах, должны ехать в Баку. Я пять лет не был там, а в этом году проездом задержался на три дня и убедился: город промышленный, быстро растет. Я решил начать там дело. С какой стати торчать мне в Ашхабаде? Пользы от него никакой. Армия оттуда возвращается, и торговля падает. Баку, Баку — и никуда больше! Открою там шикарный магазин. Я уже и место нашел: прямо на берегу моря.

— Ситец и бязь продавать? — спросил Вардан.

— Боже упаси! Что толку в торговле ситцем и бязью? Четверть или самое большее полкопейки заработаешь на аршин! Мануфактура, братец ты мой, для людей ленивых: сиди и аршином мух гоняй.

— А какая торговля выгодней?

— Какая? Хочешь в наши дни торговать по-модному — открой магазин дорогих напитков и закусок, вот что!

— Это что такое — бакалейная лавка?

— Ха-ха-ха! Ты, братец мой, ничего не смыслишь. «Магазин гастрономических товаров и заграничных напитков» — вот что! Очень большой магазин. Вывеска в длину десять аршин, в ширину два аршина, буквы золотые. Для магазина вывеска главное, конечно, в цивилизованном городе, а не в этом жалком Зилзиле. Тут и вывесок не видно, а если и попадаются, то простые куски жести, старые подносы или дно от ведерка. А в моем магазине будут еще по бокам у дверей отдельные вывески с картинками, понимаешь? Закажу, например, портрет господина с толстым животом: колбаса в одной руке, пивная кружка — в другой. Где это я видел такую вывеску? Черт побери, я в стольких городах перебивал, что даже из памяти выскочило. Ах да, в Ростове, на Садовой улице.

— Какие же товары будут в магазине?

— Такие, что у покупателя слюнки потекут. На полках с одной стороны коньяк, ром, херес, марсала — одним словом, начиная от зубровки и рябиновки, кончая шампанским. Понял? С другой стороны — сардины, кильки, анчоусы и так далее. А на прилавках мы разложим жарен-

ного барашка, поросенка, индейку, телятину, рыб разных, икру, колбасы, всякие сыры — чеддер, рокфор, жерве, и прочее. А на полу в мешках и ящиках — сухие фрукты, сладости, печенья... Вот какой магазин будет у меня!

— А на сколько в день можно продать товару, дядя? — любопытствовал Вардан.

— Пока ничего нельзя сказать, все от случая зависит. Такого магазина в Баку еще нет. Народ там необразованный. У меня большие надежды на моряков: они, братец ты мой, любят выпить да закусить... Я и хочу, чтобы магазин был на берегу, на виду у моряков. Я так считаю: в первый год мы будем продавать каждый день самое меньшее на пятьдесят рублей. Потом торговля расширится, и мы сможем довести дневную выручку до сотни, а может быть, и до двух.

— Мама, я еду в Баку! — воскликнул Вардан, воодушевленный рассказами дяди.

— Несколько лет ты у меня будешь приказчиком, конечно, на жалованье, — продолжал Ахвердян. — А как привыкнешь к делу, станешь компаньоном. От отца осталось тебе около пяти тысяч. В руках умного человека — деньги немалые. На этой неделе я поеду в Баку, закажу для магазина тозары и обстановку. А ты пока кончай ученье. Научись хорошенько читать и писать по-русски, а особенно разговаривать. О, братец ты мой, русский язык в наше время — верный кусок хлеба. Отец мой был человек темный, не мог этого понять, не дал мне доучиться. Но потом, слава богу, я сам все постиг. Теперь я жарю по-русски лучше твоего учителя. Читайте газеты. Купцу без газеты — грош цена. Не читай я газет, разве узнал бы, где взять подряд? Из Баку я тебе пришлю хорошую книгу. Там много полезного для купца — прочти и заучи.

С этого вечера Баку стал заветной мечтой Вардана. Он много слышал о несметных богатствах этого города и мысленно уже стоял за прилавком дядиного магазина. Вот он, окруженный покупателями, еле успевает отпускать товар. У кассы стоит веселый дядя и бойко говорит по-

русски. Сотенные так и текут к ним. По вечерам они подсчитывают выручку и ликуют. Проходит год, другой, и наконец Вардан становится компаньоном дяди, и так далее, и так далее.

— Мама,— обратился он к матери в одну из таких минут, — ты помнишь папин завет?

— Какой?

— Он сказал: «Ты должен разбогатеть и отомстить Абрааму-аге и его детям». Помнишь? Отец еще добавил: «Будь проклят, если не исполнишь моего наказа».

— Ах, детка, эти проклятия вырвались из уст отца в тяжелую минуту. Забудь о них!

— Забыть? Отца моего обобрали, убили, деньги мои присвоили — и чтобы я простил детям Абраама-аги? Каждый раз, когда я встречаю Аршака или Даниела, кровь закипает во мне, так и тянет разmozжить им головы. Но я кусаю губы, креплюсь и говорю себе: «Повремени, повремени, успеешь».

— Ах, сынок, ты только о плохом и думаешь! Научись делать людям добро, не то все тебя проклинать будут. Ты думаешь, богатство только в деньгах? Нет. Доброе имя куда дороже. Заслужи его.

— Если будут деньги, доброе имя само придет.

Так рассуждал четырнадцатилетний юнец, готовый во имя денег на что угодно.

Вскоре Вардан получил из Баку обещанную дядей книгу — элементарное пособие по торговле. Книга стала на время библией Вардана. Он читал и перечитывал ее за поем.

Как-то Вардан в школе рассказал товарищам, что скоро он отправится в Баку. И тут оказалось, что об обетованной земле мечтает не он один, а почти все ученики.

— А что ты там будешь делать? — пренебрежительно спросил он Минаса.

— Поступлю в реальное училище.

— Ого, в гимназисты метишь! Друг мой, тебе бы лучше смиренно сидеть на месте и обучаться отцовскому ремеслу. Для сына мастерового больше чем достаточно и твоих школьных познаний.

— Отец то же самое говорит,— ответил кроткий юноша с обычным смирением,— а дядя не соглашается. Ты

видел моего дядю? Нет? Уже шесть лет как он в Баку учителем. Каждую неделю я пишу ему. Дяде нравятся мои письма, и он настаивает, чтобы отец учил меня.

— Видно, твой дядя богатый человек,— заметил насмешливо Вардан.

— Не богатый, но меня он очень любит. Он не женат и хочет меня усыновить.

— Я тоже еду в Баку! — вмешался кудрявый Левон.

— А тебя кто зовет туда?

— Мы всем семейством едем.

— А вы думаете, я останусь? — отозвался подлиза Мартирос, ни в чем не отстававший от товарищей.— Упрощу отца, чтобы и меня отправил.

— Тебя там не доставало,— буркнул Вардан, выведенный из себя разговорами ребят. Они будто сговорились отбить у него хлеб.— Только ты один, Мкич, останешься тут!

— Ничуть не бывало! Неужели я хуже вас?

Потом ученики заговорили о будущем: каждый делился своими планами и надеждами.

Минас сказал, что ему бы хотелось долго учиться, чтобы понять, как это составители календаря умудряются предугадать солнечное и лунное затмения.

Левон признался, что мечтает объехать весь свет и научиться говорить на всех языках.

Сокровенное желание Мартироса — стать околоточным надзирателем.

Мартын Багдапыч, помня о дарах Багдасара, выдал Вардану свидетельство об окончании курса с отличием. Не обидел он и других его одноклассников, проставив им в выпускных свидетельствах хорошие отметки. В последний день почтенный инспектор произнес назидательную речь:

— Старайтесь быть достойными людьми,— сказал он,— чтобы я с чистой совестью мог смотреть в глаза вашим родителям. Не забывайте Мартына Багдапыча. Запомните: если вы подниметесь по лестнице жизни, то только благодаря мне. Это я вас, скотов, сделал людьми. Ну, в добрый путь! Э-э-э, не годится, не годится, постойте! Вот вы сейчас же показали свой ослиный нрав. Что ж, так и уйдете?..

— Смирно! — раздался возглас Мкича. — Ряды, стройся! Так. Шапки долой! Раз, два, три — урра! Да здравствует Мартын Багданыч!.. Ура! Ура! Ну, хватит.

Вытянувшись перед инспектором, он по-военному откозырял, повернулся и, приговаривая: «раз, два, три», пошел, чеканя шаг.

— Ну и сатана! — со смехом воскликнул учитель.

Через месяц Вардан отправился в Баку.

1902 г.



СТАРЫЙ БАКУ



В одном из заливов Каспия среди скал приютился поселок, выжженный солнцем, точно деревня на сирийском побережье.

В прошлом это был город с многовековой историей. Иногда называли его крепостью. Высокие стены, двойным кольцом окружавшие его, служили когда-то защитой от вражеских нападений, но в наши дни их удостаивают вниманием разве одни археологи. Кривые улицы без мостовых до того узки, что кое-где двум прохожим не разойтись. Вокруг ни травы, ни деревца, ни родника, а вода в дворовых колодцах солоха, как морская. всюду груды отбросов, возле них весь день копошатся собаки. Тут все серо — и дома, и мусульманская мечеть, и христианская церковь, и лица обывателей, точно чья-то незримая рука окутала город дымкой беспросветной тоски.

За стенами теснился другой город — новый, современный. В нем было домов двести-триста. Здесь улицы пошире и дома вместительней: есть и двухэтажные. Однако картина та же, что и внутри крепости: грязь и почти нет растительности. Когда поднимался ветер, песчаная пыль, взлетая, забивалась повсюду. Не из-за этого ли большинство несчастных жителей жаловалось на болезни глаз и

горла? Ветер, словно легендарное чудовище, то и дело набрасывался на городок и часто дул по два-три дня подряд. Городские власти придумали странное средство для защиты от стихии: в засушливую погоду раз в неделю улицы поливали мазутом — от этого безотрадный на вид город становился еще мрачнее.

Море, самой природой предназначенное для украшения города, было у берегов завалено мусором. Южный ветер нес к берегу оставляемые на волнах судами черные пятна мазута.

Единственным местом прогулок была набережная и приютившийся на краю ее садик, тощие деревья которого напоминали ослабевших от голода нищих. С утра до вечера рыскали по набережной съехавшиеся со всех концов Закавказья авантюристы, искатели наживы, проходимцы. Среди них встречались выродки, готовые за соответствующую мзду ударом кинжала отправить к праотцам кого угодно. Местом сбора этих жуликов была чайная, уютившаяся в дальнем углу набережной; о ней, разумеется, полиция знала, но боялась туда сунуться.

Летом дважды в неделю в саду играл духовой оркестр моряков с небольшого пограничного корабля. Прогулка под музыку была единственным развлечением горожан, изнуренных каждодневным подневольным трудом и удушливой духотой.

Таким был Баку, когда Вардан Айрумян прибыл сюда.

Саргис Ахвердян успел открыть гастрономический магазин, и вот уже полгода как его дела шли прекрасно. Магазин был открыт именно там, где заранее наметил ему место бойкий делец — на набережной, против оживленной пристани. Во всем городе не было ему равного по разнообразию закусок и напитков, а главное, здесь умели показать товар лицом. Да и сам хозяин, Саргис Ахвердян, не походил на прочих торговцев. Побывав в больших городах необъятной России, заведя связи с крупными коммерсантами, особенно евреями и немцами, он изучил и перенял приемы и обычаи, неизвестные его соотечественникам. Саргис Ахвердян давно уже сбросил чуху и папаху, заменив их пиджаком и шляпой. Он даже изменил имя, отчество и фамилию. Теперь он уже именовался Сергей Маркович Аквердов (именно Аквердов, а не Ахвердов). В глубине души он даже счел бы себя оскорбленным, если бы

кому-нибудь вздумалось назвать его прежним именем или, упаси господи, припомнить, что у отца его было прозвище «плешивый».

В первый же день он строго-настрого приказал племяннику называть его не «дядей», а Сергеем Марковичем. Исполнительный Вардан Айрумян, считавший дядю высшим мерилом культуры, с готовностью повторял новое, звучное имя дяди. Больше того: про себя Вардан Айрумян решил и сам переменить имя, отчество и фамилию, но, разумеется, не сейчас, а года через два, когда у него появятся усы.

Пока же Вардан был только вторым приказчиком. Его обязанностью было красиво упаковать проданный товар и подать покупателю с любезной улыбкой и словами: «пожалуйста, сударь» или «пожалуйста, сударыня». Да, обязательно с улыбкой. Улыбка — признак культурности. Все еврей-торговцы улыбаются. А вот армянские купцы о культурности не имеют понятия и встречают посетителей с кислой миной, будто уксусу лизнули, говорил Аквердов. У отца ты ничему путному научиться не мог. Не зря все его «свиньей» обзывали — злющий был, ни с кем не дружил, да и его не любил никто. Почему Абраам надул твоего отца и даже не покался? Потому что он знал: никто не заступится, напротив, все будут только рады. Умный человек должен мягко обходиться с врагом. Один мой знакомый купец говорил: «Ежели хочешь насолить врагу, сначала для вида подружись с ним, узнай его слабые струнки, его тайны, а уж потом начинай тяжбу с ним». Жизнь — борьба, и никто не сможет одолеть врага, не распознав его раньше. Тот купец уверял: «Лучше быть лисой, чем волком. Угождай, лести людям, не показывай им зубов, но будь готов вцепиться им в глотку». Много дельного я от него услышал. Помнится, как-то он сказал, что некогда в Египте змею почитали как бога...

Вардан внимательно слушал дядю, каждое его слово казалось юноше величайшим откровением. Пронырливость и сноровка дяди восхищали Вардана, и он верил ему безгранично. В то же время мысли юноши были куда независимей, чем могло показаться его покровителю. Прежде всего Вардан Айрумян начал задумываться о своем нынешнем положении: кто он здесь, какое место занимает в магазине дяди? Он простой приказчик! Именно, простой приказчик. Разве это не унижительно для человека, отец

которого с давних пор был купцом куда более независимым, чем Сергей Маркович Аквердов, в прошлом заурядный кабатчик. Ведь и он сам имеет в торговле свою долю, унаследованную от отца и переданную матерью ее брату. Почему же и его имя не сияет золотыми буквами на длинной и широкой вывеске, что красуется над входом в магазин? Его так и подмывало намекнуть об этом дяде, но он чувствовал, что это преждевременно.

С утра до вечера завертывая покупки, Вардан в то же время не переставал наблюдать окружающее. Вскоре он понял, что среди торговцев положение дяди, вопреки его заносчивости и самодовольству, не такое уж прочное и высокос. Вардан про себя отметил, что дядя стоит даже ниже некоторых местных купцов, торгующих сахаром, рисом и сухими фруктами. Они получали из Персии и России по несколько тысяч мешков и ящиков товара в год. Глядя на них, становилось ясно, насколько незначителен объем торговли Сергея Марковича Аквердова. Каждый день на глазах у Вардана разгружали и нагружали пароходы, и он воображал, как со временем, если счастье ему не изменит, он сам, быть может, станет судовладельцем. Иногда он ловил себя на мысли: а почему бы счастьем отвернуться от человека, способного добыть его своим умом и энергией? — и ему хотелось даже сказать об этом вслух. Первый приказчик, Джумшут Баргесян, часто рассказывал Вардану о том, что вст-де такой-то пароходчик был прежде возчиком, а такой-то — простым моряком или поваром. Рассказывал он и о том, что некоторые из них занимаются контрабандой: провозят из Персии товары без пошлины, подкупая акцизных чиновников. Эти разговоры укрепляли стремление Вардана быстро и легко разбогатеть.

— Но все это пустяки,— закончил однажды Джумшут очередной свой рассказ: — нефть, нефть — вот золотое дно!

Вардан и раньше слышал о нефти, знал, что существуют промысла и заводы, но не видел, не имел понятия о них. В одно из воскресений Джумшут предложил ему осмотреть заводы.

В ту пору площадь нефтяных промыслов была невелика. Несколько десятков скважин в Балаханах и Сабунчах — вот и все. Когда Вардан и Джумшут приехали в Балаханы, там из глубины в сорок метров бил фонтан.

Хозяева — несколько пузатых армян с толстыми затылками, — собравшись, советовались, как бы его заткнуть. Нефть с бешеной силой вырывалась из земли, портила участки соседних крестьян. Те возмущались: их поля и пастбища погибали от нефтяных потоков. Крестьяне угрожали кинжалами и ружьями. Незадолго перед тем уже было несколько убийств. Армяне — владельцы промыслов — приходили в ужас. По их приказу рабочие попробовали зажечь фонтан, однако неудачно.

— Дураки! — шепнул Джумшут Вардану. — Не могли за день нарыть несколько ям для стока нефти.

— Сущие ослы! — согласился с ним Вардан.

Восторгаясь фонтаном, Вардан в уме подсчитывал, какое богатство зря гибнет. И когда Вардан сравнивал эту сумму с капиталом дяди, ему становилась смешной заносчивость Сергея Марковича Аквердова.

В город Вардан вернулся глубоко потрясенный всем виденным. Дорогой Джумшут объяснил ему, какие огромные богатства таятся под «этой благословенной почвой». Он выложил все свои познания о нефти, то есть все, что успел прочесть в газете.

— Видишь вот то поле с холмами, — указал он на Апшеронский полуостров, — там повсюду нефть, до самого моря, и даже под Каспием, говорят, есть залежи. Ты удивляешься, не веришь? Так вот тебе доказательство. Смотри, вдалеке виднеется остров. Это Нарген. Чуть в стороне от него с морского дна пробивается газ. Когда в честь приезда наместника Кавказа зажгли этот газ, я собственными глазами видел, какая чудесная иллюминация получилась. Три ночи подряд было светло, как в ясный день. Потом налетел ветер, на море поднялось волнение, и огонь потух.

Вардан слушал и соображал, как быть... В его юном воображении с удивительной быстротой нефть превращалась в золото; миллионные цифры плясали перед глазами, как одержимые. Самая пылкая поэтическая натура не могла бы так восторгаться красотой природы, как Вардан Айрумян голыми песчаными полями и холмами с их жалкой, преждевременно увядшей растительностью, выжженной жгучим солнцем. Отчего бы не приобрести хоть немного подземных сокровищ — небольшой клочок нефтеносной земли? Почему знать, как поднимется цена на нее завтра или послезавтра.

— Кому принадлежит эта земля? — спросил семнадцатилетний юноша с нетерпением и жадностью пожилого, искушенного дельца.

— Частью участков владеют местные беки и крестьяне, остальные земли казенные.

— Крестьяне продают свои участки?

— Конечно, но еще охотнее продают их беки.

— А по какой цене?

— Смотря по тому, каков участок. Вблизи Балаханов и Сабунчей земли сравнительно дороги, в других местах куда дешевле.

Вардан умолк. Об остальном он решил узнать позже у других: как бы Джумшут чего доброго не пронюхал, какие планы зреют у него в голове. Вардан еще от отца научился тайнам практической мудрости. Кроме того, он твердо помнил наставление покойного: «С умным разговаривай поменьше, чтобы не обнаружилась твоя глупость; а с глупым совсем не говори, чтобы не растратить ума».

Вечером Вардан не сдержался и поделился с дядей глубоким впечатлением от поездки.

— Что ж, это неплохо — побывать на промыслах, — заметил Сергей Маркович иронически, — но мне, надеюсь, ты не посоветуешь стать одним из их владельцев?

— Как раз об этом-то я и хотел поговорить с тобой: неплохо бы и нам купить клочок нефтеносной земли.

— Мы да мы! — воскликнул Сергей Маркович, громко смеясь. — Значит, на компанейских началах — не так ли?

— Да.

— А дальше что?

— Поставим вышку, прорубим скважину, и у нас забьет фонтан, — ответил Вардан вполне серьезно.

— Ну да! Болтал бы поменьше, ты еще ребенок и мало в таких вещах смыслишь. Я весь мир исколесил, а ты мне смеешь советы давать! Я ни за что не выпущу из рук наше золотое дело. Но на кой черт мне твоя нефть? Чтобы ею поливали улицы да пачкали мои летние белые панталоны? Брось, бога ради! Погоди, вот с января расширим магазин вдвое, я и лавку рядом уже снял, перемену вывеску — напишу крупными буквами: «Гастрономический магазин: Сергей Маркович Аквердов и компания» И компания, понимаешь?

— Кто же будет твоим компаньоном?

— Ты.

Вардан, конечно, обрадовался, но, к удивлению дяди, и виду не подал.

Минуту поразмыслив, он спросил:

— А почему бы и мою фамилию не поставить на вывеске?

— Слишком торопишься, молодой человек, нехорошо. Ты еще несовершеннолетний и по закону не имеешь права подписать нотариальное соглашение. Повремени годика три-четыре.

Четыре года! Нет, на такой долгий срок у Вардана не хватит терпения. Ему хочется вырваться из мрака неизвестности. Время идет, а Вардан все еще младший приказчик — это оскорбительно. Что подумают сыновья Абраама-аги, недавно приехавшие в Баку и уже открывшие в центре города большой мануфактурный магазин на свое имя? А школьные товарищи Вардана? Минас отправился в Эчмиадзин и поступил во вновь открытую академию. Почем знать, может, из него выйдет знаменитый человек? Кривоносый Мкич Чахмахчан в Тифлисе поступил в военное училище — из него тоже будет толк. Мартирос служит в полиции, у него кокарда на фуражке, и при встречах он здоровается очень небрежно. Одним словом, все идут в гору, а Вардан по-прежнему приказчик «по бакалейной части». Конечно, больше всего злили Вардана сыновья Абраама-аги. Всякий раз, проходя мимо их магазина, он отплевывался. «Нет,— думал он,— так продолжаться не может».

Вардан решил ждать еще год — не больше. Но и года не прошло, как он возобновил свои попытки сделаться полноправным компаньоном дяди, с фамилией на вывеске.

— Закон не позволяет,— уверял его Сергей Маркович.

— Почему?

— Потому, что твой капитал втрое меньше моего.

— Тогда поделимся, и я начну собственное дело.

Сергей Маркович захохотал.

— Ты, мальчишка, вздумал самостоятельно торговать?

Вардан обиделся.

— Сергей Маркович, — сказал он, еле сдерживаясь, — ты не раз говорил, что в мои годы начал торговать, почему же ты меня называешь мальчишкой?

Сергей Маркович стал оправдываться. Ему не хотелось обижать племянника. В глубине души он высоко ценил способности Вардана, его обхождение с покупателями, умение разбираться в счетах, его энергию и усердие. Не хотелось лишаться такого способного помощника.

— Ладно,— молвил он, кладя руку на плечо Вардана,— пусть пройдет еще год, и с января мы переменим вывеску, но при одном условии: чтобы над входом в магазин не было имени Вардана. Как бы это неуклюжее имя не накликало несчастья.

— Я об этом уже думал и отныне буду называться Власом Афанасьевичем Айрумовым.

— Нет, нет, Влас тоже нехорошо — извозчище имя. Лучше Василий Афанасьевич.

— Пусть так.

И с того дня Вардан стал именоваться по-новому: Василий Афанасьевич Айрумов.

На единственной площади города среди множества магазинов был один с вывеской:

«Продажа мануфактурных товаров. Рипсима Аракеловна Далбашян и сыновья».

Очень немногие из прохожих обращали внимание на эту вывеску, но те, которые читали ее, недоуменно пожимали плечами и вспоминали:

— Да ведь это тот самый!

Абраам и Израел Далбашяны, объявив себя банкротами, покончили расчеты с Морозовым и Атанасом Айрумяном, уплатив по двадцати копеек за рубль. Потом они решили закрыть торговлю и разделиться. Израел забрал половину припрятанного товара и с семьей отправился в Ростов-на-Дону, чтобы там продолжать дело, а Абраам-ага перебрался в Баку, также забрав свою часть товара. При дележе награбленного брата немного повздорили, но под конец помирились и, расставаясь, облобызались.

Еще до того, как объявить себя банкротом, дальновидный Абраам-ага перевел имущество на имя жены Рипсима. Он решил открыть в Баку мануфактурную торговлю, на этот раз закупая товар уже не у Морозова, а у других фабрикантов. Как купец с пошатнувшейся репутацией, Абраам-ага, естественно, по закону не имел права зани-

маться торговлей, потому он счел более разумным и безопасным воспользоваться именем жены и сыновей. Абраам-ага знал, что его достопочтенная половина, почти неграмотная женщина, совершенно лишена коммерческих способностей и слаба даже в денежных расчетах, зато его старший сын, двадцатипятилетний Аршак, не хуже отца понимал в деле и мог вести его умно и успешно. На второго сына, несовершеннолетнего Даниела, Абраам-ага особых надежд не возлагал, считая его мягкотелым и беспечным. Третьего, девятилетнего Самвела, Абраам-ага, уступив настояниям Аршака, решил определить в только что открывшееся реальное училище.

— Вот кончит среднюю школу,— говорил Аршак,— мы его отправим еще учиться в Москву или в Германию. Пусть хоть один из нас постигнет науку.

Абраам-ага не был настолько дряхлым, чтобы сидеть дома сложа руки. Бездействие было для него своего рода недугом, и, чтобы избавиться от него, он по нескольку раз на день бывал в магазине. Входил он медленным шагом, перебирая четки, садился в углу, как человек посторонний, подсчитывал про себя число покупателей, сумму забранного ими товара и уходил, радуясь или ворча, чтобы через час заглянуть снова. Так ведет себя ворон, когда его птенцы обеспечены пищей.

После того как Абраам-ага покинул Зилзил, он внешне совершенно изменился: перестал красить усы хной, не подкручивая их на концах, как делают люди молодые и решительные, не брился, и борода его уже отросла до груди. Белая и пушистая, как снег, широкая, как лаваш, она вызывала у многих почтительное чувство. Теперь и походка его была солидней и степенней, чем в былые времена, когда он еще не обобрал приятеля и не доконал его. Абраам-ага переменял и костюм. Он расстался со своей чухой с откидными рукавами и поверх архалука надевал широкий сюртук, застегнутый на все пуговицы,— ни дать ни взять протестантский проповедник. Еще больше походил бы Абраам-ага на еврейского раввина, отпусти он волосы на висках. Вместо азиатской остроконечной шерстяной папахи на голове черный суконный картуз, точь-в-точь какие носят московские купцы. Азиатские шлепанцы сменила европейская обувь с подметками в два пальца толщиной.

Каждое воскресенье Абраам-ага непременно отправлялся в церковь и оставался там до конца службы. Потом он смиренно подходил к священнику под благословение. После богослужения Абраам-ага раздавал нищим медяки и поджидал настоятеля, чтобы побеседовать с ним, а потом, если будет настроение, пригласить его к обеду.

При взгляде на спокойный, безмятежный, почти библейский лик Абраама-аги можно было подумать, что нет более честного, более благородного и благочестивого человека на свете. Так за благообразием скрывались ложь и подлость, жестокое сердце и грязная душа. Сам Абраам-ага умел пользоваться своим внешним благолепием и при разговоре без особого усилия придавал своему голосу, манерам и движениям соответствующий оттенок. Ни один одаренный актер не сумел бы исполнить роль на сцене с таким мастерством, как этот старик играл свою роль в жизни. Он был в полном смысле слова волк в овечьей шкуре, по-только волк сытый.

Правда, иногда, вспомнив загубленного Атанаса Айрумяна, Абраам-ага на минуту мрачнел, и лицо его хмурилось, но что может значить в безоблачный легкий день тень от набежавшей легкой тучки? Ему было достаточно повторить про себя любимую поговорку: «Кто в этом мире не знавал потерь?» — чтобы тотчас обрести обычную безмятежность.

Как-то, прогуливаясь по набережной, Абраам-ага встретил Вардана Айрумяна; они узнали друг друга. На мгновение крестному захотелось поздороваться с юношей, поговорить, «по-отечески» расспросить о здоровье, о матери, о делах... Но Вардан метнул на него такой яростный взгляд, что у Абраама-аги отнялся язык.

В другой раз Абраам-ага встретил крестника с дядей в саду. Он думал незаметно улизнуть, но Вардан, заметив старика, стал осыпать его лютыми ругательствами. Абрааму-аге показалось, что юноша бросился бы на него, если бы дядя его не удержал. После этого старик стал не на шутку побаиваться Вардана и избегал с ним встречаться. Однако бешеная ненависть Вардана отняла покой у Абраама-аги и заставляла его вспоминать о давнем грехе. Может быть, старика тревожили укоры совести? Ничуть не бывало! Время уже сделало свое дело, навсегда убив в нем раскаяние. Теперь его место занял животный страх

за свою шкуру. Как знать, на что пойдет этот юнец, чтобы отомстить за гибель отца. Известно немало случаев, когда люди его возраста из-за пустяков решались на злодейство.

И вот однажды вечером Абраам-ага рассказал обо всем сыновьям. Он не в силах был больше таить мрачные предчувствия.

— Берегись Вардана — он полон беспощадной злобы.

— Да и как не быть злобе, неужели он забудет про смерть отца? — заметила Рипсиме.

— Пусть думает что хочет, — вмешался Аршак, — я не боюсь. Меня другое тревожит: он в торговле, наверно, здорово успеваает. Ты, папа, обратил внимание, какой магазин у его дядюшки?

— Я уже давно заметил, — отозвался Даниел, — над входом красуется вывеска: «Гастрономический магазин Сергея Марковича Аквердова и Василия Афанасьевича Айрумова».

— Слышишь, папа, — продолжал Аршак, — значит, Вардан стал компаньоном. Я уверен, что скоро он вышвырнет Аквердова и сделается хозяином магазина. Не мести его я боюсь, а ума и хитрости.

— Как он может повредить нам своим умом и хитростью? — пренебрежительно скривил губы Абраам-ага.

— Мало ли что дозволено сильнейшему!

— В торговле страшна конкуренция. А у нас нет причин состязаться: у них один товар, у нас другой.

— Нет, папа, в торговле все связаны друг с другом. Один вид ее, развиваясь, способствует упадку или росту другого. Таков экономический закон, я читал об этом. Но сейчас я хочу сказать о другом...

— Не понимаю, — рассердился Абраам-ага, — при чем тут этот мальчишка?

— Как раз о нем я и говорю. Вардан, именуемый ныне Василием Афанасьевичем Айрумовым, принадлежит к тому сорту людей, которые не сегодня-завтра станут хозяевами нашего края.

— Торгуя жареной индейкой и развесной ветчиной? — воскликнул иронически Абраам-ага.

— Нет, папа, он разбогатеет не от продажи закусок, а на нефти, понимаешь, на нефти. Я не раз толковал и скажу еще: будущее в руках у того, кто бросит мелочную

торговлю и возьмется за нефть. Вардан Айрумян, невзирая на молодость, отлично понимает это.

— Из чего ты это заключил? — любопытствовал Абраам-ага.

— На этих днях он в Романах купил две десятины нефтеносной земли. Это не шутка!

— Кто тебе сказал?

— Один бек, с которым я познакомился в клубе. Сегодня он приходил к нам в магазин и предлагал мне купить там же хоть десятину. Видно, человек сильно нуждается в деньгах и готов уступить по самой низкой цене. К сожалению, папа, я отказался из-за тебя. Ты мне, кроме мануфактуры, не велел ничем заниматься...

— И отлично сделал, что отказался. Глупо добытые в поте лица деньги бросать в колодец, не зная, что в нем скрывается.

— Нет, отец, инженеры в один голос утверждают, что в Романах бесспорно нефтеносный район. В газете об этом каждый день пишут.

— Господь еще не отнял у меня разум, чтобы я в делах слушался газеты, — возразил Абраам-ага. — Чего спорить? Если даже собственными глазами я увижу в Романах бьющий фонтан, я все-таки воздержусь бурить рядом с ним. Одним словом, нефть — не наше дело, я в ней не вижу пользы.

— Послушай, отец, ежели купец дальше своей лавки ничего не видит, он навсегда останется лавочником. Баку растет, ширится изо дня в день и пычке стал губернским городом. Со всех концов мира сюда стекаются предприниматели, инженеры, кто с капиталом, кто без него, все надеются разбогатеть на нефти. Не зря Баку называют новой Калифорнией. Мне кажется, папа, что все эти приезжие из Петербурга, Швейцарии, Германии и Англии чувствуют, чем здесь пахнет. Почему какой-нибудь Вардан Айрумян, или Василий Афанасьевич Айрумов, постиг эту простую истину, а мы нет? Почему он должен быть дальновиднее нас?

— Я тебе передал золотое дело — продолжай его, а этот шенок скоро протянет ноги на своей нефтеносной земле, поверь мне.

Рипсима прислушивалась к их спору... Полная, круглолицая сорокапятилетняя женщина; ее духовные потреб-

ности и умственные интересы ограничивались пределами семейного очага — она все двадцать шесть лет супружества просила у судьбы только одного: сытости и покоя. Она гнала от себя все, что могло так или иначе встревожить ее. Но с того дня, когда Абраам-ага, обобрав приятеля, выставил его за дверь, мадам Рипсиме не находила покоя.

— Можно и мне прибавить словечко? — вмешалась она.— Послушай меня, Аршак: алчность к добру не приводит; она толкает человека на ошибки и лишает его душевного покоя. Довольствуйся тем, что дает тебе судьба, не накликай на нас новых бед. Когда-то я заикнулась об этом твоему отцу, а он мне сразу рот заткнул. С тех пор я вечно в страхе, дня не проходит, чтобы не подумала: рано или поздно нагрянет на нас какая-нибудь беда.

— Будет тебе,— властно прервал жену Абраам-ага.— Не забывай, что над входом в магазин стоит твое имя,— значит, в моем грехе и твоя доля, если то, что сделал,— грех.

— Ах, боже мой, как я просила, молила не писать мое имя на вывеске, а ты не послушался. Что мне было делать? А потом я подумала: раз мои дети входят в дело, можно войти и мне.

— Мама,— отозвался Аршак,— неужели тебе кажется бесчестным видеть свое имя на вывеске нашего магазина?

— Нет, сынок, ты меня плохо понял. Как это объяснить? С того дня, как твой отец прогнал из дому Атанаса Айрумяна и тот умер от удара, я в каком-то смутном сне. Пусть уж над отцовским магазином красовалось бы только его имя и он один отвечал бы за свои поступки.

— А ты чего боишься, говори! — крикнул Абраам-ага и хлопнул рукой по столу.

— Не знаю. Вот сейчас, когда ты сказал о сыне Атанаса: «Берегись, этот паренек что-то замышлет против нас»,— я ужаснулась. Уж лучше бы он отомстил нам, старикам, и не трогал наших детей.

— Ничего он не сможет сделать, мама,— успокаивал ее Аршак,— он один, а нас трое братьев.

— Не говори так, сынок; если он хоть на одного из вас поднимет руку — я умру от горя.

— Мама,— вмешался Даниел,— я хорошо знаю Вардана. Он до того труслив, даже кошек боится. В школе мы всегда потешались над ним.

— Рассказывают, что в Баку водятся бродяги, готовые за сто-двести рублей среди бела дня зарезать кого угодно.

— Это верно,— подтвердил Даниел,— мне даже показывали их притон. Говорят, сама полиция боится их.

— Ну, довольно! — воскликнул Аршак. В глубине души он тоже испытывал необъяснимое опасение.— Это уже начинает становиться смешным.

— Пусть так, сынок, все равно от страха ты меня не избавишь.

Беспокойство мадам Рипсима объяснялось не нравственными соображениями. Не будь страха, она бы во всем согласилась со своим благоверным.

Абраам-ага прекрасно знал это и потому считал лишним продолжать спор. Бросив сочувственный взгляд на жену, он поднялся и медленно ушел в спальню, чтобы сотворить обычную молитву, а потом насладиться безмятежным сном. За ним последовала и мадам Рипсима, поцеловав и благословив на ночь сыновей.

Аршак расхотелся во взглядах с отцом. В то время, как Абраам-ага в душе считал ложное банкротство ловким ходом, Аршаку этот поступок казался предосудительным с той же практической точки зрения. Об этом ему не раз приходилось спорить с отцом и дядей. «Ложное банкротство,— уверял Аршак,— никуда не годное, отжившее средство, которое современному купцу пора вышвырнуть, как грязную тряпку». В глазах Аршака ложное банкротство было глупостью, легкомыслием, подобным выходке смелого, опытного вора, стянувшего посохой платок.

Стоило ли из-за тридцати — сорока тысяч пачкаться и порочить свое имя? Можно было выждать еще несколько лет, потом уже подстрелить дичь покрупнее. Тогда Аршак, пожалуй, примирился бы с отцом и дядей. А теперь какой жалкий результат, да еще купленный ценою запятнанной репутации! Все равно, что льву вернуться с охоты с лисьей добычей. Морозов — еще с полбеды, он далеко отсюда; быть может, со временем окружающие позабудут о нем. Но об Атанасе Айрумяне никто в городе не забудет. Все, кто знал его, будут вечно помнить от-

чаянные вопли ограбленного старика, проклятия, брань, яростный гнев, агонию его и смерть. И все это из-за трех-четырёх тысконок, в то время когда в Баку люди начинали считать деньги миллионами и десятками миллионов. Нет, пусть Абраам-ага говорит что хочет, Аршак не может считать этот поступок разумным и всегда будет осуждать его. И как это отец не подумал, что ответственность за его глупость ляжет пятном на детей, на их торговую репутацию.

Больше всего Аршака тревожило именно это. Когда он спросил у матери: «Неужели тебе кажется бесчестным видеть свое имя на вывеске нашего магазина?» — он думал только о репутации их фирмы.

Вообще у него было свособразное понятие о чести. Тот, кто в торговом мире пользовался доверием, по его понятиям был человеком порядочным. Аршак знал, что фамилия отца на вывеске так или иначе бросает тень на их лавку. Эта мысль буквально терзала сердце Аршака, особенно после переезда в Баку, порой доводя его до бессоницы. Этого мелкого торгаша из маленького уездного города, не видевшего ничего, кроме четырех стен своей лавки, поразили сулившие богатства нефтяные фонтаны. Просторы моря рождали в нем сотни планов, и юную фантазию неудержимо влекло к ним. Отпыне железный аршин — эта жалкая мерка — не мог утолить его жажды к наживе. С утра до вечера отмеривая и разрезая ситец и полотно, он чувствовал себя достойным сожаления. Звяканье пожниц, словно звук пилы, режущей стекло, доводило его до бешенства. Случалось, что проданный и запакованный отрез он швырял чуть ли не в лицо покупателю.

Там, где вокруг люди разных возрастов, племен и наций говорили только о крупной промышленности, о заводах и промыслах, Аршак чувствовал себя слабым и беспомощным, как лиса среди львов и тигров. Нет, так больше не могло продолжаться. Одно из двух... либо надо было броситься в общую свалку, заразившись биржевым и банковским ажиотажем, либо вернуться в Зилзил и продолжать там родительское дело. Теперь сытое самодовольное лицо отца вызывало у него раздражение. Всякий раз, когда старик, перебирая четки и выставяя вперед пышную бороду, торжественно входил в лавку, сын,

злорадно усмехаясь, шептал про себя: «Шах-ин-шах шествует в свои чертоги».

Однажды, когда родителей не было дома, Аршак обратился к брату Даниелу:

— Если бы ты был таким же сметливым, как Вардан Айрумян, мы бы могли тайком от отца затеять крупные дела.

— Какие же, например?

— Ну можно ли, живя в Баку, задавать подобные вопросы? Я говорю о нефти.

— Не хочу я заниматься торговлей.

— Нефть — не торговля, а промышленность.

— Какая разница?

— Такая же, как между рядовым и генералом, между слугой и хозяином: одно дело — лавочник, а другое — капиталист, понимаешь? Если не понимаешь, могу объяснить.

— Не хочу я никаких объяснений. Мне претит всякая коммерция.

— Неужели! — воскликнул Аршак полуиронически, полусердито. — С каких же это пор?

— С того дня, как наш отец загнал в могилу своего лучшего друга, Атанаса Айрумяна, присвоив его деньги. Не могу я забыть проклятий этого ограбленного старика. Мне слышатся его слова: «Абраам, разрушив мой очаг, ты построил свой. Но не кичись, божий огонь когда-нибудь испепелит твоих детей». Ночи не проходит, чтобы Айрумян не приснился мне. Я боюсь, Аршак: деньги наши заражены ядом...

Даниел устремил свои большие глаза на тощее, продолговатое лицо старшего брата. Аршак, откинув длинными пальцами редкие волосы с узкого лба, засмеялся, обнажая крупные лошадиные зубы.

— Ты еще глуп, вот что, — проговорил он, выпрямляя сутулую спину, — снами только старух пугают. Оставим эту ерунду, скажи, пожалуйста, чем ты думаешь заняться, раз торговля осточертела тебе?

— Не знаю! Но с завтрашнего дня я больше не переступлю порога лавки.

— Ах, вот что! — воскликнул Аршак, еще больше раздражаясь. — Значит, будешь дармоедничать, сидеть на моей шее? Хочешь, чтобы я работал, а ты жрал, да?..

Коли так, ты мне больше не брат. Убирайся, куда хочешь!

— Не беснуйся, и так уйду.

— Куда?

— Когда-нибудь узнаешь, — проговорил Даниел холодно, совсем как взрослый, и вышел из комнаты.

Размолвка с братом была для Аршака полнейшей неожиданностью. До этого вечера он абсолютно не интересовался помыслами Даниела. Аршак думал, что Даниел относится к ложному банкротству отца более снисходительно, чем он, и даже, быть может, оправдывает его. Теперь же он увидел, что Даниел осуждает поведение отца и совсем не потому, что присвоенная им сумма мала, а единственно с точки зрения нравственной. Резкое различие во взглядах на жизнь смутило Аршака, и почему-то собственное поведение показалось ему унижительным. Признавшись себе в этом, он стал искать какое-нибудь оправдание, способное подавить мгновенную вспышку совести. И он нашел это успокоение, сказав себе: «Даниел молод, ум его еще не созрел, а вот подрастет — и станет думать, как я».

Через несколько дней Даниел сбежал из родительского дома. Напрасно его искали целую неделю...

Ереван

1931—1933 гг.

КОММЕНТАРИИ

Настоящий двухтомник избранных произведений Александра Ширванзаде издается в связи с исполнившимся в апреле этого года 100-летием со дня рождения писателя. Все произведения, включенные в это издание, за исключением повести «Алина» и одной главы мемуаров «В горниле жизни», взяты из вышедшего в 1957 году первого в русском переводе собрания сочинений автора.

В первый том настоящего издания вошли романы «Намус», «Замужняя», «Хаос» и «Вардан Айрумяш», расположенные в хронологической последовательности.

Переводы сличены с оригиналом по последнему полному собранию сочинений писателя. При составлении комментариев частично использованы примечания этого издания.

НАМУС

«Намус» («Честь») — первый роман Ширванзаде. Написан в 1884 году в Тифлисе. Впервые был издан отдельной книгой в 1885 году Тифлисским издательским товариществом, которое в конце прошлого столетия сыграло важную роль в армянском книгопечатании. Впоследствии (в 1911 году) Ширванзаде по сюжету этого романа написал драму «Намус», которая до сего времени не сходит со сцен армянских театров. Она с большим успехом поставлена также на сценах многих театров нашей страны и неизменно пользуется большим успехом.

«Сюжет двух моих произведений — «Намус» и «Одержимая» («Злой дух») — действительные события, были, — писал Ширванзаде. — Однако я их не скопировал с точностью, а по-своему менял, вы-

думывал сцены, создавал картины, вводил новых действующих лиц, художественно обрабатывал и частное превращал в общее. Если бы я поступил не так, если бы описал только быль, то ссть показал бы «жизнь такой, как она есть», то получился бы не роман, не драма, а какой-то полицейский протокол — нудный и скучный для чтения и особенно для того, чтобы смотреть на сцене». (Газета «Мшак», 1917, № 19, стр. 2—3.)

Ширванзаде любил это свое произведение. Он на протяжении более чем пятидесяти лет после первого издания романа неоднократно возвращался к тексту «Намуса» и вносил исправления. Особенно значительны текстологические изменения, которые он внес в роман в 1930 году. Убирая лишние слова и выражения, заменяя одно слово другим, он усиливал смысловую и художественную выразительность произведения, его логическую стройность.

Как при жизни автора, так и после его смерти «Намус» много раз переиздавался в русском переводе. Первое русское издание относится к 1910 году.

ЗАМУЖНЯЯ

Над романом «Замужняя» Ширванзаде работал в 1886—1887 годах. Впервые он был опубликован в 1888 году на страницах выходившей в Тифлисе армянской еженедельной газеты «Арцаганк» («Эхо»), которую издавал либеральный публицист Абгар Иоаннисян (№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28).

Роман вызвал большой интерес среди читателей. Это прежде всего объясняется актуальностью для того времени вопросов, затронутых писателем. Проблемы семьи, брака, особенно положение женщины в 90-х годах прошлого столетия породили много споров в армянской общественной жизни. Как в этом, так и в ряде других произведений Ширванзаде выступал за равноправие женщин, как в семье, так и в обществе.

Перевод романа «Замужняя» сделан с текста последнего полного собрания сочинений автора.

ХАОС

Роман «Хаос» Ширванзаде написал в 1896—1897 годах. Интересные подробности о замысле романа и его творческой истории Ширванзаде сообщает в своем автобиографическом произведении «В горниле жизни», которое с некоторыми сокращениями мы публикуем во втором томе настоящего издания избранных произведений писателя. «В 1896—1897 годах,—сообщает автор,—когда я писал «Хаос», часто ездил в Баку, чтобы восстановить и освежить в своей памяти впечатления, полученные от нефтяного мира. Идея «Хаоса» возникла во мне пятнадцать лет тому назад, когда я жил еще в Баку. Жизнь одной богатой армянской семьи и раздоры ее членов из-за наследства оставили в моей памяти глубокое впечатление. В течение долгих лет я вынашивал эту идею и не решался приступить к изложению задуманного. К тому же, первоначальный замысел с течением времени

все расширялся. Вообще я не писал и не могу писать под непосредственным влиянием впечатлений. «Намус», «Злой дух», «Вардап Айрумян» явились плодами воспоминаний из детства. Другие мои произведения также являются результатом впечатлений далекого или близкого прошлого. Если какое-нибудь событие или случай жизни обращали на себя мое внимание, я старался держать их в своей памяти. Если в течение определенного времени они не забывались, наоборот, представлялись еще более рельефно, только тогда я брал в руки ручку, чувствуя устойчивое творческое вдохновение. Левона из «Артиста» я видел в Одессе в 1889 году, но написал о нем спустя пять лет, в Баку. Писать под свежим впечатлением, быть может, и хорошо, но мне кажется, что писатель под свежим впечатлением легко может увлечься незначительными, второстепенными подробностями явления и не различать существенное от несущественного, то есть вечное от преходящего. Память является как бы своего рода литейным агрегатом, в котором замысел, так сказать, постепенно расплавляется; от него отделяется все лишнее и остается главное, существенное, то есть то, что может противостоять могучей силе времени.

Баку, конечно, не был тем городом, каким я его знал раньше. Многое здесь изменилось за пятнадцать лет. Вместе с бурным развитием нефтяной промышленности преобразовался и город. На месте прежних одноэтажных, полуразрушенных домиков поднялись трех-, четырехэтажные великолепные дома. Улицы стали мощеными, количество населения утроилось. Чоху сменил европейский фрак, папаху — шляпа, вместо чувяков и лаптей — блестящие штиблеты. Многие прежние бакалейщики, приказчики и аробщики стали владельцами промыслов и управляющими. Люди изменились и внутренне. Наряд, образ жизни имел определенное влияние на вкус, на сознание и вообще на психологию людей. Хочу сказать, что появились первые зачатки местной буржуазии, живущей по примеру Европы.

«Хаос» печатался в бакинской типографии «Арор» («Соха»), если не ошибаюсь, в 3000 экземпляров, что для того времени было наиболее высоким тиражом. В тексте романа были произведены цензурные сокращения, только не помню, в каких частях. В изображении жизни рабочих я не чувствовал полной свободы, и надо только удивляться тому, что палач мысли Караханян пропустил то, что есть сейчас в романе. Печатание книги совпало со временем моей ссылки. Поэтому, отсутствуя в городе, я не смог переписать роман и внести ряд необходимых и возможных добавлений. Когда вернулся из ссылки, уже весь тираж был почти распродан».

В последующие издания «Хаоса» (второе издание на армянском языке было осуществлено в 1926 году Армянским государственным издательством, третье — в 1934 году тоже в Ереване) Ширванзаде вносит ряд дополнений и исправлений.

«Хаос» много раз был переиздан в русском переводе. Существует четыре разных перевода романа: Г. Адонца, 1930 год, С. Айвазяна, 1936 год, В. Корнилова, 1935 год и Я. Хачатрянца, 1948 год. Первое издание «Хаоса» на русском языке было осуществлено в 1930 году редакцией «Творчество народов СССР» Госиздата.

«Хаос» переведен также на многие другие языки: украинский, грузинский, азербайджанский, польский, чешский, венгерский, румынский и др.

ВАРДАН АЙРУМЯН

Неоконченный роман, над которым Ширванзаде начал работать еще в 1899 году, вслед за повестью «Артист». Первые главы романа публиковались в издаваемом Г. Агаяном журнале «Лума» («Лепта») в 1902 году. По замыслу Ширванзаде «Вардан Айрумян» должен был быть одним из крупных его произведений, где он хотел показать в образе Айрумяна бакинского нефтяного магната, олицетворяющего зарождение крупного промышленного капитала в Баку. Первые главы романа посвящены детским и юношеским годам Айрумяна до его вступления в «большую жизнь». Однако на этом работа была прервана. Спустя много лет Ширванзаде вернулся к своему произведению, хотел завершить его, однако написал только несколько новых глав, которые мы помещаем в этом томе под названием «Старый Баку».

В Литературном музее Института литературы им. М. Абегиана АН Армянской ССР хранится рукопись переработанного и измененного автором варианта романа «Вардан Айрумян». Подготавливая к печати, автор назвал этот новый переработанный вариант «Страницы из неоконченного романа». Однако Ширванзаде так и не опубликовал этот свой труд.

Что касается нескольких новых глав, то они были написаны автором в 1931—1933 годах и впервые напечатаны во втором номере журнала «Верелк» («Подъем») за 1933 год, издававшегося в Ереване.

Обычно в собраниях сочинений писателя для сохранения хронологической последовательности расположения всех произведений автора эти главы публикуются не после романа «Вардан Айрумян», как главы, являющиеся его продолжением, а отдельно в виде самостоятельного рассказа. Мы считаем более целесообразным, сохранив заголовок «Старый Баку», поместить их непосредственно после романа.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Творчество Александра Ширванзаде. <i>Предисловие</i>	
<i>Г. Манасяна</i>	5
«Намус» — роман. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	23
«Замужняя» — роман. <i>Перевод А. Гюльназарянца</i>	143
«Хаос» — роман. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	273
«Вардан Айрумян» — роман. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	595
«Старый Баку». <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	655
Комментарии	672

Александр Ширванзаде

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ТОМ I

Редактор *А. Салахян*

Техн. редактор *В. Студенчикая*

Корректоры *В. Полонская В. Гаухман.*

Подписано к печати 4/XI 1958 г. Зак. 1637. Тираж 30.000.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. 21,125 печ. л. (34,65). Уч.-изд. л. 34,94.
Цена 12 р. 50 к.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

12 p. 50 k.